Н. П. ОГАРЕВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ



Н. П. ОГАРЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ





Н. П. Огарев



СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

Н. П. ОГАРЕВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

ББК 84Р1
О-36

Вступительная статья, составление
С. С. КОНКИНА

Комментарии
С. С. КОНКИНА и Л. С. КОНКИНОЙ

Художник
В. МАКСИН

О $\frac{4702010101-108}{028(01)-89}$ 24-88
ISBN 5-280-00754-4

В ПАМЯТИ СОВРЕМЕННИКОВ

Жизнь и творчество Николая Платоновича Огарева — одно из примечательных явлений русской культуры XIX века. Он был человеком разносторонних дарований — поэтом, публицистом и неутомимым деятелем революционно-освободительного движения.

По рождению и воспитанию Огарев принадлежал к высшей помещичьей знати России. Но всю свою сознательную жизнь, по собственному признанию, посвятил «народу и его освобожденью». Вместе с Герценом он обрек себя на «добровольное изгнанье», чтобы иметь возможность обратиться к соотечественникам с революционной проповедью. Огареву принадлежала мысль об основании «Колокола» — первой русской бесцензурной газеты, без которой теперь немыслимо представить себе эпоху 60-х гг.— одну из переломных в русской истории. «Полярная звезда» подняла традицию декабристов,— писал В. И. Ленин.— «Колокол»... встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено» [1].

В этой беспримерной деятельности немалая роль принадлежала Огареву. Сотни его публицистических статей, поэтических произведений и прокламаций увидели свет на страницах «Полярной звезды», «Колокола», «Общего веча» и других изданий Вольной русской типографии.

О значительности вклада Огарева в общественно-литературное движение 1830—1870-х гг. говорят многие современники, оставившие о нем свои воспоминания.

Книга воспоминаний современников об Огареве, его личности и общественно-литературной деятельности, выходит впервые. Включенные в нее мемуарные очерки, статьи и отдельные заметки охватывают и освещают — с разной степенью полноты и исторической достоверности — почти все основные

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21. М., Госполитиздат, 1961, с. 259.

этапы и периоды жизни и творчества поэта, начиная с его детских лет и до последних дней, прожитых вдали от родины в революционной эмиграции. Среди них есть мемуарные произведения, в которых жизнь и духовное развитие Огарева прослеживаются на значительном отрезке времени. Это — «Былое и думы» Герцена, отчасти — «Идеалисты тридцатых годов» П. В. Анненкова, «Из дальних лет» Т. П. Пассек, «Воспоминания» Н. А. Тучковой-Огаревой. Авторы других воспоминаний представляют нам всего лишь отдельные эпизоды из жизни и деятельности Огарева. Такими являются воспоминания Я. И. Костенецкого, Н. М. Сатина, И. И. Панаева, Н. А. Герцен (жены), А. Я. Панаевой (Головачевой), М.-А. Мейзенбуг, Н. Г. Чернышевского, А. А. Слепцова, В. И. Кельсиева, Н. А. Герцен (дочери). Сюда же следует отнести и те мемуары, в которых эмигрировавшие из России, путешествующие за границей или находившиеся там в служебных командировках рассказали о своих встречах с Огаревым.

Некоторые мемуаристы опираются не только на собственные наблюдения и впечатления, но используют и воспоминания других современников. Это и некоторые мемуарные очерки Т. П. Пассек в ее книге «Из дальних лет», а также краткие очерки В. К. Влазнева, Н. А. Макшеевой и В. В. Тимофеевой (О. Починковской).

Особое значение приобретают дневники современников, в которых образ Огарева воссоздан с документальной точностью, присущей этому жанру. Таковы дневниковые записи Н. А. Тучковой-Огаревой, где она пытается разобраться в психологической и нравственной сложности семейной драмы, в которую была вовлечена и семья Герцена.

В этом же ряду стоит и «Женевский дневник» А. Г. Достоевской, содержащий в себе ценнейшие свидетельства о встречах и беседах Достоевских с Огаревым в 1867—1868 гг. в Женеве. «Дневник» дочери Герцена, Н. А. Герцен, отразил некоторые стороны жизни Огарева весной и летом 1870 г., когда он принимал участие в политических акциях Нечаева и Бакунина.

Со страниц мемуарных произведений, публикуемых в книге, возникает образ человека глубокого интеллекта, высокой культуры, нравственной чистоты и редкого душевного обаяния.

Обращает на себя внимание тот факт, что об Огареве, его личности и обстоятельствах жизни, говорится нередко в воспоминаниях, посвященных не ему, а Герцену, хотя и в них, в немногих словах об Огареве, схватывается и отмечается

иногда нечто весьма существенное и примечательное. И все-таки на первом плане был Герцен, ибо именно Герцен являлся центральной фигурой русской революционной эмиграции. Он был первым русским человеком, основавшим за пределами родной страны Вольную типографию и превратившим свободное русское слово в могучее оружие борьбы с самодержавно-крепостническим строем. Но в годы эмиграции Герцен и Огарев жили и действовали как единомышленники и соратники, и было невозможно говорить о жизни одного из них, не вникая в обстоятельства жизни другого. Их общим трудом создавались «Полярная звезда», «Колокол» и другие издания Вольной типографии, которых нетерпеливо ждала и которые жадно читала революционная Россия.

* * *

О детских и отроческих годах своей жизни Огарев рассказал сам — в «Моей исповеди» и в первых двух главах «Записок русского помещика». Эти годы прошли в обстановке богатых барских усадеб, главным образом в Старом Акшене. Жили Огаревы в эту пору и в большом доме у Никитских ворот в Москве, и в Подмосковье — в Кунцеве на берегу Москвы-реки.

Об отдельных эпизодах этого периода жизни Огарева оставила свои заметки Т. П. Пассек в книге «Из дальних лет». В памяти мемуаристки запечатлелся «тихий, застенчивый мальчик», который смотрел «на все рассеянно своими кроткими, прекрасными глазами».

Противоречивые чувства вынес Огарев из детской и отроческой жизни в семье. Он вспоминал позже: «Молча сидели лакеи в передних, молча — горничные в девичьей. В этой атмосфере человек мог задохнуться, как в колодце. В ней развивался эгоизм личный и семейный — до тирании: все воли сосредоточивались на одной воле; все желания, вся жизнь других на одном желании, на одной жизни. Все это вызывало во мне сильное противодействие и отрывало от этого удушающего мира» [1].

Платон Богданович, отец Огарева, был типичным барином-крепостником. Жертвами его деспотического нрава бывали нередко те самые дворовые люди, на попечении которых находился его малолетний сын. Маленький Ник любил этих людей, тянулся к ним, встречая с их стороны внимательное, доброе и ласковое отношение к себе. Потому-то Огарев и мог сказать

---

[1] Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания. В 2-х томах, т. 2. М., Художественная литература, 1963, с. 614.

позднее: «...В то время было движение ненависти крепостного человека к барству. Я на этом чувстве и рос» [1].

Отрадой своих отроческих лет Огарев считал начало дружбы с Герценом, которая вскоре привела их к клятве на Воробьевых горах. Клятва вознесла их дружбу на такую высоту, с которой, как им казалось, вся последующая их жизнь сливалась в одну единую жизнь. Позже, будучи уже на чужбине и подводя первые итоги пройденному пути, Герцен утверждал: «Все изменилось вокруг: Темза течет вместо Москвыреки, и чужое племя около... и нет нам больше дороги на родину... Одна мечта двух мальчиков〈...〉уцелела!» [2]

Три десятилетия жизни Огарева, от начала дружбы с Герценом (1826) и до приезда к нему в Лондон (1856), нашли свое отражение в «Былом и думах» Герцена — выдающемся произведении русской литературы. Недаром свое великое творение его автор посвятил именно Огареву. В посвящении он писал: «В этой книге всего больше говорится о двух личностях. Одной уже нет,— ты еще остался, а потому тебе, друг, по праву принадлежит она».

В мемуарных очерках об Огареве автор «Былого и дум» не стремился к воспроизведению внешней стороны его жизни, к точному изложению фактов его биографии. В соответствии с общей задачей книги («отражение истории в человеке...»), главным для Герцена был *процесс духовного развития* Огарева в органической связи с общим историческим состоянием России 1820—1840-х гг., с развертыванием освободительного движения, с распространением передовых социально-политических и философских учений, художественно-эстетических идей.

Важным этапом в жизни Огарева были годы ученья в Московском университете. Поначалу — на правах вольнослушателя на математическом отделении, одновременно с Герценом (1829—1831). С января 1832 г. он стал действительным студентом нравственно-политического отделения. Но, как и прежде, Огарева часто видели на отделении словесном, которое было ближе его поэтической натуре. Видимо, было и стремление к энциклопедическому образованию.

Немного сведений дошло до нас об Огареве-студенте. Основными мемуарными источниками являются здесь «Былое и думы» Герцена и «Воспоминания из моей студенческой

---

[1] Огарев Н. П. Записки русского помещика.— Былое, 1924, № 27—28, с. 15.

[2] Герцен А. И. Сочинения в 9-ти томах, т. 4. М., Гослитиздат, 1956, с. 11.

жизни Я. П. Костенецкого — университетского товарища Огарева.

Сам Огарев признавался, что университетская жизнь захватила его полностью, что никакой другой жизни в эти годы у него не было. Вспоминал позднее: «В аудитории я почувствовал себя дома — на родине. Воспоминания об этом времени оставляют слезу, точно по усопшем друге» [1].

Живая картина студенческой жизни Московского университета возникает в «Былом и думах». Огарев и Герцен не ограничивают своих задач узким кругом только академических занятий. Они вырвались из-под домашнего надзора и стремятся к активной общественной деятельности. Их увлекает идея основания в стенах университета тайного общества, в котором можно было бы продолжить дело декабристов. «Мы были уверены,— говорит Герцен,— что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней» [2].

Вокруг Огарева и Герцена стал складываться кружок единомышленников. Первыми были Н. Сазонов и Н. Сатин. Несколько позже к кружку примкнули В. Пассек, М. Носков и некоторые другие студенты. «...День, в который мы сели рядом на одной из лавок амфитеатра и взглянули друг на друга с сознанием нашего обречения, нашей связи, нашей тайны, нашей готовности погибнуть, нашей веры в святость дела — и взглянули с гордой любовью на это множество молодых, прекрасных голов, окружавших нас, как на братственную паству, был великим днем в нашей жизни. Мы подали друг другу руку и à la lettre [3] пошли проповедовать свободу и борьбу во все четыре стороны нашей молодой «вселенной»... [4]

Собирались чаще всего у Огарева: он жил один в большом доме у Никитских ворот. «Идеи были смутны,— вспоминал автор «Былого и дум»,— мы проповедовали декабристов и французскую революцию, потом проповедовали сенсимонизм и ту же революцию, мы проповедовали конституцию и республику... Но пуще всего проповедовали ненависть к всякому насилью, к всякому правительственному произволу» [5].

Первые поэтические произведения Огарева, известные нам, относятся к годам обучения в Московском университете. В поэзии он начинает видеть свое жизненное призвание, основ-

---

[1] Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания, т. 2, с. 616.
[2] Герцен А. И. Сочинения в 9-ти томах, т. 4. с. 117.
[3] буквально *(фр.)*.
[4] Герцен А. И. Сочинения в 9-ти томах, т. 5, с. 577—578.
[5] Там же, с. 578.

ное дело всей своей будущей жизни. Летом 1833 г. он писал Герцену из Черткова: «Друг! Чувствуешь ли всю высоту, всю необъятность этого слова: поэзия? Ей одной предан я; она — моя жизнь, моя наука... Мое размышление — вдохновение» [1].

В преодолении всех сомнений решающим оказался голос Герцена: «Да, ты поэт, поэт истинный» [2].

Стихотворные опыты Огарева начала 1830-х гг. почти полностью укладывались в рамки романтического мироощущения. Поэт исходил из идеалистического противопоставления мира идей («всеобщего») миру материальных явлений («частного») («Когда в часы святого размышленья...», «Они торжественны, минуты вдохновенья..», «Размолвка с миром», «Разлад»).

К концу 1830-х гг. в творчестве Огарева все заметнее становятся реалистические тенденции. В таких произведениях как «Станция», «Молдованы», «Старый дом», «На смерть поэта», «Деревенский сторож» растет мастерство Огарева.

«Ночной сторож» Огарева — прелесть! В душе этого человека есть поэзия» [3],— писал Белинский в письме к В. П. Боткину. Чернышевский позднее назвал «прекрасным» стихотворение «Старый дом», утверждая, что оно «принадлежит истории, как принадлежат ей вообще жизнь и произведения г. Огарева» [4].

На рубеже 1839—1840-х гг. Огарев работал над поэмой «Юмор», которую Герцен считал гениальным произведением. «Вот наша Русь,— писал он,— родная, юная и сломанная, спустя рукава и подгулявши — но не понурая» (*Герцен*, т. XXV, с. 117). К началу 40-х гг. относятся и первые выступления Огарева в печати: в журнале «Отечественные записки появились стихотворения «Старый дом», «Деревенский сторож», «Кремль».

Я. П. Костенецкий рассказал в своих воспоминаниях об известной в начале 1830-х гг. в Московском университете «маловской истории», в которой Огарев вместе с Герценом принял самое живое и непосредственное участие. Эта история,

---

[1] Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения в 2-х томах, т. II. М., Госполитиздат, 1956, с. 264. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте с указанием лишь тома и страницы.

[2] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XXI. М., АН СССР, 1961, с. 23. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте с указанием тома и страницы.

[3] Белинский В. Г. Полн. собр. соч, т. XI. М., АН СССР, 1956, с. 565.

[4] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. III. М., Гослитиздат, 1947, с. 563.

как известно, вылилась в подлинную демонстрацию протеста студенчества против реакционных университетских порядков. Передовое студенчество искало формы участия в общественной борьбе. Костенецкий входил в тайный антиправительственный кружок отставного полковника П. Н. Сунгурова. В 1831 г. кружок был раскрыт и все его члены были арестованы. Костенецкий и его товарищи были приговорены к ссылке на Кавказ рядовыми солдатами. Ему предстояла далекая дорога без денег и без теплой одежды. Огарев организовал в своем товарищеском кругу сбор средств для оказания помощи осужденным. Он же, пренебрегая опасностью, организовал их проводы, и вскоре над ним был установлен полицейский надзор.

В ночь на 10 июля 1834 г. Огарев был арестован. Были изъяты все его бумаги и некоторые книги. Арест этот не был связан с деятельностью их собственного университетского кружка. Полиция пока еще ничего о нем не знала, хотя уже следила за Огаревым и его товарищами. Накануне была арестована группа студентов, которые на квартире «вольного механика» Скаретки распевали во время пирушки песенку, в которой зло высмеивались братья Романовы — умерший уже Александр I, великий князь Константин и царствующий император Николай I. Будучи полицейским агентом, Скаретка выдал жандармам студентов, столь непочтительных к царствующему дому. Среди арестованных оказался поэт В. И. Соколовский, который жил в Москве на квартире Н. М. Сатина. В бумагах последнего полицейские нашли письма Огарева, а в бумагах Огарева — письма Герцена. Все оказались под строгим арестом, хотя никого из них на студенческой пирушке у Скаретки и не было. Зато в их письмах были обнаружены рассуждения «в конституционном духе». В докладе на имя Бенкендорфа отмечалось: «...Более всех из содержащихся под арестом лиц обращают на себя внимание Огарев, Герцен и последователь их Оболенский, ибо в отобранных у первых двух бумагах оказываются некоторые сочинения и письма, кои подают повод заключить о каком-то намерении их» [1].

Дальнейшее известно: после почти девяти месяцев одиночного тюремного заключения и жандармского следствия Огарев и его друзья были отправлены в ссылку.

Об этих событиях подробно рассказал автор «Былого и дум». Арест и жандармское следствие явились для Огарева первым и серьезным испытанием — испытанием на мужество и верность своим идеалам, которое он выдержал с честью. «Как

---

[1] Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Под ред. М. К. Лемке, т. XII. М., Госиздат, с. 333.

высок и необъятно высок Огарев, этого сказать нельзя,— писал Герцен Н. А. Захарьиной,— перед этим человеком добровольно склонил бы я голову, ежели бы он не был нераздельною частию меня. Этот человек вполне, весь принадлежит идее и общей деятельности; что для него жизнь, богатство...» (*Герцен*, т. XXI с. 38—39).

С середины апреля 1835 г. для Огарева началась его пензенская ссылка, продолжавшаяся немногим более четырех лет —до сентября 1839 г., когда ему было разрешено возвратиться в Москву. За это время в жизни опального поэта произошли существенные изменения. В апреле 1836 г. он женился на Марье Львовне Рославлевой — племяннице пензенского гражданского губернатора, а в ноябре 1838 г.— похоронил отца, унаследовав от него большое помещичье хозяйство. Весной 1839 г. Огарев предпринял шаги к освобождению от крепостной зависимости крестьян Верхнего Белоомута — одной из богатейших своих вотчин в Рязанской губернии. Со всеми этими и другими событиями его жизни нас отчасти знакомят воспоминания Н. М. Сатина, В. К. Влазнева, П. В. Анненкова и Герцена.

Весной 1838 г. в состоянии тяжелой душевной депрессии Огарев отправился в Пятигорск, на что испрашивалось разрешение Бенкендорфа. «Я сам хорошенько не знаю,— писал позже Огарев в очерке «Кавказские воды»,— был ли я действительно болен или нет. Мне кажется, болезнь моя была только смутная тоска — конечно, не от того, что я был сослан,— ссылка для меня была сносна по положению и равнодушна по решимости терпеть. Я даже не думаю, чтоб у меня тогда была настоящая тоска по деятельности; это скорее была тоска темного сознания, что я свою жизнь пускаю по ошибочной колее; а между тем женат я был недавно и упорно думал, что я счастлив» (*Огарев*, т. I, с. 396).

Огарева страшила перспектива «бесплодного барства». На этот путь его стала склонять Марья Львовна, забывшая о недавних своих обетах. В Пятигорске Огарев встретился с Н. М. Сатиным, другом и университетским товарищем, членом их с Герценом кружка: «Я глубоко люблю всех моих немногих друзей; но Огарева я любил с такою нежностью, к которой только способна женская любовь!.. Более симпатичного свидания невозможно себе представить: мы плакали навзрыд, обнимая друг друга».

В Пятигорске Огарев встретился и подружился с поэтом-декабристом А. И. Одоевским, о чем подробно рассказал в упоминавшемся здесь очерке «Кавказские воды».

С раннего детства помнил Огарева белоомутский кресть-

янин В. К. Влазнев, рассказавший о том, как его односельчане вышли в вольные хлебопашцы. Огарев освободил их от крепостной зависимости, передав в общее владение за небольшой выкуп 8127 десятин земельных угодий, в том числе около 2000 десятин заливных Приокских лугов — главного богатства белоомутцев...

14 сентября 1839 г. Огарев приехал в Москву. В этот день Герцен писал своим друзьям во Владимир: «Огарев здесь — Москва расцвела» (*Герцен*, т. XXII, с. 44).

Служба в Московском сенате в должности мелкого канцелярского служащего была, конечно, вынужденной для Огарева. Он по-прежнему стремился к жизни творческой, к деятельности литературно-общественной. Огарев, по словам Герцена, был одарен «особой магнитностью, женственной способностью притяжения». «Дом его,— писал автор «Былого и дум»,— снова сделался средоточием, в котором встречались старые и новые друзья. И, несмотря на то, что прежнего единства не было, все симпатично окружало его» [1].

«Тон, интересы, занятия,— продолжал Герцен,— все изменилось. Друзья Станкевича были на первом плане; Бакунин и Белинский стояли в их главе...» [2] Последние следы взаимного непонимания, существовавшего между двумя кружками, снял Т. Н. Грановский, только что возвратившийся из заграничной командировки. «Где был Грановский,— утверждал Чернышевский,— там могло быть только одно чувство — чувство братства. Помощником его в этом деле был г. Огарев. Скоро их влиянию подчинились и те, которые жили в Петербурге и провинциях» [3].

Литературно-общественная жизнь в кругах передовой московской интеллигенции вновь оживилась. Однако для Огарева этот период был осложнен его разладом с женой. Нараставшую семейную драму он надеялся предотвратить, предприняв путешествие в Европу в 1841 г. Однако цели этой ему достичь не удалось: в 1844 г. супруги навсегда расстались. Как ни тяжело далась Огареву его семейная драма, но она не подавила его творческую мысль, постоянно питаемую духовной связью с Россией. За время европейских странствий поэт написал много различных произведений, среди них — лирический цикл «Bouch der Liebe» [4].

«Опыт Европы» помог Огареву и в утверждении на позициях философского материализма. 3 января 1845 г. Герцен

[1] Герцен А. И. Сочинения в 9-ти томах, т. 5, с. 6.
[2] Там же, с. 13.
[3] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. III, с. 223.
[4] «Книга любви» *(нем.)*.

записал в своем дневнике: «В самый новый год длинное письмо от Огарева — он развивается и притом, как-то одинаково со мной, с нами. Впрочем, сверх близости души, одна атмосфера современной мысли обнимает нас» (*Герцен*, т. II, с. 400).

Наиболее полно жизненный путь Огарева десятилетия 1835—1845 гг. прослежен П. В. Анненковым в его очерке «Идеалисты тридцатых годов». Очерк создавался в начале 1880-х гг. Использовались и личные воспоминания автора об Огареве, и его переписка с Герценом и некоторыми другими московскими друзьями в эти годы. Автографы многих из этих писем теперь уже утрачены, поэтому их опубликование Анненковым имеет для нас особенную ценность.

Важен и общий вывод автора очерка относительно духовного развития Огарева за время его европейских странствий: «Герцен был прав, когда говорил, что жизненным делом Огарева было создание той личности, какую он представлял из себя. Когда он появился наконец в Москве, окружающие узнали в нем прежнего добродушного, глубоко сердечного человека ⟨...⟩. Он сделался по плечу каждому человеку, как самому простому, так и самому развитому, потому что одинаково верно понимал их духовные нужды и входил в цепь их мыслей и представлений ⟨...⟩. Общие, горячие симпатии встречали его всюду, где он ни являлся за все время его последнего пребывания в России. В семействе Герцена и Тучковых образовалось даже нечто вроде *огаревского культа* за дар, которым отличался герой его открывать в самых глубоких тайниках человеческого сердца скрытные желания, влечения и помыслы, поощрять их и выводить на свет к жизни и свободе ⟨...⟩, по изяществу нравственной своей природы Огарев выходил чистым из всех положений; он не мог уже замараться ни в какой грязи, и брызги мутных житейских волн стекали с него, не оставляя никаких следов».

В облике Огарева Анненков не смог увидеть лишь тех задатков будущего его развития, которые потом проявились в годы революционной эмиграции, в годы совместной работы с Герценом. Они проявились со всей отчетливостью уже летом 1846 г. в Соколове.

Основным мемуарным источником для понимания того, что произошло летом 1846 г. на подмосковной даче в Соколове, остаются для нас до сих пор «Былое и думы» Герцена. Другие мемуаристы либо совсем не затронули существа происшедших здесь теоретических споров и расхождений, либо позднее сверяли свои воспоминания с герценовским первоисточником. Такими являются, в частности, воспоминания М. К. Рейхель и И. И. Панаева.

Огарев, как это видно из «Былого и дум», решительно поддержал Герцена в его спорах с Грановским по коренному вопросу философии, который стал предметом обсуждения. Он оказался на той высоте, на которой стоял в эту пору его друг. Что касается меры этой высоты, о ней позднее В. И. Ленин писал: «Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед — историческим материализмом»[1].

В плане социально-политическом смысл соколовских споров и разногласий между членами кружка Огарева и Герцена заключался в том, что здесь по существу впервые обнаружились две основные тенденции, две линии в русском освободительном движении. Одна из таких тенденций, которую защищали Огарев и Герцен, выражала идеологию революционного демократизма. Другая тенденция, отстаивавшаяся Грановским и теми, кто в конечном счете встал на его сторону (Н. Х. Кетчер, В. П. Боткин, Е. Ф. Корш, М. С. Щепкин и др.), вела к буржуазно-дворянскому либерализму и реформизму. Образование общественно-политических лагерей — дело 1860-х гг., когда начался новый, разночинский период в освободительном движении России. Однако их предпосылки стали складываться уже во второй половине 1840-х гг.

Идейно-теоретический разрыв с Грановским был тяжело пережит Огаревым, о чем говорит его стихотворение «Искандеру». Как свидетельствует Герцен, оно было написано по дороге в Москву, куда Огарев отправился на другой день после решающих полемических схваток с Грановским и его сторонниками.

Я правды речь вел строго в дружнем круге —
Ушли друзья в младенческом испуге.
И он ушел — которого как брата
Иль как сестру так нежно я любил!
Мне тяжела, как смерть, его утрата;
Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное, как ласка,
И дружба с ним мне памятна, как сказка.

Отголоски идейного разрыва 1846 г. слышались в переписке Герцена, Огарева и Грановского и его сторонников на протяжении многих лет. Так, в одном из писем 1849 г., вспоминая о соколовских спорах, Грановский писал Герцену: «В дружбу мою к вам двум ⟨...⟩ ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня горько плакать в 1846 году и обвинять себя в бессилии разорвать

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 256.

связь, которая, по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я тогда, что вы прикреплены к моей душе такими нитями, которые нельзя перерезать, не захватив живого мяса [1].

После Соколова жизненные пути друзей расходились. Герцен начал хлопоты о заграничных паспортах. Огарев 2 ноября 1846 года отправился из Москвы в Старое Акшено с целью осуществления своих хозяйственных и просветительных планов. Грановский оставался в Москве, но возглавленный им «московский кружок», по словам И. И. Панаева, постепенно «мельчает, бледнеет, выдыхается» [2].

С осени 1846 — до весны 1849 г. Огарев безвыездно живет в Старом Акшене. Однако осуществить здесь свои планы в полной мере ему не удается. Гражданский брак с Н. А. Тучковой, хозяйственные трудности поставили его перед необходимостью нелегального отъезда за границу. К этой мысли он пришел еще и потому, что в стране усиливалась реакция в связи с революционными событиями в Европе в 1848 г. Но и это намерение сразу не было осуществлено. Информированная об его планах, М. Л. Огарева, жившая в Париже, предъявила ко взысканию векселя, подаренные ей Огаревым в 1846 г. с тем, чтобы обеспечить ее средствами после разрыва их семейных отношений. Вскоре в ход событий вмешиваются ближайшие родственники Марьи Львовны — отец Л. Я. Рославлев и дядюшка губернатор А. А. Панчулидзев, направившие в III Отделение два доноса, на основании которых Огарев был арестован по «высочайшему повелению» и с жандармским конвоем доставлен в Петербург. Одновременно были арестованы А. А. Тучков и Н. М. Сатин — муж старшей дочери А. А. Тучкова.

Обо всех этих событиях — с разной степенью полноты и достоверности — рассказали в своих мемуарах Н. А. Герцен, Н. А. Тучкова-Огарева и А. Я. Панаева (Головачева).

Дневниковые записи Н. А. Герцен (жены) относятся к концу октября 1846 — началу января 1847 годов. В них она оставила свои воспоминания о соколовских спорах, тяжело пережитых и ею; об отъезде Огарева в Старое Акшено. Ценность этих записей в том, что Н. А. Герцен попыталась охарактеризовать личность Огарева.

«Воспоминания» Н. А. Тучковой-Огаревой знакомят нас с жизнью Огарева в Старом Акшене (1846—1849 гг.) и на Тальской писчебумажной фабрике (1850—1855). Рассказала

---

[1] Литературное наследство, т. 62. М., АН СССР, с. 96.

[2] Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950, с. 215.

мемуаристка и о своей любви к Огареву и гражданском браке с ним, о неудачной их попытке тайного отъезда за границу летом 1849 г., об арестах и жандармском следствии, и о многих других событиях, последовавших за этим,— вплоть до отъезда в Лондон к Герцену в марте 1856 г. Свое повествование об этой поре жизни и занятиях Огарева она основывала не только на личных воспоминаниях, но и на документах: в ее распоряжении были письма Огарева к ней самой и к Герценам. Особенно ценны для нас те страницы ее книги, где она касается поэтического творчества Огарева.

А. Я. Панаева (Головачева) в своих «Воспоминаниях», в частности, попыталась рассказать о деле, связанном с «огаревским наследством». К этому делу она имела прямое и непосредственное отношение. Но все, о чем она рассказала, находится в полном противоречии с реальными фактами [1]. Возможно, что об одной части правды Панаева уже забыла (воспоминания писались в конце 1880-х гг.), а о другой части той же правды ей вряд ли уже и хотелось вспоминать. Так или иначе, но суть дела мемуаристка обошла молчанием. Суть же заключалась в следующем. Будучи доверительницей М. Л. Огаревой, Панаева в 1851 г. взыскала с Огарева в пользу его бывшей жены капитал в размере, примерно, 57 тыс. руб. сереб. Значительную часть этого капитала составляли наличные деньги. Но даже и эта часть своевременно не была передана по назначению. Отказалась Панаева возвратить капитал и наследникам Марьи Львовны после ее смерти. В результате возник судебный процесс, продолжавшийся около четырех лет и завершившийся решением о взыскании с Панаевой и ее помощника Н. С. Шаншиева всей первоначальной суммы (85815 руб. сереб.), на которую в 1846 г. Огарев выдал векселя бывшей своей жене. Только вмешательство Некрасова помогло Панаевой с трудом выпутаться из этой неприглядной «истории».

В ноябре 1855 г. Огарев прибыл в Петербург, чтобы предпринять хлопоты о заграничных паспортах. Мысль об эмиграции, о присоединении к Герцену не покидала его с тех пор, как ему еще раз пришлось побывать под арестом и жандармским следствием в феврале — марте 1850 г. В этой мысли он утвер-

---

[1] Черняк Я. З. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве (Дело Огарева — Панаевой). По архивным материалам. М.— Л., 1933, с. 305—543. Бессонов Б. Л. К истории «огаревского дела» (по новонайденным материалам).— Русская литература, 1978, № 3, с. 139—144; Его же: По поводу одной публикации. Документы «огаревского дела».— Некрасовский сборник. VIII. Л., 1983, с. 140—145; с. 154—176.

дился еще более после того, как ему стало известно решение царского правительства о лишении Герцена всех «прав состояния» и об изгнании его навечно «из пределов российского государства» за отказ возвратиться в Россию по вызову III Отделения. Но в ту пору, в 1850 г., о выезде за границу нечего было и думать. Над Огаревым вновь был установлен строгий полицейский надзор. Связывала руки и Тальская фабрика. Но он не терял надежды встать рядом со своим другом у станков Вольной типографии. В одном из писем той поры (1850—1851 гг.) Огарев писал Герценам: «...Мысль моя беспрерывно с вами... Дела и отношения страшно сложные разлучают нас. Но хотя я конь, прошедший дотла всю манежную школу, но все же уверен, что сброшу этого тяжелого седока и постепенно приготовляюсь к этому salto, хотя бы оно было salto mortale». И в заключение письма: «...на прощанье скажу вам, что жизнь моя должна кончиться с теми, с кем началась. Этой отрады я из рук не выпущу» [1].

В 1855 г. положение действительно изменилось. После смерти Николая I Огарев почувствовал возможность ставить вопрос о выезде за границу. С этой надеждой он и приехал в Петербург.

В последние месяцы жизни на родине Огарев входит в литературную жизнь столицы. По свидетельству Н. А. Тучковой-Огаревой, его все время «тормошит» Тургенев, бывая на квартире Огаревых иногда по два-три раза в день. Огарев знакомится с Л. Н. Толстым, часто встречается с А. Н. Островским, бывает на литературных вечерах. Шумным успехом пользуется его поэма «Зимний путь». 21 (9) декабря 1855 г. Тургенев писал П. В. Анненкову: «Между прочим, Огарев здесь — и написал небольшую, Вам, неблагодарный человек, посвященную поэму — «Зимний путь», истинный chef d'oeuvre, в котором он совместил всю свою поэзию, всего себя со всей своей задушевной и задумчивой прелестью. Мы с Толстым уже три раза упивались этим нектаром» [2].

К изданию поэт подготовил первый сборник своих «Стихотворений», включив в него около восьмидесяти поэтических произведений.

...16 января 1856 г. Огарев узнал, наконец, что выезд за границу ему и его жене Наталье Алексеевне разрешен. Немногим друзьям, пришедшим проводить его в далекую дорогу, он

---

[1] Литературное наследство, т. 61, с. 795, 796.

[2] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. В 28-ми томах. Письма, т. II. М.— Л., Наука, 1961, с. 328.

говорил: «...Я ни за что не останусь за границей, я поживу там и опять вернусь на родную сторону... Я люблю Россию и все русское, на чужбине я задохнусь — сгибну» [1].

Однако уже в этот момент Огарев не мог не понимать, не мог не чувствовать, хотя бы и смутно, что обратной дороги в Россию ему не будет.

* * *

9 апреля (28 марта) 1856 г. Огарев был уже на лондонской квартире Герцена. «Первая мысль, после удивления, шума и нервного оглушения: «Он очень болен» — отравила радость. И вот в ту торжественную минуту, которой я только и ждал еще, о которой едва смел мечтать... точно что-то резнуло глубоко по сердцу...» — писал Герцен, вспоминая первые минуты встречи с другом после десятилетней разлуки с ним (*Герцен*, т. XII, с. 460).

С этого дня начался период революционной эмиграции Огарева, продолжавшийся более двух десятилетий и увенчавшийся новыми значительными творческими свершениями.

Приезд Огарева в Лондон воодушевил Герцена. Огарев в это время стал для него как бы частью самой России, живым дыханием родины — далекой, но всегда близкой сердцу. 8 января 1857 г. (27 декабря 1856 г.) он писал Н. М. Щепкину в Россию: «Частно я теперь опять живу на Покровке или на Маросейке, т. е. с приезда Огарева» (*Герцен*, т. XXVI, с. 68).

Важнейшие события заграничной жизни и деятельности Огарева нашли более или менее полное отражение и в литературе мемуарной: в завершенных очерках, в дневниковых записях, в небольших по объему заметках, в отдельных репликах. Наибольшую ценность представляют для нас тут свидетельства самого Герцена, воспоминания и дневниковые записи Н. А. Тучковой-Огаревой, Н. А. Герцен (дочери), Т. П. Пассек и некоторых других мемуаристов.

С первых же дней пребывания в Лондоне Огарев стал заниматься делами Вольной типографии, готовить статьи и другие материалы для «Полярной звезды». Он обратил внимание Герцена на то, что организованные им издания страдают одним существенным недостатком: они не поспевали за ходом русской общественно-политической и литературной жизни.

---

[1] Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания, т. 2, с. 602.

Н. А. Тучкова-Огарева свидетельствует: «...Однажды Огарев после lunch'а сказал Герцену при мне:

— А знаешь, Александр, «Полярная звезда», «Былое и думы» — все это хорошо, но это не то, что нужно, это не беседы со своими,— нам нужно бы издавать правильно журнал, хоть в две недели, хоть в месяц раз; мы бы излагали свои взгляды, желания для России и проч.

Герцен был в восторге от этой мысли.

— Да, Огарев,— вскричал он с оживлением,— давай издавать журнал, назовем его «Колокол», ударим в вечевой колокол, только вдвоем, как на Воробьевых горах мы были тоже только вдвоем,— и кто знает, может, кто-нибудь и откликнется!

С этого дня они стали готовить статьи для «Колокола»; через некоторое время появился первый номер этого русского органа в Лондоне».

Герцен и сам не раз указывал на инициативу Огарева в издании «Колокола», на то, что «груз» этого издания лежал главным образом на Огареве. В связи с этим у одного из мемуаристов, В. И. Кельсиева, сложилось убеждение в том, что именно Огарев «дал более правильный ход пропаганде».

В продолжение почти двух лет делил Огарев с Герценом его труды и заботы по изданиям Вольной типографии. Статьи в «Полярной звезде» и в «Колоколе» он подписывал буквами «Р. Ч.» («Русский человек»). После опубликования известных рескриптов Александра II о подготовке крестьянской реформы Огарев решил отказаться от конспирации, о чем и сделал соответствующее заявление 15 февраля 1858 г. в «Колоколе». Спустя год, 19(7) апреля 1859 г., начальник III Отделения Долгоруков предписал русскому посланнику в Лондоне объявить Огареву «высочайшее повеление» о немедленном возвращении в Россию. Огарев отказался от возвращения на родину по вызову III Отделения. В декабре 1860 г., после длительных судебных процедур, и Огарев, вслед за Герценом, был признан гражданским лишенным «всех прав состояния» и изгнанным навечно из пределов Российской империи.

В то время как царские министры изыскивали юридические основания для расправы над Огаревым, последний вместе с представителями русского революционного подполья напряженно трудился над созданием общерусской тайной организации с целью свержения самодержавно-помещичьего строя. Она получила наименование «Земли и воли». Эти слова были взяты из программной статьи Огарева «Что нужно народу?», опубликованной 1 июля 1861 г. в «Колоколе» (л. 102). Один из

руководителей «Земли и воли», А. А. Слепцов, вспоминал позже: «Читая прокламацию Огарева в июле 1861 г., мы и не думали, что будем состоять в обществе, два слова названия которого были уже указаны в первой ее строке. Позже Огарев рассказал мне, что на его вопрос: «как бы лучше назвать тайное общество, если бы основать его сейчас? Герцен ответил: — «Да ты уж сам сказал несколько месяцев назад. Конечно, «Земля и воля». Немного претенциозно, но ясно и честно,— потому что сейчас это именно и нужно». Огареву так понравилось это Колумбово яйцо, что он потом и предложил такое название».

Годы революционной ситуации (1859—1861) — время наивысшей популярности лондонских изданий Герцена и Огарева. В. И. Кельсиев рассказывает в своей «Исповеди»: «Кого только не перебывало при мне у Герцена! Бывали губернаторы, генералы, купцы, литераторы, дамы, старики и старухи, бывали студенты,— точно панорама какая-то проходила перед глазами, точно водопад лился... Серьезные свидания составляли, как я сказал, тайну Герцена и Огарева».

Гостями Герцена и Огарева в Лондоне или в Женеве в разное время бывали Тургенев и публицист Н. В. Шелгунов, Чернышевский и поэт М. Л. Михайлов, Толстой и музыкант А. Г. Рубинштейн, Бакунин и художник-живописец А. А. Иванов и многие другие деятели русской культуры того времени. Об одних из них рассказала в своих «Воспоминаниях» Н. А. Тучкова-Огарева. Другие сами поведали о своих впечатлениях от встреч с Огаревым и Герценом. Среди них были А. П. Милюков и В. А. Панаев, А. Н. Пыпин и Е. Ф. Юнге, Л. П. Шелгунова и А. Г. Достоевская, В. С. Акимов и А. А. Слепцов. Их воспоминания об Огареве всего лишь небольшие заметки о будничных сторонах его жизни. Но и в этих немногих словах они сумели выразить свое глубокое уважение и любовь к Огареву, подметить обаяние его личности.

А. Г. Достоевская рассказала, что, прибыв летом 1867 г. в Женеву, они оказались с Федором Михайловичем в трудном положении: никого из знакомых здесь у них не было. «Из прежних же знакомых,— продолжала мемуаристка,— он встретил в Женеве одного Н. П. Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились. Огарев часто заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал иногда десятью франками, которые мы при первых же деньгах возвращали ему. Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого задушевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению».

Писательница В. В. Тимофеева (О. Починковская) свидетельствует, что «любимейшими» своими стихами Достоевский называл следующие строки из поэмы Огарева «Тюрьма» (1857—1858):

Я в старой библии гадал
И только жаждал и вздыхал,
Чтоб вышло мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка...

Заграничная жизнь Огарева в большей ее части была омрачена новым разладом в его семье. В этот разлад была вовлечена и семья Герцена. В результате возникла сложная семейная драма, которая на протяжении многих лет тяжелым бременем лежала на жизни друзей и соратников по общей борьбе. Оценивая последствия этой драмы, Герцен с горечью писал в одном из писем 1867 г. к Огареву: «Господи! сколько времени, жизни, идей, сил пошло на этот внутренний раздор и бой!» (*Герцен*, т. XXIX, с. 57).

На второй год по приезде в Лондон Наталья Алексеевна стала женой Герцена.

Вся сложность этой нравственной коллизии отражена в дневниковых записях и других исповедальных документах Н. А. Тучковой-Огаревой, помещенных в настоящей книге.

Необходимо заметить, что, вступая в новые отношения друг с другом, Огарев, Герцен и Тучкова-Огарева исходили не только из собственных чувств и настроений. Были приняты во внимание и интересы семьи Герцена — его осиротевших детей. Вот почему Тучкова-Огарева отмечала в своих записях, что в те дни, когда она оказалась во власти новых чувств, в голову ей «пришла светлая мысль быть им обоим любящей, преданной сестрой», а детям Герцена если не матерью, то «заботливой, любящей нянькой...» И в другом месте она продолжала: «Сначала он (Герцен.—*С. К.*) мечтал, как и Огарев, что это будет единение трех личностей во имя четвертой, отсутствующей...»

Судьба детей все время беспокоила Герцена. Ему тяжело было видеть, как они постепенно превращались в иностранцев, забывали родной язык и утрачивали духовную связь с родиной, с русской культурой. В этих обстоятельствах и Герцену, и Огареву Тучкова-Огарева представлялась единственным человеком, способным изменить, исправить положение, реально помочь детям.

Жизнь развеяла все эти надежды. В новой ситуации отношения в семье Герцена осложнились, и вся эта драма легла на его душу непомерной тяжестью.

Общая семейная драма не только не сломила Огарева, а, напротив, с новой силой осветила удивительную красоту его нравственного облика, его души. Хорошо видел и понимал это Герцен, который 2 июня (21 мая) 1869 г. писал своим старшим детям: «Ширь и чистота его меня всегда удивляют и подавляют — он из всего выходит, как месяц из-за облака» (*Герцен*, т. XXX, с. 124).

В годы эмиграции творческие силы Огарева проявлялись главным образом в публицистике, в деятельности, связанной с русским революционным подпольем. Но и в этих обстоятельствах он оставался поэтом. Только в первое десятилетие заграничной жизни он написал более 100 поэтических произведений — лирических стихотворений и поэм, памфлетов и очерков. Среди них — стихотворения «Коршу», «Свобода», «Сторона моя родимая», «Памяти Рылеева», «Напутствие», поэмы — «Ночь», «Тюрьма», «Матвей Радаев», «С того берега», «Забытье» и др. Нередко публицистический пафос освещал его лирику, подчиняя задачам освободительного движения и эту часть его творческой деятельности.

В январе 1870 г. не стало Герцена. Смерть друга потрясла Огарева. 6 февраля он писал М. Мейзенбуг: «Да, если я сам Вам до сих пор не написал, то это потому, что я действительно продолжаю пребывать в состоянии немоты и потрясения и до сих пор не могу понять — как, что случилось. Единственное мое ощущение, что я что-то потерял и остаюсь один... Но так случилось, и я еще остаюсь жить для нашей работы...» [1]

До конца жизни Огарев не переставал жить воспоминаниями о Герцене.

Последние годы активной общественно-политической жизни и деятельности Огарева (1869—1870) были омрачены его кратковременным сотрудничеством с М. А. Бакуниным и С. Г. Нечаевым.

Личность Нечаева, результаты его недолгой деятельности хорошо теперь известны. Он пытался утвердить в русском освободительном движении иезуитский принцип «цель оправдывает средства», т. е. аморализм и политический авантюризм. Эта особенность Нечаева и нечаевщины отчетливо видна и в приведенных воспоминаниях Н. А. Тучковой-Огаревой, С. И. Серебренникова, в дневниковых записях и воспоминаниях Н. А. Герцен, дочери Герцена.

---

[1] Желвакова И. А. и Рудницкая Е. Л. Остаюсь жить для нашей работы... (Новое в эпистолярном наследстве Огарева и Герцена).— Освободительное движение России. Межвузовский научный сборник. Вып. 7, изд. Саратовского ун-та, 1978, с. 89.

В Женеву Нечаев прибыл в начале апреля 1869 г. с намерением «прибрать к рукам старых эмигрантов, чтобы использовать их авторитет для влияния на молодежь и воспользоваться их типографией и деньгами»[1].

Поначалу Огарев отнесся к Нечаеву с явным недоверием. «Мне так что-то страшно»,— писал он Герцену в эти дни (*Огарев*, т. II, с. 534). Но Бакунин, по свидетельству С. Серебренникова, «признал сам и убедил Н. П. Огарева, что Нечаев есть человек, глубоко, горячо и серьезно преданный русскому делу». А «дело» это требовало денег будто бы для спасения от «неминуемой гибели сотен людей, принадлежащих к организации», за представителя которой Нечаев себя выдавал. Нечаев решил использовать особый денежный фонд, который был в распоряжении Герцена и Огарева.

Не располагая надежными связями с русским революционным подпольем, Огарев поверил Бакунину и Нечаеву, не подозревая о том, что стал жертвой чудовищного нечаевского обмана. Он знал только, что в России в это время происходили крестьянские волнения в губерниях, охваченных голодом. Производились аресты среди студенческой молодежи в Петербурге, в Москве и других городах. В деятельности Нечаева Огарев увидел возможность возрождения «заграничной прессы», о чем не раз говорил с Герценом. И Нечаев получил доступ к той части Бахметьевского фонда, которая (после раздела его с Герценом на две равные части) перешла в распоряжение Огарева. Но многого не замечая до поры в действиях Нечаева, Огарев решительно противодействовал его попыткам ввести в освободительное движение иезуитские идеи и методы.

Туман нечаевских мистификаций стал постепенно рассеиваться. К началу июля 1870 года относится последняя встреча Огарева с Нечаевым в присутствии Бакунина. Объяснения были тяжелыми и завершились они разрывом: Огарев и Бакунин потребовали, чтобы Нечаев незамедлительно покинул Швейцарию.

В последние годы жизни в эмиграции Огарев как-то особенно остро испытывал любовь к родине. В беседах с Т. П. Пассек, побывавшей у него летом 1873 г. в Женеве, он говорил, как хотелось бы ему увидеть Россию, подышать запахом широких полей, услышать шум дубравы и родную русскую

---

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих.— Сочинения, т. 18. М., 1961, с. 390.

речь. Но Огарев решительно отклонил предложение собеседницы просить «лиц влиятельных» о дозволении ему возвратиться на родину. «Нет, старый друг, не говори обо мне с высшими...— мне умереть на чужбине» [1].

Осенью 1874 г. Огарев переехал в Англию, поселился в Гринвиче — близ Лондона. Он продолжал поддерживать связи с представителями русской революционной эмиграции — с П. Л. Лавровым и его последователями, издававшими в Лондоне журнал и газету «Вперед!». Представители нового поколения навещали в Гринвиче ветерана русского освободительного движения и позже выступили со статьями и воспоминаниями о нем.

Незадолго до смерти А. Гольстейн вместе с Лавровым посетила Огарева. Она была поражена множеством портретов и фотографий, развешанных по стенам гостиной — портреты Белинского, Грановского, Герцена, Станкевича. «Я поняла, что соприкоснулась на мгновение с иным миром, таким далеким и близким».

12 июня (31 мая) 1877 г. Огарева не стало. О последних днях и часах его жизни рассказала в письме в Россию Н. А. Герцен. Среди тех, кто проводил Огарева в последний путь, были и представители русской революционной эмиграции в Лондоне.

Воспоминания современников характеризуют Огарева как неутомимого и целеустремленного соратника Герцена, его самого близкого друга. Их удивительное личное и творческое содружество в годы эмиграции явилось той силой, которая позволила им вписать одну из самых ярких страниц в историю русской литературы и общественной мысли. Перед ними никогда не возникал вопрос о «первенстве». Они знали одно: без истинной преданности друг другу не было бы и их самих как издателей «Полярной звезды» и «Колокола». «Мы воспитали друг друга»,— утверждал Герцен, имея в виду себя и Огарева (*Герцен*, т. XXI, с. 101). Так было в молодости. Так было до конца жизни одного из них...

Все, кому довелось встретиться с Огаревым на жизненном пути, были единодушны в своем отношении к нему, в своей высокой оценке его личности.

Немного сведений оставили нам мемуаристы о поэтической деятельности Огарева. Важно, однако, то, что она была

---

[1] Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания, т. 2, с. 622—623.

замечена современниками и играла значительную роль в их жизни. Герцен был убежден в том, что поэзия Огарева является связующим звеном между поэзией Пушкина и Лермонтова, с одной стороны, и Некрасова — с другой.

Творческое наследие Огарева давно уже стало духовным достоянием народа. Воспоминания современников, впервые собранные в книге, подтверждают, что и сам Огарев со всем своеобразием своего жизненного и творческого пути повлиял на свое время, на сознание своих современников.

С. Конкин

Н. П. ОГАРЕВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

А. И. ГЕРЦЕН

БЫЛОЕ и ДУМЫ

ИЗ ЧАСТИ ПЕРВОЙ: ДЕТСКАЯ И УНИВЕРСИТЕТ (1812—1834)

(ГЛАВЫ IV, VI, VII)

Года за три до того времени, о котором идет речь, мы гуляли по берегу Москвы-реки в Лужниках, то есть по другую сторону Воробьевых гор. У самой реки мы встретили знакомого нам француза-гувернера в одной рубашке; он был перепуган и кричал: «Тонет! тонет!» Но прежде, нежели наш приятель успел снять рубашку или надеть панталоны, уральский казак сбежал с Воробьевых гор, бросился в воду, исчез и через минуту явился с тщедушным человеком, у которого голова и руки болтались, как платье, вывешенное на ветер; он положил его на берег, говоря: «Еще отходится, стоит покачать».

Люди, бывшие около, собрали рублей пятьдесят и предложили казаку. Казак без ужимок очень простодушно сказал: «Грешно за эдакое дело деньги брать, и труда, почитай, никакого не было, ишь какой, словно кошка. А впрочем,— прибавил он,— мы люди бедные, просить не просим, ну, а коли дают, отчего не взять, покорнейше благодарим». Потом, завязавши деньги в платок, он пошел пасти лошадей на гору. Мой отец спросил его имя и написал на другой день о бывшем Эссену. Эссен произвел его в урядники. Через несколько месяцев явился к нам казак и с ним надушенный, рябой, лысый, в завитой белокурой накладке немец; он приехал благодарить за казака,— это был утопленник. С тех пор он стал бывать у нас.

Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес, от них он перешел к одному симбирскому помещику, от него — к дальнему родственнику моего отца [1]. Мальчик, которого физическое здоровье и германское произношение было ему вверено и которого Зонненберг называл Ником, мне нравился, в нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое; он вовсе не походил на других мальчиков,

которых мне случалось видеть; тем не менее сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив; я резов, но боялся его тормошить.

Около того времени, как тверская кузина уехала в Корчеву [2], умерла бабушка Ника [3], матери он лишился в первом детстве. В их доме была суета, и Зонненберг, которому нечего было делать, тоже хлопотал и представлял, что сбит с ног; он привел Ника с утра к нам и просил его на весь день оставить у нас. Ник был грустен, испуган; вероятно, он любил бабушку. Он так поэтически вспомнил ее потом:

И вот теперь в вечерний час
Заря блестит стезею длинной,
Я вспоминаю, как у нас
Давно обычай был старинный,
Пред воскресеньем каждый раз
Ходил к нам поп седой и чинный
И перед образом святым
Молился с причетом своим.

Старушка, бабушка моя,
На креслах опершись, стояла,
Молитву шепотом творя,
И четки всё перебирала;
В дверях знакомая семья
Дворовых лиц мольбе внимала,
И в землю кланялись они,
Прося у бога долги дни.

А блеск вечерний по окнам
Меж тем горел...
По зале из кадила дым
Носился клубом голубым.

И все такою тишиной
Кругом дышало, только чтенье
Дьячков звучало, и с душой
Дружилось тайное стремленье,
И смутно с детскою мечтой
Уж грусти тихой ощущенье
Я бессознательно сближал
И все чего-то так желал.

«Юмор» [4]

...Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились; мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию.

От Мёроса, шедшего с кинжалом в рукаве, «чтоб

город освободить от тирана», от Вильгельма Телля [5], поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта — переход к 14 декабря и Николаю был легок. Мысли эти и эти сближения не были чужды Нику, ненапечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны; разница с пустыми мальчиками, которых я изредка встречал, была разительна.

Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим *бушотовским* терроризмом [6], объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI.

— Всё так,— заметил юный князь О.,— но ведь он был помазанник божий!

Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним.

Этих пределов с Ником не было, у него сердце так же билось, как у меня, он также отчалил от угрюмого консервативного берега, стоило дружнее отпихиваться, и мы, чуть ли не в первый день, решились действовать в пользу цесаревича *Константина!*

Прежде мы имели мало долгих бесед. Карл Иванович мешал, как осенняя муха, и портил всякий разговор своим присутствием, во все мешался, ничего не понимая, делал замечания, поправлял воротник рубашки у Ника, торопился домой, словом, был очень противен. Через месяц мы не могли провести двух дней, чтоб не увидеться или не написать письмо; я с порывистостью моей натуры привязывался больше и больше к Нику, он тихо и глубоко любил меня.

Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьезный. Я не помню, чтоб шалости занимали нас на первом плане, особенно когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте, лета брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука; но основа всего была очень далека от пустого товарищества; нас связывала, сверх равенства лет, сверх нашего «химического» сродства, наша общая религия. Ничего в свете не очищает, не облагороживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе наше будущее, мы смотрели друг на друга как на сосуды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили с Ником за город, у нас были любимые места — Воробьевы горы, поля за Драгомилов-

ской заставой. Он приходил за мной с Зонненбергом часов в шесть или семь утра и, если я спал, бросал в мое окно песок и маленькие камешки. Я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти к нему.

Ранние прогулки эти завел неутомимый Карл Иванович.

Зонненберг в помещичье-патриархальном воспитании Огарева играет роль — Бирона. С его появлением влияние старика-дядьки [7] было устранено; скрепя сердце молчала недовольная олигархия передней, понимая, что проклятого немца, кушающего за господским столом, не пересилишь. Круто изменил Зонненберг прежние порядки; дядька даже прослезился, узнав, что немчура повел молодого барина *самого* покупать в лавки готовые сапоги. Переворот Зонненберга так же, как переворот Петра I, отличался военным характером в делах самых мирных. Из этого не следует, чтобы худенькие плечи Карла Ивановича когда-нибудь прикрывались погоном или эполетами,— но природа так устроила немца, что если он не доходит до неряшества и sans-gêne * филологией или теологией, то, какой бы он ни был статский, все-таки он военный. В силу этого и Карл Иванович любил и узкие платья, застегнутые и с перехватом, в силу этого и он был строгий блюститель собственных правил и, положивши вставать в шесть часов утра, поднимал Ника в 59 минут шестого, и никак не позже одной минуты седьмого, и отправлялся с ним на чистый воздух.

Воробьевы горы, у подножия которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими «святыми холмами».

Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были нешуточными делами. В четвероместной карете «работы Иохима», что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную, службу состареться до безобразия и быть по-прежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше. Четыре лошади разного роста и не одного цвета, обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом; это было *запрещено* кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты,

* бесцеремонности *(фр.)*.

какой бы жар ни был; и ко всему этому рядом с равномерно гнетущим надзором моего отца беспокойно суетливый, тормошащий надзор Карла Ивановича, но мы охотно подвергались всему, чтоб быть вместе.

В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку на самом том месте, где казак вытащил из воды Карла Ивановича. Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах.

Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.

Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но, видно, одинакая судьба поражает все обеты, данные на этом месте; Александр был тоже искренен, положивши первый камень храма[8], который, как Иосиф II сказал, и притом ошибочно, при закладке какого-то города в Новороссии,— сделался последним.

Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли. *Сила* сломила в нас многое, *но не она* нас сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на все ее удары. Рубцы, полученные от нее, почетны,— свихнутая нога Иакова была знамением того, что он боролся ночью с богом.

С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни. Там спрашивал меня Огарев, пять лет спустя, робко и застенчиво, верю ли я в его поэтический талант, и писал мне потом (1833) из своей деревни: «Выехал я, и мне стало грустно, так грустно, как никогда не бывало. А всё Воробьевы горы. Долго я сам в себе таил восторги; застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их, но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством, ты разделял его со мной, и эти минуты

незабвенны, они, как воспоминания о былом счастье, преследовали меня дорогой, а вокруг я только видел лес; все было так синё, синё, а на душе темно, темно.

— Напиши,— заключал он,— как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, то есть моей и твоей»[9].

Прошло еще пять лет, я был далеко от Воробьевых гор, но возле меня угрюмо и печально стоял их Прометей — А. Л. Витберг. В 1842, возвратившись окончательно в Москву, я снова посетил Воробьевы горы, мы опять стояли на месте закладки, смотрели на тот же вид и так же вдвоем,— но не с Ником.

С 1827 мы не разлучались. В каждом воспоминании того времени, отдельном и общем, везде на первом плане *он* с своими отроческими чертами, с своей любовью ко мне. Рано виднелось в нем то помазание, которое достается немногим,— на беду ли, на счастие ли, не знаю, но наверное на то, чтоб не быть в толпе. В доме у его отца долго потом оставался большой, писанный масляными красками портрет Огарева того времени (1827—28 года). Впоследствии часто останавливался я перед ним и долго смотрел на него. Он представлен с раскинутым воротником рубашки; живописец чудно схватил богатые каштановые волосы, отрочески неустоявшуюся красоту его неправильных черт и несколько смуглый колорит; на холсте виднелась задумчивость, предваряющая сильную мысль; безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвечивали из серых больших глаз, намекая на будущий рост великого духа; таким он и вырос. Портрет этот, подаренный мне, взяла чужая женщина,— может, ей попадутся эти строки, и она его пришлет мне[10].

Я не знаю, почему дают какой-то монополь воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различие полов, что она — страстная дружба. С своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности.

Я давно любил, и любил страстно, Ника, но не решался назвать его «другом», и когда он жил летом в Кунцеве, я писал ему в конце письма: «Друг ваш или нет, еще не знаю». Он первый стал мне писать ты и назы-

вал меня своим Агатоном по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру *[11].

Улыбнитесь, пожалуй, да только кротко, добродушно, так, как улыбаются, думая о своем пятнадцатом годе. Или не лучше ли призадуматься над своим «Таков ли был я, расцветая?» и благословить судьбу, если у вас *была* юность (одной молодости недостаточно на это); благословить ее вдвое, если у вас был тогда друг.

Язык того времени нам сдается натянутым, книжным, мы отучились от его неустоявшейся восторженности, нестройного одушевления, сменяющегося вдруг то томной нежностью, то детским смехом. Он был бы смешон в тридцатилетнем человеке, как знаменитое «Bettina will schlafen» **, но в свое время этот отроческий язык, этот jargon de la puberté ***, эта перемена психического голоса — очень откровенны, даже книжный оттенок естественен возрасту теоретического знания и практического невежества.

Шиллер остался нашим любимцем ****, лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал к Нику, несколько озабоченный тем, что он слишком любит Фиеско, что за «всяким» Фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу [12]. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда — торжеством, неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?

Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобою в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь, отвечали всякому призыву, искренно отдавались всяко-

---

* «Philosophische Briefe» ⟨«Философские письма», *нем.*⟩. (*Примеч. А. И. Герцена.*)

** Беттина хочет спать *(нем.)*.

*** жаргон возмужалости *(фр.)*.

**** Поэзия Шиллера не утратила на меня своего влияния, несколько месяцев тому назад я читал моему сыну «Валленштейна», это гигантское произведение! Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар, или педант, очерствел или забыл себя. Что же сказать о тех скороспелых altkluge Burschen ⟨молодых старичках⟩, которые так хорошо знают *недостатки* его в семнадцать лет?.. *(Примеч. А. И. Герцена.)*

му увлечению. Путь, нами избранный, был не легок, мы его не покидали ни разу; раненные, сломанные, мы шли и нас никто не обгонял. Я дошел... не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе выйти, чтоб пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: *«Вот и все!»*

А покамест в скучном досуге, на который меня осудили события, не находя в себе ни сил, ни свежести на новый труд, записываю я *наши* воспоминания. Много того, что нас так тесно соединяло, осело в этих листах, я их дарю тебе. Для тебя они имеют двойной смысл — смысл надгробных памятников, на которых мы встречаем знакомые имена*.

...А не странно ли подумать, что, умей Зонненберг плавать или утони он тогда в Москве-реке, вытащи его не уральский казак, а какой-нибудь апшеронский пехотинец, я бы и не встретился с Ником или позже, иначе, не в той комнатке нашего старого дома, где мы, тайком куря сигарки, заступали так далеко друг другу в жизнь и черпали друг в друге силу.

Он не забыл его — наш «старый дом» [13].

Старый дом, старый друг! посетил я
Наконец в запустенье тебя,
И былое опять воскресил я,
И печально смотрел на тебя.

Двор лежал предо мной неметеный.
Да колодезь валился гнилой.
И в саду не шумел лист зеленый,
Желтый, тлел он на почве сырой.

Дом стоял обветшалый уныло,
Штукатурка обилась кругом,
Туча серая сверху ходила
И все плакала, глядя на дом.

Я вошел. Те же комнаты были,
Здесь ворчал недовольный старик,
Мы беседы его не любили.
Нас страшил его черствый язык.

Вот и комнатка: с другом, бывало,
Здесь мы жили умом и душой.
Много дум золотых возникало
В этой комнатке прежней порой.

---

* Писано в 1853 году. *(Примеч. А. И. Герцена.)*

В нее звездочка тихо светила,
В ней остались слова на стенах:
Их в то время рука начертила,
Когда юность кипела в душах.

В этой комнатке счастье былое,
Дружба светлая выросла там;
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.

И мне страшно вдруг стало. Дрожал я,
На кладбище я будто стоял,
И родных мертвецов вызывал я,
Но из мертвых никто не восстал.

⟨...⟩ В 1830, в августе, мы поехали в Васильевское, останавливались, по обыкновению, в радклифовском замке Перхушкова [14] и собирались, покормивши себя и лошадей, ехать далее. Бакай, подпоясанный полотенцем, уже прокричал «трогай!» — как какой-то человек, скакавший верхом, дал знак, чтобы мы остановились, и форейтор Сенатора [15], в пыли и поту, соскочил с лошади и подал моему отцу пакет. В этом пакете была *Июльская революция!* — Два листа «Journal des Débats», которые он привез с письмом, я перечитал сто раз, я их знал наизусть — и первый раз скучал в деревне.

Славное было время, события неслись быстро. Едва худощавая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда [16], Бельгия вспыхнула [17], трон короля-гражданина качался [18], какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы — все снова сделалось пропагандой, борьбой.

Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы всё принимали за чистые деньги.

Кто хочет знать, как сильно действовала на молодое поколение весть июльского переворота, пусть тот прочтет описание Гейне, услышавшего на Гельголанде, что «великий языческий Пан умер» [19]. Тут нет поддельного жара: Гейне тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы — восемнадцати.

Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и за генералом Ламарком, мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется радикальных, и

хранили у себя их портреты, от Манюеля и Бенжамен Констана до Дюпон де Лёра и Армана Кареля.

Середь этого разгара вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании [20]. Это уже недалеко, это дома, и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах, повторяя любимое:

Nein! Es sind keine leere Träume! *

Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неуспехам поляков, и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея Костюшки.

В самое это время я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал, я был на хорах собранья и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемена в его чертах со времени коронации поразила меня. Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными глазами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был потрясен, *испуган*, он усомнился в прочности трона и готовился мстить за выстраданное им, за страх и сомнение.

С покорения Польши все задержанные злобы этого человека распустились. Вскоре почувствовали это и мы.

Сеть шпионства, обведенная около университета с начала царствования, стала затягиваться ⟨...⟩

Прошло несколько месяцев; вдруг разнесся в аудитории слух, что схвачено ночью несколько человек студентов — нызывали *Костенецкого, Кольрейфа, Антоновича* и других [21], мы их знали коротко,— все они были превосходные юноши. Кольрейф, сын протестантского пастора, был чрезвычайно даровитый музыкант. Над ними была назначена *военносудная комиссия,* в переводе это значило, что их обрекли на гибель. Все мы лихорадочно ждали, что́ с ними будет, но и они сначала как будто канули в воду. Буря, ломавшая поднимавшиеся всходы, была возле. Мы уж не то что чуяли ее приближение — а слышали, видели и жались теснее и теснее друг к другу.

Опасность поднимала еще более наши раздраженные нервы, заставляла сильнее биться сердца и с большей

---

* Нет! Это не пустые мечты! *(нем.)*

горячностью любить друг друга. Нас было пятеро сначала[22], тут мы встретились с Пассеком.

В Вадиме для нас было много нового. Мы все, с небольшими вариациями, имели сходное развитие, то есть ничего не знали, кроме Москвы и деревни, учились по тем же книгам и брали уроки у тех же учителей, воспитывались дома или в университетском пансионе. Вадим родился в Сибири, во время ссылки своего отца, в нужде и лишениях; его учил сам отец, он вырос в многочисленной семье братьев и сестер, в гнетущей бедности, но на полной воле. Сибирь кладет свой отпечаток, вовсе не похожий на наш, провинциальный; он далеко не так пошл и мелок, он обличает больше здоровья и лучший закал. Вадим был дичок в сравнении с нами. Его удаль была другая, не наша, богатырская, иногда заносчивая; аристократизм несчастия развил в нем особое самолюбие; но он много умел любить и других и отдавался им, не скупясь. Он был отважен, даже неосторожен до излишества — человек, родившийся в Сибири и притом в семье сосланной, имеет уже то преимущество перед нами, что не боится Сибири.

Вадим, по наследству, ненавидел ото всей души самовластье и крепко прижал нас к своей груди, как только встретился. Мы сблизились очень скоро. Впрочем, в то время ни церемоний, ни благоразумной осторожности, ничего подобного не было в нашем круге.

— Хочешь познакомиться с Кетчером, о котором ты столько слышал? — говорит мне Вадим.

— Непременно хочу.

— Приходи завтра, в семь часов вечера, да не опоздай,— он будет у меня.

Я прихожу — Вадима нет дома. Высокий мужчина с выразительным лицом и добродушно грозным взглядом из-под очков дожидается его. Я беру книгу,— он берет книгу.

— Да вы,— говорит он, раскрывая ее,— вы — Герцен?

— Да, а вы — Кетчер?

Начинается разговор — живей, живей...

— Позвольте,— грубо перебивает меня Кетчер,— позвольте, сделайте одолжение, говорите мне *ты*.

— Будемте говорить *ты*.

И с этой минуты (которая могла быть в конце 1831 г.) мы были неразрывными друзьями; с этой минуты гнев

и милость, смех и крик Кетчера раздаются во все наши возрасты, во всех приключениях нашей жизни.

Встреча с Вадимом ввела новый элемент в нашу Запорожскую сечь.

Собирались мы по-прежнему всего чаще у Огарева. Больной отец его переехал на житье в свое пензенское именье. Он жил один в нижнем этаже их дома у Никитских ворот. Квартира его была недалека от университета, и в нее особенно всех тянуло. В Огареве было то магнитное притяжение, которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов, если только они имеют между собою сродство. Брошенные куда бы то ни было, они становятся незаметно сердцем организма.

Но рядом с его светлой, веселой комнатой, обитой красными обоями с золотыми полосками, в которой не проходил дым сигар, запах жженки и других... я хотел сказать — яств и питий, но остановился, потому что из съестных припасов, кроме сыру, редко что было,— итак, рядом с ультрастуденческим приютом Огарева, где мы спорили целые ночи напролет, а иногда целые ночи кутили, делался у нас больше и больше любимым другой дом, в котором мы чуть ли не впервые научились уважать семейную жизнь.

Вадим часто оставлял наши беседы и уходил домой, ему было скучно, когда он не видал долго сестер и матери. Нам, жившим всей душою в товариществе, было странно, как он мог предпочитать свою семью — нашей.

Он познакомил нас с нею. В этой семье все носило следы царского *посещения;* она вчера пришла из Сибири, она была разорена, замучена и вместе с тем полна того величия, которое кладет несчастие не на *каждого* страдальца, а на чело тех, которые *умели* вынести. ⟨...⟩

Вадим умер в феврале 1843 г. [23]; я был при его кончине и тут в первый раз видел смерть близкого человека, и притом во всем не смягченном ужасе ее, во всей бессмысленной случайности, во всей тупой, безнравственной несправедливости.

Десять лет перед своей смертью Вадим женился на моей кузине, и я был шафером на свадьбе. Семейная жизнь и перемена быта развели нас несколько. Он был счастлив в своем à parte *, но внешняя сторона жизни не давалась ему, его предприятия не шли ⟨...⟩.

---

* Здесь: в семейной жизни *(фр.)*.

Прошло с год, дело взятых товарищей окончилось. Их обвинили (как впоследствии нас, потом петрашевцев) в *намерении* составить тайное общество, в преступных разговорах; за это их отправляли в солдаты, в Оренбург. Одного из подсудимых Николай отличил — *Сунгурова.* Он уже кончил курс и был на службе, женат и имел детей; его приговорили к лишению прав состояния и ссылке в Сибирь.

«Что могли сделать несколько молодых студентов? Напрасно они погубили себя!» Все это основательно, и люди, рассуждающие таким образом, должны быть довольны *благоразумием* русского юношества, следовавшего за нами. После нашей истории, шедшей вслед за сунгуровской, и до истории Петрашевского прошло спокойно *пятнадцать лет*, именно те пятнадцать, от которых едва начинает оправляться Россия и от которых сломились два поколения: старое, потерявшееся в буйстве, и молодое, отравленное с детства, которого квёлых представителей мы теперь видим.

После декабристов все попытки основывать общества не удавались действительно; бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы — предварительной, внутренней. Все это так.

Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг, на сотни поляков, гремевших цепями по Владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходынском поле каким-нибудь генералом Лашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести ⟨...⟩.

Гибли молодые люди иной раз, но они гибли не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования.

Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции [24]. Первая игра голубой кошки с мышью началась так.

Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург, Огарев в нашем кругу и И. Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег. Киреевский привез собранные деньги коменданту Сталю, добрейшему старику, о котором нам придется еще говорить. Стааль обещался деньги отдать и спросил Киреевского:

— А это что за бумаги?

— Имена подписавшихся,— сказал Киреевский,— и счет.

— Вы верите, что я деньги отдам? — спросил старик.

— Об этом нечего говорить.

— А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. А потому на что ж *нам беречь их имена.*— С этими словами Стааль список бросил в огонь и, само собою разумеется, поступил превосходно.

Огарев сам свез деньги в казармы, и это сошло с рук. Но молодые люди вздумали поблагодарить из Оренбурга товарищей и, пользуясь случаем, что какой-то чиновник ехал в Москву, попросили его взять письмо, которое доверить почте боялись. Чиновник не преминул воспользоваться таким редким случаем для засвидетельствования всей ярости своих верноподданнических чувств и представил письмо жандармскому окружному генералу в Москве.

Тогда на месте А. А. Волкова, сошедшего с ума на том, что поляки хотят ему поднести польскую корону (что за ирония — свести с ума жандармского генерала на короне Ягеллонов!), был Лесовский. Лесовский, сам поляк, был не злой и не дурной человек; расстроив свое именье игрой и какой-то французской актрисой, он философски предпочел место жандармского генерала в Москве месту в яме того же города.

Лесовский призвал Огарева, Кетчера, Сатина, Вадима, И. Оболенского и прочих и обвинил их за сношения с государственными преступниками [25]. На замечание Огарева, что он ни к кому не писал, а что если кто к нему писал, то за это он отвечать не может, к тому же до него никакого письма и не доходило, Лесовский отвечал:

— Вы делали для них подписку, *это еще хуже.* На первый раз государь *так милосерд, что он вас прощает,* только, господа, предупреждаю вас, за вами будет строгий надзор, будьте осторожны.

Лесовский осмотрел всех значительным взглядом и, остановившись на Кетчере, который был всех выше, постарше и так грозно поднимал брови, прибавил:

— Вам-то, милостивый государь, в *вашем звании* как не стыдно?

Можно было думать, что Кетчер был тогда вице-канцлером российских орденов, а он занимал только должность уездного лекаря.

Я не был призван, вероятно, моего имени в письме не было.

Угроза эта была чином, посвящением, мощными шпорами. Совет Лесовского попал маслом в огонь, и мы, как бы облегчая будущий надзор полиции, надели на себя бархатные береты à la Karl Sand и повязали на шею одинакие *трехцветные шарфы!* Полковник Шубинский, тихо и мягко, бархатной ступней подбиравшийся на место Лесовского, цепко ухватился за его *слабость* с нами, мы должны были послужить одной из ступенек его повышения по службе — и послужили 〈...〉.

Делали шалости и мы, пировали и мы, но основной тон был не тот, диапазон был слишком поднят. Шалость, разгул не становились целью. Цель была вера в призвание; положимте, что мы ошибались, но, фактически веруя, мы уважали в себе и друг в друге орудия общего дела.

И в чем же состояли наши пиры и оргии? Вдруг приходит в голову, что через два дня — 6 декабря: Николин день. Обилие Николаев страшное: Николай Огарев, Николай Сатин, Николай Кетчер, Николай Сазонов...

— Господа, кто празднует именины?

— Я! Я!

— А я на другой день.

— Это все вздор, что такое на другой день? Общий праздник, складку! Зато каков будет и пир!

— Да, да, у кого же собираться?

— Сатин болен, ясно, что у него.

И вот делаются сметы, проекты, это занимает невероятно будущих гостей и хозяев. Один Николай едет к «Яру» заказывать ужин, другой — к Матерну за сыром и салами. Вино, разумеется, берется на Петровке у Депре, на книжке которого Огарев написал эпиграф:

De près ou de loin,
Mais je fournis toujours *.

Наш неопытный вкус еще далее шампанского не шел и был до того молод, что мы как-то изменили и шампанскому в пользу Rivesaltes mousseux **. В Париже я на

---

* Близко ли далеко, но я доставлю всегда *(фр.)*. Игра слов: De près (близко) и Депре — фамилия.

** шипучего вина ривесальт *(фр.)*.

карте у ресторана увидел это имя, вспомнил 1833 год и потребовал бутылку. Но, увы, даже воспоминания не помогли мне выпить больше одного бокала.

До праздника вина пробуются, оттого надобно еще посылать нарочного, потому что пробы явным образом нравятся ⟨...⟩.

Для пира *четырех именин* я писал целую программу, которая удостоилась особенного внимания инквизитора Голицына, спрашивавшего меня в комиссии, точно ли программа была исполнена.

— A la lettre,— отвечал я ему. Он пожал плечами, как будто он всю жизнь провел в Смольном монастыре или в великой пятнице.

После ужина возникал обыкновенно *капитальный* вопрос,— вопрос, возбуждавший прения, а именно: «Как варить жженку?» Остальное обыкновенно елось и пилось, как вотируют по доверию в парламентах, без спору. Но тут каждый участвовал, и притом с высоты ужина.

— Зажигать — не зажигать еще? как зажигать? тушить шампанским или сотерном? * класть фрукты и ананас, пока еще горит или после?

— Очевидно, пока горит, тогда-то весь аром перейдет в пунш.

— Помилуй, ананасы плавают, стороны их подожгутся, это просто беда.

— Все это вздор! — кричит Кетчер всех громче.— А вот что не вздор, свечи надобно потушить.

Свечи потушены, лица у всех посинели, и черты колеблются с движением огня. А между тем в небольшой комнате температура от горящего рома становится тропическая. Всем хочется пить, жженка не готова. Но Joseph, француз, присланный от «Яра», готов; он приготовляет какой-то антитезис жженки, напиток со льдом из разных вин, à la base de cognac;**, неподдельный; сын «великого народа», он, наливая французское вино, объясняет нам, что оно потому так хорошо, что два раза проехало экватор.

— Oui, oui, messieurs; deux fois l'equateur, messieurs! ***

---

* сорт белого вина (от *фр.:* sauternes).
** на коньяке *(фр.)*.
*** Да, да, господа, два раза экватор, господа! *(фр.)*

Когда замечательный своей полярной стужей напиток окончен и вообще пить больше не надобно, Кетчер кричит, мешая огненное озеро в суповой чашке, причем последние куски сахара тают с шипением и плачем.

— Пора тушить! Пора тушить!

Огонь краснеет от шампанского, бегает по поверхности пунша с какой-то тоской и дурным предчувствием.

А тут отчаянный голос:

— Да помилуй, братец, ты с ума сходишь: разве не видишь, смола топится прямо в пунш.

— А ты сам подержи бутылку в таком жару, чтоб смола не топилась.

— Ну, так ее прежде обить,— продолжает огорченный голос.

— Чашки, чашки, довольно ли у вас их? сколько нас... девять, десять... четырнадцать,— так, так.

— Где найти четырнадцать чашек?

— Ну, кому чашек недостало — в стакан.

— Стаканы лопнут.

— Никогда, никогда, стоит только ложечку положить.

Свечи поданы, последний зайчик огня выбежал на середину, сделал пируэт, и нет его.

— Жженка удалась!

— Удалась, очень удалась! — говорят со всех сторон.

На другой день болит голова, тошно. Это, очевидно, от жженки — смесь! И тут искреннее решение впредь жженки никогда не пить, это отрава.

Входит Петр Федорович.

— А вы-с сегодня пришли не в своей шляпе: наша шляпа будет получше.

— Черт с ней совсем!

— Не прикажете ли сбегать к Николай Михайловичеву Кузьме?

— Что ты воображаешь, что кто-нибудь пошел без шляпы?

— Не мешает-с на всякий случай.

Тут я догадываюсь, что дело совсем не в шляпе, а в том, что Кузьма звал на поле битвы Петра Федоровича.

— Ты к Кузьме ступай, да только прежде попроси у повара мне кислой капусты.

— Знать, Лександ Иваныч, именинники-то не ударили лицом в грязь?

— Какой в грязь, эдакого пира во весь курс не было.

— В ниверситет-то уже, должно быть, сегодня отложим попечение?

Меня угрызает совесть, и я молчу.

— Папенька-то ваш меня спрашивал: «Как это, говорит, еще не вставал?» Я, знаете, не промах: голова изволит болеть, с утра-с жаловались, так я так и сторы не подымал-с. «Ну, говорит, и хорошо сделал».

— Да дай ты мне, Христа ради, уснуть. Хотел идти к Сатину, ну и ступай.

— Сию минуту-с, только за капустой сбегаю-с.

Тяжелый сон снова смыкает глаза; часа через два просыпаешься гораздо свежее. Что-то они делают там? Кетчер и Огарев остались ночевать. Досадно, что жженка так на голову действует, надобно признаться, она была очень вкусна. Вольно же пить жженку стаканом; я решительно отныне и до века буду пить небольшую чашку.

Между тем мой отец уже окончил чтение газет и прием повара.

— У тебя голова болит сегодня?

— Очень.

— Может, слишком много занимался? — И при этом вопросе видно, что прежде ответа он усомнился.— Я и забыл, ведь вчера ты, кажется, был у Николаши * и у Огарева?

— Как же-с.

— Потчевали, что ли, они тебя... именины? Опять суп с мадерой? Ох, не охотник я до всего этого. Николаша-то любит, я знаю, не вовремя вино, и откуда у него это взялось, не понимаю. Покойный Павел Иванович... ну, двадцать девятого июня именины, позовет всех родных, обед, как водится,— все скромно, прилично. А это, по-нынешнему, шампанского да сардинки в масле,— противно смотреть. О несчастном сыне Платона Богдановича я и не говорю,— один, брошен! Москва... деньги есть — кучер Еремей, «пошел за вином»! А кучер рад, ему за это в лавке гривенник.

— Да, я у Николая Павловича завтракал. Впрочем, я не думаю, чтоб от этого болела голова. Я пройдусь немного, это мне всегда помогает.

— С богом,— обедаешь дома, я надеюсь?

— Без сомнения, я только так.

---

* Голохвастова. (*Примеч. А. И. Герцена.*)

Для пояснения *супа с мадерой* необходимо сказать, что за год или больше до знаменитого пира четырех именинников мы на святой неделе отправлялись с Огаревым гулять, и, чтоб отделаться от обеда дома, я сказал, что меня пригласил обедать отец Огарева.

Отец мой не любил вообще моих знакомых, называл наизнанку их фамилии, ошибаясь постоянно одинаким образом, так Сатина он безошибочно называл Сакеным, а Сазонова — Сназиным. Огарева он еще меньше других любил и за то, что у него волосы были длинны, и за то, что он курил без его спроса. Но, с другой стороны, он его считал внучатным племянником и, следственно, родственной фамилии искажать не мог. К тому же Платон Богданович принадлежал, и по родству и по богатству, к малому числу признанных моим отцом личностей, и мое близкое знакомство с его домом ему нравилось. Оно нравилось бы еще больше, если б у Платона Богдановича не было сына.

Итак, отказать ему не считалось приличным.

Вместо почтенной столовой Платона Богдановича мы отправились сначала под Новинское, в балаган Прейса (я потом встретил с восторгом эту семью акробатов в Женеве и Лондоне), там была небольшая девочка, которой мы восхищались и которую называли Миньоной.

Посмотрев Миньону и решившись еще раз прийти ее посмотреть вечером, мы отправились обедать к «Яру». У меня был золотой, и у Огарева около того же. Мы тогда еще были совершенные новички и потому, долго обдумывая, заказали ouka au champagne *, бутылку рейнвейна и какой-то крошечной дичи, в силу чего мы встали из-за обеда, ужасно дорогого, совершенно голодные и отправились опять смотреть Миньону.

Отец мой, прощаясь со мной, сказал мне, что ему кажется, будто бы от меня пахнет вином.

— Это, верно, оттого,— сказал я,— что суп был с мадерой.

— Au madère,— это зять Платона Богдановича, верно, так завел; cela sent les casernes de la garde **.

С тех пор и до моей ссылки, если моему отцу казалось, что я выпил вина, что у меня лицо красно, он непременно говорил мне:

---

* уху на шампанском *(фр.)*.

** С мадерой... это пахнет гвардейскими казармами *(фр.)*.

— Ты, верно, ел сегодня суп с мадерой?

Итак, я скорым шагом к Сатину.

Разумеется, Огарев и Кетчер были на месте. Кетчер с помятым лицом был недоволен некоторыми распоряжениями и строго их критиковал. Огарев гомеопатически вышибал клин клином, допивая какие-то остатки не только после праздника, но и после фуражировки Петра Федоровича, который уже с пением, присвистом и дробью играл на кухне у Сатина.

В роще Марьиной гулянье
В самой тот день семика.

...Вспоминая времена нашей юности, всего нашего круга, я не помню ни одной истории, которая осталась бы на совести, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится без исключения ко всем нашим друзьям.

Были у нас платонические мечтатели и разочарованные юноши в семнадцать лет. Вадим даже писал драму, в которой хотел представить «страшный опыт своего *изжитого* сердца». Драма эта начиналась так: «Сад — вдали дом — окна освещены — буря — никого нет — калитка не заперта, она хлопает и скрыпит».

— Сверх калитки и сада есть действующие лица? — спросил я у Вадима.

И Вадим, несколько огорченный, сказал мне:

— Ты все дурачишься! Это не шутка, а быль моего сердца; если так, я и читать не стану,— и стал читать.

Были и вовсе не платонические шалости,— даже такие, которые оканчивались не драмой, а аптекой. Но не было пошлых интриг, губящих женщину и унижающих мужчину, не было *содержанок* (даже не было и этого подлого слова). Покойный, безопасный, прозаический, мещанский разврат, разврат по контракту, миновал наш круг.

— Стало быть, вы допускаете худший продажный разврат?

— Не я, а вы! То есть не *вы*, а вы все. Он так прочно покоится на общественном устройстве, что ему не нужно моей инвеституры.

Общие вопросы, гражданская экзальтация — спасали нас; и не только они, но сильно развитой научный и художественный интерес. Они, как зажженная бумага, выжигали сальные пятна. У меня сохранилось несколько писем Огарева того времени; о тогдашнем грундтоне *

* основном тоне (от *нем.:* Grundton).

нашей жизни можно легко по ним судить. В 1833 году, июня 7, Огарев, например, мне пишет:

«Мы друг друга, кажется, знаем, кажется, можем быть откровенны. Письма моего ты никому не покажешь. Итак, скажи — с некоторого времени я решительно так полон, можно сказать, задавлен ощущениями и мыслями, что мне кажется, мало того, кажется,— мне врезалась мысль, что мое призвание — быть поэтом, стихотворцем или музыкантом, alles eins *, но я чувствую необходимость жить в этой мысли, ибо имею какое-то самоощущение, что я поэт; положим, я еще пишу дрянно, но этот огонь в душе, эта полнота чувств дает мне надежду, что я буду, и порядочно (извини за такое пошлое выражение), писать. Друг, скажи же, верить ли мне моему призванью? Ты, может, лучше меня знаешь, нежели я сам, и не ошибешься.

Июня 7, 1833».

«Ты пишешь: *«Да ты поэт, поэт истинный!»* Друг, можешь ли ты постигнуть все то, что производят эти слова? Итак, оно не ложно, все, что я чувствую, к чему стремлюсь, в чем моя жизнь. Оно не ложно! Правду ли говоришь? Это не бред горячки — это я чувствую. Ты меня знаешь более, чем кто-нибудь, не правда ли, я это действительно чувствую. Нет, эта высокая жизнь не бред горячки, не обман воображения, она слишком высока для обмана, она действительна, я живу ею, я не могу вообразить себя с иною жизнию. Для чего я не знаю музыки, какая симфония вылетела бы из моей души теперь. Вот слышишь величественные adagio **, но нет сил выразиться, надобно больше сказать, нежели сказано: presto, presto***, мне надобно бурное, неукротимое presto. Adagio и presto, две крайности. Прочь с этой посредственностью, andante ****, allegro moderato *****, это заики или слабоумные не могут ни сильно говорить, ни сильно чувствовать.

Село Чертково, 18 августа 1833» [26].

---

* все одно *(нем.)*.
** очень медленно *(ит.)*.
*** очень быстро *(ит.)*.
**** не спеша *(ит.)*.
***** у́меренно быстро *(ит.)*.

Мы отвыкли от этого восторженного лепета юности, он нам странен, но в этих строках молодого человека, которому еще не стукнуло двадцать лет, ясно видно, что он застрахован от пошлого порока и от пошлой добродетели, что он, может, не спасется от болота, но выйдет из него, не загрязнившись.

Это не неуверенность в себе, это сомнение веры, это страстное желание подтверждения, ненужного слова любви, которое так дорого нам. Да, это беспокойство зарождающегося творчества, это тревожное озирание души *зачавшей*.

«Я не могу еще взять,— пишет он в том же письме,— те звуки, которые слышатся душе моей, неспособность телесная ограничивает фантазию. Но, черт возьми! Я поэт, поэзия мне подсказывает истину там, где бы я ее не понял холодным рассуждением. Вот философия откровения» [27].

Так оканчивается первая часть нашей юности, вторая начинается тюрьмой. Но прежде нежели мы взойдем в нее, надобно упомянуть, в каком направлении, с какими думами она застала нас.

Время, следовавшее за усмирением польского восстания, быстро воспитывало. Нас уже не одно то мучило, что Николай вырос и оселся в строгости; мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе, и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно: теории наши становились нам подозрительны.

Детский либерализм 1826 года, сложившийся малопомалу в то французское воззрение, которое проповедовали Лафайеты и Бенжамен Констан, пел Беранже,— терял для нас, после гибели Польши, свою чарующую силу.

Тогда-то часть молодежи, и в ее числе Вадим, бросилась на глубокое и серьезное изучение русской истории.

Другая — в изучение немецкой философии.

Мы с Огаревым не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы слишком сжились с иными идеями, чтоб скоро поступиться ими. Вера в беранжеровскую *застольную* революцию [28] была потрясена, но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни в несторовской летописи [29], ни в трансцендентальном идеализме Шеллинга [30].

Середь этого брожения, середь догадок, усилий по-

нять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сенсимонистские брошюры, их проповеди, их процесс. Они поразили нас.

Поверхностные и неповерхностные люди довольно смеялись над отцом Енфантен и над его апостолами; время иного признания наступает для этих предтеч социализма.

Торжественно и поэтически являлись середь мещанского мира эти восторженные юноши с своими неразрезными жилетами, с отрощенными бородами. Они возвестили новую веру, им было что сказать и было во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей, хотевший их судить по кодексу Наполеона и по орлеанской религии [31].

С одной стороны, *освобождение женщины,* призвание ее на общий труд, отдание ее судеб в ее руки, союз с нею как с ровным.

С другой — оправдание, *искупление плоти,* réhabilitation de la chair *.

Великие слова, заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми,— мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный и потому нравственно чистый. Много издевались над свободой женщины, над признанием прав плоти, придавая словам этим смысл грязный и пошлый; наше монашески развратное воображение боится плоти, боится женщины. Добрые люди поняли, что очистительное *крещение плоти* есть отходная христианства; религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты — на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало, в свою очередь, и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен, как маятник, из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез.

Какое мужество надобно было иметь, чтоб произнести всенародно во Франции эти слова освобождения от спиритуализма, который так силен в понятиях французов и так вовсе не существует в их поведении.

Старый мир, осмеянный Вольтером, подшибленный революцией, но закрепленный, перешитый и упроченный мещанством для своего обихода, этого еще не испытал. Он хотел судить отщепенцев на основании

---

* реабилитация плоти *(фр.)*.

своего тайно соглашенного лицемерия, а люди эти обличили его. Их обвиняли в отступничестве от христианства, а они указали над головой судьи *завешенную* икону после революции 1830 года. Их обвиняли в оправдании чувственности, а они спросили у судьи, целомудренно ли он живет?

Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сенсимонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном.

Удобовпечатлимые, искренно молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду — через море!

Но не все рискнули с нами. Социализм и реализм [32] остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции и науки. Группы пловцов, прибитые волнами событий или мышлением к этим скалам, немедленно расстаются и составляют две вечные партии, которые, меняя одежды, проходят черезо всю историю, через все перевороты, через многочисленные партии и кружки, состоящие из десяти юношей. Одна представляет логику, другая — историю, одна — диалектику, другая — эмбриогению. Одна из них *правее*, другая — *возможнее*.

О выборе не может быть и речи; обуздать мысль труднее, чем всякую страсть, она влечет невольно; кто может ее затормозить чувством, мечтой, страхом последствий, тот и затормозит ее, но не все могут. У кого мысль берет верх, у того вопрос не о прилагаемости, не о том — легче или тяжелее будет, тот ищет истины и неумолимо, нелицеприятно проводит начала, как сенсимонисты некогда, как Прудон до сих пор.

Круг наш еще теснее сомкнулся. Уже тогда, в 1833 году, *либералы* смотрели на нас исподлобья, как на сбившихся с дороги.

ИЗ ЧАСТИ ВТОРОЙ: ТЮРЬМА И ССЫЛКА (1834—1838) [1]

(ГЛАВЫ VIII, IX, XII)

〈...〉 — *Как взяли?* — спрашивал я, вскочив с постели и щупая голову, чтоб знать, сплю я или нет.

— Полицмейстер приезжал ночью с квартальным

и казаками, часа через два после того, как вы ушли от нас, забрал бумаги и увез Николая Платоновича [2].

Это был камердинер Огарева. Я не мог понять, какой повод выдумала полиция, в последнее время все было тихо. Огарев только за день приехал... и отчего же его взяли, а меня нет?

Сложа руки нельзя было оставаться, я оделся и вышел из дому без определенной цели. Это было первое несчастие, падавшее на мою голову. Мне было скверно, меня мучило мое бессилие.

Бродя по улицам, мне наконец пришел в голову один приятель, которого общественное положение ставило в возможность узнать, в чем дело, а может, и помочь. Он жил страшно далеко, на даче за Воронцовским полем; я сел на первого извозчика и поскакал к нему. Это был час седьмой утра.

Года за полтора перед тем познакомились мы с В. [3], это был своего рода лев в Москве. Он воспитывался в Париже, был богат, умен, образован, остер, вольнодум, сидел в Петропавловской крепости по делу 14 декабря и был в числе выпущенных; ссылки он не испытал, но слава осталась при нем. Он служил и имел большую силу у генерал-губернатора. Князь Голицын любил людей с свободным образом мыслей, особенно если они его хорошо выражали по-французски. В русском языке князь был не силен.

В. был лет десять старше нас и удивлял нас своими практическими заметками, своим знанием политических дел, своим французским красноречием и горячностью своего либерализма. Он знал так много и так подробно, рассказывал так мило и так плавно; мнения его были так твердо очерчены, на все был ответ, совет, разрешение. Читал он всё — новые романы, трактаты, журналы, стихи и, сверх того, сильно занимался зоологией, писал проекты для князя и составлял планы для детских книг.

Либерализм его был чистейший, трехцветной воды, левого бока между Могеном и генералом Ламарком [4].

Его кабинет был увешан портретами всех революционных знаменитостей, от Гемпдена и Бальи до Фиески и Арман Кареля. Целая библиотека запрещенных книг находилась под этим революционным иконостасом. Скелет, несколько набитых птиц, сушеных амфибий и моченых внутренностей — набрасывали серьезный колорит думы и созерцания на слишком горячительный характер кабинета.

Мы с завистью посматривали на его опытность и знание людей; его тонкая ироническая манера возражать имела на нас большое влияние. Мы на него смотрели как на *делового* революционера, как на государственного человека in spe *.

Я не застал В. дома. Он с вечера уехал в город для свиданья с князем, его камердинер сказал, что он непременно будет часа через полтора домой. Я остался ждать.

Дача, занимаемая В., была превосходна. Кабинет, в котором я дожидался, был обширен, высок и au rez-de-chaussée **, огромная дверь вела на террасу и в сад. День был жаркий, из сада пахло деревьями и цветами, дети играли перед домом, звонко смеясь. Богатство, довольство, простор, солнце и тень, цветы и зелень... а в тюрьме-то узко, душно, темно. Не знаю, долго ли я сидел, погруженный в горькие мысли, как вдруг камердинер с каким-то странным одушевлением позвал меня с террасы.

— Что такое? — спросил я.

— Да пожалуйте сюда, взгляните.

Я вышел, не желая его обидеть, на террасу — и обомлел. Целый полукруг домов пылал, точно будто все они загорелись в одно время. Пожар разрастался с невероятной скоростью.

Я остался на террасе. Камердинер смотрел с каким-то нервным удовольствием на пожар, приговаривая: «Славно забирает, вот и этот дом направо загорится, непременно загорится».

Пожар имеет в себе что-то революционное, он смеется над собственностью, нивелирует состояния. Камердинер инстинктом понял это.

Через полчаса времени четверть небосклона покрылась дымом, красным внизу и серо-черным сверху. В этот день выгорело Лефортово. Это было начало тех зажигательств, которые продолжались месяцев пять; об них мы еще будем говорить.

Наконец приехал и В. Он был в ударе, мил, приветлив, рассказал мне о пожаре, мимо которого ехал, об общем говоре, что это поджог, и полушутя прибавил:

— Пугачевщина-с, вот посмотрите, и мы с вами не уйдем, посадят нас на кол...

— Прежде, нежели посадят нас на кол,— отвечал

* в будущем *(лат.)*.
** в нижнем этаже *(фр.)*.

я,— боюсь, чтоб не посадили на цепь. Знаете ли вы, что сегодня ночью полиция взяла Огарева?

— Полиция,— что вы говорите?

— Я за этим к вам приехал. Надобно что-нибудь сделать, съездите к князю, узнайте, в чем дело, попросите мне дозволение его увидеть.

Не получая ответа, я взглянул на В., но вместо его, казалось, был его старший брат, с посоловелым лицом, с опустившимися чертами,— он ахал и беспокоился.

— Что с вами?

— Ведь вот я вам говорил, всегда говорил, до чего это доведет... да, да, этого надобно было ждать, прошу покорно,— ни телом, ни душой не виноват, а и меня, пожалуй, посадят; эдак шутить нельзя, я знаю, что такое казематы.

— Поедете вы к князю?

— Помилуйте, зачем же это? я вам советую дружески: и не говорите об Огареве, живите как можно тише, а то худо будет. Вы не знаете, как эти дела опасны — мой искренний совет: держите себя в стороне; тормошитесь как хотите, Огареву не поможете, а сами попадетесь. Вот оно самовластье,— какие права, какая защита; есть, что ли, адвокаты, судьи?

На этот раз я не был расположен слушать его смелые мнения и резкие суждения. Я взял шляпу и уехал.

Дома я застал все в волнении. Уже отец мой был сердит на меня за взятие Огарева, уже Сенатор был налицо, рылся в моих книгах, отбирал, по его мнению, опасные и был недоволен.

На столе я нашел записку от М. Ф. Орлова, он звал меня обедать. Не может ли он чего-нибудь сделать? Опыт хотя меня и проучил, но все же: попытка — не пытка и спрос — не беда.

Михаил Федорович Орлов был один из основателей знаменитого «Союза благоденствия», и если он не попал в Сибирь, то это не его вина, а его брата, пользующегося особой дружбой Николая и который первый прискакал с своей конной гвардией на защиту Зимнего дворца 14 декабря. Орлов был послан в свои деревни, через несколько лет ему позволено было поселиться в Москве. В продолжение уединенной жизни своей в деревне он занимался политической экономией и химией. Первый раз, когда я его встретил, он толковал о новой химической номенклатуре. У всех энергических людей, поздно начинающих заниматься какой-нибудь наукой, является

поползновение переставлять мебель и распоряжаться по-своему. Номенклатура его была сложнее общепринятой французской. Мне хотелось обратить его внимание, и я, вроде captatio benevolentiae *, стал доказывать ему, что номенклатура его хороша, но что прежняя лучше.

Орлов поспорил — потом согласился.

Мое кокетство удалось, мы с тех пор были с ним в близких сношениях. Он видел во мне восходящую возможность, я видел в нем ветерана наших мнений, друга наших героев, благородное явление в нашей жизни.

Бедный Орлов был похож на льва в клетке. Везде стукался он в решетку, нигде не было ему ни простора, ни дела, а жажда деятельности его снедала.

После падения Франции я не раз встречал людей этого рода, людей, разлагаемых потребностью политической деятельности и не имеющих возможности найтиться в четырех стенах кабинета или в семейной жизни. Они не умеют быть одни; в одиночестве на них нападает хандра, они становятся капризны, ссорятся с последними друзьями, видят везде интриги против себя и сами интригуют, чтоб раскрыть все эти несуществующие козни.

Им надобна, как воздух, сцена и зрители; на сцене они действительно герои и вынесут невыносимое. Им необходим шум, гром, треск, им надобно произносить речи, слышать возражения врагов, им необходимо раздражение борьбы, лихорадка опасности — без этих конфортативов ** они тоскуют, вянут, опускаются, тяжелеют, рвутся вон, делают ошибки. Таков Ледрю-Роллен, который, кстати, и лицом напоминает Орлова, особенно с тех пор как отрастил усы. ⟨...⟩

Обед был большой. Мне пришлось сидеть возле генерала Раевского, брата жены Орлова. Раевский был тоже в опале с 14 декабря; сын знаменитого Н. Н. Раевского, он мальчиком четырнадцати лет находился с своим братом под Бородиным возле отца; впоследствии он умер от ран на Кавказе [5]. Я рассказал ему об Огареве и спросил, может ли и захочет ли Орлов что-нибудь сделать?

Лицо Раевского подернулось облаком, но это было не выражение плаксивого самосохранения, которое я видел

---

* заискивания *(лат.)*.

** подкрепляющих средств (от *фр.*: confortatif).

утром, а какая-то смесь горьких воспоминаний и отвращения.

— Тут нет места хотеть или не хотеть,— отвечал он,— только я сомневаюсь, чтоб Орлов мог много сделать; после обеда пройдите в кабинет, я его приведу к вам. Так вот,— прибавил он, помолчав,— и ваш черед пришел; этот омут всех утянет.

Расспросивши меня, Орлов написал письмо к князю Голицыну, прося его свиданья.

— Князь,— сказал он мне,— порядочный человек; если он ничего не сделает, то скажет, по крайней мере, правду.

Я на другой день поехал за ответом. Князь Голицын сказал, что Огарев арестован по высочайшему повелению, что назначена следственная комиссия и что матерьяльным поводом был какой-то пир 24 июня, на котором пели возмутительные песни. Я ничего не мог понять. В этот день были именины моего отца; я весь день был дома, и Огарев был у нас.

С тяжелым сердцем оставил я Орлова; и ему было нехорошо; когда я ему подал руку, он встал, обнял меня, крепко прижал к широкой своей груди и поцеловал.

Точно будто он чувствовал, что мы расстаемся надолго.

Я его видел с тех пор один раз, ровно через шесть лет. Он угасал. Болезненное выражение, задумчивость и какая-то новая угловатость лица поразили меня; он был печален, чувствовал свое разрушение, знал расстройство дел — и не видел выхода. Месяца через два он умер[6], кровь свернулась в его жилах.

...В Люцерне есть удивительный памятник; он сделан Торвальдсеном в дикой скале. В впадине лежит умирающий лев; он ранен насмерть, кровь струится из раны, в которой торчит обломок стрелы; он положил молодецкую голову на лапу, он стонет, его взор выражает нестерпимую боль; кругом пусто, внизу пруд; все это задвинуто горами, деревьями, зеленью; прохожие идут, не догадываясь, что тут умирает царственный зверь.

Раз как-то, долго сидя на скамье против каменного страдальца, я вдруг вспомнил мое последнее посещение Орлова...

Ехавши от Орлова домой мимо обер-полицмейстерского дома, мне пришло в голову попросить у него открыто дозволение повидаться с Огаревым.

Я отроду никогда не бывал прежде ни у одного

полицейского лица. Меня заставили долго ждать, наконец обер-полицмейстер вышел.

Мой вопрос его удивил.

— Какой повод заставляет вас просить дозволение?

— Огарев — мой родственник.

— Родственник? — спросил он, прямо глядя мне в глаза.

Я не отвечал, но так же прямо смотрел в глаза его превосходительства.

— Я не могу вам дать позволения,— сказал он,— ваш родственник au secret *. Очень жаль!

...Неизвестность и бездействие убивали меня. Почти никого из друзей не было в городе, узнать решительно нельзя было ничего. Казалось, полиция забыла или обошла меня. Очень, очень было скучно. Но когда все небо заволокло серыми тучами и длинная ночь ссылки и тюрьмы приближалась, светлый луч сошел на меня.

Несколько слов глубокой симпатии, сказанные семнадцатилетней девушкой, которую я считал ребенком, воскресили меня [7].

Первый раз в моем рассказе является женский образ... и, собственно, один женский образ является во всей моей жизни.

Мимолетные, юные, весенние увлечения, волновавшие душу, побледнели, исчезли перед ним, как туманные картины; новых, других не пришло.

Мы встретились на кладбище. Она стояла, опершись на надгробный памятник, и говорила об Огареве, и грусть моя улеглась.

— До завтра,— сказала она и подала мне руку, улыбаясь сквозь слезы.

— До завтра,— ответил я... и долго смотрел вслед за исчезавшим образом ее.

Это было девятнадцатого июля 1834 [8].

«До завтра»,— повторял я, засыпая... на душе было необыкновенно легко и хорошо.

Часу во втором ночи меня разбудил камердинер моего отца; он был раздет и испуган.

— Вас требует какой-то офицер.

— Какой офицер?

— Я не знаю.

---

* под строгим арестом *(фр.)*.

— Ну, так я знаю,— сказал я ему и набросил на себя халат.

В дверях залы стояла фигура, завернутая в военную шинель; к окну виднелся белый султан, сзади были еще какие-то лица,— я разглядел казацкую шапку.

Это был полицмейстер Миллер.

Он сказал мне, что по приказанию военного генерал-губернатора, которое было у него в руках, он должен осмотреть мои бумаги. Принесли свечи. Полицмейстер взял мои ключи; квартальный и его поручик стали рыться в книгах, в белье. Полицмейстер занялся бумагами; ему все казалось подозрительным, он все откладывал и вдруг, обращаясь ко мне, сказал:

— Я вас попрошу покамест одеться: вы поедете со мной [9].

— Куда? — спросил я.

— В Пречистенскую часть,— ответил полицмейстер успокоивающим голосом.

— А потом?

— Дальше ничего нет в приказании генерал-губернатора.

Я стал одеваться. ⟨...⟩

Полиция следила за нами давно, но, нетерпеливая, не могла в своем усердии дождаться дельного повода и сделала вздор. Она подослала отставного офицера Скарятку, чтоб нас завлечь, обличить; он познакомился почти со всем нашим кругом, но мы очень скоро угадали, что он такое, и удалили его от себя. Другие молодые люди, большею частью студенты, не были так осторожны, но эти *другие* не имели с нами никакой серьезной связи.

Один студент, окончивший курс, давал своим приятелям праздник 24 июня 1834 года [10]. Из нас не только не было ни одного на пиру, но никто *не был приглашен*. Молодые люди перепились, дурачились, танцевали мазурку и, между прочим, спели хором известную песню Соколовского [11]:

Русский император
    В вечность отошел,
Ему оператор
    Брюхо распорол.

Плачет государство,
    Плачет весь народ,
Едет к нам на царство
    Константин-урод.

Но царю вселенной,
Богу высших сил,
Царь благословенный
Грамотку вручил.

Манифест читая,
Сжалился творец,
Дал нам Николая,—
С... подлец.

Вечером Скарятка *вдруг* вспомнил, что это день его именин, рассказал историю, как он выгодно продал лошадь, и пригласил студентов к себе, обещая дюжину шампанского. Все поехали. Шампанское явилось, и хозяин, покачиваясь, предложил еще раз спеть песню Соколовского. Середь пения отворилась дверь, и взошел Цынский с полицией. Все это было грубо, глупо, неловко и притом неудачно.

Полиция хотела захватить *нас*, она искала внешний повод запутать в дело человек пять-шесть, до которых добиралась,— и захватила двадцать человек невинных.

Но русскую полицию трудно сконфузить. Через две недели арестовали нас, как *соприкосновенных* к делу праздника. У Соколовского нашли письма Сатина, у Сатина — письма Огарева, у Огарева — мои,— тем не менее ничего не раскрывалось. Первое следствие не удалось. Для большего успеха второй комиссии государь послал из Петербурга отборнейшего из инквизиторов, А. Ф. Голицына. ⟨...⟩

Первый допрос мой продолжался четыре часа.

Вопросы были двух родов. Одни имели целью раскрыть образ мыслей, «не свойственных духу правительства, мнения революционные и проникнутые пагубным учением Сен-Симона» — так выражались Голицын junior и аудитор Оранский.

Эти вопросы были легки, но не были вопросы. В захваченных бумагах и письмах мнения были высказаны довольно просто; вопросы, собственно, могли относиться к вещественному факту: писал ли человек или нет такие строки. Комиссия сочла нужным прибавлять к каждой выписанной фразе: «Как вы объясняете следующее место вашего письма?»

Разумеется, объяснять было нечего, я писал уклончивые и пустые фразы в ответ. ⟨...⟩

— Какая *у них у всех* упорность,— прибавил председатель Голицын senior, пожал плечами и взглянул на

жандармского полковника Шубинского. Я улыбнулся.— Точно Огарев,— довершил добрейший председатель.

Сделалась пауза. Комиссия собиралась в библиотеке князя Сергея Михайловича, я обернулся к шкафам и стал смотреть книги. Между прочим, тут стояло многотомное издание записок герцога Сен-Симона.

— Вот,— сказал я, обращаясь к председателю,— какая несправедливость! я под следствием за сенсимонизм, а у вас, князь, томов двадцать его сочинений!

Так как добряк отродясь ничего не читал, то он и не нашелся, что отвечать. Но Голицын jun. взглянул на меня глазами ехидны и спросил:

— Что, вы не видите, что ли, что это — записки герцога Сен-Симона, который был при Людовике Четырнадцатом? [12]

Председатель улыбнулся, сделал мне знак головой, выражавший: «Что, брат, обмишурился?», и сказал:

— Ступайте.

A propos к Сен-Симону. Когда полицмейстер брал бумаги и книги у Огарева, он отложил том истории французской революции Тьера, потом нашел другой... третий... восьмой. Наконец, он не вытерпел и сказал: «Господи! какое количество революционных книг... И вот еще»,— прибавил он, отдавая квартальному речь Кювье «Sur les révolutions du globe terrestre».

Другой порядок вопросов был запутаннее. В них употреблялись разные полицейские уловки и следственные шалости, чтобы сбить, запутать, натянуть противуречие. Тут делались намеки на показание других и разные нравственные пытки. Рассказывать их не стоит, довольно сказать, что между нами четырьмя, при всех своих уловках, они не могли натянуть *ни одной очной ставки.* ⟨...⟩

В половине марта приговор наш был утвержден; никто не знал его содержания; одни говорили, что нас посылают на Кавказ, другие — что нас свезут в Бобруйск, третьи надеялись, что всех выпустят (таково было мнение Стааля, посланное им особо государю; он предлагал вменить нам тюремное заключение в наказание).

Наконец нас собрали всех двадцатого марта к князю Голицыну [13] для слушания приговора. Это был праздником праздник. Тут мы увиделись в первый раз после ареста.

Шумно, весело, обнимаясь и пожимая друг другу руки, стояли мы, окруженные цепью жандармских и гарнизонных офицеров. Свидание одушевило всех; расспросам, анекдотам не было конца.

Соколовский был налицо, несколько похудевший и бледный, но во всем блеске своего юмора.

Соколовский, автор «Мироздания», «Хевери» и других довольно хороших стихотворений, имел от природы большой поэтический талант, но не довольно дико самобытный, чтоб обойтись без развития, и не довольно образованный, чтоб развиться. Милый гуляка, поэт в жизни, он вовсе не был политическим человеком. Он был очень забавен, любезен, веселый товарищ в веселые минуты, bon vivant, любивший покутить — как мы все... может, немного больше.

Попавшись невзначай с оргий в тюрьму, Соколовский превосходно себя вел, он вырос в остроге. Аудитор комиссии, педант, пиетист, сыщик, похудевший, поседевший в зависти, стяжании и ябедах, спросил Соколовского, не смея из преданности к престолу и религии понимать грамматического смысла последних двух стихов:

— К кому относятся дерзкие слова в конце песни?

— Будьте уверены,— сказал Соколовский,— что не к государю, и особенно обращаю ваше внимание на эту *облегчающую* причину.

Аудитор пожал плечами, возвел глаза горé и, долго молча посмотрев на Соколовского, понюхал табаку. 〈...〉

...Едва Соколовский кончил свои анекдоты, как несколько других разом начали свои; точно все мы возвратились после долгого путешествия,— расспросам, шуткам, остротам не было конца.

Физически Сатин пострадал больше других, он был худ и лишился части волос. Узнав в Тамбовской губернии, в деревне у своей матери, что нас схватили, он сам поехал в Москву, чтоб приезд жандармов не испугал мать, простудился на дороге и приехал домой в горячке. Полиция его застала в постели, вести в часть было невозможно. Его арестовали дома, поставили у дверей спальной с внутренней стороны полицейского солдата и *братом милосердия* посадили у постели больного квартального надзирателя; так что, приходя в себя после бреда, он встречал *слушающий* взгляд одного или испитую рожу другого. 〈...〉

Не успели мы пересказать и переслушать половину похождений, как вдруг адъютанты засуетились, гарнизонные офицеры вытянулись, квартальные оправились; дверь отворилась торжественно — и маленький князь Сергий Михайлович Голицын взошел en grande tenue *, лента через плечо; Цынский в свитском мундире, даже аудитор Оранский надел какой-то светло-зеленый статско-военный мундир для такой радости. Комендант, разумеется, не приехал.

Шум и смех между тем до того возрастали, что аудитор грозно вышел в залу и заметил, что громкий разговор и особенно смех показывают пагубное *неуважение* к высочайшей воле, которую мы должны услышать.

Двери растворились. Офицеры разделили нас на три отдела: в первом были: Соколовский, живописец Уткин и офицер Ибаев; во втором были мы; в третьем tutti frutti **.

Приговор прочли особо первой категории — он был ужасен: обвиненные в оскорблении величества, они ссылались в Шлюссельбург на *бессрочное время.*

Все трое выслушали геройски этот дикий приговор. ⟨...⟩

Через два года Уткин умер в каземате. Соколовского выпустили полумертвого на Кавказ, он умер в Пятигорске. Какой-то остаток стыда и совести заставил правительство после смерти двоих перевести третьего в Пермь. Ибаев умер по-своему: он сделался мистиком. ⟨...⟩

Пришел наш черед. Оранский протер очки, откашлянул и принялся благоговейно возвещать высочайшую волю. В ней было *изображено*, что государь, рассмотрев доклад комиссии и взяв в особенное внимание молодые лета преступников, *повелел под суд нас не отдавать*, а объявить нам, что по закону следовало бы нас, как людей, уличенных в оскорблении величества пением возмутительных песен,— лишить живота; а в силу других законов сослать на вечную каторжную работу. Вместо чего государь, в беспредельном милосердии своем, большую часть виновных прощает, оставляя их на месте жительства под надзором полиции. Более же виноватых повелевает подвергнуть исправительным мерам, состоящим в отправлении их на бессрочное время

---

* в парадной форме *(фр.)*.
** все прочие *(ит.)*.

в дальние губернии на гражданскую службу и под надзор местного начальства.

Этих более виновных нашлось шестеро: Огарев, Сатин, Лахтин, Оболенский, Сорокин и я. Я назначался в Пермь. ⟨...⟩

Когда Оранский окончил чтение, выступил полковник Шубинский. Он отборными словами и ломоносовским слогом объявил нам, что мы обязаны предстательству того благородного вельможи, который председательствовал в комиссии, что государь был так милосерд.

Шубинский ждал, что при этом слове все примутся благодарить князя; но вышло не так.

Несколько из прощенных кивнули головой, да и то украдкой глядя на нас.

Мы стояли, сложа руки, нисколько не показывая вида, что сердце наше тронуто царской и княжеской милостью.

Тогда Шубинский выдумал другую уловку и, обращаясь к Огареву, сказал:

— Вы едете в Пензу, неужели вы думаете, что это случайно? В Пензе лежит в параличе ваш отец, князь просил государя вам назначить этот город для того, чтоб ваше присутствие сколько-нибудь ему облегчило удар вашей ссылки. Неужели и вы не находите причины благодарить князя?

Делать было нечего, Огарев слегка поклонился. Вот из чего они бились. ⟨...⟩

...Мы остановились еще раз на четверть часа в зале, вопреки ревностным увещеваниям жандармских и полицейских офицеров, крепко обнялись мы друг с другом и простились надолго. Кроме Оболенского, я никого не видел до возвращения из Вятки.

Отъезд был перед нами.

Тюрьма продолжала еще прошлую жизнь; но с отъездом в глушь она обрывалась.

Юношеское существование в нашем дружеском кружке оканчивалось.

Ссылка продолжится наверное несколько лет. Где и как встретимся мы и встретимся ли?..

Жаль было прежней жизни, и так круто приходилось ее оставить... не простясь. Видеть Огарева я не имел надежды. Двое из друзей добрались ко мне в последние дни, но этого мне было мало. ⟨...⟩

ИЗ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ: МОСКВА, ПЕТЕРБУРГ И НОВГОРОД (1840—1847)

(ГЛАВЫ XXV, XXVII, XXIX, XXXII)

Вначале 1840 года расстались мы с Владимиром, с бедной, узенькой Клязьмой. Я покидал наш венчальный городок с щемящим сердцем и страхом; я предвидел, что той простой, глубокой внутренней жизни не будет больше и что придется подвязать много парусов. ⟨...⟩

Мы знали, что Владимира с собой не увезем, а все же думали, что май еще не прошел [1]. Мне казалось даже, что, возвращаясь в Москву, я снова возвращаюсь в университетский период. Вся обстановка поддерживала меня в этом. Тот же дом, та же мебель,— вот комната, где, запершись с Огаревым, мы конспирировали в двух шагах от Сенатора и моего отца,— да вот и он сам, мой отец, состаревшийся и сгорбившийся, но так же готовый меня журить за то, что поздно воротился домой. «Кто-то завтра читает лекции? когда репетиция? из университета зайду к Огареву»... Это *1833 год!*

Огарев в самом деле был налицо.

Ему был разрешен въезд в Москву за несколько месяцев прежде меня [2]. Дом его снова сделался средоточием, в котором встречались старые и новые друзья. И, несмотря на то что прежнего единства не было, все симпатично окружало его.

Огарев, как мы уже имели случай заметить, был одарен особой магнитностью, женственной способностью притяжения. Без всякой видимой причины к таким людям льнут, пристают другие; они согревают, связуют, успокоивают их, они — *открытый стол*, за который садится каждый, возобновляет силы, отдыхает, становится бодрее, покойнее и идет прочь — другом.

Знакомые поглощали у него много времени, он страдал от этого иногда, но дверей своих не запирал, а встречал каждого кроткой улыбкой. Многие находили в этом большую слабость; да, время уходило, терялось, но приобреталась любовь не только близких людей, но посторонних, слабых; ведь и это стоит чтения и других занятий!

Я никогда толком не мог понять, как это обвиняют людей вроде Огарева в праздности. Точка зрения фабрик и рабочих домов вряд ли идет сюда. Помню я, что еще во времена студентские мы раз сидели с Вадимом [3] за

рейнвейном, он становился мрачнее и мрачнее и вдруг, со слезами на глазах, повторил слова Дон Карлоса, повторившего, в свою очередь, слова Юлия Цезаря: «Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия!» Его это так огорчило, что он изо всей силы ударил ладонью по зеленой рюмке и глубоко разрезал себе руку. Все это так, но ни Цезарь, ни Дон Карлос с Позой, ни мы с Вадимом не объяснили, для чего же нужно что-нибудь делать для *бессмертия?* Есть дело, надобно его и сделать, а как же это делать для дела или в *знак памяти* роду человеческому?

Все это что-то смутно; да и что такое дело?

Дело, business...* Чиновники знают только гражданские и уголовные дела, купец считает делом одну торговлю, военные называют делом шагать по-журавлиному и вооружаться с ног до головы в мирное время. По-моему, служить связью, центром целого круга людей — огромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном. Меня никто не упрекал в праздности, кое-что из сделанного мною нравилось многим; а знают ли, сколько во всем сделанном мною отразились наши беседы, наши споры, ночи, которые мы праздно бродили по улицам и полям или еще более *праздно* проводили за бокалом вина?

...Но вскоре потянул и в этой среде воздух, напомнивший, что весна прошла. Когда улеглась радость свиданий и миновались пиры, когда главное было пересказано и приходилось продолжать путь, мы увидели, что той беззаботной, светлой жизни, которую мы искали по воспоминаниям, нет больше в нашем круге и особенно в доме Огарева. Шумели друзья, кипели споры, лилось иногда вино — но не весело, не так весело, как прежде. У всех была задняя мысль, недомолвка; чувствовалась какая-то натяжка; печально смотрел Огарев, и Кетчер зловеще поднимал брови. Посторонняя нота звучала в нашем аккорде вопиющим диссонансом; всей теплоты, всей дружбы Огарева недоставало, чтоб заглушить ее.

То, чего я опасался за год перед тем, то случилось, и хуже, чем я думал.

Отец Огарева умер в 1838; незадолго до его смерти он женился [4]. Весть о его женитьбе испугала меня — все это случилось как-то скоро и неожиданно. Слухи об его жене, доходившие до меня, не совсем были в ее пользу;

---

* бизнес, занятие *(англ.)*.

он писал с восторгом и был счастлив,— ему я больше верил, но все же боялся.

В начале 1839 года они приехали на несколько дней во Владимир [5]. Мы тут увиделись в первый раз после того, как аудитор Оранский нам читал приговор. Тут было не до разбора — помню только, что в первые минуты ее голос провел нехорошо по моему сердцу, но и это минутное впечатление исчезло в ярком свете радости. Да, это были те дни полноты и личного счастья, в которые человек, не подозревая, касается высшего предела, последнего края личного счастья. Ни тени черного воспоминания, ни малейшего темного предчувствия — молодость, дружба, любовь, избыток сил, энергии, здоровья и бесконечная дорога впереди. Самое мистическое настроение, которое еще не проходило тогда, придавало праздничную торжественность нашему свиданью, как колокольный звон, певчие и зажженные паникадила.

У меня в комнате, на одном столе, стояло небольшое чугунное распятие.

— На колени! — сказал Огарев,— и поблагодарим за то, что мы все четверо вместе!

Мы стали на колени возле него и, обтирая слезы, обнялись.

Но одному из четырех вряд нужно ли было их обтирать. Жена Огарева с некоторым удивлением смотрела на происходившее; я думал тогда, что это retenue *, но она сама сказала мне впоследствии, что сцена эта показалась ей натянутой, детской. Оно, пожалуй, и могло так показаться со стороны, но зачем же она смотрела со стороны, зачем она была так трезва в этом упоении, так совершеннолетня в этой молодости?

Огарев возвратился в свое именье, она поехала в Петербург хлопотать о его возвращении в Москву.

Через месяц она опять проезжала Владимиром — одна. Петербург и две-три аристократические гостиные вскружили ей голову. Ей хотелось внешнего блеска, ее тешило богатство. «Как-то сладит она с этим?» — думал я. Много бед могло развиться из такой противуположности вкусов. Но ей было ново и богатство, и Петербург, и салоны; может, это было минутное увлеченье — она была умна, она любила Огарева — и я надеялся.

В Москве опасались, что это не так легко переработается в ней. Артистический и литературный круг доволь-

* сдержанность *(фр.)*

но льстил ее самолюбию, но главное было направлено не туда. Она согласилась бы иметь при аристократическом салоне придел для художников и ученых — и насильно увлекала Огарева в пустой мир, в котором он задыхался от скуки. Ближайшие друзья стали замечать это, и Кетчер, давно уже хмурившийся, грозно заявил свое veto *. Вспыльчивая, самолюбивая и не привыкнувшая себя обуздывать, она оскорбляла самолюбия, столько же раздражительные, как ее. Угловатые, несколько сухие манеры ее и насмешки, высказываемые тем голосом, который при первой встрече так странно провел мне по сердцу, вызвали резкий отпор. Побранившись месяца два с Кетчером, который, будучи прав в фонде **, был постоянно неправ в форме, и восстановив против себя несколько человек, может слишком обидчивых по материальному положению, она наконец очутилась лицом к лицу со мной.

Меня она боялась. Во мне она хотела помериться и окончательно узнать, что возьмет верх — *дружба или любовь*, как будто им нужно было брать этот верх. Тут больше замешалось, чем желание поставить на своем в капризном споре, тут было сознание, что я всего сильнее противудействую ее видам, тут была завистливая ревность и женское властолюбие. С Кетчером она спорила до слез и перебранивалась, как злые дети бранятся, всякий день, но без ожесточения; на меня она смотрела, бледнея и дрожа от ненависти. Она упрекала меня в разрушении ее счастья из самолюбивого притязания на исключительную дружбу Огарева, в отталкивающей гордости. Я чувствовал, что это несправедливо, и, в свою очередь, сделался жесток и беспощаден. Она сама признавалась мне, пять лет спустя, что ей приходила в голову мысль меня отравить,— вот до чего доходила ее ненависть. Она с Natalie раззнакомилась за ее любовь ко мне, за дружбу к ней всех наших.

Огарев страдал. Его никто не пощадил, ни она, ни я, ни другие. Мы выбрали грудь его (как он сам выразился в одном письме) [6] «полем сражения» и не думали, что тот ли, другой ли одолевает, ему равно было больно. Он заклинал нас мириться, он старался смягчить угловатости — и мы мирились; но дико кричало оскорбленное самолюбие, и наболевшая обидчивость вспыхивала вой-

---

* запрет *(лат.)*.
** в сущности (от *фр.:* au fond).

ной от одного слова. С ужасом видел Огарев, что все дорогое ему рушится, что женщине, которую он любил, не свята его святыня, что она чужая,— но не мог ее разлюбить. Мы были свои — но он с печалью видел, что и мы ни одной капли горечи не убавили в чаше, которую судьба поднесла ему. Он не мог грубо порвать узы Naturgewalt'a *, связывавшего его с нею, ни крепкие узы симпатии, связывавшие с нами; он во всяком случае должен был изойти кровью, и, чувствуя это, он старался сохранить ее и нас,— судорожно не выпускал ни ее, ни наших рук,— а мы свирепо расходились, четвертуя его, как палачи!

Жесток человек, и одни долгие испытания укрощают его; жесток в своем неведении ребенок, жесток юноша, гордый своей чистотой, жесток поп, гордый своей святостью, и доктринер, гордый своей наукой,— все мы беспощадны и всего беспощаднее, когда мы правы. Сердце обыкновенно растворяется и становится мягким вслед за глубокими рубцами, за обожженными крыльями, за сознанными падениями; вслед за испугом, который обдает человека холодом, когда он один, без свидетелей начинает догадываться — какой он слабый и дрянной человек. Сердце становится кротче; обтирая пот ужаса, стыда, боясь свидетеля, оно ищет *себе* оправданий — и находит их *другому*. Роль судьи, палача с той минуты поселяет в нем отвращение.

Тогда я был далек от этого!

Перемежаясь, продолжалась вражда. Озлобленная женщина, преследуемая нашей нетерпимостью, заступала дальше и дальше в какие-то путы, не могла в них идти, рвалась, падала — и не менялась. Чувствуя свое бессилие победить, она сгорала от досады и dépit **, от ревности без любви. Ее растрепанные мысли, бессвязно взятые из романов Ж. Санда, из наших разговоров, никогда ни в чем не дошедшие до ясности, вели ее от одной нелепости к другой, к эксцентричностям, которые она принимала за оригинальную самобытность, к тому женскому освобождению, в силу которого они отрицают из существующего и принятого, *на выбор*, что им не нравится, сохраняя упорно все остальное.

Разрыв становился неминуем, но Огарев еще долго жалел ее, еще долго хотел спасти ее, надеялся. И когда

---

* власти природы *(нем.)*.

** обиды *(фр.)*.

на минуту в ней пробуждалось нежное чувство или поэтическая струйка, он был готов забыть на веки веков прошедшее и начать новую жизнь гармонии, покоя, любви; но она не могла удержаться, теряла равновесие и всякий раз падала глубже. Нить за нитью болезненно рвался их союз до тех пор, пока беззвучно перетерлась последняя нитка,— и они расстались навсегда.

Во всем этом является один вопрос не совсем понятный. Каким образом то сильное симпатическое влияние, которое Огарев имел на все окружающее, которое увлекало посторонних в высшие сферы, в общие интересы, скользнуло по сердцу этой женщины, не оставив на нем никакого благотворного следа? А между тем он любил ее страстно и положил больше силы и души, чтоб ее спасти, чем на все остальное; и она сама сначала любила его, в этом нет сомнения.

Много я думал об этом. Сперва, разумеется, винил одну сторону, потом стал понимать, что и этот странный, уродливый факт имеет объяснение и что в нем, собственно, нет противуречия. Иметь влияние на симпатический круг гораздо легче, чем иметь влияние на *одну* женщину. Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать *одного* ребенка. В аудитории, в церкви, в клубе одинаковость стремлений, интересов идет вперед, во имя их люди встречаются там, стоит продолжать развитие. Огарева кружок состоял из прежних университетских товарищей, молодых ученых, художников и литераторов; их связывала общая религия, общий язык и еще больше — общая ненависть. Те, для которых эта религия не составляла в самом деле жизненного вопроса, мало-помалу отдалялись, на их место являлись *другие*, а мысль и круг крепли при этой свободной игре избирательного сродства и общего, связующего убеждения.

Сближение с женщиной — дело чисто личное, основанное на ином, тайно-физиологическом сродстве, безотчетном, страстном. Мы прежде близки, потом знакомимся. У людей, у которых жизнь не подтасована, не приведена к одной мысли, уровень устанавливается легко; у них все случайно, вполовину уступает он, вполовину она; да если и не уступают — беды нет. С ужасом открывает, напротив, человек, преданный своей идее, что она чужда существу, так близко поставленному. Он принимается наскоро будить женщину, но большей частью только пугает или путает ее. Оторванная от

преданий, от которых она не освободилась, и переброшенная через какой-то овраг, ничем не наполненный, она верит в свое освобождение — заносчиво, самолюбиво, через пень-колоду отвергает старое, без разбора принимает новое. В голове, в сердце — беспорядок, хаос... вожжи брошены, эгоизм разнуздан... А мы думаем, что сделали дело, и проповедуем ей, как в аудитории!

Талант воспитания, талант терпеливой любви, полной преданности, преданности хронической, реже встречается, чем все другие. Его не может заменить ни одна страстная любовь матери, ни одна сильная доводами диалектика.

Уж не оттого ли люди истязают детей, а иногда и больших, что их так трудно воспитывать — а сечь так легко? Не мстим ли мы наказанием за нашу неспособность?

Огарев это понял еще тогда; потому-то его все (и я в том числе) упрекали в излишней кротости.

...Круг молодых людей — составившийся около Огарева, не был наш прежний круг. Только двое из старых друзей [7], кроме нас, были налицо. Тон, интересы, занятия — все изменилось. Друзья Станкевича были на первом плане; Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом Гегелевой философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений.

Германская философия была привита Московскому университету М. Г. Павловым. Кафедра философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал введение к философии вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству — невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны. Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?»

Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая в университет, совершенно лишена философского приготовления, одни семинаристы имеют понятие об философии, зато совершенно превратное.

Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ. Если он не во всем достигнул прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингова учения. Скорее Павлова

можно обвинить за то, что он остановился на этой Магабарате философии и не прошел суровым искусом Гегелевой логики. Но он даже и в своей науке дальше введения и общего понятия не шел или, по крайней мере, не вел других. Эта остановка при начале, это незавершение своего дела, эти дома без крыши, фундаменты без домов и пышные сени, ведущие в скромное жилье, — совершенно в русском народном духе. Не оттого ли мы довольствуемся сенями, что история наша еще стучится в ворота?

Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников — Станкевич.

Станкевич, тоже один из *праздных* людей, *ничего* не совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский.

До ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их — сентименталистами и немцами. Первый человек, признанный нами и ими, который дружески подал обоим руки и снял своей теплой любовью к обоим, своей примиряющей натурой последние следы взаимного непониманья, был Грановский; но когда я приехал в Москву, он еще был в Берлине, а бедный Станкевич потухал на берегах Lago di Como лет двадцати семи.

Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич, естественно, должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел, это был «победный венок», выступавший на его бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтоб надолго остаться в спекулативном мышлении без перехода в жизнь. Исключительно умозрительное направление совершенно противуположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как *русский дух* переработал Гегелево учение и как *наша* живая натура, несмотря на все по-

стрижения в философские монахи, берет свое. Но в начале 1840 года не было еще и мысли у молодежи, окружавшей Огарева, бунтовать против текста за дух, против отвлечений — за жизнь.

Новые знакомые приняли меня так, как принимают эмигрантов и старых бойцов, людей, выходящих из тюрем, возвращающихся из плена или ссылки, с почетным снисхождением, с готовностью принять в свой союз, но с тем вместе не уступая ничего, а намекая на то, что они — *сегодня, а мы — уже вчера,* и требуя безусловного принятия «Феноменологии» и «Логики» Гегеля, и притом по их толкованию.

Толковали же они об них беспрестанно, нет параграфа во всех трех частях «Логики», в двух «Эстетики», «Энциклопедии» и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности и о ее *по себе бытии*». Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах, немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле. выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней. Так, как Франкер в Париже плакал от умиления, услышав, что в России его принимают за великого математика и что все юное поколение разрешает у нас уравнения разных степеней, употребляя те же буквы, как он,— так заплакали бы все эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Вадке, Шаллеры, Розенкранцы и сам Арнольд Руге, которого Гейне так удивительно хорошо назвал «привратником Гегелевой философии»,— если б они знали, какие побоища и ратования возбудили они в Москве между Маросейкой и Моховой [8], как их читали и как их *покупали.*

Главное достоинство Павлова состояло в необычайной ясности изложения,— ясности, нисколько не терявшей всей глубины немецкого мышления, молодые философы приняли, напротив, какой-то условный язык, они не переводили на русское, а перекладывали целиком, да еще, для большей легости, оставляя все латинские слова in crudo *, давая им православные окончания и семь русских падежей [9]. ⟨...⟩

---

* Здесь: в нетронутом виде *(лат.).*

Рядом с испорченным языком шла другая ошибка, более глубокая. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и пониманье; отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное, это было то ученое пониманье простых вещей, над которым так гениально смеялся Гете в своем разговоре Мефистофеля с студентом [10]. Все в *самом деле* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к «гемюту» * или к «трагическому в сердце»...

То же в искусстве. Знание Гете, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье. Философия музыки была на первом плане. Разумеется, об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бедным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как «Всемогущество божие» — «Атлас» [11]. Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое.

Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться. Пока прения шли о том, что Гете объективен, но что его объективность субъективна, тогда как Шиллер — поэт субъективный, но его субъективность объективна, и vice versa ** все шло мирно. Вопросы более страстные не замедлили явиться.

Гегель во время своего профессората в Берлине,

---

* душевному состоянию (от *нем.:* Gemüt).
** наоборот *(лат.)*.

долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая отправляется от снятия дуализма, легко понятно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Иене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою «Феноменологию», когда Наполеон входил в город; тогда его философия не вела ни к индийскому квиетизму, ни к оправданию существующих гражданских форм, ни к прусскому христианству; тогда он не читал своих лекций о философии религии, а писал гениальные вещи, вроде статьи «о палаче и о смертной казни», напечатанной в Розенкранцевой биографии[12].

Гегель держался в кругу отвлечений для того, чтоб не быть в необходимости касаться эмпирических выводов и практических приложений, для них он избрал очень ловко тихое и безбурное море эстетики; редко выходил он на воздух, и то на минуту, закутавшись, как больной, но и тогда оставлял в диалектической запутанности именно те вопросы, которые всего более занимали современного человека. ⟨...⟩

Философская фраза, наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии: «Все действительное разумно», была иначе высказанное начало *достаточной причины* и соответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирондиста Павла: «Нет власти, как от бога». Но если все власти от бога и если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые эти две сентенции — чистая таутология, но, таутология или нет,— она прямо вела к признанию предержащих властей, к тому, чтоб человек сложил руки, этого-то и хотели берлинские буддаисты. Как такое воззрение ни было противуположно русскому духу, его, откровенно заблуждаясь, приняли наши московские гегельянцы.

Белинский — самая деятельная, порывистая, диалектически страстная натура бойца, проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни перед моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не самобытные, в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста.

— Знаете ли, что с вашей точки зрения,— сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом,— вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать.

— Без всякого сомнения,— отвечал Белинский и прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина [13].

Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других; круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, объяснить, *заговорить*, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал «Бородинской годовщиной».

Я прервал с ним тогда все сношения. Бакунин хотя и спорил горячо, но стал призадумываться, его революционный такт — толкал его в другую сторону. Белинский упрекал его в слабости, в уступках и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал своих собственных приятелей и почитателей. Хор был за Белинского и смотрел на нас свысока, гордо пожимая плечами и находя нас людьми отсталыми.

Середь этой междоусобицы я увидел необходимость ex ipso fonte bibere * и серьезно занялся Гегелем. Я думаю даже, что человек, не *переживший* «Феноменологии» Гегеля и «Противуречий общественной экономии» Прудона, не *перешедший* через этот горн и этот закал — не полон, не современен.

Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей, таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая «бран-

* испить из самого источника *(лат.)*.

денбургские ворота». Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя. Но она, может с намерением, дурно формулирована. ⟨...⟩

По счастию, схоластика так же мало свойственна мне, как мистицизм, я до того натянул ее лук, что тетива порвалась и повязка упала. ⟨...⟩

Месяца два-три спустя проезжал по Новгороду Огарев[14]; он привез мне «Wesen des Christentums»* Фейербаха, прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в мифы! ⟨...⟩

Теперь возвратимся к Белинскому.

Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда. Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна, он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец он натянул своими письмами свидание. Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я — мы не были большие дипломаты; в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о «Бородинской годовщине». Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне:

— Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. ⟨...⟩

С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку. ⟨...⟩

Тридцать лет тому назад Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей — а в них было наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего кратера.

В самой пасти чудовища выделяются дети, не похо-

---

* «Сущность христианства» *(нем.)*.

жие на других детей; они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. ⟨...⟩

Мало-помалу из них составляются группы. Более родное собирается около своих средоточий; группы потом отталкивают друг друга. Это расчленение дает им ширь и многосторонность для развития; развиваясь до конца, то есть до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались — кругом Станкевича, славянофилами или нашим кружком.

Главная черта всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее — а у некоторых порывистое желание вывести ее самое. ⟨...⟩

Самое появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни.

Об застое после перелома в 1825 году мы говорили много раз. Нравственный уровень общества пал, развитие было перервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные — испуганные, слабые, потерянные — были мелки, пусты; дрянь александровского поколения заняла первое место; они мало-помалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства; они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановитыми. Время их прошло.

Под этим большим *светом* безучастно молчал большой *мир* народа; для него ничего не переменилось,— ему было скверно, но не сквернее прежнего, новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время *не пришло*. Между этой крышей и этой основой дети первые приподняли голову, может, оттого, что они не подозревали, как это опасно; но, как бы то ни было, этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя. ⟨...⟩

В тридцатых годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтоб не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокоивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших.

В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова — и исчез.

В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились, закаленные испытанным. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. ⟨...⟩

В начале 1842 года я был до невозможности утомлен губернским правлением и придумывал предлог, как бы отделаться от него. Пока я выбирал то одно, то другое средство, случай совершенно внешний решил за меня.

Раз в холодное зимнее утро приезжаю я в правление, в передней стоит женщина лет тридцати, крестьянка; увидавши меня в мундире, она бросилась передо мной на колени и, обливаясь слезами, просила меня заступиться. Барин ее Мусин-Пушкин ссылал ее с мужем на поселение, их сын лет десяти оставался, она умоляла дозволить ей взять с собой дитя. Пока она мне рассказывала дело, взошел военный губернатор, я указал ей на него и передал ее просьбу. Губернатор объяснил ей, что дети старше десяти лет оставляются у помещика. Мать, не понимая глупого закона, продолжала просить, ему было скучно, женщина, рыдая, цеплялась за его ноги, и он сказал, грубо отталкивая ее от себя: «Да что ты за дура такая, ведь по-русски тебе говорю, что я ничего не могу сделать, что же ты пристаешь». После этого он пошел твердым и решительным шагом в угол, где ставил саблю.

И я пошел... с меня было довольно... разве эта женщина не приняла меня *за одного из них?* Пора кончить комедию.

— Вы нездоровы? — спросил меня советник Хлопин, переведенный из Сибири за какие-то грехи.

— Болен,— отвечал я, встал, раскланялся и уехал. В тот же день написал я рапорт о моей болезни, и с тех пор нога моя не была в губернском правлении. Потом я подал в отставку «за болезнию». Отставку мне сенат дал, присовокупив к ней чин *надворного советника;* но Бенкендорф с тем вместе сообщил губернатору, что мне запрещен въезд в столицы и велено жить в Новгороде.

Огарев, возвратившийся из первой поездки за границу, принялся хлопотать в Петербурге, чтоб нам было разрешено переехать в Москву. Я мало верил успеху такого протектора и страшно скучал в дрянном городишке с огромным историческим именем. Между тем Огарев все обделал. 1 июля 1842 года императрица, пользуясь семейным праздником [15], просила государя

разрешить мне жительство в Москве, взяв во внимание болезнь моей жены и ее желание переехать туда. Государь согласился, и через три дня моя жена получила от Бенкендорфа письмо, в котором он сообщал, что мне разрешено сопровождать ее в Москву вследствие представительства государыни. Он заключил письмо приятным извещением, что полицейский надзор будет продолжаться и там. ⟨...⟩

Новые друзья приняли нас горячо, гораздо лучше, чем два года тому назад. В их главе стоял Грановский — ему принадлежит главное место этого пятилетия. Огарев был почти все время в чужих краях. Грановский заменял его нам, и лучшими минутами того времени мы обязаны ему. Великая сила любви лежала в этой личности. Со многими я был *согласнее* в мнениях, но с ним я был ближе — там где-то, в глубине души. ⟨...⟩

Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и артистического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил; революцией меня прибило к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое.

Оконченная, замкнутая личность западного человека, удивляющая нас сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет односторонностью. Он всегда доволен собой, его suffisance * нас оскорбляет. Он никогда не забывает личных видов, положение его вообще стесненное и нравы приложены к жалкой среде.

Я не думаю, чтоб люди всегда были здесь таковы; западный человек не в нормальном состоянии — *он линяет*. Неудачные революции взошли внутрь, ни одна не переменила его, каждая оставила след и сбила понятия, а исторический вал естественным чередом выплеснул на главную сцену тинистый слой мещан, покрывший собою ископаемый класс аристократий и затопивший народные всходы. ⟨...⟩

Наш небольшой кружок собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием

---

* самонадеянность *(фр.)*.

всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем. ⟨...⟩

После примирения с Белинским в 1840 году наша небольшая кучка друзей шла вперед без значительного разномыслия; были оттенки, личные взгляды, но главное и общее шло из тех же начал. Могло ли оно так продолжаться навсегда — я не думаю. Мы должны были дойти до тех пределов, до тех оград, за которые одни пройдут, а другие зацепятся.

Года через три-четыре я с глубокой горестью стал замечать, что, идучи из одних и тех же начал, мы приходили к разным выводам,— и это не потому, чтоб мы их розно понимали, а потому, что они не всем *нравились*. ⟨...⟩

Так настал 1846 год. Грановский начал новый публичный курс. Вся Москва опять собралась около его кафедры, опять его пластическая, задумчивая речь стала потрясать сердца; но той полноты, того увлечения, которое было в первом курсе, недоставало, будто он устал или какая-то мысль, с которой он еще не сладил, занимала его, мешала ему. Это так и было, как мы увидим гораздо позже.

На одной из этих-то лекций, в марте месяце, кто-то из наших общих знакомых прибежал сломя голову сказать о приезде из чужих краев Огарева и Сатина[16].

Мы не видались несколько лет и очень редко переписывались... Что-то они... как?.. С сильно бьющимся сердцем бросились мы с Грановским к «Яру», где они остановились. Ну, вот они, наконец — и как переменились, и какая борода, и не видались несколько лет — мы принялись смотреть вздор, говорить вздор, хоть и чувствовалось, что хотелось говорить другое.

Наконец наш маленький круг был почти весь в сборе — теперь-то заживем.

Лето 1845 года мы жили на даче в Соколове. Соколово — это красивый уголок Московского уезда, верст двадцать от города по тверской дороге. Мы нанимали там небольшой господский дом, стоявший почти совсем в паркс, который спускался под гору к небольшой речке. С одной стороны его стлалось наше великороссийское море нив, с другой — открывался пространный вид

вдаль, почему хозяин и не преминул назвать беседку, поставленную там, «Бель-вю» *.

Соколово некогда принадлежало графам Румянцевым. Богатые помещики, аристократы XVIII столетия, при всех своих недостатках были одарены какой-то шириной вкуса, которую они не передали своим наследникам. Старинные барские села и усадьбы по Москве-реке необыкновенно хороши, особенно те, в которых два последних поколения ничего не поправляли и не переиначивали.

Прекрасно провели мы там время. Никакое серьезное облако не застилало летнего неба; много работая и много гуляя, жили мы в нашем парке. Кетчер меньше ворчал, хотя иной раз и случалось ему забирать брови очень высоко и говорить крупные речи с сильной мимикой. Грановский и Евгений [17] приезжали почти всякую неделю в субботу и оставались ночевать, а иногда уезжали уж в понедельник. Михаил Семенович [18] нанимал неподалеку другую дачу. Часто приходил и он пешком, в шляпе с широкими полями и в белом сюртуке, как Наполеон в Лонгвуде, с кузовком набранных грибов, шутил, пел малороссийские песни и морил со смеху своими рассказами, от которых, я думаю, сам Иоанн Кручинник, точивший всю жизнь слезы о грехах мира сего, стал бы их точить от хохота...

Сидя дружной кучкой в углу парка под большой липой, мы, бывало, жалели только об одном, об отсутствии Огарева. Ну вот и он, и в 1846 году мы едем снова в Соколово, и он с нами, Грановский нанял на все лето небольшой флигель, Огарев поместился в антресолях над управляющим, флотским майором без уха.

И со всем этим через две-три недели неопределенное чувство мне подсказало, что наша villeggiatura ** не удалась и что этого не поправишь. Кому не случалось приготовлять пир, заранее радуясь будущему веселью друзей, и вот они являются; все идет хорошо, ничего не случилось, а предполагаемое веселье не налаживается. Жизнь только тогда бойко и хорошо идет, когда не чувствуешь, как кровь по жилам течет, и не думаешь, как легкие поднимаются. Если каждый толчок отдается, того и смотри — явится боль, диссонанс, с которым не всегда сладишь.

---

* «Прекрасный вид» (от *фр.:* belle vue).

** дачная жизнь *(ит.)*.

Первое время после приезда друзей прошло в чаду и одушевлении праздников; не успели они миновать, как занемог мой отец. Его кончина, хлопоты, дела — все это отвлекало от теоретических вопросов. В тиши соколовской жизни наши разногласия должны были прийти к слову.

Огарев, не видевший меня года четыре, был совершенно в том направлении, как я. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе. К нам присоединилась Natalie. Серьезные и на первый взгляд подавляющие выводы наши не пугали ее, она им придавала особый поэтический оттенок.

Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладов. Раз мы обедали в саду. Грановский читал в «Отечественных записках» одно из моих писем об изучении природы (помнится, об *Энциклопедистах)* [19] и был им чрезвычайно доволен.

— Да что же тебе нравится? — спросил я его.— Неужели одна наружная отделка? С внутренним смыслом его ты не можешь быть согласен.

— Твои мнения,— ответил Грановский,— точно так же исторический момент в науке мышления, как и самые писания энциклопедистов. Мне в твоих статьях нравится то, что мне нравится в Вольтере или Дидро; они живо, резко затрогивают такие вопросы, которые будят человека и толкают вперед, ну, а во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться. Разве кто-нибудь говорит теперь о теориях Вольтера?

— Неужели же нет никакого мерила истины и мы будим людей только для того, чтобы им сказать пустяки?

Так продолжался довольно долго разговор. Наконец я заметил, что развитие науки, что современное состояние ее *обязывает нас* к принятию кой-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что, однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи.

— Все это так мало обязательно,— возразил Грановский, слегка изменившись в лице,— что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа, с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.

— Славно было бы жить на свете,— сказал я,— если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут, на манер сказок.

— Подумай, Грановский,— прибавил Огарев,— ведь это своего рода бегство от несчастья.

— Послушайте,— возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего,— вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах, мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее.

— Изволь, с величайшим удовольствием! — сказал я, чувствуя холод на лице. Огарев промолчал. Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно; мы все слишком любили друг друга, чтоб по выражению лиц не вымерить вполне, что́ произошло. Ни слова больше, спор не продолжался. Natalie старалась замаскировать, исправить случившееся. Мы помогли ей. Дети, всегда выручающие в этих случаях, послужили предметом разговора, и обед кончился так мирно, что посторонний, который бы пришел после разговора, не заметил бы ничего...

После обеда Огарев бросился на своего Кортика, я сел на выслужившую свои лета жандармскую клячу, и мы выехали в поле. Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело; до сих пор Огарев и я, мы думали, что сладим, что дружба наша сдует разногласие, как пыль; но тон и смысл последних слов открывал между нами даль, которой мы не предполагали. Так вот она межа — предел и с тем вместе ценсура! Всю дорогу ни Огарев, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой и оба в один голос сказали: «Итак, видно, мы опять одни?»

Огарев взял тройку и поехал в Москву, на дороге сочинил он небольшое стихотворение, из которого я взял эпиграф.

...Ни скорбь, ни скука
Не утомят меня. Всему свой срок,
Я правды речь вел строго в дружнем круге,
Ушли друзья в младенческом испуге.
И он ушел — которого, как брата
Иль как сестру, так нежно я любил!
. . . .
. . . .
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,
И пусть мечты и люди идут мимо...[20]

С Грановским я встретился на другой день как ни в чем не бывало — дурной признак с обеих сторон. Боль еще была так жива, что не имела слов; а немая боль, не имеющая исхода, как мышь середь тишины, перегрызает нить за нитью...

Дни через два я был в Москве. Мы поехали с Огаревым к Е. Коршу. Он был как-то предупредительно любезен, грустно мил с нами, будто ему нас жаль. Да что же это такое, точно мы сделали какое-нибудь преступление? Я прямо спросил Е. Корша, слышал ли он о нашем споре? Он слышал; говорил, что мы все слишком погорячились из-за отвлеченных предметов; доказывал, что того идеального тождества между людьми и мнениями, о котором мы мечтаем, вовсе нет, что симпатии людей, как химическое сродство, имеют свой предел насыщения, через который переходить нельзя, не наткнувшись на те стороны, в которых люди становятся вновь посторонними. Он шутил над нашей молодостью, пережившей тридцать лет; и все это он говорил с дружбой, с деликатностью — видно было, что и ему не легко.

Мы расстались мирно. Я, немного краснея, думал о моей «наивности», а потом, когда остался один и лег в постель, мне показалось, что еще кусок сердца отхватили — ловко, без боли, но его нет!

Далее не было ничего... а только все подернулось чем-то темным и матовым; непринужденность, полный abandon * исчезли в нашем круге. Мы сделались внимательнее, обходили некоторые вопросы, то есть действительно отступили на «границу химического сродства» — и все это приносило тем больше горечи и боли, что мы искренно и много любили друг друга.

Может, я был слишком нетерпим, заносчиво спорил, колко отвечал... может быть... но, в сущности, я и теперь убежден, что в действительно близких отношениях тождество *религии* необходимо, тождество в главных теоретических убеждениях. Разумеется, одного теоретического согласия недостаточно для близкой связи между людьми; я был ближе по симпатии, например, с И. В. Киреевским, чем с многими из наших. Еще больше, можно быть хорошим и верным *союзником,* сходясь в каком-нибудь определенном деле и расходясь в мнениях; в таком отношении я был с людьми, которых бесконечно уважал, не соглашаясь в многом с ними, например,

* откровенность *(фр.)*.

с Маццини, с Ворцелем. Я не искал их убедить, ни они — меня; у нас довольно было общего, чтоб идти, не ссорясь, по одной дороге. Но между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнию, нельзя было так глубоко расходиться.

Еще бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь собственно вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений... какие же могли быть уступки на этом поле?..

Трещина, которую дала одна из стен нашей дружеской храмины, увеличилась, как всегда бывает — мелочами, недоразумениями, ненужной откровенностью там, где лучше было бы молчать — и вредным молчанием там, где необходимо было говорить; эти вещи решает один такт сердца, тут нет правил.

ИЗ ОЧЕРКА «Н. Х. КЕТЧЕР» (1842—1847)

⟨...⟩ В наш чистый, светлый, совершеннолетний круг стали врываться пересуды девичьей и пикировка провинциальных чиновников. Раздражительность Кетчера становилась заразительной; постоянные обвинения, объяснения, примирения отравляли наши вечера, наши сходки.

Вся эта едкая пыль наседала во все щели и малопомалу разлагала цемент, соединявший так прочно наши отношения к друзьям. Мы все подверглись влиянию сплетен. Сам Грановский стал угрюм и раздражителен, несправедливо защищал Кетчера и сердился. К Грановскому приходил Кетчер с своими обвинениями против меня и Огарева. Грановский не верил им; но, жалея «больного, огорченного и все-таки любящего» Кетчера, запальчиво брал его сторону и сердился на меня за недостаток терпимости.

— Ведь ты знаешь, что у него нрав такой; это — болезнь, влияние доброй Серафимы [1], но неразвитой и тяжелой, дальше и дальше толкает его в этот несчастный путь, а ты споришь с ним, как будто он был в нормальном положении.

. . . .

Чтоб кончить этот грустный рассказ, приведу два примера... В них ярко выразилось, как далеко мы ушли от теории варения кофея в Покровском.

Как-то вечером, весной 1846 года, у нас было человек пять близких знакомых и в том числе Михаил Семенович.

— Нанял ты нынешний год дом в Соколове?

— Нет еще, денег нет, а там надобно платить вперед.

— Неужели же все лето останешься в Москве?

— Подожду немного, потом увидим.

Вот и все. Никто не обратил на этот разговор никакого внимания, и через секунду шла покойно другая речь.

Мы собирались на другой день после обеда съездить в Кунцево, которое любили с детства. Кетчер, Корш и Грановский хотели ехать с нами. Поездка состоялась, и все шло своим порядком, кроме Кетчера, мрачно подымавшего брови; но наконец все были обстреляны.

Вечер был наш, весенний, без палящего жара, но теплый; лист только что развернулся; мы сидели в саду, шутя и разговаривая. Вдруг Кетчер, молчавший с полчаса, встал и, остановясь передо мной, с лицом прокурора фемического суда [2] и с дрожащей от негодования губой, сказал мне:

— А надобно тебе честь отдать: ловко ты вчера Михаилу Семеновичу напомнил, что он еще не заплатил тебе девятьсот рублей, которые брал у тебя.

Я истинно ничего не понял, тем больше, что, наверное, год не думал о долге Щепкина.

— Деликатно, нечего сказать. Старик теперь без денег с своей огромной семьей собирается в Крым, а тут ему в присутствии пяти человек говорят: «Нет денег на наем дачи!» Фу, какая гадость!

Огарев вступился за меня, Кетчер накинулся на него; нелепым обвинениям не было конца; Грановский попробовал его унять, не смог и уехал с Коршем прежде нас. Я был рассержен, унижен и отвечал очень жестко. Кетчер посмотрел исподлобья и, не говоря ни слова, пошел пешком в Москву. Мы остались одни и в каком-то жалком раздражении поехали домой.

Я хотел на этот раз дать сильный урок и если не вовсе прервать, то приостановить сношения с Кетчером. Он раскаивался, плакал; Грановский требовал мира, говорил с Natalie [3], был глубоко огорчен. Я помирился, но не весело и говоря Грановскому: «Ведь это на три дня».

Вот прогулка, а вот и другая.

Месяца через два мы были в Соколове. Кетчер и Серафима отправлялись вечером в Москву. Огарев поехал их провожать верхом на своей черкесской лошади; не было ни тени ссоры, размолвки.

...Огарев возвратился через два-три часа; мы посмеялись, что день прошел так мирно, и разошлись.

На другой день Грановский, который накануне был в Москве, встретил меня у нас в парке; он был задумчив,

грустнее обыкновенного, и наконец сказал мне, что у него есть что-то на душе и что он хочет поговорить со мной. Мы пошли длинной аллеей и сели на лавочке, вид с которой знают все, бывшие в Соколове.

— Герцен,— сказал мне Грановский,— если б ты знал, как мне тяжело, как больно... как я, несмотря ни на что, всех люблю, ты знаешь... и с ужасом вижу, что все разваливается. И тут, как на смех, мелкие ошибки, проклятое невнимание, неделикатность...

— Да что случилось, скажи, пожалуйста? — спросил я, действительно испуганный.

— То, что Кетчер взбешен против Огарева, да и, по правде сказать, трудно не быть взбешенным: я стараюсь, делаю, что могу, но сил моих нет, особенно когда люди не хотят ничего сами сделать.

— Да дело-то в чем?

— А вот в чем: вчера Огарев поехал Кетчера и Серафиму провожать верхом.

— При мне было, да и я Огарева видел вечером, он ни слова не говорил.

— На мосту Кортик зашалил, стал на дыбы; Огарев, усмиряя его, с досады выругался при Серафиме, и она слышала... да и Кетчер слышал. Положим, что он не подумал, но Кетчер спрашивает: «Отчего на него не находят рассеянности в присутствии твоей жены или моей?» Что на это сказать?.. и притом, при всей простоте своей, Серафима очень сюссептибельна *, что при ее положении очень понятно.

Я молчал. Это перешло все границы.

— Что ж тут делать?

— Очень просто: с негодяями, которые в состоянии намеренно забываться при женщине, надобно раззнакомиться. С такими людьми быть близким другом — презрительно...

— Да он не говорит, что Огарев это сделал намеренно.

— Так о чем же речь? И ты, Грановский, друг Огарева, ты, который так знаешь его безграничную деликатность, повторяешь бред безумного, которого пора посадить в желтый дом. Стыдно тебе.

Грановский смутился.

— Боже мой! — сказал он,— неужели и наша кучка людей, единственное место, где я отдыхал, надеялся,

---

* обидчива (от *фр.:* susceptible).

любил, куда спасался от гнетущей среды,— неужели и она разойдется в ненависти и злобе?

Он покрыл глаза рукой.

Я взял другую, мне было очень тяжело.

— Грановский,— сказал я ему,— Корш прав: мы все слишком близко подошли друг к другу, слишком стиснулись и заступили друг другу в постромки... Gemach! друг мой, Gemach!* Нам надобно проветриться, освежиться. Огарев осенью едет в деревню, я скоро уеду в чужие края,— мы разойдемся без ненависти и злобы; что было истинного в нашей дружбе, то поправится, очистится разлукой.

Грановский плакал. С Кетчером по этому делу никаких объяснений не было.

Огарев действительно осенью уехал, а вслед за ним — и мы. 〈...〉

---

* Спокойствие!.. Спокойствие! *(нем.)*

ИЗ ОЧЕРКА «РУССКИЕ ТЕНИ»[1]

⟨...⟩ ...На второй год университетского курса, то есть осенью 1831, мы встретили в числе новых товарищей, в физико-математической аудитории — двоих, с которыми особенно сблизились.

Наши сближения, симпатии и антипатии шли из одного источника. Мы были фанатики и юноши, все было подчинено одной мысли и одной религии — наука, искусство, связи, родительский дом, общественное положение. Там, где открывалась возможность обращать, проповедовать, там мы были со всем сердцем и помышлением, неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже.

Мы вошли в аудиторию с твердой целью в ней основать зерно общества по образу и подобию декабристов и потому искали прозелитов и последователей. Первый товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов; мы нашли его совсем готовым и тотчас подружились. Он сознательно подал свою руку и на другой день привел нам еще одного студента[2].

Сазонов имел резкие дарования и резкое самолюбие. Ему было лет восьмнадцать, скорее меньше, но, несмотря на то, он много занимался и читал все на свете. Над товарищами он старался брать верх и никого не ставил на одну доску с собой. Оттого они его больше уважали, чем любили. Друг его, красивый собой и нежный, как девушка, совсем напротив, искал, к кому бы приютиться; полный любви и преданности, едва вышедший из-под материнского крыла, с благородными стремлениями и полудетскими мечтами, ему хотелось теплоты, нежности, он жался к нам и отдавался весь и нам, и нашей идее,— это была натура Владимира Ленского, натура Веневитинова.

...День, в который мы сели рядом на одной из лавок амфитеатра и взглянули друг на друга с сознанием

нашего обречения, нашей связи, нашей тайны, нашей готовности погибнуть, нашей веры в святость дела — и взглянули с гордой любовью на это множество молодых, прекрасных голов, окружавших нас, как на братственную паству — был великим днем в нашей жизни. Мы подали друг другу руку и à la lettre * пошли проповедовать свободу и борьбу во все четыре стороны нашей молодой «вселенной» **, как четыре диакона, идущие в светлый праздник с четырьмя Евангелиями в руках.

Проповедовали мы везде, всегда... Что мы, собственно, проповедовали, трудно сказать. Идеи были смутны, мы проповедовали декабристов и французскую революцию, потом проповедовали сенсимонизм и ту же революцию, мы проповедовали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедовали ненависть к всякому насилью, к всякому правительственному произволу.

Общества, в сущности, никогда не составлялось, но пропаганда наша пустила глубокие корни во все факультеты и далеко перешла университетские стены.

С тех пор наша пропаганда не перемежалась через всю жизнь нашу, от университетской аудитории до лондонской типографии. Вся наша жизнь была посильным исполнением отроческой программы. Проследить нитку не трудно по затронутым вопросам, по возбужденным интересам, в журналах, на лекциях, в литературных кругах... видоизменяясь, развиваясь, наша пропаганда оставалась верной себе и вносила свой *индивидуальный* характер во все окружающее. Казна подняла нас и сделала нам на свой счет пьедестал *тюрьмой* и *ссылкой*. Мы возвратились в Москву «авторитетами» в двадцать пять лет. К нам примкнули Белинский, Грановский и Бакунин, а статьями в «Отечественных записках» мы сами примкнули к петербургскому движению лицеистов и молодой литературы. Петрашевцы были нашими меньшими братьями, как декабристы — старшими.

Умалчивать о значении нашего круга оттого, что я принадлежал к нему, было бы лицемерно или глупо. Совсем напротив, встречаясь в моих рассказах с теми временами, с старыми друзьями тридцатых и сороковых

* буквально *(фр.)*.
** universitas. *(Примеч. А. И. Герцена.)*

годов, я нарочно останавливаюсь и говорю, не боясь повторений, лишь бы ближе познакомить с ними молодое поколение. Оно их не знает, забыло, не любит, отрекается от них, как от людей менее практических, дельных, менее знавших, куда идут; оно на них сердится и огулом отбрасывает их, как отсталых, как лишних и праздных людей, фантастов и мечтателей, забывая, что оценка прошлых *лиц,* их значение и «проба» меньше зависят от сравнения *суммы* знания и образа постановления задач прежнего времени и нового, чем от энергии и силы, которую вносили они в свои решения. Мне ужасно хотелось бы спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от исторической ошибки. Пора отцам Сатурнам не закусывать своими детьми, но пора и детям не брать примера с тех камчадалов, которые убивали стариков.

Смело и с полным сознанием скажу еще раз про наше товарищество того времени, что «это была удивительная молодежь, что такого круга людей талантливых, чистых, развитых, умных и преданных я не встречал», а скитался довольно по белому и по *красному* свету. Я не только говорю о нашем, близком круге, но то же и в той же силе должен сказать о круге Станкевича и о славянофилах. Молодые люди, испуганные ужасной действительностью, середь тьмы и давящей тоски, оставляли все и шли искать выхода. Они жертвовали всем, до чего добиваются другие,— общественным положением, богатством, всем, что им предлагала традиционная жизнь, к чему влекла среда, пример, к чему нудила семья,— из-за своих убеждений и остались верными им. Таких людей нельзя просто сдать в архив и забыть.

Их преследуют, отдают под суд, отдают под надзор, ссылают, таскают, обижают, унижают,— они остаются те же; проходит десять лет — они те же, проходит двадцать, тридцать — они те же.

Я требую признания им и справедливости.

Против этого простого требования я слышал странное возражение, и притом не один раз:

— Вы, и еще больше декабристы, были дилетанты революционных идей; для вас ваше участие в деле была роскошь, поэзия; сами же вы говорите, что вы все *жертвовали* общественным положением, имели средства, для вас, стало быть, переворот не был вопросом куска хлеба и человеческого существования, вопросом на жизнь и смерть...

— Я полагаю,— отвечал я раз,— что для казненных *да*...

— По крайней мере, не были роковыми, неизбежными вопросами. Вам нравилось быть революционерами, и это, разумеется, лучше, чем если б вам нравилось быть сенаторами и губернаторами; для нас же борьба с существующим порядком — не выбор, это — *наше* общественное положение. Между нами и вами та разница, которая между человеком упавшим в воду и купающимся: обоим надобно плыть, но одному по необходимости, а другому из удовольствия.

Не признавать людей потому, что они делали из внутреннего влечения то, что́ другие *будут* делать из нужды, сильно сбивается на монашеский аскетизм, который высоко ценит только те обязанности, исполнение которых очень противно.

Такого рода крайние взгляды легко дают корень у нас — не то чтобы глубокий, но трудно искореняемый, как хрен.

Мы большие доктринеры и резонеры. К этой немецкой способности у нас присоединяется свой национальный, так сказать, *аракчеевский* элемент, беспощадный, страстно сухой и охотно палачествующий. Аракчеев засекал для своего идеала лейб-гвардейского гренадера — живых крестьян; мы засекаем идеи, искусства, гуманность, прошедших деятелей, все, что угодно. Неустрашимым фронтом идем мы, шаг в шаг, *до чура* и переходим его, не сбиваясь с диалектической ноги, а только *с истины;* не замечая, идем далее и далее, забывая, что реальный смысл и реальное понимание жизни именно и обнаруживается в остановке перед крайностями... это — halte * меры, истины, красоты, это — вечно уравновешиваемое колебание организма.

Олигархическое притязание неимущества на исключительность общественной боли и на монополь общественного страдания — так же несправедливо, как все исключительности и монополи. Ни с евангельским милосердием, ни с демократической завистью дальше милостыни и насильственной сполиации **, дальше раздачи именья и общего нищенства не уйдешь. В церкви оно осталось риторической темой и сентиментальным упражнением в сострадании; в ультрадемократизме,— как

* Здесь: предел, граница *(фр.)*.
** грабежа (от *фр.:* spoliation).

заметил Прудон,— чувством зависти и ненависти, не переходя ни там, ни тут ни к какой построяющей мысли, ни к какой практике.

Чем же виноваты люди, понявшие боль страждущих прежде их самих и указавшие им не только ее, но и путь к выходу? Потомок Карла Великого — Сен-Симон, так же как фабрикант Роберт Оуэн не от голодной смерти сделались апостолами социализма.

Взгляд этот не продержится, в нем недостает теплоты, доброты, шири. Я бы и не упомянул об нем, если б в его проскрипционные листы, вместе с нами, не вошли и те ранние сеятели всего, что взошло и всходит — декабристы, которых мы так глубоко уважаем.

ИЗ ДНЕВНИКА 1842—1845, 1856 ГГ.

(Отрывки)

1842 год. Июнь месяц

10. Сегодня уехал Огарев; после 11 дней. Прекрасно проведенные дни, дни жизни, т. е. когда человек живет в настоящем; хотя не со всех сторон светло; но мы давно не встречались так спокойны и веселы. Он намерен разойтись с нею [1]. Дай бог, но вряд найдет ли достаточно силы. Она хитростью, притворством может еще овладеть его тихой и благородной душой. Может, еще и настанут светлые дни со стороны частной жизни.

Он говорил и о других надеждах [2], но я так отвык от них, что едва сердце бьется при словах, удивление, похожее на то, когда бы мы увидели усопшего нам близкого... а веры нет.

Итак, он в Рим, Париж, а я — все здесь и с цепью на ногах ⟨...⟩

11. Он привез «Мертвые души» Гоголя — удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых, навозных испарений, там он видит удалую, полную сил национальность...

16. ⟨...⟩ Огарев понимает ясно, когда брак есть что-нибудь и когда он делается нелепой формой, взаимным рабством, отвратительным соединением гетерогенного, такой брак in facto * уже распался, если нет детей, он — бесследно прошедшее. Он именно в этом случае — а не смеет разойтиться. Боится общественного мнения, говорит он; но тут есть и другая боязнь — от совести timorée **.

17. Вчера гонец из Петербурга от Огарева [3]. Дубельт не находит возможным делать представление, находя бесполезным, ибо по всем прочим обо мне государь отказал (вероятно ли??!), и предлагает последнее сред-

---

* по существу *(лат.)*.
** трусливой *(фр.)*.

ство: писать Наташе к императрице, и притом с тем же нарочным. Прислали черновую. Наташа переписала, подписала и отправила. Просьбу берется доставить Соллогуб, много хлопотавший в этом. И все вместе оскорбительно до невероятной степени; достоинство моей человеческой личности, а вместе и всех личностей замято в грязь этим бесправием...

Июль месяц

9. Письмо от графа Бенкендорфа к моей жене, извещает о разрешении ехать в Москву — с тем, чтоб я не приезжал в Петербург. Все сделано графом Вьельгорским. Недаром он магнетически как-то понравился мне при первой встрече. И граф Соллогуб много хлопотал. Оно не все — но лучше. Я не ждал. Ровно 8 лет взятию Огарева 9 июля 1834. В Москве будут и неприятности, но не так заглохнешь [4]. И опять фатум, фатум!

Ноябрь месяц

2. Письмо от Сатина из Ганау [5]. Огарев опять наделал глупостей в отношении к жене, снова сошелся с нею, поступал слабо, обманывал, унижался и опять сошелся. После всего бывшего! Вот что я писал к Огареву [6]: «Бедный, бедный Огарев — я грущу о твоем положении, но ни слова, когда дружба истощила безуспешно все, чтоб предупредить, отвратить, ее дело остаться верною в любви. Дай руку, как бы ты ни поступил, не хочу быть судьей твоим, хочу быть твоим другом, я отворачиваюсь от темной стороны твоей жизни и знаю всю полноту прекрасного и высокого, заключенного в ней. У тебя широкие вороты для выхода из личных отношений — искусство, мир всеобщего, я хочу не знать жалкой борьбы, от которой раны, конечно, будут не на груди». Я откровенно делю с ним его несчастие, понимаю его слабость (как его, ибо во мне есть возможность падений, увлечений, но такой слабости нет и тени), не могу простить его поступка, но далек и от жестокого приговора. У К. [7] сильная способность любить, но он жесток на словах, скор в приговорах, это его недостаток, его ограниченность. Для хладнокровного наблюдателя это психологический феномен, достойный изучения. Чем эта

ограниченная, неблагородная, некрасивая, наконец, женщина, противуположная ему во всех смыслах, держит его в илотизме? Любовью — он не любит ее, даже не уважает, абстрактной идеей брака — он давно не признает власть его. Чем же? Отталкивающее ее существо так сильно, что все, приближающееся к ней, ненавидит ее,— везде, на Кавказе, в Москве, в Неаполе, Париже — она возбудила смех и негодование. Сожаление и слабость, беспредельная слабость — вот что затягивает цепь, которую должно было сбросить, так далеко зашел ее эгоистический, дерзкий нрав. Такая ли будущность ждала Огарева? И в таком-то омуте теряет он силы на глупую борьбу, теряет здоровье, жизнь. Это ужасно. Но теперь-то ему и нужна дружба!

1843 год

Москва. Январь месяц

1. Встретились мы с 1843 годом под счастливым созвездием,— девять лет я не встречал новый год в Москве. Шумно и весело, с пенящимися бокалами и искренними объятиями друзей перешли мы в него. И было чрезвычайно весело, что редко посещает нас; на минуту скорбное отлетело, мы были довольны, что вместе, после долгих и скорбных лет. Огарева недоставало [8]; но он был с нами в воспоминанье и в портрете ⟨...⟩

Февраль месяц

15. Письмо от Огарева [9]. На него только можно сердиться и негодовать, когда ни его нет, ни письма нет. Достоинство сирены: стал говорить, и симпатичная всему прекрасному и высокому душа все поправила, примирила, восстановила ⟨...⟩

Март месяц

19. Четыре года тому назад, 19 марта, уехал Огарев из Владимира, после первого свиданья [10]. Как все тогда было светло! Не прошло года после свадьбы; тихая, спокойная, прекрасная идиллия владимирской жизни.

Недоставало только друга — и он явился, радостный и упоенный своим счастием. Все улыбалось. Ни одного диссонанса не было видно. Мы были чрезвычайно счастливы, юно счастливы. Любовь, дружба, преданность всеобщим интересам, сознание блаженства — это был блестящий эпилог юности, точка поворота, к которой все собралось в праздничной одежде. Давши эту награду за прошлое, этот залог будущему, судьба повлекла нас быстро по железной дороге. Сколько переменилось в эти четыре года, сколько испытаний! Главное цело, все цело: и дружба, и любовь, и преданность общим интересам,— но освещение не то, алый свет юности заменился северным, ясным, но холодным солнцем реального пониманья. Чище, совершеннолетнее пониманье, но нет нимба, окружавшего все для нас. Период романтизма исчез, тяжелые удары и годы убили его. Мы, не останавливаясь, шли вперед, многого достигли, но юные формы приняли мускулезный и похудевший вид путника усталого, сожженного солнцем, искусившегося всеми тягостями пути, знающего теперь все препятствия и пр. Первый удар был страшен, потому что разом потряс самые нежные струны. Это ссора с Марией Львовной — а четыре года тому назад мы расстались, как брат с сестрою. Ее раздор с мужем, его слабость — и целая история, отвратительная и мучительная. А потом вторая ссылка... и многое. Мне кажется, наступает теперь новая эпоха — успокоения совершеннолетнего и деятельности более развитой. А впрочем, поживем — увидим. Теперь одна цель, одно желание — поправить здоровье Natalie и ехать, ехать на юг, в степь, если нельзя в Италию.

Апрель месяц

15. Письмо от Огарева, письмо от Белинского [11] ⟨...⟩ Огарев понимает, что он свое положение делает безвыходным именно по нерешительности, и не делает однако ни шагу потому, что самая тягость его положения для него легче, нежели решиться на что-нибудь... И все-таки как прекрасны люди, как Огарев, в другом роде — как Белинский! Какой любовью и каким приветом мы окружены!

Граф Строганов писал еще к гр. Бенкендорфу и просил доложить государю о моем путешествии [12]... О боже,

неужели так близко совершение мечты, упования самого заповедного,— мне страшно вздумать, что в июле, быть может, проведу месяц с Огаревым на Lago Maggiore *, я поюнею, это одно из последних требований чисто личных ⟨...⟩

Май месяц

9. Пять лет после моей свадьбы. Этот пятый год был тяжел, он раздавил последние цветы юности, последние упования — и был прав ⟨...⟩ Я вгляделся в себя и в жизнь. У меня характер ничтожный, легкомысленный,— людям нравится во мне широкий взгляд, человеческие симпатии, теплая дружба, доброта, и они не видят, что fond** всему — слабый характер, не в том смысле, как у Огарева,— инертивно слабый, а суетливо слабый ⟨...⟩.

15. Скоро будет Белинский [13], жду, очень жду его, я мало имел близких отношений по внешности с ним, но мы много понимаем друг друга. ⟨...⟩ Он пишет о моем счастии, а я ему хочу высказать, как я не умел понять его, как я забылся, зазнался. Он меня осудит,— и мне останется, покраснея и затаив слезу, слушать. То же будет, когда явится Огарев! Одно, одно, лишь бы новые силы помогли ей [14] ⟨...⟩.

31. Сегодня или вчера год, как приехал Огарев в Новгород. Этот год страшно обширен по внутренним событиям, в нем я отстрадался за все благо моей прошлой жизни. Последний безотчетно светлый миг — был миг, в который мы проводили его. ⟨...⟩

Июль месяц

21. ⟨...⟩ Письмо от Огарева из Bagni di Lucca — и хорошо [15]. Главное, в нем *не видать горизонта.* Ничего не может быть страшнее, когда в человеке виден горизонт,— с ним нет полной свободы, нет той бесконечности симпатии ⟨...⟩

---

* озере Маджоре *(ит.).*
** основа *(фр.).*

1844 год

Январь месяц

7. Вчера Грановский окрестил новорожденного, все было весело и торжественно, напомнило рождение Саши. Огарев считает себя крестным отцом Саши; Сатин и Кетчер крестили несчастных малюток умерших, а Грановский вновь начинает с перелома. Сегодня девятый день, и все исправно [16]. ⟨...⟩

Июнь месяц

15. Вчера письма от наших из Берлина [17], едут обратно к концу августа; опять соберется старая семья друзей, давно не видались. Хотелось бы поскорее передать все пережитое и их послушать. ⟨...⟩

Август месяц

28. Несколько дней, прекрасно проведенных в симпатическом кругу друзей и хороших знакомых, приехавших сюда [18]. К тому же и письма из Берлина [19]. Семейные дела Огарева никак не распутываются, что за фатум над ним! Нет, юность не прошла еще, подчас кажется, что есть элементы юности, которые умеют храниться не токмо при входе в мужество, но и с сединою. Дружба всегда была для меня великим поэтическим вознаграждением; не мечтательный, не сосредоточенный в себе, я искал наслаждения на людях, делил мысль и печаль с людьми. Дружба меня привела к любви. ⟨...⟩

Октябрь месяц

15. На днях получил прекрасное письмо от Огарева [20]; несмотря на все странности, на все слабые стороны его характера, я решительно не знаю человека, который бы так поэтически, так глубоко и верно отзывался на все человеческое. Я совершенно примирился с ним, а то

были минуты, в которые я негодовал, и очень. Женщина эта мучит его, преследует и не выпускает из рук добычи. Он ее не любит и между тем не может отвязаться от нее — психологическая задача. Долго ни он, ни Сатин не приедут, и прекрасно для них, пусть надышатся европейским воздухом. 〈...〉

1845 год

Январь месяц

3. 〈...〉 В самый Новый год длинное письмо Огарева [21] — он развивается и притом как-то одинаково со мной, с нами. Впрочем, сверх близости души, одна атмосфера современной мысли обнимает нас. 〈...〉

Март месяц

2. Большое письмо из Берлина 〈...〉. Огарев пишет о том, что нельзя жить дома, да мы знаем это получше его [22]. Слабость, что ли, надежда ли — а что-то да держит. Будем думать да думать, да почти ничего не делать, а жизнь будет идти да идти.

Октября 3. 〈...〉 На первом плане скитанье Огарева и все вести, приходящие об этом скитанье, ибо он сам не пишет. Вера в способность его ко всему прекрасному и высокому не может потрясена быть во мне, но что же в одной возможности, когда же наступит пора дела, что за противуречие между жизнью rentier *, бесцельной, без занятий, и этими *слезами* симпатии всему прекрасному? Я не токмо не против заграничной жизни, но допускаю в известных случаях экспатриацию, но не для того, чтоб жить там праздному и проживать все свое состояние пошло,— такое употребление богатства в наше время преступно. Да и такая жизнь за границей — безнравственное бегство. Видно, пора перестать слишком много класть на голову индивидуальностей. Ох, Спиноза прав!

---

* рантье *(фр.)*.

1856 год

9 апреля — 4 мая

Неужели мой призыв носил в себе черное пророчество?

«Так-то рука в руку входили мы с тобою в жизнь,— писал я года три тому назад,— я дошел не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе выйти, чтоб пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: *Вот и все!»* [23]

Да я и готов бы был выйти, если б в дверях не стояли дети. Никого кругом — ни из ближних, ни из дальних,— все сами не сложились или сломились. Все в горячке — и я опять один защитник, один под бременем обещаний, клятв.

...Первый раз после осени 1851 на меня повеяло чем-то домашним, я опять мог с полной теплотой и без утайки рассказывать то, о чем молчал годы [24]. Мы праздновали нашу встречу печально, но полно, с 9 апреля до 4 мая [25]. Пора опять за работу. Трудно, прогулявши целую неделю, начинать в Фомин понедельник буднишнюю жизнь [26].

Небольшая черта в счете напомнила мне, что праздник прошел, и я снова тороплюсь в чистилище труда и работы.

5 мая

Ровно месяц тому назад поздно вечером я сидел с двумя-тремя приятелями, пришедшими встретить мое рождение — начало сорок четвертого года. Я случайно взглянул на руку и смешался — мое серебряное обручальное кольцо с надписью «Н. Г. 1838, мая 9», которое я ношу с того времени, сломилось. Я не мистик и не люблю мутить мысли предчувствиями, но на этот раз сломанное кольцо навело на меня раздумье.

Не прошло еще месяца, и этот сорок четвертый год оказался одним из важнейших; в самом деле, это начало выхода — кольцо разнимается.

9 апреля мы вставали из-за завтрака, как вдруг Тата сказала: «Какая-то карета остановилась у нашей решетки, и с чемоданами». Я уверен был, что это ошибка, потому что не ждал никого. Это был Огарев и Наталья Алексеевна,— но все поразительное, неожиданное этого свидания было покрыто двумя черными флерами —

смерть Натали [27], с одной стороны, с другой — страшно болезненное выражение лица Огарева. Первая мысль, после удивления, шума и нервного оглушения: «Он очень болен» — отравила радость. И вот в ту торжественную минуту, которой я только и ждал еще, о которой едва смел мечтать... точно что-то резнуло глубоко по сердцу, и, очутившись в первый раз спустя пять лет с другом, с которым привык к безграничнейшему откровению,— я должен был сделать гигантское усилие, чтоб скрыть от него, [что] было внутри. Я не ошибся. Девиль на другой день подтвердил мне все мои опасения [28].

Я. И. КОСТЕНЕЦКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ МОЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

(Отрывки)

В 1827 году, в июне месяце, окончил я гимназическое учение в одной из трех гимназий Черниговской губернии, в Новгород-Северской, состоявшей тогда только из четырех классов, в которых, однако ж, преподавался полный гимназический курс, и окончившие его с успехом могли поступать в университет. По молодости моей — мне было только шестнадцать лет — и по совету директора гимназии, незабвенного для всех учеников своих, Ильи Федоровича Тимковского, я, хотя и с успехом кончил четвертый класс гимназии, но остался в нем, для большего усовершенствования, еще на год, так что я вышел из гимназии на семнадцатом году возраста и с хорошими познаниями во всех гимназических науках. Я был первым учеником. В то время, в последнем, т. е. в четвертом классе гимназии, было всего одиннадцать учеников ⟨...⟩. Все они, исключая, кажется, Похорского, поступили в Московский университет. ⟨...⟩

По окончании гимназического экзамена я обратился к своему директору, сказал ему о моем желании поступить в Московский университет и о намерении отца отдать меня в Харьковский, и директор, приняв во мне участие, написал об этом к моему отцу. По приезде домой на каникулы письмо директора и мои просьбы склонили моего доброго и любившего меня отца согласиться с моим желанием, и как я был рад, когда наконец отец сказал мне о своем согласии. ⟨...⟩

В то время Москва была для наших помещиков каким-то таинственным и страшным городом, о котором они только кое-что слышали. ⟨...⟩

Кажется, в августе месяце 1828 года выехал я из дому в Москву. Разлука с родителями была самая грустная. ⟨...⟩

С тех пор прошло уже более сорока лет. Трудно мне

припомнить теперь многих моих товарищей и современников по университету, и потому скажу здесь нечто о тех только из них, без различия курсов, с которыми я или впоследствии времени встречался, или они чем-либо заявили о своем существовании.

⟨...⟩ Современниками моими и одного факультета были: Януарий Михайлович Неверов, нынешний попечитель Ставропольского учебного округа, Петр Савостьянов, прославившийся потом археологическими трудами, Александр Васильевич Назаров, теперешний председатель Московского Коммерческого суда, два брата Цветаевы — дети профессора, Перегудов, Тюрин, граф Иван Петрович Толстой, князь Шаховской, князь Андрей Оболенский, Александр Демидов, Вадим Пассек и Станкевич, сделавшийся впоследствии известным по влиянию своему на свой кружок ⟨...⟩.

Из студентов других факультетов были более или менее со мною знакомы:

Яков Иванович Почека, словесного факультета, сын помещика Нежинского уезда, имевший значительное состояние. Это был добрый, благородный и великодушный юноша. С ним я был очень дружен и в университете, и потом на родине, где он приобрел всеобщее уважение своих соседей и уже в преклонных летах, женясь на молодой девушке, вскоре умер, оставив после себя двух малолетних дочерей.

Иван Афанасьевич Оболенский, тоже словесного факультета. Это был очень образованный и превосходный молодой человек, с которым я был очень дружен, но с которым после университета никогда уже не встречался и не знаю, что с ним случилось.

Николай Огарев, Герцен и Закревский [1] составляли какой-то триумвират, и хотя они были и разных факультетов (Герцен — математического, Огарев и Закревский — словесного) [2], но они всегда ходили вместе и неразлучно. Герцен был худенький, маленький юноша с коротко остриженными светлыми волосами и желтым угреватым лицом. Он был очень живой, бойкий, всегда смеющийся, вечно движущийся... но с ним я был мало знаком. Огарев, напротив, был серьезен, скромен, всегда как бы задумчив. С ним я хорошо сошелся; мы часто вместе читали по-немецки Шиллера, и он подарил мне четыре стереотипных томика сочинений этого поэта, написав на каждой книжечке: *Якову от Николая*, которые, несмотря на все мои превратности в жизни, и сам не

знаю каким чудом сохранились у меня до настоящего времени — единственная вещь, уцелевшая из моего студенческого периода. Когда я вспоминаю об этих двух знаменитых личностях, Герцене и Огареве, мне всегда становится жаль, что они ушли из своего отечества, которому могли бы быть очень полезны. ⟨...⟩

Когда уже я был на третьем курсе, в 1831 году, поступил в университет, по политическому же факультету, *Лермонтов*, неуклюжий, сутуловатый, маленький, лет шестнадцати юноша, брюнет, с лицом оливкового цвета и большими черными глазами, как бы исподлобья смотревшими. Вообще студенты последнего курса не очень-то сходились с первокурсниками, и потому и я был мало знаком с Лермонтовым, хотя он и часто подле меня садился на лекциях; тогда еще никто и не подозревал в нем никакого поэтического таланта. ⟨...⟩

В первый год, кроме лекций своего факультета, я посещал постоянно лекции физики профессора Павлова не по обязанности, а добровольно. Это был один из замечательнейших профессоров [3]. Физику он читал по системе Шеллинга. Он имел удивительный дар излагать лекции ясно, в высшей степени логично, без всяких красноречивых или напыщенных фраз, но просто и вразумительно до невероятности. ⟨...⟩

⟨...⟩ До поступления в университет, в гимназии, все науки преподавались нам чисто механически: мы затверживали только факты, об идеях и помину не было, и когда я прослушал первую лекцию Павлова, то я был необыкновенно поражен, как будто какая-то завеса спала с ума моего и в голове моей засиял новый свет. Передо мною открылся новый мир идей, новый взгляд на науки... Одним словом, в первый раз пробудилось мое мышление, и я увидел раскрывшуюся передо мною перспективу философских понятий, которая так понравилась моему юношескому уму. Да, я всегда буду обязан Павлову за мое умственное пробуждение!

Теперь скажу кое-что о профессорах своего факультета. ⟨...⟩

Экстраординарный профессор политической экономии *Васильев*. Это было какое-то злобное существо, которого уже один взгляд возбуждал к нему отвращение. Он был еще молодой человек, и, казалось бы, должен был очень симпатизировать студентам; но он, напротив, делал все возможное, чтобы только раздражать нас. Он читал лекции очень медленно, почти диктовал их, и тре-

бовал, чтобы студенты их записывали и потом учили бы их наизусть. ⟨...⟩ Это сильно возмущало студентов, которых он таким образом низводил на степень гимназистов. ⟨...⟩

По-моему, уже гораздо лучше Васильева делал экстраординарный профессор *Щедритский*, читавший всеобщую статистику. Он хорошо сознавал свое невежество в статистике и поэтому был уверен, что никакие его усилия не заставят студентов слушать его глупые лекции, и потому махнул на все рукой и ограничился тем, что лишь бы только исправно ходить в аудиторию и читать какие-нибудь лекции. ⟨...⟩

Теорию гражданского и уголовного права читал экстраординарный профессор Михаил Яковлевич Малов. Физиономия его отражала на себе вполне всю его глупость: это была кругленькая, маленькая и рябинькая рожица с узенькими, ко рту сходящимися бакенбардиками, с маленькими, впалыми и из глубины сверкающими глазками, с лысиной посреди головы. ⟨...⟩

Лекции его были какою-то смесью отрывков разных иностранных теоретиков: Беккарии, Бентама, Макиавелли и проч. с нашим русским законоведением, чистой чепухой без системы и идеи, какой-то компиляцией, откуда-то им самим или кем другим выбранной, но в которой нашему законодательству отдавалось преимущество пред всеми другими европейскими законодательствами, и наше правление было выставлено идеалом всех правлений. Разумеется, из такого рода лекций не много можно было почерпнуть здравых идей о правах и обязанностях граждан, а тем более об образе правления, и мы слушали и изучали их по необходимости. ⟨...⟩

При всем своем невежестве ему, однако ж, хотелось прослыть между нами за человека образованного, и, бывало, с удивительною хитростию он говорит нам: «Конечно, милостивые государи, я не могу назвать себя человеком высокоученым; я не знаю ни еврейского, ни греческого, ни санскритского языков; я только и знаю что латинский, французский и немецкий языки». Но в самом деле он не знал ни одного иностранного языка, что нам было хорошо известно. У нас в отделении много было студентов-немцев из Остзейского края. Однажды Малов спрашивал лекцию у одного из них. Немец, хотя и хорошо знал по-русски, но нарочно сказал, что он не может хорошо объясняться по-русски и просит позволения отвечать по-немецки.— «Извольте, с моим удоволь-

ствием, мне все равно!» — говорит Малов, и студент начинает отвечать по-немецки: несет страшную дичь, ругает Малова, говорит, например, что ему быть бы не профессором, а свинопасом... и Малов пресерьезно его слушает и только повторяет: Ja! sehr gut, sehr gut! *; а мы, разумеется, помираем со смеху. ⟨...⟩

Из представленной мною, кажется довольно ясной, характеристики профессоров юридического факультета современные, а еще более отдаленные читатели этих воспоминаний, если они только появятся когда-либо в свет, едва ли поверят возможности существования когда-либо таких личностей, как Малов, Щедритский, Васильев — так они уродливы и карикатурны. ⟨...⟩

Теперь я приступлю к описанию одного очень замечательного университетского происшествия, которое наделало тогда много шуму не только в университете, но даже в обществе, стало впоследствии известно под названием *Маловской истории*,— происшествие, которое в настоящее время назвали бы *демонстрацией*, но тогда термин этот еще не был известен. Это само по себе, впрочем, ничтожное происшествие обнаруживало, однако ж, уже зарождавшийся корпоративный дух студентов и общий протест их против бездарности и невежества некоторых профессоров.

Профессор Малов, как я уже писал выше, был олицетворенная глупость и ничтожество; но как он был всегда деликатен с нами даже до унижения, то мы терпеливо переносили его глупость. В это время он из экстраординарных профессоров был сделан ординарным [4], и как у глупых людей honores mutant mores **, то и Малов возгордился новым своим званием, и из кроткого и деликатного вдруг сделался строгим и грубым. В случае шума на его лекциях он не только уже не просил нас униженно, как прежде, перестать шуметь, но стал грозить нам и требовать повелительно от нас тишины. Сначала это нас сильно озадачило: мы не могли понять причины такой перемены, но не обращали на его важничанье никакого внимания и нисколько не боялись его угроз. Но однажды, когда мы по обыкновению начали шуметь на его лекции и не унимались от его строгих требований тишины, он вышел из терпения и забылся до того, что обругал нас мальчишками и ушел с лекции.

* Да! очень хорошо, очень хорошо! *(нем.)*
** почести меняют нравы *(лат.)*.

Негодование студентов за такое оскорбление было страшное. Такая брань от кого бы то ни было показалась бы нам очень обидною, тем более от такого осла, которого мы только и терпели за его снисходительность. ⟨...⟩

Между тем слух о нашем намерении сделать скандал Малову распространился и между студентами других факультетов [5], особливо в словесном факультете, где у нас было много хороших товарищей, которые нам очень сочувствовали и обещали свою помощь. ⟨...⟩

Настал желанный день. Мы все, сговорившиеся, как условились, так и расселись по отделениям скамеек. Является Малов, все встали. ⟨...⟩ Он важно сел на кафедру, то есть на небольшое возвышение со столом и креслом и начал читать лекцию. Тишина царствовала глубокая, как на море перед бурей; только входная в аудиторию дверь часто отворялась и в нее беспрестанно потихоньку входили студенты других отделений, которые и садились на скамейках моего фланга, как ближайших к двери. Из словесного факультета пришли, сколько помнится, Антонович, Почека, Оболенский, князь Оболенский, князь Гагарин, Закревский, Огарев; из математического Герцен, Диомид Пассек, Носков и проч. Не помню теперь, о чем была лекция, но я слушал ее внимательно. ⟨...⟩

Я сидел на передней скамейке. Сначала, желая только сделать как бы пробу, я потихоньку шаркнул ногой по полу; но едва я это сделал, как сзади у меня за скамейками поднялось такое шарканье ногами, какого я уже и не ожидал. Малов изумился. Он перестал читать лекцию и прислушивался к шарканью; но как оно не ослабевало и продолжалось сильнее, то обратился к нашему отделению и начал нам что-то говорить. Мы тотчас перестали, но за этим последовало шарканье на левом фланге, где, вероятно, добрые товарищи не выдержали и не послушались Топорнина. Малов обращается направо к студентам и начинает им говорить; но там мгновенно все умолкает и начинается шум в центре. Малов обращается к центру, там перестают шаркать и начинает опять шуметь правый фланг. Все это делалось как по команде. Малов, видимо, струсил. Сначала он грозил нам, а то вдруг смирился ⟨...⟩. Мягкие его слова и извиняющаяся и униженная его физиономия сильно на нас подействовали, и мы мгновенно перестали шуметь.

Если бы Малов после этого ушел с лекции, то без сомнения и конец был бы нашей демонстрации. Но его,

как говорится, лукавый попутал. Видя нашу покорность, он возгордился своею над нами победой и вдруг, как бы какой черт подучил его, он, обращаясь к нам с насмешкою, сказал: *«Ну что ж вы, милостивые государи, перестали? Что же вы не продолжаете? Продолжайте!..»* Эти слова его были искрой в порох. Едва он выговорил их, как все студенты вскочили с мест своих, начали ногами уже не шаркать, а колотить о передние доски скамеек, закричали на него: вон! вон!.. и пустили уже в него кто шапкой, а кто книжкой. Он стремглав бросился из аудитории, едва успел схватить свою шубу и шапку и побежал через двор на улицу. Тут вслед ему студенты кричали, атукали как на зайца, ругали его, и когда он выбежал на улицу, то полетели в него и камешки, и толпа далеко по Тверской улице провожала его с гиканьем, бранью и атуканьем как дикого зверя.

После такого серьезного уже скандала несколько нас, человек десять из более ретивых и пылких участников, вечером собрались на квартиру к студенту Почеке и начали обсуждать, что нам теперь делать? Происшествие это уже до того озлобило нас против Малова, что мы решились заставить его совершенно оставить университет, и, предполагая, что он на следующую лекцию опять явится в аудиторию, мы составили бумагу, в которой прописали все его нравственные и умственные недостатки и нанесенные им студентам обиды, за что требовали, чтоб он совершенно оставил университет и не являлся бы более на лекции, в противном случае грозили поступить с ним очень дурно и, кажется, угрожали даже его высечь! После этого, в час его лекции, эту бумагу положили в настольную книгу, в которой профессоры обыкновенно перед началом чтения лекции записывали ее содержание 〈...〉 Но он не явился.

По случаю этого события мы стали почти ежедневно собираться к Почеке для наших толков и рассуждений о дальнейших наших действиях. 〈...〉 Давно уже это было, лет сорок тому назад, и поэтому не могу припомнить всех посетителей этих собраний. Кроме меня и Почеки были: Топорнин, Каменский, Антонович, Оболенский, Розенгейм, Ренегарт, Кольрейф, Огарев и, кажется, Герцен и проч., и что всего страннее, что на этих собраниях было больше студентов словесного факультета, нежели политического, до которого Маловское дело касалось. 〈...〉

Настоящие виновники беспорядка, я и другие, заяви-

ли, что мы пойдем в правление и объявим об нашей виновности; но друзья наши нас от этого удержали, представляя нам, что если мы это сделаем, то с нами, как с людьми, не имеющими ни связей, ни родства, могут поступить очень строго, и мы сильно пострадаем (имелось в виду, что нас могут отдать в солдаты), и как мы ни противились такому совету, нас, однако, не допустили до самообвинения; а для этого вызвались четыре студента, люди богатые, с знатною родней и связями, которые поэтому были твердо уверены, что с ними ничего особенного не сделают и много, много, если их посадят в карцер. И на этом мы порешили. К сожалению моему, за давностию времени, ни я, ни Антонович, с которым мы часто говорим об этом времени, не можем вспомнить теперь всех доблестных юношей, с таким благородным самоотвержением взявших на себя чужую вину! Помню только Михаила Розенгейма, студента юридического факультета и моего хорошего приятеля 〈...〉 Другой студент был князь Андрей Оболенский 〈...〉 Третьим был Герцен, как видно из воспоминаний г-жи Пассек. Не помню уже, каким образом они объявили о себе начальству; но кончилось все это тем, что этих четырех студентов велено было посадить на три или четыре дня в карцер [6]. 〈...〉

Можно вообразить, с каким сочувствием и энтузиазмом отнеслись к этим четырем добровольным жертвам все прочие студенты! Во все время их заключения — это был постоянный пир в их карцере и праздник в университете. 〈...〉 По окончании времени ареста, когда эти герои явились в университет, студенты приняли их восторженно, посадили на профессорские кресла, в которых торжественно, при криках *ура*, понесли их сначала в словесное отделение, оттуда по коридорам в юридическое и потом в математическое. 〈...〉

Так кончилась эта знаменитая маловская история! Малова удалили из университета. 〈...〉

С грустью приступаю к воспоминаниям о том событии, которое в свое время наделало много шуму в Москве и которое имело роковое значение в моей жизни.

Вскоре после маловской истории появился на лекциях нашего факультета, вроде вольного слушателя, некто Федор Гуров, будто бы побочный брат проживавшего в Москве помещика Тамбовской губернии Сунгурова 〈...〉 Сначала он познакомился на лекциях с товарищем моим по гимназии Полоником, который потом познако-

мил и меня с ним, и, после нескольких свиданий на лекциях, Гуров пригласил меня к себе в дом. Мы пошли к нему вместе с Полоником, который уже бывал у него прежде, и Гуров познакомил меня с своим братом Сунгуровым, жившим в собственном доме на Кузнецком мосту. 〈...〉

Тот же Полоник познакомил с Гуровым и Антоновича, который также был введен им в дом Сунгурова. 〈...〉

Когда уже мы довольно коротко познакомились с Сунгуровым и Гуровым, они начали нам по секрету рассказывать, что бывшее прежде в России тайное общество, имевшее целью ввести в ней конституционный образ правления, не совсем уничтожено в 1826 году, что оно и теперь существует, очень усилилось и, быть может, скоро начнет действовать, что они состоят членами этого общества, и поэтому приглашали и нас принять участие в этом важном деле. 〈...〉

Однако ж, как я ни был расположен к участию в каждом, каком бы то ни было, тайном патриотическом обществе, но предложение Сунгурова меня сильно озадачило: и верил я ему и не верил 〈...〉 Между тем я начал говорить об этом предложении Сунгурова некоторым из моих товарищей, сохраняя большую осторожность, и говорить, разумеется, таким только товарищам, в единомыслии которых и скромности я был совершенно уверен. 〈...〉

В мае или июне месяце у нас трехгодичные экзамены, которые я выдержал превосходно, и если бы не последовало министерское распоряжение об оставлении нас в университете еще на один год, то я был уверен, что по успехам моим был бы удостоен степени кандидата.

В июне месяце Рахмановы переезжали из Москвы в свою подмосковную деревню, куда и меня пригласили, и я, разумеется, был рад провести каникулы в деревне и в таком добром семействе 〈...〉 Блаженство мое продолжалось не более месяца [7]. 〈...〉

Надобно сказать, что я, находясь вне Москвы, был арестован уже после других, что комиссия, еще прежде моего привода в нее, уже действовала и уже были арестованы Сунгуров, Гуров, Антонович, Кошевский и другие. 〈...〉

После объявления нам решения военного суда, нас пятерых, приговоренных к военной службе, перевели в Покровские казармы, где помещался какой-то полк и где отвели нам всем вместе довольно большую, но

холодную комнату ⟨...⟩ Мы могли выходить куда угодно и к нам тоже каждый мог приходить, и вот начали посещать нас ежедневно наши товарищи-студенты. Это было для нас настоящим праздником! Мы нисколько не заботились о нашей будущности, рады были свободе и свиданию с товарищами ⟨...⟩

Кажется, недели две прожили мы в Покровских казармах. В это время добрый комендант Сталь все еще заботился о нас. Он открыл в пользу нашу подписку [8] между своими знакомыми и между студентами, и собрано было довольно денег, так что мне с Антоновичем досталось до тысячи рублей асс., которые нам и были вручены его адъютантом, и мы поэтому имели средства, чтобы приготовиться к своему далекому путешествию на Кавказ. ⟨...⟩

Меня и Антоновича отправили на Кавказ по этапу с партией, и хотя мы считались *не в роде* арестантов, но все же мы были под надзором конвойных. Партия наша состояла из нескольких арестантов в кандалах, скованных на прут и окруженных конвойными солдатами с ружьями; а мы в своей кибитке ехали тут же за партией. На первом ночлеге, в деревне Бицах, куда мы прибыли еще засветло, караульный унтер-офицер отвел нам особую крестьянскую избу, где мы и поместились с караульным солдатом. Вскоре приехали к нам еще раз проститься некоторые из наших товарищей, студенты: Почека, Оболенский, Сатин и Николай Огарев. Они привезли с собой закусок и вина, и мы, напившись чаю и закусивши, со слезами простились с ними на долгую разлуку [9].

Это свидание было последним звеном, связывавшим меня со студентами и университетом, и этим я заканчиваю мои воспоминания о моей студенческой жизни. ⟨...⟩

П. В. АННЕНКОВ

ИДЕАЛИСТЫ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

(Биографический этюд)

I

Справедливо замечено было кем-то, что первые, молодые идеалы писателей столь же важны в биографическом отношении, как и позднейшие идеалы, на которых основана их известность. Можно дополнить это замечание тем соображением, что предполагаемая им смена идеалов поучительна и важна только при разборе и исследовании обстоятельств, подготовивших и определивших ее. Без этого пояснения изменение идеалов представляет не более, как внешнюю картину роста и развития живых единиц, которая происходит ежедневно и во всем органическом царстве, не обращая на себя особенного внимания людей, привычных к явлению. В таком исследовании и пояснении причин, порождающих видоизменения мысли и созерцаний, всего более нуждается, однако же, деятельность писателей, о которых собираемся здесь говорить, именно, жизненная и литературная деятельность давно покойного А. И. Герцена и тоже покойного Н. П. Огарева.

С именами этих писателей публицистика наша обращалась чрезвычайно осторожно до самого последнего времени. В течение многих годов она обозначала их или начальными буквами их фамилий, или прозвищами, вроде Саша, Ник, Искандер. Пример последнего псевдонима был дан самим автором, Герценом, который еще в период своего пребывания в России сделал из него как бы второе имя для себя и скрывался за ним, никого, впрочем, не обманывая и не делая из него загадки ни для кого. С 1848 года пропадает и это прозвище в нашей литературе и критике, а о разборе направления писателя, который скрывался под прозвищем, по существу, содержанию и форме и говорить нечего [1].

Надо прибавить, однако, что применение, в некотором роде, правил осадного положения к двум именам

писателей, и в особенности к одному из них, несмотря на безуспешность результатов, имело еще в то время смысл, как противодействие политической пропаганде, предпринятой ими, и как ограждение поверхностных умов, столь падких у нас на платоническое сочувствие к ней. Но теперь, когда несостоятельность пропаганды обнаружилась вполне и сама она сделалась уже достоянием истории,— наступила, кажется, пора вывести упомянутые имена из того рода монастырского католического in pace *, куда они загнаны были прежде. Пора возвратить писателей, носивших эти имена, к общему положению и предоставить свободному критическому обсуждению их прошлую деятельность. Можно быть уверенным, что оно исполнит свою задачу удовлетворительно, без послабления к слабым сторонам и идеям их, без преувеличения того, что найдется у них существенного и замечательного в художественном и нравственном отношении.

Может быть, отрывки из ранней переписки Герцена и Огарева с друзьями, которую здесь предлагаем читателям, сопровождая необходимыми объяснениями, помогут, в некоторой мере, начать эту желанную оценку с нужным спокойствием.

Во всяком случае, история их развития, ими самими рассказанная, несомненно должна привести к упразднению тех представлений об их нравственной физиономии, которые были составлены для них врагами и имеют еще ход между большинством публики, как настоящие, подлинные их образы. Обнародование выдержек из переписки разобьет, полагаем, то подобие индийского идола, сохраняющего на вечные времена одно и то же тупое выражение, раз ему приписанное, с которым соединено еще в воображении многих читателей представление Герцена как личности. Никакого застывшего навсегда выражения злобы не оказывается в тех чертах его физиономии, какие дает переписка, да оно и вообще не могло быть его принадлежностью. Самая подвижность его природы и способность принимать впечатления с разных сторон и от разных фактов и явлений жизни уже мешали окаменелости его ума в одном направлении, а сообщаемая переписка, вдобавок, приводит еще весьма тонкие черты его душевного мира, которые, конечно, должны существенно изменить все, что слывет у нас за его портреты и за верные характеристики его морального

---

* мира *(лат.)*.

содержания. То же самое следует сказать и по отношению к Огареву. Всеми признанная и распрославленная слабость его характера не мешала ему упорно настаивать на принятых решениях и достигать своих целей, как оказывается из переписки. По ее свидетельству, он принадлежал к числу тех бессильных людей, которые способны управлять весьма крупными характерами, наделенными в значительной степени волей и решимостью, что доказывается и несомненным его влиянием на своего друга Герцена. Как многие из этого типа слабых натур, одаренных качествами обаятельной личности, он был полным господином не только самого себя, но весьма часто и тех, кто вступал с ним в близкие сношения.

II

Переписка Герцена и Огарева с их друзьями началась с 1835 года [2], то есть с той поры, когда над ними разразилась неожиданная гроза, и они высланы были из Москвы, стало быть, имеет за собой почти пятидесятилетнюю давность. Причина катастрофы имеет отношение к оргии, устроенной выпускными студентами Московского университета 1834 года, праздновавшими окончание курса и получение своих дипломов [3]. Тут распевались между прочим довольно неприличные политические памфлеты и производились другие бесчинства, сопровождающие обыкновенно оргии. Ни Герцен, ни Огарев не были приглашены на пир и в нем не участвовали, не имея для этого и поводов. Герцен кончил курс еще в прошлом 1833 году, а Огарев и вовсе не состоял в числе выпускных студентов. Может быть, оргия эта и потухла бы бесследно в четырех стенах, где происходила, как многие другие, ей подобные, если бы не нашелся предатель в числе пирующих, который предложил повторить в его собственной квартире и на его счет все ее подробности еще раз [4]. Молодежь необдуманно согласилась на предложение и превратила таким образом легкомысленный поступок в нечто похожее на преднамеренную манифестацию. Все участники вечера были, разумеется, забраны и понесли различные кары.

Каким образом наши приятели могли быть привлечены к делу, в котором не принимали никакого участия? Это объясняется растяжимостью политических процессов и свойством их захватывать, ради полноты, сферы

и идеи, лежащие по соседству. Время было тогда довольно смутное, и надо сказать, что репутация полного умственного и общественного спокойствия, составленная им впоследствии, не вполне согласуется с существующими фактами. Начиная с холерных смут 1831 года, волновавших как самый Петербург, так и добрую половину России, и кончая московскими пожарами и поджогами 1834 года, напугавшими обитателей столицы, все свидетельствовало о тревожном состоянии умов даже в народных массах. Частые арестации людей в стенах университета и в армии по подозрению в принадлежности к польской интриге тоже не говорили в пользу благополучного состояния общества, а вдобавок нельзя было скрывать от себя, что политические и экономические идеи, возникшие в Европе после парижского переворота 1830 года, перешли уже нашу границу и стали занимать умы по сю сторону Немана и Вислы. Все это повело к тому, что внутренние реформы, предполагавшиеся вначале и казавшиеся столь верными и неизбежными, что их ожидали с часу на час (см. в переписке А. С. Пушкина толки по поводу их), были на время отложены и уступили место одному требованию порядка и обеспечения правильного хода дела по действующим уставам и образцам. Бдительность тайной и явной полиции возросла по мере задач, возникавших перед нею, и обратилась на Огарева, у которого, по слухам, в нижнем этаже его родового дома, у Никитских ворот, в красной его комнатке с позолотой собиралась молодежь для какого-то секретного дела. На помощь полиции пришла неведомая, говорили, даже родственная рука [5], которая отперла письменный стол Огарева в отсутствие хозяина, разобрала его бумаги, корреспонденцию, заметки и сообщила о подозрительном характере своей находки кому следует *.

Таким образом Огарев был уже заподозрен прежде злополучной оргии, что и объясняет арестование его, вместе с бумагами, на другой же день после захвата соучастников нелепого пира. И действительно, следова-

* Положительных доказательств, подтверждающих факт, не имеется, но в верности его убеждены были тогда все товарищи Огарева, приводя для установления его, кроме известий, полученных стороной, еще и то соображение, что, если бы Огарев был осужден как политический преступник, все громадное состояние его больного отца переходило под опеку родственников или даже в полное их распоряжение. *(Примеч. П. В. Анненкова.)*

тели могли прийти в ужас от того, что они нашли в бумагах Огарева. Это был обмен мыслей между многими молодыми лицами его круга по поводу процветавшего еще тогда учения сенсимонистов! Еще на студенческой скамье одна часть молодежи, искавшей пищи для пробужденной своей мысли, пристроилась к этому учению, между тем как другая такая же склонялась к занятию немецкою философией. Система Сен-Симона отвечала всем инстинктам и наклонностям Огарева и его друзей[6]. Во-первых, эта была в одно время и готовая религия, с установленною уже иерархией, и социальная пропаганда, отвечающая на мечтания о внезапном облагодетельствовании рода человеческого, которые всегда так дороги молодым умам. Во-вторых, она удовлетворяла безобидным образом их наклонности к протесту и оппозиции. Можно себе представить недоумение людей, пересматривавших массу полученных документов, когда они нашли в ней самые индифферентные, как и следовало ожидать от последователей новой секты, отзывы об исторических порядках не только своей родины, но и всей Европы. Это показалось грандиозным анархическим замыслом. За прежде произведенным арестом Огарева (25 июня 1834 года)[7] последовали, по мере разбора его бумаг, через месяц, Герцена, а потом Сатина и других, участвовавших в обсуждении теории. Однако ж один разбор утопической системы или одно даже сочувственное отношение к ее положениям не могли еще составить политического преступления. Необходимо было отыскать, что скрывалось за выбором такой превратной доктрины для постоянных бесед. Две комиссии, одна за другою, работали, чтобы обнаружить положительные злые намерения подсудимых — и безуспешно, потому что таковых вовсе и не было. Ничего похожего на вредный замысел, на скопище с определенной политической целью, на какое-либо решение, принятое в противность действующему законодательству! Оказывался только налицо либеральный образ мыслей, хотя и не подходящий под кару закона, но не принадлежащий к разряду надежных и благонамеренных. Но и этого было довольно. Последняя комиссия не сделала уголовного обвинения из занятия системой Сен-Симона, как могла бы, а, опираясь на приятельские сношения с некоторыми лицами июньской оргии, обвинила их только в тайном единомыслии с ними. Дело было решено. Окончательный приговор разослал подсудимых в разные

губернии. Огарев пострадал при этом всех менее. Из уважения к престарелому отцу его он сослан был на жительство к нему в Пензу. Герцен отправлен на службу в Пермь, где пробыл очень недолго, и почти тотчас по приезде переведен в Вятку. Н. Сатин очутился в Симбирске, откуда отпущен за болезнию только в 1837 году.

Чрезмерно строгие наказания юношеских увлечений и ошибок, не имеющих характера явных преступлений, представляют одну невыгоду: они дают осужденным чрезвычайно высокое понятие о самих себе. Скамья подсудимых развивает своего рода честолюбие: многие сходили с нее с большим уважением к самим себе, чем когда садились на нее в качестве обвиняемых. Конечно, ничего подобного не случилось с Герценым и Огаревым. Они постоянно считали большим несчастием для себя все с ними происшедшее, но все-таки почет, им оказанный преследованием, не прошел и для них бесследно. Давно было замечено, что есть свого рода наслаждение понести наказание не в меру своей вины. У людей в таком положении настоящая вина, если бы она и существовала у них действительно, скоро забывается, а видится им только напраслина, над ними учиненная, которую они и носят торжественно напоказ. Нельзя сказать, чтобы Герцен и Огарев вовсе свободны были, особенно первый, от гордости привилегированным положением жертвы. Она проявляется в записках его «Былое и думы», которые должны быть признаны одною из самых живых и занимательных книг последнего тридцатилетия (появились в 1852 году).

III

Каким образом отразился на душе Герцена и Огарева строгий приговор, их поразивший? Сделались ли они ненавистниками общества и озлобленными врагами всех его порядков? «Записки» Герцена говорят, что они разъехались в самом мрачном настроении духа. Иного и не могло быть, если принять в соображение, что приговор разрушил заранее всю их будущность; но записки умалчивают о другой стороне психического их состояния. Рядом со свидетельством «Записок» существуют еще несомненные документы, показывающие, что вместе с ропотом и протестом, которые действительно вырывались на первых порах у воображаемых преступников,

в душе их тотчас же возникла мысль о необходимости помириться с своим положением, возвыситься над неприятной случайностью и найти выход из нее в устройстве своего нравственного мира, в создании себе целей и занятий, достойных разумного существования. 〈...〉

VII

Что же делал Огарев во все это время?

С первой же *оказией* московские друзья его узнали, что, прибыв в Пензу, он засел за громадный труд, за создание системы, объясняющей происхождение вселенной из сочетания материи и идеи и указывающей математически точно законы, по которым развивалось человечество с самого своего появления на земле. Для исполнения подобной задачи потребовалась, разумеется, масса разнообразнейших книг, начиная с «Histoire de la philosophie allemande» par Barchou de Penhoën (этого первого нашего посредника по знакомству с Гегелем) и кончая «Bible» traduite par Cohen; «Anatomie comparée» par Bichat; Kieser, «System der Medicin»; Oken, «Naturphilosophie»; Schelling, «Theorie des transcendentalen Idealismus» *, проч. и проч. Весь этот материал труда, беспрестанно пополняемый новыми требованиями, выписывался Огаревым из Москвы, но, несмотря на все его богатство, система, как и следовало ожидать, никогда не была завершена вполне, хотя начальные ее отделы и пересылались аккуратно к друзьям на пересмотр. Мы имеем в руках только любопытный план ее и познакомим читателей с почти неосязаемым, отвлеченным его характером: умственная жизнь у нас обыкновенно начиналась с теозофских и философских сумерек.

Но существование Огарева отравлялось противодействием его вкусам и стремлениям, какое он встретил у себя в семье, где с ужасом смотрели на его занятия, полагая, что они приравнивают наследника богатого дома к разночинцам. Нет сомнения, что обстановка пензенского ссыльного была несравненно благоприятнее, чем, например, у вятского сотоварища его,— и со всем тем последний имел право сказать, как уже знаем: «Состояние Огарева худо, и очень. Я, по крайней мере,

* «История немецкой философии» Баршу; «Библия» в переводе Коэна; «Сравнительная анатомия» Биша; «Система медицины» Кизера; «Философия природы» Окена; «Теория трансцендентального идеализма» Шеллинга.

когда отделался по службе,— волен. Но этот маленький, беспрерывный гнет дома — страшен» [8]. И действительно, гнет здесь выходит не из глухой ненависти случайного тирана, злобно пользующегося своим временным полномочием, но из добродушного и любящего сердца, что делало его, может быть, еще более тяжелым, так как он отымал силы бороться с людьми начистоту. Отец Огарева, семь лет страдавший последствиями апоплексии и видимо приближавшийся к гробу, был окружен ареопагом родственников и высокопоставленных лиц туземной аристократии, которые все смотрели на уединенные занятия сына как на продолжение агитаторской мысли, возникшей у него еще в Москве. Мудрено ли было склонить старика, трепетавшего за будущность сына, к мысли, что единственное средство спасти молодого человека от гибельной серьезности состояло в том, чтоб отнять у него время и вытолкнуть на арену света, где бы он мог упражняться в безустанном ристании по ней, наподобие своих сверстников и своих старших. Притеснение вылилось тут в форме приглашения не отставать от провинциального мира и веселиться вместе с ним. Огарев повиновался из снисхождения к отцу и выразил однажды в письме к Герцену мотивы своего послушания очень теплым словом: «Я не высвободился из-под опеки родительской... Но поди сюда сам и взгляни на этого старика, семь лет влачащего жалкое, болезненное существование... И если бы я вздумал освободиться из-под опеки его *любви* — не забудь: *любви* — то ты скажешь мне: бессовестный!..» [9] Итак, он ездил на балы, делал визиты, определился в «статистический кабинет» на службу (такое же пристанище деловой праздности для молодежи, как и знаменитый некогда московский архив иностранных дел), даже волочился и влюблялся... Он отомщает за свое полуневольное, полудобровольное падение жалобами перед друзьями на свое нравственное ничтожество, на лицемерие, пошлость и корысть, встреченные им в обществе, на безобразную сущность большей части своих знакомых — мужчин и женщин, которые разыгрывают перед ним комедию фальшивых чувств и фальшивых прелестей. Нет надобности знакомить читателя с этой иеремиадой, которая не оригинальна и только повторяет общие места всех бывших и будущих моралистов, громивших или еще имеющих громить коварство и заблуждения света. Гораздо важнее для характеристики Огарева то, что он не подавал голоса

и тогда, когда нить дрянных расчетов и побуждений вилась около умирающего богача-отца, и находились люди, надеявшиеся воспользоваться минутами его слабости. Он стыдился чужих бессовестных интриг, считал позором для себя раскрывать их и довольствовался в интимной беседе с друзьями восклицаниями, вроде: что за низость!.. Он также наполовину промолчал и тогда, когда старик-отец сделал распоряжение о покрытии его расходов дворецким, который будет вести и счет им. Он оправдывается перед друзьями в целесообразности сего распоряжения: «Еще горе, что денежные обстоятельства меня смущают; отец хочет, чтоб я брал на все, что нужно, из расходных денег (у дворецкого!!!), а сам в руках имел бы нуль. Черт знает, я перестал быть мотом с тех пор, как пекусь о чистоте души, но мне досадно только то, что, имея *все способы тратить на вздор (который называют делом), не имею копейки подать нуждающемуся в ней.* Я раз говорил, но теперь уже молчу, не спорю; пусть же исполнится моя преданность к больному старику; хвали или брани, а мне опять кажется, что я делаю *так*...»

Возвратимся, однако же, от домашних дел Огарева к плану новосозидаемой им науки «мироведения». План находится в тех же письмах, где схоронены и семейные тайны автора: глубокая, непроглядная метафизика идет там об руку с наивной исповедью своего бессилия перед домашней бедой, которая сменяется гордыми надеждами на себя в будущем, а эти в свою очередь уступают место гиперболическим обещаниям деятельности и скромным признаниям настоящей своей трудовой несостоятельности, что все вместе и составляет привлекательную физиономию этой корреспонденции, правдивой и искренней по преимуществу.

«Благодарю, много благодарю вас,— пишет Огарев,— друзья мои, за ваши послания. Вы меня оживили. Я умирал, совсем умирал. Да и как не умереть? Знаешь ли, как тупеет голова, когда целый день вертишься в кругу пошлых мыслей... Моя душа здесь как в погребе... О, боже! Как я несчастлив! По крайней мере прежде я был силен, возвышенно спокоен душою, а теперь мелкие земные страсти хотят убить во мне моего бога! Но я не потерян: вы меня оживили. Я еще силен, я еще могу разорвать мои оковы или, как Сампсон, погибну под разрушающимся зданием. Мое главное несчастие, что живу с отцом, что у меня *отняли волю трудиться*... Во-

образи себе, что у меня несколько времени уже недостает духу мыслить. Или система, о которой ты знаешь, слишком высока, или я слишком глуп или слишком слаб: упал с моего неба. Вообрази себе, что, развив абсолют до первоначальной материи, я стал как вкопанный. Ни с места! Вот, по крайней мере, мысль о первоначальной материи».

«Абсолютное, существующее вне времени и места, переходя в последовательность, то есть в пространство и время, выражает самого себя. Но оно есть бытие и *идея*. Бытие — начало непременяемости; *идея* — начало движения (потому что, если помнишь, бытие осуществляется в мире посредством идеи). Также и первоначальная материя должна иметь начало непременяемости и начало движения (immobilité et expansion) *. Материя есть свет. К солнцу тяготеют планеты, ergo начало тяготения в свете, а оно-то и есть это начало *непременяемости* (consistance, immobilité), свет же (как нам очевидно) есть начало *движения* (expansion). Вот полное выражение абсолюта: *immobilité et expansion * разом*. Но дальше не могу подвинуться, и это сознание собственного бессилия убийственно» [10].

Язык философской тирады Огарева многим покажется темным, но он был наследием, как и вся система, языка и учений Окена и Шеллинга. Философы эти явились если не первыми (Лейбниц, атомистические теории), то главными современными представителями доктрины о разумной, мыслящей, одухотворенной материи, которой они старались дать и форму положительной науки. Следуя за ними, Огарев тоже разделил первоначальную материю (бытие) на составные ее элементы — на сущность, которая выражается ее косностью, на идею, которая представляет в ней движение; а потом довольно произвольным диалектическим процессом, где в числе аргументов является, как видели, даже и солнце, соединил оба элемента и получил искомый абсолют, то есть непременяемость и движение разом. Мы бы и не стали так долго останавливаться на этой игре отвлеченностями, которою занимался молодой пензенский философ в своем уединении, если бы она не имела для нас еще и другого значения. Умственное наше развитие,— наоборот с тем, что происходило на Западе,— почти всегда начиналось с самых отдаленных задач

* неизменность и распространение *(фр.)*.

и постоянно указывало истинные точки деятельности далеко за пределами окружающего нас мира: мы не считали себя достойными приступить к решению каких-либо вопросов жизни, прежде чем не узнаем *первую* причину всех явлений. Многие из лучших умов во все эпохи просиживали у нас целый век, сложа руки, ожидая ответов на свои запросы и критически относясь к тем, которые получили. Правда, что когда являлись люди, разрывавшие очарованный круг абстракций и выходившие на свет к простому, насущному делу, они уже поражали многосторонностию своей мысли, окрепшей именно в борьбе с обманчивыми призраками и мечтаниями. Как Герцен, так и Огарев, обретались еще в стадии поисков за волшебным словом, отверзающим все двери знания, без опыта и наблюдения, хотя они уже и говорили о последних. Если Огарев, как видели, определив свой абсолют, не знал, куда идти далее, то это было понятно. Ему следовало теперь построить мост, по которому «мыслимая», воображаемая материя его могла бы перейти на другой берег для того, чтобы предаться реальной работе и осуществить на земле такие конкретные явления, как гражданское общество, судьбы человечества в истории, законы нравственности, экономическое и религиозное развитие народов и проч., и проч.

Огарев и построил такой мост во второй трети системы, которую вслед за первою третью послал на оценку и приговор друзей [11]. Если же горячность автора в развитии системы показывала, что он придает ей значение важного жизненного подвига, то и серьезность, с которою друзья принялись за роль критиков, не менее того свидетельствовала, что на философские упражнения товарища они смотрели как на дело, заслуживающее полного внимания. Все это было в духе времени. Между прочим приятели довольно метко подмечали один слабый пункт системы, допуская даже и все прелиминарные положения, на которых она основывалась. Появление человека на земле, с даром сознания и самопознания, ставит против природы (бытия) другую силу, ей равную, и образует двойственность сил, разрушающую обещанное единство системы. Огарев отвечал еще более чудовищными гипотезами, чем все прежде им допущенные:

«...Теперь о моей системе; ты ее не так понял. Я говорил, что абсолютное бытие выразило идею самого себя во вселенной разом (вне времени). И все идеи, в *той*

идее заключенные, воплощались в соответственных формах во вселенной. В человеке выразилась идея самосознания. Прочти, что я пишу об этом к нему (Герцену)».

«Фазы мироздания — сущность; идея и осуществление выражаются вдруг и в природе, и в человеке. Тут и спорить не о чем; но из того, что я сказал, что природа есть предыдущее человека, не мог ты заключить, что она должна была уничтожиться, как скоро явится человек.

Что же делать, что делать, что человек есть произведение земли; я прямо уверен, что мой организм не есть произведение ни солнца, ни луны, ни Юпитера, ни Меркурия, ни даже этого воздушного пространства, которое мы называем небом; я уверен, что он есть форма совершеннейшая на земле и выражающая идею самосознания, одну из божественных идей. Еще я с некоторых пор, следуя моей системе, уверился в бессмертии души, о чем напишу подробно. Теперь не расположен. Нисколько я не полагаю разумения результатом организма, а организм результатом идеи, к которой относится как форма. Одним словом, ты не заметил в моей системе, что ряду идей соответствует ряд форм,— а это в ней довольно важно...» [12]

Нельзя не подивиться обилию бессодержательных представлений, какими обладало воображение Огарева, и приобретенной способности его складывать их в узоры, пригоняя цвет к цвету. Первородная материя с присущею ей идеей-матерью распадается на множество побочных идей, которые все обладают, как и родоначальница их, способностью творчества и находят для него соответственные формы во вселенной, заготовленные, вероятно, тою же попечительною матерью еще до начала веков. Начинается картина, представляющая длинную, нескончаемую цепь воплощения идей, приносящих с собою и все нужные им организмы. Кажется, далее идти было невозможно, но Огарев нашел еще тропинку для своих умозаключений. По его учению, все физиологические и психические явления в человеке могут быть зачислены тоже в категорию идейных воплощений, да из последних даже поясняется возникновение веры в бессмертие души! Заблуждение автора и снисходительность к его заблуждениям друзей-критиков были бы вовсе непостижимы, если бы для них не существовало оправдания. Обаяние системы заключалось для всех, которые ее знали, и для ее автора в безграничной свободе мысли,

которая пробовала себя, на первых порах, в области неимоверных абстракций!

Замечательна в биографическом отношении и приписка, которою сопровождал Огарев отсылку этой второй части своего труда в Москву. Она гласит: «Я чувствую сам, что еще всюду вкрадываются несообразности и противоречия; но что же делать? Теперь еще не в силах совершенно выработать все, что хочется; но никакая неудача не остановит меня. Обнять весь этот мир знания, провидеть начало и результаты идей и *потом с твердостию и силой вступить на поприще практической деятельности — вот цель моя!* Суди, как хочешь, а я уверен, что думаю так...» Оказывается, что, подобно другу своему Герцену, он думал о практической деятельности, о трудовой жизни для людей и промеж людей в самом пылу горячей работы за облицованием своих абсолютов, но ему было тяжелее выступить на новую арену, чем Герцену. Напрасно он называет себя, с добродушным хвастовством, совершенно невинным в его устах, «Сампсоном, разрывающим цепи», напрасно говорит о своих силах и призывает минуты, когда будет в состоянии обнаружить свою способность на борьбу и подвижничество,— он остается постоянно человеком, указывающим нужду тех или других решений, понимающим неотложные задачи времени, отгадывающим даже, по инстинкту, вопросы, еще никем не тронутые, и нередко изумлявшим проблесками мысли, опередившей свое время, но лишенным способности обращать в дело свои собственные взгляды и убеждения. Он оказывался полным неудачником во всем, что ни предпринимал. Это была избранная натура, созданная на то, чтоб на нее любовались и с нее брали пример, но не привлекали к черновой работе, требуемой жизнию.

Сама система его, которой он так величался, чуть-чуть не возлагая на нее надежды на свое бессмертие, была еще ничем иным, как вспышкой, зароненною в его душу прилежным чтением философских сочинений. Он принял искру, долетевшую до него с чужого очага, за проявление собственной мысли и стал подводить обширный теоретический фундамент под гипотезы, навеянные ей со стороны. Он принялся за свою тяжелую работу с усердием и усилиями баснословного Сизифа [13], но и то, и другое скоро истощились. Гипотезы росли не по дням, а по часам, множились с ужасающею скоростию и быстротою; подмостки и опоры, которые заготовлял им

автор, беспрестанно оказывались недостаточными, требовали новых пристроек. Измученный Огарев прибег к обыкновенному средству отделываться от трудных задач, положенных себе первым увлечением: он бросил все дело в развалинах и уже никогда не оглядывался более на ямы и рытвины, оставленные им за собою на почве трактата. Покамест он был еще далек от полного сознания своего бессилия, хотя и говорил о нем. Он возвещает о скором появлении третьего и четвертого отдела системы, распространяется в комментариях о том, что они должны будут содержать в себе, но нам нет уже надобности ходить опять по темным коридорам его философского лабиринта после того, как ознакомились с их расположением. Достаточно упомянуть, что теперь он также легко и свободно нашел закон тройственности во вселенной, как прежде открыл закон одновременного действия косности и движения в материи. «Когда я раскрою вам,— пишет он,— закон тройственности — сущность, идея, осуществление в жизни человечества,— когда я покажу вам человечество прежде колоссальное, как вселенная, которую оно боготворит, потом выводящее из себя свою собственную идею; когда я покажу вам в каждой отдельной эпохе, в каждом годе, в каждом моменте (!)... этих двух отделов (древности и христианства) тот же закон тройственности,— тогда я положу *вопрос будущности*, тогда я скажу вам задачу, разгадке которой посвящаю себя словом и делом». Никакой разгадки вопроса будущности не последовало, да и сам Огарев никогда не посвящал себя всецело его разрешению.

Гораздо вернее передает нам физиономию Огарева следующая тирада из его прозрений в будущность, которою мы и заключаем наш разбор его занятий. Тирада лучше соответствует, чем философские упражнения, понятию о бывшем сенсимонисте, за учение которого он собственно и пострадал:

«Теперь я намекну только на задачу общественной организации: сохранить при высочайшем развитии общественности полную свободу индивидуальную. Да, эта задача для жизни рода человеческого — чем ближе к разрешению, тем ближе к совершенству. Эту задачу пусть разрешает человечество, как скоро сбросит ветхую епанчу свою. Да, человек должен по своей воле двигаться в кругу братий. До тех пор, пока есть преграда развитию моей индивидуальной воли, до тех пор у меня нет брать-

ев — есть враги,— до тех пор нет гармонии и любви, но борьба моего эгоизма с эгоизмом других. Сочетать эгоизм с самопожертвованием — вот в чем дело, вот к чему должно стремиться общественное устройство. Эту задачу я вам выведу исторически — и также приближенное решение оной в третьей или четвертой тетради очерков, которую постараюсь доставить... через месяц...» [14]

Но и эта горячая тирада опять была произведением минуты, лучезарным, но мимолетным впечатлением, пробежавшим в мозгу автора. Рядом с нею в переписке Огарева красуется еще бездна таких же горячих тирад, трактующих совсем о другом строе идей, о необходимости и мудрости самозабвения, слепой веры, отсечения своей воли и абсолютного смирения в виду истин, добытых религиозным чувством. Как тирада, так и вся система, разобранная нами, были произведением благородного характера и ума, но силы и значения обязательной доктрины не имели ни для него самого, ни для друзей его [15].

VIII

Ошибся бы тот, кто принял бы Огарева, на основании его филиппик против пошлостей света и его философских трудов, за нелюдима, способного довольствоваться самим собою и не нуждающегося в обществе. Напротив, он искал людей и пришел в негодование, когда друзья, тоже обманутые его сатирами на пензенское общество, заподозрили в нем мизантропа. Мизантроп — это отчаяние, безнадежность, а он, выражаясь его словами, полон веры в человечество, в самого себя, в свое призвание. Заявляя громогласно свои симпатии вообще к человечеству, Огарев отлично уживался с тем самым светом, на который падали его беспощадные удары. Он не любил в свете его страсть к шуму, его бесцельную суету, выставку богатств и ухищрений роскоши, а также и его тщеславие, выраставшее у многих до симптомов душевной болезни; но вместе с тем он обладал искусством находить для себя уютные уголки посреди многолюдства и царствовать там в силу одной симпатической своей природы. Огарев не отличался ни особенным даром слова, ни эпиграмматическою меткостию заметок, ни веселостию, качествами, которыми сотоварищ его Герцен наделен был в такой высокой степени.

По свидетельству одной умной дамы, Огарев прослыл даже, при своем появлении на арене пензенского high-lif'a *, за ограниченного человека. Она писала (переводим с французского): «Тотчас по приезде в Пензу я принялась расспрашивать весь мир об Огареве, с которым так хотела познакомиться, и получила в ответ со всех сторон: это дурачок (une bête), замечательный только своим богатством. Можете себе представить, как я была изумлена. Наконец, не далее как вчера я встретила его на бале у Ахлебининых; он был молчалив, улыбался и имел важный и холодный вид. Мне хотелось обнять его за вас и за себя, но в самой среде моего увлечения ухо мое было оскорблено массой эпиграмм в прозе на его счет, и притом самых пошлых эпиграмм, которые скорее позорили тех, кто их произносил, чем его» [16]. Провинциальный мир был обманут новым своим гостем: ожидали увидать в нем блестящего москвича, увенчанного еще ореолом преследования, и встретили сосредоточенного в себе, задумчивого и наблюдательного юношу с простою речью; без пикантной закваски, без point traits ** и других прикрас, которые можно разносить по сторонам. Распущенное провинциальное общество тотчас угадало в нем своего врага...

Но в том же обществе нашлись и круги, иначе настроенные и которые скоро поняли, какого труда стоило этому скромному молодому человеку справляться с врожденною пылкостью молодости и воображения, и которые оценили его усилия покорять свирепые физические страсти идее чистого, безукоризненного служения науке и человечеству. Из этой работы над собою он сделал тогда задачу жизни, собиравшую вокруг него много разрозненных привязанностей и симпатий.

Каждое лето отец Огарева уезжал в свою пензенскую деревню, село Акшено, близ Саранска, населенную множеством воспоминаний и для Огарева-сына, который в ней родился и провел свое детство [17]. В первый раз, как старый помещик увозил в это любимое летнее свое убежище уже взрослого сына-изгнанника, он, как попечительный отец, позаботился и о доставлении ему развлечений в деревне, пригласив некоторых молодых родственников их семьи разделить его уединение и принять еще другие меры против его ипохондрии. Все это дела-

---

* света *(англ.)*.
** Здесь: рисовки *(фр.)*.

лось, как подозревал Огарев-сын, согласно принятой системе: «из любви ко мне и из желания мне добра,— писал он,— и для того, чтобы освободить мою голову от мира идей и изгнать из нее всякое подобие серьезной мысли». Легкие связи, подготовленные с тою же целью, конечно, были пренебрежены молодым философом, но зато он дважды влюблялся в кузин, и в последний раз даже очень серьезно, но он пытается подавить свое чувство тотчас, как только сознал его в себе. «Эта девушка,— извещает он,— соединяет в себе Луизу и Гретхен, черный, огненный, восточный тип», и тут же прибавляет: «но я не должен предаваться любви: моя любовь посвящена высшей, *универсальной* «Любви», в основе которой нет эгоистического чувства наслаждения; я принесу мою настоящую любовь в жертву на алтарь *всемирного чувства*». Зароки эти, однако же, ни к чему не повели; он волнуется, сердится на себя, но отделаться от влечений сердца не может, как видно из последующих его писем, отрывки из которых здесь приводим в доказательство, что под составною физиономией философа и моралиста таились у Огарева страсти и органические бури, сопровождающие каждую молодость и раздирающие, как и с ним было, маску мудреца, наложенную на себя ради посторонних соображений:

«Ты еще не знал во мне одного необычайного достоинства — ужасной влюбчивости. Так вообрази же, что после того, как писал к тебе, что влюблен, я вполне уверился, что Дульцинея моя глупа, как пробка,— и баста. Потом я имел удовольствие влюбиться без ума в одну из дев, о которых я тебе и писал,— и наслаждаюсь. Но знаешь ли, что это в самом деле любовь! Чем это кончится — бог весть, но только эта прибавка новых терзаний к прежним. Как глупо!» Затем он обращается к самому себе и подымает опять тему об эгоизме, от которого так силился освободиться:

«Я часто думаю: неужели и я могу иметь страсть *индивидуальную, не основанную на самоотвержении и на жизни универсальной*? Неужели и я эгоист? Я и в самом деле эгоист. Друг, друг!.. Зачем же я становлюсь тем, чем мне быть не хочется? Сколько контрастов, борющихся во мне! Добродетель и преступление, ум и материя, бог и скот сталкиваются, раздирают... Мученье!»

Все эти мучения кончились, однако же, когда появилась особа, будущая жена Огарева, которая поняла, что

все его опасения за нравственную чистоту свою суть только признаки нерешимости испробовать жизнь на деле, и связала его судьбу со своею собственною; но об этом после.

Покамест Огарев не уступал Герцену в обширности планов и замыслов для будущего, предполагаемого устроения и упрочения как своей литературной, так и общественной деятельности. Подобно вятскому сотоварищу своему, и он томился ссылкой, хотя она далеко не так тяготела на его плечах, как у жертвы Тюфяева, которая поминутно могла ожидать новых и не заслуженных политических бедствий. Здесь, напротив, начальство берегло Огарева, прозревая в нем большую полезность для провинции в его качестве готового выгодного жениха для бедных девушек, не имеющих средств являться в столицы и делать там завоевания. Оно — начальство — еще и само имело на него виды в этом смысле и льстило его надеждами скорого освобождения и обещанием своего ходатайства к ускорению развязки. Почти с первых же дней прибытия в Пензу Огарев уже стал мечтать о поездке в Петербург, в Москву, о свидании с друзьями, но время шло, а признаков поворота в его судьбе ниоткуда не показывалось; он потерял и последний луч надежды, когда сделалось известным, что на вопрос симбирских властей по поводу домогательств Сатина о дозволении отлучиться с места жительства для пользования минеральными водами получен был ответ: «Впредь не сметь и делать таких представлений» [18]. По этому поводу Огарев сделал любопытную заметку: «Я не тужу за себя, мне не нужно отсюда уезжать, и *многое меня здесь привязывает*, но их (товарищей несчастия) жалко; я знаю, что у них нет *столько материй для жизни души, как у меня; я в этом случае что-то индийское!*» [19] Несмотря, однако же, на это преполагаемое индийское обилие материи в его организме, Огарев ужасался мысли окоченеть в провинции, как еще ни была она сравнительно легка для него, и возымел намерение проситься на службу, на Кавказ, причем тотчас же снабдил вспышку свою и маленькою оправдательною теорией, тоже весьма любопытною: «Мечта о Кавказе меня не покидает. Война — лучший выход. *Разумно*, я чувствую, никогда не выйду, да и скучно что-то искать разумного выхода, если он сам не приходит. Наука и практическая деятельность не даются мне. *Деятельность беспутная* лучше выведет на путь. Да

ведь оно как-то и хорошо — шумная битва да шумный бивак!.. А за жизнь мою ручается что-то, что выше меня. Я в свою будущность верю, потому что все же умел стать духом выше своей личности...» Конечно, это был крик нестерпимой боли — ибо представить себе автора системы мироведения в образе бравого кавказского офицера нет никакой возможности.

Многое и другое представляет затруднения для понимания этой своеобразной личности, если упустить из вида склонность ее отдаваться первым впечатлениям и немедленно ставить их целью своей жизни. Без этого предварительного соображения нельзя дать себе отчета, например, в громадных размерах, какие принимают у Огарева все планы будущей литературной деятельности его, и в колоссальной самонадеянности, с какою он говорит о грядущих трудах своих. «Дайте мне действия,— восклицает он,— дайте желаемый круг действий! Я чувствую в себе силу неограниченную. Нет, еще есть Вера, и я пойду далеко. Если бы я был с вами, друзья, или там, *где движутся языцы!..* Но я буду, непременно буду; мой fatum написан рукой бога на пути вселенной: он неизменен...» Легкость, с которою и он, и Герцен постоянно призывали само провидение на вмешательство в их дела, как бы в виде своего доверенного и уполномоченного лица, всего лучше объясняет восторженное состояние как их самих, так и вообще той эпохи. Черта эта была у них общая со многими сверстниками из других лагерей. Станкевич, Грановский, В. Боткин, Белинский, так же точно, как К. Аксаков и др., одинаково считали себя орудиями высших сил и тщились содержать себя в надлежащей чистоте, приличной избранникам Промысла. Вся интеллигентная молодежь конца тридцатых годов составляла какое-то подобие несформировавшейся, но тем не менее действительно существовавшей общины, которая веровала в свое призвание обновить мир делом и словом и была не ниже по своему моральному содержанию всех позднейших новохристианских общин, являвшихся под разными наименованиями: божиих людей, последних святых и проч. Из этой энтузиастической общины нашей, не имевшей, повторяем, фактического бытия, и члены которой узнавали друг друга только по одинаковости настроения, вышла бóльшая часть людей сороковых годов, которые разошлись потом по разным дорогам и открыли эру новых идеалов. В процессе переформирования их, до-

полнения и изменения старых убеждений прежние единомышленники уже часто сталкивались враждебно, но бесстрастный наблюдатель легко распознает на этих борцах печать одного, общего происхождения, в какие бы положения они ни становились друг к другу.

Но время явиться к друзьям или туда, *где движутся языцы*, по его выражению, было еще далеко от Огарева. В ожидании его он посылал стихи и небольшие статейки в забытые теперь журналы, как «Сын Отечества» Н. Полевого, например, да строил неустанно свою «Систему». Это был капитальный труд его; но рядом с ним росли планы и других работ, испытывая неизменно одну и ту же участь. На половине дороги усердие и воображение автора истощались, перебиваемые новыми впечатлениями и задачами, которые требовали и новых форм. Огарев принялся за трактат «О воспитании» и говорил о нем с одушевлением; но прошло немного времени, и усталость автора обнаружилась довольно ясно: «Статью о воспитании не могу теперь доставить, ибо чем больше пишу ее, тем она плодовитее и пишется, и так скоро отделана быть не может; с первой оказией она доставится» [20].

Но оказии вовсе и не приходило. Неизвестно, вместе ли с трактатом, или после него, в виде способа отдохновения, появилась у Огарева мысль о романе: «Хочу писать сказку или быль, как порядочный человек гибнет в провинции; достанется же и почтенному родству моему (хотя и высокому), но которое *нам обоим* наделало кучу гнусных неприятностей, *желая овладеть нашей волею...*» Для понимания последних слов следует заметить, что женитьба Огарева (в 1838 году) [21] на родственнице губернатора Панчулидзева, о чем будем еще говорить, ослабила надзор за употреблением, какое делает ссыльный из своего времени, а смерть отца в том же году удалила и других влиятельных цензоров его поведения. В виде венчального подарка он даже был представлен к чину, а затем еще получил право, с согласия губернатора, отлучаться из губернии, но не касаться столиц и некоторых других важнейших городов империи. Он не замедлил воспользоваться дозволением. Все кабинетные работы и планы работ у Огарева приходятся к этой эпохе общего замирения, за исключением, впрочем, «Системы», с которою никогда не расставался. О романе Огарева мы не имеем никакого понятия, но зато о драме, затеянной еще прежде и чуть ли не по одинаковому

плану с романом, можем сообщить несколько подробностей. Огарев извещал друзей о зарождении ее следующими словами: «Я пишу драму, которой первый акт кончен. Я им еще не слишком доволен; многое не довольно ясно, не резко высказано. Есть места, где слишком много слов, чего я терпеть не могу. Потому вам пришлю только, когда кончу и буду сам хотя немного доволен. Статью о воспитании моя лень превозможет *там* *. Я слишком много предположил трудов, чтобы их *там* исполнить, и потому едва ли что сделается, кроме драмы. Addio, carissime» **.

Но и драма не исполнилась — по предвиденным и непредвиденным обстоятельствам. Она носила заглавие «Художник» (Der Künstler) и принадлежала к числу тех романтических произведений, где художники, поэты, гениальные юноши всех родов бичуют общество, под покровом которого сами возникли, и требуют от него не только признания их заслуг, но славы, власти и раболепства перед собою. Нельзя не подивиться живучести этой темы в нашей литературе. Гораздо позднее Гоголя она еще питала молодые умы авторов, очень часто с нее и начинавших свою деятельность, а с более возмужалыми умами пробралась и в производительность сороковых годов, где красовалась драмами и романами самого выспренного, напряженного пафоса. Огарев тоже не устоял против искушения высказать под чужим именем свои собственные помыслы, но у него выбор темы произведен был не одною разгоряченною головой, а еще и наболевшим сердцем. Вот что он говорит в раннем *немецком* письме к приятелю, 1836 года, из которого мы уже представляли выдержки: «Я хочу писать драму «Художник» (Der Künstler) и разоблачить в ней будущность искусства. Ты догадываешься об основаниях, на которых она должна держаться. Но мой «Художник» еще преследуем роковыми призраками: сомнением, которое граничит с отчаянием. Форма драмы будет оригинальна. Мой художник — энциклопедист: поэзия, музы-

* Все эти *там* относятся к вояжу на кавказские минеральные воды, куда Огарев, пользуясь дозволением, спешил отправиться в 1838 году. Письма нашего автора постоянно без числовых пометок, и хронологический их порядок может основываться поэтому единственно на догадках. На Кавказе Огарев получил известие о последнем роковом апоплексическом ударе, который поразил отца, и, не докончив лечения, поскакал к нему, оставив жену на водах. *(Примеч. П. В. Анненкова.)*

** Прощайте, друзья *(ит.)*.

ка, живопись участвовали в его образовании. Конец — сумасшествие. О, боже! Неужто и со мной может то же случиться, что и с моим художником. Друг! Я глубоко пал здесь, духовные мои силы ослабели, я пуст, я страшно пуст. А как преисполнен я был духом мужества во дни моего ареста...»

Возвратившись спешно из своего путешествия на Кавказ в Акшено, где он уже не застал в живых своего отца [22], Огарев явился и в Пензу. Здесь в уединении, которое теперь наступило для него, он делает перечень всего предпринятого им доселе. Это, так сказать, эпитафия, надгробная надпись любимых многочисленных его проектов, которую здесь и приводим: «Я хотел кое-что послать тебе для печатанья, но теперь *дома нет*, у Х. (Ховриной) в деревне, ergo * до другого раза — приготовлю побольше. Пишу роман, драму, повесть, систему мира, *прокламации к моим подданным*, разные глупости в канцелярии, и от этой многосложности ничто не подвигается, и везде езжу на любимом коньке, на предисловии... Прощай, брат». Изо всех предметов, осужденных им самим на забвение, всего более жалко прокламаций к подданным. Любопытно было бы знать, каким языком говорил с ними в эпоху крепостного быта молодой натурфилософ и христиански-радикальный мыслитель. По замечательно широкому плану освобождения одной части своего имения, введенному им позднее в исполнение, и по всегдашним восторженным отзывам его о русском народе можно думать, что речь составляла диспарат ** в то странное время, когда все уже предвидели неизбежную гибель крепостничества и все с отчаянием держались за него.

IX

Огарев имел большое преимущество перед Герценом в том, что был поэт и страстный музыкант. Это позволяло ему находить, в случае бед, лишнее пристанище и утешение для себя. Правда, и Герцен, как знаем, писал стихи, но у него это было просто упражнением. «Кажется, пятистопный ямб,— говорил он,— дело человеческое», и он составлял ямбы, как ученики разрешают математи-

---

* следовательно (*фр.*).
** несоответствие (от *фр.* disparate).

ческие задачи, не чувствуя нисколько призвания к математике. Совсем другое значение имели для Огарева поэзия и служение музам. Для него это были живые божества, и каждодневная беседа с ними сделались потребностью его души. Он говорил с ними преимущественно о самом себе; он стоял перед ними в роли исповедника, припоминая каждую свою мысль, растравляя раны своего сердца, обнаруживая потрясения и разрушения, произведенные в его нравственном существе событиями внешнего мира и собственною мыслью. Участия от невидимых божеств своих он не ждал; ему нужно было только высказаться перед ними. Но это был поэт не первых, непосредственных ощущений, а ощущений, оставшихся после мозговой проверки их; поэт рефлектирующий, по философскому выражению, Огарев поэтизировал не столько явления, сколько свои размышления о них. Самая фактура даже наиболее удачных его произведений подтверждает это мнение. В стихе его не видно той крепости нерв и мышц, смеем выразиться, которая должна отличать выражение страстных аффектов вообще для того, чтобы они успели сообщиться читателю; стих его страдает растянутостью, ожирением, так сказать, что дает ему болезненный вид; рядом с истинным одушевлением тут идут избитые общие места, назначенные, видимо, отвечать только на предшествующие рифмы, и после долгих риторических подступов внезапно является светлый полет фантазии, превосходная поэтическая картина... Все вместе оставляет читателя в недоумении, разделяя его впечатление и мешая ему отдаться вполне своему автору. Много написал и напечатал своих стихов за это время наш поэт, и между ними есть очень ценные, как, например, «Моя лампада», где он непосредственно касается домашнего, простого явления. Мы желали бы спасти от забвения, которое вообще наступило для поэтических произведений Огарева [23], это стихотворение всего более потому, что оно содержит биографический материал и хорошо передает созерцательную природу автора и мягкое его настроение ⟨...⟩.

Не менее, если не более, упивался Огарев и музыкой. Симфоническая и квартетная музыка были его страстью, хотя для итальянских, русских, немецких мелодий он держал неотлучно при себе гитару и фортепьяно. Симфоническая музыка вообще пробуждает ощущения без отношения к действительности, затрогивает психические склонности человека, которые без нее лежали бы

долго в усыплении, порождает целый строй мыслей, не имеющих корней в реальном мире, а потому и пропадающих в одном чувстве наслаждения. Такая музыка отвечала внутреннему миру Огарева как нельзя более, особенно если вспомним, что даже метафизические, абстрактные темы не были ей вовсе чужды. Мы нисколько не были удивлены, узнав из переписки Огарева, что он в это же время занимался, по поручению известного московского композитора Гебеля, изготовлением либретто к оратории его, которая должна была носить название «Гармония миров» (Harmonie der Welten), с соответствующим названию содержанием [24].

И все это происходило еще в пылу обширного, громадного чтения, какое только можно себе представить. Любопытство и жажда расширить круг своих познаний, общие ему со всеми его сверстниками, достигали поразительных размеров. Дело и серьезные работы находились тут в обратной пропорции с материалами, которые для них собирались. Мы уже говорили о массе книг, какая потребовалась для одной «Системы»; но масса еще увеличивалась романами, различными монографиями, всевозможными историческими трактатами и новинками французской и немецкой литератур, а с 1838 года и с получением наследства добавлялась сочинениями по медицине, естествознанию, точным наукам, которые вошли в круг исследований Огарева, сделавшегося хозяином и землевладельцем. Сколько напоминовений встречается в его отписках к друзьям о высылке одной «Kieser's Tellurismus» [25], а однажды он пришел и в негодование: «Я на вас сердит; зачем не прислали книг, которых спрашивал, а именно: Курс анатомии. Знаете ли, что от таких упущений рвется нить соображений? Я учусь систематически: энциклопедическое знание, с особенной (моей) точки зрения рассматриваемое,— вот моя цель!.. Теперь меня занимает человек, как существо, дающее более объяснений на все окружающее, и потому очень вы дурно сделали, что не прислали Анатомии; я хочу посмотреть это тело, чтобы поверить некоторые предчувствия о жизни и смерти. Я читаю Ганемана, я убежден в действительности гомеопатии; я буду лечить. В деревне врач, в особенности гомеопатический,— ангел для страждущих...» [26] С энциклопедическим образованием, которому он предался после смерти отца, стали расти вширь и ввысь его планы и предначертания практического свойства. Он не только

собирался сделаться деревенским врачом, но и сельским учителем: «Я *изобрел*,— восклицает он,— методу обучения в народных училищах; пришли мне что-нибудь о ланкастерской методе, чтобы посмотреть сходство, разницу, а может, и тождество с моею». Им овладевает честолюбие разрешать самолично вопросы также точно науки, как и жизни, разрешенные до него другими деятелями. Для проверки химических и физических опытов, прежде произведенных специалистами по этой части, Огарев устраивает в деревне свою собственную лабораторию и тотчас же задает себе и другу, которому пишет, задачу определения вескости электричества. «Здесь я занимаюсь,— пишет он,— понемногу чем-нибудь и как-нибудь и, несмотря на вообще приписываемую мне «innere Fülle» *, не могу продолжительно заниматься. *Иногда меня привлекает законодательство: я кое-что написал на этот счет*, но все еще не полно, многое ошибочно, но вообще, мне кажется, есть довольно удачное применение к месту. Иногда бросаюсь в естественные науки и теперь придумал способ узнать вес электричества, который, мне кажется, проще способа графа Ходкевича, но я еще опыта не производил. Вот способ. В стеклянную трубку, запаянную снизу, налить немного ртути и разогревать так, чтобы ртуть поднималась и, выходя понемногу, выгоняла бы воздух. Когда можно увидеть, что при охлаждении ее останется очень мало, то трубку закупорить, и в ней получится немного ртути в безвоздушном пространстве. В пробку продеть медную проволоку, засмолить кругом, проволоку обвить шелком, но конец пробки должен служить проводником электричества. Этот снаряд взвесить на чувствительных весках и потом заряжать посредством электрической машины — и наблюдать разницу в весе. Попробуй, произведи этот опыт; я произведу его здесь, и посмотрим — каковы будут результаты». Так тешился Огарев, переходя, по собственному сознанию, от законодательства к электричеству, а от них к *маленьким стишкам*, тут же и приложенным. Мы не говорим уже о плане создания фабрики, которая освободит крестьян от платежа барских и государственных повинностей, и о многих других предположениях. Научные и деловые проекты Огарева имели одинаковую участь с его литературными проектами: далее *предисловия* они не шли, и притом были

* внутреннюю полноту (*нем.*).

сродни тому фантастическому проекту, который возник в уме нашего поэта еще в Москве, до ссылки, в чаду одной дружеской пирушки, и о котором он вспоминает теперь с улыбкой в следующих словах: «Помнишь ли, как мы проводили утро, *когда я хотел ехать в Берлин, издавать журнал с покойным Гегелем*? Помнишь ли наше путешествие в Черную Грязь? Что за странное разгулье, в котором, однако, было столько благородного! Не забывай еще всех попыток благородных душ любить все истинное и прекрасное, не забывай трудов ума, словом — не забывай все, что было хорошо. Теперь мы врозь. Но я чувствую, что мы лучше. Теперь, когда мы свидимся, мы найдем друг в друге смирение, терпение и веру, найдем более опыта в жизни и *более чистоты в нравах...*» На этом и кончается описание нравственных интересов, преследуемых Огаревым в годину политической его ссылки, которое вышло более подробно, чем мы предполагали, но которое оправдывается целью познакомить читателя с типом молодежи, возникшим к концу тридцатых годов и уже часто встречавшимся тогда в обоих столицах и в провинции.

X

Бедная родственница пензенского губернатора Панчулидзева, известного тем, что он много лет безмятежно управлял одною и тою же губернией, благодаря только потворству всяческим злоупотреблениям, когда они прикрывались покорным видом и лестью,— Марья Львовна Милославская [27], впоследствии Огарева, росла и воспитывалась в богатом доме, обедневшем по «непредвиденным обстоятельствам». Смолоду она отличалась, по собственному ее признанию, решительным и взбалмошным характером. Очутившись со скудными средствами и в зависимости от посторонних лиц, она устраняла поползновения общества смотреть на нее свысока горделивым и презрительным обращением с людьми, резким и чересчур иногда откровенным словом. До самого замужества она слыла за то, что на светском языке называется «personne fantasque», за фантастическую, невменяемую особу. Но у нее было одно важное преимущество перед сверстницами. Поставленная в необходимость самой думать о себе, рассчитывать, для составления карьеры, на собственные силы и средства, она была гораздо

лучше вооружена, чем ее подруги, приобрела раннюю способность догадываться о предметах, если не понимать их, и сосредоточиваться в своих желаниях для верного достижения своих целей. Огарев рано заметил оригинальную девушку, скоро сблизился с нею и покончил тем, что женился на ней, совсем и не предчувствуя, что ей предназначено было разрушить все его планы и идеалы трудовой, художнической и учено-деятельной жизни.

В мае 1838 года Огарев извещал друзей неожиданно и довольно торжественно о совершенном им браке [28]. Он пишет:

«Я женат с 26 апреля — женат и счастлив. Ты писал мне, что глаза женщины чаруют, и предписывал быть осторожным; но я не ошибся в моем выборе. Провидение свело нас, а встретившись, мы не могли не полюбить друг друга. Да, друг, другой жены я не мог бы выбрать и с другой не мог бы быть счастлив, а теперь я счастлив, совершенно счастлив. Если при получении известия о моей женитьбе заронилась в твою голову мысль сомнения в твердости твоего друга, то кайся и проси у бога прощенья; ты меня довольно знаешь, чтоб не сомневаться. И верь, что жена моя никогда не совратит меня с пути свыше предназначенного — напротив, ее любовь очистила мою душу от всего порочного... Я имел всегда в виду жить полною жизнью, развить силу душевную во всех направлениях, и теперь чувствую, что достижение идеала моего — не невозможность. Как богата, как роскошна во всем, что в мире называют прекрасным и высоким, будет жизнь. Мрак слетел с души моей, отчаяние сменилось верою — только в таком расположении духа можно идти вперед — и что виною этому? любовь! Да, без нее пустота провинции поглотила бы всего меня, и я не был бы ни на что способен. Радуйся, друг, и благодари мою Марию за мое спасение!..»

В таком тоне Огарев еще долго писал о своем семейном благополучии друзьям и близким.

Молодая жена, на первых порах, горячо и искренно полюбила своего философа-мужа, который открыл ей такую блестящую дорогу в жизнь. Будучи очень умною женщиной, в чем соглашались и позднейшие ожесточенные враги ее, она сразу вошла в роль надежной спутницы беспечного поэта и постаралась освоиться с его привычками ума, с его наклонностями, с его образом представления своих обязанностей. Она окружила отца Огарева, например, такими попечениями и ласка-

ми, которые подчинили умирающего старика совершенно ее воле, хотя, желая сохранить до смерти характер владыки семьи и своего достояния, он назначил довольно скудное содержание замужней чете (4000 р. в год), предоставив себе дальнейшие распоряжения об устройстве ее судьбы. Работа мысли, какую она пережила до замужества скрытно от всех глаз, помогла ей распознать идеалы и стремления своего мужа и подчинить им свои природные инстинкты и влечения к блеску, шуму, волнениям и наслаждениям светской жизни. Она превратилась — и притом очень искренне, как полагаем,— на все время медового месяца в скромную женщину, помышляющую только об удовольствиях искусства и поэзии, о приобретении тихих симпатий кругом себя, о развитии культа дружбы, безгранично царствовавшего тогда между товарищами Огарева. Прочитав в письмах к нему, что озабоченные друзья предостерегали его от увлечений и смотрели на его женитьбу как на западню, в которой могут погибнуть все его начинания, вместе с надеждами на свободную и счастливую жизнь,— Марья Львовна приняла тотчас же меры, чтобы уничтожить все эти опасения. В первом же, *рекомендательном* письме к главному скептику относительно будущности женатого Огарева и лучшему его другу, Герцену, Марья Львовна кратко излагает свою биографию и свои нынешние верования, свое «profession de foi» *. Письмо это замечательно и в психологическом отношении: в нем столько же неподдельного добродушия, сколько и искусного подбора чувств и мыслей, на успех которых можно было рассчитывать. Оно начинается следующею немецкою фразой: «Wäre ich noch hübsch, dann wäre es Trug, dann wäre es noch Gefahr, aber hässlich ist ihres Freundes Gattin. Sind sie ruhiger, Freund?..» (Будь я красива — тогда мог бы быть обман, могла бы быть опасность, но жена вашего друга безобразна... Не успокоит ли это вас, друг?..) Сверху этих строк рукой Огарева написано: «Es ist nicht wahr was hier deutsch geschrieben ist» (Все, что здесь написано по-немецки, несправедливо).

Затем идет русский текст письма, который, видимо, затруднял его автора: «Что же могло свести и связать нас? Он был дик, я с мужчиной всегда горда. Почти нечаянно вырвавшиеся истины. Правда, Любовь, Вера, самоотвержение, вечность были стихии, в коих я жила

* кредо (*фр.*).

с тех пор, что люди и привычка стали задувать во мне огонь воображения и охлаждать несносную резвость. Но простодушие во мне осталось, и оно, и сердце доброе и неутомимое (sic) — одни качества или пороки (каждый постигает по-своему) — принесены мною общему другу в приданое; прибавьте еще любовь беспредельную. Вместо того, чтоб нахмуриться, читая ваше письмо, не нарадуюсь, что Николай нашел помощников (sic) и друзей истинных».

Как бы не справившись с мудреным языком, автор мгновенно переходит к французскому диалекту и уже свободно развивает на нем ту же самую тему, добавляя ее еще и политическими намеками. Прилагаем продолжение это в переводе:

«Выходя замуж, я понимала, какая мне предстоит будущность; но когда однажды постигнешь *эту чистую душу*, которая только и радуется, что радостями ближнего, то вами овладевает любовь, и чувствуешь в себе способности врачевать ее тоску. Я вообще нетерпеливого характера, а ныне я соперничаю с *ним* в терпении и ухаживании за его отцом, получая в виде награды наслаждение плакать *вместе с ним* и целовать его ноги, как свидетельство моего удивления. Нужно ли мне говорить вам, что друг ваш — один из самых усердных учеников и последователей Христа? Успокойтесь же насчет его спутницы, которая нисколько не тщеславна, не легкомысленна, любит добродетель для нее самой, уважает ваши характеры, господа, и не уступит вам никогда в твердости, доброте, человеколюбии. Каждый вечер я молюсь за вас всех и призываю на вас благословение божие, чтобы оно поддержало вас на правом пути, сохранило Огареву друзей его, а страждущему человечеству — его пособников. Я родилась в роскоши, сведена была обстоятельствами на скудное состояние в последнее время и с давних пор жила сиротой: все это позволило мне очень рано определять ценность людей и вещей. Вот почему я была в состоянии скоро угадать моего друга и теперь принадлежу вам. Жизнь для меня привлекательна только с этой точки зрения,— все прочее есть ничто. Если я вас несколько успокоила, то письмо мое было не напрасно. Еще одно слово. Огарев принадлежит великому делу (à la bonne cause) еще более, чем мне, а своим друзьям столько же, сколько и своей возлюбленной. После всего этого не протянете ли вы мне свою руку?..»

Герцен действительно протянул ей эту руку. При этом мы опять встречаемся с особенностями, характеризующими поздние записки и воспоминания. В «Былом и думах» Герцен рассказывает, что при первой встрече с Огаревой (о чем будем сейчас говорить) он неприятно был поражен резким, металлическим ее голосом, который находился в дисгармонии с ее речами и заставлял думать о настоящих основах ее характера. Заметка, по нашему мнению, обязана своим происхождением тоже воспоминаниям, уже проверенным и дополненным всеми последующими соображениями, каких не могло быть сначала, и нисколько не выражает первого впечатления. Первое, непосредственное впечатление было у Герцена одинаково со всеми знакомыми молодой женщины, и также точно возносило ее на громадный пьедестал, в чем можно убедиться по следующей выдержке из отчета Герцена о свидании с нею, написанного московскому другу, так сказать, в пылу минуты: «И она не совсем такова, как ты говорил; по твоим рассказам я только знал, что она умна, а теперь я увидел в ней тьму сердца, душу, раскрытую симпатиям высоким и обширным. Она достойна его...» [29] Это и было именно настоящим выражением чувства и мнения о личности, обаявшей всех без исключений сначала.

Мы уже сказали, что вскоре после свадьбы, именно по лету 1838 года [30], Огарев уехал с женой на юг России для лечения. Там он получил два одинаково неожиданных известия: одно, как уже знаем, о последнем апоплексическом ударе, постигшем отца, а другое — о женитьбе самого Ал. Ив. Герцена, хранившего дотоле глубокое молчание о тайне своей любви ⟨...⟩.

Между тем, возвратившись с Кавказа и сделавшись, за смертию отца, полным хозяином своих имений, Огарев еще сильнее стал помышлять о снятии с него опеки и переезде в Москву. Он поднял на ноги не только местных начальников, но знакомых и родню в Петербурге, да и сам писал о том графу Бенкендорфу [31]. Ответа не приходило. Тогда решено было послать ходатаем в Петербург саму Марью Львовну Огареву, но прежде ей следовало еще, по ее настоянию, побывать в Москве для совета с докторами после неожиданно прерванного ее лечения на Кавказе. Сопутницей и покровительницей ее в большом и незнакомом городе вызвалась быть тоже пензенская помещица и друг их дома, Марья Дмитриевна Ховрина, сестра генерала Лужина, бывшего впо-

следствии обер-полицмейстером в Москве. «Она шепнет мне при случае,— заметила г-жа Огарева в одном письме своем,— на ухо то, что называется светским преступлением». М. Д. Ховрина имела славу женщины большого света, охотно отворявшей двери своей гостиной для замечательных людей времени, какой бы репутацией они ни пользовались в других кругах общества, в чем и походила на Е. Г. Левашову. Вообще Москва того времени сохраняла еще много женских личностей, думавших о началах разумной жизни в обществе и влиявших не только на окружающих, но по своим связям и на круги в провинции *. Марья Львовна Огарева не очень заботилась о предостережениях своей спутницы; она успела завязать знакомства в неизвестном городе и бросить жадный и любопытный взгляд на соблазны и искушения, которые он представляет. Старые, заснувшие было инстинкты пробудились в ней, и воскресли ее давние мечтания о независимой жизни, на всей своей воле, без обязанностей, общественных и семейных пут. С этими свежими впечатлениями своей поездки она и возвратилась назад в скромный дом мужа. Так прошел 1838 год и наступил 1839.

В марте этого 1839 года Огарев наконец привел в исполнение давнюю свою мечту посетить друга детства и юношества на месте его пребывания во Владимире, рекомендовать ему жену, которой тот еще не знал, и наконец обменяться мыслями и ощущениями с человеком, с которым годы тому назад он попрощался на пороге полицмейстерской канцелярии и с тех пор более не встречался...

Свидание обоих друзей и их жен произошло 17-го марта 1839 года [32] и было последним актом той внутренней, интимной драмы, которую трое из них развивали порознь, но следуя одной общей программе. Восторженное душевное состояние достигло на этом свидании своего апогея и истощило все свое содержание. Радость, охватившая друзей, перешла в религиозный экстаз. Все четверо были молоды, счастливы и, несмотря на опальное свое положение, исполнены надежд на себя, на

---

* Кстати заметить, что большая часть героинь старых романов И. С. Тургенева, вплоть и включительно до романа «Накануне», принадлежит по духу к этому циклу развитых и благородных женщин Москвы, хотя и явились накануне его исчезновения с общественного горизонта вследствие разных политических течений. *(Примеч. П. В. Анненкова.)*

будущее свое, на предстоящую им дорогу в жизни. Они искали, куда излить избыток своих ощущений. По предложению Огарева, они пали ниц все четверо перед распятием, принося благодарные молитвы, и потом в слезах расцеловались друг с другом. Огарев написал гимн Провидению, растворившему их сердца в лучшие минуты их жизни для полного признания неисчислимых его благодеяний. Герцен извещал друзей в Москве о событии такими знаменательными словами:

«Ну, брат — ежели бы жизнь моя не имела никакой цели, кроме индивидуальной, знаешь ли, что бы я сделал 18 марта? Принял бы ложку синильной кислоты... Относительно к себе «я все земное совершил».

Только еще и оставалось мне, после Наташи, желать — и оно сбылось, и как сбылось? Четырехдневное, светлое, ясное, святое свидание.

Мы инстинктуально все четверо бросились перед распятием, и горячие молитвы лились из уст. Что за дивный, что за высокий Огарев!.. Зачем ты не мог взглянуть на эту группу, которая обратилась к небу не с упреком, не с просьбой, а с гимном, с осанной! 21 марта» [33].

Огарев, как видно из письма, пробыл четыре дня во Владимире и при себе отправил жену в Петербург хлопотать лично о снятии надзора, которое заставляло так долго ждать себя, несмотря на меры, принятые пациентами для ускорения его. Еще накануне самого приезда Огарева Герцен писал по оказии (от 16-го марта 1839 года):

«Это письмо отправляется по оказии, потому и начну его с грустного сообщения. Ответ из Петербурга пришел. Граф Бенкендорф пишет министру внутренних дел, что он не находит удобным ходатайствовать о снятии надзора — ergo *по крайней мере еще год во Владимире,* ибо до года губернатор не в праве представлять, а бог весть, будет ли *удобное* время через год. Жить мне здесь хорошо — не спорю, но за что же это шестилетнее гонение (с 1834 по 1840 год)? Надо теперь запастись на год дровами, огурцами, идеями и книгами. Первые три пункта я беру на себя, а в третьем и твоя доля...» [34]

Поручение, возлагаемое на М. Л. Огареву, было теперь последнею надеждою ссыльных и увенчалось, к изумлению их, полнейшим и быстрым успехом. Не прошло и трех месяцев с отъезда М. Л. Огаревой, как муж ее получил дозволение на свободное пребывание

в столицах и везде, где пожелает, чем и воспользовался, переехав тотчас же в Москву. Родовой дом его на Никитской был уже продан, и он поселился у Петровского парка. Точно такое же дозволение, несколько позднее, получено было и Герценом, так что в конце 1839 года мы уже видим его на короткое время в Петербурге, а затем, и тоже ненадолго, в родном его городе, Москве. Эпопея их изгнаннической жизни кончилась так же внезапно, как и началась. Только путешествие Марьи Львовны Огаревой в Петербург не обошлось ей даром: она возвратилась из него перерожденная и не похожая на ту, которая чертила заявления безграничной преданности мужу и семейному очагу и принимала деятельное участие во владимирском свидании.

К промежутку между владимирским свиданием и возвращением в Москву Огарева относится, по всем вероятиям, и освобождение громадного села Белоомуты, ему принадлежавшего, от крепостной зависимости. Освобождение этого села, стоявшего на реке Оке, украшенного 4 церквами, владевшего великолепными поемными лугами, 10 000 десятинами строевого леса и обширными рыбными ловлями, замечательно по грандиозности своего плана и по ничтожности результатов, от него полученных [35]. Огарев, оставшись один за отбытием жены, прямо из Владимира и проехал в Белоомуты, пригласив к себе в помощники для задуманного им предприятия одного из московских друзей. Мы не имеем официальных документов о произведенной ими реформе, но можем сообщить некоторые ее подробности по слухам и воспоминаниям современников. Богатые крестьяне этого села служили в звании управляющих, распорядителей и в других высших должностях при откупах, и если сами не делались прямо откупщиками, то единственно по милости ограничений крепостного права. Многие из них являлись к старому помещику с просьбой о свободе и предложением значительных выкупов. Один из них почти накануне его смерти предлагал за себя 100 000 руб. сер., но старый барин, довольствовавшийся очень скромным оброком с своих крестьян и поощрявший всячески их страсть к наживе, не хотел и слышать о выкупах, гордясь тем, что в числе его подданных есть чуть не миллионеры. Молодой, унаследовавший его имения барин тоже не благоволил к отдельным выкупам, но по другим причинам. Он отказал трем домовладельцам, явившимся к нему тотчас после смерти его отца с

250 000 р. в виде вознаграждения за свое освобождение, и требовал, чтобы все село, в полном его составе, приступило к выкупу и равномерно воспользовалось его выгодами. На этом условии и состоялась сделка, принесшая Огареву сравнительно ничтожную сумму [36], если принять в соображение ценность уступленных им угодий, да и то не вполне выплаченную (говорили — тысяч 400). Часть этой суммы пошла на устройство писчебумажной фабрики в одной из пензенских деревень Огарева [37], а другая скоро разошлась и исчезла в его собственных руках. Но при свершении акта освобождения упущено было из вида мужицко-олигархическое устройство белоомутовской общины. Богачи в ней и прежде уплачивали государственные и барские повинности за земли и угодья неимущих, распоряжаясь последними на правах второго поддельного вотчинного права, а теперь, когда выкуп пал преимущественно на тех же богачей, остальное население, не участвовавшее в нем, оказалось их неоплатным должником и поступило к ним в кабалу. Дело еще запуталось тем, что при утверждении акта освобождения правительство, из видов сбережения от хищнического хозяйства ценных в государственном смысле угодий, отписало некоторые из них к ведомству государственных имуществ. Положение о крестьянах 1861 года нашло много работы в этой, по-видимому, автономной общине при определении ее собственности и прав каждого ее члена. Когда особый чиновник межевого департамента, прибывший на место для окончательной разверстки земель, в том же 1861 году, между государственными имуществами и собственниками села, сказал старикам Белоомута, его окружавшим: «Видите ли, какая еще благодать остается вам по милости помещика, отдавшего вам все это за бесценок, а он теперь очень нуждается,— что бы вам собрать тысяч сто и послать к нему»,— то старики задумчиво отвечали: «Точно, надо бы», да на том и остановились. И они были правы. Какая им была нужда поправлять нерасчетливость и промахи бывшего своего хозяина? Да Огарев ничего подобного и не ожидал. С самого начала он радовался своему подвигу, зная, что он далеко не окупается полученными им деньгами, да собирался приложить и к другим менее богатым деревням своим такую же систему освобождения, хотя и на иных началах. Здесь, на основании модной тогда экономической теории, проповедовавшей

о благодеяниях фабрик для сельского населения, он хотел учреждать, по мере сил и применяясь к требованиям разных округов, фабрики на вольном труде, которые дали бы крестьянину возможность находить всегда заработок, готовый ответ на свои нужды, освободить от принудительной работы и снять с него бремя податей и повинностей. «Как я люблю этот народ,— писал он в это время,— как бы мне хотелось, чтобы они почитали меня за друга, который им желает добра и сделает его. Может быть, со временем, устроивши фабрику, я похлопочу о «комитете поощрения фабрик и заводов». Вот новые прожекты — не знаю, понравятся ли, но я их вижу теперь сквозь призму энтузиазма. Скажи мне еще раз: мог ли я понравиться крестьянам? достиг ли я своей цели? видят ли во мне доброжелателя? Кто мне скажет — да! то я радуюсь, как ребенок» [38].

XI

Появление Герцена и Огарева в Москве ознаменовалось переломом в их умственном направлении и постепенною гибелью юношеских иллюзий, которыми они так долго питались в провинции. Едва успели они осмотреться на новых местах жительства, как после шумных встреч, оваций и радостных бесед с друзьями приступили к переработке прежних идеалов, к критической поверке их и нашли к ним ограничения и дополнения, которые изменили первоначальную их физиономию до неузнаваемости.

Какие же новые факторы, какие нравственные элементы, находившиеся дотоле в пренебрежении, предъявили теперь права на их внимание и оказались столь сильными и столь требовательными, что мало-помалу разорвали сложную цепь убеждений, многолетний и окрепший строй их мыслей? Попытку разрешения вопроса мы старались представить и прежде в биографическом опыте нашем: «Замечательное десятилетие», к которому и отсылаем читателя. Вопрос, собственно, сводится на влияние возникавших тогда философских и исторических учений в культурном обществе нашем. Две силы преимущественно участвовали в деле снятия беспочвенных, отвлеченных, воображаемых идеалов у обоих друзей и в упразднении излюбленных ими начал и убеждений. Первое место занимает тут, конечно, гегелевская

система, понятая исключительно как отрицание всего, что не подходит под логическое определение, а второе бесспорно принадлежит антиподу ее — учению славянофилов о великости безотчетного народного творчества как в создании политической истории, так и форме общежития. Следовало разобраться между ними. Оба учения, несмотря на свою противоположность или, может быть, вследствие своей противоположности, окрепли и развились почти одновременно; но друзья наши не видали ни их начала, ни их первых ходов, избывая свою ссылку вдали от города и от университета, где учения пустили корни.

С первого уже приступа к изучению новых течений мысли, оказавшихся в обществе, для Герцена стала ясна несостоятельность самонадеянных, ложно величественных, одиноко высящихся метафизических построек и всех разъяснений и оправданий, которые для них были заготовлены. С ними нельзя было стоять в уровень ни с одним учением, и они не давали мерки для их проверки. Не нужно было и устранять их: старые созерцания, не питаемые более искусственными способами, потухли сами собою, отпали, не причиняя боли, не возбуждая сожаления, без трогательных прощаний и торжественных проводов. Иначе было с Огаревым: он покидал старые одежды свои нехотя и с сожалением,— но это зависело уже от психической разницы в характерах друзей.

Герцен был совершенно лишен дара прощения и забвения, которым обладал в такой сильной степени друг его Огарев. Горечь ссылки легла тяжелым камнем на его сердце и вовсе никогда его не покидала. При небольшом внимании легко распознать ее примесь в выражении самых возвышенных, миролюбивых чувств, какие он посылал друзьям в виде бюллетеней о состоянии своего нравственного здоровья. Долго сберегал он и воспоминания о тщетных усилиях освободиться от пут, мешавших его движениям, о долгих днях и часах ожидания конца своего искуса. Печальное наследство, полученное им в годы испытаний, он не растратил в более светлые эпохи жизни, а напротив, тогда-то еще и приумножил его, оправдывая старое замечание, что жизненные беды и неприятности чувствуются человеком, может быть, еще сильнее по миновании их, чем в самую пору их существования. Горькие воспоминания эти он бережно донес до 1852—1854 годов, когда положил их на бумагу за

границей. Пример человека, ничего не забывающего в жизни, казался ему всегда немаловажным оружием для политического развития общества. Он расположен был прощать даже преувеличения, почасту встречающиеся в рассказах людей, которые считают себя глубоко оскорбленными. Нельзя сомневаться, что досада на обстоятельства, сложившиеся так неприязненно против него, помогла ему, еще до прибытия в Москву, очнуться от блаженного сна, в котором он находился, частию и под магнетическим влиянием своего обычного медиума Огарева. Он стыдился после обнаруженной им некогда слабости и не упомянул ни одним словом в своих «Записках» об особенном нервном состоянии, какое пережил в провинции. Зато теперь он уже с удвоенною энергией негодования встречал все явления, в которых мог распознать признаки только что покинутого им направления. Вот почему и В. Г. Белинскому пришлось еще в 1839 году испытать силу его гнева и упреков, когда критик наш, на очень короткое время, впрочем, поддался искушению дать философско-мистическую подкладку явлениям текущей русской жизни. Отрезвление Герцена шло изумительно быстро и вряд ли не началось еще во Владимире, и притом тотчас же после мистического свидания с другом, описанного выше. Он скоро уставал в однообразии торжественных нот и спешил убежать от них. Вдобавок, при первом соприкосновении с центрами культурной нашей жизни, Москвой и Петербургом, ему сразу сделалось ясно, что под покровом того же самого направления, какому и он служил, только в менее обработанном и в менее опоэтизированном виде, живут все те очень малоутешительные явления русского мира, которые так возмущали его. Между тем неожиданный случай, опрокинувший все его начинания в Петербурге, окончательно укрепил в нем мнение, что, кроме критических отношений к обществу, никакого другого дела человеку в его положении и не предстоит. Тогдашняя русская жизнь как бы сама приняла на себя труд освободить его окончательно ото всего женственного, добродушного и мечтательного.

Летом 1840 года Герцен переселился со всею семьей в Петербург, где уже на короткое время был, как уже знаем, и в последних числах декабря прошлого года. Тогда он представлялся, между прочим, и министру внутренних дел графу А. Г. Строганову, который предложил ему место в своей канцелярии. Дело шло о том,

чтобы с получением чина 8-го класса, который ему следовал, сделаться потомственным дворянином и полноправным гражданином, чего страстно желал отец Герцена, и что в тогдашнем положении общества действительно было совсем немаловажным делом. Не прошло и года столичной жизни, как молодой Герцен совершенно неожиданно и, так сказать, невзначай опять сделался преступником. В одном из своих писем в Москву он повторил общий слух, ходивший тогда по городу и передававшийся знакомыми друг другу чуть не на всех перекрестках о каком-то убийстве, будто бы совершенном полицейским солдатом. Никто не был потревожен за этот слух в городе, но слово, перехваченное в письме у Герцена, получило особое значение. В нем усмотрели злорадное распространение новости, бросающей тень на администрацию. Под первым впечатлением гнева ему пригрозили даже обратным путешествием в Вятку, но более хладнокровное исследование дела и заступничество министра графа Строганова, изменили намерения администрации относительно ветреного корреспондента. Оставить, однако же, в Петербурге лицо, уличенное в пропаганде дурных слухов, тоже не было возможности. Герцену предложили для ссылки на выбор два города — Новгород или Тверь, соглашаясь водворить его там, где ему покажется удобнее. По совету министра он выбрал Новгород. Спешим сказать, что трудно найти другой пример административной высылки, сопровождаемой такою вежливостью, таким благорасположением к пациенту, как это было в настоящем случае. Она производилась будто нехотя, будто с сожалением о том, что принуждены были прибегнуть к этой мере. Кроме позволения оставаться в городе, сколько нужно было Герцену, отъезд его сопровождался еще и важными служебными отличиями. Ему предоставлено было место советника губернского правления в Новгороде из множества кандидатов, добивавшихся его, то есть Герцен попадал в правительственные члены той области, куда ссылался на жительство. Вместе с тем, он получал и чин коллежского ассесора, открывавший, по тогдашним порядкам, блестящую карьеру для честолюбцев. Казалось, что административная кара, являющаяся в таком виде и с таким явным характером временной и краткосрочной меры, должна была бы потерять для него добрую часть своей ядовитости и угнетающей силы. Ведь первая московская ссылка, несравненно более грозная, не оставлявшая

никаких надежд, а наоборот, предвещавшая несравненно еще худшие последствия в будущем, нашла же в нем человека, готового переносить удары судьбы с твердостью и достоинством. Здесь произошло нечто совсем иное: не было и помина о вознесении благодарственных гимнов карающей судьбе, ни малейшего поползновения обновить теорию о пользе страданий!.. Герцен не мог одолеть тупого отчаяния, которое овладело им против его воли. Правда, существовали еще и семейные причины для такого нравственного состояния. При самом начале этого дела жена его, Наталья Александровна, была напугана появлением в их квартире жандармского офицера, приглашавшего хозяина для объяснения в III Отделение. Последствием испуга были преждевременные роды ее и продолжительная болезнь затем. Но главная основа нравственных страданий Герцена заключалась не в этом случае, как он еще ни был прискорбен сам по себе, а в отсутствии какой-либо возможности разъяснить мыслию свершившийся факт, понять причину и смысл его появления. Приходилось думать, что существование жертвы, им пораженной, сделалось игралищем в руках каких-то неизвестных ей сил, и что одного ничтожного обстоятельства совершенно достаточно на сем свете или для возвышения человека не в меру подъятых трудов, или для принижения его не в меру вины и проступка. Когда он изложил друзьям своим в Москве горькие чувства, обуревавшие его накануне почетной ссылки, ему предстоящей, то Огарев, вероятно, по старой памяти, предложил ему в утешение совет считать все происшедшее «частным случаем» и предаться покорному самоотречению — резигнации (resignation) [39]. Хотя поворот в общем настроении друзей коснулся и Огарева, но он всегда отставал от товарища. На этот раз Герцен отвечал своему постоянному наставнику строгим и гневным письмом, которое приводим ниже. Герцен является в нем новым человеком и, видимо, стоит уже на рубеже второго периода своего развития:

1841 г. 11 февраля. С.-Петербург.

«Ты, Огарев, проповедуешь *резигнацию,* но в том случае, в котором ты ее проповедуешь мне, она нейдет, даже я думаю, что именно и беда-то вся, что ее *слишком много.* Я понимаю, что человек, одержимый чахоткой, был бы жалок со своими упреками и гневами на судьбу; понимаю, что человек, у которого потонул корабль со

всем имуществом его, благороден, перенося просто то, что вне сферы разума и его воли, но резигнации, когда бьют в рожу, я не понимаю, и люблю свой гнев столько же, сколько ты свой покой. «Частный случай»! Конечно, все, что случается не с целым племенем, можно назвать частным случаем, но я думаю, есть повыше точка зрения... Ежели ты написал, что это — «частный случай», мне в утешенье, то спасибо; если же ты не шутя так думаешь, то это одно из проявлений *той ложной монашеской пассивности, которая, по моему мнению, твой Тифон, твой злой дух.* Христиане истинные могли смотреть равнодушно на все, что с ними делали; для них жизнь была дурная станция по дороге в царство божие, где наградятся труды. Мы на жизнь не так смотрим, мы слишком шатки в вере, в нас будет слабостью, что у них сила. В этом отношении нам, может, скорее идет гордый, непреклонный стоицизм, нежели кроткое прощение действительности, индульгенция всем пакостям ее... С. [40] говорит, что между прочим у тебя бродит намерение пожить здесь год-другой. По-моему (как я уже говорил в 1839 году), это просто безумие и, как всякое безумие, не имеет ни малейшего оправдания в самом себе. Служить ты неспособен, да и где с твоим *рангом*? [41] Прожить все свое достояние самым глупым образом chemin faisant * к камер-юнкерству — рассуди сам! Пожить весело — низкая цель, да и притом я не думаю, чтобы ты *сумел здесь веселиться;* собственно, жить сюда никто не ездит... Удостоверь меня, что план этот исчез. Да и что теперь может быть лучше: пять лет путешествия! А я, остающийся, со стесненным сердцем, но с полной любовью друга и брата благословляю вас на благодатные пять лет. Поезжайте, поезжайте!

Omni casu ** 1-го января 1845 года мы встречаемся в Женеве, то есть каждый с своей стороны пусть сделает все от него зависящее: à l'impossible nul n'est tenu ***. Давай руку... И с этой-то надеждой я поеду в Новгород. «Не бейся, сердце — погоди». Все заключено да будет внутри ⟨...⟩

Ты любишь «эту землю». Понятно. И я любил Москву, а жил в Перми, Вятке, не переставая ее любить, и жил год в Петербурге, да еду в Новгород! Попробуем

---

* по пути *(фр.)*.
** во всяком случае *(лат.)*.
*** на нет и суда нет *(фр.)*.

полюбить земной шар — оно лучше. Куда не поезжай тогда, все будешь в любимом месте.

Сатин говорит, что ты, кажется, сжег мои письма. Это скверно, лучше бы сжег дюйм мизинца на левой руке у меня. Наши письма — важнейший документ развития; в них, время от времени, отражаются все модуляции, отзываются все впечатления на душу. Ну, как же можно жечь такие вещи?»[42]

Решительный тон этого документа, в котором автор заранее отказывается от надежд и утешений во всех их видах, за исключением надежды начать в 1845 года иную, новую жизнь за границей, не помешал ему, однако же, искать и скоро найти на родине задачи, способные занять серьезный ум и облегчить сердце. Не далее как через месяц после своего письма, Герцен был уже спокоен и обнаруживал намерения, далекие от тупого отчаяния〈...〉 От возбужденного состояния, которым проникнуто февральское его письмо, он перешел, ни мало не противореча самому себе, к холодной оценке явления, выбросившего его из колеи предначертанного для себя существования〈...〉 В это же время Герцен опять близко сошелся с Белинским после довольно долгой размолвки, произведенной оптимистическими воззрениями последнего. Они оба признали теперь, что обычный порядок вещей нисколько не нарушался случаем с Герценом, что, наоборот, самый случай был естественным, законным и нормальным порождением этого порядка. Письмо Герцена от 2-го марта в немногих, но мягких полуфразах и намеках повторяет все здесь сказанное〈...〉

Дальнейшее продолжение письма бросает яркий свет на меру, принятую относительно Герцена, и которая, как уже сказали, не имея вида ожесточенного преследования, отличалась характером келейной расправы, что именно и составляло ее наиболее тяжелую сторону. Любопытно, что совет, данный им Огареву отправиться в пятилетнее заграничное путешествие, и обещание последовать за ним приняты были последним, как присуждение его и самого себя на многолетнее бездействие; против такого толкования своих слов Герцен восстал с негодованием. Огарев действительно в том же 1841 году взял паспорт за границу, но только на шесть месяцев. Затем, из того же продолжения узнаем, что ссылка Герцена определена была заранее, по соглашению начальства, в *один* год, после которого и с повышением

чина ему уже обещано было место вице-губернатора⟨...⟩ Служба не входила в виды Герцена, и рано или поздно, но он обманул бы ожидания своих покровителей. Вот это продолжение:

«3 марта. Я поручил⟨...⟩ растолковать вам, что я разумею и как я разумею отъезд... Вы не поняли меня. Никто не говорил о праздной жизни — да и мог ли я, весь сотканный из деятельности, решиться жить сложа руки?⟨...⟩ Я здесь приобрел некоторый голос — и оттого мне жаль покидать Петербург. *Разумеется, неуместность года в Новгороде абсолютна.* Хоть бы в даль (теплую) куда, а то в Новгород. Впрочем, я постараюсь через год уехать в Крым. Теперь нельзя, потому что того хочет Строганов, а ему (равно и вашему Строганову) я должен засвидетельствовать искреннейшее спасибо. Мне следственно ими же предстоит и выход⟨...⟩ А смешно: я выиграл по службе — проигрышем... Впрочем, и службы не брошу теперь, да только не хотелось бы жить в мерзком климате.

А прежде 1 мая не уеду. Министр и не думает торопить меня. А до тех пор Наташа хорошенько оправится, и дороги будут *пратикабельнее* *. Стало, увидимся. Остановись в «Hotel de Paris» ** на Малой Морской, возле Невского проспекта. Это от меня не более 50 шагов. Итак, мы вместе увидим море. *Я* тебе покажу его: это одно из моих мечтаний» [43].

И он действительно дождался Огарева с женой его, показал им море, вероятно, с тем же чувством, с каким Пушкин в Одессе 1824 года смотрел на него, помышляя о дальних странах, которые оно омывает; наконец, проводил обоих супругов за границу и затем сам явился к 1-му июля 1841 года к месту своего назначения, в Новгород.⟨...⟩

XIII

Практическое воспитание Огарева шло иным путем. Он выехал с женой летом 1841 года, как уже видели, за границу. Все время пребывания в Петербурге он принадлежал более родным своим и их знакомым, чем Герцену. Последний едва успел свезти его в Петергоф

* доступнее (от *фр.* pratiquable).
** в гостинице Париж *(фр.)*.

и показать ему, и то полусонному и рассеянному, морской залив. Само расставание друзей носило особенный, чуть не стоический характер. Они вышли на Неву, миновали дворец, обнялись на набережной в виду крепости, и затем каждый пошел своей дорогой. Да и к чему тут были проводы?.. Огарев уезжал на несколько месяцев и, действительно, к половине следующего 1842 года находился опять в Петербурге и Новгороде. Но, к удивлению всех его знавших или в оправдание их предчувствий, он явился назад один. Жена его уехала в Италию в сопровождении одного молодого русского художника и там осталась. Это было предвестие близкого разрыва, который, однако, осуществился довольно поздно, только в 1844 году. Огарев любил жену и в то время, когда она освободилась уже от нравственных прикрас, которые породили любовь. Он ждал, чтобы в нем самом потухла последняя искра привязанности, и только тогда отошел от избранной им женщины, когда почувствовал, что она успела расхитить все, что находилось в его сердце. В последних числах мая 1842 года он навестил Герцена и пробыл у него одиннадцать дней. Тогда-то в излиянии дружеских бесед и посреди нескончаемого пира, ознаменовавшего их встречу, Огарев выразил намерение разорвать связь, не имеющую более смысла, и передал историю бегства своей жены. По свидетельству Герцена, он был спокоен и весел и уезжал опять за границу, чтоб окончательно решить дело с женой, которое в настоящем своем положении составляло несчастие их обоих; но решение последовало не скоро, как сказали.

Не стоило бы продолжать рассказ об этой семейной катастрофе, если бы с нею не связывалась история крушения целого плана жизни и целой группы надежд и замыслов, составленных Огаревым для своего существования и разрушенных тою самою рукой, на которую он рассчитывал для их поддержки и укрепления.

Марья Львовна Огарева принадлежала к тому типу русских женщин, тогда еще очень многочисленному, которые никогда не умели разобраться в своих чувствах. По различным и противоположным отзывам о ней ее современников уже можно заключить, что она представляла из себя амальгаму возвышенных стремлений и пустых наклонностей, чередовавшихся в ее душе с необычайною быстротой. Догадка эта подтверждается всем тем, что мы знаем из ее жизни. Жизнь эта протекала у нее в беспрестанных переходах из строгих воззре-

ний на свое призвание к позорным падениям, большею частию еще и неожиданным. Она не оставила после себя никаких привязанностей, хотя и не скупилась на жертвы для их приобретения. Иначе и не могло быть по условиям ее ума и природы. В пылу благородных увлечений она мечтала о прелести беззаветного существования и, спускаясь в низшие порядки жизни, призывала утерянный рай высших идеальных стремлений; философская пропаганда, утопические и радикальные мнения, которых она сделалась обязательною слушательницей и свидетельницей по выходе замуж, окончательно сбили ее с толка. Она приобрела от них привычку смешивать влечения страстей и врожденных инстинктов с основами морали и принципами независимого мышления.

Сущность ее характера, однако ж, была не очень сложна: основным тоном его было врожденное влечение к шуму, приключениям, чувственным наслаждениям и умственному раздражению, которое было только видоизменением их. С такими задатками, попав в соприкосновение с требованиями семейного идеализма, она искала способов пристроиться к нему наилучшим образом и успела в этом, благодаря очень гибкому и бойкому уму своему и искренней привязанности к мужу, которого, несомненно, тогда любила не за одно богатство, но и за душу его. Усталость явилась скоро. Уже в первую одиночную свою поездку в Москву для лечения, состоявшуюся вскоре после тех излияний чувства, какие мы видели в вышеприведенном ее письме к Герцену, Огарева искала вознаграждений за долгое пребывание свое в одном поэтическом настроении и пробовала почву для новой и более просторной жизни. Вторая и тоже одиночная поездка ее в Петербург за освобождением мужа и тотчас после знаменитого владимирского свидания имела еще большие последствия. Она уезжала из Владимира, унося с собою еще теплые воспоминания о сценах, там происходивших, и совершенно позабыла о них, как только перешла через несколько петербургских салонов и увидала, как легко, свободно и беззаботно наслаждаются там плодами цивилизации, науки, искусства. Чего недоставало ей, чтобы жить посреди такой же обстановки и собирать вокруг себя счастливые и довольные лица? Она была богата, носила старое дворянское имя, обладала недюжинным умом, изощренным вкусом и всеми другими условиями светского успеха, выдающейся общественной роли. Вместо того она осуждена на полумо-

нашескую жизнь с вечною проверкой самое себя, которая требуется скромностию семейного очага, с постоянным надзором за собою каких-то невидимых, неосязаемых принципов, на неприглядную участь пройти жизненный путь об руку *с вечным студентом,* не просыпающимся от видений, и вторить вместе с ним гулу задорных утопий его приятелей. Она возненавидела свое положение. Мысль вырвать Огарева из среды, в которой он находился, и перенести его на арену большого света, где так облегчается труд существования, засела крепко в ее голове. С нею явилась она и в Москву, когда в 1839 году чета наша получила дозволение поселиться в столице.

Здесь при первых же проявлениях своей мысли Марья Львовна встретила более сильную оппозицию, чем ожидала, в друзьях Огарева, подозрительно и косо смотревших на затаенные цели молодой женщины. Круг одинаково настроенных людей составлял плотную стену около Огарева. Он дышал вместе с ними атмосферой идей, которой нигде не находил более и без которой существовать не мог. Не легкое дело было разрушить очарование круга, но за это дело Марья Львовна принялась решительно, хотя и исподволь, увлекая Огарева в общество, где бы он мог забыть о гнезде, хранившем лучшую часть его духовного бытия. Огарев следовал за нею без сопротивления, не усматривая большого преступления в том, что молодая женщина жаждет света и простора и ищет их там, где думает их встретить наверное. Но друзья угадали намерения и характер его руководительницы и прозрели порчу всей его жизни, если он слепо отдастся во власть ее. Сама собою возникла глухая, но ожесточенная борьба между обоими лагерями и направлениями. Спор сводился, в сущности, на вопрос об обладании Огаревым, и надо сказать, что Марья Львовна защищала свое достояние и своего мужа с ожесточением и свирепостью львицы, отвечая оскорблениями на оскорбления, отражая удары ударами же и скрываясь от дельных обвинений и упреков за иронией и холодным презрением, которыми мастерски владела и которыми обманывала мужа. Не менее раздражения высказали и защитники самостоятельности Огарева, находившие в эксцентричности многих поступков пустой женщины, в частом легкомыслии ее поведения поводы объявлять ее виновницей всей смуты. Впрочем, как часто случается в столкновениях людей, действия и побуждения обоих сторон смешивались в одну кучу,

а охотников разобрать их по существу не находилось. Все шло у врагов Огаревой за свидетельство ее испорченности, рискованная мысль принималась за тайный разврат, детская шалость за порок и проч. Около двух лет длилась эта борьба, свидетельствуя о бессилии воли у главного ее предмета — Огарева. Во все это время он искал случая примирить обе стороны, равно ему дорогие, и не нашел его. Отчаявшись в возможности отыскать нейтральную почву, на которой могли бы сойтись враги, он подумывал, как видели, о переезде в Петербург и наконец прибег к заграничному вояжу, как к единственному спасению своему. При отъезде нашей четы в 1841 году из Петербурга за море Марья Львовна еще раз обнаружила перед Герценом, бывшим одним из отъявленных ее врагов, способность отзываться (и каждый раз искренно, по нашему убеждению) на любую ноту человеческого сердца. Герцен попрощался с нею (в новгородском письме к московским приятелям от 23-го июля 1841 года) таким отзывом, хотя и ироническим по форме, но за которым, как у него часто бывало, светится все-таки истинное его чувство:

«Я забыл тебе сообщить, что перед отъездом Огарева я снова помирился с Марьей Львовной. Мы, право, много перед ней виноваты: в ней есть такие достоинства — mais des * достоинства! Она зап.» (NB. начинавшаяся фраза «она заплакала» вычеркнута автором, и вместо нее поставлено просто восклицание: «Почтеннейшая женщина!..») [44]

Что случилось с ней за границей — мы не знаем. Известно только, что, когда, после лечения в Карлсбаде и Теплице, Огарев направился в обратный путь, Марья Львовна, под предлогом болезни, уехала в Рим и Неаполь, и не одна, как гласила легенда, на этот раз достоверная.

Во вторую свою поездку за границу, которая очень близко следовала за первою, Огарев, вероятно, убедился, что пребывание его супруги в Италии равнялось добровольному отречению от уз, связывавших их обоих, что ей надо предоставить время для отрезвления от всех обаяний волшебной страны, где она посвящена была так же точно в тайны художнических мастерских, как и в способы туземного понимания жизни, заменившие для нее прежние светские идеалы. Расчет Огарева был верен.

---

* Здесь: но все-таки *(фр.)*.

Отрезвление шло у Марьи Львовны всегда рядом с увлечением. Она поспешила на встречу к нему в Германию, заслышав о его приезде.

Один из общих их друзей, весьма благорасположенный к г-же Огаревой и лежавший тогда в тяжелой болезни на острове Искии, упомянутый уже Н. М. Сатин, давал такую оценку личности Марьи Львовны в своем письме от 1842 года, посланном из Неаполя 18-го июля старого стиля: «Что сказать тебе на твои обвинения против М. Л.? Все они справедливы, и сам я их повторил много раз, но все-таки я имею к ней сострадание и повторяю, что Огарев поступил бы неблагородно, бросив ее. Она дурна, но кто виноват в этом? Отчасти она, но гораздо более судьба, бросившая ее в эту колею, а не в другую. Это не фатализм à la turque *, и ты напрасно будешь противопоставлять ему волю человека. Самая эта воля не есть нечто врожденное, определенное, но развивается и получает направление воспитанием, обстоятельствами и условливается организациею. Огарев *поневоле* виноват в одном — в своей слабости. Он никогда не мог бы переделать натуры своей жены, но мог бы остановить ее дурные наклонности. Ну, да что делать, он слаб? А потому для него выход невозможен, и страдания неизбежны...»

Пророчество сбылось только наполовину: последняя его часть действительно исполнилась, Огарев много страдал, но выход все-таки был найден.

Тот же самый корреспондент, еще не вполне исцеленный, переехал в Германию и был свидетелем встречи Огарева с женой в Майнце на Рейне, где она ждала его. Произошло объяснение между ними, и свидетель прибавляет, что он измучился в течение двух недель, пока оно длилось. Сурово оттолкнутая и оскорбленная на первых порах раздраженным мужем, Марья Львовна обнаружила гордость женщины, грубо призванной к ответу в то время, как она пришла с сознанием своей опрометчивости и раскаянием. Далее рассказчик повествует, что вскоре роли переменились: из подсудимой Марья Львовна сделалась решительницей участи Огарева, что последний искал сделки, примирения, унижался, льстил, прибегал к хитростям — и получил отпущение. Теперь — поясняет рассказчик — «они связаны теснее, нежели когда-нибудь, и не любовью, а обстоятельства-

---

* по-турецки (*фр.*).

6 Заказ № 1611

ми». Он проводил их до Страсбурга по дороге в Италию и расстался с своим другом, совершенно сбитый с толку поведением его и не понимая причин, заставлявших его действовать так странно и непоследовательно во всей этой истории. Разгадку своих недоумений он получил с первою остановкой Огарева в Цюрихе. Он писал ему оттуда (октябрь 1842 года):

«Измученный пошлостью моего поведения, с ненавистью в душе, я ехал и приехал сюда... *Зачем я унижался под конец?* Затем, что я видел в этом восстановление и спасение от всех преследований женщины, которую я глубоко оскорбил... Но битва не кончена. Во мне разрушен целый мир, к которому я был привязан... Все унижения, которые я понес, лежат на сердце... В *призвании художника я не отчаялся;* остальное все погибло. Ширь жизни, жажда наслаждений и блаженства будут тщетны, свято затаены... Мой путь уныл, но я буду силен...»

Комментируя эту записку друга перед московскими приятелями, корреспондент прибавляет от себя:

«Марья Львовна с своей стороны пишет ко мне, что она поняла теперь совершенно свои отношения к мужу и клянется, что она изменится и никогда не стеснит его ни словом, ни делом... Чем все это кончится — бог знает! Одно только верно, что Огарев теперь страдает так, как никогда еще не страдал. Теперь обещается быть сильным... Дай-то бог! А он может быть силен. В самом этом унижении, перенесенном им добровольно для восстановления женщины, он явил силу огромную, но только некстати употребленную. Ганау, 26-го октября» (1842 года).

Итак, желание спасти некогда любимую женщину от дурной славы, как покинутой и презренной жены, было единственным поводом самоотверженной покорности Огарева. Друзья его в Москве не были, однако же, нисколько умилены его поступком, в котором усматривали только руку коварной женщины, привыкшей играть на благородных чувствах мужа, как на знакомом инструменте, и особенно вознегодовали, когда узнали, что поступок свой Огарев сопровождал еще выдачей жене векселя в тридцать тысяч рублей и назначением ежегодного содержания. Никто не хотел признать, что таким образом Огарев возвратил свободу действий себе и спутнице своей и открыл для нее возможность равноправных отношений с ним без любви и обязанностей. О восста-

новлении сердечных привязанностей тут не было и помина. Сам Огарев не обманывался на этот счет: «битва не кончена», замечает он, говоря о своих уступках жене. Все дело заключалось для него в том, чтобы закончить борьбу наиболее благородным, великодушным способом. Обе стороны широко воспользовались свободой, какую взаимно предоставили себе, и доверенное их лицо, тот же корреспондент, у которого мы брали уже столько цитат и свидетельств, весьма доволен душевным состоянием Огарева. «Последние письма его,— говорит он,— полны теплоты и спокойствия. Нет, он не погиб; но я на минуту ошибся в нем, полагая его падшим,— и мне это больно! Он ясно определил свои отношения к Марье Львовне, и эти отношения основаны теперь на общественных приличиях и частию на взаимной привычке и на некоторого рода обязанностях. Что касается до последних, как вам объяснить их? Вы оба этого не поймете, ибо слишком восстановлены против нее... Имей она свое состояние — многие препятствия были бы устранены; но теперь, приучив ее к роскоши, Огарев не может оставить ее без возможности удовлетворять своим прихотям, она же настолько-то благородна и горда, чтобы не принять денег от человека, который ее отталкивает. В нравственном отношении он не только полезен ей, но даже необходим: эта женщина совершенно одна, она не умела привязать к себе ни одного существа, и право, она страдает. Она сама виновата. Так! Я тоже сам виноват, что болен,— однако это не причина, чтобы вы не пожалели о моей болезни и не облегчили бы ее, если бы могли. Нет, нет, господа, вы решительно не понимаете, как тяжело быть жестоким, особенно такому человеку, как Огарев... (6-го декабря 1842 года. Ганау)». По смыслу этого письма оказывается, что в тот род modus vivendi *, какой нашли для себя супруги, входила и возможность их совместного жительства на правах их полюбовного или срочного соглашения. Корреспондент наш умалчивает о лживости подобных отношений, которые не могли долго продолжаться, и не проговаривается ни одним словом о другом важном обстоятельстве, касающемся Огарева.

С потерей жены рушился для него целый мир определенных целей в будущем и упразднились все приготовления к трудовой жизни, все обещания и зароки, данные себе на мужественное прохождение земного

* образ жизни (*лат.*).

поприща под недремлющим взором провидения. Вокруг него образовалась пустота, которую приходилось теперь наполнять чем ни попало, лишь бы освободиться от гнетущего чувства ее существования. С самых первых признаков неминуемого семейного переворота, показавшихся еще в первое его заграничное путешествие, он уже потерял власть над собою, погрузился в вихрь рассеяний, увлечений, излишеств. Таверны и локанды Италии, замки и сады по Рейну, бульвары и балы Парижа попеременно видели его усилия заглушить духовное сиротство свое в бесконечном шуме пиров и праздников, к которым с тех пор он и сделал привычку, длившуюся очень долго. Со всем тем, жить вовсе без идеальных стремлений он уже не мог, и тогда являлись неожиданные и скоро проходящие усилия создать для себя во что бы то ни стало серьезные задачи в жизни. Так, проживая во Флоренции (конец 1842 года), он отдался страсти к искусству, на что намекает и одна горделивая фраза уже приведенного выше письма его: «В *призвании художника я не отчаялся;* — остальное все погибло» *. За все это время он находился в экстазе перед Италией, ее школами живописи, принялся даже за уроки рисования, чтобы лучше понимать величие ее произведений, и снабжал Герцена подробными отчетами о своих занятиях, которые тот даже и не сообщал другим приятелям, называя их трактатами об искусстве.

Позднее, и уже в Берлине, Огарев позабыл о художническом призвании и погрузился весь в естественные науки, начинавшие тогда цвести на руинах немецкой философии и рядом с социальным движением Германии. Он отстаивал перед сомневающимися друзьями свое намерение отдаться естествознанию бесповоротно. Пока в Москве еще рассуждали о всех этих предприятиях, туда пришло известие, что Марья Львовна, приехав в Берлин, собирается подарить Огареву ребенка. Изумление было общее. Герцен просто воскликнул, сообщая о новости в Петербург:

«10 октября 1844 года. Марья Львовна скоро подарит Огареву наследника, привезенного из Италии, и le bon mari ** премией за такое усердие признает его и, веро-

* В ноябре 1842 года Огарев жил во Флоренции, затем прибыл в Рим и делал планы посетить Неаполь и Сицилию и по весне 1843 года прибыл на Рейн с тем, чтоб оттуда пробраться в Париж на зиму. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** покладистый муж (*фр.*).

ятно, отдаст имение. Для чего это?.. Всякая весть о нем меня глубоко огорчает и расстроивает. Да когда же предел этим гнусностям их семейной жизни?»[45]

Предел скоро явился. Ребенок родился мертвым, и Огарев оповещал друзей об этом обстоятельстве такими словами: «17-го октября. Берлин. Мое намерение быть отцом рушилось... Родился недоносок, мертвый ребенок, с такой жалобной физиономией, что я до сих пор забыть не могу. Сегодня уже 8 дней. Жена здорова. Странная диалектика судьбы — меняет жизни, разрушает возможности нравственного прогресса, etc... Но ты сам все это знаешь, и знаешь, как много надо внутренней силы, чтобы становиться выше случайностей...»[46]

Между тем погибший младенец составил последний акт этой семейной драмы. Супруги разъехались, и навсегда. По всем вероятиям, Марья Львовна потеряла надежду восстановить свое старое, влиятельное положение — в виду возрастающей холодности мужа — и поторопилась кончить с бесполезными усилиями связать порвавшиеся нити некогда живых отношений. В половине декабря 1844 года она покинула мужа и более уже не встречалась с ним. Огарев передавал событие очень просто:

«Marie на днях уехала. Позволь уже не говорить об этой печальной комедии. Развязка была суха: для меня прискорбна, для нее мучительна. Я ожидал лучшего. Но я и сам не выдержал и не могу считать себя правым: равнодушие доходило во мне до эгоизма. Я не предполагал в себе такого холода и недоволен им. Впрочем, все обошлось по наружности спокойно; только внутренно я недоволен, самим собой недоволен. Но едва ли могло быть иначе. Я бы знал это наперед, если бы умел откровенно измерить в себе, насколько температура ниже 0. Затем конец ложным отношениям».

Так завершилась связь, от которой Огарев ожидал неисчислимых благ для сердца, ума и воображения. Бедная женщина, обманувшая эти ожидания, умерла в Париже, в крайней бедности, в 1853 или 1854 году[47]: средства ее существования, по расстроенному состоянию дел Огарева, значительно сократились, а под конец и совсем иссякли.

Огарев пробыл еще более года за границей после окончательного разрыва с женою и посвятил это время

на то, чтобы явиться в Россию с новою физиономией, убить в себе старого романтического человека, выйти через науку к реальной жизни и деятельности, убежать, как сам говорил, «aus Blauen hinaus» (вон из мечты) и показаться на родине преобразованною и определившеюся личностью. В 1846 году он вернулся домой действительно в новом виде, хотя и не в том, за которым гнался, но давшем ему особенное типическое выражение, которое он и сохранил уже до конца жизни (1877 г.) и которое должно считаться истинным разоблачением его нравственной природы, как она выработалась течением и перипетиями его бурной жизни, изложенными здесь приблизительно.

Герцен был прав, когда говорил, что жизненным делом Огарева было создание той личности, какую он представлял из себя. Когда он появился наконец в Москве, окружающие узнали в нем прежнего добродушного, глубоко сердечного человека, но уже без всяких задержек со стороны какого-либо ученого предрассудка или нажитого принципа, как прежде. Опасались, что со свободой от пут, связывавших некогда его ум и совесть, он утеряет возвышенное настроение духа и тот пафос души, которые его всегда отличали, но они остались при нем, только Огарев утих и загорался медленнее, не веруя более в правоту вдохновенных вспышек и внезапных движений сердца. Место их заступила теперь какая-то печальная вдумчивость в явления жизни и ожидание поучений и откровений только от страдающих умов, от болеющих сердец, в присутствии которых он всегда и оживлялся. Он сделался по плечу каждому человеку, как самому простому, так и самому развитому, потому что одинаково верно понимал их духовные нужды и входил в цепь их мыслей и представлений. Вместе с тем он приобрел редкое хладнокровие суждения, не покидавшее его уже во всю остальную жизнь: всякий факт и случай, являвшийся в свою очередь как логическое следствие целого предшествующего жизненного процесса, признавался им законным, получал его согласие и поддержку, хотя бы сам по себе не имел претензии на очевидный моральный характер и способен был бы даже возбуждать к себе неприязнь и осуждение. Ту же самую мерку прилагал он и к себе лично. Совершенно ясно и спокойно смотрел он на приближение старости, на умножающиеся припадки злой своей болезни, на грозящее ему разорение, на всю свою потерянную, ис-

порченную жизнь – и ни о чем не сожалел, ни в чем не раскаивался. И о чем было жалеть? Общие, горячие симпатии встречали его всюду, где он ни являлся за все время его последнего пребывания в России. В семействе Герцена и Тучковых образовалось даже нечто вроде *огаревского культа* за дар, которым отличался герой его открывать в самых глубоких тайниках человеческого сердца скрытные желания, влечения и помыслы, поощрять их и выводить на свет, к жизни и свободе. Само божество и не подозревало о существовании такого культа и часто погибало, вдали от воздвигнутых ему алтарей, в какой-либо трущобе материальной и духовной нищеты, к ужасу и негодованию своих поклонников. Но тревоги и опасения их были напрасны: по изяществу нравственной своей природы Огарев выходил чистым из всех положений; он не мог уже замараться ни в какой грязи, и брызги мутных житейских волн стекали с него, не оставляя никаких следов. Здесь мы покидаем его, потому что дальнейшая жизнь и деятельность его сперва дома, а потом за границей с 1856 года не входят в план этого этюда, но расстаться с ним мы не можем, не сообщив одного замечательного его письма, где с редкою ясностью и убедительностью он передает идею, которая всегда лежала в основе его существования, а теперь, к концу изображаемого нами периода, сделалась преобладающею и составила неотъемлемую часть его физиономии. Письмо его (без означения года) писано, по всем признакам, позднее семейной катастрофы:

«Франкфурт-на-Майне. 15 февраля. Ты говоришь, что для истины не нужно скорби. Как ты врешь, барон! * Как ты говоришь против себя! И что тебе за радость уверять себя, что ты чрезвычайно спокоен, счастлив и доволен — и примирен, когда очень хорошо знаешь, что лжешь, и что ты внутренно страдаешь! Страдаешь уже тем, что истину, которую носишь в себе, не можешь напечатлеть вокруг себя, и что сам не можешь жить адекватно истине, которую в себе носишь. Это еще очень немного, что ты понял истину и стал очень доволен. Теория весьма мало удовлетворяет и, не переходя в кровь и плоть, то есть в практику, в твою личную

---

* Шуточное название лица, к которому адресовано письмо и которое нисколько не отличалось баронскими аристократическими наклонностями и вкусами. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

жизнь,— сводится на новую абстракцию, за которую я и копейки не дам. Если негация — путь ума к истине, то скорбь — путь сердца к истине. Кто не шел этим последним путем, тот никуда не придет. Юноша сказал Христу: «Я хочу следовать за Тобою». «Раздай имение нищим,— сказал Христос,— и ступай за Мной». Юноша не роздал имения нищим и не пошел за Христом. Что это значит? Что скорбь об истине была не довольно сильна в его сердце, чтоб решить его на поступок. А если бы скорбь эта была ему невыносима, с какой бы радостью он роздал все и пошел бы за Христом! Как же скорбь не есть путь к истине? Да и зачем тебе истина, если ты не скорбишь во лжи? Кровью сердца покупается истина, барон. Не противоречь, потому что лгать станешь. *Что сделает тот, кто насквозь прочувствует всю скорбь наследного достояния, а не труда? Он пойдет в пролетарии, барон. Замотай это слово себе на память, потому что я не шучу.* А что ж вера без страдания? Что теория без скорби? Что принцип при неадекватности жизни с этим принципом? Пуф, просто puff! Играние своими умственными способностями! Внутренняя ложь или равнодушие! Пустое самолюбие — истина, приобретенная не путем скорби. Склони свою гордую голову, барон, перед великим чувством скорби и уважь в ней толчок, который бросает тебя в мир правды, без расчетов самолюбия, задних мыслей на... Да что тебе говорить об этом? Ты сам знаешь,— только что ты набросил на себя упрямство... Жить в истине — дело другого рода; жить в истине — блаженство! Да ведь мы живем в истине только как теории, то есть не живем в истине, а думаем о ней, знаем, что есть она на свете, чувствуем скорбь, что не можем жить адекватно с ней,— но не всегда довольно чувствуем, и недостаток скорби есть недостаточное проникновение себя истиной. Мораль, братец, мораль! Да,— это слово не puff. Не одна мысль, вся жизнь должна быть в истине. И потому не ругай меня за скорбь. И не думай также, чтоб я мораль смешивал с аскетизмом. Пьетизм мне совершенно чужд. Но я требую от себя поступков, полного чистосердечия с самим собою и с людьми, требую делать свою жизнь «in der Wahrheit» * и решаюсь оторваться ото всего, что меня давит, что есть ложь, от чего я задыхаюсь,— и глубоко уважаю путь к истине посредством скорби... Я не каюсь в прошлом — это не жвачка,

* в истине (*нем.*).

что теперь во мне совершается, но я схватываю минуту рассвета и решаюсь идти в путь при свете дневном, зная, что тогда все пути ясны, сколько ни были бы трудны. Dixi! *[48]

XIV

Пока Огарев, наподобие степной или горной реки, борющейся на каждом шагу с естественными преградами и помехами, еще искал своего русла, Герцен уже с 1842 года твердо шел от успеха к успеху, как в литературной деятельности, так и в деле самообразования и устройства своего внутреннего мира ⟨...⟩

---

* я кончил! (*лат.*)

ДВЕ ЗИМЫ В ПРОВИНЦИИ И ДЕРЕВНЕ

с генваря 1849 по август 1851 года

(Отрывки)

1849 год. По приезде из Парижа в октябре 1848 года [1] состояние Петербурга представляется необычайным: страх правительства перед революцией, террор внутри, предводимый самим страхом, преследование печати, усиление полиции, подозрительность, репрессивные меры без нужды и без границ, оставление только что возникшего крестьянского вопроса в стороне [2], борьба между обскурантизмом и просвещением и ожидание войны [3]. Салтыков уже сидит в крепости за свою повесть [4], пересмотр журналистики и писателей. На сцену выступает Бутурлин с ненавистью к слову, мысли и свободе, проповедью безграничного послушания, молчания, дисциплины [5]. Необычайные теории воспитания закладывают первые камни для тяжелого извращения умов, характеров и натур.

Я спешу с братом Федором в деревню, куда призывает меня страшно расстроенное положение дел и предполагаемый раздел имения с братом Александром, главным виновником этого положения. ⟨...⟩ Я рад убежать из Петербурга.

Новый год 1849 в деревне с Катериною Ивановною, Стрекаловым [6], братьями. Раздел. Страшные морозы. Набор только что кончился. Брат Федор уезжает после того. Иван вскоре за ним из Чиркова с Катериной Ивановной, которой предоставлено управление имением. ⟨...⟩ Александр остается в Чиркове до переезда в Скрябино, где будет строить дом. Я уезжаю в Симбирск до весны. ⟨...⟩ Терроризация достигла и провинции. Города и веси сами указывают, кого хватать из так называемых либералов; доносы развиваются до сумасшествия; общее подозрение всех к каждому и каждого ко всем. ⟨...⟩ Между тем у лихоимцев, казнокрадов и наиболее грубых помещиков развивается патриотизм — ненависть к

французам и Европе: «Мы их шапками закидаем!» — и родомонтада *, скрывающая плохо радость, что все досадные вопросы о крепостничестве и проч. теперь похоронены. Отсюда и энтузиастическое настроение относительно правительства. Возникает царство грабежа и благонамеренности в размерах еще не бывалых. Я получаю эстафету из Москвы. Тучков А. А. приглашает меня приехать в Москву для крайне нужного дела. Это дело — устройство состояния Огарева, за которое взялись Грановский, Кетчер и другие. К числу этого устройства принадлежало и то, чтобы одну дочь Тучкова выдать в законный брак [7]... Выбор пал на меня. Я отказался. Подвернулся Сатин: его женили. Все это происходило при крайнем негодовании Грановского [8]. 〈...〉

Зима 1849—1850 годов. Осень прошлого кончающегося года ознаменовалась наконец окончанием следствия над заговором Петрашевского, стоившим так много несчастий и страхов всему обществу, совершенно безвинному в нем. 〈...〉 Приговор был исполнен — с готовым батальоном для расстреляния, саванами для осужденных, рвом позади их и проч. на Семеновском плацу,— со всею обстановкой политической казни, измененною на известное помилование. Ф. Достоевский попал на пять лет в арестантские роты за распространение письма Белинского к Гоголю, писанного при мне в Зальцбрунне в 1847 году. Как нравственный участник, не донесший правительству о нем, я мог бы тоже попасть в арестантские роты. Приговор состоялся под ужасом февральской революции [9], с которой начинается царство мрака в России, все увеличивавшееся до 1855 года [10]. 〈...〉

Около этого же времени привезли в Петербург А. А. Тучкова, Н. Пл. Огарева, Н. М. Сатина, обвиняемых в коммунизме денежном и матримониальном и либерализме [11], а также... Илью Селиванова, по доносу пензенского губернатора тоже о его свободомыслии. О боже! Первые трое умели заговорить своих следователей Третьего отделения, а последний, оробевший сильно, не подымал даже глаз на своих судей. В таком виде предстали они перед начальником Третьего отделения, графом Орловым. Сей весьма прозорливый муж, отпуская их «под присмотр полиции», так как никакого действительного проступка не оказалось за ними, произнес, обращаясь к трем первым: «Вот вы, господа,

---

* фанфаронство, хвастовство (от *фр.:* rodomontade).

можете смотреть мне прямо в глаза, потому что чистосердечно высказывали свои убеждения, а вот про вас, господин Селиванов, того сказать не могу: совесть в вас, должно быть, нечиста, и прямо смотреть вы не можете» *.

Трудно себе представить, как тогда жили люди. Люди жили, словно притаившись. На улицах и повсюду царствовала полиция, официальная и просто любительская, да аппетиты к грабежу, нажитку, обогащению себя через государство и службу развились до неимоверности. ⟨...⟩

Зима 1850—1851 годов в провинции. С началом весны я отправился в деревню и, благодаря крайне печальному состоянию наших дел, пробыл в Чиркове и Симбирске не только лето, но и осень и всю зиму 1850—1851 годов. ⟨...⟩

---

* Надо отдать справедливость императору Николаю: приближенные его, пользовавшиеся минутой, требовали совершенно закрытия университетов, и против этого искушения он устоял, можно сказать, один из всех, так же точно, как он один не поддался соблазну к уничтожению общего образования, которое, по проекту г. П. О., очень хорошо было бы заменить только специальным образованием инженеров, артиллеристов, судей, учителей для низших школ и т. д. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

Н. М. САТИН

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

...Одно воспоминание влечет за собой другое. Говоря о Соколовском, я упомянул, что весь 1837 год я провел на Кавказе: лето на водах, а осень и зиму в Ставрополе. ⟨...⟩

Этой же осенью я лишился моей матери. Кто знает, как она бесконечно много любила меня, поймет, как тяжела была для меня эта потеря. ⟨...⟩

Однажды человек подал Майеру письмо с черной печатью, и хотя он сидел довольно далеко, мне показалось, что на конверте надпись моего брата. Я спросил: «От кого письмо?» Он отвечал, что от одного петербургского знакомого,— встал и вышел в свою комнату. Я видел издали, как он прочел письмо и положил его [в] бювар, который лежал на его столе. Потом он надел фуражку и объявил мне, что едет к Горсткиным,— это был полковник Генерального штаба, добрейший и уже немолодой человек; но жена у него была молоденькая и очень миленькая немка. Мы часто собирались у них за их простым немецким столом и вместе с офицерами Генерального штаба составляли очень веселый и интимный кружок. ⟨...⟩

С искренней благодарностью вспоминаю о том деликатном участии, которое оказали мне тогда, как они двое, так и весь наш маленький кружок.

Остальной конец 1837 и начало 1838 мы провели мирно в этом кружке, собираясь ежедневно или у Горсткина, или у нас. Весна 1838 г. разлучила нас: все военные отправились в обычные экспедиции, а я с Майером [1] поехал в Пятигорск.

Здесь ожидала меня неожиданная и вместе с тем истинно огромная радость. Приехав туда очень рано, когда общество еще не собралось, я жил очень уединенно и виделся только с Майером. Отсутствие знакомых

и болезненное состояние заставляли меня довольно рано ложиться спать.

Однажды в мае я и верный, добрый, но бесконечно глупый камердинер мой, Кузьма, уже покоился сладким сном, когда я услыхал стук в дверь.

Кузьму не легко было поднять с его жесткого ложа, однако после многократных моих требований он встал и отворил. Вдруг слышу радостные возгласы и многократные лобзанья. Не успел еще я сообразить, кто это может быть, как Кузьма с сияющей улыбкой ввел ко мне Василия Михайлова.

Василий Михайлов был давнишний мой знакомец и любимый камердинер Огарева.

Уже и его появлению я обрадовался, как благодати; но когда он объявил мне, что и Николай Платонович с Марьей Львовной тоже находятся в Пятигорске и с нетерпением ждут меня,— я не знаю, что со мною сталось.

С того времени прошло более 28 лет, в течение которых я имел другие минуты счастья; но выше той радости, которую я ощутил тогда, не было в моей жизни!

Четыре года тому [назад] [2] я расстался со всеми моими друзьями в присутствии следственной комиссии, объявившей нам сентенцию и разославшей нас по разным местам России. С тех пор я никого не видал из них, и самая переписка была почти невозможна, и случалась только раз или два в год по случаю какой-нибудь верной оказии. И вот теперь представляется случай пробыть с Огаревым два-три месяца, познакомиться с его женой, которая, вероятно, так же симпатична, как и он, и делает его счастливым. Одного этого уже было достаточно для того, чтобы ощутить великую радость. Но надо знать, что был для меня Огарев. Симпатичнее личности я не знал и не знаю. Я глубоко люблю всех моих немногих друзей; но Огарева я любил с такою нежностью, к которой только способна женская любовь! [3]

И с ним-то мне предстояло первое и продолжительное свидание! Несмотря на болезнь, хромоту и позднее время ночи, разумеется, я поспешил одеться. Василий и Кузьма взяли меня под руки и довели до квартиры Огарева.

Более симпатичного свидания невозможно себе представить: мы оба плакали навзрыд, обнимая друг друга. Но, признаюсь, жена его произвела на меня охлаждающее впечатление. Обнявши Огарева, я бросился к ней со всею братскою любовью и хотя в первый раз видел ее, но

прижал ее к моему сердцу почти так же крепко, как и Огарева. Она как будто испугалась этого движения и с первого разу сказала моему сердцу, что не понимает тех братских отношений, которые существовали между мною и Огаревым и которых я желал с нею, как с подругою жизни Огарева.

Впрочем, мы сохранили с ней самые дружеские отношения до самой ее смерти, последовавшей в 1853 или 54 г. [4], несмотря на правду, которую я позволил себе говорить ей.

Она была умная и добрая женщина. Но сперва она была сбита с пути воспитанием, а потом окончательно добита чересчур либеральным направлением мужа.

От природы умная, она не получила достаточного воспитания, по семейству бедная,— она была родной племянницей пензенского губернатора Панчулидзева и, следовательно, играла некоторую роль в Пензе. Огарев, сосланный в Пензу очень молодым [человеком] (21 год) и считавшийся самым богатым женихом,— увлекся ею; с той стороны, разумеется, не были упускаемы разные ловушки, которые не остались без успеха. Наконец они женились! Но симпатии не было ни малейшей: один требовал семейной и ученой жизни, другая требовала светских развлечений; из любви и снисходительности он покорялся, но был странен и не ловок в обществе; естественно, самолюбие его страдало, не говоря уже о том, что он не был в своей сфере. Еще можно было бы удержать молодую женщину, но Огарев по своей добросовестности поддерживал ее в ее фальшивом направлении. Тогда были в ходу романы Жорж Занд; почти [все], что было образованного, восхищалось ими: вывести женщину из векового рабства и поставить ее наряду с мужчиной,— чего же лучше, чего благородней? Мария Львовна увлеклась этими романами, и Огарев ее поддерживал со всею своею добросовестностью ⟨...⟩

В. К. ВЛАЗНЕВ

К БИОГРАФИИ Н. П. ОГАРЕВА

Мое родное село — Верхний Белоомут, Зарайского уезда, которое до 1846 года принадлежало помещику Николаю Платоновичу Огареву.

В начале 1846 г. мне было семь лет, и я сохранил с того времени в памяти следующий факт. Мой батюшка пришел со схода печальным и начал моей матери говорить приблизительно следующее: «Мать, барин-то наш теперь уж совсем отпустил нас на волю. На сходке читали об этом бумагу, что пришла из губернии. Приказано обществу выбрать старшину; для этого приедет чиновник, а бурмистр отменяется» [1].

Когда, живя в Москве, полюбил я читать книги и газеты, мне пришлось между прочим узнать, что по высочайшему повелению, данному русскому послу в Лондоне, барону Бруннову, выходцам из России, Александру Ивановичу Герцену и Николаю Платоновичу Огареву, предоставляется полная свобода к возвращению в свое отечество. Вскоре после этого вышли небольшие брошюрки стихотворений Н. П. Огарева, которые я читал.

Все это, вместе взятое, очень меня заинтересовало, и я, будучи 20 лет, просил своего батюшку рассказать о том, как они жили при Николае Платоновиче во время крепостного права и как состоялось увольнение нашего общества крестьян в вольные хлебопашцы [2]. К сведениям, данным мне отцом моим, я прибавил еще материал, собранный мною тоже от современников, стариков села Белоомута. Эти сведения дали следующее.

В 1839 году Н. П. Огарев, приехав в Белоомут [3], приказал бывшему бурмистру П. И. Ракитину собрать крестьян на сходку. Сходка была поголовная, на открытом месте, причем собралось много женщин.

Явившись на сходку, Николай Платонович, после

обычного здравствования с крестьянами и поклона, сказал приблизительно следующее: «Добрые люди! Я собрал вас сюда для очень важного дела, касающегося и меня, и вас. До вас, православные, оно касается тем что предоставляет вам более блага в трудовой вашей жизни, а для меня — тем, что я обязан исполнить христианский долг. Я положил за непременную обязанность отпустить вас на волю, в свободные хлебопашцы. За это потребую от вас я суммы необременительной; а вам отдам всю землю с лесом и всеми лугами».

Только что Николай Платонович сказал это, как все крестьяне, около 700 человек, упали на колена; многие из них заплакали и начали креститься, а оправившись от волнения, крестьяне закричали: «Не желаем, батюшка-барин, никакой мы воли, освобожденья! Нам всего лучше жить за тобою. Не кидай нас! Без тебя мы пропадем, всякий нас обидит. У нас при тебе, барин, и при твоем покойном батюшке никакой неволи не было, и мы ее не знаем; не знали неволи и отцы и деды наши при прежних господах» *.

Крестьяне продолжали стоять на коленях и все повторяли, что никакой воли им не надо: они ее имеют, потому что не знают барщины, а всяк работает на себя с семьею да неотяготительный оброк платит барину.

После неоднократного повторения со стороны Николая Платоновича, чтобы крестьяне встали, последние, наконец, поднялись.

Николай Платонович велел выслушать его речь и хорошенько обдумать и понять крестьянам свое настоящее и будущее положение.

— Вы, православные,— начал с приветной улыбкой говорить Николай Платонович,— не вполне разумеете свое положение, а потому и отказываетесь от своего освобождения. Положим, теперь вы живете без особого стеснения с моей стороны, но я умру, тогда попадете вы к другому владельцу, который может завести у вас другие, нежелательные порядки. Это вам покажется обидным, и вы будете клясть меня и моих наследников.

---

* В 1762 г. императрица Екатерина II крестьян села Верхнего Белоомута подарила гвардейскому офицеру Михаилу Егоровичу Баскакову, от которого, после [его] смерти, крестьяне достались его брату, сенатскому экзекутору Ивану Егоровичу Баскакову; дочь И. Е. Баскакова, Елизавета, была выдана замуж за отца Николая Платоновича, Платона Богдановича Огарева. Благодаря этому и крестьяне села В. Белоомута перешли во владение Огаревых. (*Примеч. В. К. Влазнева.)*

При словах «я умру» крестьяне заплакали и прервали речь Николая Платоновича возгласами:

— Подай, господи, вам, барин, многих лет! живи, родимый, для нас!..

За эти пожелания Николай Платонович, кланяясь, благодарил крестьян и на прощанье им сказал:

— Обдумайте мое предложение и завтра выберите для себя поверенного, да приезжайте ко мне в Москву. Там оформим мы в добрый час наше святое дело: напишем договор для нашего общего блага.

После этого был составлен предварительный проект освобождения здешних крестьян, но он не получил надлежащего хода, а потому был составлен другой проект, который высочайше утвержден в 1846 г., января в 30 день. Копия с этих документов хранится у меня.

Ко времени освобождения белоомутских крестьян относится еще одно событие, записанное мною лет 40 тому назад со слов современников этого события.

В то время, именно в 1839 году, когда Николай Платонович решительно, бесповоротно объявил на сходе об отпуске белоомутских крестьян на волю со всеми значившимися при селе угодиями, прекрасным сосновым лесом и поемными приокскими лугами, всего в количестве 8127 дес., каковую христианскую милость многие крестьяне приняли, однако, неохотно,— в то время бывший бурмистр из крестьян села Белоомута, П. И. Ракитин, с некоторыми богатыми односельчанами задумали этим обстоятельством воспользоваться для своих личных корыстных видов и в большой вред для остальных крестьян, составлявших собою целое общество.

Ракитин со своими единомышленниками, в числе одиннадцати человек, составлявшими вместе с семьями 42 ревизских души, поехал в Москву к Николаю Платоновичу и объявил ему о полном несогласии крестьян выйти на волю. При этом бурмистр и его товарищи заявили Николаю Платоновичу о своем желании получить свободу с поемным зареченским лугом, составлявшим третью часть всего луга, принадлежащего селу Белоомуту. За уступку луга и освобождение ходатаи предложили тотчас уплатить Николаю Платоновичу 50 тысяч рублей серебром. Сумма же, объявленная Николаем Платоновичем обществу белоомутских крестьян за все угодия и увольнение, составляла 142857 рублей серебром.

Между тем в обществе образовалась сильная партия,

недовольная действиями бурмистра и его товарищей. Назначены были обществом доверенные лица для выяснения Николаю Платоновичу истинного положения дела. Передав всю суть недобросовестных действий бурмистра и его товарищей, уполномоченные общества представили немалую сумму, собранную ими между богатыми крестьянами за предоставляемое всему обществу освобождение со всеми угодьями. Остальной платеж выкупа был устроен при посредстве залога крестьян в московском опекунском совете, каковой платеж ограничен был 40-летним сроком. Погашен был этот платеж обществом крестьян много ранее срока.

Приезду доверенных от общества Николай Платонович был очень рад и высказал им, что он «ни под каким видом и ни за какие деньги никому не продаст пяди земли, принадлежащей потомственно крестьянскому обществу, и которой хозяином и личным работником состоит целое крестьянское общество». «На этом основании (так передавали мне слова Николая Платоновича современники события) я с неприятностью отказал Ракитину и другим, с ним у меня бывшим, которые просили, чтоб я отпустил их на волю с зареченскими лугами. Я предложил им отдельный от общества увольнительный выход получить без угожей земли, кроме дворовой». По просьбе доверенных, бурмистр Ракитин был удален от должности, а на его место назначен один из доверенных общества — С. И. Шлыгин; назначение это было сделано по просьбе общества.

В бытность свою крепостными крестьяне Белоомута жили хорошо, вели большую торговлю пшеницею, рогатым скотом, содержали трактиры и винную торговлю. Некоторым хозяйственным крестьянам Николай Платонович давал заимообразно денег на торговлю и для покупки рекрутских квитанций.

По отношению к самому себе Николай Платонович запрещал крестьянам кланяться в ноги и стоять перед ним без шапки.

Память о Николае Платоновиче живет в Белоомуте до сих пор. Во-первых, с его именем связано наименование придельного престола в кладбищенской церкви во имя святого Николая. Во-вторых, по случаю кончины Николая Платоновича, последовавшей в Англии, в Гринвиче, 31 мая 1877 г., верхнебелоомутским обществом крестьян составлен приговор, в котором вспоминаются покойного благодеяния, оказанные здешним крестья-

янам, и постановлено каждогодно, в день его кончины, творить общественную панихиду. В-третьих, имя Николая Платоновича и его родителей определено на вечное поминовение в церкви и, в-четвертых, по ходатайству белоомутского общества крестьян, подлежащею властью разрешено иметь в с. Белоомуте библиотеку имени Н. П. Огарева; разрешение состоялось в прошлом 1900 году, и общество на первый раз отпустило на библиотеку 40 р.

С портрета Николая Платоновича, полученного мною от Н. М. Мендельсона, по желанию местного общества переснято две больших поясных фотографии, — одна для волостного правления, другая для библиотеки.

У белоомутского общества имеются еще два портрета Николая Платоновича: оба присланы в прошлом году, — один супругою Николая Платоновича, Натальею Алексеевною, которая письмом благодарила крестьян Белоомута за добрую память об ее муже, другой получен от графини Зубовой [4], дочери сестры Николая Платоновича, Анны Платоновны. Как Н. А. Огареву, так и графиню Зубову общество благодарило письменно за внимание.

В архиве белоомутского волостного правления, кроме копии с увольнительного акта, хранится несколько писем Николая Платоновича, из которых привожу два, адресованных к бывшим старшинам.

1. Данила Семенович! Деньги пятьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят три рубля 81 коп. серебром, выданные мне при перелоге крестьян Белоомутских в счет следующей мне выкупной суммы, я получил, и затем остается крестьянам доплатить мне, за выключением 5845 р. асс., на серебро 13071 р. 43 к.; с означенной суммы, которую крестьяне мне остаются должны, процентов я никаких не требую, а прошу только внести мне в продолжение первого полугодия наступающего 1848 г. три тысячи рублей серебром; на остальную же сумму расположить платеж так, как крестьяне найдут для себя удобным, лишь бы деньги были заплачены мне к сроку, означенному в условии, при освобождении крестьян между ними и мной заключенному.

Искренне желаю, чтобы и с наступающим новым годом в селе Белоомуте более и более водворялись порядок и трудолюбие, и крестьяне действительно бы умели уважать свою свободу и пользоваться ею. Прошу все сие объявить крестьянам.

1847 года, декабря 23 дня, Москва. *Николай Огарев.*

2. Герасим Трофимович! Поздравляю вас с новою должностью и искренно желаю, чтобы управление Ваше Белоомутским обществом было для него так же полезно, как управление Вашего предшественника, Данилы Семеновича. Деньги, посланные Данилою Семеновичем в уплату следующих мне денег, тысяча пятьсот руб. серебром, по отъезде моем в С.-Петербург, получены в Акшене моим управляющим, в чем и прилагаю сие удостоверение. По бытности моей в Петербурге, если обществу Белоомутскому что нужно, я могу хлопотать, а потому напишите мне, адресуя: в С-Петербург, на Невском проспекте, в доме Ликишина, в контору Языкова и К°, для передачи Н. П. Огареву. Прошу поклониться от меня и пожелать всех благ крестьянам с. Белоомута.

С.-Петербург, 14 марта 1849 г. *Николай Огарев* ⟨...⟩

Вот копия с приговора верхне-белоомутского общества крестьян по случаю кончины Н. П. Огарева.

«1877 года, июля 26 дня, мы, нижеподписавшиеся, Рязанской губернии, Зарайского уезда, Верхне-Белоомутской волости, села Верхнего Белоомута I-го общества государственные крестьяне, бывшие по крепостному праву помещика Николая Платоновича Огарева, быв собраны на сельский сход, на коем, между прочим, нам объявлено о смерти бывшего нашего помещика Н. П. Огарева, скончавшегося в Англии, в Гринвиче, 31 мая сего года, на 64 году от рождения, почему мы, принимая во внимание все оказанные им нашему обществу неизгладимые из памяти благодеяния как в бытность крепостного права, так и при отпуске на волю в свободные хлебопашцы в количестве 1820 душ, со всеми угодиями, состоящими при нашем селе, за соразмерную без отягощения нас сумму, единогласно постановили: дабы почтить память нашего незабвенного и любимого нами бывшего помещика Н. П. Огарева, с сего 1877 года учредить отныне и на все времена: в день смерти его, 31 мая, каждогодно в воскресный день, ближайший к этому числу, творить об упокоении души его и родителей его поминовение в церкви через священнослужителей службою соборной панихиды, и кроме того, ежедневно иметь поминовение души его с родителями; расход на это производить из общественных сумм. Приговор этот записать в волостную книгу и хранить и исполнять его свято, в чем и подписуемся». Следуют подписи ⟨...⟩

И. А. САЛОВ

УМЧАВШИЕСЯ ГОДЫ

(Из моих воспоминаний)

По словам покойной матери, не доверять которым нет оснований, родился я 6 апреля 1834 года в городе Пензе, на Московской улице, в доме Ильи Алексеевича Очкина. ⟨...⟩

Детство провел я в родовом имении своего отца Пензенской губернии, Инсарского уезда, в селе Никольском, Ожга тож. Имение в смысле доходности не отличалось, так как состояло из песчаного грунта, дававшего плохие урожаи. Когда-то у отца был винокуренный завод, но завода этого я уже не застал, а помню только его печальные развалины. Итак, в хозяйственном отношении село Никольское было незавидное, но за то оно отличалось красивыми местоположениями, которые до сих пор ясно рисуются в моей памяти. Господский дом с мезонином и двумя балконами — верхним и нижним — помещался как раз на берегу огромного пруда и отделялся от последнего небольшим садом. Пруд, поросший местами густыми камышами, изобиловал и рыбой, и всевозможной дичью, и на этом-то пруду, будучи юношей, я пристрастился к охоте. Спишь, бывало, на верхнем балконе и слышишь кряканье диких уток, крики чибисов и свист всевозможных куликов... А чуть займется заря, уж я бежал с ружьем в руках на берег пруда и начинал охоту. Окрестности села Никольского были тоже очень живописны, в особенности мне нравился пруд, разделявший нашу усадьбу от чугунолитейного завода господина Манухина. Пруд этот тянулся версты на четыре и со всех сторон был окружен сосновым лесом. ⟨...⟩

Соседей у нас было мало. Самым ближайшим был Манухин, к которому мы ездили очень часто, и затем Платон Богданович Огарев, отец известного поэта Николая Платоновича Огарева. Старика Огарева я не помню, но сына его помню отлично, так как часто встречался

с ним в селе Яхонтове в доме моего опекуна Алексея Алексеевича Тучкова, на дочери которого, Наталии Алексеевне, поэт Огарев впоследствии женился. Но встречался я с ним недолго, так как он навсегда оставил Россию. Будучи ребенком, я, конечно, не мог достаточно оценить Огарева, как поэта, но все-таки почему-то чувствовал к нему симпатию, несмотря даже на то, что отзывы о нем были крайне для него неблагоприятные: его осуждали, что он занимается такими пустяками, как сочинять стишонки, что это совсем не дворянское дело и что лучше было бы, если б он, вместо этих стихов, занялся своим имением. Имение это называлось село Акшено, и когда нам с матерью случалось проезжать мимо, мы почему-то всегда останавливались в господском доме, в котором никого из господ не жило. Это была старинная барская усадьба, тонувшая в густой тени старинного парка. Я отлично помню огромный зал с хорами, на которых когда-то гремел крепостной оркестр музыки, и тот громадный парк, в котором когда-то молодой Огарев писал свои стихи. В конце парка протекала река [1], и вот про эту-то самую реку поэт писал когда-то:

А там, на берегу реки,
Где цвел тогда шиповник алый,
Одни простые рыбаки
Ходили в лодке обветшалой...

И все, что было там говорено
И сколько пережито,
Осталось для людей сокрыто
И навек погребено [2].

После, когда я настолько вырос, что стал понимать прелесть поэзии, я, бывая в Акшене, всегда убегал на эту реку, садился на берег и как будто переживал то же, что переживал когда-то сам Огарев.

Несколько лет после этого село Акшено, помнится мне, перешло во владение Николая Михайловича Сатина, известного переводчика Шекспира [3]. Огарев и Сатин были женаты на родных сестрах Тучковых: жену Сатина звали Елена Алексеевна, а жену Огарева — Наталья Алексеевна.

Сатина я помню тоже очень хорошо. Это был видный и красивый мужчина: высокого роста, с длинными волосами на голове, бледно-матовым лицом и изящной бородкой. 〈...〉

В трех верстах от Никольского был так называемый Акшенский винокуренный завод, принадлежавший Огареву [4]. Сатин часто бывал на этом заводе, и вот там-то я и встречался с ним. Приезжал он туда, конечно, по хозяйству, так как Огарева уже в России не было, но это

нисколько не мешало Сатину заниматься переводами Шекспира, и, помнится мне, он как раз в это время переводил «*Бурю*».

Сатин так же, как и Огарев, не пользовался расположением тогдашнего общества, и про обоих про них отзывы были самые неблаговидные: их осуждали и за писание стихов, и за переводы, и за бороды, носить которые в то время было запрещено. ⟨...⟩

Огарев уже давно не жил в деревне, а потому мы и останавливались в совершенно пустом доме. Помню я большой зал в этом доме, в два света и с хорами, балкон, выходивший прямо в густой парк, заброшенный, запущенный и поросший крапивой и лопушником. ⟨...⟩ Помню, что к нам всегда являлся приказчик Огарева, из крепостных дворовых людей, являлся всегда тщательно одетый, с каким-то вычурным жабо на груди, и, остановясь у притолоки, начинал докладывать матери, где именно находится теперь Николай Платонович. Тогда Огарев, кажется, был в Италии, где проживала его первая жена. ⟨...⟩ Из Акшена мы попадали уже прямо домой. Весь этот переезд мы с братом совершали уже стоя на ногах и не спуская глаз с той родной дали, к которой стремились и душой, и телом. Вот проехали мы большое мордовское село Черизмергу, вот въехали в лес, отделявший это село от деревни Хитровки, а вот направо, несколько в стороне от дороги, возвышается и винокуренный завод Огарева... Боже мой, нам остается только четыре версты!.. Мы весело прыгаем, хлопаем в ладоши и поминутно обращаемся к кучеру с просьбой гнать лошадей ⟨...⟩ Вот, наконец, и усадьба ⟨...⟩

О, родные места!.. О, родные люди!.. Но людей тех давно уже нет на свете, а родные места... Но мне не видать их более ⟨...⟩

Т. П. ПАССЕК

ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ. ВОСПОМИНАНИЯ

(Отрывки)

Том первый

ИЗ ГЛАВЫ 24.
ТОВАРИЩЕСКИЙ КРУГ. 1832—1833

Всех там влечет незримое влиянье
От смеха резвого к возвышенным мечтам [1]

Дня через три после нашего венчанья [2] Вадим сообща с товарищами устроил вечер. Кроме молодых людей нашего круга, были на этом вечере: Луиза Ивановна с Егором Ивановичем и его сослуживцем О. Т. Водо, жена Лахтина, две коротко знакомые матушке дамы с дочерьми и тайно отпущенные из-под ареста Антонович с Оболенским.

Бахтурин распоряжался освещением, музыкой и танцами. Ник явился с ящиком шампанского и корзиною бокалов, Сатин и Александр — с конфектами. Вечер вышел блестящ и оригинален. На всем лежала печать свежести, юности и свободы. Все были как сами у себя.

Когда вечер окончился, молодые люди отправились в отдаленную комнату допраздновать. Спустя полчаса Вадим вызвал меня из гостиной и, взявши за руку, ввел в круг своих товарищей. Меня встретили громом поздравлений, с бокалами шампанского в руках ⟨...⟩

В феврале Вадиму было необходимо ехать в Харьков для окончательного раздела имений, он и уехал, как ни тяжело было оставлять меня больную. ⟨...⟩

Вадим кончил раздел и в двадцатых числах мая возвратился в Москву.

«Альманах» [3] был составлен хорошо, хорошо переписан,— но цензура так много изменила, что он остался неизданным. ⟨...⟩

Некоторые строгости в университете (относительно кружка Сунгурова с товарищами) не были сторожевым криком; напротив, как бы подзадорили их. Они еще чаще стали сбираться то у того из них, то у другого и чертили планы своей деятельности, а так как при сходстве понятий не могло не быть различия в способностях и наклонностях, то, соответственно призванию, избирались

поприща, на которых трудясь могли бы достигать такого общественного положения, занимая которое имели бы возможность благотворно влиять на нравственное и умственное положение России.

Науку они соединяли с жизненными интересами, но не как средство для выгод и блеска жизни,— все, что читалось, слышалось, говорилось, возбуждало в них чувство нравственного достоинства. Из экзальтации этих чувств рождались их убеждения и поступки, конечно, слишком юные, пылкие и неопытные, но которые становились исходной точкой будущности каждого.

Ник, поэт по призванию, писал Саше из деревни:

«7 июня 1833 г.

Я решительно так полон, можно сказать, задавлен ощущениями и мыслями, что мне кажется, мало того — кажется, мне врезалось в мысль, что мое призвание быть поэтом, стихотворцем, музыкантом» [4].

Он стал пробовать свою лиру, и вот как в 1841 году вспоминает о минуте, в которую пробудилось в нем вдохновение.

Камин погас, в окно луна
Мне смотрит бледно. В отдаленье
Собака лает — тишина.
Потом забытые виденья
Встают в душе — она полна
Давно угасшего стремленья,
И тихо возникают в ней
Все ощущенья прежних дней.
В такую ж ночь я при луне
Впервые жизнь узнал душою,
И пробудилась мысль во мне,
Проснулось чувство молодое,
И робкий стих я в тишине
Чертил тревожною рукою.
О боже! в этот чудный миг
Что есть святого — я постиг [5].

Вадим избрал литературу и кафедру [6]. Он стал изучать историю вообще, отечественную по преимуществу, писал диссертацию на кафедру истории и «Путевые записки» [7]. В «Путевых записках» видно, что это плод юноши писателя, которым он хотел высказать всего себя, свое направление, свои чувства, свои мысли, знания, мечты. В них уже просвечивал будущий издатель «Очерков России» [8].

Впоследствии часть молодых людей этого кружка и присоединившихся к ним из кружка Станкевича при-

мкнули к Белинскому. Некоторые из них имели большое влияние на развитие и деятельность самого Белинского. Таким образом, выдвинулся целый ряд деятелей. Влияние их проявлялось во всех слоях общества, образовало в нем как бы одну семью, члены которой делили между собой, как они выражались, «дело обновления отживающих форм жизни». Новый дух стал воплощаться везде: в литературе, в науке, в семейной жизни, в служебной деятельности — и на все клал печать свою. ⟨...⟩

Сверх всего на серьезных молодых людей того времени электрически действовал автор фантастических сказок Гофман, необыкновенно художественным пониманием цели и задачи искусства. Это имело благотворное влияние на развитие нашей критики и было источником обилия идей, которыми она высказалась. ⟨...⟩

ГЛАВА 25
ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ. 1833

Простор и воля, и оргия,
Вино струится — тайны нет,
И торжествует симпатия... [1]

Юношеский круг товарищей Вадима продолжал собираться то у него, то у Ника. Наружно как будто ничто не изменилось в них; но подчас голос сомнений начинал проникать в их прежние верования. Они достигали до важного переворота. Рождалось отрицание прежних убеждений, новые еще не являлись с прежнею силой. Вновь почерпнутые религиозные мысли и идеи сенсимонизма, не прояснившись, увеличивали беспорядок в голове; хотелось достигнуть истины, все отнести к одному знаменателю и вывести из него profession de foi *; какой-то страх сжимал душу. Доля павших убеждений показывала возможность падения остальных, а в них-то и бился пульс жизни. Прежде бывшие сомнения подстрекали к работе, настоящие мучили, заставляли бросать работу. Они проникали в самые веселые минуты их жизни, но это не мешало им временами увлекаться юношескими оргиями и с шумным весельем оканчивать этот период жизни.

В эту-то эпоху они бешено веселились, как будто чувствуя скорую перемену, как бы зная, что не возвра-

* исповедание веры (*фр.*).

тится больше этот праздник дружбы, и — несмотря на возникавшие сомнения — были счастливы.

В последних числах мая 1833 года один товарищеский вечер завершил этот отдел их юности. Быть может, он продлился бы еще несколько времени — так они были еще молоды,— но судьба взяла на себя его закончить, и закончила рукою тяжелой.

Из заметок, найденных в бумагах покойного моего мужа, я имею сведения об этом вечере. Вот эти заметки [2].

«Раз, в последних числах мая 1833 года, в нижнем этаже большого дома на Никитской [3] сильно бушевала молодежь. Оргия была в полном разгаре, во всем блеске. Вино, как паяльная трубка, раздувало в длинную струю пламени воображение. Идеи, анекдоты, лирические восторги, карикатуры крутились, вертелись в быстром вальсе, неслись сумасшедшим галопом. Все стояли на демаркационной линии, отделяющей трезвого человека от пьяного; никто не переступал ее. Все шумели, разговаривали, смеялись, курили, пили, все безотчетно отдавались настоящему, все истинно веселились. Лучший стенограф не записал бы ни единого слова.

Среди вакханалии бывает торжественная минута устали и тишины; она умолкает для того, чтобы бурей и ураганом явиться по ту сторону демаркационной линии. Вот эта-то минута и настала.

Огромная чаша пылала бледно-лазоревым огнем, придавая юношам вид заклинателей. Клико подливало силу в жженку и кровь в щеки молодых людей. Шумная масса разбилась на части и расположилась на биваках.

Вот высокий молодой человек, с лицом последнего могикана; он сел на маленький стол (Парки тотчас же подломили ножки жизни этого стола); стенторский [4] голос его, как Нил при втечении в Средиземное море, далеко вдается в общий гул, не потеряв своей самобытности. Это упсальский барон [5], он живет в двух шагах от природы, в Преображенском. Там у него есть сад и домик, у которого дверь не имеет замка.

В этом доме барон прячется и вдруг, как минотавр или татары, набегает на Москву, неотразимый и нежданный, обирает книги и тетради и исчезает. Он похож и на bon homme Patience * Жорж Санда, и на самого Карла Санда [6], ежели хотите, а всего более на террориста. Он как-то гильотинно умеет двигать бровями. Барон

* дядюшку Пасьянса (*фр.*).

начал свою жизнь переводами Шиллера и кончил переводом на жизнь одного из лиц, которые Шиллер так любил набрасывать, в которых нет ни одного эгоистического желания, ни одной черной мысли, но которых сердце бьется для всего человечества и для всего благородного и которые никогда не выйдут из своей односторонности, как exempli gratia * Менцель. Он с четвероногой трибуны что-то повествует, с наивной мимикой обеих рук и, по очереди, одной ноги. Два неустрашимые человека подвергают жизнь свою опасности, слушая барона в атмосфере его декламации, беспрерывно рассекаемой рукою и ногою и молнией зажженной сигары. У вас, может, слабы нервы — отвернитесь от этой картины.

Видите ли у камина худощавого молодого человека **, белокурого, несколько бледного, в вицмундирной форме, с неумолимой речью,— это магистр математического отделения, представитель материализма XVIII века, столько же неподвижный на своем коньке, как и барон на своем. Он держит за пуговицу молодого человека *** с опухшими глазами и выразительным лицом. Магистр в коротких словах продолжает спор, начавшийся у них года за два, о Бэконе и эмпирии. Молодой человек, прикованный к этому Кавказу, испещренному зодиаками, одно из тех эксцентрических существований, которые были бы исполнены веры, если бы их век имел верования; неспокойный демон, обитающий в их душе, ломает их и сильно клеймит печатью оригинальности. Он больше образами, яркими сравнениями отражал магистра.

— Направление, которое начинает проявляться,— говорил он,— вспять не пойдет, материализм сделал свое и умер. Вандомская колонна — его надгробный памятник [7]. Германские идеи, проникающие во Францию...

Магистр не слушал студента, даже закрывал глаза, чтобы и не видать его, и продолжал со всем хладнокровием математика, читающего лекцию о мнимых корнях, и со всею ясностию геометрического анализа, употребляя одни, законом определенные формы доказательства a contrario, per inductionem, a prinsipio Causae sufficientis ****.

---

* например (*лат.*).

** Алексей Николаевич Савич. (*Примеч. Т. П. Пассек.*)

*** Н. Сазонов. (*Примеч. Т. П. Пассек.*)

**** от противного, путем наведения, по принципу достаточного основания (латинские термины формальной логики).

— Итак, приняв это положение, следует вопрос, которое состояние наук выше, которое дало более приложений и принесло положительнее пользу? Разрешив его, мы естественно перейдем к главному вопросу, от которого зависит окончательное решение всего спора...

С тех пор магистр окончил нивелирование Каспийского моря, студент объехал пол-Европы [8], а спор еще не кончился, и сами видите, остался только один вопрос.

Вот два молодых человека, обнявшись, прогуливаются по комнате. Один * с длинными волосами и прелестным лицом à la Schiller и прихрамывающий à la Byron; другой ** с прекрасными, задумчивыми глазами, с несколько театральными манерами à la Мочалов и с очками à la Каченовский; это — Ritter aus Tambow *** и кандидат этико-политический, очерчивающий Россию. Ritter, юный страдалец, принес в жизнь нежную, чувствительную душу, но не принес ни твердой воли, которая защищает от грубых рук толпы, ни твердого тела. Болезненный, бледный, он похож на оранжерейное растение, воспитанное в комнатах и забытое небрежным садовником на стуже московских летних ночей. Он может чище всех своих товарищей служить изящным типом юноши. С какой любовью, с какой симпатией он приютился к ним дичком. Его фантазия была направлена на ложную мысль бегства от земли. Резигнация **** составляла его поэзию. Такое направление развивается именно в больном, слабом теле, конечно, ложное, но имеющее свою беспредельно-увлекательную сторону.

Кандидат этико-политический жаждет общеполезной деятельности и славы. Он готов на самопожертвования без границ и грустно говорит юноше, что ему надобна кафедра в университете и слава в мире. Юноша ему верит, сочувствует и готов плакать. Вот они остановились перед черпалом полюбоваться пылающей жженкой.

В самом фокусе оргии, то есть у пылающей жженки, также интересная группа. Молодой человек ***** в сером халате, на диване, задумчиво мешает горящее море и задумчиво всматривается в фантастические узоры огня, сливающиеся с ложки. Против него за столом, без

* Николай Михайлович Сатин. (*Примеч. Т. П. Пассек.*)
** Вадим Васильевич Пассек. (*Примеч. Т. П. Пассек.*)
*** Рыцарь из Тамбова (*нем.*).
**** покорность судьбе (от *фр.*: résignation).
***** Ник. (*Примеч. Т. П. Пассек.*)

сюртука, без галстука, с обнаженною грудью, сложивши руки à la Napoléon, с сигарою в зубах, сидит худощавый юноша * с выразительным, умным взором.

— Помнишь ли,— говорит молодой человек в халате,— как мы детьми встречали Новый год тайком, украдкой; как тогда мечтали о будущем? Ну, вот оно и пришло, и пустота в груди не наполняется, и не принесло оно той жизни, которой требовала душа. На Воробьевых горах она ничего не требовала и была довольна.

Они взглянули друг на друга.

— Пора окончить этот фазис жизни, шум начинает надоедать; меня манит другая жизнь, жизнь более поэтическая.

— Пора, согласен и я; но забудемся еще сегодня, забудемся — прочь мрачные мысли.

Юноша в халате напенил стакан и, улыбаясь, сказал:

— За здоровье заходящего солнца на Воробьевых горах!

— Которое было восходящим солнцем нашей жизни,— добавил юноша без сюртука.

Оба замолчали, что-то хорошее пробежало по их лицам.

Вдруг юноша без сюртука вскочил на стул и звонким голосом закричал: — Messieurs et mylords! je demande la parole, je demande la clôture de vos discussions; une grande motion... silence aux interrupteurs; monsieur le président, couvre-vous.

И нахлобучил какую-то шапку на голову своему соседу. Несколько голов обратилось к оратору.

— Mylords et lords! le punch cardinal, tel que le cardinal Mezzofanti, qui connait toutes les langues existantes et qui n'ont jamais existé, n'a jamais goûté; le punch cardinal est à vos ordres. Hommes illustres par vos lumières, vous connaissez que Schiller, décrété citoyen de la république une et indivisible ... a dit, il me semble, en parlant des prisonniers lors du siège d'Ancône par les troupes du roi-citoyen Louis Philippe...

Eh'es verdüftet,
Schöpfet es schnell.
Nur wenn er glühet,
Labet der Quell!

Je propose donc de nous mettre à l'instant même dans la

---

* Саша. (*Примеч. Т. П. Пассек.*)

possibilité de vérifier les proverbes du citoyen Schiller,— à vos verres, citoyens!*

Все с хохотом подходили к столу. Оратор спокойно разливал в стаканы пунш.

— Магистр, скажи, пожалуйста,— кричал он,— не изобрел ли Деви новых металлических стенок для того, чтобы не жглись губы? [9]

— Гумфри Деви умер,— отвечал магистр, весь занятый своим спором.

— И, я думаю, рад от души,— продолжал оратор,— что наконец химически разложился и на себе может испытывать соединение и разложение.

— Господа, господа, разойдитесь, барон идет со стаканом, а это страшнее, чем встретиться с локомотивом.

В самом деле, благоразумные люди отодвигались. Оратор продолжал шуметь, никто его не слушал... Стаканы еще раз наполнились.

Демаркационная линия была пройдена. Господа хотели продолжать свои разговоры: суетное желание удалось одному юноше без сюртука, потому что он разом говорил со всеми и обо всем. Барон чистил трубку кому-то в шляпу и говорил *ты* магистру. На магистра жженка сделала ужасное действие, в голове у него все завертелось и перекувыркнулось, он не забывал свой спор и продолжал, держа на этот раз за пуговицу барона:

— Следовательно, ежели в тот век в одно время дифференциальные исчисления изобрели Лейбница и Невтона...

Он, как бы сам чувствуя нелепость, потер себе лоб.

---

* Месье и милорды! Прошу слова, предлагаю закончить споры; важное предложение... Тише, не прерывайте; господин председатель, наденьте шляпу (*фр.*).

Милорды и лорды! Кардинальный пунш, какого не приходилось отведывать и кардиналу Меццофанти, знающему все существующие и никогда не существовавшие языки, кардинальный пунш готов. Мужи, знаменитые своей просвещенностью, знайте, что Шиллер, провозглашенный гражданином единой и неделимой республики [10]... сказал, мне помнится, о пленных, взятых во время осады Анконы войсками короля-гражданина Луи-Филиппа [11]... (*фр.*)

Выпьем, покамест
Кубок наш жгуч:
Только кипучий
Сладостен ключ! [12] (*нем.*)

Итак, я предлагаю сию же минуту подтвердить это изречение гражданина Шиллера — ваши стаканы, граждане! (*фр.*)

— Да, да, именно, когда Коперник изобрел движение земли, а Уатт паровые машины и сир Флуни — машины чинить перья,— кричал оратор.

— Помню, помню Флуни,— повторил магистр и хотел было произнесть еще какую-то букву, но не мог ни повернуть языка, ни упростить это слово, чтобы оно вышло.

— О чем спор? — спрашивал тут же бывший водевилист.

— Магистр,— шептал ему оратор,— доказывает, что Каратыгин гораздо лучше играл роль Отелло, нежели Мочалов [13].

А водевилист, бешеный поклонник Мочалова, бросился как лютый зверь на магистра и кричал ему на ухо:

— У Мочалова есть душа, а у Каратыгина все подделка, да просто взгляните на его лицо, какая натянутость, неестественность.

— Правда, правда,— кричал оратор,— у живого Каратыгина вид не натуральный, то ли дело статуи Торвальдсена, вот какие лица должны быть в девятнадцатом веке,— и сам водевилист захохотал.

В это время барон, желая подвинуться к столу, выломал ручку у кресел и ножку у стола; две тарелки и стакан легли костьми при этом членовредительстве: «мертвии сраму не имут». Барон не потерялся, начал доказывать, что это не его вина, а вина непрочности мебели, для объяснения чего изломал еще кресло и этажерку и был очень доволен, что оправдался.

Подали сыру, единственный съестной припас, который важивался у Ника. Сыр великая вещь на оргии: от него делается жажда. В одно мгновение ока плачущее, рябое дитя Швейцарии исчезло.

— Прежде нежели мы совсем пьяны, вот вам предложение,— сказал Ник.— Кто хочет на целый день villegiare *, подышать чистым воздухом, побыть не в Москве, а на воле хоть день?

— Превосходная мысль,— подхватил Ritter.

— В Архангельское,— прибавил студент,— у меня там есть квартира [14].

— Все же это не имеет основания,— сказал магистр, услыхавши голос студента.

— В Архангельское,— повторило несколько голосов.

— Давай шампанского,— кричал оратор, у которого

---

* поехать за город (*ит.*).

вино, казалось, испаряется с словами.— Надобно выпить за здоровье прекрасной мысли и прекрасного определения ее.

Пробки хлопали, шампанское лилось вон из бутылок и исчезало. Дым табачный сгущался.

Кто-то запел:

Ah! vers une rive
Où sans peine on vive,
Qui m'aime me suive!
Voyageons gaiement.
Ivre de champagne,
Je bats la campagne,
Et vois de Cocagne
Le pays charmant*

Все подхватили:

Terre chérie,
Sois ma patrie
Qu' ici je ris
Du sort inconstant **[15]

— За здоровье друзей! — провозгласил оратор, пуская отчаянной параболой по воздуху пробку, и в одно мгновение выпитые стаканы рассыпались черепками по полу. Все вскочило, перемешалось, сбилось, зашумело вдвое. Кто целуется, кто вздыхает, кто подымает с полу кусочек сыру. Всем кажется чрезвычайно весело. Барон уродует в своих объятиях всех встречающихся и подмещается к этико-политическому кандидату, который сидит у раскрытого окна, рыдает и, как Дон Карлос и Юлий Цезарь, приговаривает: «Двадцать четыре года — и ничего не совершил для человечества, для вечности!» В отчаянии, сильной рукою он ударил по стоящему перед ним стакану и раздробил его. Стекла врезались в руку, кровь полилась. Барон как бы протрезвился, схватил руку кандидата, стал вынимать стекла, мочить водою и завязывать платком.

— Что рука,— говорит кандидат, заливаясь слезами,— прах, тлен! дух, вот жизнь! Хочешь, выброшусь за окно?

— Лучше выйдем в дверь и влезем в окно,— предлагает барон.

---

* Ах! Кто меня любит, пусть следует за мной к тем берегам, где живут без печали! Весело пустимся в путь! Опьяненный шампанским, я странствую и вижу Кокань, очаровательную страну блаженства *(фр.)*.

** Любимая земля, будь моей родиной, где я могу посмеяться над непостоянной судьбой *(фр.)*.

Магистр сердится, что заперта дверь, пробуя отворить зеркало в камине, а дверь — с противоположной стороны.

— Магистр прав, надобно освежиться, выйдем на воздух, голова кружится. Видно, и я выпил лишнее.

Bon!
La farira dondaine.
Gai!
La farira donde*.

На другой день рано утром, то есть часа три после того, как оратор с магистром вышли на чистый воздух, la bande joyeuse ** уже хлопотала и распоряжалась об отъезде. Оратор встал раньше прочих, будил всех и каждого. Спальня представляла удивительное зрелище. Длинный турецкий диван был завален людьми, многие уснули в той позе, в какой допили последнюю каплю. Барон, завернувшись в непромокаемую шинель, с сигарою во рту, грозно и величественно видел что-то во сне. Сон его был беспокоен, и время от времени он пихал ногою в голову водевилиста, который на другой день удивлялся странному сну: ему казалось, что он был в театре и что, как только выходит Мочалов, свод Петра и Павла падает ему на голову. Ritter прижался к уголку, скатавши в шарик тоненькое тело свое, в том роде, как спят комнатные собачки. Юноша в халате, который был дома, заметьте, положил себе под голову латинский лексикон и покойно лежал, накрывшись ковром со стола.

Солнце светило ясно, день готовился чудесный, голова была свежа. «Благородное шампанское не оставляет горьких упреков на утро»,— говорили они потом. Все необходимые распоряжения были тотчас взяты. Послали за вином, послали за лошадьми, послали за паштетом и за сигарами. Две коляски находились в наличности. Ник, студент, водевилист etc. отправились вперед. Оратор с Ritter'ом после. Они выехали часов в девять из Москвы. Великолепно светило солнце, природа на каждой точке дышала жизнью и негою; на душе не было забот. Юноши мечтали, поэтизировали всю дорогу; душа Ritter'а, немного элегическая, испарялась в заунывных звуках и детских фантазиях. Они были как-то на месте с летавшими бабочками, с зеленевшей травой, между которою поднимались звездочки Иванова цветка

* Хорошо! Весело! (*фр.* — Остальная часть припева состоит из слов, не имеющих определенного значения.)

** веселая ватага (*фр.*).

и фонарики цикория, Ritter'у было восемнадцать лет. Часа через два коляска остановилась перед прекрасным домом князя Юсупова. Я до сих пор люблю Архангельское. Посмотрите, как мил этот маленький клочок земли от Москвы-реки до дороги. Здесь человек встретился с природой под другим условием, нежели обыкновенно. Он от нее потребовал одного удовольствия, одной красоты и забыл пользу; он потребовал от нее одной перемены декорации, для того чтобы отпечатать дух свой, придать естественной красоте красоту художественную, очеловечить ее на ее пространных страницах: словом, из леса сделать парк, из рощицы — сад. Еще больше — гордый аристократ собрал тут растения со всех частей света и заставил их утешать себя на севере; собрал изящнейшие произведения живописи и ваяния и поставил их рядом с природою, как вопрос: кто из них лучше? Но здесь уже самая природа не соперничает с ними, изменилась, расчистилась в арену для духа человеческого, который, как прежние германские императоры, признает только те власти неприкосновенными, которые уничтожались в нем и им уже восстановлены как вассалы.

Бывали ли вы в Архангельском? ежели нет — поезжайте, а то оно, пожалуй, превратится или в фильятурную* фабрику или не знаю во что, но превратится из прекрасного цветка в огородное растение.

Они тотчас отыскали Ника с товарищами и отправились сначала в дом.

Террорист Давид приветствовал их атлетическими формами, которые он думал возродить в республике единой и нераздельной 93-го года вместе с спартанскими нравами, о привитии которых хлопотал Сен-Жюст [16], а за ними открылся длинный ряд изящных произведений.

Глаза разбежались, изящные образы окружали со всех сторон. Уныние сменялось смехом, «Святое семейство» — «Нидерландской таверной», «Дева радости» — вернетовским видом моря. Пышный Гвидо Рени,— князь Юсупов в живописи,— роскошно бросает и краски, и формы, и украшения, чтобы прикрыть подчас бедность мысли, и суровые Ван-Дейка портреты, глубоко оживленные внутренним огнем, с заклейменной думой на челе, и дивная группа «Амура и Психеи» Кановы,— все это вместе оставило им воспоминание смутное, в котором едва вырезываются отдельные картины, остав-

---

* прядильную (*фр.* filature — прядильня).

шиеся, бог знает почему, также в памяти. Помнился, например, портрет молодого князя: князь верхом, в татарском платье; помнился портрет дочери m-me Lebrun[17]. Она стыдливо закрывает полуребячью грудь и смотрит тем розовым взглядом девушки, который уже немного поцелуй, который уже волнует ее душу, чистую, как капля росы на розовом листке, и огненную, как золотое аи. Не раз, быть может, старый князь останавливался перед ней, желая отодрать ее от полотна, восстановить растянутые в одну плоскость формы; согреть их, оживить и прижать к своему сердцу татарина.

Им некогда было разбирать все отдельно, да, вероятно, это и невозможно: всякую галерею надобно изучить в одиночестве и притом рассматривание ее распространить на много и много дней. Довольные восторженностью, чистотою, в какое их привело созерцание изящного, они высыпали в сад, мимо мощных воинов из желтого мрамора, мимо гладиаторов, в тень аллей. День был южно палящий жаром, все ликовало, жужжа летали пчелы, тонко перетянутые, молча и с величайшей грацией танцевали по воздуху пестрые бабочки с широкими рукавами, как барышни. Солнце faisait les honneurs de la maison *, отогревало сырую землю, эмалью покрывало листики цветков, радостью наполняло все живущее и копошащееся в траве, на воздухе, закуривало сигары и гордо не дозволяло себе смотреть в глаза. Им все нравилось, даже на этот раз романтизм их не возмущался против подстриженных деревьев, которые важно и чопорно, как официанты прошлого века в парике и французских перчатках, стояли по обеим сторонам дороги. Белые мраморные бюсты выглядывали из-под них.

Испеченные солнцем и утомленные ходьбой, молодые люди отправились в комнаты студента. Небольшая зала, в которой был приготовлен обед, примыкала к оранжерее, одна стеклянная дверь отделяла их от нее; они отворили дверь, их обдало благоуханием юга. Дыхание детей пламенной природы располагало к неге и к чувственно-огненным страстям, к dolce far niente **. Зачем из венчиков этих цветков не вышли вечно юные гурии восточного рая! Зачем не принесли холодного шербета, зачем стройные одалиски не веяли пестрыми

---

* как радушный хозяин встречало гостей (*фр.*).
** сладостному ничегонеделанию (*ит.*).

опахалами, опуская длинные ресницы своих черных глаз и бросая свежие розовые листки в вино. «Зачем этот глупый наряд запада,— простора, неги, и еще цветов благоухающих, с яркими венчиками»,— говорили юноши.

Вино, принесенное со льда, на минуту прохладило их, но отлившая от сердца и головы кровь возвратилась зажженным спиртом, страсти расколыхались; им было непоместительно в горнице — они вышли опять в сад и отправились в беседку на гору, у ног которой Москва-река.

Река тихо струилась узенькой ленточкой, довольная своим аристократическим именем; поля, леса, синяя даль,— природа именно этою далью, этою безграничностью приводит в восторг, в ее наружности отпечатлен тот характер бесконечности, который заключен в душе нашей, и они переплетаются встретившись; но молодые люди недолго поэтизировали, вскоре разговор превратился в шалость, в хохот. Несколько человек вместе редко могут восхищаться природой или изящным произведением: благоговейный восторг редко посещает разом целое общество, и ежели хоть один сказал холодное слово, остроту, кристальная мечта рассыпалась, фальшивая нота разнесется громче прочих и роняет действие всей пьесы. Продурачившись до позднего вечера, все поехали домой. Приехали к Нику часу во втором ночи и расположились отдыхать. Было полнолуние, месячный свет ясно светил в окна; днем душа молча впивала изящное, теперь, когда водворилась тишина и вместо яркого света дня разлился кроткий полусвет месячной ночи, она начала испарять свои чувства, как ночные фиоли свое благоухание.

— Ник, пойдем гулять, хочется еще ощущения, движения, хочется, чтобы не было потолка.

И они отправились. Длинные полосы лунного света стлались по улицам, ярко сменяемые густою тенью. Город уже уснул или еще не просыпался; так тихо было, что шаги, далеко слышные, вызывали глухой лай собак.

Они вышли на Арбатскую площадь; величественнее и колоссальнее обыкновенного казались здания. Они шли, шли и остановились на Каменном мосту. Святой Кремль в своем византийском наряде, окруженный башнями, стенами, думал царскую думу о прошлых и новых веках; часовой, поставленный Годуновым, в белой одежде, как рында, в золотой шапке, как князь, сторожит покой Кремля, неподвижный и высокий, а река шумела,

и неслась из-под арки, и всасывала в себя месяц, и сносила его свет на середину, и играла им, и пускала длинной полосою плыть в вороненой рамке.

Вода не останавливалась ни на мгновение, шумела, разбивалась о камень, пенилась и утекала; волна, сейчас блеснувшая, как рыбка, терялась в толпе других, исчезла, как волна, но неслась, как река, вдаль, в море.

Они стояли молча,— о чем тут было говорить,— и не думали и не молились, а высоко было сочувствие их в ту минуту с творцом, с природою, с человечеством... Предтеча солнца, Геспер, заблистал словно алмаз на руке творца, отворяющего врата утра, и красная полоса, как брошенная на землю порфира, сказала о приближении царственного светила. Алый отлив пробежал по белым стенам Кремля и заиграл огнями на крестах, главах и окнах. Рассветало. С одной стороны спало темное Замоскворечье, покрытое подымающимся утренним туманом, с другой стороны спала часть города, облитая тем же месяцем. Обе не знали о начале дня, а Кремль его уже встретил, ему уже радовался, и ночь с днем встретились на реке, серебро и золото перемешалось на волнах. Чудное, удивительное зрелище, и оно повторяется каждый день, и люди занятые, «пекущиеся о мнозе», не ходят смотреть на него. Барабан и дудка возвещали земным языком «зорю». Они отправились к Нику, в сад, физически и морально утомленные.

Этот длинный праздник, эта особая, блеснувшая волна жизни, не могут исчезнуть в толпе дней, ночей, недель, месяцев, лет, которые, как дюжинные волны, бегут, шумят, имеют смысл в совокупности, но не врезываются в память. Эта шумная оргия, эта прелестная прогулка вне города и в городе на месте,— они на границе учебных лет, это прощанье с ними,— и потому в них собралось все хорошее и дурное того времени, идеализированное, проникнутое поэзией. Прогулка на Каменный мост окончила прогулку на Воробьевы горы. Месяц мечтаний, односторонней жизни закатывался, солнце жизни выступало с своею огненною, всепоглощающею любовью, но и черные тучи поднимались грозно и мрачно... *[18]

На другой день после описанного вечера, проснувшись рано утром, я встревожилась, узнавши, что Вадим еще не возвращался,— и пошла в комнату к матушке.

---

* Писано в феврале 1838 г. *(Примеч. А. И. Герцена.)*

Матушка старалась успокоить меня; она говорила, что эти товарищеские сходки почти всегда продолжаются до утра.

Я расплакалась.

В десятом часу пришел Вадим. Вне себя от радости, я бросилась к нему на шею, но, вглядевшись в него, обомлела. На нем не было лица. Он был страшно бледен, правая рука его была обвязана окровавленным платком.

— Что с тобой, Вадим? — спросила я дрожащим голосом.

— Чего ты встревожилась,— отвечал он тихо, улыбаясь.— Ночь не спал, устал, руку обрезал об разбитый стакан. Вот и все.

— Покажи, что с рукой?

— После, дай отдохну,— безделица.

Матушка позвала Вадима в свою комнату. Через несколько минут туда явилась я и ахнула от ужаса: рука Вадима была изрезана, а около большого пальца виднелась продолговатая, глубокая рана.

Матушка, с большим присутствием духа, обмыла ему руку холодной водой, обвязала полотняным бинтом, намоченным свинцовой водой.

Увидя мой испуг, Вадим, как-то болезненно улыбаясь, сказал:

— Что за ребячество, Таня.

Он видимо страдал; рука у него долго болела. Широкий шрам около большого пальца остался навсегда, как памятник последнего праздника дружбы.

Когда мы пришли в нашу комнату, Вадим лег на диван, закурил сигару и стал рассказывать мне, какую сумасшедшую ночь они провели, как он измучен, и грустно добавил, что этот вечер оставил чувство чего-то неудовлетворенного.

После обеда Вадим уснул и проспал до вечера. Вечер наступил прекрасный; только что прошел сильный дождь; воздух был свеж, на чистом небе всходил полный месяц.

Вадим позвал меня пройтиться. Мы дошли до Пресненских прудов; там нас встретила тишина и ни одной живой души, только месяц смотрелся в неподвижные воды пруда, пронизывая золотистыми лучами майскую зелень кустарников и деревьев, ярко отбрасывая тени на усыпанные желтым песком дорожки, да местами дождевые капли сверкали в цветах и в траве.

Садясь на зеленую скамейку под распустившийся

куст белой сирени, мы нечаянно тронули цветы — нас окатило душистым дождем.

— Нет,— говорил Вадим,— нет, наши товарищеские сходки не удовлетворяют больше души. Безотчетная тоска прокрадывается в самый разгар их. Душа рвется к иному, к высшей форме жизни. Прошедшей ночью мы завершили этот отдел молодости. Заря нового занимается для нас...

Несмотря на шумные оргии, гражданская экзальтация, развитые научные и художественные интересы спасали молодых людей этого кружка от грязных увлечений и возбуждали к полезной деятельности.

Детский либерализм и застольная революция в этот период времени стали терять для них свою чарующую силу. Все искали чего-то. Попавшиеся им в руки проповеди и брошюры сенсимонистов раскинули перед ними целый мир новых идей и новых отношений. В первом брожении умов не было возможности определить различия направлений, которые, под влиянием новых учений, приняли молодые люди этого круга. Впоследствии же они ярко выразились. Одни, в том числе и Вадим, бросились на изучение России и ее истории; другие отдались немецкой философии; в основу жизни иных лег сенсимонизм,— но, невзирая на различие сфер деятельности, все они действовали в одном духе, стремились работать для просвещения и счастия ближних настолько, насколько условия того времени и способности каждого это допускали.

ИЗ ГЛАВЫ 30

РЕКЛАМА. 1834—1840 [1]

⟨...⟩ Наконец повеяло вестями, что скоро все съедутся в Москву. Сатин писал из Симбирска, что о нем хлопочет сестра [2], но он боится еще надеяться. Жена Ника, женившегося в Тамбове*[3], Марья Львовна, ездила в Петербург просить за мужа и заранее известила друзей его, что едет и хочет со всеми познакомиться. В тот день, в который она должна была приехать, все поехали встречать ее, в том числе и Николай [4]. Поздно вечером он

* Марья Львовна Рославлева, племянница тамбовского губернатора Панчулидзева. Я ее совсем не знала. *(Примеч. Т. П. Пассек.)*

возвратился домой в каком-то угаре: говорил, что Марья Львовна верх совершенства, умна, мила, проста до того, что все они в одну минуту стали с ней на дружескую ногу. Что она обещала побывать у всех друзей Ника, холостые они или женатые — ей все равно; обещала приехать и к нам, наговорила Николаю пропасть любезностей. «Когда она приедет к нам,— добавил Николай к своим рассказам,— ты, пожалуйста, будь с нею полюбезней и поразвязнее, ведь надобно же чем-нибудь заменить незнанье французского языка!» Я промолчала, но подумала: «Так вот откуда повеяло несчастием! не видя ничего, Николай, кажется, начинает стыдиться меня...» Молодость, конечно.

Приехал Кетчер и еще кто-то, и те также сходили с ума от Марьи Львовны, так что заинтересовали этой личностью и меня, я стала ее ждать с нетерпением. Наконец она известила моего мужа, что в такой-то день приедет к нам вечером. Николай очень хлопотал, чтобы я не забыла чего эффектного в сервировке чая.

Марья Львовна явилась пышная, блестящая. Костюмировка ее была проста, изящна и ценна. Она пожала Николаю руку и, не дожидаясь рекомендации, обеими руками сжала мне руку и всех нас осыпала комплиментами, мешая русскую речь с французскими фразами. Я слушала, молчала, не знала, что сказать, и рада была, когда возвестили, что в зале готов самовар. Я встала. «Вы сами разливаете чай,— сказала восторженно Марья Львовна,— как это мило, вы, верно, отличная хозяйка, да?» Николай смотрел мрачно и кусал губы — я поскорее ушла. На мое счастье, пришли два товарища Николая. Поздоровавшись с ним и поглядевши на Марию Львовну, они вышли ко мне. Один из них сказал: «Это не нашего поля ягода; на что она вам?»

Марья Львовна попросила себе чаю в гостиную, сказавши, что она имеет надобность о чем-то переговорить с Николаем.

Все это мне не нравилось и вертелось в голове: что-то из всего этого выйдет, когда Ник с женой переедут в Москву. Чтобы не входить в гостиную, я нарочно дольше обыкновенного сидела за чаем. Когда муж объявил мне, что Марья Львовна уезжает, я не пошевелилась; она выбежала из гостиной, протянула мне руку, говоря, как она рада, как счастлива, что познакомилась со мною, что, переехавши совсем в Москву, надеется приобрести мою дружбу. Я молча, холодно пожала ей руку и села на

свое место. Она уехала. Николай, проводивши ее, вернулся недовольный мною и высказал это.

Один из товарищей заметил Николаю, что и без ее комплиментов нам известно, что мы люди хорошие, а на замечание Николая, что это женщина замечательно умная и развитая, сказал: «Ты, брат, вижу, мелко плаваешь и вовсе не умеешь различать в женщине ум от светского лоска».

Долго еще говорили на эту тему. Я молчала. Николай обидел меня, это было в первый раз. Мало-помалу все смягчилось и стало забываться, как вдруг получили письма от Александра и Наташи, в которых они с восторгом описывали свою встречу с Ником и его женой. «Мы, как дети, все четверо плакали навзрыд. Когда они вошли — сами не знаем, как очутились в объятиях друг друга».

«Я полюбила сразу мою сестру Marie, это ангел,— писала Наташа,— и еще больше полюбила за то, что она сумела оценить тебя: «Сколько в ней ума, скромности, грации,— говорила она,— я любовалась ими обоими» — это ее слова».

Александр между тем писал:

«Друзья, мы бесконечно счастливы! Нас четверо — и что это за женщина Марья Львовна — она выше всякой похвалы. Ник счастлив, что нашел такую подругу.

У меня сохранилось распятие, которое дал мне Ник при разлуке. И вот, мы вчетвером бросились на колени перед божественным страдальцем, молились, благодарили его за то счастие, которое он ниспослал нам после стольких лет страданий и разлуки. Мы целовали его пригвожденные ноги, целовались сами, говоря: Христос воскрес!» [5]

Читая эти письма, Николай заметил мне: «Видишь, какая эта женщина, а ты не сумела сойтиться с нею».— «И не сойдусь, теперь больше чем когда-нибудь».— «Это отчего?» — «Я думала, она только светская женщина, а теперь вижу, что она лицемерна. Зачем она наговорила Наташе столько неправды обо мне,— и когда же? — в святые, чудные минуты первого свидания друзей: ведь муж ее, Александр и Наташа, конечно, от чистого сердца радовались, молились, плакали, а она? — нет, это нехорошо».— «Ты предубеждена,— сказал Николай.— Когда они приедут в Москву, надеюсь, вы сойдетесь». Я промолчала.

От Марьи Львовны все теряли голову, все чуть не молились на нее. Разочарование было горькое.

Мало-помалу разрозненные друзья стали собираться. Первый приехал Ник с женой — прямо на дачу в парк. Поздно осенью — Александр с Наташей, и поселились в маленьком доме Ивана Алексеевича, который он для них, кажется, купил и отделал. Я у Наташи была беспрестанно, муж мой приходил к ним, как только имел свободное время. Так хорошо было у них, что мало-помалу весь товарищеский круг стал поздно вечером собираться в их доме, потому что до девяти часов Александр должен был оставаться у отца. Он говаривал: «*Вот жизнь! и вечер придет, когда вечер пройдет!*» Принимать друзей, без которых он не мог жить, чуть не украдкой, урывками было для него пыткой. По-видимому, старик не любил и ни во что не ставил товарищей сына〈...〉

На зиму Ник нанял дорогую квартиру на Арбате, в трех шагах от Александра. Марья Львовна стала устраиваться с всевозможным комфортом. На меня все нападали за нее, а Наташа даже огорчалась. Весь круг их стал собираться и у Ника. Александр не мог проглотить, что я там не присутствовала, и приставал ко мне, чтобы я съездила к ним, так как визит оставался за мною. Я согласилась. Наташа радостно говорила: «Увидишь, как она обрадуется, что ты приехала, и выбежит навстречу». Я поехала. Парадный вход, передняя, зала были завалены рабочими инструментами и разными вещами; как видно, перебивали и чистили мебель. Я просила слугу доложить обо мне. Не зная куда пройти, я стояла среди хлама и рабочих и ждала. Минут через пять слуга объявил, что Марья Львовна принять не может, что она не одета (было два часа пополудни). Я просила передать ей, что мне все равно, в чем бы она ни была, я желаю только повидаться с ней; ответ был тот же — что не может принять. Из кабинета слышался говор нескольких голосов и хохот.

Раздосадованная на себя и на всех, зачем их послушала, я приехала к Александру. Увидевши меня, он крикнул: «Наташа! Наташа! Здесь Татьяна Алексеевна, а мы только что хотели посылать за вами, у нас сегодня мороженое; да что вы такие, точно сердитые?» Наташа прибежала и тоже заметила мне. Я поблагодарила их за удовольствие, которое привелось испытать мне по их совету, и рассказала прием. Александр взбесился: «Мелко, дико,— говорил он,— мещанство!»

Через час явился Кетчер и, обратясь ко мне, сказал: «Ну что, хорошо приняли? поделом — очень нужно было ехать к...» — он не договорил. «Да вы же все восхищались».— «Да-с, другая роль игралась. Маска сброшена. Я давно говорю — дрянь, а Ник — тряпка; они вот не верят». Наташа была поражена и сказала: «Это было бы очень горько и за себя и за Ника. Неужели мы обманулись?»

Кетчер первый стал разочаровываться. Наперекор урокам Марьи Львовны держать себя приличнее, сорил курительным табаком в ее великолепных комнатах, мял подушки, ковры, даже ломал мебель; говорил при ней Нику, что он делает глупость, давая волю жене, что он тряпка, что глупо корчить из себя что-то.

Ник смеялся и мирил его с женой, говоря, что оба они люди славные, только во вкусах не сходятся.

Марья Львовна во многом уступала и была любезна со всеми товарищами мужа, но внутри у нее кипело, и она восстановлялась против них. Все, видимо, клонилось к разрыву.

Устроивши блестящим образом свой дом, Марья Львовна стала делать парадные визиты знакомым и родным из аристократического круга. Ник отказался ей сопутствовать, это раздражало ее и было началом внутреннего распадения. Ник не любил большого света,— стеснялся им, начал кутить и почти не бывал дома; я его постоянно встречала у Александра. Он был прост, мил, кроток, деликатен, и, по-видимому, тяжелый камень лежал у него на сердце.

Между прочими визитами Марья Львовна заехала и ко мне. Я ее не приняла.

Вскоре Ник с женой собрался за границу; кончивши светские прощальные визиты, часов в восемь вечера они, как были в параде — Ник во фраке и в белых перчатках,— приехали к Александру. Нас было много; увидя меня, Марья Львовна, обратясь ко мне, сказала: «Вы не хотели принять меня».— «Я не могла вас принять — я была *не одета»*. Марья Львовна прикусила губы и замолчала.

Спустя полчаса они уехали. Завязался разговор о том, как Ник ошибся в своей женитьбе. Александр был мрачен, ему обидно было за друга. Выслушавши общее сужденье, он сказал:

— Виноват ли Ник, что женился на женщине, не узнавши ее хорошо. Он был стеснен со всех сторон. Отец

не позволял ему сближаться с молодыми людьми, переписка с нами была запрещена, душа и сердце его искали выхода, симпатии — и симпатия явилась ему в лице Марьи Львовны. Да и все мы увлекались ею.

— Ну, а теперь,— заметил Кетчер,— не увлекаемся больше, и сам Ник видит что́ она; чего же, дурак, ее слушает,— прихвостень.

— Ник, брат,— возразил на это Александр,— не нам чета, это душа нежная, любящая. Он полюбил ее и еще любит. На выходки ее смотрит как на детскую шалость. Их разногласие в понимании вещей такого рода, что или *мир,* или *развод.* Ник, конечно, предпочтет первое. Второе он не захочет даже из-за того, чтобы не бросить порицания на репутацию женщины, которую любил и любит еще. Он скорей пожертвует собой, чем кем бы то ни было.

Наташа, в свою очередь, горячо заступилась за Ника. Все же вообще чувствовали, что он несчастен и молчит 〈...〉

Наконец Ник с женой уехал за границу, Александр с семейством стал собираться в Петербург〈...〉.

ИЗ ГЛАВЫ 47

В АНГЛИИ. 1861

1861 года, в первых числах августа [1], поехала я в Англию с сыном моим Владимиром и товарищем моих детей, офицером генерального штаба Сергеем Михайловичем Мезенцевым. Мы выехали из Парижа утром в Булонь, а вечером вошли на английский теплоход. Ночь была темная, небо покрыто облаками; свистел порывистый ветер, волновал море и колебал пароход. Матросы, готовясь к отплытию, торопливо ходили по палубе; капитан отдавал приказания. Слышался язык только английский и изредка французские слова. Я спустилась в дамскую каюту,— там прислуга делала приготовления, предвещавшие качку. Раздались слова команды, пароход шумно тронулся с места и под сильным ветром с проливным дождем пошел при жестокой боковой качке. В нашей каюте почти все заболели и разместились по койкам. Казалось, пароход то катится с горы, то взбирается на гору, ложится на один бок, на другой и снова летит в бездну. Я страшно страдала и дошла до галлюцинаций 〈...〉

Рано утром я почувствовала себя свежее, несколько образумилась, осмотрелась, но приподняться не смела.

Качки как будто не было ⟨...⟩

Умывшись и одевшись, я пошла на палубу, но едва ступила на нее — и остановилась вне себя от восторга. Мне открылось безграничное пространство воды, слившееся с голубым пространством неба, из глубины которого вдалеке поднималось солнце, рассыпая огненные лучи по лазури, неподвижной как зеркало ⟨...⟩

⟨...⟩ Спустя немного времени на горизонте вырезалась узенькая темная черточка. «Англия!» — сказали мне, указывая на нее. Черточка мало-помалу превращалась в берега, в полувоздушные очертания коттеджей, в селенья с красивыми домиками, потонувшими в зелени, в церкви, группы деревьев, в ярко-зеленые луга... Живописные, большей частию однообразные пейзажи выступали один за другим. Берега обеих сторон реки вырезывались ясней и ясней, сближались все теснее; суда встречались чаще; пароходы, точно ласточки, искрещивали реку во всех направлениях. Вот показался Гренвич, арсенал Вульвич, лес мачт, с флагами всех наций, сжатый в широком канале, и развернулся необъятный Лондон. Сквозь распростиравшийся над ним пар, как бы сквозь наброшенную дымку виднелись здания, перекинутые через реку мосты, доки, церкви, монументальные трубы фабрик. Вся эта поражающая смесь картин и ощущений волновала душу и подавляла громадностью, сравнительно с которой Париж представлялся в памяти блестящей игрушкой ⟨...⟩

Саша и Ник жили тогда в Лондоне вместе. На другой день нашего приезда сын мой поехал к ним.

Его встретил находившийся у них в услужении старый гарибальдиец, который объявил ему, что Саша с семейством переехал на дачу в Торквей, а Ник на охоте и возвратится не прежде двух или трех дней.

Мы решили эти три дня употребить на осмотр Лондона ⟨...⟩

На четвертый день нашего пребывания в Лондоне, утром рано [2] приехал к нам Ник. Мы обнялись в слезах,— какие это были слезы — радости или грусти — бог их знает. Мы плакали. Ник только что возвратился с охоты и, узнавши, что мы в Лондоне, не отдохнувши, поспешил видеться с нами. Он сказал нам, что Саша в Торквее, нездоров и, вероятно, приехать в Лондон не может, а будет звать нас к себе, и хотел тотчас писать

ему о нашем приезде в Англию. Уходя, Ник пригласил нас к себе вечером.

Как только стемнело, мы с Володей отправились к Нику. Нас встретил у экипажа гарибальдиец с приветливой улыбкой старого приятеля. Помогая мне выйти из коляски, он восторженно говорил:

— Allons! La voilà! c'est la chère cousine! que je la connais, que je la connais! Et nous vous attendions, comme nous vous attendions! *

Бережно поддерживая, он ввел меня на невысокое крыльцо. В передней нас встретил Ник. Мы вошли в гостиную, освещенную лампами. Это была довольно большая, продолговатая комната в три окна, с которых спускались до пола тяжелые занавесы. Хорошая мебель была расставлена в артистическом беспорядке. Налево вела дверь в кабинет Саши. Ник предложил нам посмотреть его. Я вошла в кабинет с безотчетно грустным чувством. Кабинет освещала одна лампа. Он был просторен и прост, сколько помнится, в два окна с одной стороны и в два — с другой, с опущенными на них занавесами. Почти посреди комнаты, ближе к двери, стоял большой письменный стол, на нем лежало много бумаг, книг и листки газеты, издаваемой Сашей и Ником. У стены диван, несколько кресел, кресло перед письменным столом, шкаф с книгами — и никаких украшений. Ник обратил наше внимание на висевшую на стене, около двери, большую картину, писанную масляными красками, содержания, видимо, аллегорического, напомнившего мне «Die Glocke» ** Шиллера [3]. Ник объяснил идею картины, она была многосложна, и сказал, что ее прислали Саше из России. В этом кабинете в памяти моей оживал другой кабинет,— маленькая комнатка в Москве,— учебный приют наших ранних лет; днем освещает его полуденное солнце, вечером в единственное окно тихо светит звездочка, ее заменяет муромская сальная свеча — покупки Шкуна. Муромские сальные свечи освещают и длинную анфиладу комнат, открывающуюся из растворенных дверей маленького кабинета; раскинутый ломберный стол перед турецким диваном играет роль письменного стола; над диваном два гравированные портрета: Байрон и Пушкин; у окна — ли-

* Приехали! Вот так! Это дорогая кузина! А я ее знаю, а я ее знаю! А мы вас ожидали, как мы вас ожидали! (*фр.*)

** «Колокол» (*нем.*).

монного цвета столик, изрезанный перочинным ножичком, точно гиероглифами; шкаф с книгами; два плетеные стула и электрическая машина — любимая забава отрока с раскинутым воротником рубашки — и передо мной на чужбине оживает ряд лиц и картин «из дальних лет».

Кроме нас, Ник пригласил к себе на вечер несколько близких им людей. Мало-помалу посетители собрались, большей частью тем или другим образом участники литературной деятельности Саши. Ник всех представлял мне,— все имели обо мне понятие и отнеслись к нам чрезвычайно симпатично. Мне как-то странно казалось видеть себя в этом кругу, где, не видавши меня никогда, меня уже знали и желали видеть, а между тем общего между нами почти ничего не было.

Я стеснялась, и только присмотревшись ко всему, сделалась несколько свободнее и стала принимать участие в общем разговоре. Иногда ко мне обращались с расспросами о детстве и юности Саши, большей же частью разговор касался предметов мне малоизвестных и чуждых.

Ник, как и в прежнее время, тихий, скромный, оставался больше в стороне, слушал, молчал и задумывался. В стороне от гостиной находилась столовая, Ник пригласил всех туда, сам разливал чай, угощал десертом и в первом часу ужином со множеством дорогих вин. Предметы разговоров были до крайности разнообразны и живы, а после ужина перешли в задушевные. Мы уехали почти на рассвете.

Некоторые из бывших у Ника просили позволения на следующий день быть у нас вечером, так как днем мы хотели еще посмотреть Лондон. Двое из самых близких Саше предложили сопровождать нас 〈...〉

Вечером все бывшие у Ника пили у нас чай. Человека два, три из них до того сошлись с нами, что рассказали не только настоящую жизнь свою, но и прошедшую, свои надежды, радости, свое горе, и до того расположились к нам, что пожелали проводить нас на пароход в день отъезда нашего из Лондона.

Ник привез мне письмо от Саши; он писал, что нездоров, звал к себе в Торквей, говорил, что ждет нетерпеливо.

Утром Ник проводил меня на железную дорогу 〈...〉, усадил покойно в вагон и поручил ехавшим вместе со мною какой-то даме и ее мужу.

Поезд шел чрезвычайно быстро. Замелькали миловидные селения, улыбающиеся луга и рощи. Чем ближе к Торквею, тем местность гористей. Железная дорога пошла берегом моря, у самой воды, прерываемая туннелями [4] ⟨...⟩

Том третий

ИЗ ГЛАВЫ 3
⟨В ШВЕЙЦАРИИ⟩ 1873

> Дитя уснуло, в странном сне
> Его уста уж не алели,
> А будто улыбались мне.
> Свеча бросала отблеск бледный,
> Ребенок бледен был лицом.
> Я думала: спи, спи, малютка бедный,
> ...Ты с горем незнаком [1].

В 1873 году мне привелось опять быть за границей, в Дрездене и потом в Вене, во время всемирной выставки, вместе с сыном моим Владимиром, его женой Лелей * и их грудным сыном Сашей ⟨...⟩

Когда мы совсем устроились, я написала в Женеву Николаю Платоновичу Огареву и звала его к нам в Вену посмотреть всемирную выставку и пожить с нами [2]. Николай Платонович (Ник, или Ага, как мы все его звали) отвечал, что он очень бы хотел нас видеть, но стал так дряхл и болен, что чувствует себя не в состоянии никуда двинуться, и просил нас приехать к нему в Женеву. Володе нельзя было оставить Вены, а я не решалась ехать одна, и нам пришлось несколько времени довольствоваться одной перепиской ⟨...⟩

Вот и Интерлакен. По одну сторону ряд великолепных отелей, перед ними сады, в окнах горят огни; по другую — цветущая долина, аллеи, кустарники, а там далеко — горы ⟨...⟩

Вскоре по приезде в Интерлакен я писала Нику, что так как мы находимся недалеко от него, то хорошо бы ему побывать у нас, что мы его покойно устроим, а он, поживши с нами, развлечется и поздоровеет.

Ник отвечал:

«Суббота. Женева. Rue du Cónseil général.

Вот уже несколько дней собираюсь писать тебе, старый друг Таня, и все что-нибудь да мешает. Мешает

* Елена Ефимовна, урожденная Грейф. *(Примеч. Т. П. Пассек.)*

подчас и мой собственный катар. Твоему письму я был сильно рад. Жду скоро еще письма и известия, приехали ли Володя и Леля? И когда мы с тобой, последние двое того времени, увидимся? Мне путешествовать не приходится, Таня: нога надломлена и болезнь спинного мозга, то есть эпилепсия, наверное, не допустят до путешествия. Напиши мне, что делает Ипполит и где путешествует. От Марьи Каспаровны имею письмецо, стану писать к ней завтра.

Сегодня мне пришел на память наш старый друг Носков, так что я не могу отделаться от воспоминания его юношеского образа и преданной дружбы. Напиши мне, если знаешь, жив он или нет.

Не знаю, посылал ли я тебе прилагаемую мою статейку, здесь напечатанную. Она мне сегодня подвернулась под руку,— на всякий случай посылаю. Записки стану продолжать через три дня; мне кажется, я еще не довольно сообразил все 〈...〉

Крепко обнимаю тебя. Твой *Ник*» [3].

«Женева. Rue du Conseil général.

Вот уже несколько дней, мой друг, собираюсь отвечать на твое милое письмо. Я не могу ни на что решиться. Сам себе не могу решить — что делать. Выехать из Женевы никак не могу, сломанная нога и обычная болезнь не позволяют, а уж как я буду рад тебя и всех вас увидать.

«Былое и думы» не могу у себя найти: вероятно, кому-нибудь отдал и обратно не получил. Сегодня пишу в Цюрих к Натали [4], чтобы она тебе выслала свой экземпляр (надеюсь, найдется). Биографии моей [5] я еще не кончил — сил не хватило.

На днях напишу еще. Сегодня так темно, что не вижу писать.

Твой *Ник*» [6].

Ник звал нас к себе. Подумавши, я решилась к нему ехать, а по дороге в Берн завернуть к Маше Рейхель. К Нику я написала, что так как он не в состоянии оставить Женевы, то я сама побываю у него. По-видимому, Ник ожил, поюнел и ответ мне на это письмо начал поэтическим эпиграфом:

«Я жду тебя, когда зефир игривый
Листочки роз в час утра шевелит.

Вот, друг Таня, эпиграф моему письму к тебе, но прежде всего жду еще от тебя письма, жду с нетерпением. Перед выездом напиши, когда это решительно будет.

Твой *Ник*» [7].

При этом письме Ник прислал главу из своих записок. Вслед за тем он писал мне:

«Génève. Rue du Conseil général.

Старый друг Таня, получил третьего дня твое письмо. Думал сегодня больше написать, но все нездоровится, уже не обычной падучей болезнью, а просто простудой и кашлем,— но это ничтожно.

Извести меня о вашем приезде в Женеву, чтобы я мог распорядиться собой и вас встретить.

В скором времени я многое подготовлю.

Твой *Ага*» [8].

«Génève. Rue du Conseil général суббота.

Сегодня я получил твое письмо, друг мой, и спешу ответить. Шенбруна я не знаю, на днях постараюсь узнать о нем и напишу. «Русскую старину» и «Вестник Европы» получил и очень ими доволен. В Цюрихе постоянный дождь. Натали с детьми усылают в город. Кажется, им не лучше, особенно юноше.

Итак, я жду тебя, старый друг, и буду счастлив увидаться. Мое здоровье плохо, да и шестьдесят лет не благодать.

Твой *Ага*» [9].

«Génève. Rue du Conseil général.

Друг Таня! Пишу вечером; день прошел в больших заботах. Надо было писать деловое письмо и ускользнуть от ненужного свиданья, что я все и сделал. Ах! как жизнь-то здесь тяжела, Таня! Может есть человека два, с которыми встречаюсь братски, хотя и редко, а там ни с кем и встретиться не хочется. Хочется остаться одному, да и только. Поддерживает меня одна моя простая, добрая Мери, начиная с перевязки моей ломаной ноги и приготовления обеда, да ее сын Генри, который здесь в академии хорошо занимается химией. Ему теперь шестнадцать лет.

Вчера не мог продолжать письма, а теперь получил твое милое письмо, где ты говоришь о получении тома

моих стихов. Заметь там последние, то есть «Тюрьму», отрывок из моих прежних воспоминаний. Если ты можешь куда-нибудь влепить их, это, я думаю, было бы не бесполезно. «Записки помещика» я стал продолжать, но для II главы надо все же с неделю времени, тем больше что я как-то ее ходом недоволен.

Твоими записками я, без сомнения, доволен; февральской книжки я получил два экземпляра, из которых отдал один одному другу здесь, а другой у меня. Теперь надо сходить к доктору. Крепко жму твою добрую руку. Твой *Ага*»[10].

⟨...⟩Спустя несколько дней по приезде моих детей, я поехала в Женеву. В Берне Маша встретила меня на железной дороге и увезла к себе в Вейсенбюль[11]⟨...⟩

На другой день Маша и Рейхель[12] проводили меня на железную дорогу, и мы простились дружески. В Женеве никто не встретил меня.

Ник, от природы робкий и застенчивый, в одиночестве одичал и еще больше стал удаляться от людей. Он встретил меня в своей гостиной, сидя в больших креслах. Когда я подошла к нему, он обнял меня и зарыдал. У меня катились по лицу слезы; образы, ушедшие в вечность, воскресали и, казалось, обступали нас[13].

Я нашла Ника сильно изменившимся, но во взоре его сохранилась прежняя кротость и та же магнитность, которая притягивала к нему каждого.

Последний раз я виделась с Ником в Лондоне и не ждала еще увидеться, прощаясь на английском пароходе. С того времени прошло много лет, и мы опять вместе. Но как все изменилось! Все, для чего он жил, жертвовал, что любил, все покинуло его.

Он одинок и беден. В средствах жизни зависит от детей Александра[14].

Когда Ник успокоился, то представил мне жившую при нем средних лет вдову, англичанку Мери, и ее сына Генри. Мери мне понравилась — добрая, простая, она заботилась о постоянно больном Нике и порой удерживала от лишней рюмки вина, которую бедный Ник украдкой, во вред себе, добывал; но разделять интересов его интеллектуальной жизни она не могла.

Мери и Генри отнеслись ко мне, как к старому другу.

Мери заботливо придвинула столик, поставила на него пылающую конфорку и кофе со сливками и с разными принадлежностями.

Ник, довольный моим приездом, согретый пылающей

конфоркой и горячим кофе, мало-помалу отдохнул от первого впечатления и разговорился, что случалось с ним очень редко* [15], о прошедшей жизни в России, о направлении духа прошедшего и настоящего времени и о жизни его с Александром за границей; о своей любви к России и как хотелось бы ему услыхать еще раз шум родной дубравы, подышать запахом широких полей, слышать вокруг себя русскую речь. Жаловался, что европейцы наклепали на себя пристрастие к комфорту; что во всей Европе, вступая в зиму, надобно писать свое духовное завещание, как писали когда-то, отправляясь в Париж или Марсель.

— Я думаю, Ник, если попросить влиятельных людей, то, конечно, тебе разрешат жить в России. Это возможно; в родной деревне перед тобой воскреснет вся твоя юность, воскреснет вдохновенье, и с пера твоего польются опять чарующие песни.

Ник слушал меня задумавшись, глубоко вздохнул и сказал:

— Нет, старый друг, не говори обо мне с высшими и не проси — мне умереть на чужбине. В Швейцарии не останусь надолго. Здесь свет слишком ярок, вреден мне для глаз.

— Куда же ты думаешь переселиться?

— Не знаю, еще не решил. В Италии слишком светло и жарко, да и говорить по-итальянски я почти позабыл. Французкий народ надоел мне. Остается Лондон; климат более холодный необходим для моего здоровья.

— Ты много сам расстраиваешь свое здоровье.

— От тоски и от нечего делать.

— Когда же это с тобой бывало, чтобы ты не находил себе дела? Работа спасет тебя.

— Не нахожу, и что писать?

— Пиши свои воспоминания. Записки твои чем дальше, тем должны становиться интереснее, по событиям и по личностям, среди которых ты жил.

— Едва ли буду в состоянии,— отвечал Ник печально,— да и кого что интересует в настоящее время? Даже и юношей не увлекают, не волнуют высокие подвиги, благородные чувства, надежды, упованья, поэзия. Юноши есть — юности не вижу. Только уходя в самого себя, я чувствую себя лучше. Сверх всего, я одинок...

* Разговор этот был помещен в «Полярной звезде», издание графа Сальяса. *(Примеч. Т. П. Пассек).*

— Ну, Ник, где же одинок... Мало ли людей, которые тебе сочувствуют, не говоря уже о детях Александра.

— Дети Александра, конечно; да ведь они не часто со мною; сверх того, у них есть уже что-то свое, что не совсем наше. Встречаются и из наших,— да к чему? Порой и с ними не знаешь, что говорить,— слова и слова, а до дела и дела нет. Полное безучастие и пустота. Время проходит, а вспомнить нечего.

— Конечно, Ник, есть доля правды в словах твоих; но у тебя, сверх всего, прелестный талант, ты — поэт.

— Веришь ли, Таня, все, что я писал, все это не то, что я чувствовал. Души моей я никогда не мог выразить и не выразил никогда ни в музыкальных звуках *, ни в словах. Я бывал счастлив, когда высказывал хотя часть того, что глубоко таилось в душе моей.

— Ты жил такой широкой общественной и умственной жизнью, переживи ее в твоих твореньях.

— Писать? Писать хорошо, да ведь высказанной массой чувств и картин хочется поделиться. Неразделенное стынет в одиночестве.

— Читателей найдется много, и до своих дойдет.

— Могу ли еще писать? — ответил Ник грустно.

Помолчав немного, он сказал:

— Знаешь ли, друг мой, я долго не проживу; и хорошо: жить — страдать, да, страдать...

Сказавши это, он раскрыл ящичек своего столика, вынул из него несколько листочков исписанной бумаги и, подавая их мне, говорил: вот тебе мои стихи настоящего времени⟨...⟩

Прочитавши, я положила листок на стол и сказала: «Не узнаю тебя в этих стихах»,— потом взяла другие, вот они⟨...⟩

— На, Ник, возьми свои стихи,— тяжело!

— Такие минуты, такие чувства я теперь переживаю. Завтра я дам тебе другие стихи, продолжение моей поэмы «Радаев». Она написана еще в хорошее время моей жизни, хотя и не в лучшее. Если хочешь, напечатай их.

— Хорошо, Ник, дай.

— Завтра,— отвечал он,— теперь мне так хорошо, так удобно, что не хочется менять этого положения!

— Зачем, Ник, ты сам не печатаешь эту поэму?

* Николай Платонович Огарев страстно любил музыку и хорошо играл на фортепьяно. *(Примеч. Т. П. Пассек.)*

— Здесь! Кому читать? Ты говоришь: пиши... писать мне нечего.

— А общие интересы? Не может быть, чтобы сочувствие к общим интересам порой и теперь не врывалось в твою жизнь, хотя и очень замкнутую.

— Для кого? для самого себя? Теперь выше всего ставят наживы, захваты, личное наслаждение, хотя бы в ущерб и гибель другим. А ты говоришь о самоотвержении. Наше время, сороковых годов, называют временем романтизма, фантазии,— пусть так, а это действительность? Правда, мы воспитывались художественно; да разве изящество и благородство не есть высшее проявление действительности? Эгоизм и грубое наслаждение нас возмущали.

— И в наше время, Ник, этого было довольно.

— Так, но скрывали, совестились. Теперь хвалятся.

— Пожалуй, в наше время большинство было с высшим направлением, да ведь их считали опасными.

— Они и были опасны невежеству и эгоизму, но все сознавали, что эти люди вносили свет знания, будили; стыдились явно издеваться над наукой, над правдой,— а теперь!

Разговор наш, сколько могу припомнить, был в этом роде. Мало-помалу он перешел на последние годы его жизни вместе с Александром.

Вечером Ник чувствовал себя в таком возбужденном настроении духа, что сел за роялино. Он любил музыку, играл на фортепьяно прекрасно,— большею частию свои фантазии.

Сильные, гармоничные мелодии полились из роялино, переплетались, дробились, наконец перешли в тихие, трогательные тоны на мотив:

Я жду тебя, когда зефир игривый
В час утра роз листочки шевелит.

Я и не заметила, как лицо мое было облито слезами.

— Эта музыка моего бедного приятеля Алябьева,— сказал Ник, кончая отрывистыми аккордами [16].

Я пробыла в Женеве у Ника двое суток, на третий день хотела ехать обратно в Интерлакен, несмотря на дождь, который лил всю ночь как из ведра, а днем сеялся точно сквозь сито. Но Ник так просил меня остаться у него еще на сутки и так был грустен и страдал от боли в ноге, что я не могла отказать ему и осталась. Дождь и серое небо навели наш разговор на жизнь его в Англии

с Александром, на Гарибальди. Рассказ свой Ник пополнил чтением заметок об этом замечательном человеке, о его посещении Лондона и Александра; с чувством прочитал он написанные им стихи к Гарибальди и дал их мне вместе с прелестными отрывками, в стихах, из своей жизни; да сверх того, зная мои записки из дальних лет, сказал, что даст мне письма Саши, писанные к нему в продолжение двух последних лет его жизни, которые он с семейством своим провел путешествуя; последнее из этих писем писано было за десять дней до его неожиданной кончины, из Парижа, где он располагал устроиться на постоянное житье. Письма Александра и стихи Ника из его жизни я сохранила, а стихи к Гарибальди, к сожалению, никак не могу отыскать; при воспоминании о нем следовало бы их поместить. ⟨...⟩

Мы пожали друг другу руки и простились до утра.

На следующий день я собиралась рано утром уехать и встала чем свет, чтобы не опоздать к раннему поезду. По небу плыли разорванные облака; казалось, будет дождь, но это не останавливало меня. Пока я убирала в саквояж свои вещи, из-за расступившихся облаков показалось солнце. Я открыла окно — тепло, тихо. Я села у окна и не могла насмотреться на озеро, на даль. В воздухе жужжали мухи, пчелы, порхали бабочки, где-то птица пропела — людей никого. В доме все спали. Мне казалось — я одна во всем мире; и было мне как-то хорошо и страшно. То же самое чувствовал Александр, как видно в одном из его писем из Швейцарии к Огареву, в 1866 и 1868 годах.

«С летами,— говорит он в одном из этих писем,— странно развивается потребность одиночества и, главное, тишины.

Сижу один в небольшой комнате дрянной гостиницы, на берегу Невшательского озера; кругом тишина, неподвижность, только барка, привязанная к берегу, едва колышется.

Знать, что никто вас не ждет, никто к вам не войдет, что вы можете делать что хотите, умереть, пожалуй, никому нет дела... разом страшно и хорошо. Великое дело знать, что вы можете располагать своим временем, никто вас не прервет... Скучно — берите шляпу, идите на улицу, там вечная каскада несется с шумом и гамом. Вы не имеете к ним никакого отношения, все вам чуждо — это-то и прекрасно: ни вам до них, ни им до вас нет дела» [17].

Когда я вошла к Нику проститься, он был уж на ногах. Поздоровавшись со мною, он подошел к небольшому бюро красного дерева, стоявшему в углу гостиной, подозвал меня, вынул из бюро пачку писем, писанных к нему Герценом за упомянутые два года, и передал их мне, сказавши: «Так как ты пишешь свои воспоминания и больше о людях и времени, в которое они жили, то вот тебе письма Александра, ко мне писанные во время его переездов за два последние года его жизни. Выбери из них те, которые найдешь более подходящими для объяснения чего-нибудь, когда найдешь в этом надобность, и печатай в своих воспоминаниях «Из дальних лет»; предоставляю их тебе в твое полное распоряжение, как мою собственность».

Я все письма перечитала, выбрала из них те, которые более объясняли тот период времени и его жизнь, в который были писаны, а остальные возвратила Нику. У меня осталось семьдесят пять писем. Бóльшую часть из них я решилась поместить в моих записках, как исторический факт, не только что с разрешения самого Ника, но отчасти по его желанию, и потому, что нашла это частию полезным для прекращения ошибочных взглядов и обвинений на дорогие мне личности.

Из этих интересных писем видны отчасти как политические, так и общественные взгляды и Александра и Огарева, их взаимные отношения и отношения к разным лицам; изредка и слегка они касаются и их семейного быта. Видно также, что скитальческая жизнь начинала утомлять Александра, что он мечтал о кабинете и о домашнем тихом уголке.

«Я ужасно люблю тишину,— пишет он в одном из этих писем.— Я счастлив в деревне, устаю от шума, от людей, от слухов, от невозможности сосредоточиться, устаю от неестественной жизни» [18].

Вместе с письмами Ник передал мне мелко исписанную им рукопись своей поэмы в стихах под названием «Радаев», с тем, что если можно, то и ее напечатать в моих записках* [19].

Мы простились «до свиданья», но более не видались.

---

* Начало этой поэмы было напечатано в «Полярной звезде». Из рукописи, еще не бывшей в печати, я взяла несколько эпиграфов в мои записки, а пять лет тому назад дала несколько отрывков в газету Алексея Алексеевича Гатцука, а в 1887 году она напечатана вполне среди моих записок с немногими выпусками в «Русской старине». *(Примеч. Т. П. Пассек.)*

В конце зимы я возвратилась в Россию, куда еще прежде меня приехали мои дети.

Ник стал хлопотать о переселении своем в Англию и до переезда продолжал со мной переписываться.

Летом в Петербурге 1877 года с глубоким огорчением узнала я о его кончине, последовавшей в окрестностях Лондона.

Николай Платонович Огарев скончался 12 июня 1877 года. Подробности его кончины сообщила его супруге Наталье Алексеевне Огаревой, находившейся в то время уже в России, дочь Александра Ивановича Герцена, Наталья Александровна. Получивши телеграмму из Англии о болезни Николая Платоновича, она немедленно приехала в Лондон и была при его кончине.

Предполагали, что он повредил себе мозг, падая в припадке, и с этого времени все спал — так и заснул навсегда. Лицо его поразительно помолодело, несмотря на белую бороду; то же было и с Александром Ивановичем Герценом по его кончине, но только на несколько часов 〈...〉

ИЗ «ПРИЛОЖЕНИЯ I». ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ[1].

Печально я смотрю на дружние портреты.
Черты знакомые и полные тоски!
Такие ль были мы в былые лета?
. . . .
Иные в гроб сошли...
. . . .
Мы проводили их. В пустыне многолюдной
Немногие осталися в живых...
...Жизнь моя полна,
На радость мне любовь дана от бога,
И песнь моя на радость мне дана,
Но в этой радости как грусти много!

Н. Огарев[2]

I

Мне было лет тринадцать, когда тетушка моя Лизавета Петровна сказала, что берет меня с собой к Огаревым. С этим семейством она была давно знакома и дружна. Огаревы были люди очень богатые и иногда проводили часть лета в своем прекрасном тверском именье, лежавшем в двенадцати верстах от маленького уездного города Корчевы, по другую сторону Волги[3].

Мы поехали после раннего обеда. День был жаркий и такой тихий, что когда мы переплывали на пароме Волгу, то вода была неподвижна как стекло, и паром точно разрезал ее. Я села на широкую лавку и, облокотясь на огородку парома, с чувством почти детского счастия, к которому не примешивается ничего постороннего сверх видимых предметов, смотрела на отражавшиеся в реке берега и безоблачное небо.

За Волгой нас ожидала вперед переправленная коляска, мы в нее сели, и четверка лошадей быстро понесла нас широкою дорогой, пролегавшей то цветущим лугом, то полями ржи и овса. Радостное чувство не оставляло меня, я не могла насмотреться на притихнувшую природу, как бы переполненную блаженством жизни, не могла надышаться воздухом, проникнутым запахом еще не скошенной травы, цветов, наливавшихся колосьев хлеба, и не заметила, как подъехали к большому барскому дому; слуга чинно провел нас в гостиную, паркетный пол которой был устлан живописными пушистыми коврами, на окна были опущены зеленые жалузи.

Через несколько минут в гостиную вошла медленными шагами высокая, худощавая старушка, с видом достоинства и строгой чинности, отпечаток которой лежал на креслах, столах, диване, на коврах, окнах, на всей комнате, все они, казалось мне, были точь-в-точь как вошедшая в гостиную старушка.

Старушка эта была мать умершей жены владельца именья. Тетушка очень любила и уважала ее. Дружески поздоровавшись с нею, она представила ей меня. Старушка, едва улыбнувшись, слегка кивнула мне головой, что-то вполголоса сказала и больше не обращала на меня никакого внимания.

Светлое настроение духа моего, мало-помалу, стало заменяться скукой и тоской, которые не уменьшились даже и тогда, когда в гостиную вошла внучка старушки, девочка лет четырнадцати, высокая, тоненькая, сдержанная и чинная, точно бабушка. Она села подле меня, как бы нехотя заговорила со мной и была так натянута и холодна, что тоска моя возросла еще более.

Вечерняя заря догорала, в гостиную внесли две восковые свечи под абажуром, несмотря на то, что глаза старушки были прикрыты шелковым зеленым зонтиком. В то же время в комнату вошел мальчик лет девяти,

одетый в лейб-гусарскую пунцовую курточку с золотыми шнурками.

Ребенок остановился посреди комнаты и, как бы стараясь припомнить что-то чуждое тому, что он видел, задумался, потом равнодушно обвел все грустным взором, тихо, лениво подошел к старушке, немного постоял подле нее и медленно вышел вон.

Этот мальчик был — Ник, единственный сын Огарева, кумир всего семейства, наследник пяти тысяч душ богатых крестьян в разных губерниях.

Вот при каких условиях я увидала в первый раз Ника, который впоследствии был не чужд моей жизни.

Мы уехали от Огаревых довольно поздно. Помню, ночь была волшебная. Поля полны аромата и тишины; Волгу мы переплыли при свете месяца и видневшихся в городе огоньков.

Спустя два года я опять увидала Ника в Москве, в доме его отца, на Никитской. Огарев пригласил нас с тетушкой на торжественный званый обед, сделанный для каких-то знаменитых духовных лиц. Гостиная была полна нарядных дам, девушек и пожилых мужчин, и на всей роскошной обстановке дома лежала такая же чинность и тоска, как и на их деревенском доме, и на всех лицах, при самом пестром разнообразии, сквозила какая-то общая черта, которая делала их поразительно схожими. Изо всех выделялся задумчивый мальчик лет двенадцати, он как-то чуждо сидел в амбразуре окна, подле своего воспитателя, немца К. И. Зонненберга, и молча, безучастно смотрел на окружавшее его. Это был Ник, который являлся передо мной в деревне в пунцовой лейб-гусарской куртке [4]. Зонненберг, невысокий, худой, рябой, с белокуро-золотистой накладкой на голове, необыкновенно подвижной и суетливый, представлял резкую противоположность с Ником. Он улыбался гостям, заговаривал с проходившими мимо их, щеголевато перекидывал ногу на ногу и, казалось, был готов ежеминутно сорваться с своего поста при Нике.

Роскошный, утомительный обед происходил при свете люстр и канделябр. Все разъехались вскоре после обеда.

В это время я жила в Москве в доме дяди моей матери Ивана Алексеевича Яковлева, где, по выходе моем из пансиона, продолжала учиться с его меньшим сыном Сашей, товарищем моего детства, который был на два года моложе меня.

Когда Нику было лет тринадцать, то отец его, бывший сенатором [5], родственник Ивана Алексеевича, стал иногда привозить его к нам с собою. Тихий, застенчивый мальчик неподвижно сидел в гостиной и смотрел на все рассеянно своими кроткими, прекрасными глазами. Саше он нравился тем, что не походил ни на кого из известных ему мальчиков, но несмотря на это он чуждался его и часто не выходил к нему из своей комнаты ⟨...⟩

У Саши и Ника почти все учителя были одни и те же, и они в одно время поступили в университет; Ник вольным слушателем. Они жарко следили за всеми политическими и литературными событиями того времени и увлекались крупными деятелями.

Спустя немного времени по их вступлении в университет было арестовано несколько молодых людей, и над ними назначена военно-судная комиссия. Все опасались за себя, это заставляло сильнее биться сердца и теснее сближаться друг с другом. В это время Ник и Саша встретились в университете с Вадимом Пассек и скоро подружились с ним. В доме Вадима они сблизились с Н. Х. Кетчером, А. Н. Савичем и другими молодыми людьми. Они стали собираться то у того из них, то у другого, чертили планы своей будущей деятельности, соответственно наклонностям каждого избирали поприща, на котором, трудясь, могли бы принести пользу родине.

Все были возбуждены, все работали, учились, приготовляясь на великое исполнение своего призвания. Все хотели поднять родину не только в уровень с Европой, но и выше ее, сделать ее образцом для европейских государств ⟨...⟩

Этот юный, дружеский круг почти каждый день собирался вместе — то у Вадима, то у Ника. У Александра не было возможности — отец Саши терпеть не мог всех его товарищей и с досады называл их фамилии навыворот. Всего удобнее было собираться у Ника, он жил один в большом доме своего отца у Никитских ворот, получал большое содержание, но несмотря на это — занимал только одну комнату в нижнем этаже, обитую пунцовыми обоями. Тут он спал на широком диване, тут же, на круглом столе, угощал товарищей сыром, колбасой, иногда холодною дичью и шампанским. Другого рода съестные запасы у Ника появлялись редко — он не обращал внимания на хозяйство, всем

заведовал его камердинер, и Ник оставался доволен тем, что тот ему давал ⟨...⟩

Держал себя Ник всегда одинаково как в обществе товарищей, так и с посторонними. Бывало, сидит в стороне и, где можно, курит сигару, говорит мало, тихо, как-то с расстановкою, никогда не возвышает голоса и не ищет быть замеченным. Из отдаленного уголка он любил прислушиваться к говору друзей и, если замечал чье-нибудь умное или острое слово, сейчас обращал на него внимание других.

Кроме того что он был истинный поэт и писал стихи с большим чувством, он страстно любил и понимал музыку, особенно Бетховена, и сильно возмущался, если кто исполнял его неточно и небрежно. «Бетховена,— говорил он,— надобно прежде изучить, а потом осмеливаться играть».

Увлеченный страстью к музыке, он написал текст для оратории Гебеля, известного композитора того времени. Сам он играл хорошо на фортепьяно и превосходно читал стихи, но был так скромен, что редко кому удавалось его слышать.

Раз как-то все товарищи собрались вечером у Е. Ф. Корша, в то время редактора «Московских ведомостей». После ужина Ник взял том сочинений Пушкина и спросил, не желает ли кто прослушать «Онегина». Все с радостию окружили его, притихли и превратились в слух. Ник стал читать — и перед всеми вставали живые лица, слышались живые разговоры. Читая:

Онегин выстрелил... Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет...
На грудь кладет тихонько руку
И падает...—

голос Ника дрогнул, когда же он произнес: «Друзья мои, вам жаль поэта»,— слезы ручьем хлынули из глаз его. Он закрыл книгу и проговорил: «Да, и нам жаль Пушкина».

На всем, что делал Ник, лежала печать глубокого чувства, благородства и благовоспитанности, никто не слыхал от него, хотя бы в шутку, ни резкого слова, ни нескромного замечания ⟨...⟩

В первую ночь приезда в Акшено Ник, сидя у окна в своей комнате, писал:

Какая тишь! Как одиноко!
Как близко ждешь ударов рока!
Тоска! Тоска!.. Невольно тут

Я стал искать себе приют
Среди моих воспоминаний,
Любви и счастья... и они,
Они пришли...

Ник вспомнил о своей первой отроческой любви — чистой, как весеннее утро. В доме их жила молоденькая девушка, бедная родственница его отца. Она была мила, образованна, знала хорошо музыку и прелестно пела. Ник привязался к ней со всем жаром первой юности. Она отвечала ему [6].

Но между ними протеснились иные люди, не столь светлые, как они, и судьба этой девушки разыгралась и кончилась трагически 〈...〉

Недавно получила я семь неизданных стихотворений Ника; прочитав мои воспоминания о нем, их прислали с тем, чтобы я и их поместила среди моих записок. Читая эти стихотворения, силою ли моего воображения, кротким ли веянием восстававших образов, передо мною воскресал этот период жизни Ника,— я невольно стала разъяснять его себе [7] 〈...〉

Жалеть ли о нем? Жизнь Ника, поэта-романтика, а не политического деятеля, к чему он был привлечен по чувству дружбы, но не по натуре своей, должна бы была, судя по ее началу, проходить в роскоши и радости, а она была рядом лишений, страданий и утрат. С детства радость как будто отлетела от его души,— и дала ему песнь в отраду, и песня эта была так грустна! Ничто не удавалось ему в жизни — все было разбито, и душа, и сердце, и здоровье. Кто же виноват в этой неудавшейся жизни? Сам он? — Другие? — Другие, да. Но что он сам? — Горячее, привязчивое, честное сердце,— он верил во все и во всех,— и жизнь во всем обманула его. Он не блестел, как друг его Александр.— Скромный, тихий, кроткий, любящий, он нигде не выдвигался, а, напротив, всегда стушевывался и не искал славы. Это сердце, которое перестало теперь биться, было «золотое».

И. И. ПАНАЕВ

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

⟨...⟩ Как глубока была привязанность Грановского к Искандеру и Огареву, доказывают следующие строки из письма его к Искандеру через два года после отъезда Искандера за границу (в 1849 г.) [1]:

«На дружбу мою к вам двум ушли лучшие силы моей души. В ней есть *доля страсти,* заставлявшая меня плакать в 1846 г. и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к душе моей такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса...» [2] ⟨...⟩

...Время, проведенное мною в Соколове, я никогда не забуду. Оно принадлежит к самым лучшим моим воспоминаниям. Чудные дни, великолепные теплые вечера, этот парк при закате солнца и в лунные ночи, наши прогулки, наши обеды на широкой лужайке перед домом, послеобеденное far niente * на верхнем балконе, встреча утренних зорь, всегда оживленная беседа, иногда горячие споры, никогда не доходившие до неприятного раздражения, увлекательная речь Грановского, блестящее остроумие Герцена, колкие заметки Корша, дикий, но добродушный хохот Кетчера, размахивавшего длинным чубуком — все это вместе было так хорошо, так полно жизни и поэзии... В этом поэтическом чаду, вероятно, никому из нас не приходило в голову, что это последние пиры молодости, проводы лучшей половины жизни, что каждый из нас стоит уже на той черте, за которой ожидают его разочарования, разногласия с друзьями, неизбежные охлаждения, следующие за этим, разъединение, долгие непредвиденные разлуки и близкие преждевременные могилы...

---

* ничегонеделание *(ит.).*

8 Заказ № 1611

А лето 1845 года в Соколове действительно было закатом молодости этого кружка, лучшими представителями которого были Белинский, Искандер и Грановский,— но закатом великолепным, блестящим, ярко и картинно озарившим всех друзей своими последними лучами...

...Утром, после чая, Искандер шел обыкновенно в свой кабинет работать, и все рассыпались в парке... Кто лежал с книгой под деревом, кто гулял, кто вел тихую беседу с приятелем на берегу реки, кто отправлялся купаться; Кетчер обыкновенно с огромной палкой и котомкой уходил в лес за грибами. Перед обедом все сходились. Искандер являлся после своих занятий еще живее и веселее обыкновенного, обед был шумный, вино не сходило со стола до ночи. Кетчер ликовал,— он был в своей сфере, откупоривая с шумом бутылку за бутылкой. Эти хлопанья, среди самых непрерываемых, одушевленных и пылких речей, нередко продолжались до самого рассвета. Все кипели молодою жизнию. Никто не думал о сне, никому не хотелось расставаться друг с другом, даже дамы не спали...

⟨...⟩Для полного комплекта недоставало в это лето только Огарева, который был за границей. Отсутствие его особенно чувствовалось Грановским и Искандером, которые были к нему сильно привязаны...

Весною 1846 года Грановский читал третий и последний курс своих публичных лекций. Опять вся Москва собралась к его кафедре. Я не слышал этих лекций, но все наши друзья говорили, что лекции эти не были так удачны, как первые, что Грановский обнаруживал какое-то утомление, что-то как будто тревожило его и лишало одушевления.

После одной из этих лекций Грановский узнал о приезде Огарева и Сатина.

Вместе с Искандером они бросились к Яру [3]. Свидание после нескольких лет разлуки было горячо... Теперь кружок был в полном сборе. Тут же сговорились, чтобы лето провести неразлучно и непременно опять в Соколове ⟨...⟩

Искандер занял прежний дом, Грановский — небольшой флигель в этом же парке, Огарев поместился на антресолях, Кетчер — в маленьком домике, в глубине парка...

Все мечтали о том, как будет хорошо и весело. Надежды, однако, не сбылись... После переселения на

дачу у Искандера умер отец. Хлопоты и дела отвлекли его на время от друзей...

Я приехал в Москву, когда Искандер кончил свои дела, и отправился вместе с ним в Соколово.

Раз вечером, когда мы все сидели на верхнем балконе дома, занимаемого Искандером, между ним и Грановским зашла речь о тех теоретических вопросах, до которых они вовсе не касались или касались только слегка, как бы боясь серьезно затронуть их... Слово за слово, спорящие разгорячились; Грановскому спор этот, по-видимому, был очень неприятен, он старался прекратить его, но Искандер упорно продолжал его. Наконец Грановский, меняясь в лице, сухо сказал:

— Довольно,— что бы ты ни говорил, ты никогда не убедишь меня и не заставишь принять твоих взглядов... Есть черта, за которую я не хотел бы переходить. Мы дошли до этой черты.

Искандер взглянул на Огарева грустно-иронически. Огарев печально покачал головою.

Последовало неловкое молчание; потом разговор возобновился об обыкновенных вещах.

Я в первый раз видел Грановского в раздраженном состоянии и до этого не подозревал, чтобы между им и Искандером могло существовать разногласие, близкое к охлаждению их отношений...

Весь этот вечер и Грановский и Искандер были грустны и чувствовали неловкость... Даже крики и хохот Кетчера, который они всегда сносили терпеливо, кажется, беспокоили их.

На другой день, за обедом, Грановский очень хвалил одну из статей Искандера, напечатанную в «Отечественных записках» [4].

— Да что ж тебе нравится,— возразил с ироническою улыбкою Искандер: — *стиль*, что ли? Ведь ты не согласен с моим взглядом...

Грановский вспыхнул.

— Твои статьи,— возразил он,— будят, толкают,— вот чем они хороши... Разумеется, односторонности твоих воззрений и теорий поддаваться нельзя...

— Так если мои теории — пустяки, для чего же будить и тревожить людей из-за пустяков?

Спор снова закипел, в него вмешался Огарев, который был на стороне Искандера, и кончился тем, что Грановский сказал, побледнев и дрожащим голосом:

— Вы меня, господа, очень одолжите, если в разгово-

ре со мною не будете касаться таких предметов. Можно говорить о чем-нибудь более приятном и полезном...

Жена Искандера круто переменила разговор... Корш через несколько дней после этого заметил Искандеру и Огареву, что, будучи уже в совершеннолетии и зрелости, мечтать о каком-то идеальном тождестве между друзьями невозможно.

Грановский и Искандер сходились по-прежнему; в их наружных отношениях ничего не переменилось; но если не холодность, то какая-то осторожность уже заметна была в обращении их друг с другом. Они так и расстались.

После отъезда Искандера за границу представителем московского кружка остался Грановский. Около него группируются все остальные. Авторитет его доходит в это время до своей высшей ступени ⟨...⟩

Он сам скорее тяготился приобретенным им значением и теми обязанностями, которые это значение налагало на него. У него недоставало необходимой для представителя кружка силы, энергии, и потому, после отъезда Искандера за границу, московский кружок мельчает, бледнеет, выдыхается. В среде его начинают появляться новые люди, конечно прекрасные, но ограниченные и малоспособные. Корш переезжает в Петербург, Огарев живет в деревне... Все как-то расклеивается ⟨...⟩

Летом 1842 г. я жил на даче в Павловске вместе с Краевским, который лишился в этот год жены. Флигель дачи занимали Языков и Боткин, приехавший в Петербург. Лето это мы провели очень весело. У Языкова во флигеле гостил по нескольку дней Огарев, отправлявшийся за границу [5], Константин Булгаков, известный своими шалостями, артистическими талантами и остроумными выходками с великим князем Михаилом Павловичем, и многие другие наши приятели. Гости не переводились в языковском флигеле.

С Огаревым мы познакомились через Искандера. Огарев очень привязался к Языкову.

Огарев принадлежал к тем мягким, кротким, созерцательным и вместе чувственным натурам, которых обыкновенно называют поэтическими. Такие натуры совершенно неспособны к жизни практической, деятельной. Без постороннего влияния, оставленные самим себе, некоторые из них удовлетворяются отвлеченным миром фантазий, в который погружаются с каким-то апатическим наслаждением, и киснут в этих фантазиях, другие

просто погрязают безвыходно в чувственных наслаждениях... Огарев с ранних лет дружески сошелся с Искандером, который не допустил его ни до того, ни до другого. Огарев развил в себе под его энергическим влиянием те убеждения, которые поддерживали его во всех переворотах его бурной жизни и осмыслили его существование.

Что-то необыкновенно симпатическое и задушевное было во всей его фигуре, в его медленных и тихих движениях, в его постоянно задумчивых глазах, в его тихом, едва слышном голосе, походившем более на шепот больного. Недаром Искандер, Грановский и многие из наших приятелей любили его с какою-то нежностью. Грусть никогда не покидала Огарева, даже в минуты самого шумного разгула. Старый, отживающий мир со всеми его нелепыми условиями и формами тяготил его, он не мог подчиниться ни одному из этих условий и с каким-то тайным наслаждением рвал те связи, которые прикрепляли его еще к этому миру. Он отпустил часть своих крестьян на волю, остальное еще довольно значительное состояние он проживал не только с сознательною беспечностию, но даже с каким-то чувством самодовольствия.

— Чтобы сделаться вполне человеком,— говорил он нам своим симпатическим шепотом, попивая, впрочем, шампанское,— я чувствую, что мне необходимо сделаться пролетарием.

И это была не фраза. Он говорил искренно, и на его грустных глазах дрожали слезы...

Огарев беспрестанно путался, спотыкался в жизни, предавался, как блудный сын, всем крайностям разгула, но, как блудный сын, он и в падении не утратил чистоты души своей и не изменил своим благородным убеждениям. Ни капли фразерства и лицемерства не было ни в его жизни, ни в его стихах.

Искренность и задушевность — их главные достоинства. Их можно, пожалуй, упрекнуть в монотонности, вялости, иногда в бессильной грусти, похожей на старческое хныканье, но уж никак не в искусственности и не во фразе...

Огарев и Языков не могли не сблизиться между собою; в них было что-то родственное по мягкости и кротости характеров и по отсутствию в обоих всякого практического такта. Огарев и Языков просиживали иногда напролет целые ночи, тихо беседуя и сладко фантазируя за бутылкою вина... Один раз после бессонной ночи Огареву (в этот раз с ним не было Языкова)

пришла фантазия отправиться в Невский монастырь на могилу своего отца [6]... И ему непременно захотелось взять с собою Языкова. Огарев отправился к нему в половине пятого часа утра и разбудил его... Языкова нимало не удивило, а, напротив, показалось очень натуральным предложение Огарева, и он тотчас же оделся и с великим удовольствием отправился с ним на кладбище.

Приезд Огарева, который провел в Павловске трое суток, оживил Языкова и заставил всех нас провести три бессонные ночи. Однажды к нам присоединился Соллогуб [7], живший в Царском Селе. После окончания музыки в воксале мы возвратились в языковский флигель, пили чай, заваривали жженку и просидели незаметно до 2 часов. В 2 часа мы отправились провожать Соллогуба. Соллогуб зазвал нас к себе. Мы влезли к нему в кабинет через окно, посидели у него с полчаса и отправились встречать утро в царскосельский сад и умываться в Молочнице [8]... Домой мы вернулись часам к 8 и принялись завтракать. Такая безалаберная жизнь очень нравилась и Языкову и Огареву, но внутренний комфорт Огарева нарушался, если в наши ночные беседы и прогулки вмешивалось постороннее лицо... «Соллогуб, может быть, очень хороший человек,— говорил Огарев,— но бог с ним, он не наш, мне с такими господами неловко, я при них и говорить не умею»...

И действительно, при Соллогубе было неловко в прямом, бесцеремонном, дружеском кружке. Он тотчас нарушал его гармонию, внося, против своей воли, искусственность, ложь, ломанье, фатовство, от которых он никак не мог отделаться и которые становились его второю натурою 〈...〉

М. К. РЕЙХЕЛЬ

«ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ...»

Несмотря на много хороших, счастливых дней, прожитых мною позднее, то прошлое, озарившее духовным светом мою молодость, для меня драгоценно. Я уже не много помню подробностей из того времени; я никогда не вела журнала, но влияние тех людей дало иное направление всей моей жизни, моим взглядам — оно взошло в кровь и плоть, и поневоле просится слеза при воспоминании о тех людях, о их чистых стремлениях. Для всякой мысли нужно время, она, как семя, павшее в землю, должна взойти и осуществиться... То время было для меня откровением, и я считаю его самым благотворным в моей жизни. Какая другая атмосфера была вблизи Герценов, нежели у нас в большом доме, особенно когда я могла присутствовать и слушать разговоры и споры друзей Герцена, где столько было высокого, поднимающего, где мало-помалу расширялся мой горизонт. И какие люди!.. Огарева, самого близкого друга Герцена, не было тогда в Москве, он был за границей и воротился незадолго до отъезда Герцена тоже за границу. Несмотря на споры и различие взглядов, в этом кругу царило единодушие направления. Герцен — живой, проницательный, полный юмора, с частым каламбуром на устах. Грановский — тихий, вдумчивый, полный глубокой внутренней жизни... И сколько веселости, остроты, непринужденности царствовало в этих собраниях, когда прерывались философские разговоры; там веяло чем-то высоким, точно горным воздухом здоровой мысли...

Лето перед смертью отца и следующее за ним Герцены жилы в Соколове, в большом флигеле ⟨...⟩ Последнее лето жил в Соколове и Огарев, симпатичная, поэтическая натура, ему пришлось пережить сильные разочарования в его женитьбе. Тогда он уже не жил с женою, она оставалась в Париже. В Соколове мы обык-

новенно в хорошую погоду обедали перед домом на открытом воздухе в летних, часто белых платьях; в это время приходила собака Огарева и преспокойно обтирала нос о наши платья. Огарев часто ездил верхом, и у дам тоже была выезженная лошадь, которую Герцен купил для верховой езды. Из других дам мало кто ею пользовался, я же сильно пристрастилась к верховой езде. У Огарева был денщик, он-то и научил меня сидеть в седле и управлять лошадью, которая была не без норова ⟨...⟩

В Соколово приезжали нередко гости из Москвы: Корш, Панаевы, Щепкин, Анненков. Одно время гостил Горбунов [1] — живописец, который еще в Москве нарисовал портреты всего кружка ⟨...⟩

Когда наезжало много гостей и места для всех не хватало, в столовой стлали солому и покрывали простынями, там все мужчины и спали вповалку...

От дома шла длинная аллея через парк, на конце которого стояла беседка, названная point de vue *, Герцен переименовал ее в «пондевуй». Из последней был прекрасный вид, внизу протекала река, высокий берег которой был окаймлен лесом и кустами; это было очень красиво особенно осенью; вдали виднелись опять лес и холмы. Ходили мы нередко в какой-то дальний овраг искать там допотопных раковин, мы прилежно рылись в земле и находили много интересного. Герцен послал целый ящик наших раскопок в Москву профессору Гофману, если не ошибаюсь.

---

* здесь: прекрасный вид *(фр.)*.

Н. А. ГЕРЦЕН

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1846. Октябрь 25. Так много жилось и работалось, что мне наконец жаль стало унести все это с собою. Пусть прочтут дети,— их жизнь не даст им, может быть, столько опыта ⟨...⟩ Мое прошедшее интересно внутренними и внешними событиями, но я расскажу его после как-нибудь, на досуге... Настоящее охватывает все существо мое; страшная разработка... до того все сдвинуто с своего места, все взломано и перепутано, что слова, имевшие ярко определенное значение целые столетия, для меня стерты и не имеют более смысла.

30-е, середа. Сегодня я ездила с Марьей Федоровной [1] проститься к Огареву, он уезжает в свою пензенскую деревню [2], и, может быть, надолго... Горько расставаться с ним, он много увозит с собою. У Александра из нашего кружка не осталось никого, кроме его; я еще имею к иным слабость, но только слабость... религиозная эпоха наших отношений прошла; юношеская восторженность, фантастическая вера, уважение — все прошло! И как быстро. Шесть месяцев тому назад всем, протягивая друг другу руку, хотелось еще думать, что нет в свете людей ближе между собой; теперь даже и этого никому не хочется. Какая страшная тоска и грусть была во всех, когда сознали, что нет этой близости, какая пустота; будто после похорон лучшего из друзей. И в самом деле были похороны не одного, а всех лучших друзей. У нас остался один Огарев, у них — не знаю кто.— Однако же мало-помалу силы возвращаются, проще, самобытнее становишься, будто сошел со сцены и смотришь на нее из партера; игра была откровенна, все же было трудно, тяжело, неестественно. Разошлися по домам, теперь хочется уехать подальше, подальше ⟨...⟩

2-е, суббота. Теперь далеко Огарев. Как хорошо ему ins Freie!.. *

---

* на воле *(нем.)*.

Что за чудный человек; по фактам, по внешней жизни его я никого не знаю нелепее; зато какая мощь мысли, твердость, внутренняя гармония,— в этом отношении он выше Александра; со мною никто в этом не согласен: все почитают его слабым, распущенным до эгоизма, избалованным до сухости, до равнодушия,— никто его не понимает вполне, даже Александр не совсем, оттого что наружное слишком противуречит с внутренним. И я не могу объяснить этого, доказать, но довольно видеть его наружность, чтоб понять, что этот человек не рядовой, что натура его божественна (выражаясь прежним языком); в наше время он не мог ничего из себя сделать, и самое воспитание отняло у него много средств. Может быть, я и тут еще увлекаюсь, может быть, я не могу устоять против этого влечения; раз, просидевши со мной часа три, он сказал, что еще не соскучился,— приятнее этого комплимента я еще ни от кого не слыхала в мою жизнь, и это потому, что он сказал мне его. Любишь его бескорыстно, как-то и не думается, чтоб он тебя любил; от других требуешь любви, уважения, требуешь покорности; отчего, почему все это так — не знаю. От иных не требуешь вовсе ничего, потому что не замечаешь их, от него — вовсе не потому. Ему не смеешь ничего пожелать, так сильно сознание его свободы и воли ⟨...⟩

11-е, понедельник. Получили письмо от Огарева. Он пишет, что для него Александр, я и еще одно существо нигде и никем не заменимы. У меня захватило дух, когда я прочла эту фразу. Он не лжет, но не ошибается ли? Если же это правда и если это долго не изменится,— я не могу себе представить выше счастья. Такая полная симпатия... а мне и прежде казалась иная симпатия полной... и наконец выходило из нее полное отчуждение... Пусть, пусть это юношеская мечта, увлеченье, ребячество, глупость,— я отдаюсь всей душой этой глупости; после Александра никого нет, кого бы я столько любила, уважала, никого, в ком бы было столько человечественного, истинного. Он грандиозен в своей простоте и верности взгляда. Мне тяжело бы было существовать, если б он перестал существовать, и у Александра это единственный человек, вполне симпатизирующий ему. И если все это — мечта, так уж наверное последняя. И то она одна в чистом поле, ничего нет, ничего нет кругом... так, кой-где былинка... Дети — это естественная близость: ей нельзя не быть; общие интересы — тоже, и это

наполняет ужасно много; не прибавляя к этому ничего, можно просуществовать на свете, но я испытала больше: я отдавалась дружбе от всей души, и кто же этого не знает, что, отдавая, берешь вдвое больше,— и все это исчезло, испарилось, и как грубо, как неблагородно разбудили и показали, что все это *мне* снилось... Разбудить надо было: горькое, реальное всегда лучше всякого бреда — это не естественная пища человеку, и рано иль поздно он пострадает от нее,— но не так бы *бесчеловечно* разбудить; меня оскорбляет только манера — в ней было даже что-то пошлое, а мне хотелось бы, чтоб память моего идеала осталась чиста и свята ⟨...⟩

А. Я. ПАНАЕВА (ГОЛОВАЧЕВА)

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

⟨...⟩ В эту зиму по вечерам к Панаеву на его половине собирались литераторы. Иногда Кукольник с своими поклонниками, Сахаров, Брюллов и другие. Но чаще собирался другой небольшой кружок: Белинский, В. П. Боткин, бывшие школьные товарищи Панаева и Бакунин, приехавший из Москвы, который знакомил этот кружок с сочинениями тогдашних немецких философов ⟨...⟩

Когда мы переехали на отдельную квартиру, то Белинский очень часто ходил обедать к нам. Мы жили у Пяти углов, против Коммерческого училища. Осенью в 1841 году у нас жил Катков ⟨...⟩ В эту зиму у Панаева были частые и многолюдные собрания по вечерам. Между прочими являлись приехавшие в Петербург Кольцов, Огарев и другие московские писатели ⟨...⟩

В Петербург приехала жена Огарева и привезла Каткову посылку от его матери. Но она потребовала, чтобы сам Катков приехал к ней за посылкой, желая с ним познакомиться. Жена Огарева была светская барыня, и к ней надо было явиться с визитом во фраке. Но у Каткова его не имелось. Смешно было видеть Каткова во фраке и во всем остальном платье Панаева, который был очень худой, а Катков плотного сложения ⟨...⟩

Катков возвратился домой в ужасном огорчении, с посылкой в руках, которую с досадой швырнул на пол. Его мать через какого-то знакомого просила Огареву передать сыну несколько пар белевых носков своей собственной работы и три пары нижнего белья из тонкого холста; все это было завязано в узелок старого носового платка, так что можно было видеть все в нем содержащееся. При узелке было письмо на серой бумаге, сложенное треугольником и запечатанное вместо печати наперстком.

Катков считал себя страшно скомпрометированным в глазах светской дамы этой посылкой; но он ошибся: вскоре Огарева пригласила его к себе на вечер очень любезной запиской. Я слышала разноречивые мнения о жене Огарева: одни говорили, что она пустая, напыщенная, светская барыня, совсем неподходящая к поэтической натуре ее мужа; другие, напротив, восхищались ею, находя в ней возвышенные стремления. Катков нашел Огареву очень образованной женщиной, интересующейся наукой, литературой и музыкой 〈...〉

В сороковых годах наложена была плата на заграничный паспорт в 500 рублей, с целью ограничить число уезжающих русских, стремившихся пожить в Европе 〈...〉 Панаев мечтал давно о путешествии за границу, тем более что его приятели, бывшие в Париже, описывали парижскую жизнь, как магометов рай.

В то время все русские помещики, когда им нужны были деньги, закладывали в Опекунском совете своих мужиков; то же сделал и Панаев для своей поездки за границу 〈...〉

Пока совершалась формальная процедура заклада крестьянских душ, некоторые знакомые из кружка уже поехали за границу: Огарев [1], В. П. Боткин 〈...〉

Я не буду описывать наше продолжительное путешествие от Петербурга до Берлина [2] 〈...〉

В Берлине мы нашли русских знакомых: Огарева и злосчастного помещика Заикина, приятеля В. П. Боткина 〈...〉

В Берлине лежал в постели поэт Сатин; ему делали операцию в ноге, которая у него давно болела. Через Огарева он просил нас навестить его, и мы поехали к нему. У больного мы застали сидящих двух дам, с которыми он нас познакомил. Молодая дама была жена Огарева, а худенькая, маленькая, живая старушка еще с блестящими глазами и с коротенькими, полуседыми волосами — была знаменитая Беттина, друг Гёте.

Беттина мне сказала, что она очень рада познакомиться еще с одной русской женщиной, которых она очень полюбила, узнав теплоту их сердца и отзывчивость к добрым делам. Беттина без умолку говорила о своем благотворительном обществе, которое она учредила в Берлине. Она говорила очень скоро, мешая французский язык с немецкими фразами и пересыпая их словами: баронесса, графиня и принцесса, которые состояли членами ее благотворительного общества. Она передавала

нам, как представлялась прусской королеве, прося ее быть покровительницей ее общества, и восхваляла щедрость Огаревой, которая пожертвовала на лотерею ее общества дорогую свою турецкую шаль и бриллиантовую брошь. Из слов Беттины было видно, что берлинские баронессы и принцессы не очень-то расщедрились на пожертвования вещей для лотереи и что щедрость русской барыни всех поразила. Беттина несколько раз вставляла фразу: «Мой друг Гёте». Беттина с Огаревой торопились в заседание благотворительного общества, и Беттина приглашала меня ехать с ними; когда я заметила, что я не член этого общества, то она мне ответила: «Это ничего не значит, вы пожертвуйте какую-нибудь из ваших бижу для нашей лотереи и будете иметь право находиться в нашем заседании». Но я не имела никаких бижу для пожертвования, да и для меня не могло быть интересным сидеть в обществе берлинской аристократии.

Сатин восхищался щедростью Огаревой и говорил, что она делает большой фурор в аристократических берлинских салонах своим умным и живым разговором, что Беттина в восторге от нее и удивляется, как многосторонне образованны русские женщины.

Огарева не была красива, но в ее глазах было какое-то особенное выражение пытливости и пылкости, когда она разговаривала.

Огарева на другой день мне сделала визит, но не застала меня дома. Я сочла за лучшее оказаться невежливой, чем заводить знакомство с светской барыней, и не отдала ей визита. Однако мне пришлось все-таки еще раз встретиться с ней в театре.

В иностранных театрах можно брать по два места в ложе, и случилось так, что другие два места заняла Огарева и ее кавалер, какой-то прусский барон, который указывал нам на сидящих в ложах берлинских аристократов и знакомил с их биографиями. Огарева рассказывала мне, как она познакомилась с Беттиной и как не может добиться от этой болтливой старушки никаких сведений о ее дружбе с Гёте, до такой степени она вся отдалась своему благотворительному обществу. «Приезжайте завтра вечером ко мне,— сказала Огарева,— у меня будет Беттина, и кстати увидите высшее берлинское общество». Но я на другой день уехала из Берлина.

Пробыв немного в Дрездене и Брюсселе, мы отправились в Париж, куда тянуло Панаева ⟨...⟩

Панаев на другое же утро отправился разыскивать В. П. Боткина ⟨...⟩ вернулся домой к 6 часам вечера вместе с В. П. Боткиным, который повел нас обедать в дешевенький ресторан, где мы нашли Огарева, Бакунина, злополучного помещика Заикина и другого приятеля Боткина, тоже помещика, Клыкова. Боткин учил нас и помещиков, как надо заказывать обед, чтобы он обошелся дешевле. Но первый обед все-таки стоил дорого, потому что Огарев потребовал бутылку шампанского, помещики тоже спросили бутылку, чтобы отплатить Огареву; Панаеву тоже надо было потребовать бутылку. В. П. Боткин сердился на такую роскошь, хотя пил шампанское, которым его угощали.

В. П. Боткин и Огарев повели Панаева и помещиков смотреть на какой-то бал, где веселятся гризетки, а Бакунин пошел проводить меня домой ⟨...⟩

Весной я торопила Панаева скорее уехать в Москву [3], так как мне очень хотелось попасть хоть на одну публичную лекцию, которые читал Грановский. Эти лекции, по известиям из Москвы, производили фурор и среди студентов, и среди публики. Я попала лишь на последнюю лекцию Грановского. Он читал в университете. Публики в зале была такая масса, что положительно нельзя было шевельнуться. Конечно, присутствовали и все его приятели ⟨...⟩

По окончании лекции поднялся страшный и продолжительный шум аплодисментов. Студенты бросились к Грановскому, жали ему руки, подняли его и на руках понесли по зале к выходу; на университетском дворе они спустили его на землю, окружили и стали говорить ему речи. Герцен посоветовал нам ехать домой, потому что студенты не скоро отпустят Грановского.

На другой день вечером все собрались к Грановскому. Огарев вернулся из-за границы [4], но один. Его жена осталась в Италии. По этому я могла заключить, что примирение супругов не состоялось. Кетчер приехал с Огаревым и корзиной шампанского. Герцен предупредил Грановского об этом, сказав ему: «Ты, брат, сегодня предоставь нам право похозяйничать у тебя в доме и выпить за твое здоровье». Но оказалось, что Грановский сам распорядился, чтобы гости выпили за его здоровье. Кетчер от восторга захохотал, узнав про такой большой запас шампанского. Все как-то особенно были одушевлены. Герцен сыпал остротами, точно блестящим фейерверком. Щепкин за ужином рассказывал забавные

малороссийские анекдоты. Кетчер, против своего обыкновения, никому не прочитал нотации, так что Корш предложил тост за его кротость и сказал: «Если бы ты, Кетчер, побрился да причесался, то был бы похож на ангела, такую кротость ты проявил сегодня...»

Разошлись от Грановских, когда уже рассвело. Огарев, Герцен, Кетчер пошли провожать нас до гостиницы, в которой мы остановились. Мы шли очень долго, потому что на бульварах останавливались: Огарев читал свои стихи, Герцен от серьезных вопросов перескакивал к шарадам. Хохот Кетчера в утреннем воздухе казался еще громче. Герцен останавливал его, говоря, что от его смеха у всех младенцев сделается родимчик.

Проводив нас до гостиницы, Огарев предложил Панаеву и остальным товарищам погулять еще немного, а потом идти пить чай в трактир, что и было ими исполнено ⟨...⟩

Разрыв Тургенева с «Современником» произвел такое же смятение в литературном мире, как если бы случилось землетрясение. Приближенные Тургенева, которыми он себя всегда окружал, как глашатаи, оповещали всюду о разрыве и цитировали чуть ли не целые страницы ругательств на Тургенева, будто бы заключавшихся в статье Добролюбова. Одним словом, Добролюбов выставлялся Змеем Горынычем, а Тургенев богатырем Добрыней Никитичем, который спас литературу от чудовища, пожиравшего всех как прежних, так и современных авторитетных писателей ⟨...⟩ В это же время появилась в «Колоколе» нелепая статья о Добролюбове, в которой он был выставлен как самая скверная личность [5].

Надо заметить, что «Колокол» уже терял свой престиж [6], потому что сведения, получаемые им из России, начали иссякать и были в большинстве неверны и нелепы; притом же русской печати дозволено было говорить о многих общественных вопросах, так что лондонская газета уже не представляла прежнего интереса.

Нетрудно было догадаться, кем была доставлена статья в лондонскую газету [7]. Один из сотрудников «Современника» нарочно поехал в Лондон, чтобы поговорить с редактором об этой статье [8]. Поездка его продолжалась недолго. Никто не подозревал об его отсутствии, и только четыре лица в редакции знали об этой поездке [9] ⟨...⟩

Тургенев был постоянно окружен множеством лите-

ратурных приживальщиков и умел очень ловко вербовать себе поклонников ⟨...⟩ После разрыва Тургенева с «Современником» эти приживальщики с каким-то азартом принялись распускать всевозможные клеветы и сплетни насчет Некрасова, Панаева, Добролюбова и других главных сотрудников «Современника». Так, между прочим, редакция «Современника» была извещена, что Тургенев уезжает за границу, для того чтобы на свободе писать повесть, под заглавием «Нигилист» [10], героем которой будет Добролюбов, а вскоре после отъезда Тургенева за границу в литературных кружках появились слухи о письме Огарева к Кавелину [11], в котором Некрасов обвинялся в том, что проиграл тридцать тысяч денег, принадлежавших умершей жене Огарева. Никому не казалось странным, почему Огарев так долго молчал об этом; его жена умерла в начале пятидесятых годов, а он только теперь вдруг, ни с того ни с сего, нашел нужным огласить поступок Некрасова.

Карточные дела Некрасова мне были мало известны; но это обвинение я смело могу опровергнуть, потому что я и Грановский очень хорошо знали денежные средства умершей Огаревой. Я вкратце изложу дело, из которого будет видно, имел ли Огарев какие-нибудь данные взвести столь тяжкое обвинение на Некрасова.

В 1849 году Огарева, с которой я близко сошлась во время моего пребывания за границей [12], прислала мне доверенность для взыскания с ее мужа по векселю 100 тысяч рублей [13]. Этот вексель муж выдал ей в первый год ее замужества, лет девять или десять тому назад. Уже два года, как Огаревы жили врозь [14]. Я не хотела брать эту доверенность [15], но литературные друзья Огарева убеждали меня не отказываться, говоря, что если доверенность попадет в руки какого-нибудь ходока по делам, то тот немедленно подаст ко взысканию вексель и наложит запрещение на недвижимое имущество Огарева, который, кроме скандала, мог через это понести большое расстройство в своих денежных делах. Хотя у Огарева было около четырех тысяч душ крестьян в разных губерниях, но он так был безалаберен, что наделал уже долгов. Огарев нарочно сам приехал в Петербург, чтобы упросить меня взять доверенность; он, при свидетелях, сидевших в кабинете у Панаева, дал честное слово, что уплатит по векселю [16]. Этими свидетелями были: Тургенев, Анненков, В. П. Боткин. Я отвечала, что не возьму доверенности до тех пор, пока не получу от Огаревой

согласия на миролюбивое окончание ее расчетов с мужем. Огарева дала согласие [17], и тогда я передала вексель Грановскому [18], предоставив ему иметь дело с Огаревым, находившимся в Москве, и была совершенно спокойна, так как все уверяли, что я не буду иметь никаких хлопот. Упомянутые мною свидетели не могли не знать, что у Огаревой не было никаких капиталов, потому что при них я упрашивала ее мужа послать ей хотя сколько-нибудь денег за границу, так как она сидит без гроша [19].

Вследствие неприятностей, возникших между одним московским семейством и Огаревым, он должен был поспешно уехать из Москвы за границу [20], дав Грановскому честное слово, что его поверенный, общий их приятель [21], уплатит по векселю, так как он поручил ему продать все его деревни, потому что не хотел более возвращаться в Россию. Распродажа имений Огарева произошла втихомолку и очень поспешно: боялись, чтобы не узнали о его намерении эмигрировать и не конфисковали бы его имений. Грановский, видя, что имения распродаются, а по векселю поверенный Огарева не уплачивает, дал мне знать, что необходимо прислать скорей в Москву поверенного, который предъявил бы иск судебным порядком.

Пока Огарева прислала новую доверенность поверенному на предъявление иска, пока он хлопотал судебным порядком о наложении запрещения на имения Огарева, все уже было распродано, за исключением одной небольшой деревни, оцененной в тридцать тысяч, которая и досталась Огаревой [22].

Об этом все приятели Грановского, а также Панаева и Некрасова, знали; следовательно, Огарева не получала от мужа никаких денег в уплату по векселю [23].

Огарева поручила своему поверенному продать доставшуюся ей деревню, и она была продана в кредит покупщику, который выдал два заемные письма сроком на два года [24]. Но Огарева вскоре умерла, а ее наследники, брат и муж, вместо того, чтобы обратиться к покупщику, предъявили иск ко мне и не хотели принять заемных писем, которые хранились у меня, а требовали деревню [25].

Я не буду описывать всех притеснений, которые мне делал их поверенный, принимавший наследство. В конце концов он сделал начет в восемь тысяч за полтора года владения деревней покупщиком, и мне пришлось упла-

тить эти деньги, чтобы скорей развязаться с столь неприятным делом [26].

Из сказанного мною, кажется, ясно, что и после смерти у Огаревой не осталось никаких денег, которые мог бы проиграть Некрасов [27].

Я узнала о письме Огарева от Добролюбова; он не был со мной согласен, что Некрасову следовало доказать имевшимися у нас документами, что обвинение Огарева ложно. «— Не доводить же дело до третейского суда! — сказал Добролюбов.— Ясно, что Некрасову мстят за меня его прежние приятели [28]. Все это печальные факты, показывающие, до какого нравственного развращения могут доходить люди. Неужели они не думают, что настанет время, когда в литературе укажут, как на небывалый пример, что в настоящую эпоху некоторые литераторы из личных своих целей и озлобления позорили себя клеветой... Без ужаса нельзя подумать, что если в литературе увеличится число подобных личностей, то они неизбежно подорвут уважение и доверие к печати в общественном мнении, тогда как каждый представитель ее обязан заботиться о том, чтобы своей безупречною жизнью приобрести право печатно высказывать свои взгляды на недостатки общества».

Некрасова ужасно потрясло письмо Огарева и еще более того, что бывшие его приятели-литераторы старались распространять слухи об этом письме.

«— Я вижу,— говорил он,— что на меня устроена просто облава, затравить меня хотят. Не могу похвастаться, чтобы сочувственно относились к моим стихам в литературе, но уж лично ко мне они выказали бесчеловечное отношение. Право, люди неразвитые, в обществе которых я теперь провожу время, гораздо честнее и гуманнее. Никто из них не дозволяет себе таких клевет. Неразвитым людям еще простительно, если они неразборчивы в поступках относительно своих личных врагов. Не раз вспомянешь Белинского; при нем не позволили бы себе литераторы так изводить клеветой кого-нибудь из личной мести. Очевидно, нам, как мальчишкам с дурными наклонностями, нужен строгий наставник, которого мы боялись бы. Скорей бы сменили нас в литературе люди с более честными нравственными принципами, а мы, кроме дурного влияния, ничего не приносим. Я чистосердечно сознаюсь, что своим образом жизни не могу служить хорошим примером, зато и не считаю себя безупречным рыцарем и не преследую

других за их слабости. Мне только и остается одно утешение, что я в своей жизни не был завистником чужого таланта; напротив, радовался появлению его в литературе» [29].

Панаев написал Огареву письмо и просил меня никому об этом не говорить. Один знакомый Панаева ехал за границу, и он поручил ему отвезти его письмо в Лондон.

Панаев в своем письме стыдил Огарева и, между прочим, писал: «Ты не дал даже себе труда подумать, откуда могли быть у твоей умершей жены 30 тысяч. Тебе следовало прежде проверить слова той личности, которая явилась к тебе с подобным сведением. Что Некрасов ведет большую игру, это верно, но это еще далеко от того, чтобы подозревать его в таком грязном поступке. Да и не нам с тобою быть судьями чужих слабостей, оглянемся лучше на наше прошлое и спросим самих себя — имеем ли мы право презирать людей за их бесхарактерность и дурные увлечения. Если строго судить, то мы должны сознаться во многих наших некрасивых поступках, и гораздо будет лучше, если мы не будем претендовать на роль строгих и карающих судей. Вы второй раз делаетесь сообщниками людей, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы опозорить личность другого человека из личной своей мести и зависти к его таланту. Не будьте так легковерны к словам литераторов, которые являются к вам из Петербурга с подобными сведениями о своих собратах. Вы живете слишком далеко от русской литературы и не следите за ней, судя по статье о Добролюбове, напечатанной в вашей газете; добросовестнее будет с вашей стороны не произносить ваших приговоров русским литераторам» [30].

Получил ли ответ на свое письмо Панаев — не знаю, но только с тех пор в лондонской русской газете более не было никаких статей о Добролюбове и изобличительных писем о Некрасове. Я, так же как и Панаев, не сомневалась в личности, которая подбила Огарева написать столь обидное и несправедливое письмо о Некрасове. 〈...〉

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Мы были небольшие с сестрою, когда после наших несчастий нами стали усиленно заниматься; смерть сестры, кроме горя, произвела страшный испуг. Нас стали беречь, кутать, maman запиралась и плакала в своей комнате, отец искал облегчения в деятельности. Однако и он не мог долго выдержать в деревне, в этой новой обстановке; мы поехали в Москву, где пробыли с полгода. ⟨...⟩

Мы занимали тогда дом, нанятый для Николая Платоновича Огарева с его первою женою Мариею Львовною, рожденною Рославлевою. Это было в 1840 году; они уезжали из Москвы более для того, чтобы незаметно пожить врозь; тогда уже между ними были большие несогласия. Огарев проводил время с друзьями, с Герценом, Кетчером, Евг. Фед. Коршем, Мих. Сем. Щепкиным и другими. Тоже близкая с ними в переписке, живя в Москве, Марья Львовна не ладила с кружком Огарева, ревновала к нему мужа и, желая втянуть его в аристократический круг, задавала балы, на которых Огарев отсутствовал. Он не мешал ей бросать деньги, как она хотела, но отстаивал свою личную свободу и, не разделяя ее вкусов, уезжал к друзьям; но об этом знали только в кружке; от посторонних Огарев тщательно скрывал свой домашний разлад.

Я была лет шести, когда видела Огарева в первый раз; он был тогда совсем молодой человек [1]. Вскоре он приехал к нам с женою. Он любил рассуждать с моим отцом, слушать его рассказы о 14-м декабря, о друзьях декабристах; иногда они играли в шахматы. Марья Львовна всегда спешила уехать, торопила мужа. Она была довольно пикантная брюнетка, бойкая, живая; меня, вероятно, как младшую в семье, ласкала более других.

Она была племянницею Александра Алексеевича Панчулидзева, пензенского губернатора, в канцелярии которого числился на службе Огарев во время своей ссылки; в доме губернатора он и познакомился с Мариею Львовною и вскоре женился на ней. В то время отец Огарева, разбитый параличом, жил постоянно в деревне. Быть может, он мечтал об ином браке для единственного сына, который, кажется, по матери находился в родстве с аристократическим домом Гогенлоэ; но отец кончил тем, что уступил желанию сына; вскоре после его женитьбы он умер 〈...〉

В то время нам писали из Москвы, что Огарев там пирует с друзьями; они провожали Александра Ивановича Герцена, который уезжал со всею семьею за границу на неопределенный срок. Иван Алексеевич Яковлев уже скончался, и Герцен чувствовал себя вполне свободным.

Нам было любопытно посмотреть на Огарева после его семилетнего отсутствия и хотелось видеть человека, только что возвратившегося из чужих краев. Когда Огарев приехал наконец в деревню, мой отец очень обрадовался ему, а мы с ним дичились, да и репетиции поглощали все наше время; мы были очень заняты постановкою двух пьес к 27 ноября, дню рождения моей сестры Елены, который праздновался всегда торжественно.

В то время нам жилось очень весело и легко, ученье не имело всей своей правильности, зато мы много читали; но в описываемое мною время были всецело поглощены театром: Желтухин был славный актер, жена его тоже хорошо играла, меня хвалили 〈...〉

Наконец торжественный день 27 ноября настал; в доме поднялась страшная суетня; какой-то маляр дорисовывал наверху декорации, m-lle Michel писала афишки, а мы... мы ничего не делали.

Давно не было в Яхонтове такого праздника; гостей было человек до пятидесяти [2] 〈...〉

После окончания спектаклей гости разъехались, и наша жизнь пошла опять своим обычным чередом; однако начинали поговаривать о нашем путешествии в чужие края на целый год. Огарев приезжал к нам часто и оставался по нескольку недель [3].

Постараюсь передать его наружность в то время: он был повыше среднего роста, не худ и довольно широк в плечах, черты его лица были неправильны, но очень

приятны; большие серые глаза имели очень умное и кроткое, подчас немного задумчивое выражение; волосы его были темно-русые, кудрявые и очень густые. Он был бесконечно любим крестьянами и дворовыми как в его имениях, так и в нашем. Когда мы обе, сопровождаемые Огаревым, прогуливались по нашему саду, то крестьяне выбегали иногда к нам радостно и говорили: «Мы варим брагу к празднику, попробуйте, Николай Платонович». Огарев брал стакан из их рук, выпивал брагу и хвалил ее, улыбаясь с своим обычным добродушием.

Помню, как однажды мы подошли к избе моей кормилицы; увидав нас, она высунула торопливо голову из маленького окошечка и сказала:

— Погодите, Николай Платонович, не ходите на двор, у нас злая собака, пожалуй, она вас укусит.

Огарев отвечал уже со двора и очень спокойно:

— Не беспокойся, Марфа Ивановна, она уж укусила меня.

Надобно было что-нибудь слишком необыкновенное, чтобы Огарев потерял терпение и рассердился, и то на равных, а не на подчиненных; он был олицетворенный покой и кротость. Понемногу мы привыкли к нему. Он жил у нас в верхнем этаже; не имея возможности послать за Огаревым, чтобы звать его на прогулку, когда наши занятия с m-lle Michel бывали окончены, мы условились с ним играть на фортепиано финал из «Сомнамбулы» [4], бывало, как только Огарев услышит этот мотив, так и сойдет в зал с картузом в руках.

— Mesdemoiselles, je suis sous les armes *,— говорил он шутя, и мы отправлялись с ним в лес; иногда брали с собою кофе, кофейник и сливки. Утомившись ходьбою, садились большею частию у Дубового оврага; Огарев разводил огонь, а мы варили кофе. Хорошее время! Легко и светло воспоминание о нем, никто из нас ни в чем не мог упрекнуть себя. Удивляюсь только, как Огарев не скучал с нами; он говорил с нами о наших занятиях, о чтении, о Герценах, с которыми мы должны были скоро увидеться в Италии и познакомиться короче; Огарев смотрел на нас, как на детей.

Сначала нам не верилось, что мы едем за границу, однако начались и серьезные приготовления к отъезду; m-lle Michel торжествовала: наконец осуществлялась ее заветная мечта; нас тоже многое влекло к перемене,

---

* сударыни, я под ружьем *(фр.)*.

к путешествию... но жаль было расставаться со старою нянею Феклою Егоровною и с Огаревым. Последний провожал нас до первой станции, вспрыгнул на подножку нашей кареты, крепко пожал нам руки и отдал запечатанную записочку к Наталье Александровне Герцен, потом сел в свое ландо и поскакал обратно в Яхонтово, откуда должен был возвратиться в свое имение ⟨...⟩

Огарев дал моему отцу записочку к берлинскому жителю, Герману Миллеру-Стрюбингу, который был для русских вроде проводника; предупрежденный письмом, он встречал отрекомендованных ему русских, показывал им все, что заслуживало внимания в Берлине, возил их в Потсдам, в Сансуси и пр. и провожал до вагона, который увозил их из Берлина. Так было и с нами; показав нам все, что следовало, объяснив все на ломаном французском языке, не разлучавшийся с нами в продолжение пяти дней, Герман Миллер-Стрюбинг усадил нас наконец в поезд, который часов через шесть доставил нас в Дрезден ⟨...⟩

В Дрездене мы пробыли несколько месяцев ⟨...⟩ Но вот предо мною Вена, Прага, Триест, Венеция, Пиза, Генуя, Ницца ⟨...⟩

Не трудно было нам найти в Ницце Ивана Павловича Галахова: за исключением его, в то время не было иностранцев в Ницце. Иван Павлович принадлежал к московскому кружку Герцена и Огарева; он был человек весьма умный и образованный, в деревне бывал редко и живал не подолгу, посещая только нас, а с прочими соседями не был даже знаком.

По приезде в Ниццу вечером мы отправились все к Ивану Павловичу⟨...⟩ Посидев немного, мы простились с Иваном Павловичем и уложили все с вечера, чтобы ранее выехать из Ниццы обратно в Геную ⟨...⟩

Из Генуи мы отправились морем в Чивита-Веккиа, а оттуда, опять в дилижансе, в Рим. Вечером, усталые, разбитые ездою в дилижансе, мы въехали наконец в «вечный город» и остановились в гостинице «Император», на улице Бабуине; поутру отец мой узнал адрес Герцена, и мы, нетерпеливые, отправились все к ним [5] ⟨...⟩

С того дня как мы встретились с Герценами, мы стали неразлучны; осматривали вместе все примечательное в Риме — а это немалая задача — и каждый вечер проводили у них; тут составлялись планы для следующего дня; иногда Александр Иванович читал нам то, что он

писал в то время о Франции; иногда Наталья Александровна уводила меня в свою комнату и читала мне стихотворения Огарева, беседуя со мною постоянно о нем.

— Какая глубокая натура, какое сродство между моею душою и его! — говорила она восторженно [6].

Тогда я много вспоминала об Огареве и жалела, что его нет с нами ⟨...⟩

Вскоре нам пришлось оставить Италию; к тому же интересно было взглянуть на республиканский Париж. Мой отец горел нетерпением видеть наяву свои мечты ⟨...⟩

Недели через две-три после нашего приезда мы были свидетелями необычайного явления: рабочие (уверяли, будто тысяч до семнадцати) шли в мэрию просить работы, шли в большом порядке и пели Марсельезу. Я никогда не слыхала ничего подобного; всякий, кто слышал Марсельезу, может себе представить, как она должна была глубоко потрясти присутствовавших, исполненная семнадцатью тысячами голосов и при такой обстановке: рабочие шли голодные, унылые, мрачные ⟨...⟩

Осенью 1848 года мы вернулись из чужих краев, тоже морем, через Кронштадт; тогда это было самое удобное средство передвижения. Вещи наши осматривались снисходительно; в таможне были предупреждены о нашем приезде, контрабанды у нас не было, но были французские газеты⟨...⟩ За них-то мы и опасались; однако все обошлось благополучно; но по всему было заметно, что настало время больших строгостей ⟨...⟩

В эту эпоху было решено русских не пускать за границу, кроме редких исключений, по очень серьезным болезням, а иностранцев, в особенности французов, не впускать в Россию ⟨...⟩ В 1855 году, уже в царствование императора Александра II, эта строгость была отменена; наш заграничный паспорт первый, помню, был выдан по мнимой болезни Огарева ⟨...⟩

Проездом из Петербурга в наше имение мы побывали у деда моего, генерал-майора Алексея Алексеевича Тучкова ⟨...⟩ В это время нам очень хотелось видеть знаменитый кружок Герцена и Огарева; теперь мы уже понимали его значение. Мой отец всегда бывал там и был всеми очень чествуем, как декабрист, и к нему ездили эти господа, но мы тогда были почти детьми. Наконец мы увидали всех или почти всех ⟨...⟩

...После тяжелых объяснений с моим отцом, который сначала не мог слышать о нашем браке, было решено ехать всем в Петербург, где Огарев надеялся уладить дело развода с своею первою женою, Мариею Львовною Огаревою. Она была в то время за границею; там было поручено А. И. Герцену узнать у нее, можно ли надеяться на ее согласие.

И там и тут все оказалось безуспешно: в Петербурге, в эту строгую административную эпоху, было почти немыслимо устроить такое трудное дело.

Мы остановились в Петербурге, так же как и Огарев, в гостинице Кулона, в то время одной из лучших или даже лучшей. Огарев почти ежедневно был посещаем своими многочисленными друзьями, которых он нередко приводил и к нам; между прочими чаще бывали Сатин, Кавелин, Арапетов, Михаил Александрович Языков, Ив. Ив. Панаев и Н. А. Некрасов. Тургенев находился в то время в своей деревне Спасское; тогда говорили, что он был сослан туда за то, что был в Париже во время баррикад...

Во время нашего пребывания в Петербурге помню один случай, в котором я, случайно или по какому-то женскому инстинкту, спасла Огарева и некоторых друзей его.

В начале страстной недели (1849 г.) у нас собралось несколько друзей Огарева; между прочими помню Сатина, Кавелина и Арапетова. Последний рассказывал с большим жаром о собраниях М. В. Петрашевского: к нему собирались даже личности, приехавшие в столицу только на короткий срок. Знакомые Петрашевского привозили к нему своих знакомых; вообще, доступ в эти сборища был очень легок, и потому собрания были весьма многолюдны; особенно обращал на себя внимание обычай разговляться в страстную пятницу, и это происходило (как говорили тогда) уже несколько лет, посреди Петербурга[7].

— А полиция? — спросила я не без удивления.

— Вероятно, полиции давно все известно,— отвечал Арапетов,— но она ничего не находит особенно важного в этих собраниях.

— О чем же говорится? Что делается на этих вечерах? — допытывалась я.

— О! не знаю, как вам сказать; порицают многое, хвалят то, что для нас запрещенный плод,— говорил шутя Арапетов,— а главное: мужчины одни, дам нет,

mille pardons *, вина хорошие, весело, легко на душе, а положительной цели, говорят, никакой нет.

Однако мне не нравилось описание этих вечеров; в самом деле, как тут не быть тайной полиции и как так рисковать без всякой определенной цели?

Арапетов звал всех присутствующих мужчин ехать разговляться в пятницу к Петрашевскому, а я стала их уговаривать не ездить, потому что глупо так шутить своею жизнью.

— Но ведь тут нет никакого риска,— возразил Иван Павлович Арапетов,— это вам, приехавшим из степи, кажется опасно, а нам это только забавно. Поедем, Огарев; если ты не поедешь, и я не поеду.

Кавелин подошел ко мне и с свойственною ему мягкостью старался убедить меня не страшиться такого безразличного поступка. Как более близкий друг Огарева, он был посвящен в наши планы и мечты и знал, как дорого было для меня существование Огарева; но и он не мог меня убедить в безопасности посещения этих бесед.

Прощаясь, Арапетов сказал Огареву:

— Ухожу, ничего от тебя не добившись; заезжай за мною в пятницу вечером, у меня будет человек, который нас представит Петрашевскому; ну, смотри, приезжай, а то ты мне испортишь славный вечер, без тебя я не поеду.

Огареву очень хотелось обещать, но, бросив беглый взгляд на мое смущенное, взволнованное лицо, он молча пожал руку Арапетову.

— Не ожидал я от вас такой осторожности,— сказал мне Кавелин, улыбаясь,— а еще сами ходили на баррикады.

Однако никто из присутствующих не был на вечере у Петрашевского; я с радостью приняла эту жертву.

На следующий день этой роковой пятницы у Огарева был тоже вечер, собралось довольно много его друзей; Кавелин, познакомившись с Спешневым, привез его к Огареву. Новый собеседник обращал всеобщее внимание своею симпатичною наружностью. Он был высокого роста, имел правильные черты лица, темно-русые кудри падали волнами на его плечи, глаза его, большие, серые, были подернуты какою-то тихою грустью. Рассказывали, что он только что вернулся из чужих краев, где недавно похоронил женщину, для которой в продолже-

* тысячу извинений *(фр.)*.

ние нескольких лет оставлял свою страну, свою престарелую мать. Он вернулся убитый этой потерею, с двумя детьми, которых его мать взяла на свое попечение.

— Вот,— говорил мне с упреком Кавелин,— г. Спешнев разговлялся вчера у Петрашевского, однако он цел и невредим и говорит, что там было очень оживленно, а вы нам помешали, это упрек вам навсегда!

Я чувствовала себя в самом деле как бы виноватою и молча, опустив голову, выслушивала нравоучение Константина Дмитриевича, хотя все-таки оставалась при своем мнении, потому что у Петрашевского велись книги, где записывались имена посетителей за несколько лет.

Вечер у Огарева был весьма удачен, оживлен, сам хозяин был очень доволен; из дам были только Авдотья Яковлевна Панаева, моя мать и я с сестрою; мы только потому тут были, что жили в одном этаже, и так как было много гостей, отворили двери в нашу квартиру; нам любопытно было посмотреть на этот праздник, где было так много мужчин и так много дорогих вин, которые лились рекою 〈...〉

Вечер Огарева кончился в пятом часу; хотя мы две и ушли раньше, но не могли заснуть от веселого гула раздающихся голосов. На другой день было светлое Христово воскресение. Пасха — с детства мой любимый праздник...

Я сидела с матерью и сестрою за чайным столом: было часов девять. Огарев еще не показывался, так как ему было необходимо спать около восьми часов, иначе он подвергался нервному припадку. Вдруг дверь отворилась и вошел Константин Дмитриевич Кавелин, бледный, расстроенный; однако мы отнесли его наружный вид к утомлению после бессонной ночи.

Поздоровавшись с нами, Константин Дмитриевич спросил, видели ли мы Огарева. На наш отрицательный ответ он выразил желание велеть его разбудить.

— Хорошо,— сказала я,— сейчас скажу его камердинеру, но прежде посидим немного; что вы так бледны, устали?

— Нет, не от того, но тут совершаются страшные вещи,— сказал он, понизив голос,— Петрашевский арестован, Спешнев тоже; там книги велись, записывались имена всех посетителей; говорят, аресты не ограничатся Петербургом, они будут производиться по всем концам России, много жертв будет, и все это из пустяков.

Несчастная, роковая пятница,— продолжал он задумчиво и, подняв голову, прибавил с каким-то нервным подергиванием губ: — а вы нас спасли! ⟨...⟩

После этих арестов и толков в Петербурге стало невыносимо тяжело; дело развода было оставлено; напротив, надо было стараться не обращать на себя внимания. Мы вернулись в Москву.

Тут мой отец требовал только одного, чтобы мы хотя тайно обвенчались.

Огарев и Сатин,— последний тогда был уже женихом моей сестры,— объехали все окрестности Москвы, отыскивая податливого священника, и постоянно возвращались без успеха. В то время я встретила в доме моего деда какого-то чиновника по фамилии Цветкова, знающего хорошо законы. Мне не трудно было, под предлогом любознательности, выведать от него, какие последствия могут постигнуть двоеженца. Убедившись из наивного рассказа Цветкова, что за такой поступок следует строгое наказание в виде заключения в Соловецкий монастырь или еще куда-то, я решилась ни за что не венчаться с Огаревым,— легче было расстаться, чем подвергать его явной опасности.

Когда, по обыкновению, оба друга приехали к нам с своих поисков, они казались очень веселы: «Победа, победа!» — кричали они издали.

— Что такое? — спросила я.

— Наконец,— сказал Николай Михайлович Сатин,— мы разыскали старого священника, который согласен вас венчать без бумаг; конечно, он догадывается, что что-нибудь не в порядке; старик говорит: я стар, пусть накажут, как знают, только дайте денег, много денег, у меня живет внучка-сирота, я ей оставлю.

— Но я, Сатин, раздумала,— сказала я тихо,— я не хочу венчаться.

Оба друга посмотрели на меня как на больную.

— А мы хотели идти обрадовать папа,— сказал Огарев,— что это за сюрприз?

— Пожалуйста, не говорите папа ни слова; пусть он думает, что согласного священника не нашли. Помните, как я вас, против вашей воли, сберегла от роковой пятницы Петрашевского; ну, наше венчание еще тысячу раз опаснее.

Пришлось уговаривать отца отпустить нас в Одессу, где у Огарева были тоже друзья; там надо было найти капитана английского корабля, который бы согласился

взять нас без паспорта. Паспортов за границу в то время не выдавали. Мой отец настаивал только на том, чтобы, приехавши куда бы то ни было за границу, непременно венчаться, хотя бы в лютеранской или католической церкви.

После свадьбы сестры, которою спешили ввиду приближения поста, о котором сначала все позабыли, был наконец назначен день нашего отъезда; родители мои уезжали в деревню, мы — в Одессу, а сестра с мужем оставались в Москве. Ах, эти тяжелые прощания! Сколько их в жизни каждого человека, сколько их досталось и на мою долю! Помню, что в этот день была страшная гроза, потом дождь ливнем лил... говорят, это счастливая примета...

Когда мы добрались до Одессы, Огарев занялся приискиванием английского капитана, но ему не было и в этом удачи: история Петрашевского с многочисленными арестами напугала всех — никто не решался ни на какой смелый поступок; в то время все было запугано. Друзья Огарева, между которыми помню Александра Ивановича Соколова, советовали Огареву ехать в Крым и там выжидать, пока благоприятный случай представится уехать за границу.

Итак, совершенно случайно мы поселились на некоторое время в Крыму и провели там восемь месяцев [8].

Я была в восторге от климата, от величественной природы; благоухание распускающихся почек на миндальных деревьях в нашем саду, виноградные лозы,— все мне напоминало наше пребывание в Италии, мою страстную симпатию к Наташе Герцен, от которой получались нетерпеливые письма, требовавшие, чтобы мы ехали к ним скорее, скорее...

В то время я много ходила с Огаревым по руслу быстрых и неглубоких речек в окрестностях Ялты; там мы находили бездну окаменелостей, часть которых впоследствии привезли в Яхонтово. В одну из этих прогулок я сильно промочила ноги и тяжко захворала воспалением в груди; сначала Огарев сам меня лечил, но, заметив, что болезнь принимает более серьезный характер, он пригласил тамошнего врача. Я была близка к смерти, но молодые силы победили болезнь и судьба сберегла меня для невероятных, тяжких испытаний. Я выздоровела, медленно поправляясь, и, быть может от слабости, впала в ностальгию,— я только и думала о моей семье, о свидании с нею... Огарев был глубоко потрясен моим ду-

шевным состоянием и решился ехать обратно в Яхонтово, тем более что в то время невозможно было ехать за границу.

Мы вернулись домой в глубокую осень [9]; верст за сто моя сестра с Феклою Егоровною выехали нам навстречу; мы и плакали, и смеялись, и не могли наговориться.

Мои родители занимали первый этаж нашего дома, а мы расположились наверху. К сожалению, как зимний путь открылся, мой зять уехал с сестрою в Москву, и мы остались одни наверху. Огарев развесил портреты своих родителей и деда, превосходно писанные масляными красками; покрыл стены литографиями любимых поэтов и друзей своих с рисунков Рейхеля и Горбунова,— тут был весь московский кружок; посреди комнаты стояло его роялино, на котором он так любил фантазировать по ночам.

Отец мой был в печальном настроении духа; он был очень нелюбим взяточниками и ждал доносов по поводу нашего смелого поступка. С губернатором А. А. Панчулидзевым он никогда не ладил; кроме того, Панчулидзев был дядя Марьи Львовны Огаревой.

Вскоре после нашего возвращения пришла официальная бумага от губернатора к Огареву относительно его бороды; в бумаге было сказано, что «дворянину неприлично носить бороду» и, следовательно, Огарев должен ее сбрить. Огареву очень не хотелось подчиниться этому требованию, он обрил только волосы на подбородке, что очень не шло к нему.

У Огарева была писчебумажная фабрика в Симбирской губернии, и хотя он только изредка наезжал туда, но ему приходилось много разъезжать для помещения бумаги — то на Нижегородскую ярмарку, то в Симбирск и в другие места.

Вскоре после отъезда Огарева в Симбирск, может, через месяц или два, не помню, в феврале или марте 1850 года [10], моя мать вошла ко мне наверх, часов в десять утра, и сказала мне испуганно: «К нам приехал жандармский генерал!»

— Это я причина всех этих бед! — вскричала я, и полились упреки себе. Слезы градом катились по раскрасневшемуся лицу; я их наскоро утерла и последовала за моею матерью в кабинет отца, в ту самую комнату, где я ныне, шестидесяти лет, пишу эти строки.

Отец мой был с двумя мужчинами: один из них был жандармского корпуса генерал, невысокого роста, с до-

бродушным выражением в лице, другой был чиновник особых поручений Панчулидзева, son âme damnée *, как говорят французы, кривой Караулов, о котором рассказывали столько анекдотов по поводу его фарфорового глаза. Последнего я знала. Отец мне протянул руку с своею кроткою, очаровывающею улыбкою и познакомил меня с генералом, но все мое внимание было поглощено Карауловым. Я не вытерпела и подошла прямо к нему; он отступил.

— Это вы с вашим подлым губернатором сделали донос на моего отца! — сказала я, не помня себя от гнева.

Он пробормотал какое-то извинение. Генерал взял меня под руку и просил успокоиться.

— Пойдемте в залу, мне нужно с вами поговорить,— сказал он учтиво.

Мы вышли и сели рядом в зале.

— В каких вы отношениях с дворянином Николаем Платоновичем Огаревым? — был первый вопрос.

— В близких отношениях,— отвечала я,— я не могу обманывать, да и к чему?

— Стало быть, вы венчаны? Где? Когда? — спросил поспешно генерал Куцинский.

— Нигде, никогда! — вскричала я с жаром.

— В Третьем отделении не верят, чтобы Тучкова была не венчана; это не может быть,— сказал генерал Куцинский,— будьте откровенны.

— Нет, нет, я не венчана, будьте вполне в этом уверены. Огарев не двоеженец, он ни в чем не виноват перед нашими законами; я предпочла пожертвовать именем, семьею, чем подвергнуть его такой ответственности.

Тогда я ему рассказала откровенно все наши планы и как я сама восстала против нашего брака; рассказала, что Огарев расстался с Марьею Львовною уже семь лет, но что она ни за что не соглашалась на развод, только чтобы мучить нас.

Генерал Куцинский слушал и удивлялся моему безыскусственному рассказу. Потом он мне сделал несколько вопросов о моем отце:

— Правда ли, что он возмущает крестьян?

— Мой отец любимец народа; о нет, напротив, он их учит надеяться на законы, на правосудие, не отчаивать-

* его покорный раб *(фр.)*.

ся... он за каждого хлопочет, он заставляет взяточников отдавать награбленное; я горжусь своим отцом, для меня его служба лучше всякой другой,— говорила я с одушевлением.

Я рассказала генералу Куцинскому, как мы слышали раз с Огаревым, в дороге, не помню, в Тамбовской или Симбирской губернии, от простого человека, что на Руси только один человек жалеет крестьян; на мой вопрос: как его зовут? — он отвечал: «Его имя слышно далеко, неужели вы не слыхали: Тучков!» — «Вот наша награда»,— сказала я с жаром.

— Да вы все увлекаетесь,— возражал генерал Куцинский,— но вот это-то и вредит вашему отцу; его выставляют как человека вредного образа мыслей, слишком любимого крестьянами; говорят, что он позволяет своему бургомистру сидеть в его присутствии; говорят еще, что он на сходе говорил что-то о религии.

— Это все мне известно, и я могу это объяснить: отец сажал при себе бургомистра, потому что у последнего болела нога; на сходе он говорил, чтобы бабы давали молока детям, когда отнимают их от груди, потому что во время постов царствует большая смертность между малолетними; в подтверждение своих слов отец повторил слова Иисуса: «Не то грех, что в уста входит, а то, что из уст выходит». Что же тут предосудительного, что его любят? Это только потому, что он один не грабит в своем уезде, а может, и во всей губернии. Если б все были такие, как мой отец, народ не обратил бы на него особенного внимания.

Мне казалось, что мое увлечение благотворно подействовало на генерала Куцинского.

Он протянул мне руку и сказал с чувством:

— Я сам из крепостных, дослужился до этих эполет, это бывает очень редко. Благодарю вас, что вы не судили меня по моему мундиру, ведь и в нем можно иногда служить добру,— сказал генерал Куцинский.

— Теперь мой черед,— воскликнула я,— сделать вам один вопрос: вероятно, и Огарев будет арестован? Скажите правду.

— Я не имею такого поручения, я не думаю...— отвечал он. Я встала, в моих глазах, вероятно, виднелось недоверие к словам Куцинского.

— Пойдемте в кабинет посмотреть на гиену, радующуюся своей жертве,— сказала я.

Генерал встал и пошел в кабинет, а я вернулась в зал

и постучала в комнату моей матери. Я ей рассказала мое намерение предупредить Огарева и просила ее приготовить для посланного рублей сто. Она одобрила мой план. Я написала несколько слов к Огареву для предупреждения об его вероятном аресте, передала записку и деньги, полученные мною от моей матери, молодому парню, грамотному, из служащих в конторе, Варламу Андрееву, и велела ему ехать на перекладных в Симбирск, к Огареву, не теряя ни минуты и ни с кем не разговаривая.

Все было исполнено в точности.

На большой дороге мой посланный съехался с военным, ехавшим из Пензы по одному направлению с ним. На станциях они оба требовали скорее лошадей и молча приметили черты друг друга. Конечно, офицер получал скорее лошадей, но тотчас за ним выезжал и Варлам Андреев; магическое слово: «На водку» — мчало его не хуже офицера. Диккенс говорит: «Две тайны рядом сидели в дилижансе, потому что человек для другого человека всегда тайна»; так было и в этом случае: две эти тайны ехали по одному пути, имея одну цель, но не зная о том. Разница была только в том, что, достигнув наконец Симбирска, военный должен был представиться симбирскому губернатору, объявить ему об особом повелении и, взяв с собою губернаторского чиновника особых поручений, ехать с ним отыскивать квартиру Огарева, тогда как мой посланный, прочитав на конверте адрес, взял извозчика и тотчас прибыл в квартиру Огарева, которого разбудил и успел предупредить, подав ему мою записку. «Огарев,— писала я,— у нас жандармский генерал, вероятно, арестует и увезет папа в Петербург по особому повелению, готовься к тому же, не теряя ни минуты». Все это было сделано точно, но немного резко, второпях. Нервный припадок был последствием этих известий. Когда Огарев пришел в себя, он стал готовиться в дорогу с ожидаемым жандармским посланником. Писать было некогда, он отослал в Яхонтово то, что ему не нужно было брать в Петербург.

Наконец офицер явился к Огареву в сопровождении чиновника особых поручений губернатора и объявил ему повеление арестовать его и везти в Петербург. Огарев с своею кроткою улыбкою и добродушным видом попросил позволения сделать свой туалет и позавтракать. Офицер охотно согласился и сам позавтракал с ним. Мой посланный стоял еще перед Огаревым, когда офицер

вошел; они узнали друг друга, глаза их встретились, и мимолетная улыбка осветила черты офицера.

Грустно мы сели в Яхонтове за стол; отец мой, как всегда с гостями, был очень предупредителен с генералом Куцинским и с Карауловым, но мы трое делали только вид, что обедаем,— у каждого из нас было много тяжелого на душе. Когда кончился обед, генерал вежливо попросил дозволения осмотреть бумаги и книги отца, но он, видимо, очень неохотно исполнял эту обязанность, тогда как Караулов con amore * рылся по всем столам. Потом генерал Куцинский подошел к моему отцу и сказал ему, смягчая по возможности неприятную весть:

— Теперь нам бы пора в дорогу, Алексей Алексеевич, уж не рано.

— Куда? — спросил рассеянно мой отец.

— В Петербург, по особому повелению,— был ответ генерала Куцинского.

Отец мой скоро собрался; мы обе с матерью помогали укладывать его вещи; только он настоял, чтоб ехать в его кожаной кибитке и взять с собою камердинера, Ивана Анисимова Колоколова. Генерал Куцинский соглашался на все его желания, сел в кожаную кибитку с отцом; на облучке, возле ямщика, помещался жандармский солдат. Наш служащий Иван ехал позади, в кибитке генерала Куцинского.

Уезжая, отец мой много раз повторял:

— Reste ici, ne quitte pas la maison, promets-moi, Natalie **,— говорил он мне. Я молча целовала его руки, потому что чувствовала, что не буду иметь силы исполнить его желание.

Едва кибитки скрылись из наших глаз, как мы вернулись в дом, заплаканные, встревоженные. Мы отпустили людей и, оставшись одни, утерли слезы и решили ехать тотчас в Петербург, чтобы узнать их участь, быть может, помочь им или по крайней мере разделить с ними то, что судьба им готовила. Maman послала поутру за бургомистром и занялась с ним добыванием материальных средств для нашего отъезда, а я наскоро приготовила восемь писем к сестре в Москву; письма эти должны были высылаться без нас, чтобы ее не тревожить молчанием, так как она в конце февраля должна была родить. Заметив приготовления к скорому отъезду, ста-

* с любовью (*ит.*).
** Оставайся здесь, не бросай дома, Наташа, обещай мне это (*фр.*).

рая няня наша Фекла Егоровна стала просить нас, чтобы мы ее взяли с собою; она на это имела полное право, потому что была так же убита нашим горем, как и мы сами.

Весть об аресте и увозе моего отца в Петербург быстро разнеслась по уезду: в продолжение нескольких дней, проведенных нами в сборах, по ночам приезжали из многих сел крестьяне — русские, мордва, татары — спросить у нас — правда ли, верно ли это? Мы выходили к ним с матерью и видели их неподдельное горе, слышали их плач; днем они не смели уже ездить к их защитнику. «Неужто враги его погубят? — говорили они простодушно,— нет, царя не обманешь, он увидит правду и выпустит Лексея Лексеевича».

Услышав роковую весть, наши ближайшие соседи приехали навестить нас. Они были люди старого закала, грубые, невежественные, обирали своих крестьян, водили дворовых в самотканках и босиком. При нас они ужасались нашему несчастию, но едва мы выходили для приготовления к нашему отъезду, как они говорили нашим служащим: «И давно бы надо его сослать, ваш барин — дворянин, а сам все за мужиков! Вот и дошло наконец!»

Наконец, усевшись все три рядом, а буфетчик наш, Александр Михайлов, на облучке, возле ямщика, мы выехали из Яхонтова и на четвертый день, усталые, измученные, прибыли в Москву и остановились в гостинице «Дрезден». Мы тотчас же послали за Сергеем Ивановичем Астраковым, коротким приятелем Огарева и Сатина. Он мог нам передать о состоянии здоровья сестры, которое нас очень тревожило. Хотелось бы тотчас ее видеть, но мы боялись слишком потрясти ее. Астраков тотчас явился, а я, стоя у окна в нетерпеливом ожидании, думала, что за причина, что он очень долго не едет. Тут пошли расспросы с обеих сторон и обмен дурных вестей. Астраков передал нам, что зять мой, Н. М. Сатин, арестован и увезен в Петербург, о чем сестра скрывала в своих письмах, и что 24 февраля у сестры родилась дочь, которую назвали Натальей в честь нас обеих.

Желание увидать сестру еще усилилось от этих известий, но теперь для нее всякое волнение было еще опаснее. Я попросила Астракова узнать в московском кружке, у Кетчера или Грановского, не опасно ли для сестры свидание с нами, и сказать, что если это рискованно, то мы уедем в Петербург, не повидавшись с нею.

Но едва Астраков произнес мое имя, как полились враждебные речи: «Она погубила своего отца и Огарева, да и Сатина тоже, а теперь ей мало, приехала сюда, чтобы убить сестру»,— вскричал один из них.

Астраков потерял терпение, наговорил им кучу колкостей и уехал, сказав, что я не поеду к сестре. Тем и кончилась эта бурная конференция друзей московского кружка о моем свидании с сестрою. После Астракова нас навестил лучший друг моего отца, Григорий Александрович Римский-Корсаков. Он вошел печальный и, пожимая наши руки, сказал:

— Dans quel temps vivons nous! *

Я отозвала его в другую комнату и сказала ему:

— Je vous connais depuis mon enfance, je vous aime presqu'à l'égal de mon père, dites, est-ce que vous ne pouvez m'estimer parce que j'aime un homme marié? Je tiens à connaitre votre opinion **.

Очевидно, он не ожидал этого вопроса, смутился и отвечал нерешительно:

— Vous ne portez pas mon nom, c'est très malheureux...***

Я встала и положила конец этому разговору. Корсаков желал загладить сказанное им, но я не слушала его речи, а вернулась к моей матери, около которой и села. Корсаков последовал за мною. Тогда явился другой посетитель, не друг, а приятель моего отца, или, лучше сказать, давнишний знакомый его, Иван Николаевич Горскин. На словах он показывал большое участие к нам, но проглядывало какое-то чувство зависти, даже затаенной радости.

— Вы не должны беспокоиться о них,— говорил он нам развязно,— Закревский мне передал, что их ожидает: одного в Вятку сошлют, другого — в Пермь, третьего...

Я не дала ему докончить, я чувствовала, как кровь бросилась мне в голову.

— Извините меня, Иван Николаевич, если я вас перебиваю, но Закревский едва ли мог вам это сказать, я этому не верю...

---

* — В какие времена мы живем! (*фр.*)

** — Я вас знаю с детства, я вас люблю почти как моего отца, неужели вы можете не иметь уважения ко мне, потому что я люблю женатого человека? Я хочу знать ваше мнение (*фр.*).

*** — Вы не носите моего имени — это большое несчастье... (*фр.*)

— Но ему сказал генерал Куцинский, который ездил за вашим отцом,— возразил Иван Николаевич.

— Едва ли генерал сам знает, а если и знает, то не может ни с кем говорить о государственной тайне; я видела его, он слишком осторожен, чтобы сделать подобную ошибку,— сказала я сухо.

— Да, да,— подхватил обрадованно Корсаков,— Наталья Алексеевна справедливо заметила, что это все вздор: кто может угадать наказание, когда никому неизвестно, в чем состоит обвинение.

Выходка Ивана Николаевича бросала на него не совсем выгодный свет; посидев немного, он удалился и более к нам не являлся в Москве.

Убедившись, что мы не можем видеться с сестрою, мы поехали в Петербург, не видавшись тоже и с моим дедом, от которого скрывали арест моего отца, потому что дед был в преклонных годах.

В Петербурге, остановившись в гостинице, мы известили о своем приезде дядю Павла Алексеевича Тучкова-младшего, брата моего отца. Мы поделились с ним всеми своими тревожными новостями, погоревали вместе. Он нас ободрял, но сам казался очень печальным по поводу ареста старшего брата, которого он горячо любил. Дядя нашел для нас квартиру, в которую советовал нам скорее переехать, что мы тотчас привели в исполнение.

Константин Дмитриевич Кавелин навещал нас ежедневно; он мне постоянно твердил, что меня скоро арестуют, и очень беспокоился о моих остриженных волосах, уговаривал меня даже носить фальшивую косу, но я не согласилась. Тогда уже начинали обращать внимание на стриженые волоса и на синие очки дам, но настоящих нигилисток еще не было.

Раз Кавелин застал меня перечитывающею последние письма Огарева, которые я носила всегда в кармане. Кавелин пришел в ужас от возможности для меня быть арестованною с письмами в кармане. Он взял их и имел сердечную доброту ежедневно приносить мне их для прочтения. Мне так наскучило слышать от него, что говорят, будто меня непременно арестуют, что я раз с отчаянием воскликнула:

— Да боже мой, пусть уж лучше арестуют, чем это вечное ожидание!

Так провели мы десять мучительных дней, в продолжение которых мы ездили к двоюродным братьям моей матери, генералам Типольд. Я желала видеть

генерала Куцинского, чтобы узнать что-нибудь об Огареве, с которым не могла переписываться, тогда как с отцом и зятем я обменивалась письмами; мне тоже очень хотелось, чтобы Огарев узнал, что мы в Петербурге. Типольды пригласили генерала Куцинского, с которым были дружны, и дали мне знать об этом. Мы встретились очень дружески. Я просила генерала Куцинского сказать Огареву о нашем приезде сюда, но он отказывался видеть его наедине, говоря: «Могут думать, что я действую из корыстных целей; все мое достояние — моя честность; я ни за что не могу подвергнуть ее сомнению».

Тогда я придумала другое: я сняла с пальца золотое кольцо, на середине которого был золотой узел, и подала его генералу Куцинскому, прося его, хоть при свидетелях, перелистывать бумаги в присутствии Огарева так, чтобы обратить его внимание на кольцо; тогда, думала я, он сам отгадает, что я здесь. Генерал Куцинский взял кольцо, надел его на палец и добродушно обещал сделать все возможное, чтобы обратить на него взгляд Огарева; но генералу не суждено было увидать еще раз Огарева в III Отделении.

Раз мы сидели с матерью в небольшой гостиной нашей квартиры. Фекла Егоровна была с нами; она старалась ободрить меня своими простыми, бесхитростными надеждами. В ответ на ее слова я только грустно качала головою. И она и моя мать очень беспокоились тогда на мой счет, потому что со времени ареста моего отца я лишилась почти совершенно сна и аппетита и находилась в каком-то возбужденном состоянии. Вдруг раздался сильный звонок. Я послала Феклу Егоровну посмотреть, кто это, потому что мы никого не хотели видеть постороннего; вошел мой дядя Павел Алексеевич Тучков, который на этот раз весело улыбался. Мне это показалось очень неприятным. Он поздоровался с моей матерью, потом подошел ко мне и, целуя меня, сказал:

— Я тебе гостей привез, Наташа.

— Ах, дядя,— отвечала я с легким упреком,— ведь я вас просила теперь никого к нам не возить!

— А может, к этим гостям ты будешь снисходительнее,— сказал он весело.

Дверь слегка отворилась, и на пороге стоял мой отец, за ним Сатин, потом уж Огарев и моя тетка Елизавета Ивановна Тучкова...[11] Я не могла прийти в себя от изум-

ления, от счастия. Фекла Егоровна, вся в слезах и улыбающаяся, старалась схватить прибывших за руки, чтобы прижать их к своим губам,— они не давали целовать руки, а целовали ее в щеки. Все вдруг стали необыкновенно веселы, то молчали и глядели друг на друга, то все разом рассказывали и прерывали друг друга. У меня голова кружилась, я чувствовала, как будто была где-то далеко от всего дорогого, в какой-то безлюдной пустыне и вдруг вернулась домой; о, это чувство такое полное, что можно годы отдать за один час подобный!

Когда все немного успокоились, отец нам передал кое-что из своего путешествия с генералом, из жизни в III Отделении; также и о вопросах, предложенных ему, и об его ответах.

Дорогою генерал Куцинский спрашивал иногда жандармского солдата: дает ли он на водку ямщикам?

— Давал,— отвечал почтительно жандармский солдат,— но хуже везут, ваше превосходительство.

В Третьем отделении, от скуки, отец выучил Ивана Анисимовича играть с ним в шахматы, его любимую игру. Иногда он посылал Ивана гулять по городу для покупки книг или французского нюхательного табаку, к которому отец имел большую привычку. Иван ходил по городу не иначе, как между двух жандармских солдат.

Потом отец рассказал нам свидание с графом (впоследствии князь) Алексеем Федоровичем Орловым. Отец занимал в III Отделении две большие комнаты, очень хорошо меблированные, а Огарев и Сатин занимали по одной комнате.

Первым потребовали к Орлову моего отца, потом явились туда и Огарев с Сатиным. Они все трое бросились в объятия друг друга, как после воскресения из мертвых. Граф был очень любезен с ними, объявил им, что они свободны, но сказал отцу, что хотя он тоже свободен, но ехать в деревню не может, он должен жить в Москве или в Петербурге. Отец мой был очень поражен этими словами.

— За что же это, граф? — спросил он печально.— Мне помнится, помещикам запрещают жить в своих поместьях за жестокое обращение с крестьянами. Я бы желал, чтобы было назначено следствие по этому поводу.

— Ah! Mon cher Toutchkoff, vous-êtes toujours le même *,— сказал граф Орлов, который был приятелем

* А, милый Тучков, вы все тот же (*фр.*).

моего деда, а потому знал коротко и отца моего,— будьте довольны и этим; вам, конечно, не за то запрещен въезд в имение, скорее наоборот; представили, что вас слишком любят и ценят там — это все пройдет, уляжется, два года скоро пролетят, может, мы вас и раньше выпустим.

Потом граф обратился к моему зятю и к Огареву:

— Вы, кажется, знакомы или даже дружны с Герценом? Я должен вас предупредить, что он государственный преступник, а потому если вы получите от него письма, то вы должны их представить сюда... или... изорвать.

Огарев и Сатин наклонили головы в знак согласия на последнее предложение.

— Господа,— сказал граф А. Ф. Орлов, прощаясь с ними,— я забыл вам сказать, что вы должны обязательно сегодня, хоть в ночь, выехать отсюда: в столице много говорили о вашем заключении, умы взволнованы... Я полагаюсь на вашу аккуратность.

Затем граф повернулся к моему отцу и сказал ему с улыбкою:

— А какая у вас дочка: провела моего генерала!

Мой отец не знал, на что намекает граф,— вероятно, на то, что я успела предупредить Огарева об его аресте; у него не было найдено никаких компрометирующих бумаг.

Мой дядя, Павел Алексеевич, посоветовал нам оставить квартиру тотчас и переехать на этот последний вечер в гостиницу Кулона. Фекле Егоровне было поручено уложить все наши пожитки. Пока она все собирала, Огарев вышел в другую комнату, снял один сапог и вынул из него стихотворение, написанное им в III Отделении, «Арестант», которое вручил мне; впоследствии оно несколько раз было напечатано. Пока укладывались и переезжали, вечер настал. Быстро разнеслась по городу молва об освобождении наших дорогих узников, и все знавшие их хоть сколько-нибудь спешили в гостиницу Кулона с поздравлениями: тут были и друзья, и родственники, литераторы, генералы: Типольды, Тучковы, Плаутины, Сабуровы, Милютины, а между ними добрейший, благороднейший генерал Куцинский!

— Ну,— говорил он решительно,— пусть думают что хотят, не мог утерпеть, хотелось посмотреть на вас с Огаревым! Что? Теперь хорошо на белом свете? Да вот кольцо-то надо вам возвратить, мне не пришлось его

употреблять — тем лучше. Ну, познакомьте же меня с Огаревым.

Я поспешила исполнить его желание, позвала Огарева, и они тепло, искренно пожали друг другу руки.

До утра оставалось уже немного времени, кто-то напомнил о необходимости ехать, подали шампанское, и все пили за счастливый исход дела, с пожеланием доброго пути в Москву; все оживились, даже генералы.

Мы выехали из Петербурга счастливые, довольные; мой отец ехал тоже с нами в Москву. Только порою, при воспоминании о том, что отцу не дозволено сопровождать нас в деревню, пробегала какая-то туча, но ненадолго, и бесследно исчезала.

Опять мы остановились в «Дрездене», но теперь мы приезжали туда только ночевать; бывали у дедушки, у друзей Огарева и наконец у моей сестры, которую осторожно приготовили ко всем новостям. Теперь бояться нечего было: все близкие были налицо. Мы остались до крестин моей старшей племянницы: четыре пары крестных отцов и матерей были ее восприемниками; в первой паре стоял ее прадед. После этого торжества мы уехали в Яхонтово с maman, Огаревым и Феклою Егоровною, а сестра моя от сильных потрясений слегла в постель на полгода; очень может быть, что эта болезнь положила начало той, которая впоследствии свела ее преждевременно в могилу [12].

В деревне мы наслушались самых разнообразных толков и легенд о наших бывших узниках: не удивлялись тому, что нет моего отца; напротив, не верили, что он свободен, но удивлялись, что Огарев вернулся.

Узнав о нашем возвращении в Яхонтово, казенные крестьяне стали опять наведываться по ночам о том, что сталось с Тучковым? Мы говорили им, что он свободен и скоро будет опять с нами, но они недоверчиво качали головами и тихо утирали слезы; они оплакивали его как покойника.

Без нас приезжал исправник, рылся в бумагах и книгах отца и увез их полный чемодан; библиотека отца очень пострадала за это время; нам было жаль книг, разных остатков письменных воспоминаний о декабристах; мы придумали спрятать все эти драгоценности в пружины дивана, стоявшего у нас наверху: с неделю старая няня помогала нам переносить наши сокровища по ночам. Мы оторвали у книг крышки и, свернув все трубочками, поместили в диван очень много книг и бу-

маг; потом, как обойщик, Огарев обтянул пружины холстом, так что ничего не было видно; но моя мать впала в какое-то нервное состояние, ей чудились колокольчики; она входила к нам наверх испуганная, с искаженными чертами лица, говоря бессвязно: «Найдут, найдут!» Напрасно мы пытались ее успокоить. Наше одиночество тоже действовало на нее: соседи к нам не ездили в то время. Действительно, колокольчик теперь всегда означал какую-нибудь неприятность; приезжал становой пристав или исправник прямо в контору узнавать и записывать, кто из соседей был у нас; вот почему и перестали ездить к нам. Раз после такого нервного испуга моей матери Огарев сказал мне печально: «Пожертвуем книгами и бумагами для спокойствия твоей матери! Я серьезно боюсь за нее; ее нервное напряжение все усиливается». Так было решено и исполнено. Моя мать совершенно успокоилась. В продолжение недели Фекла Егоровна по ночам носила книги и бумаги вниз и жгла их в больших печах.

Наконец два года миновали, и отец мой вернулся к нам; всеобщая радость была беспредельна, но долго отец не мог смотреть на свою библиотеку.

В одну из наших поездок в Москву мы узнали, что Марья Львовна Огарева скончалась; тогда мы поехали в Петербург и там венчались. Впоследствии мы поселились в Симбирской губернии, на Тальской писчебумажной фабрике, и прожили там года два [13]; писчебумажное производство мне очень нравилось, но, к несчастию, фабрика скоро сгорела: говорили, что крестьяне желали, чтобы Огарев возобновил ручную фабрику, как было прежде, и потому подожгли ее [14].

В 1852 году Наталии Александровны Герцен не стало, а муж ее не переставал звать Огарева, и потому после пожара фабрики было решено, что мы поедем за границу на неопределенное время.

19 февраля 1855 года наступило новое царствование. Все так радовались восшествию Александра Николаевича на престол, что незнакомые обнимали и поздравляли друг друга на улицах Петербурга, чего очевидцем был Павел Васильевич Анненков, который мне не раз о том рассказывал.

В Симбирской губернии мы познакомились с некоторыми интересными личностями, но тогда еще очень молодыми. Огарев был очень любим всеми этими благородными юношами: Кашперов, композитор и впослед-

ствии директор консерватории в Москве, Михаил Николаевич Островский [15], брат писателя, человек весьма умный, уже тогда обнаруживавший большие способности будущего государственного деятеля, Бутковский, прелестный юноша [16]...

Для получения паспорта мы приехали в Петербург, часто видались с литературным кружком, особенно с Иваном Сергеевичем Тургеневым, с Павлом Васильевичем Анненковым, с К. Д. Кавелиным и другими [17].

Не без хлопот получили наконец паспорт на воды, по мнимой болезни Огарева, для подтверждения которой Огарев разъезжал по Петербургу, опираясь на костыль,— но тогда все было по-новому в Петербурге, и для юного правительства, в сущности, было вполне безразлично: едет ли Огарев в деревню, или за границу [18] ⟨...⟩

В 1856 году, 9 апреля нового стиля, мы переехали из Остенде в Дувр по очень взволнованному морю; я крепилась, чтоб не захворать. Огарев переносил очень легко морские путешествия. Когда пароход остановился перед мрачными, бесконечными скалами Дувра, тускло видневшимися сквозь густой, желтоватый туман, сердце мое невольно сжалось: я почувствовала кругом что-то чуждое, холодное; незнакомый, непривычный говор на английском языке... все поражало и напоминало мне мою далекую сторону, свою семью.

Какая-то толстая англичанка, с саквояжем на руке, бежала к пароходу, видимо боясь опоздать, но, прежде чем спуститься на пароход, она стала расспрашивать всех пассажиров, поднимавшихся по лестнице в город, каков был переезд, тихо ли было море; узнав, что оно было, напротив, очень бурливое, она торжественно воскликнула по-английски: «Не поеду» — и пошла поспешно назад. Моряки и пассажиры смеялись. Мы отыскали свой багаж, взяли карету и отправились на железную дорогу; тут мы едва успели сдать вещи и занять места, как поезд тронулся с неимоверной быстротой,— это был экспресс: предметы по дороге мелькали и производили неприятное ощущение на непривычные глаза; мне было досадно, что нам не удалось позавтракать, потому что это было необходимо для здоровья Огарева, с которым мог быть припадок от слабости и от нетерпения видеть своего друга. Часа через четыре мы увидали Лондон, величественный, мрачный, вечно одетый в туман, как в кисейное покрывало,— Лондон —

самый красивый город из виденных мною; мелкий, частый дождь не умолкал. Взявши багаж и приказав поставить его на карету, мы поспешили сесть в нее и отправились отыскивать Герцена, по данному нам адресу доктором Пикулиным: Richmond Chomley-lodge. Но кеб — не железная дорога, и нам пришлось запастись еще бóльшим терпением; наконец мы прибыли в Ричмонд; несмотря на дождь, город произвел на меня сильное впечатление: он весь утопал в зелени, дома даже были покрыты плющом, диким виноградом (brionia) и другими ползучими растениями; вдали виднелся великолепный, бесконечный парк; я никогда не видала ничего подобного! Кеб остановился у калитки Chomley-lodg'a; кучер, закутанный в шинель со множеством воротников, один длиннее другого, сильно позвонил; вышла привратница; осмотрев нас не без явного любопытства, так как мы, вероятно, очень отличались от лондонских жителей, она учтиво поклонилась нам. На вопрос Огарева, тут ли живет мистер Герцен, она обрадованно отвечала:

— Да, да, mister Ersen жил здесь, но давно переехал.

— Куда? — спросил уныло Огарев.

— Где теперь? — переспросила привратница,— о, далеко отсюда, сейчас принесу адрес.

Она отправилась в свою комнату и вынесла адрес, написанный на лоскутке бумаги; Огарев прочел: London Finchley road N 21 Petersborough Villa. Кучер нагнулся над бумажкой и, очевидно, прочел про себя.

— О... о,— сказал он, качая головой,— я отвезу вас в Лондон, а там вы возьмете другой кеб, моя лошадь не довезет вас туда, это на противоположном конце города, а она и так устала, сюда, да обратно — порядочный конец.

Мы вздохнули печально и безусловно подчинились его соображениям. Возвратившись в Лондон, Огарев сознался, что желает чего-нибудь закусить наскоро, пока переставляют наши чемоданы с одного кеба на другой; так мы и сделали. Усевшись в карету, мы опять покатили по звучной мостовой; дорогой мы молчали и в тревожном состоянии духа смотрели в окно, а иногда обменивались одной и той же мыслью: «Ну, а как его и там не будет?» Наконец мы доехали. Кучер сошел с козел и позвонил. № 21 виднелся над калиткой; дом каменный, чистый, прозаичный, находился среди палисадника, обнесенного кругом высокой каменной стеной,

усыпанной сверху битым стеклом, и которому эта стена придавала скорей вид глубокой ванны, чем сада. Герцен не мог его выносить и никогда не бывал в нем. Повар Герцена, François *, итальянец, маленький, плешивый, на вид средних лет, отворил дверь дома, поглядел на наши чемоданы и запер ее; вероятно, он ходил передавать виденное своему хозяину. Нетерпеливый кебмен (кучер) позвонил еще сильнее. На этот раз François живо вышел, добежал до калитки, развязно поклонился нам и сказал ломаным французским языком:

— Monsieur pas à la maison **.

— Как досадно,— отвечал тихо Огарев по-французски и подал мне руку, чтоб я вышла из кареты; потом он велел кучеру снять с кеба чемоданы и внести их в дом; засим спросил кучера, сколько ему следует, и заплатил. François шел за нами в большом смущении. Войдя в переднюю, Огарев повернулся к François и спросил:

— А где же его дети?

Герцен стоял наверху, над лестницей. Услыша голос Огарева, он сбежал, как молодой человек, и бросился обнимать Огарева, потом подошел ко мне: «А, Консуэла?» — сказал он и поцеловал меня тоже.

Видя нашу общую радость, François наконец пришел в себя, а сначала он стоял ошеломленный, думая про себя, что эти русские, кажется, берут приступом дом.

На зов Герцена явились дети с их гувернанткой, Мальвидой фон-Мейзенбуг. Меньшая, смуглая девочка лет пяти, с правильными чертами лица, казалась живою и избалованною; старшая, лет одиннадцати, напоминала несколько мать темно-серыми глазами, формой крутого лба и густыми бровями и волосами, хотя цвет их был много светлее, чем цвет волос ее матери. В выражении лица было что-то несмелое, сиротское. Она не могла почти выражаться по-русски и потому стеснялась говорить. Впоследствии она стала охотно говорить по-русски со мной, когда шла спать, а я садилась возле ее кроватки, и мы беседовали о ее дорогой маме. Сыну Герцена, Александру, было лет 17; он очень нам обрадовался. Он был в той неопределенной поре, когда отрочество миновало, а юность не началась. Я была до его отъезда из Лондона его старшей сестрой, другом, которому он поверял все, что было у него на душе.

---

* Франсуа (*фр.*).

** Господина нет дома (*фр.*).

Первые дни нашего пребывания в Лондоне Герцен запретил François пускать каких бы то ни было посетителей; даже присутствие Мальвиды было ему в тягость: он хотел говорить с нами о всем том, что наболело на его душе за последние годы; он нам рассказывал со всеми подробностями все страшные удары, которые перенес, рассказывал и о болезни и о кончине жены.

Часто дети или Мейзенбуг, войдя, мешали нам, прерывали нашу беседу; поэтому он предпочитал начинать свои рассказы, когда они все уходили спать; так мы провели несколько бессонных ночей; утро нас заставало на ногах, тогда мы спешили разойтись и прилечь. Я беспокоилась только за Огарева, но делать было нечего. После, успокоенный, облегчив себя тяжелым воспоминанием, поделившись с нами своими страданиями, Герцен стал опять живым и деятельным. Он ходил с нами по Лондону и показывал нам все, что его раньше поражало, между прочим, лондонские таверны, где люди отгорожены, как лошади в стойлах, ночные рынки по субботам с смолистым освещением, где одни бедные делают свои закупки и где слышно со всех концов: «Бай, бай, бай» *. Но заниматься Герцен не скоро собрался. Несколько дней спустя нам нашли маленькую квартиру, состоявшую из двух комнат, у M-rs Brus, в двух шагах от дома А. И. Герцена. Кроме помещения, мы пользовались еще правом послать M-rs Brus купить провизию к обеду, а за приготовление она, по английским обычаям, ничего не получала. Нам жилось очень хорошо у этой почтенной особы, но большую часть времени мы проводили в доме Герцена. Там мы встречали эмигрантов почти из всех концов Европы: были французы, немцы, итальянцы, поляки; из русских в то время был один только Иван Иванович Савич, двоюродный брат того студента Савича, который пострадал за политический образ мыслей, кажется, когда Герцен был студентом, стало быть, очень давно 〈...〉 Прежде всех других знакомых Герцена мы увидали двух помощников его, поляков Тхоржевского и Чернецкого; последний заведовал типографией, т. е. и набирал и печатал сам, присылал по почте или приносил корректуры 〈...〉

Мне помнится, что мы провели не более полугода в Petersborough Villa. Александр Иванович Герцен охотно менял не только квартиры, но и кварталы: ему скоро

---

* Купите, купите, купите (от *англ.*: buy).

были заметны все неудобства занимаемого дома ⟨...⟩ Этот дом состоял из двух квартир, вполне одинаковых, с одной смежной стеной. Как я уже говорила, по воскресеньям у нас собирались разные изгнанники: Чернецкий с Тхоржевским обязательно, немцы, французы, итальянцы... Мало-помалу все оживлялись, кто-нибудь начинал играть на фортепьяно, иногда пели хором. Дети тоже принимали участие в пении, раздавался веселый гул, смех, а за стеной начиналось постукивание, напоминающее, что в Англии предосудительно проводить так воскресные дни. Герцен по этому поводу приходил в сильное негодование ⟨...⟩

Laurel's house был во всем противоположен Petersborough Villa. Снаружи он скорее походил... на какую-нибудь английскую ферму, чем на городской дом, а со стороны сада весь дом был плотно окутан зеленью, плющ вился снизу доверху по его стенам; перед домом простиралась большая овальная луговина, а по сторонам ее шли дорожки; везде виднелись кусты сирени и воздушного жасмина и другие; кроме того, была пропасть цветов и даже маленькая цветочная оранжерея.

Милый дом, как хорошо в нем было и как все, чем жили оба друга, развивалось быстро и успешно в то время!

С старшею дочерью Герцена каждый день мы делали два букета, помещая посредине большую белую душистую лилию; один букет был для гостиной, другой — для комнаты Огарева ⟨...⟩

Мы переехали в свое новое помещение и хорошо в нем разместились ⟨...⟩ Герцен вставал в шесть часов утра, что очень рано по лондонским обычаям ⟨...⟩ В девять часов утра в столовой обыкновенно подавался кофе ⟨...⟩ За кофеем Александр Иванович читал «Теймс», делал свои замечания и сообщал нам разные новости ⟨...⟩ Огарев опаздывал к кофею; когда он сходил наконец в столовую, Герцена уже не было там. Но в завтрак все собирались, дверь была отворена в сад, дети убегали резвиться на свежий воздух, а большие оставались одни. Тут друзья толковали о своих занятиях, о статьях, которые предполагали написать, и пр. Иногда один из них приносил оконченную статью и читал ее вслух.

Вскоре после нашего переезда в этот дом однажды Огарев после lunch'a * сказал Герцену при мне:

---

* завтрака (*англ.*).

— А знаешь, Александр, «Полярная звезда», «Былое и думы» — все это хорошо, но это не то, что нужно, это не беседа со своими,— нам нужно бы издавать правильно журнал, хоть в две недели, хоть в месяц раз; мы бы излагали свои взгляды, желания для России и проч.

Герцен был в восторге от этой мысли.

— Да, Огарев,— вскричал он с оживлением,— давай издавать журнал, назовем его «Колокол», ударим в вечевой колокол, только вдвоем, как на Воробьевых горах мы были тоже только двое,— и кто знает, может, кто-нибудь и откликнется!

С этого дня они стали готовить статьи для «Колокола»; через некоторое время появился первый номер этого русского органа в Лондоне. Трюбнер (немец, книгопродавец в Лондоне), который постоянно покупал и брал на комиссию все издания Герцена, взял и «Колокол». Он разослал его повсюду, и скоро узнали и в России об его существовании. В это время Иван Сергеевич Тургенев приезжал из Парижа. Огарев и Герцен сообщили ему радостную новость и показали даже ему первый номер «Колокола»; но Иван Сергеевич ничуть не одобрял этого плана. Как писатель тонкий, с редкими дарованиями, с необыкновенно изящным вкусом, он радовался изданию «Полярной звезды», «Былое и думы»; но, всегда далекий от политических взглядов и стремлений, он не допускал мысли, чтоб два человека, изолированно стоявшие в Англии, могли вести оживленную беседу с своей отдаленной страной, могли найти в себе, что сказать, могли понять, что ей нужно.

— Нет, это невозможно,— говорил Иван Сергеевич,— бросьте эту фантазию, не раскидывайте ваших сил, у вас и так много дела: «Полярная звезда», «Былое и думы», а вас только двое.

— Уж теперь дело начато, надо продолжать,— отвечали они.

— Удачи не будет и не может быть, а литература много потеряет,— возразил горячо Иван Сергеевич.

Но друзья не послушали его совета: было ли это предчувствие, что «Колокол» разбудит дремоту многих и сам найдет себе сотрудников, или это была просто какая-то настойчивость с их стороны.

В это же время приезжал к нам, вместе с Тургеневым, Василий Петрович Боткин, автор «Писем из Испании». Я знала его по рассказам Герцена, по эпизоду «Basile et Armance» [19], но должна признаться, что он мне

показался еще более оригиналом, чем я думала. Ни о чем он не говорил без пафоса, без аффектации; к тому же он был великий гастроном и, так сказать, умилялся перед блюдами, которые ему особенно нравились. Выходил совершенный контраст с нашей семьей, где не находилось охотника даже заказывать обед ежедневно. François сам придумывал блюда и приготовлял их к обеду в восемь часов вечера. Когда что-нибудь было особенно вкусно, мы все хвалили, а замечания делал один Герцен, и то весьма редко.

После lunch'а Герцен и Огарев отправлялись гулять, каждый по своим вкусам и наклонностям. Герцен доезжал до многолюдных улиц и там ходил пешком, заглядывая в ярко освещенные магазины, и на улице он много замечал и наблюдал. Он входил в разные кофейные, спрашивал большею частью очень маленькую рюмку абсента и сифон сельтерской воды и прочитывал там всевозможные газеты. Впоследствии доктора говорили, что сельтерская вода в большом количестве небезвредна для организма ⟨...⟩

Выходя после завтрака из нашего мирного предместья «Fulham» [20], Огарев шел отыскивать еще более пустынные и уединенные места для своей прогулки. Он жил сам в себе, люди ему мешали, но он их любил посвоему, особенно жалел и был до крайности ко всем снисходителен. Инстинктивно он удалялся от людей; но когда судьба его сталкивала с ними, он был так добродушен и непринужден, что, конечно, никто из его собеседников не воображал, насколько они все были ему в тягость. Герцен, напротив, любил людей, и хотя иногда и сердился, что кто-нибудь не вовремя пришел, увлекался впоследствии и был весьма доволен. Общество было ему необходимо; он боялся только скучных людей.

В воскресенье все в Англии запирается. Весь Лондон превращается в какой-то огромный шкап: магазины, булочные, кофейные, кондитерские, даже мелочные лавки — все заперто. На улицах царит безмолвие, только в парках движение, да и то не как в будни. Кое-где вдали виднеются проповедники, а вокруг — густые толпы народа, слушающие с напряженным вниманием и в глубокой тишине. Дети чинно гуляют, обручей никто не катает, мячики не летают в воздухе — все это раздражало Герцена. Он не любил по воскресеньям выходить со двора и принужден был прятаться от бесцеремонных посетителей, которые с утра являлись к нам в дом на

целый день. В такие дни он дольше работал, а я и старшие дети занимали в саду скучных гостей. Мало-помалу начинали собираться и нескучные люди, звонок не умолкал; тогда и Герцен наконец являлся к нам. Как войдет, все изменится, оживится: польются занимательные разговоры, споры, новости интересного свойства, большею частью политические. Герцен в своем кругу был тем, чем солнце бывает относительно природы. Александр Иванович был вообще очень хорошего здоровья. Он говорил всегда, что умрет ударом. Раз он сильно простудился; у него сделался страшный жар и колотье в боку; мы оба с Огаревым очень перепугались и послали тотчас за нашим доктором, другом-изгнанником Девилем. Последний очень любил Герцена, бывал по нескольку раз в день во время его болезни и менее чем в неделю поставил его на ноги. Две ночи мы просидели над больным в страшной тревоге, боясь оставить его на минуту.

«Колокол» продолжал издаваться, успех его все возрастал. Иногда приезжали русские студенты, ехавшие учиться в Германию. Не зная ни слова по-английски, они ехали в Лондон дня на два нарочно, чтобы пожать руки издателям «Колокола». Они привозили рукописи, которые, впрочем, начинали доходить до Герцена и путем почты из Германии. Вероятно, русские путешественники сдавали их на почту в разных германских городах. Содержанием рукописей были иногда жалобы на несправедливые решения суда, или разоблачение каких-нибудь вопиющих злоупотреблений, или желание какой-нибудь необходимой реформы,— обсуждались чисто русские вопросы. Герцен и Огарев часто читали вслух присланные статьи, и когда они, по выраженным в них взглядам, не могли быть напечатаны в «Колоколе»,— издавались отдельно маленькими брошюрками под названием: «Голоса из России».

В это время русские стали приезжать все чаще в Лондон для свидания с Герценом. Тут были и люди, сочувствовавшие убеждениям двух друзей хоть отчасти, как барон Андрей Иванович Дельвиг, князь Долгоруков, Черкасский и много других, всех не вспомнишь; но были и такие, которые приезжали только из подражания другим. Вообще, в наступившее царствование все, что силой удерживалось при Николае I, ринулось за границу как неудержимый поток. Ехали учиться в Германию или Швейцарию, ехали советоваться с докторами в Вену, Париж и Лондон, и наконец ехали потому, что это было

теперь дозволено каждому. Помню один странный случай, который нас очень поразил.

Один приезжий русский офицер, по имени Раупах, рассказывал, как он бежал из Крыма, потому что там страшные злоупотребления. Через неделю он поселился недалеко от нас и пришел с француженкой, которую рекомендовал как свою жену. Они были очень любезны; но меня неприятно поразило, что оба они нападали на наше юное правительство; при моей горячности я не могла не остановить их. «Удивляюсь,— сказала я,— вашим жалобам на царя; насколько я знаю, строгости в это время относились только к недобросовестным личностям, которые сами заслуживали кару».

После этого Раупах не возобновлял этого разговора. Уходя, он пригласил Герцена и Огарева на обед, который был великолепен, по отзыву наших. Раупах имел всю обстановку очень богатого человека. Через некоторое время, развертывая русскую газету, Герцен прочел, что офицер тот бежал из Крыма, захватив с собой ящик с полковой суммой; кража была крупная. Раупаха уже не было в Лондоне, он уехал в Америку 〈...〉

Приезжали и люди вполне порядочные, развитые, сочувствовавшие Герцену. Между ними один только в эту эпоху меня глубоко поразил своей благородной, немного гордой наружностью, цельностью, откровением своей натуры. Это был Иван Сергеевич Аксаков. Он знал Герцена еще в Москве. Тогда они стояли на противоположных берегах. Читая во многих заграничных изданиях Герцена о разочаровании его относительно Запада, Аксаков, вероятно, захотел проверить лично, ближе ли стали их взгляды, и убедился, что они — деятели, идущие по двум параллельным линиям, которые никогда не могут сойтись...

В продолжение нескольких дней Герцен и Аксаков много спорили, ни один не считал себя побежденным, но у них было обоюдное уважение, даже больше, какая-то симпатия, какое-то влечение друг к другу; так они и расстались бойцами одного дела, но с разных отдаленных точек.

Раз, часов в десять утра, раздался звонок, на который никто не обратил внимания, кроме Герцена, который, слыша свое имя, произнесенное много раз по-русски, и обычный ответ François: «Monsieur pas à la maison» *,

---

* Господина нет дома (*фр.*).

положил конец этому диалогу, попросив незнакомца войти в гостиную. Перед Герценом стоял небольшого роста человек, лет тридцати пяти, в русской синей поддевке, из-под которой виднелась красная рубашка, в шароварах и русских сапогах, с мелкими, но некрасивыми чертами лица. Небольшие серые глаза бойко всматривались в Герцена.

— Это вы, Александр Иванович,— сказал он наконец,— я тебя узнаю по карточкам.

Герцен был в восторге от этого нового посетителя; он позвонил и велел François позвать Огарева и нас всех. Это был настоящий крестьянин, теперь не помню, из какой губернии. Он пробыл у нас с неделю; мы не знали, чем занять дорогого гостя, так мы все обрадовались, увидев русского крестьянина. Но, в сущности, в нем мало было хорошего. Он ничем не интересовался, кроме разгула, показывал мужчинам фотографическую карточку, где он был представлен у ног какой-то красавицы. Герцен дал ему сына в проводники по Лондону, чтоб он мог осмотреть хоть бегло все, что особенно замечательно в городе ⟨...⟩ Зачем он приезжал в Лондон, осталось тоже для нас загадкой.

Когда, по обычаю, изгнанники собрались у нас в воскресенье, все с непритворным восхищением смотрели на настоящего русского крестьянина, который опрокидывал в рот содержимое целой рюмки водки и даже находил, что рюмка очень мала ⟨...⟩

Между приезжими из России были также и люди науки. Помню двух профессоров, которые прочли даже несколько лекций в нашем доме: Каченовского и Павлова. Последний был, кажется, профессором истории в Киевском университете. Это была умная, даровитая личность, но, вероятно, надломленная гнетом той эпохи, которую так ярко характеризует Никитенко в своем дневнике [21]. Лекции Павлова были превосходны, увлекательны; но в разговоре он производил тяжелое впечатление психически больного. Он был мрачен и говорил постоянно о том, что за ним следят и что это его ужасно утомляет. Сначала Герцен старался его разуверить в этом, говоря, что в Англии это немыслимо; однако он вскоре заметил, что это была мания у Павлова. Последний прожил довольно долго в Лондоне, жалуясь постоянно на преследования русского правительства, и под этим впечатлением оставил Англию. Полагаю, что он недолго прожил в своей ипохондрии, но, когда он мог

оторваться от воображаемой действительности, он говорил увлекательно об исторических моментах, великолепно разработанных им.

Не могу вспомнить теперь, с кем приезжал в это время еще очень молодой профессор А. Н. Пыпин. Герцен уже знал его по его статьям; он был приятно поражен прекрасной, симпатичной наружностью молодого профессора. Сын Герцена сопровождал его по Лондону и с удивлением рассказывал о том, что молодой ученый предпочитал шумным удовольствиям большого города разговаривать с трехлетним ребенком квартирной хозяйки и от души смеялся его выходкам. Слушая этот рассказ, Герцен сказал сыну: «Что ты говоришь, Саша, меня вовсе не удивляет; выражение его лица прекрасно, в нем сказывается высоконравственная чистота».

Воспоминания толпятся в беспорядке в моей памяти; хочу рассказать об Иване Ивановиче Савиче, о котором я уже говорила и который невольно возбуждал такой юмор в Александре Ивановиче. В это время денежные обстоятельства Савича стали поправляться. Он не давал уже уроков всего на свете, как прежде: французского, немецкого языков, рисования, чистописания, истории и не знаю чего еще. Мало-помалу он сделался комиссионером по части каменного угля, покупаемого нашими пароходами. Дела его пошли хорошо; он уже не ел сомнительной пищи, продаваемой на лотках, и не питался одним картофелем, как бывало. Бедные изгнанники! Они все изведали этих блюд; только самые даровитые и настойчивые из них завоевали себе наконец достойную их деятельность. Так сделали профессор медицины Девиль, Саффи, Таландье и некоторые другие ⟨...⟩

В это утро Иван Иванович Савич застал нас в столовой, мы собирались завтракать и ждали только Огарева. Поздоровались, поговорили; потом Герцен окинул беглым взглядом всю фигуру Савича и стал уверять его шутя, что он по наружности стал чистый англичанин, только прическа еще не промышленного англичанина.

— Позвольте мне, дорогой Иван Иванович, дотронуться до вашей головы,— сказал Герцен.

Савич был тоже в хорошем настроении, он нагнул немного голову к сидящему за столом Герцену.

— Боже,— воскликнул последний, слегка прикасаясь пальцами до головы Савича,— ведь это не волосы, право, Савич, это мездра! Как это должно быть тепло,— продолжал он серьезно.

Но Савич, обидевшись, выпрямился и сказал в ответ:

— Вы, Александр Иванович, насмешник; вы над всем смеетесь. Вот Николай Платонович, он добрый, добрый... а вы насмешник, над всем смеетесь...

— Нет, право, только над тем, что смешно,— возражал Александр Иванович, едва удерживаясь от смеха.

В дверях показался Огарев. Савич радостно бросился к нему, целуя его, по своему обычаю, в плечо.

— Вот он,— говорил восторженно Савич,— добрый, милый, любящий, ни над кем не насмехается.

— Я хотел, милый Николай Платонович, поговорить о важном для меня деле с вами обоими, но с ним невозможно,— говорил Савич, указывая с досадой на Александра Ивановича. Последний имел вид школьника, пойманного на месте преступления. Огарев посмотрел на него с упреком.

— В чем же дело? — спросил Николай Платонович у Савича.

— Пойдемте в сад,— отвечал наш соотечественник,— я вам все обстоятельно расскажу.

— Да что вы, господа, позавтракаемте прежде, ведь лучше потом предаться сердечным излияниям,— возразил Герцен.

Но Огарев, увлекаемый Савичем, был уже в саду и не слыхал последних слов Александра Ивановича, который не начал завтракать без ушедших. Мы сидели за столом и невольно поглядывали на разговаривающих в саду. Они ходили вдоль всего сада тихими шагами, возвращаясь к дому и опять удаляясь от него; видно было, что разговор был весьма серьезный. Огарев внимательно смотрел на Савича, который горячо что-то рассказывал; иногда, увлекаясь, он забегал вперед; тогда Огарев поневоле останавливался. Видно было, как Савич то хлопал его по плечу, то поднимался на кончики пальцев, то слегка припрыгивал; наконец они пошли скорыми шагами и вошли в столовую.

— Александр,— сказал Огарев,— Иван Иванович желает с нами посоветоваться; в двух словах, вот в чем дело. По своим делам ему нужно бы съездить в Россию, но, как ты знаешь нерешительный характер Савича, он немного опасается; по-моему, нечего, это хорошее дело; что ты скажешь?

— Конечно, хорошее,— согласился Герцен,— но прежде позавтракаем, а после за стаканом эля или вина поговорим обстоятельно.

После завтрака, оставшись одни, они перешли к практической стороне вопроса; говорили, что Савич должен съездить к посланнику и спросить его, может ли он (Савич) получить паспорт для поездки в Россию. Оказалось, что Савич был уже у посланника, что тот обещал справиться в России о том, есть ли что-нибудь против почтенного гражданина всей Российской империи Савича, и велел ему побывать через месяц за ответом.

— Я был у посланника,— вскричал Савич,— ответ получен, препятствий нет никаких, но я боюсь, можно ли верить?..

— Да чего вы боитесь? — возразил Герцен с нетерпением.

— Как чего, вам легко говорить,— вскричал живо Савич,—мой двоюродный брат...

— Знаю, знаю, да вам-то что,— отвечал, смеясь, Александр Иванович.— Ах, Савич,— продолжал он шутя,— возьмите паспорт, а я бы с ним съездил вместо вас в Петербург; только жаль, что наши прически не совсем сходны, у меня почти ничего нет на голове, а у вас лес, мездра; посмотри, Огарев, ведь это прелесть.

— Ну, будет вам, Александр Иванович, вы все смеетесь; впрочем, вы москаль, а я хохол, москали и хохлы всегда друг над другом смеются,— говорил Иван Иванович, стараясь сохранить хорошее расположение духа.

Наконец Савича так ободрили, что он решился ехать в Россию и простился с нами.

— А жутко,— говорил он, останавливаясь в дверях.

— Полноте, не вернитесь опять с полдороги,— кричал ему вслед Герцен.

Недель шесть спустя Иван Иванович Савич вернулся из Петербурга. На другой день поутру он явился к нам. Несмотря на неурочный час его посещения, мы все собрались слушать его рассказы о Петербурге. Он казался в восторге, обнимал то Герцена, то Огарева; целовал их в плечо, то того, то другого. Останавливался, отходил подальше и издали как будто любовался ими. «Да,— говорил он таинственно,— я там только узнал... да, да...»

— Что вы там узнали? — спросил Герцен.— Вы меня озадачиваете. Не поручили ли вам наблюдать за мной, что вы так на меня смотрите?

— Нет, не то, вы все шутите,— отвечал Савич, и,

подойдя к Герцену, он сказал ему вполголоса: — Там я узнал, кто вы.

— А здесь не знали, вот что! — возразил Александр Иванович, смеясь ⟨...⟩

Когда минул год нашему пребыванию в Лондоне (весной 1857 года), Огарев получил через русское посольство вызов в Россию. На эту бумагу он отвечал статьей в своей газете, говоря, что остается за границей, потому что чувствует, что может приносить более пользы своему отечеству оттуда, чем в пределах империи. Полгода спустя мы прочли в русских газетах, что Огарев изгоняется навсегда из пределов России [22].

Между многими русскими художниками, занимавшимися в Италии, был замечательный живописец Иванов. Он провел полжизни безвыездно в Риме, работая, если не ошибаюсь, двадцать восемь лет над одной картиной, которой он принес немало жертв, живя в страшной бедности, тогда как с его талантом он мог бы много заработать.

Когда он задумал вернуться в Россию, он сперва приехал в Лондон [23], нарочно чтоб повидаться с Александром Ивановичем Герценом, и привез ему в подарок фотографию с своей картины, уже отправленной в Петербург, где он намеревался поднести ее государю Александру Николаевичу. Судя по этой фотографии, это должна быть замечательная картина; она давно уже в Румянцевском музее. В ней были представлены необыкновенно живо разнообразные типы еврейского племени. Некоторые лица были очень красивы и выразительны, особенно Иоанн Креститель. Но фигура Иисуса, видневшаяся вдали, произвела мало впечатления. Русские, видевшие эту картину и понимающие живопись, передавали Герцену, что, кроме изящных контуров всех фигур, дышащих истиной, картина Иванова замечательна еще необыкновенно ярким колоритом. Иванову было уже за пятьдесят лет; он казался очень добродушен, но привычка к одиночеству и к усидчивой работе придавала выражению его лица какую-то сосредоточенность и задумчивость; вообще, он был молчалив. Его привела в Лондон давнишняя, заветная мысль. Так как внимание русского общества в то время было всецело привлечено к Герцену и к лондонским изданиям. Иванов постоянно слышал о Герцене даже от художников и вообразил, что Герцен может один разъяснить ему мучающую его задачу. Вот в чем она состояла:

— В продолжение нескольких веков христианской религии идеалы ее были руководящей мыслью искусства: оно воспроизводило все выдающиеся моменты ее истории, она была оплотом искусства,— говорил Иванов, удрученный, убитый как бы кончиной близкого ему человека,— теперь же все изменилось, общество стало равнодушно к религии, мистическая сторона ее ослабла; какая же новая идея займет покинутое место, что будет ныне одушевлять искусство,— говорил он, бросая на Герцена вопрошающий взгляд,— на что оно будет опираться, где новые идеалы?

Герцен слушал его внимательно; наконец он ответил ему:

— Ищите новые идеалы в борьбе человечества за идею свободы, за человеческое достоинство, за его постоянное совершенствование, за вечный прогресс; вот где должна быть нынешняя руководящая мысль для искусства; тут тоже есть и жертвы и мученики,— воспроизводите выдающиеся явления этой мрачной истории.

Но Иванов не был убежден, не был вполне доволен этим решением вопроса; он хотел иного и, вероятно, оставил этот мир, не додумавшись до своей заветной мысли.

Герцен был необыкновенно рад великому художнику; даже страдание его, истекающее из отвлеченной мысли, было очень симпатично Александру Ивановичу. Иванов провел около недели в Лондоне и не раз обедал в Laurel-house'е; но, кроме того, Герцен пригласил его на обед в какой-то хороший лондонский ресторан ⟨...⟩

Александр Иванович взял особую комнату в ресторане. Кроме Иванова, тут были: Тхоржевский, Чернецкий и не помню кто из русских путешественников, находившихся тогда в Лондоне, и все наше семейство. Обед был очень оживлен; помню, что все были в очень хорошем настроении и очень одушевлены. Были горячие тосты за благо России, за ее преуспеяние, процветание, за русских художников, и много других тостов.

В этот же год приезжал в Лондон молодой человек, по фамилии Бахметев; кажется, он был уроженец Симбирской губернии [24]. Некрасивый, робкий, молчаливый, он казался жалким, одиноким, заброшенным. Только гуляя вдвоем с Герценом, он разговорился наконец. Рассказал ему, что он уехал навсегда из России, что все там безотрадно, безнадежно; а главное, он уехал от родных, он не мог вспомнить о них спокойно и гово-

рил: «Только желаю уехать подальше, подальше от родных».

Потом он расспрашивал Герцена о цели, для которой Александр Иванович печатает «Колокол» и прочие издания. Герцен отвечал ему в коротких словах, что это была с детства его и Огарева заветная мысль: служить своей родине, и вот в Лондоне эта мечта наконец осуществилась.

— Так это не торговое дело? — спросил Бахметев.

Герцен не мог сдержать улыбки.

— Типография мне стоит в год десять тысяч франков,— отвечал он,— иногда мои издержки окупаются, а иногда наоборот; это для меня довольно безразлично, потому что я свободно могу располагать такой суммой.

— Извините, что я вас так расспрашиваю,— сказал Бахметев,— это потому только, что если типография не коммерческое предприятие, то я хочу вам оставить двадцать тысяч франков на ваши издания и другие общие дела. Вот видите,— продолжал Бахметев,— у меня всего пятьдесят тысяч, вам оставлю двадцать тысяч, а тридцать тысяч возьму с собой и уеду на Маркизские острова, где буду в коммуне жить по-братски с людьми.

— Не делайте этого,— возразил Герцен с жаром,— не уезжайте на Маркизские острова, осмотритесь прежде, вы увидите сами, каковы и здесь люди. Не спешите, ведь и тут не все безотрадно и безнадежно; какое братство,— вас ограбят и убьют; и мне не давайте этих двадцати тысяч франков, мне решительно их не нужно. Может, со временем вам встретится человек, который будет в них нуждаться для какого-нибудь полезного дела, а у меня хватает средств на типографию.

Но Бахметев был настойчив, упрям, он ни иоты не переменил в своем решении и говорил резко и в то же время сквозь слезы, как ребенок: «Не делайте мне возражений, это давно мною решено. Вы не имеете права отказать в принятии двадцати тысяч франков от меня, ведь я даю их на полезное дело, обещайте взять их».

Но Александр Иванович сказал, что без Огарева ничего не может решить. На это Бахметев отвечал, что будет на другой день в Laurel-hous'е, чтоб получить окончательный ответ от Герцена.

По возвращении домой Герцен, после обеда, долго толковал с Огаревым о предложении Бахметева. Николай Платонович смотрел на пожертвование Бахметева несколько иначе, чем Александр Иванович.

— По всему, что ты говоришь, Александр,— сказал Огарев,— видно, что Бахметев имеет настойчивый характер. Он решил употребить на общее дело почти половину своего состояния; по мне, лучше тебе взять эти деньги, чем кому-либо другому.

— Если я возьму их,— отвечал Герцен,— то с тобой вместе и с тем, чтоб употреблять на общие дела только проценты, а капитал сберегу для него, если он когда-нибудь вернется; ведь с его неопытностью его наверное оберут, хоть бы сам-то уцелел. Однако я постараюсь отклонить его от его безумного предприятия.

На другой день, часа в четыре, Бахметев приехал к нам в Laurel-hous'е. Сначала Герцен оспаривал его проекты, представлял ему всю их несостоятельность, старался его убедить, что его мечты неосуществимы, что едва ли он найдет нынче таких чистых личностей, которые, как первые христиане, откажутся от блага мира сего и будут жить в братской любви друг к другу. Но Бахметев не допускал никакой критики, а сказал только в ответ:

— Это давно решено, Александр Иванович... Если я ошибаюсь, то мне одному будет худо, и потому не стоит об этом рассуждать, а лучше порадуйте меня, скажите, что вы согласны взять эти двадцать тысяч франков, о которых мы с вами вчера говорили.

— Хорошо,— сказал Герцен,— я возьму их, но только вместе с Огаревым и с тем, чтоб употреблять на общие дела только проценты, а капитал будет храниться для вас у Ротшильда на случай вашего возвращения. Вы увидите, что я вам правду говорил, но вы молоды, немного самонадеянны, не хотите слушать советов. Забыл вам сказать, что мы вам напишем расписку и оба подпишемся.

— Зачем, зачем,— вскричал Бахметев,— мне не нужно никакой расписки, я вам верю.

Но Герцен возразил, что иначе не возьмет денег, и расписка, подписанная обоими друзьями, была вручена Бахметеву, который на другой день поехал с Герценом в лондонскую контору дома Ротшильда. Там деньги Бахметева были обменены на английское золото ⟨...⟩

С мучительным чувством опасения за него, Герцен взял для него билет на железную дорогу и проводил его в дальнее и, по неопытности, небезопасное путешествие.

С тех пор мы ничего не слыхали о нем. Вероятно, предположения Герцена сбылись, и бедный Бахметев

был ограблен и убит, может быть даже прежде, чем достиг Маркизских островов ⟨...⟩

В Laurel-hous'е мы вздумали с Огаревым сделать представление для детей; это было до отъезда Александра Александровича в Женеву. Я сшила две красные рубашки: для Герцена и для Огарева. Александр Александрович надел какую-то шубу наизнанку, представляя медведя, а Огарев, в красной рубашке, изображал водильщика. Красная рубашка очень шла к Николаю Платоновичу; с его большой русой бородой и кудрявой головой он был настоящий русский крестьянин. Герцену, напротив, русская рубашка вовсе не пристала: он казался в ней каким-то иностранцем. Не думая, чтоб это могло быть ему очень неприятно, я высказалась ему очень резко на этот счет, и Герцен никогда не надевал более красной рубашки.

В этом же доме навестил нас один молодой русский, Б. Н. Чичерин; но прежде надо сказать несколько слов об его отце. Николай Чичерин принадлежал отчасти к московскому кружку, хотя жил более в Тамбовской губернии; он был знаком с Грановским, Герценом и особенно с Кетчером. Я слышала о нем, как об очень достойном человеке, от дяди моего Антона Аполлоновича Жемчужникова. Дядя был сосед и друг Чичерина, которого очень ценил. Осенью 1857 года старший сын Чичерина — юноша, на которого многие возлагали такие горячие надежды, окончив курс в Московском университете блестящим образом, вздумал навестить в Лондоне приятеля своего отца. Я была нездорова, не выходила из комнаты и потому ни разу не видела его, но слышала о нем отзывы Герцена и Огарева. Сначала Чичерин им очень понравился большим развитием, познаниями, блестящим умом, но вскоре они разочаровались в нем и поняли, что очень расходятся с ним во всех серьезных вопросах: он был бюрократ и доктринер. Чичерин провел более недели в постоянных спорах с Огаревым и Герценом. Герцен и Огарев, хотя очень далекие от славянофильства, находили, что Россия должна идти новыми, своими путями; они смотрели на свое отечество с любовью и упованием, а он не хотел или не мог понять их взглядов. Отношения их обострились в последние дни.

— Нет,— говорил Герцен,— мы в нем ошиблись, его ум вредный...

Когда он уезжал из Лондона, Герцен и Огарев старались расстаться с ним беззлобно; Чичерин тоже как

будто желал оставить их под хорошим впечатлением, но едва он достиг Парижа, как прислал Герцену полемическое письмо с резким требованием, чтоб оно было напечатано в ближайшем номере «Колокола». Тон этого письма, дерзкий, вызывающий, очень рассердил Герцена; он был оскорблен, возмущен, что почти близкий, юноша, приехавший к нему по преданию семьи отца, мог говорить с ним, как с врагом ⟨...⟩

В то время приезжал Иван Сергеевич Тургенев; каждый год он приезжал в Лондон на несколько дней; тогда он привез своего «Фауста», только что написанного[25]. Я рассказывала в отрывке «Воспоминания об И. С. Тургеневе», как он читал у нас это произведение и не мог простить Огареву слишком резкий тон замечаний по этому поводу. Когда он навестил Герцена в Park-hous'e, то чистосердечно сознался, что ошибся, отсоветывая издавать «Колокол», и сам передавал множество анекдотов, подтверждавших влияние и силу «Колокола».

В эту эпоху приезжало столько русских, что прислуга делала постоянно ошибки; наконец Герцен распорядился, чтоб всех русских приезжих впускали в отдельную половину гостиной, куда я приходила узнавать, кто именно приехал, надолго ли в Лондоне и пр. Те, которые приезжали только на день или два, нарочно, чтоб передать рукописи, должны были видеть его немедленно, желая сообщить ему многое на словах; тогда Александру Ивановичу приходилось оставлять свои занятия. Когда бывали из России люди, уже известные Герцену лично или по их трудам, он бесконечно радовался им и бросал для них свои обычные труды; в таких случаях я звала его тотчас к приезжим, но большею частью говорила ему имена и проч., иным сама назначала свободный час Герцена, в два или три часа пополудни. Тогда, посидев с посетителем, Герцен предлагал ему отправиться вместе в Лондон, потому что воздух и движение были необходимы для Александра Ивановича после усидчивой работы. Герцен старался, чтоб русские не бывали у нас по воскресеньям, потому что собиралось иногда так много гостей, что трудно было ручаться, чтоб не проник шпион к нам в этот день; но не легко было уговорить русских быть осмотрительнее: они все-таки часто бывали и в воскресенье и часто без нужды были очень откровенны со всеми и называли свои фамилии, тогда как все наши говорили постоянно русским или полякам, знакомя их

с приезжими русскими: «Наш соотечественник, имя не помню или не слыхала»; знакомя их с иностранцами, мы говорили: «Un compatriote, le nom de famille est trop difficile à prononcer, trop barbare pour des oreilles occidentales, appelez le par son nom de bapthême: M-r Alexandre ou quelque autre nom» * ⟨...⟩

Тогда приезжало много русских, особенно весной и летом. Помню Григория Евлампиевича Благосветлова [26]; он был средних лет, по-видимому, добрый, честный человек, но такой молчаливый, что я не слыхала, для какой цели он пробыл довольно долго в Лондоне,— помнится, года два. Он занимался переводами, за которые Герцен платил ему; кроме того, давал уроки русского языка старшей дочери Герцена, за что тоже получал вознаграждение. Вспоминаю теперь, что он изучил в это время английский язык и перевел с английского «Записки Екатерины Романовны Дашковой», которые состояли из двух больших томов и представляли необыкновенный интерес; я читала их с увлечением по-английски. Около этого времени приезжал Сергей Петрович Боткин с его первой женой; это было вскоре после их свадьбы. Сергей Петрович желал видеть Герцена по преданию московского кружка, и хотя был в то время весьма застенчив, однако был и тогда очень симпатичен. Он много рассказывал Герцену о Пирогове, о Крымской войне ⟨...⟩

Между многими русскими, посетившими Герцена в Park-hous'е, нельзя пройти молчанием одного, тогда еще очень молодого человека, Александра Серно-Соловьевича. Он очень понравился Герцену: видно было, что, несмотря на свою молодость, он уже много читал и думал; он был умен и интересовался всеми серьезными вопросами того времени. Не могу вспомнить, куда наши уезжали тогда на весь день; помню только, что им никак нельзя было остаться дома, а Серно-Соловьевич желал воспользоваться этим днем, чтоб видеть зоологический сад. Я поехала туда с детьми Герцена и с своею малюткою. Серно-Соловьевич сопровождал нас и осмотрел очень тщательно весь сад. Он был очень мил и внимателен с детьми. Серно-Соловьевич пробыл в Лондоне еще несколько дней, в продолжение которых видался постоянно с Герценом и с Огаревым, к которым относился

* Наш соотечественник, фамилия очень трудная, дикая для ушей европейца,— называйте его по имени, Александром, или как-нибудь иначе (*фр.*).

с большой теплотой и уважением. В то время дурные качества его дремали, или не было еще тех обстоятельств, которые вызвали их наружу. Позже мне придется еще говорить о нем, во время нашего пребывания в Château de la Boissière, близ Женевы 〈...〉

Несколько месяцев после отъезда Александра Серно-Соловьевича из Лондона явился к Герцену его старший брат, Николай Серно-Соловьевич. То был человек совершенно иной: занятый исключительно общими интересами, быть может, он был несколько менее даровит, менее интеллигентен, чем его младший брат, но он имел большой перевес над ним в других качествах; он был необыкновенно прямого характера; в нем были редкое благородство, настойчивость, самоотвержение, что-то рыцарское, почему Герцен с первого свидания прозвал его: «Маркиз Поза» [27]. На открытом, благородном лице его читалось роковое предназначение: можно ли было уцелеть такому прямому существу, упрямо, беззаветно преданному своим убеждениям, в то трудное время, которое наступило после освобождения крестьян, после попытки польского восстания? Тогда появился «Великоросс» [28]; нам передавали, что его нашли у Николая Серно-Соловьевича; после допросов он был сослан в Сибирь. Весть об его дальнейшей участи не дошла до Герцена; младший брат его, Александр, успел уехать или бежать в Швейцарию.

В то время как мы жили еще в Park-hous'е, приезжали к Герцену два русские семейства, т. е. два товарища по занятиям в постройке железных дорог, каждый с женой [29]; у одного из них была премиленькая дочка Леля, лет четырех. Эти соотечественники нас очень радовали, напоминая нам живо Россию пением под фортепьяно русских песен; маленькая черноглазая Леля в русском костюме плясала под звуки песен. Герцен и Огарев стояли взволнованные, грустные и обрадованные в то же время: они мысленно переносились на родину, и прошедшее воскресало для них... Эти несколько светлых дней, проведенных в Лондоне этими двумя семействами, долго вспоминались нами; мы как будто в те дни побывали в России.

В это же время приехал из России Василий Иванович Кельсиев с женой, Варварой Тимофеевной. Последняя была прямая, простодушная женщина, вполне преданная мужу, он был умный, самолюбивый и нерешительный. Кажется, он получил место в Ситху, чтоб прослу-

жить там шесть лет, и ехал туда на корабле, который бросил якорь для стоянки близ английского берега. Кельсиева взяло раздумье, и он решился не ехать в Ситху, а отправиться в Лондон; приехав в столицу Англии, он узнал о Герцене и написал к нему, прося у него работы; тогда Александр Иванович пригласил его к себе на свиданье. Прежде чем придумать найти ему работу, Герцен желал узнать его лично, чтоб сообразить, чем он мог заняться. Кельсиев явился в назначенный день, разговорился с Герценом о многом 〈...〉

〈...〉 Кельсиев был филолог, мне кажется; он взялся перевести библию на русский язык. Когда перевод этот явился в печати и в России было дозволено переводить библию, Кельсиев с жаром, со страстью занялся этим делом. Кроме того, он давал уроки русского языка Наташе Герцен, так как Благосветлова уже не было в Лондоне 〈...〉

Некоторое время спустя явился в Лондон человек, о котором говорила чуть не вся Россия, о котором мы постоянно слышали, который много писал, о котором постоянно упоминали в печати, которого не только хотелось видеть, но хотелось узнать... Это был Николай Гаврилович Чернышевский [30]. До его посещения кто-то (не помню именно кто) приезжал от него из России с запросом к Герцену; вот в чем состоял этот запрос: если издание «Современника» будет запрещено в России, чего ожидали тогда [31], согласен ли будет Герцен печатать «Современник» в Вольной русской типографии в Лондоне? На это предложение Герцен был безусловно согласен. Тогда Чернышевский решился ехать сам в Лондон для личных переговоров с Александром Ивановичем.

Как теперь вижу этого человека: я шла в сад через зал, неся на руках свою маленькую дочь, которой было немного более года; Чернышевский ходил по зале с Александром Ивановичем; последний остановил меня и познакомил с своим собеседником. Чернышевский был среднего роста; лицо его было некрасиво, черты неправильны, но выражение лица, эта особенная красота некрасивых, было замечательно, исполнено кроткой задумчивости, в которой светились самоотвержение и покорность судьбе. Он погладил ребенка по голове и проговорил тихо: «У меня тоже есть такие, но я почти никогда их не вижу».

Кажется, Герцен и Чернышевский виделись не более

двух раз. Герцену думалось, что в Чернышевском недостает откровенности, что он не высказывается вполне; эта мысль помешала их сближению, хотя они понимали обоюдную силу, обоюдное влияние на русское общество... Вести, привезенные Чернышевским, были неутешительны, исполнены печальных ожиданий. Насчет издания «Современника» они столковались в несколько слов: Чернышевский обещал, если нужно будет, высылать рукописи и деньги, нужные на бумагу и печать; корректуру должны были держать Герцен и Огарев, потому что Чернецкий не мог взяться за поправки типографские по совершенному незнанию русского языка. Когда печатали второе издание номеров «Колокола», я держала корректуру, потому что это было очень легко: набирая с печатного, Чернецкий делал весьма мало ошибок ⟨...⟩

Возвращаясь к нашей жизни в Park-hous'e, вспоминаю, как раз вечером Жюль доложил Герцену: «Trois russes, deux messieurs et une dame» *. Это были Шелгуновы и М. Л. Михайлов. Кажется, они были у нас только два раза, потому что очень спешили оставить Англию. Шелгунов и особенно Михайлов очень понравились Герцену,— эти люди казались понимающими и вполне преданными благу России ⟨...⟩

В то время я получила из России письмо, в котором меня извещали, что моя сестра едет со всеми детьми в Германию для свидания со мной; тогда я поспешила собраться в путь с своей маленькой дочкой, с Наташей Герцен, которую я должна была отвезти в Дрезден к Марии Каспаровне Рейхель ⟨...⟩

Приехав в Дрезден, мы тотчас отправились к Марии Каспаровне Рейхель, но я ничего не помню из этого первого посещения, потому что едва мы успели обменяться с ней несколькими словами, как она сказала, что сестра моя, Елена Алексеевна Сатина, уже в Дрездене ⟨...⟩ Тогда послали за извозчиком ⟨...⟩ никогда путь не казался мне так долог, как в этот раз! Наконец мы доехали, вошли в гостиницу и свиделись после многих лет разлуки, после многих перемен, особенно в моей жизни. Мы обнимали друг друга со слезами на глазах; дети сестры окружили меня и мою малютку ⟨...⟩ Зять мой, Николай Михайлович Сатин, был тоже очень взволнован и обрадован нашей встречей ⟨...⟩ Оставя Наташу Герцен

* Трое русских: два господина и дама *(фр.)*.

на попечение Марии Каспаровны Рейхель, мы вскоре отправились с сестрой Еленой Алексеевной Сатиной и со всеми нашими детьми в Гейдельберг, где я слыхала, что местоположение очень красиво, а жизнь недорога; вдобавок, Гейдельберг в то время не представлял многолюдного стечения туристов, и мы могли вести жизнь самую уединенную. Николай Михайлович Сатин воспользовался этим временем, чтоб съездить в Лондон, навестить старых друзей, Герцена и Огарева, которых он горячо любил и которыми он был тоже любим [32]. С поступления в Московский университет они почти не расставались, а когда ссылка их раскидала по России, они часто переписывались; впоследствии собрались в Москве, примкнули к кружку Станкевича [33], когда последнего уже не было в живых, и сплотились в тесную кучку профессоров и литераторов, известных под именем московского кружка западников, в противоположность кружку московских славянофилов ⟨...⟩

Вскоре после приезда Герцена из Франции к нему приехали гости, которые нас всех очень интересовали: Иван Сергеевич Тургенев и Лев Николаевич Толстой [34]. Первого мы знали давно, привыкли к его капризам и маленьким странностям; последнего мы видели в первый раз.

Незадолго до отъезда из России Огарев и я читали с восторгом «Детство», «Отрочество», «Юность» Толстого, его рассказы о Крымской войне. Огарев постоянно говорил об этих произведениях и об их авторе.

Приехав в Лондон, мы поспешили поделиться с Герценом рассказом о новом, необыкновенно даровитом писателе. Оказалось, что Герцен читал уже многое из его сочинений и восхищался ими. Особенно удивлялся Герцен его смелости говорить о таких тонких, глубоко затаенных чувствах, которые, быть может, испытаны многими, но которые никем не были высказаны. Что касается до его философских воззрений, Герцен находил их слабыми, туманными, часто бездоказательными.

«Толстой у нас в доме»,— думали мы с Наташей и спешили в гостиную, чтоб взглянуть на замечательного соотечественника нашего, которого читала вся Россия. Когда мы вошли, граф Толстой о чем-то горячо спорил с Тургеневым. Огарев и Герцен тоже принимали участие в этом разговоре. В то время (в 61-м году) Толстому было на вид около тридцати пяти лет; он был среднего роста, черты его лица были некрасивы, маленькие серые

глаза исполнены какой-то проницательности и задумчивости. Странно только, что вообще выражение его лица никогда не имело того детского добродушия, которое виднелось иногда в улыбке Ивана Сергеевича и было так привлекательно в нем.

Когда мы вошли, начались обыкновенные представления. Конечно, Толстой и не воображал, с каким трепетом мы пожали его руку и не говорили даже с ним, а только слушали его разговоры с другими. Он ездил к нам ежедневно. Спустя несколько дней стало очевидно, что как писатель он гораздо симпатичнее, чем как мыслитель, потому что он был иногда нелогичен; сторонник фатализма, он часто имел горячие споры с Тургеневым, в которых они говорили друг другу весьма неприятные вещи. Когда споры прекращались и Толстой был в хорошем настроении, он пел, аккомпанируя себе на фортепиано, солдатские песни, сочиненные им в Крыму во время войны:

Как восьмого сентября
Нас нелегкая несла
Горы занимать, горы занимать...—

и другие подобные песни.

Слушая его, мы много смеялись, но, в сущности, было тяжело слушать о всем, что делалось тогда в Крыму,— как бездарным генералам вручалась так легкомысленно участь многих тысяч солдат, как невообразимое воровство достигло высших пределов. Воровали даже корпию и продавали ее врагам, а наши солдаты терпеливо умирали. 〈...〉

Слухи об освобождении крестьян наконец подтвердились [35], перестали быть слухами, сделались истиной, великой и радостной правдой. Читая «Московские ведомости» в своем рабочем кабинете, Герцен пробежал начало манифеста, сильно дернул за звонок; не выпуская из рук газету, бросился с ней на лестницу и закричал громко своим звучным голосом:

— Огарев, Натали, Наташа, да идите скорей!

Jules первый прибежал и спросил:

— Monsier a sonné? * — Je ne sais pas, peut-être, mais que diable, Jules, allez donc les chercher tous, vite-vite; qu'est-ce qu'ils ne viennent pas? **

* Вы звонили? *(фр.)*

** Может быть, но что же они не идут? Идите скорее, отыщите всех *(фр.)*.

Жюль смотрел на Герцена с удивлением и удовольствием.

— Monsieur a l'air bien heureux *,— сказал он.

— Ah! Diable, ja croi bien **,— отвечал рассеянно Герцен.

В одну минуту мы все сбежались с разных сторон, ожидая что-то особенное, но по голосу Герцена скорей хорошее. Герцен махал нам издали газетой, не отвечал на наши вопросы о том, что случилось; наконец вернулся в свой кабинет, и мы за ним.

— Садитесь все и слушайте,— сказал Герцен— и стал нам читать манифест. Голос его прерывался от волнения; наконец он передал газету Огареву и сказал:

— Читай, Огарев, я больше не могу.

Огарев дочитал манифест своим спокойным, тихим голосом, хотя внутри он был не менее рад, чем Герцен; но все в нем проявлялось иначе, чем в Герцене.

Потом Герцен предложил Огареву идти вместе прогуляться по городу: ему нужно было воздуха, движенья. Огарев предпочитал свои уединенные прогулки, но на этот раз он охотно принял предложение своего друга. В восемь часов вечера они вернулись к обеду. Герцен поставил на стол маленькую бутылку кирасо; мы все выпили по рюмке, поздравляя друг друга с великой и радостной вестью.

— Огарев,— сказал Герцен,— я хочу праздновать у себя дома, у нас, это великое событие. Быть может,— продолжал он с одушевлением,— в нашей жизни и не встретится более такого светлого дня. Послушай, мы живем как работники, все труд, работа,— надо когда-нибудь и отдохнуть и взглянуть назад, какой путь нами пройден, и порадоваться счастливому исходу вопроса, который нам очень близок; быть может, в нем и наша лепта есть.

— А вы,— сказал он, обращаясь ко мне с Наташей,— вы должны нам приготовить цветные знамена и нашить на них крупными буквами из белого коленкору, на одном: «Освобождение крестьян в России 19-го февраля 1861 года», на другом: «Вольная русская типография в Лондоне» и проч. 〈...〉

Наконец день праздника был назначен [36]. Начались приготовления: шили флаги, нашивали слова по-английски, готовили плошки, разноцветные стаканчики для иллюминации дома. Услыша о намерении Герцена празд-

* У вас очень веселый вид *(фр.)*.

** Да, я думаю *(фр.)*.

новать освобождение крестьян, князь Голицын вызвался написать квартет, который назвал «Emansipation»*, и исполнил его у нас в день празднества.

В назначенный день с утра было не очень много гостей, только русские и поляки ⟨...⟩ Обед прошел тихо. Когда подали шампанское, Герцен встал с бокалом в руке и провозгласил тост за Россию, за ее преуспеяние, за ее благоденствие, совершенствование и пр. Все встали с бокалами в руках, горячо отвечали, провозглашая другие тосты, и чокались горячо. У всех сердце усиленно билось... Герцен сказал краткую речь, из которой помню начало: «Господа, наш праздник омрачен неожиданной вестью: кровь льется в Варшаве, славянская кровь, и льют ее братья-славяне!» Все стихло, все молча уселись на свои места ⟨...⟩

Несколько дней после этого празднества Герцен написал статью под заглавием: «Mater dolorosa»**, в которой выражал сочувствие к пострадавшим полякам, и напечатал ее в ближайшем № «Колокола» ⟨...⟩ [37]

Итак, первый удар «Колоколу» был нанесен самим Герценом тем, что он показал сочувствие к пострадавшей Польше. Самолюбие было оскорблено, и все мало-помалу отвернулись от лондонских изданий. Второй удар «Колоколу» был нанесен позже Михаилом Александровичем Бакуниным. Однажды после обеда мы сидели все вместе, когда почтальон позвонил, и Герцену подали огромное письмо. Оно было от Бакунина, который писал из Америки, описывал свое бегство из Сибири, сочувствие к нему в Америке [38].

Бакунин выражал надежду быть скоро в Лондоне и помогать обоим друзьям в их пропаганде, содействовать, сотрудничать в «Колоколе» и проч. Дочитав письмо, Герцен задумался и сказал Огареву:

— Признаюсь, я очень боюсь приезда Бакунина, он, наверно, испортит наше дело. Ты знаешь, Огарев, что о нем говорил в 1848-м году, не помню, Косидьер или Ламартин: «Notre ami Bacounine est un homme impayable le jour de la Révolution, mais le lendemain il faut absolument le faire fusiller, car il sera impossible d'établir un ordre quelconque avec un pareil anarchiste»***.

* «Освобождение» *(фр.)*.

** «Матерь скорбящая» *(ит.)*.

*** Наш друг Бакунин — бесценный человек в дни революции, но на следующий день его необходимо расстрелять, потому что с таким анархистом немыслимо учреждение какого бы то ни было порядка *(фр.)*.

Огарев был согласен с Герценом и думал тоже, что Бакунин не удовлетворится их пропагандой, а будет настаивать на деятельности по образцу западных революционных явлений. Вдобавок, Бакунин на Западе всегда представлялся защитником Польши. Герцен и Огарев тоже сочувствовали Польше в размере ее испытаний, но они не сочувствовали аристократическому характеру поляков, их отношению к низшему классу и пр. Что касается до Бакунина, то он ничего не видел, не задавался никакими вопросами ⟨...⟩

⟨...⟩ Предчувствие Герцена скоро начало оправдываться. С приезда Бакунина польская струнка живей забилась в Вольной русской типографии. Сначала Бакунин помещал в «Колоколе» свои статьи; но, заметив вышесказанное направление, Герцен предложил ему печатать свои статьи отдельными брошюрами или печатать в изданиях, называемых «Голоса из России», потому что взгляды их расходились, а Герцен не желал печатать в «Колоколе» те статьи, с которыми внутренно не был вполне согласен. Главное несчастие заключалось в том, что взгляды Огарева и Бакунина были как-то ближе, и последний возымел большое влияние на первого. А Герцен всегда уступал Огареву, даже когда сознавал, что Огарев ошибается. ⟨...⟩

Между прочими соотечественниками, приезжавшими к Герцену, помню Обручева [39]. Он мало говорил; казалось, всматривался в деятельность издателей «Колокола». Вскоре он сблизился с Огаревым и усердно помогал ему в изложении нужд народа в брошюре под названием: «Что нужно народу». Наружности он был довольно симпатичной, среднего роста, широк в плечах, носил огромные усы, напоминавшие наружность покойного короля Италии Виктора-Эммануила. Обручев прожил довольно долго в Лондоне и в то время относился очень сочувственно к Герцену и Огареву ⟨...⟩

Одно лето мы провели в Торкее (в Девоншире) ⟨...⟩ Огарев и Герцен только навещали нас, но не могли жить постоянно в Торкее, потому что обстоятельства требовали их присутствия в Лондоне,— дела Вольной русской типографии и прием соотечественников, которые приезжали для свиданья с издателями «Колокола» и привозили много материала для типографии. В это лето Татьяна Петровна Пассек вздумала навестить Герцена. Она приехала в Лондон и телеграфировала ему; тогда он

поспешил оставить Торкей и встретил ее на железной дороге [40]. Мы все ей очень обрадовались...

⟨...⟩ Я не говорила еще о том, что до освобождения крестьян приезжали три члена жонда, т. е. подпольного правления в Варшаве, между ними помню имя Демонтовича [41]. Они приезжали затем, чтоб заручиться помощью Герцена ⟨...⟩

Сначала Герцен убеждал этих господ оставить все замыслы восстания, говоря, что не будет пользы ⟨...⟩ «Ваше восстание ни к чему не поведет, только замедлит или даже повернет вспять ход развития России, а, стало быть, и вашего. Передайте жонду мои слова. В чем же может состоять сближение между нами? — продолжал Герцен.— Жалея Польшу, мы не можем сочувствовать ее аристократическому направлению; освободите крестьян с землею, и у нас будет почва для сближения».

Но посланные жонда молчали или уклончиво говорили, что освобождение крестьян еще не подготовлено в Польше. Тогда Герцен возразил, что в таком случае не только русские не будут им сочувствовать, но что и польские крестьяне поймут, что им не за что подвергаться опасности, и примкнут в конце концов к русскому правительству, что позже и произошло в действительности.

Так посланники и уехали обратно, не получив от Герцена никаких обещаний.

После варшавских волнений и во время мероприятий со стороны русского правительства для усмирения покоренной страны приехал к Герцену русский офицер Потебня, который оставил свой полк, но продолжал жить в Варшаве, где он являлся во всех публичных местах то в статском платье, то в одежде ксендза или монаха. Иногда он сталкивался со своими сослуживцами по полку, но никто не узнавал его. Потебня был блондин, среднего роста, симпатичной наружности. Герцен и Огарев его очень полюбили и уговаривали остаться в Лондоне, но он не согласился. Говорили, что он влюбился в польку и перешел на сторону поляков. Он приезжал несколько раз в Лондон; в последний раз он говорил: «Я не буду стрелять в русских, рука моя не поднимется».— «Оставайтесь с нами»,— возражал Герцен. «Нельзя»,— отвечал он с печальной улыбкой.

Потебня был необыкновенно ласков с детьми. Моя старшая дочь, тогда четырех лет, очень полюбила его. Присутствуя часто при разговорах, но занятая своими игрушками, казалось, она ничего не замечала. Однако

мы были раз поражены ее словами, обращенными к Потебне. Это было в последний вечер, проведенный им в Orseth-hous'е. Молодой офицер посадил ее на колени и о чем-то говорил с ней. Вдруг она сказала: «Милый Потебня, не уезжай, останься у нас».— «Нельзя,— отвечал он,— но я скоро приеду, я ведь недалеко еду, на юг Франции».— «О, нет,— сказала она,— ты едешь в Польшу, тебя там убьют».

Тогда Герцен вскричал: «Нас не слушаете, послушайте хоть голоса ребенка, который вам делает такое тяжелое предсказание».

Но Потебня был непоколебим в своем решении и уехал в Польшу на другой же день. Русская пуля сразила его вскоре [42].

Возмущение в Варшаве принесло ожидаемые плоды. Началась реакция; из Петербурга приходили неутешительные вести, там появилось общество «Земля и воля». Огарев и Бакунин приняли предложение быть членами этого общества, но Герцен сильно против этого восставал. «Мы стоим отдельно,— говорил он им,— наша программа известна, нам смешно быть членами какого бы то ни было общества». В Петербурге издавались листки под заглавием «Великоросс». Общество было возбуждено, особенно молодежь, везде были обыски. При обыске у Михайлова был найден листок «Великоросса» и улики, доказывавшие, что Михайлов сам печатал эти листки. Он был сослан в Сибирь. ⟨...⟩ [43]

Вскоре после нашего переселения в Теддингтон совершилось событие, о котором говорили во всех газетах. Приглашенный мацциниевской партией, Гарибальди собирался посетить Англию; но прежде чем окончательно решиться, он письменно спросил английского министра: приятно ли это будет английскому правительству? Последовал благоприятный ответ. Спустя непродолжительное время (кажется, в лето 1863 года) [44] Гарибальди исполнил желание своих друзей⟨...⟩

Когда мы прочли в газетах день приезда Гарибальди, Герцен предложил мне ехать с ним в Лондон, чтоб видеть въезд Гарибальди. Огарев не поехал с нами, потому что толпа действовала на него удручающим образом. Действительно, без преувеличения, это был царский въезд! ⟨...⟩

На другой день Герцен и Огарев с утра уехали вместе в Лондон для свидания с Гарибальди. Просидели у него довольно долго, но говорить с ним от души обо всем, что

их интересовало, было немыслимо; разговор их ежеминутно прерывался 〈...〉

Сидя в этом обществе, Герцену пришла мысль звать к себе Гарибальди. У нас бы он, наверное, встретился с Маццини — и произошло бы наконец между ними это явное сближение, которое должно было иметь такое серьезное влияние на сторонников этих народных вождей [45]. Кроме того, Герцен думал, что хорошо, что народный герой, заслуживший такую всеобщую симпатию, посетит дом русского изгнанника 〈...〉

Наконец в одну из своих ежедневных поездок в Лондон Герцен привел в исполнение свое намерение пригласить Гарибальди отобедать в Теддингтоне. Но в окружающих Гарибальди он встретил большое сопротивление своему плану; республиканская известность Герцена очень мешала в глазах этих тайных реакционеров. Они стали доказывать генералу (как они называли Гарибальди), что он не может успеть быть в Теддингтоне. Генерал приехал всего на пять дней, и всем дням расписание было уже сделано; но на этот раз Гарибальди удивил всех своей настойчивостью. «Герцен давнишний друг,— сказал он,— как бы то ни было, я буду у него».

— Но карета не может поспеть...— начал было один из его клевретов.

— Не беспокойтесь о карете,— возразил Герцен,— я приеду в карете за Гарибальди, и мы вместе отправимся в ней в Теддингтон.

Так это и устроилось вопреки воле распорядителей [46] 〈...〉

День праздника был для меня совершенно испорчен одной неприятной случайностью. Встав рано в этот день и напившись наскоро кофе, я присутствовала при завтраке детей, а потом сошла вниз и стала приводить все в порядок: расставляла мебель с горничной, как мне казалось удобнее, убирала забытые детские игрушки и пр. Огарев имел привычку вставать гораздо позже всех в доме и пил кофе один; но обыкновенно, услыша, как он звонит в столовой, чтоб Жюль подал ему горячий кофе, Герцен сходил к нему с «Теймсом» в руке и передавал ему новости, толковал с ним о типографии и оставался почти во все время с ним. В этот день Герцен ночевал в Лондоне и должен был приехать только в шестом часу с Гарибальди. Поэтому Огарев пил кофе один; моя старшая дочь, тогда пятилетний ребенок, побежала за ним в столовую. При ней случилось то, чего я всегда боялась:

Огарев вдруг упал в припадке эпилепсии. Он был в продолжение всей жизни подвержен этим припадкам. Малютка этого никогда не видала; вероятно, испугалась и со слезами побежала искать меня. Ей встретился Жюль; удивленный ее слезами, он стал ее расспрашивать, но она отвечала только, что ей нужно меня, а чтоб он шел скорее в столовую к Огареву. Оказавши последнему нужную помощь, Жюль позвал меня; тогда моя дочь уже не плакала. «Бедный папа,— сказала она мне на ухо,— он упал». Испуганная ее смущенным видом, я взяла ее за руку и ушла с ней в поле, чтоб развлечь и успокоить ее. Мысль о празднике совершенно вылетела у меня из головы. Когда мне показалось, что она спокойна, мы вернулись домой. Гости уже начинали съезжаться ⟨...⟩

В шестом часу парная карета подъехала к садовой калитке. Толпа народа, вероятно, из Теддингтона и окрестных мест, узнав, что ждут к нам Гарибальди, спешила за своим любимцем и со всех сторон окружила экипаж. Некоторые лица движением толпы были вытеснены с улицы в садовую калитку. Герцен вышел первый, ему жали руки; одна дама даже поцеловала его в плечо. Когда Гарибальди, опираясь на новую трость, ступил на мостовую, раздался радостный возглас: «Vive Garibaldi, wellcome!» * Гарибальди снял шляпу и кланялся во все стороны; выражение его кроткого лица было исполнено любви и радости; он был из народа и искренно радовался народным восторгам.

Когда Гарибальди в сопровождении Герцена вошел в дом, Маццини вышел ему навстречу, и они дружески пожали друг другу руку. Начались представления некоторых лиц, неизвестных еще Гарибальди; потом обмен приветствий со всеми. Вошли в гостиную, но не успели в ней хорошенько разговориться, как вошел Жюль и доложил, что кушанье подано. Герцен так распорядился потому, что знал, что Гарибальди не мог долго оставаться у нас. За обедом Гарибальди казался очень доволен, даже весел. «Как мне хорошо у вас, Герцен,— говорил он,— тут нет ни этикета, ни стесненья; кругом друзья, итальянцы. Даже в выборе блюд и вин я узнаю внимание друга Герцена; он хотел напомнить мне мою родину». Когда подали марсалу, Гарибальди встал с бокалом в руке. Лицо его просияло присущим ему выражением

* Да здравствует Гарибальди! добро пожаловать! *(англ.)*

любви и кротости. «Была печальная эпоха,— сказал он,— когда Италия, скованная, дремала, чувствуя свое бессилие; один человек не спал: этот человек — Мацции, мой учитель; он разбудил нас, я пью за его здоровье!» ⟨...⟩

После годового пребывания в Теддингтоне мы провели лето у моря, в Борнмаусе ⟨...⟩ Тут в последний раз в Англии мы собрались все ⟨...⟩

По возвращении в Лондон Герцен стал подумывать о перенесении типографии в Женеву, т. е. о переезде на континент. С польского восстания «Колокол» не расходился по-прежнему; из России присылалось меньше рукописей, чем бывало. Это, видимо, огорчало Герцена. «Мы стары,— говорил он,— нигилисты считают нас за реакционеров; пора честь знать, пора заняться какой-нибудь большой работой». Но Огарев не унывал. Он думал, что в Швейцарии будет больше приезжих русских, и дело типографии опять закипит.

Пока Герцен и Огарев приводили в порядок все дела, готовясь к отъезду, я поехала в Париж с детьми, думая, что туда легче приехать из России моим родным для свидания со мной ⟨...⟩

Пятнадцатого декабря 1864 года, в полночь, Герцен и Огарев в сопровождении посторонних личностей, на которых я в то время не обратила внимания, усадили меня с дочерью в вагон поезда, который отправлялся из Парижа на юг ⟨...⟩ Доктора настаивали, чтобы мы удалились как можно скорее из Парижа, где свирепствовали смертельные горловые болезни ⟨...⟩ В конце зимы мы поехали в Канн, а оттуда опять в Ниццу ⟨...⟩

Весной 1865 года из Ниццы мы переехали прямо на дачу близ Женевы. Дача эта называлась Château de la Boissière и была нанята для нас, по поручению Герцена, одним соотечественником, г-ном Касаткиным, который жил тут же с семейством во флигеле. Château de la Boissière был старинный швейцарский замок с террасами во всех этажах. Внизу были кухня и службы, в первом этаже — большая столовая, гостиная и кабинет, где Герцен писал; из широкого коридора был вход в просторную комнату, занимаемую Огаревым. Наверху были комнаты для всех нас ⟨...⟩

Жизнь в Женеве не нравилась Герцену: эмигранты находились в слишком близком расстоянии от него; незанятые, они имели много времени на суды и пересуды ⟨...⟩

Château de la Boissière опустел: я искала одиночества и жила в Montreux с моей малюткой... Мейзенбуг возвратилась в Италию с Ольгой, Герцен с одной Наташей остался в Женеве; из Château de la Boissière он переехал в квартиру на Quai du Mont Blanc, а Огарев поселился в Lancy, почти за городом. Жизнь их не налаживалась, работалось плохо, не было того, что англичане называют home *.

Меня тянуло опять в Ниццу к свежим могилам. Герцен очень любил южную природу; вдобавок, в Ницце у него было много дорогих воспоминаний и могила, которую он никогда не забывал. Вскоре, отправивши Наташу в Италию, он проводил нас до Ниццы и пожил сам в ней ⟨...⟩ Вскоре Герцен был вызван в Женеву; устроив все для Огарева и для типографии, он вернулся в Ниццу ⟨...⟩

Я еще не рассказала о происшествии, которое случилось в Женеве, когда Герцен находился в Ницце: вдруг получается телеграмма, в которой Тхоржевский извещает о том, что Огарев сломал ногу и вызывает Герцена в Женеву как можно скорее [47]. Меня не было дома, когда принесли депешу. Возвратясь домой, я застала Герцена сидящего на стуле в передней в каком-то оцепенении; я крайне удивилась его смущенному виду и необычному месту. Он молча подал мне телеграмму. Пробежав ее глазами, я сказала ему: «Что же, Герцен, надо ехать поскорее — возьмем таблицу поездов, да надо уложить сколько-нибудь белья, надо торопиться».

Но Герцен сидел молча, как будто не слыша ни моих советов, ни моих предложений. «Я чувствую,— сказал он наконец,— что я его больше не увижу».

Однако мне удалось все уложить, убедить Герцена и проводить его на железную дорогу; я чувствовала, что если можно успокоиться, то только там, при виде самого Огарева. Нелегкая вещь была в его годы сломать ногу. Герцен писал тогда, с каким страхом и трепетом он подъезжал к Женеве, как, увидав на вокзале Тхоржевского, он не имел силы спросить: жив ли Огарев? Наконец Тхоржевский сам догадался сказать, что, кажется, ничего опасного нет в положении Николая Платоновича. Доктор Мейер кость вправил и забинтовал ногу. Огарев вынес эту операцию с большим терпением и мужеством.

---

* уютом, домом *(англ.)*.

Я тщетно искала письмо, в котором Герцен описывал мне это несчастное событие. Помню, что в письме говорилось, что Огарев бродил вечером по отдаленным улицам Женевы, и с ним сделался обычный припадок. Придя в себя, он встал, хотел идти, но не заметил канаву, потому что смеркалось, споткнулся и сломал ногу, от боли ему сделалось дурно; полежав, он опять попробовал встать и не мог; тогда он стал звать прохожих, но никто к нему не подошел. Он лежал на лугу, против дома умалишенных. И эта несчастная случайность была причиной, что никто не отозвался на его зов, а, напротив, все спешили удалиться, полагая, что он вышел из психиатрической больницы.

Видя, что никто не идет, Огарев, с большим присутствием духа, вынул из кармана ножик и трубку, разрезал сапог, потом закурил и пролежал так, кажется, до утра. Рано поутру прошел итальянец, знавший Огарева, и, хотя последний лежал не близко от дороги, итальянец стал всматриваться, а Огарев, заметя это, стал звать его. Тогда итальянец подошел и сказал Огареву, что пойдет за каретой и немедленно свезет его домой, что он и сделал не без труда и боли для Огарева.

Но этот печальный эпизод произошел раньше; впоследствии Огарев мог ходить прихрамывая, и в то время как мы собирались в Женеву, об его ноге уже мало говорилось.

Собираясь ехать в Эльзас для осмотра школ и пансионов, мы все-таки решили съездить в Швейцарию для свидания с Огаревым и с детьми Герцена. Тогда Тхоржевский нанял старинный замок Prangins, кажется часа полтора от Женевы; туда съехалось в последний раз все наше семейство: я с дочерью, Мейзенбуг с Ольгой и, кажется, с Наташей. 〈...〉 Позже и Огарев с маленьким Тутсом [48] присоединились к нам 〈...〉

Герцен собирался тогда в первый раз в Виши. Огарев возвратился в Женеву с маленьким Тутсом, который всех нас очень забавлял своей живостью и оригинальностью 〈...〉

Возвратившись из Парижа, Герцен случайно узнал, что Виктор Гюго тоже находится в Брюсселе 〈...〉 Через несколько дней Виктор Гюго прислал Герцену приглашение на обед и звал и меня с дочерью. В половине седьмого мы отправились пешком к Виктору Гюго. Много испытавший тяжелых утрат, поэт-эмигрант тогда

еще сравнительно был счастлив,— вскоре после нашего свиданья он схоронил обоих сыновей ⟨...⟩

Простившись с Виктором Гюго накануне нашего отъезда, мы отправились опять в Женеву. Там на этот раз Герцена ожидали разные неприятности: Бакунин и Нечаев были у Огарева и уговаривали последнего присоединиться к ним, чтоб требовать от Герцена бахметьевские деньги, или *фонд*[49]. Эти неотступные просьбы раздражали и тревожили Герцена. Вдобавок, его огорчило, что эти господа так легко завладели волей Огарева.

Собираясь почти ежедневно у Огарева, они много толковали и не могли столковаться. Рассказывая мне об этих недоразумениях, Александр Иванович сказал мне печально: «Когда я восстаю против безумного употребления этих денег на мнимое спасение каких-то личностей в России, а мне кажется, напротив, что они послужат к бо́льшей гибели личностей в России, потому что эти господа ужасно неосторожны,— ну, когда я протестую против всего этого, Огарев мне отвечает: «Но ведь деньги даны под нашу общую расписку, Александр, а я признаю полезным их употребление, как говорят Бакунин и Нечаев». Что же на это сказать, ведь это правда, я сам виноват во всем, не хотел брать их один».

Размышляя обо всем вышесказанном, я напала на счастливую мысль, которую тотчас же сообщила Герцену. Он ее одобрил и поступил по моему совету; вот в чем она заключалась: следовало разделить фонд по 10 тысяч фр. с Огаревым и выдавать из его части, когда он ни потребует, но другую половину употребить по мнению исключительно одного Герцена. Последний желал этими деньгами расширить русскую типографию, чтоб со временем новые русские эмигранты воспользовались ею, и в то же время ему хотелось дать работу Чернецкому, который не был способен ни на какое другое дело. Чернецкому грозила голодная смерть, и это очень тревожило гуманного и больного Александра Ивановича. Но моя мысль осуществилась только наполовину. Огарев употребил быстро свою часть, и опять приставал, чтоб Герцен дал еще денег по какому-то экстренному случаю; но Александр Иванович не дал ничего из своей части: она была цела, когда он скончался. Впоследствии, после кончины своего отца, Александр Александрович сказал мне:

— Мы честные люди, Натали, и мне не хочется

держать у себя эти деньги. Много ли их осталось у нас, ты лучше знаешь эти дела? *

— Десять тысяч франков,— отвечала я.

— Скажи твое мнение,— сказал он.

— Твой отец желал употребить эти деньги на расширение типографии, но так как ты не станешь заниматься русской пропагандой, пожалуй — лучше отдать эти деньги Огареву с Бакуниным; тогда на тебе не будет никакой личной ответственности за них,— сказала я.

Александр Александрович поехал в Женеву и вручил деньги, как было сказано выше ⟨...⟩

Возвращаюсь к моему рассказу о пребывании Герцена в Женеве. На другой день соглашения их с Огаревым относительно фонда Нечаев должен был прийти к Герцену за получением чека. Я была в кабинете Герцена, где он занимался, когда явился Нечаев. Это был молодой человек среднего роста, с мелкими чертами лица, с темными короткими волосами и низким лбом. Небольшие, черные, огненные глаза были при входе его, устремлены на Герцена. Он был очень сдержан и мало говорил. По словам Герцена, поклонившись сухо, он как-то неловко и неохотно протянул руку Александру Ивановичу. Потом я вышла, оставив их вдвоем. Редко кто-нибудь был так антипатичен Герцену, как Нечаев. Александр Иванович находил, что во взгляде последнего есть что-то суровое и дикое. Может быть, на него повлиял рассказ об убийстве Иванова в Петровской академии, о котором в это время много говорили ⟨...⟩ [50]

⟨...⟩ Вскоре после кончины А. И. Герцена старшая дочь его Наташа поехала в Женеву с Тхоржевским для свидания с Н. П. Огаревым; там находились в то время Бакунин, Нечаев и много других, менее замечательных сообщников-революционеров. Бакунин и Огарев знали о недавней болезни Наташи, болезнь которой едва начинала проходить и в которой ей постоянно мерещились самые драматические сцены из революции: во время болезни ее страдания были так сильны, так живы, что я сама настрадалась, глядя на нее. Тем не менее эти господа решились, с странной необдуманностью, вовлечь ее в революционные бредни их партии. Видя в больной богатую наследницу части состояния Герцена, Бакунин не задумался пожертвовать ею для *дела*, забывая, что

---

* В семье Герцена мы все говорили друг другу «ты». *(Примеч. Н. А. Тучковой-Огаревой.)*

именно революционная обстановка могла угрожать ей рецидивом болезни. Бакунин делал это не из личной жадности к деньгам; он не придавал им никакого значения, но он любил революционное дело, как занятие, как деятельность, более необходимую для его беспокойной натуры, чем насущный хлеб.

Наташа возвратилась к нам в Париж молчаливая, исполненная таинственности, и объявила нам, что намерена поселиться в Женеве близ Огарева. Ее брат, Александр Александрович, и я были поражены не только ее решением, но и ее загадочным видом и ее задумчивостью. Со слезами на глазах Александр Александрович просил меня ехать с ней в Женеву и не оставлять ее под исключительным влиянием революционеров. Но просить меня было лишнее, я любила Наташу; ходя за ней в ее двух болезнях, которые, вероятно, не без связи между собой, по словам научных людей, я радовалась, что судьба меня так поставила, что я могла в память Герцена доказать, что люблю его Наташу не менее своей дочери. Александр Александрович и Мальвида фон Мейзенбуг предлагали поместить Наташу в лечебное заведение, ходить за ней им казалось немыслимо, но я, чужая, не согласилась отдать ее на чужое попечение: «Пока ноги двигаются, не оставлю ее». Мой уход увенчался успехом, вскоре она стала поправляться, но ее любящий отец оставил нас, не видав ее здоровую. Это одно из самых тяжелых сознаний моих.

Приехав в Женеву, мы сначала поместились в каком-то маленьком пансионе: общество пансиона было весьма неинтересное, а пища казалась только для вида, питательного в ней ничего не было. По этому поводу, помню, как мы раз смеялись за table d'hôte'ом, когда какой-то молодой человек, вероятно какой-нибудь commisvoyageur, передал мне блюдо с серьезной важностью, говоря: «Permettez-moi, madame, de vous offrir ces ossements *, — так как мяса не было, а только кости.

Но возвращаюсь к моему рассказу. Каждый день с утра Наташа отправлялась к Огареву и там садилась за письменный стол, ей дали обязанность секретаря общества, и некоторое время она не понимала, что они так же играют в тайны, как дети в куклы. Иногда она уходила с сильной мигренью, я отсоветовала ей идти, но она отвечала, что ей не дозволено пропустить и одного дня;

---

* Позвольте мне вам предложить эти кости *(фр.)*.

случалось, что ей становилось там еще хуже, она принуждена была бросить работу, прилечь на диван и ночевать у Огарева, а я ее ждала в большом беспокойстве. Раз, часа через два после ее ухода, мне приносят от нее записку, в которой она говорит, что уезжает на два дня в Берн к Марии Каспаровне Рейхель, давнишнему другу Герцена и его семейства. На третий день она возвратилась и призналась мне, что вовсе не была у Марии Каспаровны, но что Нечаев посылал ее с поручением к какому-то господину, который жил в горах [51] — ей пришлось совершить трудный путь одной с проводником, ночевать в каком-то пустынном месте у глухой и неприветливой старухи. Ей дали комнатку на чердаке, дверь не затворялась, а хлопала от порывистого ветра. Наташа придвинула к двери какой-то тяжелый комод и тогда прилегла, но заснуть вовсе не могла. Слушая ее рассказ, у меня сердце замирало; я боялась, чтоб все эти волнения и страхи не подействовали на ее нервную, потрясенную болезнью натуру. К счастью, ожидаемых мною последствий не было, она, видимо, поправлялась; в наших беседах я ей доказывала, что все это игра, что, вероятно, никакой надобности не было посылать ее в горы; поручение придумано, чтоб испытать ее храбрость и послушание, а также чтоб заинтересовать ее. Переписываясь с сестрой, Александр Александрович искал тоже ослабить влияние Бакунина, говорил, что считал серьезной пропагандой действия своего отца и Огарева, но у этих революционеров нет никакой задачи, они только играют в революцию.

В то время мы занимались печатанием посмертного издания Герцена. Почему-то Нечаев и компания узнали, что в этом томе будет статья о нигилистах, и потому я получила по почте из Германии бумагу, озаглавленную «Народная расправа»; послание это, очевидно, было написано в Женеве; в нем запрещалось печатать сочинения необдуманного, но талантливого тунеядца Герцена, и что если я и семья его не послушаемся этого предостережения, то будут приняты против нас решительные меры [52]. Оригинал этой бумаги был отослан мною в редакцию «Русской старины» при жизни М. И. Семевского.

Конечно, мы продолжали печатать, даже с большей энергией. Уведомленный мною об этом загадочном послании, Александр Александрович Герцен писал мне, чтоб я сходила к Карлу Фогту, посоветовалась бы с ним

и отдала бы ему оригинал на сохранение, так как у меня была верная копия.

Я бывала иногда в семье Фогта, знала его милую жену и отправилась к ним по совету Александра Александровича, но на этот раз, посидев недолго с m-me Фогт, я сказала ей, что должна переговорить с ее мужем по серьезному делу. Она пошла к нему наверх и скоро возвратилась за мной, говоря, что Карл Фогт [53] просит меня наверх, потому что лежит в страшной мигрени. Он был также подвержен этой болезни, как и вся семья Герцена.

Когда я вошла, Фогт в халате лежал на постели; лицо его выражало нестерпимое страдание, я старалась сжато передать ему, в чем дело, рассказала в нескольких словах об угрозах нигилистов; он пришел в большое негодование и был одного с нами мнения, что эти угрозы должны только прибавить энергии в деле издания посмертного сборника, и охотно взял оригинал на сбережение. Так как я не знала, что значит *решительные меры*, то думала, не хотят ли они силой взять рукопись, и вручила ее Фогту.

Наташа поправлялась, после болезни хладнокровнее смотрела на революционеров, стала реже ходить к Огареву, реже видать Бакунина и его приверженцев; вследствие этого мы переехали из пансиона подальше и поселились в маленьком домике, который, вероятно, был построен для жильцов скорей красиво, чем прочно. Домик находился в большом саду; тут же виднелся большой дом, в котором жил хозяин с своим семейством. Надо сказать несколько слов о хозяине, так как он был в своем роде редкостью; я забыла его фамилию, но не забыла его антипатичную фигуру, он был олицетворенный bourgeois * и заслужил репутацию страшного реакционера: среднего роста, замечательно худощавый, он походил на паука или на скелет, держался так неестественно прямо, что, казалось, он проглотил аршин и с тех пор потерял всякую эластичность, гибкость членов; голос его был отрывист, а звуком он напоминал скорей какую-нибудь хищную птицу, чем человеческий голос. Голова его была всегда гордо закинута назад, он носил шляпу (cheminée), и я не раз дивилась, как она не падает с его закинутой назад головы. Он приходил в умиление пред своей собственностью, он лелеял все, что ему

---

* мещанин (*фр.*).

принадлежало, и потому страстно любил занимаемую нами квартиру. По крайней мере раз в месяц, а иногда и чаще, он являлся к нам и с любовью осматривал все комнаты, под разными предлогами, а в сущности он не доверял; он хотел видеть, как мы обращаемся с его собственностью, и давал нам почувствовать, что это все его, что мы тут так, для того только, чтоб собственность приносила доход. Иногда эти посещения были очень смешны, но большею частью они нам надоедали, потому что каждая из нас имела свое дело, а нужно было следовать за ним по комнатам, а иногда и сидеть с ним в гостиной. Тогда я занималась изданием посмертного сборника и, кроме того, занималась переводом на французский язык «Писем из Франции и Италии», а Наташа взяла на воспитание старшего сына своего брата, его звали Тутс; это тот самый ребенок, о котором говорится иногда в письмах Герцена к Огареву и которого мать так трагически кончила свой недолгий век, бросившись в реку в том самом месте, где сливаются воды темно-синей Роны и белой Арвье. Это очень странное зрелище: эти реки долго текут рядом, сохраняя каждая свой цвет, и только позже сливаются совершенно. В Роне есть глубокие пещеры, туда прибило тело несчастной Шарлотты. Когда она приехала из Англии с маленьким Тутсом, ее поместили у Огарева в доме, но скоро Мери стала ревновать ее к Огареву и к своему сыну Генри. Шарлотта любила Огарева как отца; когда она услышала непонятные упреки от Огарева, она поняла, что ее очернила Мери перед ним; она горько плакала в последний день, просила водки у Мери, та дала, а вечером Шарлотта исчезла, это дало повод добродетельной Мери распускать слух, что Шарлотта бросила ребенка на ее попечение и бежала с новым любовником, но Рона отомстила Мери и оправдала несчастную жертву; через четыре года она выбросила из пещеры на поверхность вод тело Шарлотты, полиция вспомнила исчезновение молодой англичанки из Ланси и пригласила Мери посмотреть на свою жертву: на одной ноге была еще ботинка и в кармане связка ключей. Мери признала ключи и останки покойницы. Неужели сердце ее не содрогнулось от недостойной клеветы 〈...〉

В Женеве мы познакомились с одним соотечественником (из нигилистов). Он оставил Россию несколько лет тому назад, был и в Америке. Он нам нравился тем, что был проще, откровеннее нигилистов. Он сказал нам,

что фамилия его Серебренников, но весьма возможно, что это была вымышленная фамилия [54]. Многие из эмигрантов жили под вымышленными фамилиями.

Тогда уже полиция искала Нечаева, и вот раз во время прогулки Нечаева с Серебренниковым полицейские напали на них: однако Нечаев успел убежать, а Серебренникова схватили и отвели в тюрьму. В тюрьме Серебренникова допрашивали, записывали его показания; приезжал из Питера какой-то вызванный по телеграфу русский генерал, он читал показания Серебренникова и ходил смотреть на него в тюрьму. Когда его арестовали, Серебренников жил у Огарева; несколько дней после его ареста полицейский является к Огареву, говоря, что Серебренников просит свой sac voyage с бумагами; Огарев не догадался, что это полицейская уловка, и выдал бумаги Серебренникова. Последний был в отчаянии, когда узнал об этом, потому что в бумагах были письма, имена, он мог многим повредить.

В это время русские эмигранты, не исключая и женщин, много толковали об убийстве Иванова Нечаевым; от самого Нечаева никто ничего не слыхал, он упорно молчал. Эмигранты разделились на две партии: одни находили, что надо подать прошение швейцарскому правительству, убеждая его не выдавать Нечаева и заявляя, что вся русская эмиграция с ним солидарна; другие, наоборот, не признавали никакой солидарности с ним и утверждали, что, не слыша ничего от самого Нечаева, нельзя сделать себе верного представления об этом деле и прийти к какому-нибудь заключению, и мы с Наташей так же думали.

По этому поводу нашли нужным собрать всех эмигрантов и выслушать их мнение. Мы думали, что поговорят и не будет никакого собрания; однако Николай Иванович Жуковский, учивший в то время мою дочь русскому языку, сообщил нам однажды, что собрание эмигрантов непременно будет на днях и что нас собираются тоже звать. Это немало нас удивило, потому что мы отлично знали взгляд нигилистов на наше семейство: они называли нас аристократами, тунеядцами и пр. Однако вскоре нам принесли форменное приглашение, и мы решились идти для курьеза, не придавая никакой важности этому сборищу. Моя дочь, тогда двенадцатилетняя девочка, непременно хотела нас сопровождать, но, к счастью, мне удалось ее разговорить, ей надо было вставать рано, а собрание было назначено в 10 часов

вечера и могло продлиться за полночь; мы жили далеко, пришлось бы идти пешком, потому что в такой поздний час в Женеве не нашлось бы экипажа. Потом мне не раз вспоминалось это собрание, и я радовалась, что моей дочери не было с нами.

В назначенный день вечером мы отправились обе и нашли café, в котором должно было происходить заседание эмигрантов. Это была в rez-de-chaussée * очень большая зала: во всю длину комнаты помещался стол, покрытый клеенкой, а кругом стулья. В зале находилось уже много знакомых и незнакомых соотечественников; две или три висячие лампы ярко освещали всю комнату и присутствующих; наконец явился и Огарев, и заседание началось. Председателем был, кажется, Мечников [55]. По лицу Огарева я сейчас заметила, что он не совсем трезвый; все сели, Огарев — возле меня, облокотился на мой стул и дремал. Он старался внимательно слушать, что говорилось, но не мог и только изредка, кстати и некстати, говорил: «Пожалейте его, господа, просите за него» (т. е. за Нечаева). Последний ходил взад и вперед по комнате, не подходя к столу и не вмешиваясь в толки эмигрантов; однако его присутствие, вероятно, очень стесняло многих из них. Когда все сели и водворилась тишина, председатель сказал в нескольких словах, в чем заключалась цель собрания и какие вопросы он будет предлагать эмигрантам. «Желательно знать, много ли людей из нашего собрания считают себя солидарными с Нечаевым? Кто не солидарен, пусть поднимет руку». Я подняла руку, Наташа и многие другие. Потом стали обсуждать, нужно ли просить швейцарское правительство, чтоб оно не выдавало русских политических преступников. Тут стало шумнее, и трудно было расслышать, что говорилось: многие внушали, что не нужно говорить об этом, потому что этого не было и не будет никогда. Другие говорили о безотрадном положении Серебренникова. Как доказать что он не Нечаев: свидетели, выписанные из России, скучают; они начинают сомневаться, не он ли сам Нечаев; бумаги Серебренникова в руках русских шпионов. Как сделать, чтоб освободить Серебренникова, надо спешить придумать что-нибудь, каждый час дорог, его могут выдать на днях.

Говорили, говорили и ничего не решили.

Когда пробила полночь, Мери пришла за Огаревым.

---

* в нижнем этаже (*фр.*).

К несчастию, она вовсе не была та кроткая женщина, которую так мило описала Т. П. Пассек, не знавшая ее ничуть. Лицо ее (couperosé) * показывало, что она часто заглядывала в бутылку. По ее отрывистой походке, по неровным движениям я догадалась, что она пьяна, и старалась отодвинуть свой стул от Огарева, который ничего не замечал, добродушно улыбался и опять придвигался. Я рада была, когда все встали и начали собираться выходить. Огарев один все еще сидел. Вдруг, раздвигая бесцеремонно толпу, Мери подходит к нам, начинает говорить дерзости по-английски с поднятыми кулаками.

— Господа,— вскричала я в испуге,— что мне делать, я не умею драться.

Тогда Нечаев и другие схватили Мери и повели ее вон. Кто-то из присутствующих подошел к Огареву и предложил ему проводить его домой. Мы стояли с Наташей, обрадованные нашему неожиданному избавлению, но испуганные за Огарева. Передав кому-то Мери, Нечаев опять подошел к нам, и мы обе в один голос стали просить его не оставлять Огарева одного с этой страшной женщиной.

— Нет, нет,— отвечал он,— я поручил охранять его, да что же делать, ему частенько достается, да кто виноват, зачем связался с такой женщиной.

Он не видал моего лица, вуаль моя была опущена; он не знал, какую боль он вызвал, какой упрек мне бросил.

Когда мы вышли, я протянула ему руку на прощание и горячо благодарила за то, что он спас меня от оскорблений.

Мы направились домой; Нечаев шел возле нас, говоря, что так как очень поздно, он проводит нас. На другой день Наташа опять пошла к Огареву, ее занимала участь бедного Серебренникова.

Когда мы по вечерам оставались одни, она расспрашивала меня о моих впечатлениях относительно собрания эмигрантов. Вообще, она всегда более любила расспрашивать, чем высказываться. Я отвечала ей, что для этого собрания не стоило и собираться.

— Какая солидарность,— говорила я,— с человеком, который не настолько уважает эмигрантов, чтоб разъяснить им дело Иванова; вот Серебренникова жаль, надо

* покрытое красными пятнами (*фр.*).

бы его спасти, я думаю об этом. Карл Фогт член в Grand Conseil *, его очень уважают, ему поверят; но только как сделать, чтоб Фогт нам поверил?

— То есть в чем поверил? — спросила Наташа.

— Да, разумеется, в том, что Серебренников не Нечаев; он подумает, что мы хотим спасти Нечаева.

Несколько дней прошло после этого разговора.

— Нечаеву очень трудно скрываться, его ищут везде,— говорила мне как-то поздно вечером Наташа.

— Что же делать? — отвечала я,— уезжал бы. Поздно, пора спать.

— Нет, посидим еще немного,— возразила она.— Скажи мне, что бы ты сделала, если б Нечаев пришел тебя просить укрыть его? — и она посмотрела на меня со своей милой улыбкой.— Ты скажи? А?..

— Я не знаю,— да где здесь скрывать кого-нибудь, с нашим хозяином вдобавок. Ты знаешь мое мнение о Нечаеве. Бог с ним! Пойдем лучше спать.

— Но если б он пришел тебя просить скрыть его хоть на два, на три дня,— продолжала допрашивать Наташа,— неужели бы ты отказала, Натали, если нет крова над ним?

— Я его не люблю, не уважаю, и он не придет сюда,— отвечала я резко.

Вдруг раздался звонок.

— Как поздно,— говорю я,— кто бы это был, девушка спит.

— Постой, я посмотрю,— говорит Наташа,— а если это он?

Через несколько минут она возвратилась и сказала мне шепотом:

— А ведь это он!

— Как, неужели? — воскликнула я в неприятном изумлении.

— Неужели ты его прогонишь? — говорила она тихо.

— Нет, этого нельзя сделать, но как мне это неприятно,— сказала я.

Подойдя к передней, я увидала Нечаева. Он поклонился и подал мне руку, говоря:

— Позвольте мне остаться у вас два, три дня, не более.

— Хорошо,— сказала я,— но долго здесь нельзя скрываться.

---

* Большого Совета (*фр.*).

Он вошел, не замеченный прислугой, потому что все спали ⟨...⟩

Уже прошла неделя, что Нечаев поселился у нас; я очень желала, чтоб он отправился, но он все откладывал.

Положение Серебренникова становилось очень опасно, и потому я решилась отправиться к Карлу Фогту. На этот раз я застала его здоровым. Он сидел один в гостиной. Поздоровавшись с ним, я сказала:

— Я к вам, monsieur Vogt, с большой просьбой — вы наша единственная надежда.

— Что такое, опять нигилисты вам угрожают? — спросил он.

— Нет, другое,— отвечала я,— вы слышали об аресте нашего соотечественника Серебренникова, слышали, может, и об ошибке Огарева, который отдал sacvoyage Серебренникова полицейскому. Если Серебренникова выдадут, будет очень плохо и для него и для многих других, потому что в бумагах были письма, имена...

— Да, да,— сказал он,— я кое-что слышал об этом.

— Я бы желала, чтоб вы в Grand Conseil дали честное слово, что Серебренников не Нечаев — вам поверят.

— Понимаю,— сказал он с едва заметной улыбкой,— вы хотите спасти Нечаева и потому говорите, что это не он.

— Нет, действительно это не он, уверяю вас,— возразила я.

— Но какое же доказательство, что это не он? — спросил Фогт.

— Я не могу вам дать доказательств, я только даю вам честное слово, что это не он,— был мой ответ.

— Но если б это был Нечаев, вы бы, вероятно, тоже готовы были сказать, что не он, чтоб его выпустили.

— Это правда, хотя я не из его друзей, и тогда надо бы стараться спасти его; что пользы Швейцарии покрыться таким позорным пятном: выдача политического преступника.

— Где же Нечаев? — спросил Карл Фогт.

— Он скрывается,— отвечала я,— честное слово, он на свободе — я это верно знаю, а доказательств не может быть.

Фогт молчал и сидел задумчиво; с замечательной

проницательностью, поднимая вдруг голову и обращаясь ко мне:

— Он скрывается у вас в доме! — воскликнул он.

— Вы отгадали, я не боюсь вам в этом признаться.

— Он вам враг и Герцену тоже, а вы подвергаетесь опасности, чтоб спасти его,— сказал он с таким выражением в лице, которого я никогда не видала.

— Ну что ж делать, это правда,— сказала я, вставая,— теперь вы верите и скажете, что Серебренников не Нечаев.

— Да, я сделаю это,— заключил он, протянул мне руку и крепко пожал ее. И мы расстались.

Когда мы сошлись вечером с Наташей, я передала ей разговор с Фогтом и его обещание. Наташа очень радовалась, что дело Серебренникова принимало такой счастливый оборот; через несколько дней мы узнали, что Серебренникова выпустили по вмешательству Фогта ⟨...⟩

ИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ К «ВОСПОМИНАНИЯМ»

Впоследствии, уже замужем, я была однажды в Петербурге [1]. Огарев хлопотал о получении заграничного паспорта; наш был первый, выданный в наступившем царствовании Александра II. Кто-то нам сказал, что И. С. Тургенев тоже в Петербурге; мы этому очень обрадовались оба. Сначала Огарев встретился с ним у кого-то из общих приятелей, потом Тургенев явился к нам, мы стояли в какой-то гостинице. Никогда не забуду этой встречи, так мало я ее ожидала.

Когда Тургенев постучал в дверь, я сидела в первой комнате, Огарев был во второй. Он хотел идти навстречу входящему, но Тургенев предупредил его, услышав обычное «войдите». Он вошел, кланяясь мне на ходу и спеша к Огареву.

Дверь была открыта, и я слышала, как он сказал Огареву:

— Ведь вы женаты? На ком?

— На Тучковой,— отвечал Огарев с простодушным удивлением в голосе,— да вы разве не знаете?

— Познакомьте меня, пожалуйста, с вашей женой,— сказал Иван Сергеевич.

— Да ведь вы, кажется, давно знакомы,— говорит Огарев и зовет меня.

Я встаю, они входят, и я не могла не улыбнуться,

протягивая руку этому новому знакомому. Это была какая-то сцена из «Онегина». С этой минуты Иван Сергеевич был действительно новый знакомый.

Зато к Огареву у него была в эту эпоху горячая симпатия. Прощаясь, он говорил ему: «Я не могу так уйти, скажите мне, когда я вас увижу снова, где, назначьте день» и пр. Мне кажется, все очень горячие чувства его, кроме к Виардо, не длились долго. Раз он зашел к нам в Петербурге, в отсутствие Огарева, и сказал мне:

— Я хотел передать Огареву поручение Некрасова, но все равно, вы ему скажите. Вот в чем дело: Огарев показывает многим письма Марии Львовны и позволяет себе разные о них комментарии. Скажите ему, что Некрасов просит его не продолжать этого; в противном случае он будет вынужден представить письма Огарева к Марье Львовне куда следует, из чего могут быть для Огарева очень серьезные последствия [2].

— Это прекрасно,— вскричала я с негодованием,— это угроза доноса en tout forme *, и он, Некрасов, называется вашим другом, и вы, Тургенев, принимаете такое поручение!

Он проговорил какое-то извинение и ушел.

Конечно, это объяснение ничуть не способствовало нашему сближению. Из писем Марии Львовны (присланных Огареву по смерти ее) он узнал, что, несмотря на то, что Панаева с поверенным Шаншиевым по доверенности Марии Львовны получили орловское имение для передачи ей, все-таки они ее оставляли без всяких средств к существованию, так что она умерла, содержимая Христа ради каким-то крестьянским семейством близ Парижа [3]〈...〉

Каждый год раз или два Тургенев приезжал в Лондон. Иногда бывал очень весел 〈...〉

Раз Тургенев приехал к нам вскоре после написания им «Фауста». Он читал его сам у нас, но ни Огареву, ни Герцену «Фауст» не понравился, с той только разницей, что последний делал свои замечания очень сдержанно, тогда как первый критиковал «Фауста» очень резко; с этих пор Иван Сергеевич окончательно потерял всякое расположение к Огареву.

Помню, что раз Тургенев приехал в Лондон особенно веселый и милый к Герцену.

---

* по всей форме *(фр.)*.

— Знаешь ли, что я тебе скажу,— начал он, обращаясь к Александру Ивановичу,— ведь я приехал нынче не один; чтоб тебя лицезреть, один чудак пустился в дорогу, не зная ни одного иностранного слова, и просил меня проводить его до Лондона. Ведь это подвиг? Отгадай — кто это? Вот что,— продолжал он,— может, лучше сначала тебе к нему съездить, может, Огареву не совсем приятно его видеть, были какие-то неприятности...

— Господа,— сказал Александр Иванович,— да уж это не Некрасов ли? Он ведь безъязычен; с чего же он взял, что мне будет приятно его видеть после того, что он через тебя, Иван Сергеевич, передавал Огареву?

— Да ведь он нарочно приехал из России, чтоб повидаться с тобой!

— Может ехать обратно,— сказал Герцен, и был непреклонен. Вообще, за Огарева он оскорблялся гораздо более, чем за самого себя.

В продолжение трех дней Иван Сергеевич постоянно уговаривал Герцена увидать Некрасова, но принужден был покориться непреклонной воле Герцена и увезти его обратно, не добившись свиданья [4].

По переезде в Швейцарию мы не видали более Ивана Сергеевича; изредка он переписывался с Герценом. По распоряжению последнего, «Колокол» высылался правильно Тургеневу, Вырубову и некоторым еще, но, когда Огарев сломал ногу и Тургенев не осведомился о состоянии его здоровья, Герцен рассердился на Тургенева и не велел высылать ему более «Колокола»; зато, когда мы приехали в Париж в конце 1869 года, Герцен сам смеялся, рассказывая, как при первом свидании Тургенев подробно и долго расспрашивал своего друга о здоровье Огарева.

— Видно, урок был хорош! — говорил Александр Иванович, смеясь 〈...〉

В 1847 году мы собрались ехать за границу [5].

Когда был решен наш отъезд, Огарев дал мне с сестрой записочку к жене Герцена — Наталье Александровне, чтобы мы скорее с нею сошлись, не теряя времени на церемонные визиты. Мы были рады ехать, несмотря на то, что нам жаль было оставить деревню, старую няню и Огарева, который любил нас, как детей своего друга. Огарев проводил у нас по несколько дней, бродил с нами, детьми, по лесам, вечером по селу; там садились мы на бревна, слушали песни и любовались на

хороводы. Огарев смотрел на нас обеих почти как на детей, с добродушной улыбкой, и всегда был готов исполнять наши желания.

Мы берегли данную нам Огаревым маленькую запечатанную записочку. Если бы она была и не запечатана, и тогда мы не смели бы ее открыть, несмотря на то, что нас очень занимало ее содержание.

За границей мы побывали в Генуе, в Ницце и везде узнавали, что Герцены были и уехали. Наконец мы нашли их в Риме. Вечером, в день приезда, мы уже были у них, и так дружески с ними сблизились, что все время пребывания нашего в Италии были неразлучны ⟨...⟩

Раз в храме Петра и Павла встретилась я с Марией Федоровной [6], которая оперлась на мою руку и, отойдя от остальных, сказала мне тихо:

— M-lle Natalie, как горячо Огарев о вас писал Наталье Александровне, *особенно* о вас. Уж не влюблен ли?

Я в смущении молчала.

— А вы? Он такой славный!

Я чувствовала, что краснею под ее взглядом от неожиданности,— как будто и от радости, и ничего не ответила ей. Мария Федоровна выручила меня, продолжая разговор сама.

Наталья же Александровна никогда даже и не намекала на эту записку, но она полюбила меня глубоко. С Огаревым она была очень дружна ⟨...⟩

Кажется, в 1860 году, когда говорили уже много о скором освобождении крестьян, помню, что раз утром в нашей квартире раздался сильный звонок. Наш повар Jules доложил Александру Ивановичу, что его спрашивают три незнакомые личности, приехавшие издалека для свидания с ним. Герцен же, для того чтобы правильно заниматься, имел обыкновение никого не принимать по утрам, но так как Jules уже ввел посетителей в салон, то он сделал на этот день исключение и пошел к приезжим, но вскоре вернулся за Огаревым, и они долго беседовали все вместе. На другой день я видела этих господ, они провели дня три или четыре в Лондоне; это были члены варшавского жонда, посланные подпольным правительством для переговоров с Герценом и для отыскания его поддержки. После Герцен передавал мне разговор с ними. На их просьбы помочь Польше вооруженной силой Александр Иванович отвечал с свойственною ему откровенностью, что он не располагает никакой матери-

альной силой в России, но что, если б это и было, он не стал бы звать своих на междоусобную войну.

— Вся моя сила,— сказал он им,— в слове, в истине, в моем чутье, в одинаковом биении моего сердца с сердцем народа; мы оба с Огаревым жалеем о Польше, но между нами и вами мало общего — мы посвятили свою жизнь служению русскому народу, а у вас на первом плане далеко не народные интересы. Если я ошибаюсь, докажите мне противное: отпустите крестьян на волю, отпустите их с землею! Тогда между нами будет общее. Оставьте мысль о восстании, много крови прольется даром. Россия сильнее Польши; лучше пользуйтесь тем, что она сделает для себя: возмущением вы не выиграете ничего, но вы затормозите ход развития России.

Посланные жонда возвратились в Варшаву, ничего не достигнувши и давши только неопределенные обещания относительно крестьян.

Советы Герцена не были приняты жондом ⟨...⟩

ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ

(Ноябрь 1855 — январь 1856)

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА — Е. А. САТИНОЙ

⟨...⟩*26 ноября 1855.* Вчера явился Тургенев, у него страсть к Огареву. В один день был два раза, мне так дурно было, что я лежала и при нем. Он взошел с большим эффектом, сделал [вид] будто или в самом деле не узнал меня; вышел в другую комнату и спросил,— кто это?⟨...⟩ Однако вечером он стал полюбезнее, расспрашивал о тебе, сколько детей и пр. Потом звал нас обоих к себе обедать, говоря, что у него обедали иногда мужья с женами. А я ему отвечала: Est-ce que vous croyez que nous sommes inseparables? * Огарев придет и один.

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА — Е. А. САТИНОЙ

5 декабря 1855. Огарев здоров, но кашель не проходит, впрочем, здесь почти все кашляют. Сегодня он обедает у Тургенева и знакомится с Толстым, который писал «Детство», помнишь? Новые стихи Огарева очень нравятся здесь, я перепишу их для тебя. Однако если тебе есть время их прежде прочесть, так спроси их у Корша. С моей болезни мы обедаем все дома, видим мало народу, по вечерам Огарев ходит читать газеты. Скучаем иногда и порядочно. Хотим переехать с этой квартиры, тут много неудобств и не дешево; не знаю, что будет.

Сегодня Огарева и Сатина именины. Кой-кто приходил поутру из его знакомых. Садясь за стол, я только заметила, что руки его сильно трясутся. На днях у него была бессонница и вообще он был что-то не в духе. Я не умею тебе сказать, как мы обедали: куски останавлива-

---

* Вы считаете, что мы неразделимы? *(фр.)*

лись в горле, я прикинулась очень веселой и шутя предложила положить спирт на затылок. Смеясь, я прибавила: «Вот если бы Кетчер, он и к ногам бы тебе приложил». И Огарев, к моему изумлению, согласился сейчас, и воды приложил ко лбу. Ну и сели мы опять, за холодный суп принялись, а сердце так и прыгает. После обеда я стала читать, и он скоро заснул, не знаю, что будет, когда проснется...

Ну, дело не обошлось. Вечером припадок был. Как часто, ровно месяц и два дня. Сегодня он не припишет, милый друг, а в будущем письме непременно. Будь покойна, я не буду тебя обманывать нынче, пора нам не быть детьми.

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА — Е. А. САТИНОЙ

11 числа декабря[1] *1855.* Тургенев и Соллогуб так протрубили об стихах Огарева, что все даже вовсе незнакомые хотят его видеть; не мудрено, что это его радует, стало и меня, стало и тебя. Завтра будут читать его стихи там, где самому никогда не доведется быть[2].

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА — Н. А. ТУЧКОВОЙ

13 décembre 1855. Вы спрашиваете меня, милая мама, как я провожу время: так однообразно, что почти нечего рассказать. Утром я пишу Елене или вам, милая мама, записываю расход, чиню что нужно. Кончив необходимые дела, играю на рояле или читаю. Днем Огарев ежедневно уходит по делам или к знакомым, изредка я немного гуляю с ним пешком, одна же совсем не выхожу. Когда он возвращается домой, мы обедаем; Иван приносит нам обед из ресторана, который против нас. Иван служит хорошо, да и мы совсем нетребовательны. Я очень довольна своим характером, потому что ни из-за чего не раздражаюсь.

Меня прервала прачка, потом Огарев, собираясь уходить. Он пошел с Тургеневым в любительский концерт.

Возвращаюсь к нашему образу жизни. По вечерам мы читаем вместе, потом Огарев идет в кафе читать газеты и возвращается к чаю. Иногда его приглашают на вечеринки; здесь не ужинают, поэтому нет и шампанско-

го. Все дни для меня на одно лицо, только прогуливаясь по улицам, я несколько оживляюсь, но это бывает редко. (Это доказывает, милая мама, что можно жить в городе однообразнее, чем в деревне.) По приезде сюда я бывала у Коршей; Огарев желал этого, а для меня это все-таки было развлечение, но они уехали почти две недели назад.

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА — Е. А. САТИНОЙ

14 декабря 1855. Огарев теперь на вечере у Тургенева; опять читает «Зимний путь», я просила его взять письмо, верно, Василий Петрович будет там.

Я переписала для тебя стихи Огарева, только он взял у меня тетрадь, потому что его тетрадь кто-то выпросил. Не знаю, как быть с новым годом, хотелось бы быть вместе, не знаю, как это устроить. Можно бы съездить хоть на два на три дня, только как спасти Огарева от Пикулинских вечеров, ведь они просто его уморят. Я очень рада, что спокойствие и горчишники спасли его от обыкновенного второго припадка.

Теперь Огарев вовсе не пьет водки, только красное вино. Мне кажется, он замечает, что здоровье мое уступает вечному беспокойству и я как-то разлагаюсь, только, пожалуйста, ты не беспокойся, с этим слабым здоровьем можно сто лет прожить. Огарева, хотя и жаль, но, с другой стороны, беспокойство обо мне одно останавливает его иногда. В первый раз я замечаю, что здесь скверно жить зимой, то страшно холодно, то ветер с моря, тепло и сырость; странное расслабление чувствуется.

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА — Е. А. САТИНОЙ

17 декабря. Вечер. 1855. Завтра будут у нас Островский, Тургенев, Толстой, Боткин, не могу тебе скрыть, что чувство дикости мной сильно овладело; с двумя надо совершенно вновь знакомиться. Боткина я почти не знаю, Тургенев, кажется, меня ненавидит; а нельзя не звать их. Огареву скучно да и неловко, они всегда его зовут, а он ни разу.

Огарев поехал к Кавелину, жму тебе руку за него.

22 декабря. Наш маленький вечер был не совсем удачен. Огарев хлопотал об ужине и вине, а между тем Толстой вовсе не приехал, Тургенев повернулся и уехал, Боткин остался, но не ужинал, один Островский поужинал с Огаревым. Он мне нравится, прост, умен, да еще качество: не имеет никакой злобы, никакого предубежденья против меня. Я выучилась это ценить как следует, поэтому с такими людьми, как Островский, я сама проще и добрее, я чувствую, что могу говорить свободно, что никто не будет перетолковывать мои слова вечно в дурную сторону.

Никак не могу решиться лишить Сатина его кабинета, друг мой, ты сама это поймешь, я могу тебя стеснять, мне это даже весело, но Сатин не хотел быть моим братом, как же поступать с ним как с братом? Я знаю, что пока я жива, он со мной не примирится, потому что он сильно под влиянием Кетчера и Грановского, не сердись только за эти откровенные слова. Какое же в самом деле преступленье я сделала, которое бы Сатин, положа руку на сердце, мог засвидетельствовать сам? Но он смотрит чужими глазами. Ты с ним не говори обо мне, это совершенно бесполезно, но когда жизнь моя кончится и я пойду на вечный отдых, тогда ты ему все расскажи, и я уверена, что он поймет; когда жизнь с своими мелочами, горячими вспышками, бурными порывами уляжется в могилу,— нет больше места для ненависти. Я прощаю Грановскому зло, которое он мне сделал, и слушаю спокойно похвалы об нем. А между тем больно и непривычно встречаться с людьми не дурными, которые, не зная тебя, по словам других, осудили тебя навеки. Но за что нападают на тебя теперь? Чем недоволен Пикулин? Не я ли опять вовлекла тебя в неприятности? Напиши просто.

Пожалуйста, не сердись на меня, Елена; ты у меня почти одна, не будем ссориться, ведь я тебе ничего нового, оскорбительного не сказала. Ты все это давно знаешь. Если ты думаешь, что можно меня от души помирить с Сатиным на отъезд, так помири, а если ты видишь сама, что он еще заблуждается, так оставим все постарому. Если можно, найми нам несколько комнат как можно ближе к вам. Пиши мне поскорее, а то я буду думать, что ты сердишься.

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА — Е. А. САТИНОЙ

29 décembre 1855. Я начала было писать для *тебя*, но нынче так часто приходят к нам Анненков и Островский, Кавелин, что решительно нельзя продолжать.

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА — Е. А. САТИНОЙ

2 января 1856. Вчера для нового года было много хлопот и неожиданных вещей. Поутру Кавелин так рано приехал, что разбудил Огарева; потом явился Островский. Наконец середь дня приехал Шаншиев. Приезд его и разговор с Огаревым, хотя весьма тихий, так странно подействовал на Огарева, что у него сделался припадок.

Кавелин тебя очень помнит и любит, в четверг звал обедать, немного неловко, потому что я еще не видала Анны Федоровны и прямо ехать обедать, но Огареву этого хочется.

Тургенев зовет в пятницу вечером, и не одного Огарева и меня тоже, чтобы видеть представленье *Горбунова* актера, ты, может, об нем слыхала. Огарев говорит, что без меня не пойдет, потому что не раз видел Горбунова, а ему хочется идти, не знаю, что делать, я совсем не так хороша с Тургеневым и ни с кем из его общества, чтобы являться совершенно одна к Тургеневу. Не видали Горбунова только я да Анненков, так это устраивается для нас. Очень неприятно, Огарев не может этого понять, он привык ходить всюду на вечер и не придает этому важности.

Вчерашний припадок помешал Огареву быть у генерала Огарева, поэтому мы ничего не слыхали об пашпорте. На днях будет что-нибудь положительное, просьба подана. Как получим ответ, напишу. Найми комнаты и давай как-нибудь сберегать Огарева. Здоровье его тревожит меня страшно. Четыре припадка с тех пор, как оставили деревню! а там не было почти год. Страшно, страшно за него!

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА — Е. А. САТИНОЙ

8 января. На этой неделе надо сделать публикации и выехать. Не знаю, что Огарев сделает с Панаевыми, они застращивают какими-то письмами Огарева к Марье

Львовне, в которых есть полное опроверженье (по их словам) *того, чего хочет теперь* Огарев. Так велел сказать Некрасов Огареву через Тургенева. Я думаю, что тут кроется страшная низость, ты сама отгадаешь, в чем дело. Жаль, что Сатина нет [здесь], он бы помог. При свиданьи много странного расскажу тебе, или, лучше сказать, странного ничего нет, но мы странны, потому что нам многое странно, пора привыкнуть ко всему.

ИЗ «ДНЕВНИКА» И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

Мой отец сначала не знал о моей близости с Огаревым [1]. Мы не могли решиться сказать ему, что любим друг дру́га, потому что знали, что он будет против этого. Огарев был больной человек, был подвержен эпилепсии и лет 16 старее меня, а главное — он был женат. Мой отец очень любил Огарева, за его мягкость, ум, но отец не воображал возможности такого неподходящего брака.

Когда мы приехали из чужих краев [2], Огарев был уже в деревне. Как он услышал, что мы возвратились, он приехал тотчас, но он не был весел, а смотрел как-то озабоченно и скоро сказал нам, что не может долго оставаться у нас, что он пригласил к себе графиню Сальяс с семьей [3], т. е. с детьми, и что, верно, она скоро приедет и тогда ему дадут знать и он должен будет уехать. «Вот какую я глупость сделал!» — сказал он, добродушно жалея о своем приглашении. Вскоре его действительно вызвали в Старое Акшено для встречи графини Сальяс. Через месяц они приехали к нам вместе. Графиня нам не очень понравилась: она была нервная, неровного характера, разговор ее был пустой — светская болтовня. Она не могла занять наш молодой, пытливый ум, но мы к ней привыкли наконец как к неизбежной спутнице Огарева. Иногда она приезжала с детьми и гувернанткой и оставалась подолгу у нас.

После разговоров Н. Герцен об Огареве, после чтения с ней его стихов моя душа была полна мыслей о нем, но об этом догадывалась только одна Елена [4]. Я помню, что должна была перевести дух, утишить биение сердца, когда шла в кабинет отца, где был уже Огарев. Но иногда случалось, что нельзя было приготовиться к встрече с ним — иногда он приезжал внезапно. Тогда мне страшно становилось за мое неумение владеть собой. Это неумение выдало мою тайну графине Сальяс. У нас был

какой-то семейный праздник, кажется, праздновалось 27 ноября рождение сестры. Графиня Сальяс была с неделю уже в Яхонтове; гостей было много, а Огарев все еще не приезжал. Наконец сели за стол — вдруг Огарев вошел, сделал общий поклон, поздоровался только с maman и пошел к столу. Против меня было пустое место, он сел и, улыбаясь слегка, поклонился нам и m-me Сальяс. Должно быть, я очень покраснела — сердце мое стучало. M-me Сальяс сидела недалеко от меня — она все видела и, к несчастью, с чуткостью женского сердца все поняла... На другой день она сказала Огареву: «Меньшая Тучкова в вас влюблена». Он спорил, что это вздор, что я еще ребенок, но графиня Сальяс из ревности не унималась — и обратила наконец его внимание на меня. Странная случайность: никто так не боялся нашего сближения, как графиня Сальяс и никто столько ему не способствовал, как она.

⟨...⟩ Когда Огарев стал думать о разводе, писать Герценам о переговорах с Марией Львовной, тогда мы сказали отцу, он был в отчаянии. Между тем Мария Львовна грозила подать свои безденежные векселя ко взысканию. Тогда Огарев просил Сатина купить его именья, чтоб спасти от продажи за бесценок для уплаты по этим векселям. Найти денежных покупателей в короткий срок было невозможно. Сатин покупал с тестем Н. Ф. Павлова Янишем, которого Огарев слишком мало знал.

Раньше, когда мы приехали в Петербург с Огаревым для развода, мы нашли в Петербурге Сатина. Он стал часто у нас бывать. Елена ему нравилась. По возвращении в Москву он просил ее руки. Он так любил Огарева, что... радовался при мысли, что оба будут женаты на сестрах.

Так как я боялась ответственности для Огарева, то мы не женились в Москве, а обещались отцу ехать за границу на английском корабле и там жениться где бы то ни было. Но мы не сумели устроить этого, я думаю, потому, что Огарев сам не хлопотал, а поручал другим.

Мы прожили несколько менее года в Крыму [5]. Там я сильно захворала бронхитом, но, к несчастию, не умерла; потом на меня напала навталгия *, и мы вернулись домой незадолго до доносов на отца и на Огарева и до ареста всех троих.

* ностальгия.

С 1842 года до 1846 года мой отец управлял делами и имениями Огарева и скорее улучшил их, но в 1846 году Огарев вернулся из чужих краев и взял управление на себя. Если б не безденежные векселя, Огарев бы дал кому-нибудь доверенность и подождал бы продавать.

Огарев с трудом уговорил Сатина купить его имения с Янишем, первый боялся сплетен и ложных слухов. К несчастию, опасения его оказались очень справедливыми. Сатин имел свое родовое именье в Симбирской губ. Он продал его для уплаты Огареву, хотя этого было мало. Кроме того, Огаревым была куплена в Симбирской губ. писчебумажная фабрика с его незаконным братом Маршевым. Впоследствии Маршев писал доносы на Огарева и потому Огареву было неприятно владеть фабрикой с таким человеком. Сатин занял 25 000 и дал Огареву, чтоб развязаться с Маршевым 〈...〉

Июнь — август 1857 г.

Вот тяжелые времена! А я, безумная, думала забыться, отдохнуть; сначала я боялась страшных несчастий, но все пошло хорошо; Огарев понял — и не удалился, стало, ему не должно быть больно, а между тем у меня иногда сердце сжимается, глядя на него; неужели я, именно я, нанесу ему тяжелый удар? ведь это насмешка жизни, да и зачем? Чего было искать, счастья нет да и пора его невозвратимо прошла для меня; я хочу смириться, хочу начать новую жизнь искупленья, но зачем мне так трудно это, зачем во мне столько эгоизма, зачем невольно ищешь всей полноты жизни, всего несбыточного и непонятного для других 〈...〉

Нет, нет, это все неистинно — я одна виновата, чего я хотела? 〈...〉 Страшно, страшно — умереть хочется, но не так как прежде быстро, своевольно — не думая ни о ком, но хотелось бы угаснуть спокойно, улыбаясь проститься со всеми; я боюсь жизни, я боюсь пережить близких, боюсь пережить их любовь к себе, и я чувствую, что одно звено уж порвано, уж в нем есть что-то надломанное, в нем нет этой живой, всемогущей силы нетронутого, чистого чувства. Смирись, смирись, говорит мне внутренний голос, но я боюсь сама своего эгоизма и необузданности, мне больно: зачем я такая? 〈...〉 Огарев, ты товарищ мой, деливший со мной так ровно все муки, все гоненья, неужели я тебе испортила жизнь? Зачем я не умерла в тот день, в который я прибавила одну морщину на твоем лбу, одно горькое чувство в твоем сердце? Како

го яда наполнена жизнь! И все я, одна я.— Елена моя, дай руку, дай положить голову на твои колена, на это чистое и любящее сердце положить усталую, преступную голову свою.— Боже мой! что я сделала с жизнью — взгляни на меня — ты и Огарев; вы меня никогда не разлюбите, я знаю это, и это есть цепь, привязывающая меня к жизни, это-то и есть моя единственная вера, моя религия, на вас я опираюсь как на каменную гору, вы меня спасете, ты издали одной мыслью о тебе, а ты, друг, твоей рукой поддержишь меня 〈...〉

Одни слова и все слова из всего обещанного себе, ей [6], Огареву — ничего не исполнено, непростительная слабость, эгоизм, безумие, жажда еще чего-то 〈...〉

Время идет быстро, бывает много хорошего, но чего-то недостает 〈...〉 я и теперь приступлю к строгому, откровенному анализу моей настоящей жизни. Я страшусь раскрыть ее даже перед собственными глазами. Когда я приехала сюда, Natalie как живая предстала передо мной; везде я ее видела и рассеянными глазами смотрела на все окружающее, ее дети были чем-то религиозно-дорогим для меня и он тоже с каждым днем более и более входил в мою любовь к Natalie 〈...〉 С каждым днем Герцен все более становился мне внутренно близок, я его видела во сне каждый день 〈...〉 я чувствовала, что бесконечное чувство любви к нему захватывает меня все более и более с каждым днем; сначала я не понимала всего значения его, потом — было поздно 〈...〉 Мое возвращенье к нему было всегда так полно любви и какого-то отрадного, светлого чувства, что оно-то, я думаю, всего более и выдавало мою тайну; впрочем, я не хочу оправдываться, я не имела достаточно сил, чтоб долго скрываться; говоря с ним, я сначала называла это братским чувством, потом говорила, что люблю их обоих ровно, потом — я все сказала, я задыхалась. Мне казалось, что хотя я и говорила не раз с Огаревым о страстной дружбе к Герцену, но все же я не довольно открыто высказалась ему 〈...〉 ведь почти не имеешь право положить руку на свежую рану, нанесенную этой же рукой; вот что я думала, когда собиралась говорить от души с Огаревым. Чувство к нему, полное веры, преданности, любви, как будто задремало; мне казалось, что здесь он отвык от меня и что он сам как будто удаляется, и мне пришла светлая мысль быть им обоим любящей, преданной сестрой, а детям, я не смею и здесь сказать: матерью, но заботливой любящей нянькой; на дне души

было грустное чувство разлуки с моими и какое-то сознанье, что мне грезилась иная жизнь, но — я хотела смириться и смотреть светлее на хорошую сторону жизни, я хотела привыкнуть ничего от нее не требовать ⟨...⟩ Когда я увидала, что, побежденный моей страстной любовью, Герцен тоже меня полюбил, я вдруг бросилась к Огареву, разом поняла его боль (мне казалось, что я на его месте никогда бы не могла вынести этого) и разом все прошедшее пронеслось перед моими глазами так ярко, так хорошо, что я остановилась испуганная, и я ни шагу более не шагнула, не узнавши, как Огарев смотрит на все. Так принять, как он принял, так бесконечно широко понять, ни один, да, я смело это говорю, ни один человек не мог бы, он это сделал с каким-то простодушием, свойственным одной его нежной и широкой натуре, и тогда я все поняла и полюбила его еще больше, он как-то ближе еще мне стал, и я искала его руки, чтоб окончательно победить страстную привязанность к Герцену. Мне иногда кажется, что он этого хотел бы, но он не подал мне руки, он не хотел жертвы. И часто в продолженьи этого времени мне казалось, что ему больно, и всякий раз на эту боль из моей груди вырывался болезненный крик, мольба о помощи, тяжелое сознанье собственного бессилия. И куда приведет меня эта жизнь,— меня, которую даже религиозное чувство к Natalie так долго мучило и которое уступило только *его* словам.

⟨...⟩В нашей новой жизни есть пробел,— это вечная наружная даль и образ жизни. Я не спорю, мы имеем общие интересы, самый главный — дети; но что касается нас двух, тут есть пробел ⟨...⟩ это общие, интимные разговоры, планы, желанья, даже собственное воспитанье ⟨...⟩ — у нас этого нет; может, именно я совсем не та женщина, которую бы мог любить Герцен. Может, этого нет потому, что любовь есть какое-то чувство, вызванное мной, какая-то благодарность любви — не знаю, но, откровенно говоря, мне мало этой любви; несмотря на несколько хороших минут, я чувствую, что мне веет холодом от него; если б я могла пересоздать наши отношения, я бы сделала это в ту же минуту, я чувствую, что ему это бы воротило свободу, которую он часто и теперь жалеет ⟨...⟩ С Огаревым у меня более общего, более внутренней жизни, потому и более гармонии и пониманья, но чтоб дойти до этой близости, надо годы, а я не знаю — переживет ли в Герцене годы это

чувство, оно слишком лишнее и поверхностное в его жизни, и с каждым днем я вижу, как мы не входим бодро и гордо по лестнице, а как мы, спотыкаясь, сходим с нее, шутя и смеясь, но и со слезами. Да я не знаю даже, долго ль и во мне сохранится это чувство; моя гордость проснется наконец, это не пошлая гордость — это сознанье просто непониманья, сознанье невозможности быть любимой как это грезилось и потом сознанье, что я не одна — я не утратила того, которого первого от всей души полюбила и который при новой, страстной любви остался мне самым близким.

Я думаю, что наша любовь уродство — зачем? Что же она может нового внести в нашу жизнь? — Собственную семью, ребенка, который бы мне был так дорог, да он тоже этого боится, и он прав, это была бы гибель, новый удар самым близким! — Так что же еще нужно в жизни — зачем старость не разом приходит после молодости, какое это глупое переходное положенье! 〈...〉 А ведь чувствую же я, что я могла бы быть счастливой, мне так хотелось бы еще полно, широко пожить, но это невозможно 〈...〉 они многое понимают, добры, но что-то между нами есть, я вижу ясно, что они не могут понять, чего мне недостает. Или они старее своих лет, или я моложе моих, или просто в них нет тех потребностей, которые так болезненно во мне живут; им, пережившим все хорошее, нужна только спокойная, тихая дружба, в которой нет ни сомненья, ни страха. Я понимаю это, но зачем не называть это дружбой, зачем давать этому чувству другое имя? 〈...〉

Мне жизнь наскучила и опротивела, все это время мне страшно тяжело, это странный переход от дней, полных счастья, к тяжелым, безнадежным, безвыходным дням. Огареву больно, он не может этого скрыть от меня, он был сегодня странно раздражителен и сух со мной, мне это больнее отозвалось всех вспышек Герцена. Он и не быв прав, всегда утешен своей правотой, а Огарев действительно правый, не кричит об своем праве. Мне страшно, ноги подкашиваются, так эта рука, которую я так крепко сжимала в своих руках, оставляет меня, а та, новая, полная энергии и хладнокровного разбора меня, на нее я не буду опираться, в ней мало любви, есть дружба и какое-то снисхожденье, больнее сердцу худшей обиды. Я опять чувствую, что смерть неизбежна, она является как примиренье с собой, как выход, как очищение — он и тогда не поймет, но мне все равно, я не хочу

умереть для того, чтоб он понял, как он измучил меня или лучше — как любовь моя к нему измучила меня; я хотела бы умереть просто, чтоб перестать страдать, но и для этого я не сделаю шага, надо исполнить принятый долг, да еще

Край родной повидать надо
Да своих поцеловать[7].

Елена, я бы выздоровела, окруженная тобой и детьми твоими, их светлыми личиками, но эти жестокие люди говорят: ни с места.— Если б я могла молиться, я бы молилась.

Да, да, моя Елена, вот здесь в этой тетради после моей смерти, если я буду довольно счастлива, чтоб умереть прежде, ты найдешь всю правду или все, что казалось мне правдой; я не могу еще привыкнуть к новой жизни, борьба продолжается, иногда уступает эгоизму и потом вновь с непонятной силой терзает меня ⟨...⟩ Ведь я вижу иногда, что Огареву не легко досталось его широкое, благородное поведенье, что же я? ⟨...⟩ я с ужасом только думаю, что я та же, та же Natalie, которая жила жизнью Огарева, спала его сном, наконец ни перед чем не остановилась, чтоб следовать за ним, да будто это правда? будто это я?

О! Огарев, Огарев, я не знаю, что со мной, но я чувствую по бессонным ночам, по вечным, тихим, тайным слезам: ты мне не меньше дорог, чем прежде, но страстность исчезла, воскресить ее произвольно нельзя — а в тебе исчезла ли она? мне бы легче это думать, но я не знаю ⟨...⟩

⟨...⟩ Боже мой, за что же жизнь так дорого заставляет платить за все хорошее или уж во мне самой недостает светлых элементов, любви, терпенья, кротости — да, да — светлого ничего нет во мне. Я упала с страшной высоты, я чувствую, что я ошиблась, и мне, как всякой живой натуре, хочется всплыть снова, освободиться от себя самой ⟨...⟩ я много думаю об России, я беспрестанно об ней думаю; едва ли найдется человек, который бы ее больше любил. Я оставила ее навсегда из чувства личной преданности к детям женщины, которую я много любила; без этого страшного случая, без ее смерти, едва ли я нашла когда-нибудь силу оставить Россию, я не говорю уж об вас, об нашей разлуке ⟨...⟩ но, моя Елена, я думаю, что, не говоря об личных отношениях, каждый человек, разделяющий наш образ мыслей, должен оста-

вить Россию, а если дети есть, то и подавно — долг его спасти их от них самих, от русской жизни ⟨...⟩

Бедная моя Елена, как это сделалось, я не знаю, но я всей душой полюбила и Герцена. Любовь к Огареву не уничтожилась новой, но она приняла невольный характер, серьезный и поэтичный, много в ней веры и преданности, но страсти нет; не одну ночь я просидела на постели, спрашивая себя, что со мной, но объясненья я не находила. Герцен не виноват, он не любил меня, вообще для него любовь дело второстепенное, если не меньше. Как мы приехали, я почувствовала, точно меня всю запутывают в какие-то сети, а между тем я чувствовала, что я одна, я его видела во сне каждый день, я думала о нем даже против своей воли, более полугода я молча боролась, падала духом, вновь выплывала, вновь падала. В моем обращеньи была страшная неровность с ним — наконец я решилась спросить Огарева, что он думает, что со мной. Сначала он меня уверял, что мне кажется, я просила, чтоб меня пустили к вам, хоть не надолго ⟨...⟩ Огарев не хотел моего отъезда, он мог бы спасти меня, но он не хотел ни на минуту, чтоб мне было больно, чтоб я ему принесла жертву, а ведь лучше было бы для нас обоих, теперь уж поздно, а жить с сознаньем, что нанес худший удар тому, которого всех больше любишь, плохо, друг мой, тяжело — да и не нашла я в этой любви счастья, несмотря на нашу симпатию; в нас слишком много самолюбия, и оно беспрестанно сталкивается, положенье, дети, все против ⟨...⟩

⟨...⟩ Больше светлого ничего нет в моей жизни, и никто не виноват; бедный, бедный Ага [8], зачем он меня полюбил? — Казнь во мне, кажется, иногда он видит, что во мне, и ему больно за меня ⟨...⟩ Огарев — я думаю об нем ⟨...⟩ Любовь его скоро меня оставит, я это ясно вижу, как я была избалована вашей и Огарева любовью, как я привыкла считать на нее без малейшего страха ⟨...⟩

Со вчерашнего дня я на десять лет состарилась, мне все стало понятно. Мы говорили долго об Огареве. Да, действительно я отравила его жизнь, злейший враг не мог сделать ему больше зла ⟨...⟩ Герцен жалел о прошлом — я с ужасом проходила в своем уме все, что было — с мучительной болью не раз я думала обо всем этом, видела, что и Герцен думает, но вчера мы в первый раз резко коснулись до больных мест. Герцен говорил, как всегда, с недоверием к моему пониманию и с неимо-

верной жесткостью, прибавляя: «Что я говорю, не должно оскорбить тебя...». Ты понимаешь, как это все сказано. Я улыбалась. И в самом деле, какие тут оскорбления — молодую кожу сдернули с свежей раны и она с новой си́лой и упорством раскрылась! — Какие же тут оскорбления.

Мы заговорили об этом потому, что Огарев иногда пропадает на несколько часов и возвращается немного выпивши. Когда я говорю ему, он скрывает правду; но я чувствую, что говорю уже не прежним энергическим голосом, говорю слабо, нерешительно, взглядом вымаливаю прощенье за то, что собираюсь сказать ⟨...⟩ Елена моя, кажется, у меня будет ребенок, бедный, бедный ребенок, непрошеный, неприглашенный, никем не благословленный вступит он в жизнь. Герцен думает с ужасом, как примет это Огарев. Я тоже боюсь, чтоб слишком глубоко не отозвалась эта боль; толки посторонних — я меньше о них думаю, чем Герцен. Но поднимаются голоса московских врагов, они скажут: «Взгляните на эту женщину, мы были правы» ⟨...⟩ Огарев — я ему сделала столько зла, что не смею думать о его горе ⟨...⟩

Время, счастливое время прошло для меня. Он меня любил, ждал многого. Огарев уважал и любил — все это прошло, я себя пережила, схоронила живую ⟨...⟩

Сегодня 2(14) июля — день моего рожденья. Во многом я виновата, Елена моя, едва ли я заслуживаю еще твою любовь. Я все делаю, хорошее и дурное, порывами, но разума нет в моих действиях, боже мой, как мне больно понимать себя так ясно ⟨...⟩

Если б я могла примириться от души с этой жизнью, но я примиряюсь только на минуты — выдержки нет, мученья, сомненья — я задыхаюсь, что же мне делать? — Я гибну. Огарева вводить в это не хочется, ему страдать за меня не надо бы ⟨...⟩

27 июля.

Много тут записано горьких дум и терзаний, но, кажется, я выхожу из этой судорожной жизни ⟨...⟩ мало-помалу я поняла, вспомнила, что обещала, за что взялась, я смирилась душою ⟨...⟩ Дети будут теперь всегда на первом плане, потом Огарев, потом все близкие, я буду заботиться, чтоб всем было хорошо, о себе я хочу перестать даже думать. Съездить хоть не надолго в Россию — вот моя мечта, может, меня пустят ⟨...⟩

8 августа.

Были светлые минуты и опять мученья ⟨...⟩ Да и что в моей жизни? Я не сумела быть матерью этим детям? Быть полезной им в чем другом я не могу, потому что слишком мало знаю, вас я оставила навсегда, Огарев мало-помалу удалился; я все понимаю, роптать не на кого, но за что же схватиться обеими руками? ⟨...⟩

Самое сильное чувство Герцена было к Огареву, ему не больно было слышать, что меня зовут его именем, что дети зовут его «папа» [9] ⟨...⟩

⟨...⟩ Я смотрела не весело уже тогда на жизнь — мои мечты не сбылись ⟨...⟩ Тот, для кого я всем пожертвовала, не мог мне дать счастья. Его натура имела другие потребности, он любил или совершенное одиночество, свою одинокую думу и порой вино или кутеж с друзьями ⟨...⟩ Я страдала давно от всего этого, я понимала, что, несмотря на мое бесконечное уважение к его широкой и благородной натуре, наш союз ошибка, я чувствовала, что отец мой был прав, когда говорил мне: «Тебе девятнадцать лет, ему тридцать пять, жизнь его сложилась на холостую ногу, ты жертвуешь всем и за все эти жертвы ты заплатишь счастием». И все сбылось — вечное одиночество, вечная тревога и опасенья утомили мою душу. Какое-то тайное недовольство закралось в нее. Но говорить я ни с кем не решалась, даже с Еленой, с ближайшим другом моего детства и молодости. Пожар на фабрике развязал нам руки; беспечные, равнодушные к деньгам, мы почти радовались освобождению от дел, бежа тушить пожар; я одного боялась — тяжелого впечатления для Ага. И шептала ему: «Зато мы скоро будем с Герценом». И Ага улыбнулся и махнул рукой. Он меня любил так, как мог любить; может, он не подозревал, как мне было тяжело, может, называл эти страдания фантазиями. Его душа для всех потемки. По-своему он любил, по-своему молча страдал, когда мы расстались. Ни одного упрека я не слыхала и не могла слышать, я не была виновата в его глазах, только слышала опасение за мое счастие, за наше счастие. И это опасение было верно. Когда теперь уже совсем отрезанная от жизни, я оборачиваюсь на свои два прошедшие, я не знаю, которое было тяжеле. В первом были восторги молодости, крепкие надежды (они не оправдались, но они красили жизнь), во второй — были радости, счастье матери, во многом отравленное моим безвыходным положением, но все же я их прежде не знала. Но потом в этой последней я узна-

ла такие мученья, такие боли, которые вечно будут возвращаться, и, если бы я не искала в работе бегства от этой боли, я бы не вынесла ее даже для Лизы 〈...〉

Я помню этот день, как будто это было вчера. Мы были тогда в Москве, вернувшись без всякого успеха из Петербурга. В то время только что совершились аресты после Петрашевской истории и в обществе царствовала страшная паника — люди задыхались от напряженного состояния.

Дома после долгих и мучительных разговоров было решено, что я уеду с Огаревым в Одессу, а там постараемся переехать на Запад хоть на английском корабле. У Огарева не было пачпорта для заграничного путешествия и никакой надежды получить его. Несколько дней перед этим днем моя сестра венчалась с Николаем Михайловичем Сатиным в одной из церквей Старой Конюшенной. Я помню, что я ехала в церковь с Сергеем Ивановичем Астраковым. Последний имел тогда большую симпатию ко мне. Дорогой он разговорился, сказал мне, что слышал о наших планах и, несмотря на дружбу к Огареву, очень отсоветывал мне ехать с ним, говоря, что едва ли чувство ко мне долго продлится в Огареве. Но я отвечала ему просто, что об этом поздно говорить, потому что это давно решено и не может быть изменено, а как отгадать, что готовит судьба? В это время я с такой безумной верой смотрела и на себя и на Огарева. Мои родители собирались обратно в Яхонтово, это было перед постом, называемом Петровки. Мой будущий зять не хотел откладывать свадьбу на очень долгий срок, а потому близость забытого поста заставила спешить с свадьбой; метрических свидетельств не было ни у жениха, ни у невесты; кроме того, надо было свидетельство об исповеди — хлопот было много 〈...〉

Незаметно для прислуги я предварительно уложила свои вещи в чемодан Огарева. Слуга, который ехал с моими родителями в деревню, говорил мне много раз, что устроил для меня место очень удобно, спереди внутри кареты. Я рассеянно слушала его слова и благодарила только движением головы. В этот день небо было покрыто черными тучами — напрасно мы ждали, чтоб гроза прошла — она еще не начиналась, но приготовления ее были ужасны. Пришлось выехать — мы сели все трое в карету. Елена с мужем провожала нас в другом экипаже — мы ехали долго к Рогожской заставе, сопровождаемые резкими ударами грома и грозными сверканиями

молнии. Ветер гнал облака пыли по улицам, наконец ударил проливной дождь. Мой отец велел остановиться, еще раз начались прощания. Потом я пересела в экипаж сестры. Мои родители продолжали путь к выезду из Москвы, а мы повернули и поехали по противоположному направлению, выехали из Москвы по Варшавской дороге и почти в безмолвии добрались до станции. Там Огарев нас ожидал. Кажется, нам подали чаю, по крайней мере мы долго пробыли на станции. Татьяна Алексеевна Астракова с деверем Сергеем Ивановичем приехали тоже нас провожать. Астраков держал в руке букет из белых пахучих цветов, который он мне подал, говоря: «Будьте счастливы или хоть не несчастны». Татьяна Алексеевна сказала мне на ухо: «Берегите этот букет, он вам принесет счастье. Сергей только второй раз в жизни подносит букет» ⟨...⟩

⟨...⟩ Можно ли себя анализировать, судить беспристрастно? Попробую [10]. Я делаю это для женщин, может быть, некоторые из них одумаются, читая мой правдивый рассказ. Они увидят, что трудно начинать новую жизнь, когда старая оборвалась, как струна в звучном аккорде, но с каким трепетом я приступаю к разоблачению своей души перед холодными, равнодушными людьми! Ну, да, может быть, и между ними найдутся понимающие сердца. Чтоб все было понятно, надо вернуться к нашей жизни с Огаревым в России.

С первых дней нашей брачной жизни его серьезная болезнь обратила меня в любящую сиделку. В продолжение семи лет у нас не было детей, и все дорогое заключалось для меня в одном Огареве. В эту эпоху Огарев писал очень много, мне первой он читал свои стихотворения. Кроме того, он любил заниматься музыкой, химией. Я была его лаборантом. В деревне к нему ходило много больных, я была его ревностной помощницей. Но все это не утоляло мою жажду деятельности и самостоятельности; а ее в то время не могло быть: у меня не было ни выдающегося таланта, ни больших способностей к чему-либо. Я много читала, играла на рояли, но всего этого было мало, все это делалось для удовольствия или для препровождения времени. Огарев не мог направить мое стремление к деятельности; если оно не проявлялось само по себе, то оно для него не существовало. Кроме Огарева, у меня никого не было, кто бы мог натолкнуть меня на какое-нибудь полезное или интересное дело и тем предупредить возможность больших ошибок в бу-

дущем. Временем я очень скучала, еще более когда приходилось жить в городе и в особенности в Петербурге. Огарев всецело отдавался мужскому обществу литературного кружка, где не было места для женщины, потому что хотя там и бывали интересные чтения и разговоры, но все было приправлено таким обилием вина, что оно обращалось в разливное море. Иногда, размышляя об Огареве, я удивляюсь, как при всей его гуманности, при безграничной любви ко мне он не думал о моем полнейшем и праздном одиночестве. Жизнь его увлекала, и он жил совершенно как холостяк, не замечая своего эгоизма.

Вдобавок я проводила время в нервном напряжении, опасаясь, чтоб с Огаревым чего-нибудь не случилось, так как его припадки (эпилепсия) являлись совершенно внезапно, и на них влияли ночные кутежи, неумеренные попойки.

Оставаясь по целым дням одна, я предавалась мечтам: мне представлялось, что я непременно должна сделать подвиг ⟨...⟩

⟨...⟩ Я не глупа, а между тем я никогда не обдумывала своих поступков, даже самых важных; напротив, чем серьезнее, важнее были мои решения, тем менее я их обдумывала. Я подчинялась своему чувству, а не разуму; мне казалось, что действовать по разуму, обдумывать — холодно, бессердечно ⟨...⟩

Когда мы приехали в Лондон, радость Александра была так внезапна и так полна, что она не поддается описанию: на него повеяло чем-то родным, близким ⟨...⟩

Александру было необходимо говорить с нами о страшной драме, закончившей, как он говорил, его личную жизнь [11]. Вечером он ждал, когда дети уйдут спать, когда Мальвида простится, что бывало не ранее полночи, тогда Александр обращался к нам двум, говоря: «Вам не хочется спать, посидим, я хочу вам все рассказать». Мы слушали его по целым ночам: без слов, без слез переживала я с ними эту страшную эпоху его жизни: страдание за нее и мучительное сочувствие к нему душили меня, но я не плакала. Светало, когда мы расходились. Я желала отомстить за них обоих и не смела никому доверить мою мысль. И хорошо, что не доверила: я не могла бы убить даже этого презренного человека [12]. Убийство мне всегда представлялось низостью. В эти первые времена лондонской жизни, по вечерам слушая долгие рассказы Александра, становилось жутко, когда я представляла себе,

что он должен был вынести тогда с его огненной душой, с горячим темпераментом, становилось слишком больно, участие к нему переходило почти в физическую боль, в желание облегчить, отогреть его измученную душу ⟨...⟩

Впоследствии, чувствуя, что Александр все более и более овладевает всеми моими душевными силами, заметя, что и он становится все ближе, я решилась наконец говорить с Огаревым, имея пример молчания в многолюбимой мною Наташе: ее страх нанести Александру тяжелый удар, ее гуманная пощада образовала обман, длившийся года два и который для Александра был оскорбительнее признания.

Мы долго, много говорили с Огаревым. Я желала вернуться в Россию, хоть на время, но Огарев ни за что не соглашался, он не хотел жертвы. В своем недосягаемом величии он остался верен себе, принимая удар от самого близкого существа; он был кроток, как ребенок; не только в теории, но и в жизни он понимал широко индивидуальную свободу. Он только сказал, что желал бы, чтоб в продолжение года мы вгляделись бы друг в друга; он боялся, что мы не будем счастливы, и это опасение оказалось верным. Но обстоятельства, темпераменты — все так сложилось, что даже об его единственном желании было забыто.

Что влекло Александра так сильно ко мне? Именно то, что должно было сделать нашу близость немыслимою: безграничная любовь Огарева ко мне! Это был магнит, который невольно, но неудержимо притягивал его ко мне. И любовь его жены к своей «Consuela». «Ты одна, говорил он, можешь залечить раны, сделанные ею». Все остальное дремало в нем. Сначала он мечтал, как и Огарев, что это будет единение трех личностей во имя четвертой, отсутствующей. Впоследствии они убедились, что я не могла подняться на высоту их воззрения и выполнить их заветную мечту. Тогда только проснулась мысль в Александре, что он сломал, уничтожил жизнь брата своего, друга, который никогда ему не причинил горя, во всю жизнь! Тогда настало время упреков и себе и мне — и жизнь наша превратилась в мрачную и тяжелую. Позже его мучило одиночество Огарева и еще больше мучило сближение Огарева с недостойной женщиной. Герцен говорил всегда с упреком: «Мы виноваты, мы толкнули его в эту страшную жизнь» ⟨...⟩

Я помню, когда мы жили в Orseth Hous'e (в Лондоне), я просила Огарева познакомить меня с этой Мери [13], которую он взял с сыном и поместил на квартире. Огарев был тронут моим желанием, но сказал мне, что дает мне адрес и предупредит ее, а сам не будет при этом свидании. На другой день я отправилась туда. Вернувшись с этого первого свидания, я позвонила. Жюль отворил мне дверь и спустился в кухню, а я хотела зайти к Герцену. Но вместо того села на стул, обливаясь слезами. Вероятно, Герцен захотел узнать, кто звонил,— он приотворил дверь и, увидав меня, сказал с горечью: «А, видела?» — и позвал меня.— «Это все мы сделали, помни это»,— говорил он с укором.

Впрочем, Герцен не хотел, чтоб я видела Мери, и с трудом уступил моему желанию; он говорил, что это не нужно и ни к чему не поведет.

Огарев встретился с ней в одном из лондонских кабачков, он был не совсем трезвый, познакомился с ней и не имел силы прервать эту ненужную близость, потом привык и подчинился 〈...〉

МАЛЬВИДА МЕЙЗЕНБУГ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ ИДЕАЛИСТКИ»

В начале апреля был день рождения Герцена, * и мы подготовили маленький экзамен, на котором дети должны были дать отчет о пройденном. Утром за завтраком он нашел на своем месте, украшенном цветами, письменное приглашение, и после завтрака начался экзамен, который дал вполне удовлетворительные результаты; праздничное настроение установилось на весь день, и вечер тоже прошел очень весело, нас навестили ближайшие друзья, которые приняли живое участие в радостях и успехах детей. Когда прощались, я, смеясь, сказала Герцену: «Мы счастливо миновали все разногласия, смятения и бури и, надо надеяться, наконец, достигли мирной пристани».

Но человеческая ли это самонадеянность — полагаться на продолжительность счастья, даже если оно является следствием честного труда и самых чистых стремлений? Или же коварные демоны завистливо подстерегают нас, если удастся установить мир, чтобы возмутить успокоенную душу и вырвать ее из прекрасного самообольщения? Не знаю, но достоверно то, что в жизни часто после самой мирной жизни следует резкая перемена, как будто судьба постоянно подвергает нас испытанию, проверяя, носим ли мы панцирь под домашней одеждой и всегда ли помним, что жизнь есть борьба, а не покой.

Через несколько дней после описанного празднества мы сидели раз за обедом, когда к дому подъехала карета, нагруженная сундуками. Я увидела ее с того места, где сидела, вскочила и воскликнула: «Это Огарев!» [1] Так звали друга юности Герцена, который любил Огарева больше всех и так часто про него говорил и рассказывал

---

* 25 марта по ст. стилю. *(Примеч. перев. Н. А. Макшеевой.)*

столько подробностей, что мне казалось, будто я сама его знаю. Огарев недавно женился на той самой даме, которая должна была взять на себя воспитание детей и которую Герцен напрасно ждал некоторое время. Нам не было известно, что Огарев, находившийся под своего рода полицейским надзором за известные политические взгляды, смог уехать из России, но какое-то чутье подсказывало мне, что это, должно быть, он, а не кто другой. Герцен, постоянно опасавшийся, как бы какой-нибудь случай не нарушил нашей жизни, боязливо пошел навстречу выходившему из экипажа незнакомцу, пока не узнал, действительно, друга юности, которого так много лет не видал. Он провел его вместе с сопровождавшей его женой в комнату и познакомил их со мной и детьми. Иногда бывает, что внутренний голос при некоторых событиях или встречах почти безошибочно вдруг предвещает о внезапном повороте нашей судьбы,— нечто такое случилось теперь и со мной. Я была самым искренним образом расположена к друзьям Герцена, и все же, когда они стояли передо мной, я почувствовала прикосновение ледяной руки судьбы, безжалостно устанавливающей связи и вновь их порывающей, не интересуясь тем, разбиваются ли при этом сердца или нет.

Понятно, что их приезд вскоре перевернул обычный уклад нашей повседневной жизни. Вместе с этим другом к Герцену вернулись воспоминания о его прошлом, начиная с самого детства; ему вспомнилось отечество, былые радости и скорби и общие упования. Это был тот самый друг, с которым Герцен однажды, будучи тринадцатилетним мальчиком, поклялся, при свете заходящего солнца, отомстить за Пестеля и других мучеников четырнадцатого декабря. Все это само по себе могло бы взволновать Герцена до глубины души, а тут примешивалось еще то обстоятельство, что Огарев приехал тяжело больной, состояние его здоровья внушало самые серьезные заботы. Его жена была ближайшей подругой жены Герцена. Она была вместе с семьей Герцена в ту счастливую пору, когда эта семья была еще сплочена и жила за границей, во время славного движения 1848 года в Италии и во Франции. Вместе с ее приездом возродился целый мир счастливых и одновременно глубоко печальных воспоминаний, так как Герцен не видал ее со дня смерти жены, которую оба страстно любили.

Я понимала, что приезд Огаревых был исключительным явлением, которое настолько овладело Герценом,

что совершенно изменило характер нашей жизни. Я понимала, что для такого глубокого, отзывчивого и преданного друзьям человека, каким был Герцен, подобные переживания должны были отодвинуть на задний план все прочее. Однако я надеялась, что постепенно все опять войдет в свою колею и что обычный порядок жизни, признаваемый мной единственно правильным для детей, не будет нарушен надолго. Я с самого начала почувствовала, что мне придется снова, и гораздо сильнее, чем раньше, бороться с безалаберностью русских нравов, с тем, что с некоторых пор было счастливо и всецело преодолено Герценом ради блага детей. Все это выступило теперь гораздо определеннее и непосредственнее, особенно у русской дамы, которая сохранила все характерные особенности своей родины и отличалась фанатическим патриотизмом. Но я надеялась, что, помня старое, Герцен на этот раз удержит инициативу в своих руках и прежде всего сумеет придать новым отношениям определенную форму и даст мне возможность свободно выполнить мои обязанности. Поэтому вначале я предоставляла событиям развиваться, стараясь любезностью, предупредительностью и деятельным участием сохранить самые дружеские отношения с приехавшими. Это не стоило большого труда, потому что друг Герцена внушил мне искреннюю, глубокую симпатию и безграничное сострадание. Герцен мне неоднократно рассказывал, какая это была глубокая и благородная натура. Его судьба была мне знакома, и в нем я видела одну из жертв злополучной Николаевской эпохи, когда страдали все лучшие и даровитейшие люди России. Мне был известен целый ряд имен богато одаренных личностей, погибших в глухой атмосфере безотрадного деспотизма, подавлявшего всякое духовное развитие. Там же, где способные люди, несмотря ни на что, пробивали себе дорогу,— там развитие шло по ложному пути, и часто в эксцентричных проявлениях обнаруживалось своего рода оцепенение, уничтожавшее гармоническое творчество и деятельность. Так, например, Огарев, путешествуя по Европе, вел бурную жизнь, а живя в России, удалялся в леса и степи и жил чисто созерцательной жизнью, отрешившись от внешнего мира. Он обладал редкой душой, высокой духовной одаренностью и имел большое состояние, расточаемое с ранней молодости.

Все друзья говорили, что влияние его личности не получило должной оценки. Герцен часто говорил: «Разве

кто-нибудь знает, чем мы обязаны речам и влиянию этого человека». Скорее поэт, чем политический деятель, он выявлял свое внутреннее состояние лишь в стихотворениях; многие из них появились на русском языке в журналах Герцена. В обществе он обычно отличался молчаливостью, теперь еще усилившейся, потому что, к сожалению, его здоровье было совсем разбито, и глубокая задумчивость заставляла его часами молчаливо сидеть, не принимая участия в разговоре. Но, несмотря на его необщительность, меня глубоко привлекали его несомненная доброта и тихая скорбь,— эти черты возбуждали во мне искреннее участие.

Русская дама произвела на меня обратное впечатление. Как только она появилась, я почувствовала, будто кто-то вошел в мою жизнь, но не внес в нее ничего светлого. Несмотря на то, что я старалась установить с ней хорошие отношения, я отчетливо испытывала недоброе предчувствие, что это бесполезно и что наши характеры никогда и ни в чем не сойдутся [2]. Я не могла вникнуть в сущность этой странной личности. Я никогда не чувствовала себя свободной в ее присутствии, это причудливое, странно-застенчивое существо невольно смущало меня. Я стала замечать, что мое положение в доме было для нее неприятным разочарованием: она думала встретить обыкновенную гувернантку и тогда исполнить свое желание — занять при детях то место, которое завещала ей их умирающая мать. Вместо этого она нашла друга семьи, занявшего место хозяйки в домашней жизни, и человека, заменившего детям мать. К тому же немецкий уклад был ей ненавистен, и многие мероприятия, которые я ввела для пользы детей, претили ее русским привычкам [3]. Для примера расскажу следующую мелочь: я с большим трудом и путем длительных убеждений уничтожила привычку Герцена почти ежедневно, каждый раз, когда он выходил на улицу, приносить детям ненужные игрушки и другие вещи, которые только притупляют истинную радость при получении хороших и полезных подарков и вызывают в детях страсть к разрушению, и без того присущую их возрасту. Но русская дама с настоящей страстью осыпала детей подарками. Она мне однажды сказала, что не может проходить равнодушно мимо прекрасных игрушечных магазинов Лондона, чтобы не испытать желания купить все, что там находится, и не принести этого детям. Это — типичная русская черта. Другая русская дама говорила

мне еще раньше, что она хотела бы засыпать различными подарками мальчика, свое единственное дитя, она хотела бы, чтобы он пресытился ими и чтобы обладание не доставляло ему никакого удовольствия. Я напрасно старалась внушить г-же Огаревой свою точку зрения. Она продолжала задаривать детей и прекратила это лишь тогда, когда я самым деликатным образом обратила внимание Герцена на вновь возникающее зло, и он наложил свое veto *. Подобных расхождений во взглядах, касающихся еще более важных вещей, оказалось множество. Герцен хотел, и это до известной степени было понятным, чтобы дама ближе познакомилась с детьми, рассказывала бы им про их покойную мать, говорила бы с ними по-русски и знакомила бы их, насколько возможно, с никогда не виданным ими отечеством. Если бы все это делалось просто и естественно, как приятный придаток к тому, что уже существовало, то все обошлось бы легко и по-дружески. Однако, как я уже упоминала, в людях и создавшихся отношениях чувствовалась какая-то мучительная натянутость, которую я старалась устранить, но с каждым днем на меня все более надвигалось зловещее предчувствие. После дневной работы с детьми, которая порой, несмотря на всю любовь, какую я в нее вкладывала, бывала утомительной, я была лишена обычного в прежнее время освежения ума в разговорах и совместном чтении с Герценом. Русский язык и русские интересы заняли первенствующее место в разговорах, и когда я немного научилась первому и достаточно освоилась с последними, то все же они оставались мне достаточно чуждыми, чтобы жить исключительно ими и находить в них отдых для души. К сожалению, я видела, что Герцен не изменил своему характеру и предоставил событиям идти своей дорогой, сохраняя уверенность, что все устроится само собой, и опасаясь обидеть или огорчить ту или другую сторону.

Эта ошибка в повседневной жизни лиц, связанных друг с другом, имевшая место раньше, повторилась и теперь. Но на этот раз она должна была иметь более злостные последствия. Когда я увидела, что все в доме неудержимо разрушается, я начала исподволь обращать на это внимание Герцена и дружески его предостерегать. Мне казалось, что моя прямая обязанность по отношению к Герцену и к его дому — поддерживать безуслов-

* запрет *(лат.)*.

ную солидарность и дружеское согласие. Не было и речи о том, чтобы ограничивать права его друзей или лишить его самого столь отрадных для него воспоминаний о России. Вопрос шел о сохранении прежнего status quo * дома, которое имело благоприятное влияние на детей и которым сам Герцен был вполне удовлетворен; затем следовало установить самые лучшие отношения с друзьями, не допуская, чтобы эти отношения произвольно влияли на строй жизни, разлагали или разрушали его. Это зависит от умения жить; немногие это понимают и не все обращают должное внимание на слова великого художника Гёте в его «Wahlverwandschaft» **. Но это не было свойственно Герцену, и из преувеличенной боязни, как бы не нарушить свободу того или другого, он предоставлял вещам развиваться, пока не завяжется гордиев узел, который можно разрубить только мечом, наносящим рану в самое сердце. Бесполезно было бы останавливаться на этапах развития все возрастающего внутреннего конфликта. Через других знакомых я узнала, что русской даме очень хотелось занять то место в доме, которое было ей прежде предназначено. Я видела, что у Герцена с каждым днем росло желание, чтобы русские традиции были господствующими в воспитании детей и что все нерусское было ему совсем безразлично, в то время как раньше встречало его участие и симпатии. Я невыразимо страдала от такого положения,— мной овладела зловещая мысль, что дело кончится разлукой. Я чувствовала, что хотя бы ради цельности воспитания вынуждена предоставить детям исключительно русские традиции, что я не могу идти с ними рука об руку, а бороться с этой все возрастающей силой я находила бесполезным. Кроме того, я считала двойственность вредной для детей. Я должна сказать, что вначале Герцен с негодованием отвергал малейший намек на разлуку. Чтобы уладить внутренние разногласия, он предлагал переговорить и объясниться то с Огаревым, то с его женой. Однако существующие различия характеров, воззрений и привычек невозможно было сгладить. Дело вдруг дошло до того, что он объявил, чтобы внутренний распорядок не изменялся, а сохранил прежний вид, без вмешательства и преобладания того элемента, для которого, в лучшем случае, еще не настало время.

* здесь: «уклад» *(лат.)*.
** роман «Избирательное сродство» *(нем.)*.

Возможно, что если бы я иначе относилась к своей тогдашней жизни и к добровольно взятым на себя обязанностям, смотрела на них более как на деловое обязательство, а не как на внутреннюю сердечную привязанность, которой я отдавалась со всей страстностью моей природы, возможно, говорю я, что тогда я встретила бы спокойнее изменившееся положение вещей и одержала бы верх. Но в дружбе мне случилось испытать то же самое, что и в любви,— я отдала все и узнала с безграничной скорбью, что не пользуюсь полной взаимностью, что иные, более сильные чувства воздействуют на жизнь, направляют ее в другую сторону. До сих пор я была, конечно, слишком самостоятельна и независима в своей деятельности, чтобы мне было легко смотреть на происходящую перемену. Безусловно, выполнение моих обязанностей осуществлялось, потому что оно происходило с полной добросовестностью и искренней преданностью. Во всяком случае, я пошла бы на маленькие изменения, если бы люди, противостоящие мне, были другими и относились ко мне более беспристрастно и чутко.

Совершенно случайная причина послужила разрешению вопроса. Я чувствовала, что здесь для семьи, живущей в изгнании, замыкался естественный круг, в котором дети могли бы сблизиться с традициями родины, что соответствовало задушевному желанию их отца. А единство воспитания мне казалось необходимым. Передавая воспитание детей в руки русских, я, по крайней мере, достигала этого. Тем не менее мое сердце разрывалось на части при мысли о разлуке, и я сделала последнюю попытку сговориться с Герценом. Добрый и симпатичный, как всегда, он уверял меня, что сделает все, чтобы дело приняло другой, более гармоничный оборот, просил меня, чтобы я не теряла к нему доверия. У меня опять родилась надежда, и я попробовала снова дружески сблизиться и установить взаимное понимание в том, что я считала единственно правильным и полезным в деле воспитания детей. Однако недоразумения не прекращались, и я увидела, что Герцен начал сомневаться, чего раньше не было.

Наконец однажды утром, когда он уехал за город с тем, чтобы вернуться только вечером, мне принесли письмо, которое он оставил для меня,— я не видела Герцена перед тем, как он уехал. В этом письме он впервые высказал мысль о необходимости разлуки, которую

до сих пор всегда отвергал [4]. Но на прощанье он предлагал устроить маленькое празднество. Самая необходимость разлуки стала мне ясной после этого письма. Он выбрал между мной и друзьями. Таким образом, меня ничто больше не удерживало. Но самая мысль устройства какого-то праздника из того, что меня так глубоко задевало, спокойное и обдуманное прощание, тогда как я отрывалась с раненой душой,— все это было для меня непостижимым. Я чувствовала, что я смогу это сделать или путем героического подвига, или в состоянии крайнего возбуждения, не иначе.

Я решила в тот же день расстаться с домом, тем более, что мне было легче сделать это в отсутствие Герцена. Я начала быстро собираться, укладывать свои вещи, написала Герцену короткое прощальное письмо, другое письмо написала русской даме,— я поручала ей детей, просила ее продолжать выполнять мои обязанности в отношении их. Это была моя Голгофа, и последний ужин был моею тайной вечерей, на которой не было лишь предателя. Только четыре невинных детских глаза были свидетелями переживаемой мной тяжелой борьбы во имя самоотречения. Я обратилась к детям со словами любви, дала им несколько советов, затем взяла их руки в свои и благословила их. Я просила их запомнить этот час, значение которого они еще не понимали. Затем я велела горничной одеть детей и свести их к русской даме, и вместе с тем отдать ей мое письмо. Я еще раз прижала детей к сердцу и затем оставила их; они были удивлены, смущены и не понимали, в чем дело. После этого, захватив самое необходимое, я покинула дом. На пороге меня остановил искренне преданный мне старый слуга-итальянец и сказал с мольбой: «Не уходите, это принесет несчастье дому!» Я молча пожала ему руку и пошла к Фридриху и Шарлотте [5], так как на первое время не имела другого пристанища. Они были в высшей степени поражены, когда узнали о случившемся, но сразу же согласились со мной, что я должна была уйти, раз Герцен на это решился. Меня охватила невыразимая грусть, даже нечто большее, я была в полном отчаянии, а вокруг меня зияла открытая могила. Пусть мне поверят, что когда идут на жертву, то самым тяжелым является решающий момент, который перекраивает всю жизнь.

Я пожертвовала собой, и тем не менее я должна была продолжать жить вдали от той любимой родины, которую сама себе создала и которая только в последнее

время стала такою, как мне хотелось. Во мне все противилось необходимости что-то вновь начинать, и если бы в этот момент ко мне пришла смерть, даже самая жестокая, я встретила бы ее как свою освободительницу.

В тот же вечер, когда мы молча сидели вместе, погруженные в грустное раздумье, пришли Огарев и молодой Александр. Они передали мне письмо Герцена и рассказали, как он скорбит по поводу моего столь внезапного поступка. Это поручение они выполнили с такой сердечностью, в особенности Александр, что я почувствовала в его нежных детских чувствах истинно сыновнюю привязанность ко мне, и это меня глубоко растрогало [6] ⟨...⟩

А. П. МИЛЮКОВ

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ И ЗНАКОМСТВА»

(Отрывки)

Я не был лично знаком с Александром Ивановичем Герценом до поездки моей за границу в 1857 году. Оригинальный талант автора «Писем об изучении природы» давно уже пользовался громкою известностью, и все знали, кто скрывался под псевдонимом «Искандера». Я, как и многие, был увлечен блестящими идеями смелого публициста, хотя не разделял некоторых его взглядов, но мне не удалось встретиться с ним до выезда его из России, меня же он знал только потому, что за год до путешествия я послал ему с одним знакомым мой «Очерк истории русской поэзии». Через несколько дней получил я от Герцена любезное письмо, в котором он благодарил за посылку и высказал желание познакомиться со мною, если я буду когда-нибудь за границей. А этого мне давно хотелось.

В Лондон приехал я утром, 28-го мая, и остановился в центральной части города 〈...〉 После завтрака 〈...〉 взял кеб и отправился в Сити узнать в книжном магазине Трюбнера адрес А. И. Герцена. Мне сказали, что он живет не в Лондоне, а в Пётнее, минут на двадцать езды от города по северо-западной железной дороге. Я тут же написал ему записку, в которой спрашивал, когда могу застать его, причем сообщил и мой адрес.

На другой день, когда после продолжительной прогулки по Лондону я возвратился к завтраку в отель, мне сказали, что меня спрашивал какой-то господин и обещал прийти опять в 5 часов. В назначенное время ко мне постучались; это был Герцен. Я узнал его по знакомому мне еще в Петербурге портрету. Хотя в это время ему было уже с лишком сорок пять лет, но его невысокая, плотная фигура поражала энергией и живостью, а красивая голова, с откинутыми назад длинными темнорусыми волосами и умными, выразительными глазами,

с первого взгляда привлекала внимание. Невзгоды, пережитые им в России с самого выхода из московского университета, и почти десять лет, проведенных в самом вихре бурных волнений за границей, не оставили следов ни на его наружности, ни на характере. Смотря на него, никто не подумал бы, сколько нравственных потрясений и горьких разочарований испытал этот человек. После обмена немногими фразами, обычными при первом свидании, Герцен пригласил меня обедать, и когда я заметил, что затрудняюсь поздно возвращаться в город, совсем еще незнакомый мне, он сказал: да вы и ночуйте у меня, а завтра можете ехать с первым поездом, вместе с моим сыном. Разумеется, я с радостью согласился.

Александр Иванович занимал в Пётнее отдельный двухэтажный дом, расположенный в глубине небольшого двора и выходивший другой стороною на прекрасный планированный сад, с сочной, бархатной зеленью, какую можно видеть только в Англии. Помещение отличалось тем комфортом и чистотою, которыми справедливо гордятся англичане. В нижнем этаже была приемная зала, столовая и кабинет, в верхнем — спальня и детские комнаты; везде камины и ковры. Только что мы вошли в залу, как из сада прибежали дети Герцена — Саша, мальчик лет шестнадцати, и две девочки, Наташа, годами двумя моложе брата, и Ольга, малютка лет семи, а через несколько минут пришел Николай Платонович Огарев с женою. Александр Иванович познакомил нас. В наружности Огарева с первого взгляда я не нашел ничего особенного: его круглое лицо и небольшая полнота напоминали скорее коренного русского купца, чем поэта. В 7 часов пригласили нас в столовую. Обед с шампанским и фруктами прошел очень оживленно и весело, и, когда затем перешли курить в кабинет, можно было подумать, что мы знакомы уже давно. Герцен обладал той сообщительностью, которая чрезвычайно облегчает и ускоряет короткое сближение.

Мы просидели до глубокой ночи. Александр Иванович сообщил мне, что в Париже у него часто бывали русские, но с тех пор, как он поселился в Англии, почти никто не навещал его, кроме итальянских и польских эмигрантов. Он с горячим участием расспрашивал меня о том, что делается в России с воцарением нового государя, о настроении общества, об административных реформах, о слухах насчет освобождения крестьян, о литературе и журналистике. Все эти вопросы сильно занимали

его, и он с живостью высказывал как свои надежды, так и опасения. Огарев также этим интересовался, но не с такой впечатлительностью. Они, как известно, были близкими друзьями с детства, но заметно, что это натуры совсем несходные: один кипучий, живой как ртуть, другой спокойный и сдержанный. Герцен поражал своей бойкостью и остроумием: речь его сверкала неистощимым каскадом острот и шуток, каламбуров, блестящей игрою неожиданного сближения мыслей и образов. Огарев говорил со строгой, как бы заранее обдуманной точностью, не чуждой вместе с тем какой-то мечтательности. У обоих были одни и те же политические, социальные и литературные взгляды, но в одном сказывался публицист и революционер, в другом поэт и мечтатель. Может быть, я ошибаюсь, но мне думается, что Огарев, без влияния Герцена, не увлекся бы политической и социальной пропагандою, а остался бы верен одному художественному призванию своей поэтической натуры [1].

На другой день утром я возвратился в Лондон с сыном Александра Ивановича, который учился тогда в какой-то коллегии и ежедневно ездил в город на лекции ⟨...⟩

В Англии прожил я две недели и во все это время почти каждый день видался с Герценом ⟨...⟩ Послеобеденные беседы в кабинете Герцена, за бутылкой шампанского, продолжались с тем же одушевлением и интересом ⟨...⟩

Однажды после обеда Александр Иванович, особенно весело настроенный, вспомнил о своих московских развлечениях и предложил спеть хором русскую песню. Все мы, не исключая детей, уселись на ковре в два ряда, лицом один к другим, изображая таким образом лодку, и затянули как умели: «Вниз по матушке по Волге». В шуме этого патриотического упражнения мы не слыхали, что во двор въехали гости. Вдруг отворились двери и в залу вошел человек средних лет, с выразительным и вместе с тем вдумчиво-кротким лицом, в темно-сером фраке, а с ним, закинув на руку трен синей амазонки, молодая, стройная женщина в фетровой шляпке, из-под которой опускались белокурые локоны [2]. Все мы поднялись.

— Что это такое? — спросил с улыбкой гость.

— C'est un chant des pirates du Volga *,— ответил

* это поют разбойники на Волге *(фр.)*.

Герцен, смеясь и протягивая руку приезжим,— нам хотелось спеть ее на берегах Темзы ⟨...⟩

Один из приятных дней моего житья в Англии была поездка с Герценом и Огаревым в Сиденгэм на большой музыкальный праздник в Кристальном дворце. С самого приезда в Лондон я уже слышал, что общество Sacred harmonie * устраивает концерт-монстр из произведений Генделя, которого англичане считают своим величайшим композитором, хотя он был родом немец и только жил несколько лет в Англии [3]. Наконец явились афиши с извещением, что 15 июня н. с. в Сиденгэмском дворце назначен Grand Handel festival **, на котором исполнена будет знаменитая оратория «Мессия». Мне хотелось быть на этом празднике, и я с удовольствием принял предложение Николая Платоновича Огарева ехать вместе. Герцен сначала отказывался от поездки, но по просьбе мадам Огаревой согласился быть нашим товарищем. В одиннадцать часов мы были уже на железнодорожной станции у Лондонского моста, откуда отправляются поезда в Сиденгэм. Нигде я не видал такого движения, как на этом семимильном клочке рельсового пути. Так как билеты на концерт заранее продавались в Лондоне и вместе с платой за вход оплачивался и проезд, то пассажиры шли прямо на платформу, моментально наполняли вагоны, и поезд уходил; а за ним являлся другой, так же быстро забирал массу народа и мчался за первым, очищая место новому поезду с десятками вагонов. Несколько поездов шло в близком расстоянии, на виду одни у других, так что это казалось какою-то непрерывною процессиею дымящихся локомотивов, влекущих за собой длинные хвосты бесчисленных экипажей.

— Посмотрите, какая прелесть! — сказал Герцен, указывая в окно вагона.

Я выглянул. Сиденгэмский Кристальный дворец, эта довольно безвкусная громада бесчисленных стекол в чугунных скреплениях и переплетах, при блеске летнего солнца казался издали причудливым видением из волшебных сказок. Весь он, прозрачный и сияющий, походил на какую-то исполинскую игрушку, изваянную из чистого кристалла.

Несмотря на то, что на праздник съехалось, как потом писали в газетах, более двадцати пяти тысяч

---

* здесь: общество духовной музыки *(англ.)*.

** Большои генделевский праздник *(англ.)*.

человек, не было никакой тесноты и нарушения порядка ни при входах в трансепты, ни при занятии мест. Галереи дворца до того обширны, что в антрактах между частями оратории половина публики прогуливалась здесь без всякого стеснения. За несколько минут до начала концерта приехала королева Виктория с принцем Альбертом. При входе их все поднялись, и многотысячная масса, более с усердием, чем с уменьем и стройностью, запела God save the Queen *. Мы занимали место недалеко от прохода, и я хорошо видел королеву 〈...〉

Фестиваль исполнялся в большом трансепте Кристального дворца. В глубине этой громадной залы устроен был амфитеатр, на котором помещалось две тысячи певцов и пятьсот музыкантов. Перед нижним уступом стоял колоссальный орган, в 30 футов длиною, нарочно сделанный для этого музыкального торжества [4]. Оратория началась, как было объявлено, ровно в час. Оркестром и хорами управлял Коста, а басовые партии пел знаменитый Формес, известный петербургской публике своим могучим голосом в ролях Оровеза и Марселя [5]. При таком грандиозном исполнении знаменитая «Мессия» Генделя производит сильное впечатление, хотя по своей обширности утомляет не особенно увлекающихся духовной музыкой. Огаревы все время оставались в зале, а Герцен после второй части оратории сказал, что устал. Мы пошли бродить по музеям Кристального дворца, а оттуда спустились в сад с фонтанами и цветниками. Понятно, что у нас зашла речь о Генделе и его музыке.

«Конечно,— сказал Герцен,— это хорошо, грандиозно, но не в моем вкусе: я променяю все мессы и оратории на две-три оперы Россини и Мейербера 〈...〉 А знаете, какая музыкальная вещь всего больше поразила меня? Это «Марсельеза» [6], которую пели, двигаясь по парижским бульварам, двадцать тысяч блузников! Никакая оратория не произведет на меня такого потрясающего впечатления» 〈...〉

---

* Господи, храни королеву *(англ.)*.

Н. МАКШЕЕВА

ПОСЕЩЕНИЕ А. И. ГЕРЦЕНА

Знакомство с Герценом произвело на Макшеева неизгладимое впечатление, он всегда вспоминал его с подъемом чувства. Этот человек поразил его так, что, говоря с собеседником, он как бы мыслил вслух. Разговор велся вокруг социализма. Герцен развил перед своим собеседником социальные системы того времени.

— И какая же из них лучшая? — раздался вопрос.

— Ни одна из них,— был ответ.— Это, очевидно, вопрос будущего. Герцен был критиком существующего строя, а не пропагандистом какой-либо социальной системы.

В следующее свое посещение Путнея Макшеев познакомился с Огаревым и детьми Герцена. На этот раз он рассказывал о своих среднеазиатских впечатлениях, рисуя картины тех злоупотреблений, каким подвергались киргизы. При этом Герцен возмущался, а у Огарева появились на глазах слезы, в чем сказалась разница их душевных складов: у одного — более мужественного, у другого — женственного.

Алексей Иванович вернулся в Россию под обаянием Герцена и привез с собою его сочинения, которые бережно хранил в своей деревенской библиотеке, прикрывая их толстым фолиантом на случай приезда станового пристава. Фотографический портрет Герцена работы Ге висел у него в кабинете вместе с портретами Шевченко и Добролюбова. Он старался уяснить своим детям значение великого писателя, особенно подчеркивая влияние «Колокола» при освобождении крестьян.

В. А. ПАНАЕВ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

⟨...⟩ В апреле 1858 года я с женою выехал за границу и отправился прямо в Париж, где находился с своим семейством мой товарищ по институту Кусаков. Кроме того, я хотел посоветоваться с докторами, не столько для себя, сколько для жены. Доктора посоветовали ей ехать на лето в Эмс, и мы отправились туда, куда вслед за тем привезены были из Петербурга и наши дети. Водворив в Эмсе мою семью, я поехал в Брюссель и увидел, что там мне придется провести около полугода, и потому вскоре жена и дети переехали ко мне.

Оставляя пока в стороне изложение хода моих занятий за границей для исполнения моего поручения и мое пребывание в Эмсе, я должен остановиться на одном обстоятельстве, игравшем роль в моей жизни ⟨...⟩

⟨...⟩ в 1856 г. все чувствовали, что верховная власть скоро проявит свое намерение относительно уничтожения крепостного состояния.

Конечно, я так же, как и тысячи людей, лихорадочно ожидал реформы и возымел намерение написать проект освобождения крестьян.

Я написал этот проект еще в 1856 году и читал его многим среди литературного кружка, в котором вращался. Понятно, что о предании его гласности нельзя было и думать в то время. Но в 1857 году ⟨...⟩, пользуясь моим пребыванием за границей, я задумал обратиться к русской типографии, находившейся в Лондоне. Когда я водворился в Брюсселе и начертал себе путь моих там занятий, я решился ехать на несколько дней в Лондон с намерением отдать мой проект освобождения в печать и сделать его гласным.

Приехав в Лондон, я написал Герцену письмо следующего содержания:

«Милостивый государь Александр Иванович. Я, Панаев, двоюродный брат известного вам Ив. Ив. Панаева, составил проект освобождения крестьян, который желаю напечатать в вашей типографии, на что и прошу вашего разрешения».

Я не был знаком с Герценом и видел его только один раз у Ивана Ивановича Панаева в 1842 г., но с ним не разговаривал, и потому Герцен не имел обо мне никакого представления.

В тот же день я получил от Герцена ответ, которым он назначил на завтра утренний час для приема, и просил привезти мою рукопись.

Когда я приехал к нему, он был в кабинете один. Осведомившись о моем социальном положении и узнав, что я автор статьи «Община» [1], напечатанной недавно в «Современнике», он сказал:

— Я вполне разделяю все взгляды, изложенные в вашей статье; очевидно, что вы пристально изучили русский народный быт; теперь потрудитесь прочесть мне что-нибудь из вашего проекта, чтобы я мог судить об его направлении.

Проект мой состоял из краткого предисловия и был разделен на три главы, озаглавленные: «Цель», «Путь» и «Средства».

Я прочел предисловие и остановился; тогда Герцен попросил прочесть первую главу. Я прочел и опять остановился.

— Я прошу вас прочесть и вторую главу,— сказал он.

Я прочел и в третий раз остановился.

— Нет, уже читайте до конца,— сказал он.

Все чтение рукописи заняло пять часов.

Когда я кончил, Герцен немедленно позвонил, и явился человек.

— Jule, попросите Огарева придти ко мне теперь же,— сказал Герцен.

Пришел Огарев.

— Позволь,— говорил он, обращаясь к Огареву,— познакомить тебя с автором «Общины», так нам понравившейся, а теперь он привез нам другой свой труд — проект освобождения крестьян. Я выслушал его весь до конца. Вопрос исчерпан вполне Панаевым, и нам придется сложить перья по вопросу об освобождении крестьян [2]. Я просил бы тебя распорядиться, чтобы неотлагательно было приступлено к набору, и так как проект весьма

серьезен, то его надо напечатать отдельной книжкой, а не в «Колоколе» [3].

Когда я собрался уходить и хотел взять рукопись, Герцен остановил меня со словами:

— Я прошу вас оставить ее, чтобы она сегодня же отправилась в типографию.

Тогда я заявил, что должен завтра возвратиться в Брюссель, и просил прислать мне корректуру.

— Мы затрудняемся в шрифте,— сказал Огарев,— и не можем набрать весь проект разом, а если высылать вам частями, то на это пропадет много времени. Корректуру мы продержим сами и вышлем вам уже готовую книжку.

Я рассказал означенный эпизод моей первой встречи с Герценом потому, что он очень рельефно характеризует человека.

В то время Герцен был, неоспоримо, огромная политическая величина, блестящий и выдающийся литературный талант, основатель русского книгопечатания за границей, полный хозяин всех печатаемых им изданий, человек с большими средствами и вполне ни от чего, ни от кого не зависимый. Его вниманием дорожили, в нем, можно сказать, заискивали; сотни лиц из всех сфер общества, и преимущественно из высших, посещали его в Лондоне, и он был поглощен трудами по своим изданиям.

Сколькими, по-видимому, атрибутами обладал Герцен, чтобы разыгрывать роль политического и литературного генерала, чтобы кичиться своим положением, окружить себя стенами недоступности. Ничего подобного в Герцене не проявлялось, он не терпел ничего ненатурального, искусственного и ходульного.

Такого горячего, сердечного приема моему проекту я не ожидал. Тут высказалось самое добросовестное отношение к сущности дела, отсутствие предвзятых мыслей и узких доктрин и отстранение личного самолюбия, так как мой проект далеко не подходил к тем взглядам, которые излагались по крестьянскому вопросу в «Колоколе».

Оставив рукопись моего проекта у Герцена, я через день уехал в Брюссель. Вскоре я получил из Лондона «V книжку голосов из России», которая и заключала единственно мой проект освобождения крестьян.

Несколько времени спустя появляется в № 267 журнала «Le Nord», издававшемся в Брюсселе и считавшем-

ся официальным органом русского правительства, проект банкиров Френкеля и Гомберга об освобождении крестьян путем выкупа, т. е. проект подобный моему; причем «Le Nord» заявлял, что правительство склоняется на этот проект.

Проект этот с виду представлялся соблазнительным, но заключал в себе ловушку в том, что отдавал все крестьянское помещичье население в откуп европейским банкирам. Тогда я написал, на французском языке, критический разбор этого пресловутого проекта, приложив к разбору мой проект в сокращенном виде, и издал его отдельной брошюрой в Брюсселе [4]. Эту брошюру я послал государю и нескольким высокопоставленным лицам. Она была пропущена иностранной цензурой в Россию, а потому скоро разошлась, и издатель испросил у меня разрешения на второе издание.

В то же время в № 29 «Колокола» появился «Обвинительный акт» на Герцена, подписанный буквою «Ч», вызванный отзывом Герцена о доктринерах, напечатанным в одном из предшествующих номеров «Колокола», а именно в № 27 [5].

Обвинительный акт был написан очень умно, во многом был справедлив, но был написан тоном издевательства над деятельностью Герцена. Находя, что автор «Обвинительного акта» не понимал роли и значения изданий Герцена, я написал возражение и послал для печати в Лондон [6].

Раз я коснулся Герцена, то, в настоящей же главе, я расскажу о дальнейших моих отношениях к этой личности.

Дело, которым я занимался в Брюсселе, подходило к концу, и мне надо было ехать в Англию. В это время приехал мой товарищ Кусаков с женою и дочерью. Узнав, что я собираюсь ехать в Лондон, он пожелал ехать туда же вместе со мною. Так как я рассчитывал провести в Англии около двух месяцев, то я поехал тоже с женою и с старшей дочерью, лет восьми, другие же дети остались в Брюсселе 〈...〉

〈...〉 я познакомил мою жену с семейством Герцена и Огарева, которые жили вместе. У Герцена были тогда две дочери, а сын находился в Италии. Семейство Огарева состояло из его жены и одной девочки. Я познакомил с ними также и семейство Кусаковых.

Надо сказать, что Кусаков был превосходный певец, обладавший высоким баритоном, отличный музыкант

и человек особенно веселый и живой. Он пел все: и итальянские арии, и французские романсы, и главным образом восхитительно пел русские песни со всеми переливами и разнохарактерными оттенками, присущими русской песне. Диапазон его голоса был необыкновенно обширен, и он брал иногда известную ноту октавой выше и тем значительно украшал песню. В течение моей жизни я встретил только двух певцов, которые могли петь настоящим образом русские песни: это Кусаков, и известного Петербургу Шиловского. Последний был богатый помещик, но артист до мозга костей. Это был сын знаменитой певицы из высшего Петербургского mond'a Шиловской, в конце концов разорился и кончил свою карьеру поступлением на сцену Московского театра под именем Лошинского и вскоре умер. В дальнейших моих воспоминаниях я коснусь еще этой личности.

Песня «Не одна в поле дороженька», положенная кем-то на ноты, не представляет и подобия того, как ее пел Кусаков.

Мы часто бывали у Герцена, много раз обедали у него, и, само собою разумеется, Кусаков не замедлил обнаружить свой талант. Когда он запел русские песни, то Герцен, Огарев и жена его пришли в неописанный восторг. Вспоминались им русская удаль, все родное, русский добродушный мужичок, и слезы появились на их глазах. Герцен смотрел на русского мужичка, как [на] своего родного брата, и находил, что тип, например, ярославского или соседних губерний, мужичка есть самый красивый тип из всех европейских народностей, что он и высказал в одном из своих произведений.

И вот, всякий раз, как приезжал Кусаков, вся компания собиралась около рояля, и образовывался хор, и так как я пел тоже русские песни, имея довольно сильный голос, то исполнял в этом случае роль запевалы. Когда же затягивали плясовую, то моя дочь принималась плясать русскую. Словом сказать, эти дни проводились всеми весело и оживленно 〈...〉

А. Н. ПЫПИН

МОИ ЗАМЕТКИ

(Отрывки)

Я выехал из Петербурга, сколько помню, в самом конце 1857-го или самом начале 1858 года. Стояла довольно злая зима ⟨...⟩ На первый раз привлекало ближайшее путешествие — в Лондон ⟨...⟩

Для русских того времени особую привлекательность Лондона составлял еще Герцен ⟨...⟩ Он жил тогда в Пётнее (Putney), приблизительно, помнится, в получасе езды от Лондона. Мы списались с ним и приехали к нему в качестве «русских путешественников». Не помню, в этом или следующем году, когда я в другой раз был в Лондоне, я встретил и еще русских знакомых, с которыми увиделся у Герцена; это были П. В. Анненков, В. П. Боткин и И. С. Тургенев; был здесь и наш недавний знакомый, Д. И. Каченовский. Герцен произвел на меня очень приятное и чисто русское впечатление. Это был гостеприимный, добродушный, как будто балованный русский барин; не очень высокого роста, очень полный, но живой человек, очень разговорчивый, с мягко льющеюся речью, блестевшею остроумием. Он был уже издателем «Колокола»: известен характер этого издания, где его собственные статьи проникнуты были глубоко возбужденным чувством любви к родине; мысль о ней, очевидно, его никогда не покидала; разговор постоянно обращался к тем или другим чертам и подробностям тогдашних русских событий. Это всего больше сохранилось в моей памяти. По журналу можно было видеть, что у него было довольно и даже много корреспондентов из России; новости доходили до него быстро; много бывало и посетителей, между прочим людей, совсем не принадлежавших к какой-нибудь литературе, но, без сомнения, также под видом почитателей являлись и шпионы. Не могу, конечно, припомнить разговоров, но ясно запечатлелось в моей памяти общее воспоминание этой

беседы, легко переходившей от серьезных предметов к шутке, обыкновенно живой и остроумной, между прочим, на разных языках. Герцен зазвал нас к обеду, и ему, видимо, приятно было, что он может угостить нас самой настоящей русской кашей из съестных припасов, которые от времени до времени привозил к нему в подарок русский капитан корабля из его почитателей. Совсем другим характером отличался Огарев. Он тоже носил на себе черты русского барина помещичьего склада. Как известно, он был некогда очень богатый русский барин; но романтическая филантропия и вражда к крепостному праву, когда он почти даром отдал крестьянам свое богатое поместье Белоомут, оставили его с очень небольшими средствами, а в последнее время его жизни даже в бедности. Это был молчаливый, задумчивый человек, впрочем очень мягкий и приветливый; как, вероятно, и в прежние годы, им овладели мечты романтической философии, так теперь занимали его вопросы общественные и всего больше крестьянский вопрос. Таковы были и статьи его в «Колоколе». Я виделся с Герценом в оба пребывания мои в Лондоне в этом и следующих годах. Он и Огарев остались для меня светлым воспоминанием, как живые, тогда уже доживавшие зрители той эпохи сороковых годов, которая была такой благотворной исторической эпохой в развитии нашего общественного самосознания,— эпохи, когда в русском обществе серьезнее, чем когда-либо, ставились задачи критического исследования и общественного долга, оставшиеся надолго живительным заветом для русского общества, и где как бы в ответ на эти запросы созрела целая плеяда высоких талантов, слава которых озаряет русскую литературу до сей минуты 〈...〉

А. В. РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСКИЙ

МОЯ ЖИЗНЬ и АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(Отрывки)

⟨...⟩ Живя в пансионе мисс Форстер, я сделал визит Александру Ивановичу Герцену. Это было время его высшей славы и процветания его «Колокола» и других заграничных изданий, за которыми пробирался к Трюбнеру всякий русский, приехавший в Лондон. В это же время появилась знаменитая статья Чичерина, порицавшая всю деятельность Герцена, на которую последний ответил горячо и сдержанно [1]. Помнится, я пошел к Герцену вместе с женой. Нас встретил бодрый и здоровый человек лет около пятидесяти, немного выше среднего роста, с симпатичным лицом и длинными, зачесанными назад без пробора волосами, в которых уже серебрилась проседь. Он ввел нас в приемную, на столе которой лежала книга Бокля [2], от чтения которой, можно было думать, оторвал Герцена наш приход. В углу, на кушетке, сидел Николай Платонович Огарев, унылый, меланхолический молчальник, с чисто русским лицом, окаймленным роскошной бородой. Возле сидел невзрачный блондин Сераковский, с которым я еще раз встречался в Гейдельберге, в аудитории Миттермайера; польское повстанье сделало из него историческую фигуру. Скоро он ушел ⟨...⟩ затем разговор перешел на другие предметы: о Бокле, которого Герцен очень хвалил; о «Современнике», направлению которого Герцен, как видно было, очень сочувствовал. Он и со мной начал речь об этом направлении. Но я последние годы так был занят своими экзаменами и диссертацией, что не мог быть постоянным читателем Добролюбова и Чернышевского и компетентным собеседником о них, что, очевидно, Герцену не понравилось ⟨...⟩ Герцен произвел на меня самое симпатичное впечатление. Это был человек широкого образования и развития, с крепкою, последовательною мыслью, с изящною русскою речью, изукрашенной цитатами из всевозможных европейских литератур, замечательным знатоком которых он был ⟨...⟩

Е. Ф. ЮНГЕ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

⟨...⟩ На обратном пути, в Лондоне, мы посетили Герцена и провели у него вечер. У него было несколько человек русских, между прочим Голицыны. Говорил больше всего сам Герцен. Речь его лилась необыкновенно свободно и красиво, именно *лилась*; было, однако, заметно, что он это сознает и не очень любит, когда ему возражают. Он был в этот вечер крайне оживлен, приветлив, много рассказывал анекдотов и смеялся заразительным хорошим смехом, от всей души. Такой смех бывает только у искренних и честных людей, смех более всего выдает человека. Огарев составлял совершенный контраст с Герценом; он был тих, мало говорил, казался застенчивым, как бы подавленным личностью своего друга. Герцен был интересен, блестящ, но Огарев был мне более симпатичен; мне было его жаль. Париж не нравился Герцену: он находил, что жить там так же отвратительно, как в Петербурге. Я довольно бестактно заметила, что для меня всего лучше в России. «Это кажется, пока далеко оттуда,— сказал А⟨лександр⟩ И⟨ванович⟩,— а как подъедешь к границе, да увидишь полосатый шлагбаум и маленького солдатика в большом кивере с цифрою 4!!!..»

⟨...⟩ Когда оба друга вышли провожать нас, мама сказала: «До свидания; я надеюсь, что еще увижу вас в России».

— Я надеюсь,— отвечал Огарев. Герцен промолчал.

«Теперь другие времена,— продолжала мама,— многого можно ожидать».

— Помилуйте,— сказал Герцен с горечью,— чего можно ожидать, когда там *не прямо* действуют?!

В гостиной Герцена висела картина, подаренная ему русскими художниками в Париже: она изображала колокол, поддерживаемый летящими гениями, и над ним «Полярную Звезду» в образе женщины, в старинном русском костюме, также парящую в воздухе [1] ⟨...⟩

В. С. АКИМОВ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О ПРОШЛОМ»

⟨...⟩ Не последнее место в моих воспоминаниях занимает эпизод моего знакомства с А. И. Герценом ⟨...⟩ Жил он в очень отдаленной местности — Фульгэме, куда даже омнибусы не доходили, так что я вынужден был нанять фиакр; но и кебмен, привезя меня куда-то на окраину города, бросил и уехал, сказав, что никакого Парк-Гауза не знает ⟨...⟩

К моему удовольствию, показался, наконец, полисмен и, узнав, что я ищу Герцена, проводил меня к нему. Глазам моим представилась высокая стена и глухие ворота с очень маленьким отверстием, заделанным решеткой и задвинутым изнутри ставнем. На мой звонок ставень отодвинулся, и в окне показалась фигура, которая суровым тоном спросила меня, что мне нужно. Я просунул в решетку письмо Громеки и просил отдать его Герцену. Минут через пять ворота отворились и, пропустив меня, опять закрылись. В parlour'e * меня встретил сам хозяин, небольшого роста, коренастый, с проседью, как две капли воды похожий на знаменитого некогда одесского ресторатора и владельца первого в мире оркестриона А. Ф. Алексеева, с той только наружной разницей, что Алексеев смотрел ярославским мужичком, а в Герцене поражало необыкновенное изящество. Я был принят самым сердечным и радушным образом и немедленно представлен наличным членам семейства, которое составляли: сожитель Герцена — Огарев, необыкновенно красивый мужчина с прекрасными грустными глазами и темной окладистой бородой, и две дочери Александра Ивановича, Наталья Александровна — уже взрослая девица, и Ольга — прелестная девочка, лет 12-ти. Сына Герцена не было в Лондоне. Любезный

* в вестибюле *(англ.)*.

хозяин поспешил мне объяснить цель и значение окошечка и предосторожностей при приеме посетителей ⟨...⟩ Через несколько минут я совершенно освоился, меня оставили обедать ⟨...⟩ Александр Иванович много расспрашивал о Громеке и других своих приятелях, которых никогда не видел в глаза, но ни одного слова не промолвил о политике и делах в России. Впоследствии он признался мне, что хотел узнать, не принадлежу ли я к тем многочисленным соотечественникам, которые посещают его только с целью выпытать от него какие-нибудь политические мнения, которые потом распространяют по России с беспощадным враньем. «Таких господ,— сказал он,— я уже в другой раз не принимаю...»

⟨...⟩ На другой день я, по приглашению Герцена, опять обедал у него, причем он познакомил меня с Мадзини и Луи Бланом, и я млел от восторга в обществе этих, как мне тогда показалось, великих людей ⟨...⟩

Я часто бывал у Александра Ивановича и каждый раз уходил очарованный любезностью всех его домашних; время незаметно проходило в этом милом семействе; даже вечно грустный и молчаливый Огарев иногда читал мне некоторые из своих стихотворений; как теперь помню его прекрасные «Монологи», где он с пафосом восклицал:

Чего желать?.. О! так желаний много,
Так выходу их нужен путь,
Что, кажется, их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь!

А. И. Герцен был неутомимый рассказчик и замечательный юморист; когда он что-нибудь рассказывал, он, как Горбунов [1], всей своей фигурой и голосом, старался воспроизвести именно то лицо, о котором говорил ⟨...⟩

На прощанье Александр Иванович подарил мне все свои сочинения и издания Трюбнера с надписями, из-за которых я едва не попался, по возвращении в Одессу, где А. Г. Строганов самым беспощадным образом преследовал за ввоз в Россию запрещенных книг. К счастью, я был вовремя предупрежден и успел истребить их ⟨...⟩

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА К ДОБРОЛЮБОВУ И О РАЗРЫВЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ТУРГЕНЕВЫМ И НЕКРАСОВЫМ

(Отрывки)

⟨...⟩ Надобно упомянуть и о другом, по всей вероятности, очень сильном мотиве расстройства дружбы между Тургеневым и Некрасовым. Излагать дело, из которого возник этот мотив, я не буду здесь. Оно слишком многосложно и длинно, так что, начав говорить о нем, я не скоро довел бы до конца ответ на вопрос, которым занимаюсь теперь. В коротких словах история была такого рода. Огарев должен был уплатить пятьдесят тысяч рублей жене, с которой разошелся. Взамен платы он предоставил в пользование ей часть своих поместий [1]. Огарева умерла. Поместья должны были быть возвращены Огареву; но управляющий поместьями, дальний родственник Ивана Ивановича, бестолковый плут, расстроивший свое, прежде довольно большое состояние хитрыми, но глупыми спекуляциями, не желал возвращать поместья, да если б и хотел, то затруднился бы при запутанности своих дел. Дело усложнялось чрезвычайно запутанными расчетами о том, какие из долгов, лежавших на Огаревой, должны быть признаны Огаревым [2]. Огарев и Герцен, у которого он жил тогда, вообразили, что плут, в управление которому были отданы поместья, был приискан в поверенные Огаревой Некрасовым и что он подставное лицо, которому Некрасов предоставил лишь маленькую долю выгоды от денежных операций, основанных на управлении имуществом Огаревой, а главную долю берет себе сам Некрасов. При уважении, каким пользовался тогда Герцен у всех просвещенных людей в России, громко высказываемое им обвинение Некрасова в денежном плутовстве ложилось очень тяжело на репутацию Некрасова. Истина могла бы быть достовернейшим образом узнана Герценом, если бы он захотел навести справки о ходе перемен в личных отношениях Некрасова в те годы,

в которые были делаемы г-жою Огаревой неприятные ее мужу распоряжения. Но Герцен имел неосторожность высказать свое мнение, не ознакомившись с фактами, узнать которые было бы легко, и тем отнял у себя нравственную свободу рассматривать дело с должным вниманием к фактам. Я полагаю, что истина об этом ряде незаслуженных Некрасовым обид известна теперь всем оставшимся в живых приятелям Огарева и Герцена и всем ученым, занимающимся историею русской литературы того времени, потому считаю возможным не говорить ничего больше об этом жалком эпизоде жизни Огарева и соединенных с его странными поступками ошибках Герцена.

Авторитет Герцена был тогда всемогущим над мнениями массы людей с обыкновенными либеральными тенденциями, то есть тенденциями смутными и шаткими. Тургенев ничем не выделялся в своем образе мыслей из толпы людей благонамеренных, но не имеющих силы ни ходить, ни стоять на своих ногах, вечно нуждающихся в поддержке и руководстве. Конечно, ему трудно было оставаться другом человека, которого чернит руководитель массы, к которой принадлежал он. Делает честь ему, что он долго не уступал своему влечению сообразоваться с мыслями Герцена и, подобно людям менее робким, более твердым, как, например, П. В. Анненков, оставался в прежних отношениях с Некрасовым. Но, разумеется, слишком долго не мог он выдерживать давления авторитета Герцена [3]. И кончилось тем, что он поддался Герцену 〈...〉

А. А. СЛЕПЦОВ

ИЗ ⟨ВОСПОМИНАНИЙ⟩

Название обществу «Земля и воля» было дано собственно Герценом, который обладал вообще удивительной способностью приискивать меткие определения людям, эпохам, событиям и литературным произведениям, что отмечалось всегда его близкими и приводило, помню, в восторг особенно Василия Боткина и П. В. Анненкова. Оно очень понравилось нам и своей простотой и чрезвычайной популярностью вложенных в него понятий и какой-то силой, красотой своей ясности и законченности. Читая прокламацию Огарева в июле 1861 г., мы и не думали, что будем состоять в обществе, два слова названия которого были уже указаны в первой ее строке [1]. Позже Огарев рассказал мне, что на его вопрос: «как бы лучше назвать тайное общество, если бы основать его сейчас?» Герцен ответил: «Да ты уж сам сказал несколько месяцев назад. Конечно, «Земля и воля». Немного претенциозно, но ясно и честно,— потому что сейчас это именно и нужно». Огареву так понравилось это Колумбово яйцо, что он потом и предложил такое название.

С конца октября ст. ст. 1861 г. началась подготовительная работа. Помимо выработки небольшого, но не допускающего неясности устава (о нем скажу во второй части), главное внимание нужно было сосредоточить на подборе людей, которым уже и предоставить вербовку рядовых членов-пропагандистов. Всю силу организации мы видели прежде и больше всего именно в пропаганде, исходя из ужасной темноты народной массы, немногим меньшей начавшего оформляться рабочего и минимального политического развития чиновничества и служилого класса вообще. Пропаганда была нужна широкая, хотя бы и менее глубокая, чем нам хотелось по моменту и задачам не только очередного дня и его злобы. Массам

нужно было сказать такие слова, которых они до того почти или вовсе не слыхали, и притом сказать их так, чтобы, не набивая голову мудреностью, проникнуть в сердце заколоченного Николаем и не отпертого Александром русского нутра. Решено было привлечь прежде всего молодежь, желавшую после университетских беспорядков в обеих столицах, с весны 1862 г. ехать доучиваться за границу [2]. Среди них в С.-Петербурге Серно-Соловьевичи обратили особенное внимание на Владимира Игнатьевича Бакста, которому была обеспечена помощь Лугинина: он ехал не столько для научных занятий, сколько для организации доставки лондонских (тогда в сущности единственных) изданий в Россию, на что Владимир Федорович обещал не пожалеть части своих (вернее отцовских) громадных средств ⟨...⟩

После провала «Великорусса» с арестом В. А. Обручева (начало октября 1861 г.) [3] Николай и Александр Серно-Соловьевичи примкнули к мысли Огарева о необходимости готовиться к организации нового общества, преемственно принявшего от «Великорусса» идею о земском соборе (не им, впрочем, формулированную), но внесшего и новое как в теоретическое свое построение, так и в приемы работы. Мысль, собственно, не вполне Огарева: пожалуй, одновременно она складывалась у Николая Серно-Соловьевича, как только ему стало ясно направление «Великорусса», которому он писал свой «Ответ», вызвавший «Ответ на ответ» Огарева [4]. С провалом же мысль эта окончательно окрепла, конечно, главным образом благодаря невозможности что бы то ни было высказать в печати или на общественных собраниях, тогда всегда привлекавших особое внимание полиции и власти вообще. Однако некоторое расхождение между двумя братьями, а также их обоих с Огаревым показало, что прежде следовало основательно столковаться и дотолковаться, продумать будущую организацию, чтобы быть уверенным в ее прочности и, по крайней мере, теоретической конструктивности [5] ⟨...⟩

О возможной роли Лондона мы слышали еще от Кельсиева весною 1862 г., но понимали, что это был преимущественно его собственный проект; как относился сам Герцен, мы точно не знали, имея, однако, сведения о готовности содействия со стороны Огарева и Бакунина. Но оба были неавторитетны и значительно менее популярны, а второй, кроме того, внушал нам опасения своим стремлением к другому уклону рабо-

ты — соединению всего славянства против ненавидимой им Австрии. Мы боялись — и думаю, что были правы,— погнавшись за его программой, упустить свое, чисто русское дело. Когда Бакунин выпустил и широко распространил свою брошюру «Народное дело», мы все-таки не переставали опасаться: русский вопрос тонул у него в другом, большом, а мы обсуживать его не могли. Но прежде чем входить в сношения с Герценом, центр решил нащупать и создать почву для слияния всех тайных обществ под знамя «Земли и воли», как мы стали себя называть с середины августа 1862 г., после большого письма Огарева, привезенного Я. К. Чекаловым. Выпустившая прокламацию «Русская правда», «Библиотека» Мосолова и мелкие военные организации, разбросанные по всей России, особенно же в Западном крае и по югу,— все это сочувственно отнеслось к идее объединения. Нашлись и в них люди, очень державшиеся за сепаратизм, но большинство, в конце концов, было склонно слиться с нами ⟨...⟩

Разработанная шаг за шагом программа революционного общества «Земля и воля» вылилась в конце концов в аксиому: «Конституцию могут дать, но земскую думу надо взять, и взять ее надо для того, чтобы крестьяне получили землю без выкупа, области — самостоятельность, а население те свободы, которые ведут к социализму» ⟨...⟩

Н. В. ШЕЛГУНОВ

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

(Отрывки)

Я видел Герцена в апогее его популярности: лондонские издания его и «Колокол» расходились с возрастающим успехом, и каждый русский, приезжавший в Лондон, считал своим долгом сходить к нему на поклонение. По свободным манерам Герцен походил немножко на студента. Обращение его было простое, дружеское, и с ним было легко и свободно ⟨...⟩ Разговор его был самый разнообразный, как блестящий калейдоскоп,— и современные вопросы, и освобождение крестьян, и будущие русские реформы, и эпизодически какой-нибудь остроумный анекдот, и Виктор Гюго, и Гёте, и философия, и история, и политика. Герцену можно было бы сказать: «С вами ходишь точно по краю пропасти»; у непривычного могла закружиться голова. Огарев появлялся только к обеду и к чаю, и, распределяясь, должно быть, по тяготениям, я садился всегда рядом с Огаревым, а Михайлов — с Герценом. Мне казалось, что у Огарева было больше работы, по крайней мере, по «Колоколу». Но Герцен был занят тогда новым изданием: «Былое и думы» ⟨...⟩

Л. П. ШЕЛГУНОВА

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

(Переписка Н. В. Шелгунова с женой)

(Отрывки)

За границу мы поехали с Николаем Васильевичем вместе, но я уехала на воды в Крейцнах, а он проехал на воды в Франценсбад. В эту поездку мы встретились в Берлине с Гербелем и Колбасиным, напечатавшим какую-то повесть [1]. Увлекающийся Тургенев страшно носился с этим Колбасиным — еще молодым человеком — и предсказывал, что из него выйдет гениальный человек. Тургенев всегда и горячо приветствовал начинающих писателей.

Мы проехали с Колбасиным и Гербелем в Дрезден и Лейпциг и затем все разъехались по разным местам ⟨...⟩

В начале марта мы с Николаем Васильевичем поехали в Лондон, где жил в то время Михайлов [2] ⟨...⟩

В Лондон мы приехали специально на поклон к Герцену. Познакомиться с ним трудности никакой не представлялось, потому что Михайлов был уже с ним знаком, и Герцен, услыхав, что русская дама хочет быть у него, сам приехал ко мне и просил к себе обедать.

Наши сборы походили на сбор мусульман к могиле пророка. За стол мы сели с особенным благоговением. Герцен, несмотря на свою полноту и красноватое лицо, был необыкновенно красив умом и энергией, светившимися в его взгляде. Говорил он прелестно, его можно было заслушаться ⟨...⟩ Жил он тогда вместе с супругами Огаревыми, и madame Огарева заведовала хозяйством. Огарев был несколько мрачен и молчалив. Впрочем, в присутствие такого блестящего ума, и к тому же любящего говорить, и трудно было кому-нибудь примировать. Madame Огарева говорила, что она представляется в своих собственных глазах смотрительницею какого-нибудь музея, которая показывает иностранцам и путешественникам сокровища и объясняет их значение. В Лондон

приезжала масса русских, и все они, кто просто из любопытства, а кто и по истинному чувству благоговения пред талантом, являлись к Герцену, и всех в качестве хозяйки принимала Огарева. Она показывала его кабинет, огромный, как танцевальный зал, аркой соединяющийся с гостиной, из которой одна дверь шла в столовую, а другая выходила в парк. Самый дом, где жил Александр Иванович, назывался Park-Hous, вследствие большого парка, принадлежащего дому. Кабинет и гостиная не столько отличались роскошью, сколько комфортом ⟨...⟩

Огарев, узнав, что я собираюсь учиться медицине и поступила уже в клинику, очень сочувственно отнесся к этому и написал даже мне стихотворение, которое прислал в Париж, куда мы проехали из Лондона [3] ⟨...⟩

В. И. КЕЛЬСИЕВ

ИЗ «ИСПОВЕДИ»

В мае 1859 г., когда я приехал в Лондон, я застал Герцена во всем блеске его славы и авторитета. Через два года влияние его стало ослабевать, через три года звезда его окончательно померкла. Я познакомился с ним по общему порядку, какой не то сам завелся, не то Герценом же был заведен в Лондоне. Каждый приезжий естественным образом прежде всего бежал к Трюбнеру купить «Колокол», «Полярную Звезду» и прочие заграничные издания. При этом выходила вечная комедия, очень льстившая Трюбнеру,— русские жали ему руку, благодарили его за его либерализм, за его деятельность для блага человечества вообще, а русского народа в особенности. Они, в простоте души, принимали его чуть ли не за равного Маццини, а во всяком случае за друга и за помощника Герцена ⟨...⟩

Приезжий в Лондон обыкновенно изъявлял Трюбнеру желание удостоиться счастия познакомиться с Герценом. Трюбнер давал адрес и приглашал написать записку. В ответ на эту записку Герцен назначал свидание у себя или у приезжего, если последнему почему-нибудь не хотелось, чтобы его видели в доме Герцена. Такие случаи бывали очень часто. Лица очень высокопоставленные никогда не входили в дом Герцена, и тайна свидания их с ним так и остается тайной на долгое время ⟨...⟩ Собственные имена в доме Герцена не произносились или произносились очень редко. Кто сам не хотел скрывать своих визитов, тот сам себя называл; кто конфузился или просил, чтобы его не выдавали, того имя или мы переменяли, что было, впрочем, редко, или обыкновенно отделывались от нескромных вопросов тем, что не помним, не знаем, трудное имя и т. п. Да и трудно было помнить всех приезжавших на поклонение, так много их было. Они мелькали один за другим, входили с трепетом благоговения, слушали и врезывали себе в память каждое слово Герцена, сообщали ему сведения

словесно или в заранее приготовленных записках, выражали ему свое собственное сочувствие и сочувствие своих знакомых, благодарили за пользу, приносимую обличениями России, и за страх, который «Колокол» навел на все нечестное и нечистое, затем раскланивались и исчезали. Кого только ни перебывало при мне у Герцена! Бывали губернаторы, генералы, купцы, литераторы, дамы, старики и старухи, бывали студенты,— точно панорама какая-то проходила перед глазами, точно водопад лился, и это не считая тех, с которыми он видался с глазу на глаз ⟨...⟩ Все это, разумеется, сильно надоедало Герцену и Огареву и постоянно ставило их в самое неловкое положение. Печатать всего, что присылалось или что сообщалось, не было возможности ⟨...⟩

Серьезные свидания составляли, как я сказал, тайну Герцена и Огарева. Свидания и приемы несерьезные делались раз в неделю (впоследствии два раза), в назначенный день, обыкновенно в воскресенье, с пяти часов вечера. Тут-то и была каторжная работа обоим издателям «Колокола» — занимать гостей, быть любезными со всеми, выслушивать всякий вздор и не показывать вида, что скучно. А не принимать тоже было нельзя,— каждый приезжий все-таки привозил какие-нибудь новые сведения, да и в интересах пропаганды необходимо было знакомиться с каждым, ищущим знакомства. Эти люди все-таки были передовыми в своих кружках, были смелее других, решаясь являться публично в общество изгнанников ⟨...⟩

Огарев, друг детства Герцена, его alter ego, приехав в Лондон, основал «Колокол» и дал более правильный ход пропаганде. Герцен уступил ему все финансовые, экономические и юридические вопросы, оставив за собой только общие статьи и смесь, где было более простора его широкому перу и его врожденному юмору. С этого же времени начинается и эпоха его огромного влияния на всех образованных людей в России.

Заговоров он не делал, тайных обществ не основывал. «Пусть в самой России заводят оппозиционные и реформистские лиги,— твердил он каждому приезжему,— нам из-за границы этого делать неудобно, да и нечестно бы было толкать людей на гибель, зная, что сами ничему не подвергаемся. Наше дело быть органами движения, путь ему и цель указывать, высказывать то, о чем цензура заставляет молчать...» И действительно, несмотря ни на просьбы, ни на какие убеждения, Герцен и Огарев не

решались выступить агитаторами на манер Маццини. Так было до лета 1862 г. ⟨...⟩

С самого Парижского мира [1], когда с наплывом русских за границу так быстро стали расходиться их издания, а вместе с тем и авторитет их приобрел такое огромное значение, им чуть не каждый приезжий, чуть не каждое письмо предлагали деньги на поддержку пропаганды и на основание капитала для тайного общества,— они не принимали, а собрать могли бы сотни тысяч. «Наших собственных средств довольно,— отвечали они,— для ведения пропаганды, приемом денег мы навлечем на себя и большую ответственность и, чего доброго, набросим тень на чистоту наших целей. Употребите эти деньги в России, там они более нужны, потому что там нужно дело делать». Жертвователи пожимали плечами ⟨...⟩ Сколько я, с самого начала моего знакомства, ни убеждал Герцена и Огарева в необходимости иметь капитал на непредвиденные обстоятельства, нельзя было их уломать ⟨...⟩

Еще что погубило нас — это нападки Герцена на русских литераторов и журналистов. После войны все журналы наши и вся литература приняла оппозиционный характер, все образованные люди сочувствовали возникновению русской типографии за границей ⟨...⟩ Удовольствие, что у нас явилась оппозиция, было общее, и вся журналистика ее поддерживала. Вместо того, чтобы воспользоваться таким благоприятным настроением умов, Герцен и Огарев стали нападать на Каткова, на Краевского, на Усова — да почти что на всех без исключения — за их обмолвки или за их взгляды, в которых они не сходились с «Колоколом». Если бы эти мелочи оставить без внимания, не требовать от людей невозможного единомыслия по всем второстепенным вопросам, то едва ли бы возникла такая вражда к нам сначала «Московских Ведомостей», а потом и всех прочих журналов. Герцен с Огаревым, как и Чернышевский с Благосветловым, не сумели справиться с свободою книгопечатания, потому что были излишне приучены к строгой цензуре ⟨...⟩ Я злился, что русские публицисты стали нападать на «Колокол», а Герцен и Огарев радовались; им казалось, публичные возражения на их принципы только распространят эти принципы в обществе,— так глубоко верили они в правоту своего дела ⟨...⟩

Печатая «Сборник» [2] и изучая раскол, я решился ехать в Белую Криницу, в Молдавию, в Турцию для

личного ознакомления с русскими выходцами и для заведения, при их помощи, сношений с их единоверцами в России. Мне думалось устроить у них склады наших изданий, предложить им завести у нас типографию для печатания их собственных сочинений и вообще ознакомиться с ними. Герцен и Огарев наотрез отказали мне в разрешении ехать, и пришлось слушаться, потому что я сам напросился в эмиграцию, сам остался в Лондоне, против их желания, потому что всякая разладица между мною и ими повела бы только к ослаблению моих сил действовать для блага России. Возражения их были те, что подобная поездка не имеет определенной цели, что если раскольникам нужно, они и сами приедут 〈...〉 Но, мне кажется, у них была и задняя мысль, впрочем, весьма основательная: моя поездка, моя чисто агитационная деятельность непременно выдвинула бы меня впереди, и мое имя загородило бы их имена, так что их значение как публицистов померкло бы перед моим значением агитатора 〈...〉 Я проглотил пилюлю, как она ни была горька, и покорился. «Выдержите искус, Кельсиев,— говорил мне часто Герцен, всегда более расположенный ко мне, чем Огарев,— знаю, что вам тяжело, знаю, что не легко, но крепитесь, закалите свою волю 〈...〉 Терпи казак — атаман будешь». И я терпел, выносил безропотно свое послушание 〈...〉

Мне приписывают издание «Собрания постановлений по части раскола» [3],— оно вышло, когда я был тоже в Цареграде, а издавал его Огарев 〈...〉

Нас было трое в Лондоне: принципал Герцен, его alter ego Огарев и их послушник — я. К нам примыкали два поляка, которые, впрочем, вращаясь около нас, сильно обрусели 〈...〉

Мартьянов явился в Лондон летом 1861 г., когда Герцен был на даче 〈...〉 Он был крепостной графа Гурьева, который его обидел и разорил, по его словам, и он явился в Лондон просить предать это дело гласности 〈...〉

Огарев, постоянно советовавшийся с Мартьяновым о крестьянском вопросе и очень его уважавший, задумался над его словами, что крестьянам царь нужен, но что царь должен быть предан исключительно интересам низших сословий, что он должен жертвовать для большинства меньшинством и так далее. И вот развилось у нас в Лондоне учение о земском царе 〈...〉

Герцен и Огарев никогда не отзовутся дурно о чело-

веке, который служил правому (или ими считаемому за правое) делу. Самопожертвование, риск, готовность на все — все искупает в их глазах, отсюда их благоговение к памяти «мучеников 14 декабря», отсюда признавание Рылеева поэтом coûte que coûte *; отсюда издание книги Радищева [4], пропасть недомолвок в «Былом и думах» о революционных знаменитостях 1848—1849 гг. и т. п. 〈...〉

Постоянно работая над изучением России и раскола, я все ждал отзыва раскольников на мое издание, отзыва не было 〈...〉 Сумей наша партия сойтись с сектантами, умей говорить с ними, не погнушайся изучить их догматы, да и вообще богословие, пойми значение их привязанности к обрядам — и было бы дело в шляпе. Но мы были пустозвоны, верхохваты, мы изучали только мировые вопросы да революционные теории, мы спорили о преимуществах и недостатках разных конституций, затевали создать храм свободы, не позаботясь ознакомиться с материалом, из которого приходилось строить этот храм. И вышла ерунда — рабочих было пропасть, но ни один не был знаком с материалом, да и плана-то общего не было, и пошло вавилонское столпотворение, своя своих не познаша.

Понимал я и предчувствовал всю эту неурядицу, толковал об ней Герцену и Огареву, указывал им на нашу несостоятельность, но они стояли на том, что они публицисты, а не агитаторы и что их дело только пропаганду вести, а никак не движение. Что было делать? Сидеть у моря и ждать погоды. Я и сидел и ждал, с отчаянием следя, как время уходит и как наш авторитет падает. Наконец я и в самом деле дождался,— дождался, что раскольники завели с ними сношения [5] 〈...〉

Поездка в Россию сделалась моею любимою мечтою, отказаться от нее было выше моих сил. Тоска по родине меня душила, незнакомство с бытом народа и с его истинными желаниями меня оскорбляло. Я очень хорошо перезнакомился в Лондоне с представителями либеральной партии, но общее заключение мое об них было не в их пользу. Ни от них, ни от Герцена с Огаревым я никак не мог добиться, чего именно нужно России и каким путем следует достичь этого нужного. Слово «свобода» слишком широко, чтобы у него было определенное значение, и поэтому оно, в сущности, не имеет

---

* во что бы то ни стало *(фр.)*.

решительно никакого смысла. Крестьянский и финансовые вопросы я плохо понимал, и до сих пор они как-то мало меня интересуют, но и в них было большое разногласие между Огаревым и приезжими. Свобода слова, гласный суд, уничтожение телесного наказания, веротерпимость, естественное разделение губерний на исторических и этнографических основаниях были мне доступны; а главное, что меня побуждало ехать, это — желание своими глазами убедиться в наших силах и в возможности союза с нами сектантов, с тем вместе, слыша постоянно от молодежи, что подготовка революции у нас идет такими быстрыми шагами, что народ, бессомненно, на нашей стороне, я решился или предотвратить взрыв, или, если уж поздно, то направить его как-нибудь потолковее. Вообще говоря, во мне засело страстное желание посмотреть на Россию [6] ⟨...⟩

В Лондоне уже почти все узнали, что я ездил не в Италию, а в Россию. Герцен, Огарев и жена моя, разумеется, молчали, но Бакунин не выдержал ⟨...⟩

⟨...⟩ Но Герцен и Огарев отнеслись серьезнее к моей «Одиссее», как они назвали мои похождения. Они ясно поняли, что хотя, строго говоря, и ничего не было сделано, но задатки были положены прочные и что движение, поддерживаемое ими, грозит или революцией или реакцией, если не будет приведено в систему ⟨...⟩

Герцен задумался, долго не соглашался, после трех или четырех приступов сдался. Но «ступает старость осторожно и осмотрительно глядит». Огарев, еще вовсе не старый по летам, во всех действиях своих так же тяжел, как его слог. Осторожность его до того медленна, что даже неосторожна бывает: он никогда не станет ковать железо, пока горячо, а Герцен ничего не сделает без его санкции.

Огарев стал обдумывать, придумывал по частям, останавливался над подробностями,— словом, время шло, а дело не двигалось. Только одну (первую и последнюю) посылку «Колокола» удалось мне отправить в Кенигсберг, а что с нею сделалось, до сих пор не знаю; арест Ветошникова всю мою паутину разорвал [7].

Нужно было напечатать на листах, не больше игорной карты каждый, семь пунктов, о которых было условлено в Москве. Эти листки распространить бы в народе без всяких комментариев, чтобы знали, по крайней мере, о чем думать, чего хотеть от правительства; чтобы самому правительству дать возможность

узнать, к чему ему следует готовиться. Огарев ссылался на свои «Что нужно народу?», «Что нужно духовенству?», «Что нужно войску?» — брошюрки, написанные им по настоянию и моему да и всех приезжих, так как никто не знал, чего хотеть, хоть и всякий лез в реформаторы. Но брошюрки эти были и чересчур длинны, да и высказанных в них требований нельзя было исполнить одним указом, тогда как вся-то задача в том и состояла, чтобы добиваться у правительства уступок, которые оно могло сделать, не затрудняя себя особыми комиссиями и приготовительными работами, или даже и затрудняя, то не на долгое время. Думал, думал Огарев о моих пунктах, колебался, не решался, я так и из Лондона уехал, ничего не дождавшись.

И поповцы и беспоповцы просили меня завести для них газетку. Мой план, ими самими одобренный, состоял в том, что газетка эта будет наполняться преимущественно их богословскими полемическими статьями, не разбирая, от какой секты или толка они идут, а затем рассказывалось бы о притеснениях, которые терпят сектанты, и уже затем проводились бы политические взгляды. Такую газетку все бы согласия читали, все бы ею интересовались и обогащали бы статьями. Она стала бы связью их между собою и приучила бы их смотреть на нас, как на людей беспристрастных в их спорах, а главное, поставила бы нас в близкие сношения с ними и понемногу развила бы у них наши политические взгляды. «Дайте подумать, Кельсиев, дайте подумать. Еще успеется,— надо все хорошенько обсудить»,— говорил Огарев. А между тем Трюбнер, поняв, в чем дело, чуть не плакал от нетерпения быть издателем нового органа, который мог бы доставить ему хороший барыш...

Наконец надумался Огарев и решил, что газета непременно должна будет состоять под их цензурой. Я охотно согласился на это, твердо решась своим собственным примером поддерживать их диктаторство и вполне убежденный, что солидарность с ними есть необходимое условие успеха нашего дела.

Покуда я подготовлял статьи к первому номеру, Огарев приговорил эту газету быть приложением к «Колоколу». Что я ни толковал, что ни язык, ни направление, ни содержание «Колокола» недоступны простому народу, упрямый Огарев стоял на своем; пришлось покориться да и отказаться от помещения богословских полемических статей.

Половина моих статей была забракована. Статьи самих старообрядцев догматического содержания тоже не прошли цензуры. Первый нумер вышел бесцветным, а во втором я уже и не участвовал [8] ⟨...⟩

Над названьем газеты долго думал Огарев и наконец придумал: *«Общее Вече»*. «Назвать «Вечем» нельзя,— говорил он,— слишком сильно выйдет; а эпитет «Общее» хоть, по-видимому, усиливает, а в сущности ослабляет»... Меня часто потом спрашивали старообрядцы, что значит слово «вече», а мы в Лондоне и не знали, что у них совершенно забыты удельные времена! ⟨...⟩

В польской эмиграции началось движение. Вожди ее, привыкшие считать себя вождями народа, были крайне обижены, что Польша зашевелилась без их спроса и что центральный комитет состоит из молодежи, по образцу наших кружков, людей ни родом не именитых, ни заслугами известных. Чарторыйским, Замойскому, Мерославскому пришлось заискивать у центрального комитета [9] расположения и полномочий, чтоб не утратить своего влияния, а центральный комитет относился к ним так же презрительно и свысока, как наше «молодое поколение» к старшему [10] ⟨...⟩

Польская эмиграция начала делать попытки к сближению с нами. Первым явился полковник Сигизмунд Иордан ⟨...⟩ Герцен и Огарев изложили ему свою систему, он возразил на нее только то, что для приведения ее в исполнение надо, прежде всего, справиться с правительством, что поляки потому и не предпринимают никаких внутренних преобразований, что лишены возможности совершить их так широко, как бы хотелось. А из этого выходило, что, будь Польша восстановлена, она мигом бы приложила к практике все новейшие теории и сделалась бы рассадником всех идей и свобод для человечества ⟨...⟩

За Иорданом другие стали являться — Браницкий с Хоецким, Падлевский, наконец, Владислав Чарторыйский. Более всего интересовало их знать, готовы ли мы на революцию, сильна ли наша партия и как мы смотрим на польский вопрос; мы ничего не скрывали, потому что и скрывать было нечего. Вести из России, доходившие до нас, были вообще тревожные. Крестьяне не хотели подписывать уставных грамот, ждали «полной воли», искали «золотую грамоту». В войсках было брожение, офицеры сходились с солдатами и с народом, и со всех сторон неслись слухи, что за таким-то целый уезд, а за

таким-то и целый город встанет. Молодежь наша из себя выходила, толковала о революциях и баррикадах; «Молодую Россию» никто не хвалил, но думавших одинаково с нею было множество ⟨...⟩ Вообще по всему, что до нас доходило, мы не могли не прийти к заключению, что революция неотвратима и что на ее стороне будет войско, мещанство и крестьянство, не считая уже образованного меньшинства. Революция эта нас не радовала,— я выше сказал почему,— но мы понимали, что, в случае ее взрыва, нам нельзя будет ограничиваться прежней пропагандистской ролью, и я опять настаивал, чтобы Герцен выступил вождем,— он смягчил бы ее ужасы, предотвратил бы лишнее кровопролитие и направил бы ее к возможно лучшему исходу.

Герцен с Огаревым раздумывали, Бакунин не утерпел и поехал в Париж знакомиться с поляками. Поляки сообщили ему, что они сами побаиваются взрыва и что одна у них надежда и есть — сочувствие к ним наших офицеров и солдат в Царстве Польском, между которыми уже завязался революционный комитет, состоящий в связях с их «центральным» [11]. Трое из членов этого русского комитета ⟨...⟩ бежали перед тем в Париж, и они сообщили Бакунину, что наши войска ждут не дождутся восстания ⟨...⟩ Бакунин немедленно выписал в Лондон главу этого русского комитета — Потебню, скрывавшегося тогда в Познанском воеводстве, но разъезжавшего постоянно по всему Царству Польскому для организации восстания русских войск [12].

Я видел его только раз. Он приехал в Лондон, когда я сидел у Бакунина, и слышал его рассказы о происходящем в Польше. Он говорил, что положение русского комитета в крайней степени затруднительно, потому что он почти не в силах удержать восстания наших войск. Недовольство правительством, говорил он, превосходит всякое вероятие. Солдату совесть запрещает разгонять толпы, идущие за духовенством с крестами, со свечами, с пением молитв. Начальство держит его всегда наготове, это его раздражает и заставляет желать, чтоб поляков не вынуждали к демонстрациям, а неумеренные и неосторожные офицеры внушают ему, что не будь начальства, не будь у правительства прихоти насилием держать в подданстве поляков, то и солдатам было бы легче и наборов было бы у нас меньше. Да и многие тогда говорили: «Не полякам нужно от нас освободиться, а нам отвязаться от них»...

Рассказы Потебни окончательно убедили Герцена и нас всех, что дело идет положительно не на шутку; это окончательно решило вопрос о предводительстве. Он вошел в сношения с центральным комитетом и с русским, получил от них известные адресы, возбудившие такую полемику, и стал организовывать общество под названием «Земля и воля», как окрестил его Огарев. Что это было за общество, где оно было и насколько имело влияния, я ничего не умею сказать, хоть и был его агентом в Цареграде, был уполномочен собирать на него вклады, на что у меня и квитанции даже были, очень красиво отпечатанные, распространял его прокламации и, вообще, считал себя обязанным ему повиновением. Оно сорганизовалось по моем отъезде, и все мои сношения с ним ограничивались перепискою с Герценом и Огаревым.

Установившаяся, таким образом, связь наша с поляками, которую они покупали за весьма тяжелые для них уступки, обратила внимание и прочих благоприятелей России. По случаю всемирной выставки приехала в Лондон та особа, которую я назвал перед высочайше учрежденной комиссией, но имя которой считаю лишним передавать бумаге (litterae trahunt) [13], и изъявила желание видеться с Герценом, Огаревым и Бакуниным. Устроился завтрак, на который были приглашены и польские знаменитости; за завтраком много толковалось о прогрессе, о священных принципах 1789 г., о мученичестве поляков, о свободе и, словом, обо всем, как следует. Затем было ясно выражено, которое именно правительство держит сторону прогресса, содействует ему всеми зависящими средствами и готово помогать делу цивилизации Восточной Европы, даже при помощи своих консулов, которым будет *предписано* передавать наши прокламации, кому мы укажем, а посылать их, равно как и всю нашу корреспонденцию, мы можем через министерство иностранных дел. Герцен благодарил за обязательность. Огарев, по обыкновению, молчал и конфузился, Бакунин ораторствовал и развивал какие-то экономические и революционные теории.

— Ну, что ж вы сделаете с этим предложением? — спросил я Герцена вечером того же дня.

— Ничего не сделаю. Поблагодарил — и довольно, нельзя же мешать в нашу домашнюю распрю с правительством иностранцев 〈...〉

Е. А. САЛИАС

СЕМЬ АРЕСТОВ

(Из воспоминаний)

Это было в 1865 году. Я жил уже третий год в Париже, изредка отсутствуя, но не возвращаясь в Россию,— и к немалому, может быть, удивлению всякого, прибавлю,— ужасно скучал. Жил я, однако, не в самом городе, а в предместье Нёльи, вдобавок у себя, так как у отца моего была небольшая вилла с прелестным садом, переполненным цветами ⟨...⟩

В это время я был уже писателем, уже написал и напечатал три повести, из коих только одна маленькая, помещенная в «Современнике»,— «Тьма», имела успех. Первая и третья, «Искра божья» и «Манжажа», могу сказать, хотя и попали в печать, но «канули» в вечность. Обнадежить меня, придать бодрости, убедить продолжать писать было некому. Уверения моей матери, что я могу писать, на меня не действовали, я считал это мнение пристрастным. Я все боялся пословицы: «Хороша наша Аннушка.— Кто хвалит? — Матушка».

Наконец однажды моя мать получила неожиданно письмо, которое доставило ей большую радость, а на меня так подействовало, что имело почти решающее влияние на мою судьбу и писательскую карьеру. Письмо это от двух лиц, друзей между собой, явилось не из России, а из Швейцарии. Один из писавших был другом моей матери с юности, другой хорошим знакомым... Авторитет их был вне сомнения. Это были — Герцен и Огарев ⟨...⟩ Если первого я узнал в Париже только года за два пред тем и считал лишь знакомым, то второй, наоборот, был для меня близким человеком. Николая Платоновича Огарева я впервые узнал и по-детски пылко полюбил, когда мне было лет пять, шесть от роду.

Сожалею, что рамки этого рассказа об арестах, которые я сам себе поставил, слишком узки. Иначе я подробно рассказал бы, как семи лет от роду я дрался



Платон Богданович Огарев

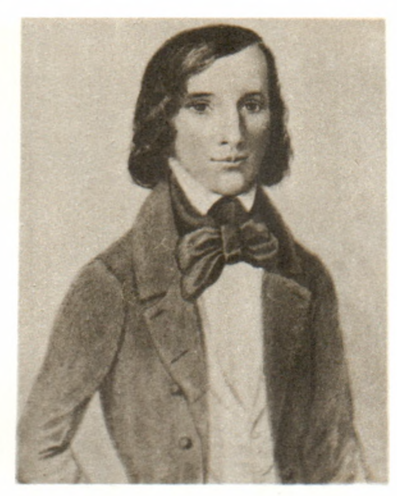


Елизавета Ивановна Огарева

Село Яхонтово. Усадебный дом А. А. Тучкова.
Худ. Н. Рожков



Н. П. Огарев.
Портрет крепостного художника.
1830-е гг.



Н. В. Станкевич

Вид Москвы с Воробьевых гор. Литография с рис. Кадоля



А. И. Герцен.
Рис. А. Витберга. 1836



Т. Н. Грановский

Москва. Воробьевы горы



В. Г. Белинский.
Автолитография К. Горбунова.
1843



Н. Х. Кетчер.
Рис. К. Горбунова. 1843



Н. П. Огарев.
Рис. неизвестного художника.
1838



Н. А. Герцен.
Рис. неизвестного художника.
1848



А. И. Герцен



Московский университет



Н. П. Огарев



Н. А. Тучкова-Огарева



П. В. Анненков.
Рис. К. Горбунова



Н. М. Сатин



А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Фотография 1860-х гг. Лондон



Н. Г. Чернышевский



М. С. Щепкин



А. И. Салов



А. Я. Панаева-Головачева



И. И. Панаев. Литография П. Бореля



М. Л. Огарева.
Худ. П. Орлов

Москва. Арбат 1830-х гг.



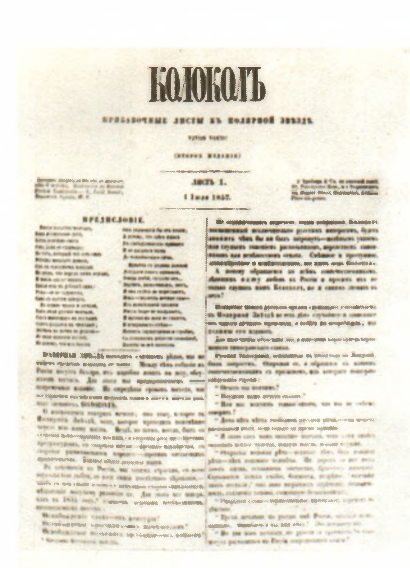


А. Н. Пыпин



В. А. Панаев

Старое Акшено. Суконная фабрика


КОЛОКОЛЪ

ПРИБАВОЧНЫЕ ЛИСТЫ КЪ ПОЛЯРНОЙ ЗВѢЗДѢ

ЛИСТЪ 1.

1 Июля 1857.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Первый лист «Колокола». 1857



Лондон. Чинсайт. Гравюра 1849



Н. А. Белоголовый



М. К. Рейхель.
Фотография 1860-х гг.



М. А. Бакунин



Н. П. Огарев, А. И. Герцен, Н. А. Тучкова-Огарева с детьми Герцена



Н. А. Герцен, дочь А. И. Герцена



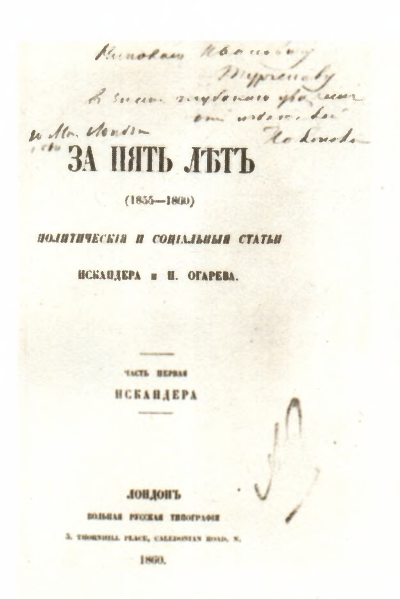
А. Г. Достоевская



Е. Ф. Юнге



Н. А. Тучкова-Огарева
с дочерью Лизой


ЗА ПЯТЬ ЛѢТЪ

(1855—1860)

ПОЛИТИЧЕСКІЯ И СОЦІАЛЬНЫЯ СТАТЬИ

ИСКАНДЕРА и Н. ОГАРЕВА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИСКАНДЕРА

ЛОНДОНЪ

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ТИПОГРАФІЯ

5, THORNHILL PLACE, CALEDONIAN ROAD, N.

1860.

Титульный лист сборника статей А. И. Герцена и Н. П. Огарева


ПОЛЯРНАЯ ЗВѢЗДА

изд. А. Бестужевымъ и К. Рылѣевымъ.

1824.

С. Петербургъ.

Обложка журнала «Полярная звезда»



А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Фотография конца 1880-х гг.



Саранск. Музей Н. П. Огарева

с Огаревым, якобы на дуэли, за то, что он якобы обидел сестру, и сильно в кровь расцарапал ему лицо рапирой, подкравшись из-за угла в полутемной комнате. Он схватил меня за волосы, но потом расцеловал и назвал молодцом.

Я рассказал бы тоже, как я затем жил целую зиму в имении Огарева, кажется, Симбирской губернии, на его попечении [1], покуда моя мать жила в Петербурге. Помню, что, хотя я был уже лет девяти, я едва не изуродовал себя и не взорвал на воздух если не всю усадьбу, то целую комнату. Я забрался в химическую лабораторию Николая Платоновича и вздумал делать тоже изыскания или изобретения химические. Иначе говоря, подглядев, что делал он, я пожелал подражать, как самая настоящая обезьяна. Я зажег под аппаратом какую-то спиртовую лампочку, открыл какой-то кран или клапан и ждал, чтобы какая-то жидкость потекла по трубочкам... Случайно пришедший Огарев испуганно вскрикнул, быстро все привел в порядок, а мне объяснил, что в другой раз за подобные химические занятия он меня «высечет», даже не спрашивая на то письменного разрешения моей матери. Разумеется, это была угроза. Не мог Огарев высечь ребенка, хотя бы и за разрушение всей его усадьбы.

Теперь, приехав в Женеву, я, конечно, тотчас же отправился в Boissière видеться с человеком, который меня в детстве сотни раз целовал и десятки раз позволял вечером засыпать у себя на коленях, говоря моей няне: «Оставьте, разоспиться, тогда сам я принесу его наверх!»

Уверен, что многие знают по себе, как привязываешься в детстве к людям за пустяки и всю жизнь помнишь.

Скажу лишь несколько слов о житье-бытье в Буасьере. Chateau Boissière был, собственно, не замок, а большой белый дом самой простой архитектуры, с огромным садом и с великолепным видом на Женеву и гору Salèv. В нем жили Герцен и Огарев с семьями, лишь незадолго перед тем переселившись из Лондона и переведя за собой издание «Колокола» и «Полярной звезды».

При Герцене был сын Александр и две дочери — Наталья и Ольга Александровны. При Огареве были его вторая жена Наталья Алексеевна, рожденная Тучкова, и их дочь — Елизавета, тогда еще маленькая девочка, а ныне покойная, кончившая свое существование, лет двенадцать спустя, в Риме, в цвете лет [2]. История ее

смерти крайне драматична!.. Кроме того, было много разных личностей, гостивших в Буасьере. Был даже, кажется, временно и пресловутый Бакунин с женой, милой, красивой, кроткой женщиной, которых я близко узнал еще в Париже года за два перед тем.

Представление мое обо всех личностях, часто бывавших в Буасьере, несколько смутно. Помню семью Касаткина, замоскворецкого купца и в то же время эмигранта. Помню тоже семью какого-то революционера итальянца, друга знаменитого Мадзини. Помню с полдюжины каких-то «странных» русских и поляков. Но совершенно ясно помню, разумеется, Николая Платоновича и, конечно, самого Герцена, а затем умненькую, живую шалунью Лизу, которую очень любила моя мать, а этого одного было достаточно, чтобы и я относился сердечно к девочке. Наконец, живо помню Наталью Александровну Герцен, восемнадцатилетнюю девушку, красивую и настолько всячески симпатичную, каких в жизни очень редко встречаешь. Помнится, она прилежно занималась живописью, и у нее был талант ⟨...⟩

Моя мать, как я уже говорил, была с юношеских лет дружна с Огаревым, который был для моей бабушки, Сухово-Кобылиной, «вторым сыном», как она его называла.

Я думаю, что не было человека на земле, с которым бы Огарев был более искренен, чем с моей матерью, поэтому она знала не только многое, но, быть может, и все, до него касавшееся. Впоследствии, после его смерти, моя мать передавала мне все, что знала об нем и близких ему лицах. Между прочим я знаю в подробностях историю ужасной смерти первой жены Огарева, рожденной Рославлевой, судьбу жены Герцена и роль в этих двух драмах разных лиц ⟨...⟩

Когда-нибудь, бог даст, я примусь за свои воспоминания уже серьезно и расскажу подробнее и обстоятельнее о том и о тех, что и кого видел и знал в жизни. И эта мелочь когда-нибудь тоже пригодится неминуемо для будущих Карамзиных.

Г. Н. ВЫРУБОВ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

(Отрывки)

Осенью 1865 года проводил я в Женеве, куда Герцен, несколько месяцев перед этим, перевез типографию «Колокола». Сам он жил несколько за городом, в роскошной вилле, известной под именем Château Boissière, которую занимала перед этим какая-то русская великая княгиня. Вилла походила действительно на дворец: большие высокие комнаты, богатая мебель, кругом огромный тенистый сад ⟨...⟩

В самой первой молодости я был восторженным почитателем Герцена. Еще будучи в лицее, зачитывался я «Колоколом», который тогда легко было получать через книгопродавцов. Мать моя, ездившая каждое лето на воды, привозила мне целые кипы «запрещенных книг», и главным образом, конечно, сочинения «Искандера» ⟨...⟩ И вот случай привел меня в его непосредственное соседство. Десять минут ходьбы отделяли меня от его жилища; естественно, явилось желание сделать ему почтительный визит ⟨...⟩

Герцена я не застал — он куда-то уехал на короткое время,— но через несколько дней получил следующую записку:

«Я только что приехал, опоздав тремя днями, и слышал, что вы были у меня. Сделайте одолжение — приходите к нам обедать завтра, в понедельник, в половине седьмого... 12 ноября. Воскресенье. Boissière. До свиданья. А. Герцен».

Таково было мое первое знакомство с Александром Ивановичем, перешедшее скоро, несмотря на разницу лет, в самые близкие отношения ⟨...⟩ Тут же познакомился я с его ближайшим, неразлучным приятелем Н. П. Огаревым. Эта дружба, начатая со школьной скамьи и прошедшая неизменно через самые разнообразные житейские треволнения, представлялась мне

всегда в виде странной психологической загадки, которая объясняется разве только тем, что «крайности сходятся». Невозможно действительно представить себе более радикально противоположных типов. Один — живой, отзывчивый, вечно деятельный; другой неповоротливый, угрюмый, сосредоточенный.

Странное дело: несмотря на то, что Огарев был и по образованию и по уму неизмеримо ниже Герцена, он имел на него значительное, и далеко не всегда благотворное, влияние. Для меня, знавшего хорошо их взаимные отношения, не подлежит никакому сомнению, что многие из крупных ошибок Герцена лежат на совести несомненно благонамеренного, но не менее несомненно неуравновешенного и упрямого Николая Платоновича, который в шестидесятых годах находился всецело под ферулой Бакунина и разношерстной толпы окружавших его молодых революционеров ⟨...⟩

Когда я посетил Герцена в Лозанне, мне показалось, что его своеобразный патриотизм, поразивший меня при первом знакомстве в прошлом году, дошел до апогея; в этом направлении дальше нельзя было идти ⟨...⟩ Он находил, что западная демократия, хотя и относилась весьма дружелюбно к некоторым русским, слишком низко ценит Россию, слишком презрительно смотрит на ее политический строй и слишком забывает собственные изъяны; он требовал не терпимости, не снисхождения, а признания полного равенства России с другими европейскими странами. Эти соображения и требования были тут совсем не у места и к вопросам о мире и свободе вовсе не относились [1]; его мнения никто из эмигрантов не разделял, и даже его неразлучный alter ego — Огарев — присутствовал на конгрессе с начала до конца. В этом я не виню Герцена — он следовал тут своему темпераменту; но это только лишний раз доказывает, что он был человек сентиментального увлечения, а не обдуманной политики ⟨...⟩

А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

⟨...⟩ Начали мы нашу женевскую жизнь с крошечными средствами: по уплате хозяйкам за месяц вперед, на четвертый день нашего приезда у нас оказалось всего восемнадцать франков, да имели в виду получить пятьдесят рублей. Но мы уже привыкли обходиться маленькими суммами, а когда они иссякали,— жить на заклады наших вещей, так что жизнь, особенно после наших недавних треволнений, показалась нам вначале очень приятной ⟨...⟩

Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких. Федор Михайлович всегда был очень туг на заключение новых знакомств. Из прежних же он встретил в Женеве одного Н. П. Огарева, известного поэта, друга Герцена, у которого они когда-то и познакомились [1]. Огарев часто заходил к нам, приносил книги и газеты и даже ссужал нас иногда десятью франками, которые мы при первых же деньгах возвращали ему. Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого задушевного поэта [2], и мы оба были всегда рады его посещению. Огарев, тогда уже глубокий старик, особенно подружился со мной, был очень приветлив и, к моему удивлению, обращался со мною почти как с девочкой, какою я, впрочем, тогда и была. К нашему большому сожалению, месяца через три посещения этого доброго и хорошего человека прекратились. С ним случилось несчастье: возвращаясь к себе на виллу за город, Огарев в припадке падучей болезни упал в придорожную канаву и при падении сломал ногу [3]. Так как это случилось в сумерки, а дорога была пустынная, то бедный Огарев, пролежал в канаве до утра, жестоко простудился. Друзья его увезли лечиться в Италию [4], и мы, таким образом, потеряли единственного в Женеве знакомого, с которым было приятно встречаться и беседовать ⟨...⟩

ИЗ «ЖЕНЕВСКОГО ДНЕВНИКА»

Вторник 10 ⟨сентября⟩ / 29 ⟨августа⟩.

⟨...⟩ Вечером мы отправились немного погулять, но очень немного, заходили на почту, писем не получили ⟨...⟩ Сегодня Федя встретил Огарева, и тот спросил, был ли Федя на конгрессе, Федя отвечал, что он ведь не член, тот отвечал, туда пускают за 25 с. Ну, Федя сказал: «Тогда я, конечно, пойду» [5] ⟨...⟩

Четверг 12 ⟨сентября⟩ / 31 ⟨августа⟩.

⟨...⟩ Вечером мы отправились гулять и вышли к католическому кладбищу, в котором в это время звонили к выходу, потому что было уже 7 часов и совершенная темь, как ночью. Потом мы обошли вокруг Plain palais и вышли на улицу Corraterie. Здесь на улице встретили Огарева ⟨...⟩ В последний раз ⟨...⟩ Федя с ним встретился на пароходе, и Огарев оставался с ним на несколько минут. Тут Федя спросил его, не знает ли он где-нибудь хорошего доктора. Тот указал нам на доктора Mayor, живет на площади Molard № 4 и просил, если мы адресуемся к нему, то сказать от имени Огарева, говорил, что тот принимает к себе на дом, и тогда следует ему заплатить 2 франка, а если звать на дом, то надо дать больше, т. е. франка 3 или 4. Удивительно, как они мало получают, ну разве возможно дать хотя бы самому плохому доктору в Петербурге 1 рубль (серебром), ведь это положительно невозможно ⟨...⟩

Среда 16/4 ⟨октября⟩.

⟨...⟩ Пошли обедать, после обеда Федя зашел к одному доктору, про которого говорил нам Огарев. Но оказалось, что того нет дома и не будет до понедельника ⟨...⟩

Пятница 18/6 ⟨октября⟩.

⟨...⟩ Сегодня в кофейной он видел Огарева и собирался с ним поговорить насчет того, куда бы нам переехать. Тот сказал, что в Vevey, например, очень хорошо, и что будто бы можно, и что если мы хотим, то он может даже там кому-то написать, чтобы приискали квартиру. Федя сказал, что теперь он еще не думает переезжать, потому что не при деньгах, а что разбогатеет через месяц.

На это тот отвечал: «Ну, если уж переезжать, то следует переезжать теперь, не позже, потому что, вероятно, квартиры возьмутся» ⟨...⟩

Понедельник 21/9 ⟨октября⟩.

⟨...⟩ После обеда Федя пошел читать в кафе, а я пошла погулять немного по городу ⟨...⟩ Придя домой, я начала писать письмо ⟨...⟩ Потом Федя пришел за мной, и мы пошли гулять. Шли, разумеется, по нашей обыкновенной улице Corraterie, гуляли по саду и встретили здесь Огарева; он куда-то спешил, но увидел нас и раскланялся; Федя говорит, что он его всегда видит в кофейной, попивающим кофе с коньяком, отчего все они какие-то пьяненькие ⟨...⟩

Четверг 24/12 ⟨октября⟩.

⟨...⟩ Когда мы шли с почты, нам попался Огарев. Мы уже давно собирались спросить у него русских книг, но Федя как-то все забывал, я сегодня и спросила. Он отвечал, что с удовольствием даст, кое-какие там выберет, что непременно даст. Вчера, когда Федя его видел там с каким-то поляком в кофейной, то как-то заговорил о своем романе [6]. «Какой-такой роман?» — спросил Огарев ⟨...⟩ Он просил Федю принести ему его роман, и Федя принес ему сегодня в кофейную 1-ю часть.

Пятница 25/13 ⟨октября⟩.

⟨...⟩ Обедали очень хорошо и ели сегодня какой-то ⟨сыр⟩ Gruet ⟨...⟩ Потом я пошла домой, а Федя пошел в кофейную и хотел идти один гулять. ⟨...⟩ Он принес стихотворения Огарева, который видел его в кофейной и дал ему эту книгу [7]; а насчет других книг обещал непременно к нам прислать. Он говорил, что прочел половину романа и, как кажется, он ему очень понравился ⟨...⟩

Понедельник 28/16 ⟨октября⟩.

⟨...⟩ Вечером, когда Федя пришел из кофейной, он сказал, что кельнер кофейной предложил ему подождать, пока придет кто-то, кажется, Огарев, который принес книги и хочет Феде отдать их. Но Феде не хотелось ждать и потому он ушел. Когда мы пошли вечером гулять, Федя опять заходил в кофейную, но там ему сказали, что Огарев уже ушел ⟨...⟩

Вторник 29/17 ⟨октября⟩.

⟨...⟩ Когда Федя воротился из кофейной, то он обнял меня и просил, чтобы я не сердилась на него ⟨...⟩ Он принес с собой 4 книги *«Былое и думы»*, которые получил от Огарева ⟨...⟩

Среда 20/8 ⟨ноября⟩.

⟨...⟩ Стали мы также говорить и о наших теперешних средствах. Было у нас всего-навсего 49 франков с его и с моими, а следовало непременно сейчас же выслать этой дурной бабе, у которой заложено его пальто, 50 франков, а там решительно нечем жить. Федя очень надеялся попросить у Огарева 300 франков, хотя я решительно не надеялась на успешное занятие; какие у него средства, может быть, он и сам нуждается, это ведь еще неизвестно, но если он нам не даст, что тогда мы станем делать? ⟨...⟩ Закладывать решительно нечего, билеты пропали, а также вдруг могут пропасть мои шелковые платья, одним словом, тогда решительно все, что у меня есть несколько лучшего, все пропадет. Как мне это больно, я просто и сказать не могу. Особенно мне жалко билетов, они мне так нравились, я их так любила, и вот теперь они пропали, но что делать, у людей бывают и поважней несчастья ⟨...⟩

Четверг 28/16 ⟨ноября⟩.

Федя видел Огарева и просил у него денег, хотел спросить 300 франков, но тот даже ужаснулся, услышав о такой громадной для него сумме; наконец, сказал, что, может быть, даст франков 60, но не раньше как послезавтра, да и то не наверно, так что, может быть, даже и не принесет ⟨...⟩

Суббота 30/18 ⟨ноября⟩.

⟨...⟩ Вечером был у нас Огарев; Феди не было дома, так он со мной сидел и много разговаривал о разных разностях. Потом пришел Федя и затопил печь. Огарев дал ему 60 франков. Мы обещали воротить через 2 недели ⟨...⟩

В. В. ТИМОФЕЕВА (О. ПОЧИНКОВСКАЯ)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «ГОД РАБОТЫ С ЗНАМЕНИТЫМ ПИСАТЕЛЕМ»

⟨...⟩ Спустя несколько дней Федор Михайлович пришел раньше обыкновенного, часов в семь, с таким оживленным лицом, какого давно я уже у него не видала,— и только что сел — обратился ко мне со словами:

— Сейчас придет сюда князь Мещерский. Мне надо с ним объясниться с глазу на глаз. Оставьте, пожалуйста, нас вдвоем. Побудьте пока хоть в наборной. Скажите и фактору от меня — пусть нам не мешает. Я скоро с ним кончу,— всего каких-нибудь десять минут, не более.

Когда князь ушел и я снова вернулась на прежнее место, Федор Михайлович объявил мне, что он, «слава богу», скоро уж не будет больше редактором *«Гражданина»* [1].

— И я так этому рад, что вы и представить себе не можете. Точно камень с души у меня свалился. Свободы хочу. *Свое* писать начал. Теперь я жду сюда Александра Устиновича (Порецкого) [2]. Нам нужно сегодня с ним к Майкову [3]. Так уж я надеюсь на вас! — прежним дружеским тоном заключил он.

Порецкому Федор Михайлович с первых же слов радостно возвестил ту же новость. При этом он как-то внезапно преобразился. Исчезла вся его строгость и замкнутость. Он шутил, рассказывал анекдоты, литературные воспоминания давних лет... И тут я впервые подробно услышала, как их, «петрашевцев», привозили на Семеновский плац, ставили к столбу и читали над ними приговор к смертной казни [4]. И как потом, сидя в крепости, он получил от брата Библию, и началось в нем «духовное перерождение». И он вполголоса, с

мистическим восторгом на лице, тут же прочел тогда свои «любимейшие» стихи Огарева:

Я в старой Библии гадал,
И только жаждал и вздыхал,
Чтоб вышла мне по воле рока
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка [5]...

За Огаревым последовали другие. Федор Михайлович встал, вышел на середину и с сверкающими глазами, с вдохновенными жестами — точно жрец пред невидимым жертвенником — читал нам «Пророка» сначала Пушкина, потом Лермонтова ⟨...⟩

Н. А. БЕЛОГОЛОВЫЙ

⟨НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ⟩

(Отрывки)

⟨...⟩ Практикуя как врач в Петербурге, я работал всегда усиленно, свыше моих сил, так что к весне каждого года утомлялся до крайности и чувствовал настоятельную потребность в отдыхе. Лучший отдых для меня представляла изолированная жизнь за границей, куда я и уезжал обыкновенно в первых числах июня. В конце 60-х годов я особенно облюбовал Женеву и туда направлялся прямо по выезде из Петербурга; сюда меня привлекала прежде всего река Арва, вытекающая из ледников Монблана, необыкновенно холодная и быстрая, и купаясь в которой, я освежался и чувствовал, как в короткое время возвращались мои растраченные за зиму силы ⟨...⟩ Жизнь я вел уединенную и почти никого не знал в Женеве; старый декабрист Поджио [1], к которому меня привязывала чуть не сыновняя любовь, живший постоянно в Женеве, уезжал на летние жары в горы и возвращался только к началу августа в город. Из старых эмигрантов я знал только Герцена и Огарева, но Герцен в это время уже покинул Швейцарию и жил во Флоренции; Огарев же тогда представлялся полуразрушенным человеком, добрым и приветливым, но до того утратившим вследствие потери памяти интересы, что я заходил к нему изредка только, чтобы навестить его и как бы по обязанности. Молодой эмиграции в Женеве тогда было немного, но я уклонялся от знакомства и сближения с нею, потому что все в них — незаконченность их образования и вследствие того поверхностность их суждений, их бездельничанье, их постоянные распри и сплетни, не ограничивавшиеся домашними скандалами, но выносившиеся в печать в форме грубых полемических брошюр, все это делало мне этих людей не симпатичными и не вызывало желания

даже хоть сколько-нибудь узнать их. Спешу оговориться, я и тогда хорошо понимал, что юная эмиграция была невольным и фатальным продуктом нашего общества и что к ней строго относиться и порицать ее было бы, по меньшей мере, несправедливо, но так как зимние передряги заставляли меня искать прежде всего в Женеве личного покоя, то вступление в бурный и страстный водоворот эмигрантских ссор прямо противоречило бы целям моего приезда ⟨...⟩

С. И. СЕРЕБРЕННИКОВ

ИЗ «ЗАПИСКИ»

В начале 1870 г. заграничные газеты возвестили о жарком преследовании русского патриота, революционера-социалиста Сергея Нечаева [1]. Зимою 1868 г. я познакомился с Нечаевым в Петербурге на студенческих сходках, где он отличался особенным рвением и неутомимостью, и наше знакомство продолжалось месяца два, вплоть до его внезапного исчезновения 28 января 1869 г. Тогда твердо верили, что Нечаев арестован. Эту веру поддерживали действительные аресты других молодых людей, происшедшие вслед за исчезновением Нечаева, и таинственная записка Нечаева, выкинутая будто бы из проезжавшей кареты, что его везут *куда-то* в крепость [2]. Студенты университета считали Нечаева своим товарищем, даже студентом или по меньшей мере вольнослушателем ⟨...⟩ Как бы то ни было, рассказ этот вдруг выдвинул Нечаева в ряд мучеников. Далее стал ходить слух, что Нечаева повезли *куда-то* на север, что дорогой он, сопровождаемый двумя жандармами при самых строгих мерах предосторожности, бежал, чуть ли даже не убивши одного из жандармов. В Одессе будто бы его снова поймали, но он снова бежал уже из крепости. Эта басня сделала его окончательно святым, мучеником и героем. Затем явилась его прокламация *, кажется из Брюсселя [3] ⟨...⟩

В Цюрихе я узнал, что Нечаев и его мнимые друзья тесно связаны с М. А. Бакуниным и Н. П. Огаревым, что подтверждалось и передачей фонда [4], и публичной передачей «Колокола», и публичным заявлением Николая Платоновича помогать делу [5] ⟨...⟩ В апреле 1870 г. я получил письмо из Женевы от какого-то неизвестного

* Я не читал этой прокламации и не знаю ее содержания. *(Примеч. С. И. Серебренникова.)*

друга, приглашающего меня немедленно в Женеву по какому-то весьма важному делу ⟨...⟩ В начале мая я снова получил безымянное приглашение, с деньгами на проезд, немедленно явиться в Женеву по весьма важному делу, не терпящему отлагательства. Этим делом оказалось устроить типографию и взять на попечение, месяца на два, хозяйственную часть редакции «Колокола» ⟨...⟩

В этот приезд я успел познакомиться с некоторыми из русских в Женеве. С каждым днем я был буквально оглушаем царствующею вокруг Нечаева атмосферою интриг, обманов и лжи. Все это приписывалось самому Нечаеву ⟨...⟩ На четвертый или на пятый день по приезде в Женеву я был арестован полицией вместо Нечаева и посажен в тюрьму, где и просидел 12 суток. Это курьезное приключение дало мне досуг и время произвести сортировку полученных впечатлений ⟨...⟩

Во второй половине 1869 г. (может быть в августе) Нечаев отправился в Россию делать февральскую революцию, заручившись наперед благословением Бакунина ⟨...⟩

Один из несчастных, закабаленных юношей, Иванов, еще сохранил некоторую долю способности соображать и потому не всегда безусловно соглашается с нелепыми комитетскими приказами, т. е. с самим Нечаевым ⟨...⟩ такая продерзость возмущает Нечаева, который начинает наводить больных юношей на мысль, что Иванов — человек ненадежный, способный изменить, предать ⟨...⟩ Возмутительную сцену убийства я отказываюсь изображать здесь ⟨...⟩

Нечаев бежит за границу, разбивает лагерь в Женеве ⟨...⟩

Спасши убийством Иванова справедливость и святое дело человечества, порядок и общество, Нечаев, как я сказал, вернулся в Женеву. Он знает, что у г.г. Герцена и Огарева есть какой-то фонд.

С помощью настоятельных советов Бакунина, который признал сам и убедил Н. П. Огарева, что Нечаев есть человек, глубоко, горячо и серьезно преданный русскому делу; с помощью художественно-трагических представлений о неминуемой гибели сотен людей, принадлежащих к организации, если не будет отдан фонд на их спасение и что ответственность в погибели этих сотен людей падет таким образом на самого Огарева, который своим отказом выдать фонд содействовал бы только

правительству, и благодаря отсутствию или уже смерти А. И. Герцена, Нечаеву удалось выманить у Огарева и завладеть всем этим фондом в 20 000 франков [6].

Эмигрантская литература стояла в общественном мнении все еще на той высоте, на которую ее подняли г.г. Герцен и Огарев, была дорога и уважаема, несмотря на вторжение в эту область революционной хлестаковщины, кулачества, личных дрязг. Вооруженный фондом, Нечаев начинает систематически искоренять добрую память об этой литературе. Мало этого, ему хочется запятнать и доброе имя еще оставшегося в живых виновника славы этой литературы; для этого во имя спасения и освобождения русского народа Нечаев заставляет больного старика Н. П. Огарева публично передать «Колокол». Мало этого, отыскивает у Огарева заброшенное стихотворение, подправляет последнее прилично случаю, что Нечаев погиб на каторге после ужасных пыток, печатает это стихотворение с именем Огарева и пускает в свет тоже как средство агитации [7] 〈...〉

Со времени бегства Нечаева из Женевы и Швейцарии вообще (июль 1870 г.) мои сведения о нем становятся крайне отрывистыми. Знаю, что он остался верным себе, тем же Нечаевым. Кое-что из этих сведений я передам здесь в коротких словах.

В Лондоне изданы два нумера «Общины» [8]. Этот орган отличается всеми свойствами «Народной расправы» [9] с присоединением открытой клеветы и угроз против самих эмигрантов.

Распространение самых пошлых сплетен про разных более или менее почтенных лиц 〈...〉

...Жалоба на то, что он, Нечаев, прибыл в Женеву невинным, добрым, честным мальчиком; Бакунин его испортил, развратил и теперь знать не хочет; благодаря этому извергу (Бакунину) его несчастного (Нечаева) гонят все прочь как паршивую собаку без всякого сожаления.

Хвастовство тем, что ему (Нечаеву) удалось накрасть у разных лиц, между прочим у Н. П. Огарева и редактора «Народного дела» г. Утина [10], писем и бумаг, которые компрометируют разных лиц. При посещении кража писем, бумаг, адресов. Посещение мнимых авторов компрометирующих бумаг и предложение выдать или исполнить то и то, а за неповиновение — угроза представить бумаги куда следует 〈...〉

А. БАУЛЕР

ОДНА ИЗ ДОРОГИХ ТЕНЕЙ

Тусклый полусвет лениво полз в комнату, и в стекла единственного окна с мятыми, грязноватыми гардинами уперлась густая, желто-серая мгла.

Меня разбудил нерешительный сперва, а потом точно беспокойный стук в дверь. Я быстро села на постель и старалась вспомнить, где я. Как очутилась в этой чужой комнате со странным камином, с посеревшим от пыли зеленым ковром, со столом, заваленным книгами и бумагами. ⟨...⟩ Опять стучат. «Come in» *, говорю я, вдруг вспоминая, что я в Лондоне.

Голос П. Л. Лаврова [1] говорит за дверью:

— Здоровы ли вы? Я уже три раза к вам стучался. ⟨...⟩ Вставайте скорее. Очень поздно. Нам далеко ехать, да еще раньше надо позавтракать.

Я быстро вскочила и уже окончательно вспомнила, что нахожусь в комнате Лаврова, которую он уступил мне на время моего пребывания в Лондоне, что накануне получилось письмо от Огарева, что в этом письме он назначает нам с Петром Лавровичем свидание на сегодня, у себя в Гринвиче.

Это было ранней весной 1877 года, через несколько месяцев после смерти Бакунина [2]. Я зимовала в Париже; в Лондон приехала повидаться с Лавровым. Его я знала с детства, переписывалась с ним пока была за границей, но не видела его много лет — со времени его ссылки.

Я сама просила у Огарева назначить мне свидание. Никакого дела к нему у меня не было, просто хотелось быть у него. Это желание не заключало в себе всегда немного смешного влечения посмотреть вблизи на знаменитого человека,— в нем было больше благочиния,

---

* Войдите *(англ.)*.

чем любопытства. Бакунин так часто и так много говорил мне об Огареве, выражал прямое желание, чтобы я с ним увиделась, чтобы сказала ему, как Бакунин его любит, как его помнит. Сам Михаил Александрович был уверен, что ему уже никогда не доведется свидеться с Огаревым. Судьба эту горькую уверенность подтвердила, и у меня возникла прямая потребность теперь, после кончины Мишеля, быть у его лучшего друга, сообщить о последних неделях жизни Михаила Александровича, передать его завет верности, его, теперь загробный, привет. Я готовилась к этому свиданию с волнением. После кончины Бакунина не прошло и года, память о нем была свежа, и говорить о предсмертных днях Михаила Александровича с близким ему человеком — значило как бы переживать вновь его смерть. Кроме того, и общение с Николаем Платоновичем, с этим последним остатком «Колокола», представлялась мне делом не простым.

У нашего поколения не было настоящего понимания, чем был «Колокол» и каково было его значение для России. Мы были пропитаны той исторической неблагодарностью, которой отличаются русские люди. Все мы были тогда более или менее Иваны, не помнящие родства, без традиций, без предшественников. Кто мог *тогда* познакомиться вполне с сочинениями Герцена? В России очень немногие, да те, что ездили за границу. Условия русской жизни создавали полное отсутствие перспективы в политическом мировоззрении. Каждое десятилетие начинало все сначала, точно раньше никто и не думал и не действовал. ⟨...⟩

Помимо этого, то время отличалось особливо страстной исключительностью. Все, что прямо и удобно не укладывалось в рамки усвоенных идеалов, казалось не только отсталым, но даже враждебным. О декабристах знали понаслышке и очень мало ими интересовались. Герцен был безвозвратно похоронен. Огарев как-то не жил в представлении как нечто отдельное, всегда соединялся с Герценом, хотя враждебного чувства не вызывал, чего нельзя сказать про Герцена. Один Бакунин, которого меньше всего можно было знать, окружен был ореолом. Лично у меня к Огареву всегда было особое почитание, которое только утвердилось отношением к нему Бакунина. Но я ждала, что при свидании с ним разговор непременно зайдет и о «Колоколе», и о Герцене, а я считала долгом высказать свое отрицательное

отношение к ним. Как это сделать прямо, но не обидно для Николая Платоновича? Ожидание этого свидания вызывало во мне целый ряд весьма противоречивых чувств: от души ехала на поклон к другу Мишеля; к поэту-революционеру, а точно камень за пазухой держала. Боялась смолчать, боялась сказать через край.

Петр Лаврович предупреждал меня, что Огарев представляет собою развалину, что одна тень осталась от поэта-революционера, который жил в моем воображении, но с мечтой нельзя расстаться вдруг, когда кто-нибудь скажет, что это простая мечта. 〈...〉

Из квартала Лаврова — кажется, он жил тогда на Tottenham road — до Гринвича расстояние было огромное, и дорога, в те далекие времена, долгая.

Желтый туман, пропитанный запахом гари, серы, соленой рыбы, невообразимо удушливый и беспощадно холодный, плотно втиснулся в широкие улицы, давил грудь, голову, нагонял страх. Петр Лаврович, относившийся с большой заботливостью к моему здоровью, предложил, когда мы очутились на улице, послать депешу Огареву и просить его назначить другой день. Но мне не хотелось откладывать своего визита, я боялась, что так и не удастся съездить к Огареву, потому что в Лондон я приехала на очень короткий срок. Темная мгла, нас окружавшая, мне не мешала, она находилась в гармонии с моими грустными воспоминаниями и неоформленными опасениями.

— Я все забываю,— сказал Петр Лаврович на мой решительный отказ отложить нашу поездку,— que c'est un pèlerinage *.

Сперва мы куда-то шли пешком. Около нас, точно из-под земли, сразу выдвигались черные фигуры прохожих; невидимые омнибусы грохотали и тоже иногда внезапно проявлялись в черно-желтой гуще воздуха, гигантские, фантастически облепленные черными, скорченными фигурами людей, низко наклонившимися точно под тяжестью вседавящего тумана. Потом мы сели в какой-то омнибус и ехали, долго ехали, прорезая туман. Иногда, как сквозь густой вуаль, просвечивали и точно текли мимо низкие, темные дома, потом исчезали, как за спущенной занавесью, и снова мы резали туман и ехали без дороги, без дали,— ниоткуда и никуда. 〈...〉 Жуткая тоска ныла в груди, и голова болела.

---

* это паломничество *(фр.)*.

Наконец, какими-то волшебными для меня путями мы прибыли в Гринвич. Приветливого в обычную погоду городка, или квартала, где живут главным образом отставные моряки, мы не увидели. Он еще глубже Лондона закутался в непроглядный туман, хотя мне казалось, что тут он не такой желтый, не такой удушливый. Петр Лаврович, мой руководитель среди этого земного ада, оказался не тверд в пути, и мы только после долгих скитаний по пустыне, тихим улицам и после неумелых расспросов доведены были какой-то женщиной, окутанной в грязную рвань, до дома Огарева. До этой конечной цели странствий мы добрались, когда почти совсем было темно.

Стук классического молотка английской входной двери прозвучал четко и гулко, точно в пустую бочку стучали. Дверь отворилась. Горничная в беленьком фартучке, в беленьком чепчике, чистая и припомаженная, отворила дверь. В небольшой передней горел газ. Сразу на меня пахнуло теплом, запахом каменноугольного дыма, сразу охватила особая атмосфера уютного, плотно запертого от внешнего мира английского дома, где тихо, удобно, тупо и уныло тянутся однообразные, бесцельные жизни каких-нибудь зажиточных старых девиц, высоких, сухих, которые рисуют акварелью, ездят в Италию и в определенные дни посещают бедных своего прихода.

В гостиной, как бы подтверждая мое первое впечатление, нас встретила англичанка; но она была небольшого роста, темноволосая, менее угловатая и уверенная в манерах, чем обыкновенно бывают англичанки [3]. Она упрекнула за поздний приезд, сказала, что Николай Платонович нас давно ждет, что он не особенно хорошо себя чувствует, потому что был болен накануне... Все это она выговорила сразу и, не дав Петру Лавровичу времени меня представить ей, вышла в другую комнату. Она имела вид и не хозяйки дома и не служанки, а скорее человека, исполняющего какую-нибудь административную должность в каком-нибудь учреждении.

Гостиная была по-английски уютная, всюду на креслах лежали белые накидочки, все было чисто, скромно, обыкновенно, только со стен глядели какие-то портреты, которых в ту минуту я не рассмотрела и не успела бы рассматривать: темноволосая англичанка почти немедленно вернулась и ввела нас в соседнюю, довольно большую комнату.

Навстречу нам шел нетвердыми шагами небольшой старичок в синем, просторном пиджаке и протягивал Петру Лавровичу две дрожащие руки. Лавров представил меня, как друга Бакунина.

— Очень рад, очень рад...— говорил дрожащий глухой голос, и старичок бессильно и судорожно жал мою руку.

Мы все сели около большого стола, который стоял посреди комнаты.

— Неужели это Огарев? — подумала я, вглядываясь в старческое лицо с тусклыми, точно не смотрящими глазами. Особенно меня поразили бессильные, как бы уже умершие, руки, что лежали совсем близко около меня на столе.

Я начала говорить о Бакунине, о том, что почти по его желанию я приехала теперь сказать, как Мишель любил его до последних дней жизни и как часто его вспоминал.

— Да. Бедный Мишель тоже умер, умер ⟨...⟩ — заговорил Огарев и тут же замолчал. Я ясно видела, что он меня не слушал, и тоже замолчала.

Наступившее неловкое молчание прервал Петр Лаврович заявлением, что я недавно приехала из России.

— Из России? — переспросил Огарев.

— А что, там все еще будочники? Много их? Все с алебардами? И будки трехцветные?

Я даже не сразу поняла, что он хочет сказать, а он переспрашивал: — С алебардами?

— Нет,— отвечала я серьезно,— будок нет, и алебард у будочников нет, да и будочников нет теперь; есть городовые. ⟨...⟩

— Ну, все равно,— дребезжал старческий тенор,— все же они будочники. ⟨...⟩ Ужасно, что в России делается... Всех хватают...— Он как-то бессильно заволновался, потом успокоился и опять заговорил:

— Да, бедный Мишель тоже умер. ⟨...⟩

На меня этот разговор производил подавляющее впечатление. Мне хотелось чуть не плакать, во всяком случае говорить я не могла, слов не находила. ⟨...⟩ Что я могла ему сказать?

Опять выручил Петр Лаврович, завел разговор о России, о свежих революционных новостях, которые дошли до него. Огарев слушал, приговаривал изредка: «Да, да... Ужас, что делается!» А я думала: Неужели это Огарев? Неужели это поэт, восклицавший:

Чего хочу?.. Чего?.. О! Так желаний много,
Так к выходу их силе нужен путь,
Что кажется порой — их внутренней тревогой
Сожжется мозг и разорвется грудь.
Чего хочу? Всего со всею полнотою! [4]

Прямо передо мною, на стене, висел большой портрет Белинского, и его лицо, острое и жесткое, как из гранита высеченное, смотрело смело, в нем была мощь, вера. 〈...〉 Как раз за Огаревым, в углу комнаты, на невысокой подставке помещался портрет Герцена в гробу. Минутами из-за синего плеча Огарева мне виделся то только высокий лоб, то все усопшее, но непримиренное лицо, с ввалившимися висками. 〈...〉 «И они умерли, умерли», повторяла я в голове тоном Огарева; и то всматривалась в гранитное лицо Белинского, то ждала, когда из-за плеча Огарева выдвинется высокий лоб над сомкнутыми глазами. 〈...〉 Какое-то полугипнотическое состояние меня охватывало. Что говорил Лавров, я не слышала. Мне было холодно и жутко.

Вошла англичанка и, пытливо посмотрев на Огарева, стала что-то вполголоса говорить Петру Лавровичу авторитетно и озабоченно. Так в комнате тяжко больного доктора говорят с сиделками или с близкими его родственниками. Мне стало неловко, я взглянула на Огарева. Он не обращал на нас никакого внимания,— вероятно, ничего не слышал,— еще более осунулся, лицо стало еще безжизненнее, весь осел, и, казалось, что под толстым темно-синим пиджаком нет никакого тела, что он пустой держится на стуле. Совсем помертвевшие руки, как мраморные, лежали около меня на столе, все в том же положении.

Англичанка предложила нам чаю. Огарев несколько оживился и начал говорить: « — Чаю? Это хорошо. Велите подать чай». Но он чаю не пил. Англичанка отворила дверь в гостиную, пропустила нас вперед, а сама осталась несколько секунд с Огаревым и потом вышла к нам, притворив за собою дверь. Она объяснила, как бы в свое извинение, что Николай Платонович очень слаб с вчерашнего дня и что ему чрезвычайно утомительно видеть посторонних людей в такие минуты. « — Давайте теперь пить чай,— закончила она,— а потом можно будет опять войти к нему».

После чашки горячего и по-английски крепкого чая, я согрелась и ожила, но гнетущего состояния духа так и не могла сбросить. 〈...〉 Петр Лаврович начал показы-

вать интересные вещи, которых было немало в доме Огарева. Бюсты, портреты. Бюст Герцена, портрет Грановского, портрет Станкевича... Опять и опять портреты Герцена смотрят со стен. Миниатюры, дагерротипы женщин, в старомодных, уже мною не виданных костюмах, ютятся по уголкам, улыбаются над керосиновыми лампами, над столиками с узорными шерстяными салфеточками. ⟨...⟩ И кажется мне, что нет на этих стенах ни одной живущей души, пусть мне незнакомой, но для меня живой. Только знакомые мысли, воплотившиеся в лики учителей, да неизвестные, навсегда исчезнувшие, навсегда позабытые люди, которые когда-то делили жизнь этих учителей. Наши учителя были просто людьми с этими неизвестными людьми; все они вместе шутили, веселились, ссорились, волновались не только мыслями, но и ежедневной тревогой непрерывно текущей жизни. Как они жили? Что их волновало, о чем они думали? Этого мы уже никогда не прочувствуем, даже если и узнаем. ⟨...⟩ Опять в голове зазвучал голос Огарева: «Они тоже умерли, умерли». Нет, не одна преграда смерти между ними и мною, но еще более неодолимая преграда — время. Для меня эти портреты — надгробные памятники, а не умершие люди.

— Какой тяжелый конец жизни,— сказал Петр Лаврович,— как ему должно быть тяжело жить так одному, среди своих мертвых. ⟨...⟩

А ведь для Огарева это действительно мертвые, подумала я, а не памятники. ⟨...⟩ А может быть, и не мертвые, а в нем живущее его время. Он сам умер с ними и с ними еще живет, в том, своем времени ⟨...⟩.

Мы начали прощаться. Англичанка вошла к Огареву посмотреть, можно ли нам проститься и с ним. Вскоре они вышли вместе в гостиную. Николай Платонович сердечно прощался с Лавровым, очевидно, помнил, что есть и еще гость, обратился ко мне приветливо, много раз жал руку, желал счастливого и благополучного пути, очевидно уверенный, что я уезжаю в Россию. Он проводил нас до передней. Еще и сейчас вижу его хрупкую фигуру, освещенную сверху газовым рожком, его неуверенный прощальный жест. Рядом с ним стояла англичанка, такая безличная, в сером платье и чистых, туго накрахмаленных рукавичках. ⟨...⟩

Захлопнулась за нами дверь, и скоро мы снова ехали по улицам и мостам. Струился туман, пахло гарью. Перед усталыми глазами мелькали лица только что

покинутых людей, в полумраке плыли портреты; вспоминались обрывки мыслей, завещанных нам дедами, а под ритмический тон копыт звучал голос Огарева: «Все они умерли, умерли» ⟨...⟩ Я поняла, что соприкоснулась на мгновение с иным миром, таким далеким и близким. Все это прошлое, безвозвратное и столь недавнее. ⟨...⟩ Так недавно умер Бакунин. Последнее звено блестящей дедовской плеяды еще дышит там, в небольшом домике, точно отделенном от живущего мороком лондонского тумана. ⟨...⟩

Мы бодро верили, в надежде благородной,
Что близок новый мир, широкий и свободный,
И вот теперь рассеялись мы [5]...

Отчего они рассеялись так быстро, так внезапно? Они вышли в мир во всеоружии таланта, знаний, ума, с твердой верой в себя. Что они сделали? Чего достигли?

Часто молодые люди только тогда ясно понимают существование смерти, когда в первый раз увидят, как умирает человек. Так и мне тогда особенно ясно стало чудиться, что точно так же и наше поколение сойдет со сцены жизни, спустится в могилу истории, сделав, пожалуй, еще меньше, чем они... Ведь ни их талантов, ни их умственных сил мы не насчитываем. Но гордыня молодости твердила, что *они* не понимали еще истинной задачи. Нашему поколению суждено совершить сознательно то, что некоторые из них только предчувствовали.

С совершенной ясностью я вспомнила все свои ощущения и впечатления от этого почти мгновенного свидания с Огаревым много лет спустя.

В Париже, уже в 1899 году, кажется, после долгих лет разлуки, мне пришлось встретиться с Д. А. К., по возвращении его из Сибири. Когда мы пересчитали всех *своих* покойников, вспомнили *свою* старину, на меня нашла такая же грусть, как в гринвичском домике Огарева, только выразилась она в иной форме.

— А воз-то и ныне там? — сказала я ему вопросительно.

— Там! — отвечал он,— да еще как там: все четыре колеса в грязи увязли.

В. Н. ЧЕРКЕЗОВ

НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ ОГАРЕВ

И мне мужик протянет руку,
Вот что мне надо!..[1]

Так мечтал юноша Огарев в зиму 1834—1835 года, сидя в каземате одиночного заключения в Москве, и всю честно проведенную жизнь он остался верен этой грезе юности; всюду за ним следовало одно страстное желание — увидеть крепостного раба разбивающим оковы рабства и принимающим в свою среду его, Огарева, рожденного в среде владетелей этих рабов, в среде русского богатого барства. Спустя двадцать три года, в стихотворении к Герцену, он вновь повторяет:

И все-то мне грезится снег да равнина,
Знакомое вижу лицо селянина,
Лицо бородатое, мощь исполина,
И он говорит мне, снимая оковы,
Мое неизменное, вечное слово:
Свобода! свобода! [2]

Но не суждено было Огареву дожить до этой желанной поры освобождения рабочих масс, до торжества начал солидарности и любви, которыми так проникнута его задушевная поэзия. Он только увидел первые признаки пробуждающегося народного сознания... Благо и то! Многим ли пришлось дожить до этого? Многие ли заметили это?.. Но Огарев заметил, несмотря на старость и болезненное состояние; и как искренно, по-детски радовался больной старик при вестях о том, что на далекой родине, страстно любимой, рядом с лучшими свежими силами образованного меньшинства работают дети народа — рабочие 〈...〉

Как теперь помню мое первое посещение Огарева летом 1876 г. в Гринвиче, где он занимал маленький коттедж и жил в уединении, изредка видаясь с П. Л. Лавровым и с вдовой Чернецкого [3]. Он говорил отрывочно, часто терял нить разговора, но когда напал

на вопрос об участии рабочих в последнем движении «в народ», он с горячим любопытством стал расспрашивать меня о количестве рабочих в рядах современных пропагандистов, о степени их развития и умелости. Выслушав меня внимательно, насколько это было для него возможно, старик взял «Вперед» и, найдя список разыскиваемых, с особенною любовью и торжественностью прочел имена крестьян и рабочих, преследуемых русским правительством за пропаганду. Когда он кончил чтение и обратился ко мне, его доброе, кроткое лицо было оживлено улыбкой, и слеза радости медленно скатилась по его осунувшейся щеке. 〈...〉

Имя Н. П. Огарева тесно связано с именами лучших людей поколения тридцатых и сороковых годов и с двумя плодотворными периодами умственного развития русского общества: с философско-литературным движением тридцатых и сороковых годов и с социально-революционной пропагандой шестидесятых.

Сын богатого помещика и домовладельца в Москве, Огарев, до тринадцатилетнего возраста, до случайной встречи с Герценом, интимная дружба с которым так художественно рассказана в «Былое и думы», рос одиноко в уединении большого барского дома. Задумчивый и тихий по натуре, он мечтал сперва один, а потом с Герценом,— о добре людям, о справедливости. Эти детские экзальтированные порывы любящего сердца приняли более определенный характер под влиянием знакомства с произведениями философов и энциклопедистов Франции минувшего столетия, а особенно под влиянием Сен-Симона, которого Огарев «поглощал» вместе с Герценом. Начитавшись сцен из первой революции [4], увлеченные идеями свободы, равенства и братства, Огарев с Герценом, едва вышедшие из отрочества, произносят торжественный обет продолжить дело «Союза Благоденствия», декабристов, тогда только что повешенных и сосланных в рудники.

С такими идеалами и стремлениями они поступили в Московский университет, и скоро вокруг них сгруппировался кружок лучших студентов: блестящий, ясный ум Герцена, любящее сердце Огарева притягивали к себе юношей. От полиции не ускользнули собрания молодых республиканцев с социалистическим пошибом, и в 1834 году, едва кончив курс в университете, Огарев, а потом и Герцен, были арестованы и в начале тридцать пятого года сосланы — Герцен в Вятку, Огарев, по

снисхождению к больному отцу, в деревню Пензенской губернии.

Чтобы судить о том, сколько надо было иметь самобытности и преданности убеждениям, чтобы в те времена отдаться идее о благе человечества, достаточно вспомнить, что это было время торжества самой дикой и тупой реакции николаевщины, налегшей гробовой доской на молодую русскую мысль. «Нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные — испуганные, слабые, потерянные — были мелки, пусты; дрянь александровского времени заняла первое место...» [5] Руничи, Магницкие [6] царили в обществе; юношество развращали и забивали дома, в школах, в университетах; рабские чувства возводили в высшую добродетель, понятие о человечности заменилось холопством, любовь к родине — преданностью кровью залитому трону. ⟨...⟩ Надо было иметь много нравственных сил, чтобы поднять голову в подобное время; надо было иметь необыкновенно чуткую душу, чтобы уловить конец оборванной нити общественного развития и пойти вперед. Это именно свершили Огарев и Герцен, которые по справедливости могут быть названы первыми пионерами социально-революционных идей на Руси ⟨...⟩

Прошло пять лет. Огареву и Герцену позволили возвратиться в Москву. Вот что говорит Герцен о тогдашнем настроении и своем, и Огарева: «Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших. ⟨...⟩ В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились закаленные, испытанные. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время Станкевичева круга. ⟨...⟩ Возвратившись, мы померились» [7].

Между кружком Станкевича и кружком Герцена и Огарева завязались те горячие споры страстных, убежденных и даровитых натур, которые в конце концов привели к окончательному изменению миросозерцания Белинского и Бакунина, к торжеству реального мышления и общественных интересов, поборниками которых явились Герцен и Огарев, над метафизическим филистерством с «самоищущим духом». О плодотворном значении этого торжества реализма было много писано; оно имело громадное и неизгладимое влияние на весь дальнейший ход развития русской мысли и даже самой жизни...

Огарев был душой этих сборищ талантливых людей. «Дом его, говорит Герцен, сделался средоточием, в котором встречались старые и новые друзья. И несмотря на то, что прежнего единства не было, все симпатичное окружало его. Огарев был одарен особой магнитностью, женственной способностью притяжения. Без всякой видимой причины к таким людям льнут; они согревают, связуют, успокаивают их; они *открытый стол*, за который садится каждый, возобновляет силы, отдыхает, становится бодрее, покойнее и идет прочь — другом» («Былое и думы», т. 2, с. 125) [8] ⟨...⟩

Н. А. ГЕРЦЕН

⟨МОИ ВСТРЕЧИ С НЕЧАЕВЫМ⟩

(Отрывки)

После смерти моего отца, 21 января 1870 года, я думала только об Огареве, о потрясении, которое он переживал, и настояла на том, чтоб меня отпустили в Женеву,— чтоб убедиться, в какой мере я могу его утешить.

Приехав в Женеву, я нашла Огарева лучше, чем ожидала. Он был поглощен интригами Бакунина и Нечаева, но заботился обо мне, старался меня успокоить и говорил, что я могу продолжать дело своего отца. «Как?» — с удивлением спрашивала я Огарева. «Еще и сам не знаю,— отвечал он.— Надо посмотреть, что ты можешь сделать. Пока помоги мне разобрать бумаги: они в таком беспорядке, и ты знаешь, как я устаю от их разборки. Татьяна Петровна Пассек уже рылась в этих ящиках и оставила бумаги в величайшем беспорядке» [1].

Мне ничего лучшего не надо было, и первое время я этим только и занималась, наблюдая пока за тем, что около нас происходило. В это время я не знала еще, что Нечаев потихоньку от Огарева рылся в его бумагах [2].

Бакунин приходил каждый день. Сидя в конце стола в этой столовой-гостиной, он дюжинами делал себе папиросы.

Часто приходили молодые люди. Бакунин встречал их приветом: «Здравствуй, братец, а ты кто, откуда? Ну, подходи, садись, рассказывай...» Этой манерой доброго малого он сразу завоевывал сердце и доверие новоприбывшего.

После приходил Нечаев, остававшийся на целые часы, рассуждавший с Бакуниным и Огаревым, прохаживаясь по комнате из угла в угол. Временами Бакунин говорил мне:

— Да, да, вы должны идти по стопам отца и работать для России.

— Я не знаю, что я могу делать для этого.

— Ну, увидим, а пока Нечаев даст вам работу.

Нечаев с обычной резкостью сказал:

— Работа в соседней комнате. Пойдемте, я вам покажу.

Я последовала за ним в маленькую комнату рядом. Там навалены были стопы пакетов, завернутых книг и заготовленных конвертов.

— Вот начните с этого — надпишите на всем этом адреса.

Это заняло у меня несколько дней. Раз, пока я писала, вошел Нечаев и в упор спросил:

— Рисовать умеете?

Я ответила «да» и продолжала писать.

— Можете нарисовать мне мужика?

С удивлением я отвечала:

— Да, могу срисовать с модели: я в жизни не видала мужика. И то, что вы говорите, очень неопределенно. Какой величины нужен рисунок и что делает мужик?

— Что за история, сколько вопросов! Ну, так вот, на такой бумаге и наверху мужик в круге, величиной с пятифранковую монету.

— Что вы, пожалуй, банкноты собираетесь печатать?

— Что вы вздор порете? — И при этом плюет в сторону.

Он вдруг остановился и спрашивает:

— Сумеете ли нарисовать факел и топор?

Я воскликнула:

— Что вы хотите сделать из этого заголовка — прокламации или билеты?

— Какие глупости! — и он вышел из комнаты.

Бакунин ежедневно доказывал мне, что я должна быть с ними, хотя бы для того, чтоб продолжать дело отца. Я постоянно отвечала одно и то же: «Надо, чтобы для меня были ясны цели и средства».

Огарев также старался меня убедить. Ему одному я доверяла. Я вспомнила, как мой отец отрицательно относился к способу действий Бакунина. Это воспоминание поддерживало мою недоверчивость, и я была настороже, несмотря на мою любовь и уважение к Огареву, который, видимо, к великому моему сожалению, подпадал под влияние Бакунина и Нечаева. Я постоянно добивалась ответа на вопрос, что могу делать? Бакунин полусловами давал мне понять вещи, которые меня

возмущали. Например: «Молодая, красивая женщина всегда может быть полезна». Я с удивлением молчала. «Это очень просто. Сколько есть богачей, молодых и старых, которых легко закружить и заставить давать деньги для дела».

Когда он видел мое возмущенье, он сейчас же менял разговор. Видя, что дело его не подвигается, он попробовал действовать на мое воображенье. Раз он мне сказал, что у него со мной должен быть серьезный разговор помимо Огарева и что он хочет мне назначить свиданье в № таком-то, такой-то улицы, которой я не знала и которую не помню. Поздно вечером, в темноте, я искала эту улицу в квартале Сен-Пьер и искала указанный мне этаж в доме, мне совершенно незнакомом. Меня ввели в комнату, в которой меня ждал Бакунин. Вскоре появился Нечаев и начал тотчас ходить из угла в угол, взад и вперед. Оба принялись увещевать меня, пожалуй принуждать присоединиться к ним. Они старались доказать мне, насколько легко мне было помочь им, хотя бы деньгами. Я могла бы уполномочить их поставить мое имя в заголовке «Колокола», который они хотели издавать как продолжение прежнего.

— Никогда,— говорила я,— никогда, потому что ваш «Колокол» не будет иметь ничего общего с прежним.

Взбешенные моим ответом, они обозвали меня кисейной барышней, ни на что не годной. Нечаев словами и жестами вышел из всяких границ. Бакунин старался его усмирить: «Ну, ну, тигренок, успокойся».

Было уже очень поздно, и я объявила, что хочу уходить. Нечаев исчез, а Бакунин предложил мне проводить меня и проводил до дверей нашего пансиона.

Спустя некоторое время русское правительство обратилось к швейцарским властям с ходатайством о выдаче Нечаева как обыкновенного уголовного преступника. Нечаев из предосторожности скрылся, переменив имя. Я потеряла его из виду, когда Огарев как-то пригласил меня к себе переговорить о деле. Я сейчас же отправилась к нему.

— Вот в чем дело,— сказал он,— эту рукопись — она очень важная — надо доставить Нечаеву, который прячется под видом англичанина. Меня спросили, не знаю ли я кого-нибудь, на кого можно вполне положиться. Я отвечал, что ручаться могу только за тебя.— Так вот, берешься ли ты доставить эту рукопись?

— Куда же я должна ехать?

Огарев отвечал:

— Точно не знаю. Придется сначала отправиться в Невшатель. Там, в типографии Гильома [3], тебе скажут, куда ехать. Но чтобы сказали, надо знать пароль (кажется, это были названия трех цветков — генциана, рододендрон и эдельвейс).

Я была взволнована странным поручением и неизвестностью цели путешествия, но, в угоду Огареву и чтобы его успокоить, согласилась.

— Под каким именем искать Нечаева?

— Тебе это скажут в Невшателе.

— Значит, мне только надо передать рукопись?

— Нет, нет. Видишь эти параграфы? Ты скажи Нечаеву, что никогда, никогда я не соглашусь подписать их программу, если их не вычеркнут. Никогда,— повторил Огарев, с несвойственной ему энергией.

Я пробежала эти параграфы и от всего сердца обрадовалась негодованью Огарева и пустилась в путь, успокоенная и уверенная, что вернусь в тот же день.

Мне было не по себе, когда я приехала в Невшатель, город, который я совсем не знала. Временами мне казалось, что за мной следят, и я едва решалась спросить дорогу, хотя это было необходимо. Наконец я дошла до какого-то прохода, на который мне указали как на вход в типографию Гильома. При входе стоял рабочий, которого я спросила, как увидеть г. Гильома? — «Я вам его позову». Вышел господин, худой, с неподвижным лицом, в очках. Он сухо спросил меня:

— Что вам угодно?

— Адрес г-на X., которому я должна передать рукопись.

— Г-н X., г-н X...— не знаю.

Я совсем растерялась и повторяла:

— Мне сказали, что вы дадите мне его адрес.

Гильом неподвижно и сурово повторял:

— Не знаю.

Взволнованная, несчастная, через несколько минут я воскликнула:

— О, г. Гильом, мне сообщили условное слово, которое я вам должна сказать, но я его забыла. Постойте, постойте, дело шло о цветах, начиналось, кажется, с генциана. 〈...〉

Он улыбнулся и назвал мне два остальных цветка. Немного оттаявший, он позвал меня:

— Входите, входите. Знаете ли вы, что вы еще не у цели вашей поездки?

— Я не знаю, куда я должна ехать, но я должна сегодня вечером вернуться в Женеву.

— В Женеву? Но это невозможно! Туда нет ночных поездов.

Расстроенная, я повторяла:

— Но мне надо, надо вернуться в Женеву. ⟨...⟩

— Невозможно. Вы доедете, куда вам надо, только под вечер и после уже не будет поезда. (В это время во всей Швейцарии совсем не было ночных поездов.)

Я совсем растерялась, спрашивая себя, что делать.

Подумавши минутку, Гильом мне сказал:

— Я телеграфирую в Локль, куда вам надо ехать. Вы доедете туда только к ночи. Я попрошу своих друзей приютить вас, потому что вам нельзя останавливаться в гостинице. Ваше появление возбудит любопытство, вся деревня узнает о вашем приезде, а этого-то и надо избежать ради безопасности X. Решено, что вас встретят на станции, а вы с своей стороны должны держать в левой руке платок ⟨...⟩

Моя тревога росла, и я с тоской вздыхала. Наконец я спросила:

— Когда идет мой поезд?

— У вас будет еще время,— сказал мне г. Гильом,— и я вас провожу до станции.

Когда мы дошли до станции, он меня спросил:

— Вы обедали?

Я отвечала:

— Нет.

— Вам так ехать нельзя. Позвольте предложить вам обед?

Я отказалась, он настаивал, говоря:

— Но ведь холодно, съешьте, по крайней мере, суп.

Я сдалась и согласилась на суп. Пока я ела, Гильом вытащил из кармана письмо и, не развертывая его, показал мне и спросил:

— Вам этот почерк знаком?

— Конечно,— отвечаю я,— это почерк Бакунина.

— А это письмо узнаете?

Я тоже признала и несколько других, которые он мне показал.

— Удивительно,— сказал он вполголоса, как бы говоря про себя.— Удивительны вы, русские.

Я смотрела вопросительно на него.

— Да, такая вы молоденькая и уже заговорщица.

— Огарев просил меня свезти рукопись г. X., что я и делаю. И это все.

— Все-таки, все-таки. ⟨...⟩

Мой поезд подходил. Гильом советовал мне держать платок в левой руке и довериться лицам, которым он меня рекомендует. Я вошла в вагон. Путешественники входили и выходили один за другим. И я наконец осталась одна в поезде. Было темно, когда я доехала до Локля. Я вышла. Вся станция — будка. И никто меня не ждал, кроме служащего, отбирающего билеты. Пришлось отдать ему билет и выйти на улицу, где я увидала перед собой только снежное поле. Я еще раздумывала, что же мне делать, когда из-за будки вышли две тени — одна высокая, другая поменьше. Они приблизились и сказали мне что-то, чего я не поняла, но в волнении отвечала: «Да, да».

— Так идите с нами.

И я молча пошла за ними по дорожке, пересекавшей снежное поле. Спутники мои остановились перед первым домом в деревне. Он был меньше и ниже всех следующих домов. Они постучали. Дверь открылась и пропустила нас всех троих в коридор, узкий и совсем темный. Они посвистали, и сверху какой-то голос им ответил. Они пробормотали что-то и ушли. Я осталась, прислонившись к стене, не смея двинуться, чтоб не скатиться вниз по лестнице. Через минуту, которая показалась мне очень долгой, я увидела свет наверху круглой лестницы, там стоял маленький горбун со свечой. Он пальцем сделал мне знак подниматься. Я последовала за ним, и он привел меня в совсем маленький салон, очень мало меблированный. Горбун сделал мне знак сесть на маленький диванчик и исчез. Я не знала, что ждет меня, время мне казалось чрезвычайно длинным. Наконец дверь отворилась и появилась карлица, тоже горбатая. Она меня спросила, что мне угодно.

— Увидеть господина X.

— Подождите минутку,— ответила она и исчезла.

На улице была темная ночь, и я спрашивала себя, что ждет меня. Но скоро вернулась маленькая карлица, сделала мне знак следовать за ней, и мы вышли не по той лестнице, по которой вошли. Она отворила дверь, и я увидела комнату, довольно большую, с низким потолком, как обыкновенно в шалэ. Нечаев, по обыкновению, ходил взад и вперед по комнате.

— А, это вы,— отрывисто сказал он, увидев меня.— Снимайте шапку, садитесь. Ну что же вы привезли?

— Рукопись от Огарева,— отвечала я.— Он поручил мне указать вам два параграфа, которых он не одобряет и не может подписать.

— Вот глупые выдумки: без них нельзя обойтись.

— Огарев был очень категоричен, и я убеждена, что в теперешнем ее виде он рукописи не подпишет.

Нечаев, бранясь, несколько раз прошелся по комнате, остановился передо мною и резко сказал:

— Ну, а вы? Вы имеете такое влияние на Огарева, почему вы его не убедите?

Я с удивлением и негодованием возразила:

— Ни за что, я вполне согласна с Огаревым и буду его поддерживать.

— Кисейная барышня! Ничего с ними не поделаешь!

Прерывая свое хожденье, он меня спросил:

— Вы, чай, проголодались?

Было уже 11 часов вечера. Нечаев на минуту вышел, и вскоре появилась маленькая карлица, неся на подносе чай и все, что к нему нужно.

Я не прочь была выпить что-нибудь горячее. А Нечаев не давал мне отдыха и до полуночи продолжал развивать свои доводы.

Я совершенно обессилела. Он, должно быть, заметил это и сказал:

— Вам, вероятно, нужно отдохнуть?

— Да, но где?

— Здесь.— И он указал мне на большую деревянную кровать, на которой подушки, пуховик и простыни были из материи в красных и белых клетках, таких же, какие были на занавесках низеньких окон, занимавших чуть ли не все стены (как обыкновенно в шалэ).

— Но разве это не ваша комната? Где вы сами собираетесь спать?

— Обо мне не беспокойтесь. Наш брат умеет устроиться. Я найду стул в кухне или расположусь на столе или под столом.

Я протестовала, но делать было нечего. Пришла карлица, приготовила мне постель и ушла. Оставшись одна в этой большой комнате, я осмотрела замки и нашла, что не хватает ключа и нет задвижки. Мне было очень досадно, и я готовилась лечь, не раздеваясь, когда заметила два огромных крюка с каждой стороны двери. Я поняла, что им должно что-нибудь соответствовать,

принялась искать и нашла под кроватью огромную железную полосу. Я сумела ее вытащить и положить за крючья. Тогда только я почувствовала себя спокойной, разделась, легла и спала очень хорошо.

На другой день утром карлица принесла мне утренний завтрак, очень мило поданный. Нечаев тоже появился и сразу начал свои речи по поводу параграфов. Я уже не слушала его, потому что была полна одним желанием поскорее уехать. Я спросила, когда отходит поезд?

— О, у вас еще много времени, нет поезда раньше 10 с половиной.

В 10 часов, уже готовая, я собралась уходить. Нечаев повторял: «Слишком рано, слишком рано! Мы в двух шагах от станции, я вас провожу».

— Это рискованно; вас могут увидеть с незнакомой особой, и я решительно не хочу, чтобы вы меня провожали.

— Только несколько шагов пройду с вами, а на станцию входить не буду.

Он повел меня окольной дорогой, и вышло так, что мы к поезду опоздали.

Я была в бешенстве и заявила, что останусь на станции до следующего поезда, потому что во что бы то ни стало хочу вернуться в Женеву сегодня вечером.

— Это невозможно,— отвечал Нечаев,— будет только один поезд после обеда, и тот не сообщается с поездом в Женеву.

Я была до последней степени возмущена, но что же было делать? Приходилось возвращаться к маленькому горбуну и маленькой карлице и провести еще 24 часа, слушая речи Нечаева, который распалялся все более и более, стараясь убедить меня, что Огарев должен подписать рукопись и что ничего нельзя будет сделать, если опустить два спорных параграфа. А я в ответ говорила ему, что они хотят проповедовать лицемерие и иезуитизм и что я только радуюсь отказу Огарева [4].

И так весь день и весь вечер до самой минуты отъезда моего на другой день утром. Это был день страшно тягостный, ибо я все время терзалась мыслью о беспокойстве Натальи Алексеевны [Огаревой] по поводу моего таинственного исчезновения, которое я при возвращении не сумею объяснить. Что я отвечу на все вопросы, которые мне зададут, когда я должна молчать о всем, что сделала?

Так мучилась я до самой минуты возвращения 〈...〉

ИЗ «ДНЕВНИКА»

28 мая 1870.

В первых днях февраля я поехала в Женеву с Тхоржевским [1]. Меня мучила мысль о том, что мы поселимся кто в Париже, кто во Флоренции, а Ага останется совсем один, как будто брошенный нами.

Несколько дней после приезда прихожу утром — Огарев еще спал. Вхожу в салон, Тхоржевский мне шепотом говорит:

— В той комнате сидит Mr. Волков [2]. Позвать его сюда?

— Пожалуй,— отвечала я.

Очень мне интересно видеть этого человека, о котором я имела очень неясное понятие, но все-таки кое-что слышала. Тхоржевский отворил дверь в столовую, впустил или, скорее, пригласил молодого человека, сказав:

— Не хотите ли перейти сюда? Здесь и Наталья Александровна.

Престранное впечатление сделало на меня явление Волкова — вся его фигура была оригинальна, чисто русская, но особенно обращали внимание темные [...] * глаза, которые высматривали по временам из-за больших темных очков. Входя в комнату, он пробормотал: «Здравствуйте», засунул левую руку в карман, а правую — на грудь застегнутого пиджака и стал шагать из угла в угол, не поднимая взгляда.

— Принесли «Journal de Genève»? — спросил он Пана.

— Нет,— отвечал последний, обиженный тем, что Волков осмелился спросить его, как будто это его должность — носить ежедневно журнал.

— Ну, так потом принесите, надо взглянуть,— про-

* Знаком [...] здесь и далее отмечены пропуски в тексте дневника его автора.

должал Волков, не обращая внимания на Пана, который через несколько минут ушел.

Мы остались одни. Волков продолжал шагать с опущенной головой, я стояла, облокотившись, у камина, ждала, чтобы он начал говорить. Промолчали мы несколько минут, наконец Волков спросил, не подымая головы и не смотря на меня:

— Вы поедете провожать гроб отца в Ниццу?

— Нет, один брат поедет с Тхоржевским; я вернусь к сестрам в Париж.

И опять настало молчание. Наконец я спросила:

— Читали вы русские газеты? Что нового?

— А вы разве интересуетесь русскими делами? — спросил он и взглянул в первый раз на меня, и то быстрым взглядом из-за очков, и опять опустил глаза на пол.

— Как же не интересоваться, особенно последнее время,— начались опять аресты, допросы.

— Почем я знаю, интересует вас это или нет — чай, давно за границей?

— Давно. Мне был год, когда мы выехали [3]. Ничего не помню, но, тем не менее, интересуюсь всем тем, что там делается.

Этим кончилась наша первая встреча. Огарев взошел, я начала говорить с ним. Судя по лаконическим вопросам и ответам Волкова, по резкому тону, которым он их бормотал свысока, точно начальник какой-нибудь, я подумала, что, по его мнению, пустая трата времени разговаривать с «барышней», вследствие чего не начинала больше говорить с ним и вообще не обращала на него внимания, хотя и делала свои наблюдения на его оригинальные манеры и выходки.

Дня через два-три я говорила Огареву о своем намерении ехать в Берн и оттуда в Париж. Волков шагал из угла в угол по своему обыкновению, как медведь в клетке.

— Говорили о рисунках? — пробормотал он, проходя около Огарева.

— Нет, еще не говорил,— медленно ответил Ага, и еще медленнее повернувшись ко мне, как будто готовясь сказать что-то.

— Что за рисунки? — спросила я, удивленная, и, бог знает почему, промелькнула мысль о том, что мне предложат сделать или скопировать виньетку для фальшивых бумажек.

— Это длинная история,— продолжал Огарев,— потом тебе объясню. Но ты послезавтра уже едешь? Как же с этим быть, успеешь ли?

С трудом узнала я, в чем дело. Нужно было нарисовать мужика русского сначала, потом оказалось — лучше было бы нарисовать группу мужиков. Тут и Волков начал объяснять, не обращая внимания на мое замечание, что выйдет у меня все неуклюже, не верно, не живо, потому что я мужиков русских никогда не видела, а потом — потому что я фигур рисовать не умею, ограничивалась головами, что совсем другое дело.

— Это ничего не значит,— продолжал Волков,— нам артистические произведения не нужны. Сюжет и костюмы вам будут объяснены, вы только чертите, потом увидим — годится или нет. Удастся — много обяжете.

Поняла я наконец, что им хотелось: во-первых, не один рисунок, а целый ряд картин, которые бы имели влияние на народ, на мужиков. Волков объяснял сюжеты так:

— На одном рисунке, вы, например, представьте толпу мужиков, вооруженных чем попало, косами, палками и т. д. Парень один впереди потерял шапку, рвется как будто бы на ту сторону, указывая на солдат, которые там стоят,— тут останавливает его поп и бьет крестом по голове. Понимаете?

— Понимаю. Но задача трудная, мне не по силам. Очень жаль!

— Нечего руки-то опускать, не пробовавши; начните с одной фигуры — там увидим. Ну, например, барин-помещик, как был,— толстый, богатый, развалившись на диване пьяный, и помещик, как он теперь, худой, оборванный [...]

— Это скорее можно.

— Потом, коли удастся, нужно изобразить мужиков — например, на одной страничке — что делают мужики, а на другой — что им следует делать.

— А что им следует делать, по-вашему? — спросила я.

После минутного молчания он ответил:

— А вот, например, несколько мужиков подкрадываются тайком к господскому дому и поджигают.

— Помилуйте, что вы! — воскликнула я.— Ни за что бы не нарисовала, если б и могла. Нечего учить мужиков резать или поджигать; когда народ восстает, он слишком жесток, его надобно останавливать, а не подстрекать...

Ироническая улыбка показалась на лице Волкова, и он, продолжая шагать, крикнул Огареву, сидевшему в столовой:

— Эй вы, слышите, что «они» здесь говорят? Отказываются рисовать, вот видите, потому что против их воззрения учить мужиков поджигать.

Огарев посмеялся, ничего не сказал. Поспорили мы еще немножко; группы я отказалась рисовать, сказала, что отдельных мужиков и фигур попробую составить. Огарев настаивал на том, чтобы я поскорее вернулась из Берна, что он мне еще много объяснит и расскажет. Саша, спешивший в Париж, меня, напротив, просил или советовал мне как можно дольше оставаться у Маши.

— Надеюсь, что ты тогда найдешь Огарева одного, а то что же это теперь — никак нельзя порядком говорить, все кто-нибудь у него да сидит. А знаешь, как Цамперини попался вчера вечером? Это меня очень удивило для такого опытного конспиратора. Едва мы поздоровались, он мне говорит с таинственным видом, указывая пальцем через плечо на Волкова: «Я пришел,— говорит,— по этому делу... Понимаете, но не достал еще, это совсем не так легко; три уже передал, хлопочу о четвертом». Ты понимаешь, что я ничего об этом не знал, но мне жаль было старика, подумал о том, как стыдно и досадно ему будет, если заметит, что проговорился,— и ответил тоже с таинственным видом: «Да, да, понимаю, это не шутка». Эх, как смешны и бесполезны все эти штуки!

— Молодой, должно быть, очень энергический человек, но односторонний взгляд на все,— заметила я.

— Да,— ответил Саша,— но что же делать? С его точки зрения, он прав: без этой односторонности ничего не сделаешь. А если он шпиона отправил на тот свет, за это можно его только похвалить.

— Конечно,— подтвердила я.— Как интересно было бы знать, что такое у них делается в самом деле в России! Существовал заговор или нет?

Меня в самом деле это очень интересовало; я уже несколько раз расспрашивала Огарева, просила его объяснить мне, в чем состоит их дело и отчего папаша от них отстранился, отчего он не верил, не сочувствовал им.

Огарев. Герцен уж давно как-то отстранялся, держался в стороне, вследствие чего многого просто не знал

и не мог судить о теперешнем положении русской молодежи и о том, что они делают.

Я. Ты веришь, что у них организовано общество, которое имеет большое влияние?

Огарев. То, что они сильны, доказывает уже сам по себе факт побега Волкова, то, что его освободили товарищи. Но, впрочем, если б их было и мало, человек 50, 20 или десять, я все-таки был бы с ними, потому что считаю их дело делом справедливым и святым.

Мне хотелось яснее понять, в чем именно состоит это *«дело»* и это «общество», поэтому не сиделось в Берне [4]; я осталась там дня два, а на третий день вернулась и опять начала расспрашивать Огарева. Ответы его меня не могли удовлетворить: казалось, что он многое знает, но сказать не может, не должен; поэтому я начала расспрашивать Волкова и имела с ним даже очень длинные разговоры — вообще о работниках, о «буржуа», об эксплуататорах и «тунеядцах», но о русском деле мне ничего не становилось яснее. Понять можно было только одно, это — что он проповедует страшнейшую ипокризию *, повторяя, что «цель оправдывает средства».

— Помилуйте,— воскликнула я невольно,— да это просто иезуитизм!

— Да, конечно,— отвечал Волков,— да иезуиты были самые умные и ловкие люди, подобного общества никогда не существовало. Надобно просто взять все их правила с начала до конца, да по ним и действовать — переменив цель, конечно.

И удивило, и испугало меня это объявление. Как можно работать с такими людьми,— подумала я. И чем больше Волков развивал необходимость такой системы и пускался в подробности, как, например, необходимость иногда подслушивать у дверей, распечатывать чужие письма, лгать и т. д., тем больше я удивлялась, как Огарев мог соглашаться с таким образом действия. Когда я его об этом расспрашивала, он мне только отвечал:

— Бывают случаи, когда лгать необходимо.

— Ну, а подслушивать, чужие письма распечатывать и т. д.?

— Да на практике это никогда не приходится делать,— был его невинный ответ.

Из всех разговоров вывод можно было сделать тот, что цель у них хороша, стремятся они к тому, чтобы

---

* лицемерие (от *фр.*: hypocrisie).

переменить существующий порядок, начать хотят с того, чтоб опрокинуть или уничтожить силу русского правительства,— а средства!..

Два дня до моего отъезда в Париж Волков стал делать мне всевозможные вопросы, касающиеся до меня лично, до моих занятий, и наконец спросил, для чего я еду в Париж и что буду там делать.

— Сама еще не знаю,— ответила я.

— Плохо,— пробормотал он.

— Пока я остаюсь с Натальей Алексеевной и с Лизой — буду ею заниматься, буду помогать Наталье Алексеевне папашины рукописи переписывать и переводить. А дальше что будет, еще не знаю.

— Плохо — а говорите, что ищете дело, готовы бы и нам помочь.

— Конечно, если только могу,— но как, какое дело?

— Дела бездна, и под рукой; стоит серьезно захотеть, и найдете, узнаете. Да вот здесь даже — сколько вы могли бы Огареву помогать!

— В чем же?

— Приходите сегодня вечером, я вам объясню. Но только следовало бы вам переселиться сюда, в Женеву.

— Теперь уже поздно — в Париже уж, верно, нанята квартира. Впрочем, увижу. Если б я думала, что в самом деле найду дело здесь, я, конечно бы, переселилась.

Вечером я опять пришла, несмотря на то что голова ужасно болела. Огарев был выпивши, играл на фортепиано. Волков сел около меня и начал таинственным шепотом рассказывать, что в России существует большое, сильное тайное общество, что он рискует говорить мне об этом, несмотря на то что так мало знает, потому что я внушила ему доверие, и рассчитывает на то, что никому об этом не буду говорить.

— Цель общества вы знаете; значит, теперь вы только скажите: считаете вы себя одной из наших?

— Т. е. как так? Принадлежу ли я к вашему обществу? Конечно, нет!

— Не то хотел сказать,— словом, хотите вы оставаться жить покойно, как светские, салонные барышни, или сделаться одной из *наших*, как сильные женщины, которые встречаются в России теперь и которых мы считаем своими сестрами?

Я. Т. е. вы меня спрашиваете, хочу ли я принадлежать к вашему обществу? На это я не могу ответить, я все-таки еще слишком мало об нем знаю.

Волков. Да вы только то решите: ближе вы к буржуа, тунеядцам, которые ничего изменить не хотят, или к нам, желающим все переделать?

Я. Конечно, к вам, т. е. я вашей цели сочувствую, но ваших средств одобрить не могу...

Волков. Вот все, что я знать хотел. Вы согласны с целью — значит, вы из наших; только это надобно доказать на деле, надобно работать и нам помогать.

Я. Однако позвольте, вы говорите, что я из *ваших*, я говорю, что с целью согласна, что готова помогать, но хочу знать условия вашего общества прежде, чем буду считаться его членом, и что мне делать придется?

— Условий нам никаких не нужно, кроме молчания. В России другое дело — там я не решился бы так скоро открыто говорить с вами. Никаких подписей, ни условий нам не нужно, к чему все это? Кто не хочет ничего делать, и подписавши не станет делать, а тот, кто искренно желает работать, и без этого будет работать. К чему же ненужные формальности?

— Да какое же дело вы мне предлагаете?

— Сейчас объясню. Вы видите, что там пошли аресты и всевозможные гадости в последнее время; начали тоже бежать из тюрьм, из крепостей; бегут за границу, а тут ничего не находят, остановятся в Германии — их выдают опять русскому правительству. Надобно непременно устроить какой-нибудь центр здесь, за границей, который был бы в сношении со всеми разбросанными русскими вне России — так, чтоб человек бежавший знал бы, куда обратиться, и не пропадал бы. Комитет нашего общества считает, что всего удобнее устроить это в Швейцарии, а именно в Женеве — вот хоть у Огарева, например, так как его знают и уважают. Но Огарев стар, часто нездоров или в таком состоянии, как сегодня вечером. Надобно непременно, чтоб около него был человек молодой, свежий, который ему бы помогал, напоминал. Вам бы всего лучше и легче было бы взять это на себя. Без этого просто беда — мне на днях необходимо ехать, оставить его просто страшно. Бывают такие случаи, например, приносят на днях важнейшую телеграмму — известие о том, что один из «наших» бежал; телеграмму надобно было немедленно прочесть и как можно скорее опять телеграфировать и дать знать, в чем дело, в другое место. А Огарев распечатал, начал, было, читать, но заснул на стуле с телеграммой в руках. К счастью, я еще вовремя пришел, успел

отправить депешу куда следует, а то бог знает, сколько человек бы погибло. Понимаете, что тут непременно должна быть *верная*, свежая личность, которая бы мало-помалу взяла бы все в руки, т. е. которая получала бы всю корреспонденцию и аккуратно бы все передавала, отвечала и т. д. Если бы вы за это взялись, вы оказали бы нам громадную услугу — ведь дело идет о жизни людей, которые тут даром погибают по неосторожности Огарева.

Положение так, как он мне его представлял, было в самом деле чрезвычайно нехорошо. Я поверила, что в самом деле в России что-то делается, что все кипит, шумит и что готовится что-то к 19-му февраля 70 г. Я задумалась, перебирая обстоятельства и стараясь придумать, как устроить переезд после того, как я в Париже так решительно была против поселения в Женеве. К тому же вспоминалась мне болезнь моя, и страшно мне было, что приходится мне участвовать в тайном обществе, вспоминала я, как меня мучили всевозможные заговоры во время болезни, видения и т. д.[5].

Волков прекратил все это вопросом:

— Видите необходимость переехать сюда хоть на время, на несколько недель или месяцев, на два, на три, словом, пока дело так горячо там? В Париже вам делать нечего, [ничего] важного, а здесь вы будете ужасно полезны. Решайтесь, помещение вам найдут здесь у Огарева или [...] но, может, вы избалованы очень насчет того — комфорта?

— О, нет, я ко всему привыкла и мало обращаю внимания на комфорт!

— Тем лучше,— продолжал он,— тогда вам можно просто комнату нанять.

— Как так — (будьте уверены, что) я одна не приеду, когда-нибудь из моих со мной приедет тоже. Ведь я недавно выздоровела, они меня не пустят одну.

— Это для чего? Это совсем не нужно. Нет, устройте так, чтоб вы одни приехали, других лиц сюда вмешивать не нужно — значит, они могут только мешать. То, что я вам говорю, должно остаться между нами. Итак, когда вы будете опять в Женеве? Помните, что каждый день тут дорог — ну, дня через три, четыре?

Я. Как можно? Невозможно так скоро все обделать — недели через две-три, никак не раньше.

Волков. Нет, недели через две — это уж максимум. Но надеюсь, что раньше, а то уж больно плохо здесь. Решились?

Я. Наверное не могу обещать; посмотрю, как и что устроено в Париже. Что могу — то сделаю.

— Нет, вы наверное устройте! Вы сами понимаете и видите, до какой степени важно, какие ужасные последствия могут случиться вследствие маленькой неаккуратности. Я на вас рассчитываю, а пока я вам дам кой-какие поручения в Париже. Приходите завтра поутру пораньше, я вам объясню, в чем дело.

На следующий день он мне дал несколько писем для передачи знакомым в Париже, прибавил рекомендательное письмо, которое я должна была отдать г. [...], ему же он писал, чтобы он исполнял все мои поручения.

— Желательно, чтобы вы встречались с ним *не* в вашем доме.

Просил он меня писать поскорей, рассказывая подробно, как отнесутся все дома к моему желанию переехать.

— Как вы им объясните? Никто не должен знать, что вы в сношении с нами,— даже Огареву прошу не говорить.

— Да я могу объяснить так, что хочу пожить около Огарева,— впрочем, я об этом уже писала до наших разговоров, потому что мне, право, жаль его оставлять одного. Наталья Алексеевна мне на это отвечала, что ей все равно, что если мы можем в чем бы то ни было быть полезны (это касалось до его привычки слишком много пить), то она готова переехать сюда.

— Желательно, чтобы вы приехали одни, не нужно же вам нянек. Если меня не будет здесь, можно будет устроить встречу, свидание где-нибудь на дороге. Впрочем, это мы письменно обделаем.

— Это трудно будет устроить; надеюсь, что не будет нужно.

— Во всяком случае, я вам дам адрес и объясню, где это можно устроить.

Тут он мне назвал город Neuchâtel, сказал, что такой-то господин его знает под именем S. [6], что я, входя, должна сказать, что прихожу от имени «Народной расправы».

Вернулась я в Париж, исполнила аккуратно поручения и чуть-чуть не попалась в souricière *, устроенную в бюро «Marcellaise», так как у меня было поручение к редакции [7]. Совсем случайно не попала: узнали, что

---

* мышеловка, ловушка (*фр.*).

все редакторы арестованы. Я немедленно написала Огареву.

Дня через два я уже получила письмо от Волкова с длинной диссертацией о «тунеядстве», о том, что я 25 лет жила бесцельно, бесполезной для других и т. д., словом — резюме наших разговоров и споров. В конце он просил бросить все эти «эфемерные связи и сентиментальности», отделаться от постоянного опекунства и ехать одной в Женеву.

Я отвечала, что устроить все это труднее, чем он предполагает, потому что то, что он называет эфемерным и сентиментальным, для [меня] очень важно и серьезно. Что он отношений моих к другим понять не может, потому что, верно, давно уже живет и работает один, не заботясь о других [8].

Во втором письме я уже отказывалась ехать, находя, что это слишком беспокоит и огорчает всех моих дома, которые начинают кое-что подозревать, прибавила, что это не мудрено, потому что я лгать не могу, а объяснения мои или мое молчание не могут их удовлетворить. И в самом деле, бесконечные разговоры и рассуждения с Natalie, Мальвидой и Сашей меня ужасно огорчали: я видела, как они боялись за мое здоровье, понимала, что это основанно, потому что я в самом деле находилась в ужасно взволнованном состоянии. Заметили, что я получаю письма, писанные незнакомой рукой,— вообразили себе, что они от Бакунина.

Саша окончил дела с адвокатом, я подписала все нужные бумаги, Ольга тоже. Ему дела больше не было в Париже, к тому же он спешил к Терезине. Он и Тхоржевский взялись провожать гроб до Ниццы и все устроить там. Накануне отъезда у нас был еще длинный разговор — Саша старался доказать мне нелепость моего желания ехать в Женеву, говорил, что он в этом видит остаток моей болезни.

— Ну, сама рассуди,— говорил он,— в чем ты можешь Огареву помочь — так как ты говоришь, что для этого едешь? Если ты думаешь, что можешь иметь влияние на его привычку пить, это нелепо, ты ничего не сделаешь.

Я. Ага пишет в последнем письме, что я ему могу в некоторых вещах помочь и быть полезной.

Саша. И это тоже вздор! Ты знаешь, что он теперь сам рассудить не может, что он совсем под влиянием окружающих. Верю, что ему очень хочется, чтоб ты около

него пожила, но, если он тебя зовет, это тоже под влиянием других лиц, которые просто рассчитывают на твой карман. Брось это, никакого дела ты там не найдешь.

Я. Не могу, там увижу, в чем дело и кто прав.

Саша. Во всяком случае, не нужно так торопиться... Подожди до конца месяца, обдумай хорошенько и, если не переменишь решение, поезжай с Natalie. Но теперь дай мне уехать покойно, обещай мне, что ты не уедешь одна ⟨...⟩

Больно мне было видеть, что я его и других всех так огорчаю — не выдержала я и обещала, что не поеду без Natalie [и что останусь до конца февраля] ⟨...⟩

День или два после их отъезда я получаю следующее письмо от Волкова ⟨...⟩

Письмо Волкова меня ужасно взволновало; мне самой приходило в голову, что, если это положение продолжится, я, пожалуй, опять запутаюсь и заболею. Необходимо было решиться на что-нибудь — и я начала укладывать свои вещи. Natalie все замечала и все больше и больше за меня беспокоилась. С тем вместе все боялись противоречить и избегали этого. Однако, увидя, что я укладываю, Natalie спросила, что делаю — решилась ли я ехать и когда? Вид мой ей очень не понравился. Узнав, что я решилась ехать дня через два, она преспокойно сказала, что тоже будет готова, что она предпочитает бросить деньги, вперед заплаченные за пансион, чем пустить меня одну. И в самом деле, мы на второй день уехали. Natalie телеграфировала Саше и Тхоржевскому, чтобы последний ехал уж прямо в Женеву и не заезжал по-пустому в Париж.

В Женеву мы приехали усталые [9], с головными болями, в жалком состоянии; тем не менее я отправилась к Ага узнать, нет ли чего нового и в чем именно я могу ему помочь. Он очень обрадовался нашему приезду, сказал, что я в самом деле могу оказать большую помощь, что он на днях мне скажет, в чем дело.

На следующий день он мне передал письмо от Бакунина «к двум Натали» [10], сущность которого состояла в том, что он сочувствует нам, но что духом падать не надо, особенно когда можно быть еще полезным для других и когда под рукой такое важное и святое дело, как то, что делается в России и для России. Когда я кончила читать, Огарев меня спросил:

— Что ты думаешь, как отнесется к этому Natalie?

— Ты взгляд ее знаешь,— отвечала я ему,— и зна-

ешь, что она совсем не сочувствует всей вашей деятельности и не верит, чтоб из этого вышла какая бы то ни было польза. Это письмо никакого влияния на нее не будет иметь.

— Так ты лучше отдай мне его. А у нас с Бакуниным такая пошла переписка о тебе — вот посмотри его последнее письмо — просто статья целая, и только о тебе [11].

Я. Что же это он обо мне может писать? Он меня едва знает — что, о чем он заботится?

Ага. Он слышал, что ты была больна. Мы говорили о тебе, я с ним согласен в том, что тебе необходима какая-нибудь деятельность. Ну вот, тут и найдется дело для тебя. Вот они там, Natalie и Саша, думают, что я тебя гублю, что тебе вредно работать,— я же убежден в противоположном: в этой пустой среде, буржуазной, бесцельной, поневоле опять с ума сойдешь. Не губить — спасать хочу тебя...

Меня поразил его раздраженный (интолерантный) тон — я стала защищать Natalie и Сашу и доказывать ему, что они никогда не желали бесцельной жизни для меня, что естественно, что они боятся волновать меня теперь, зная, как все доктора советовали мне покой.

На второй или третий день Огарев показал мне письмо Волкова, в котором тот пишет, что ему непременно нужно переслать какие-то преважные бумаги, прибавляя: «Надеюсь, что Тата у Вас, она Вам во многом поможет. Пошлите ее ко мне с бумагами — я только ей и доверяю теперь» [12].

— Что же, возьмешься ты за это? — сказал Огарев после паузы.— А то я, право, не знаю, как сделать: по почте, говорят, никак нельзя посылать.

Озадачило меня это предложение. Представила я себе испуг и неудовольствие Natalie, потому что слышала, как раз с Сашей [они] рассуждали и говорили: «Лишь бы Бакунин не употребил ее курьером, это было бы всего опаснее — будет пропадать бог знает куда; с ее экзальтацией она готова поехать в Россию». Поняла я, что это первый шаг для того, чтобы сделаться курьером. «Ехать, сама не зная к каким людям, для свидания с убийцей,— приходило и это мне в голову,— но ведь он убил шпиона, дело хорошее; какая у него энергия, он фанатик, в самом деле, кроме цели своей ничего не видит». К тому же я думала, что ему скоро придется ехать в Россию. Прочла я некоторые из их брошюрок — не понимала, как

можно было такие ужасы печатать, и очень желала с ним об этом еще переговорить, да вообще многое себе объяснить.

Колебалась, колебалась я — да решилась поехать. Бедный Ага и обрадовался, и испугался.

— Не повредит ли это тебе? Ты себя чувствовала нехорошо после приезда. Уверена ли ты, что это тебе ничего не сделает?

Я его успокоила и стала придумывать, как бы это устроить, чтоб Natalie как можно меньше беспокоилась и Сашу бы не испугала и чтоб Тхоржевский не вздумал провожать. Как мне ни было противно сказать неправду Natalie, я на это решилась: сказала ей, что еду в Берн, чтобы она не беспокоилась, потому что я остановлюсь у Маши. Я видела, как ей была неприятна эта новость, но она только сказала:

— Ты — не ребенок, я не имею права тебе мешать, но знай, что ты Сашу очень огорчишь: он разъездов всего больше боялся для тебя. Хоть бы Тхоржевского с собой взяла.

— Не могу.

— Ну, так делай как знаешь. Знай, что и я буду ужасно беспокоиться. Когда ты вернешься?

— Послезавтра,— да я тебе напишу 〈...〉

— Смотри же, не пропадай,— крикнула она мне вслед,— и береги себя!

А мне было так странно и забавно — конспиратором маленьким сделалась! Доехала я преспокойно до Neuchâtel — тут я должна была отыскать г. Гильома. Никогда я прежде не была в Neuchâtel; станция железной дороги за городом, дороги я не знала и никого спрашивать не хотела. Вижу, спускается большая часть пассажиров по довольно широкой дороге — я пошла за ними; некоторые с удивлением смотрели на меня — видно, заметно было, что я иностранка. В лавке у старушек спросила, где улица Seyon, и без затруднения нашла г. Гильома. Он сам мне отворил дверь, посмотрел на меня подозрительно — не шпионка ли я. Спросила я его, не может ли он мне указать, где Волков.

— Я его знаю,— отвечал он,— но, где он теперь, мне неизвестно. А вы его знаете лично?

Тут-то я вспомнила условную фразу и поспешила сказать:

— Как же, знаю и прихожу я от имени «Народной расправы».

Он улыбнулся и воскликнул:

— Да, да, так это вы? Знаю, вас давно ожидают. Мне недели две-три тому назад предсказали, что вы приедете. Вам придется еще некоторое время путешествовать по железной дороге.

— Но доеду ли я сегодня вечером?

— Как же, конечно. Темно будет, но не беспокойтесь — все будет устроено, вас будут ждать на станции; только, пожалуйста, держите белый платок в правой руке, вот так. Чтобы знали, что вы именно та личность, которую надобно проводить. А теперь позвольте мне вас проводить до станции и понести вам мешочек. Неужели вы совсем одни приехали и одни отыскали меня?

Мы вышли вместе, направились к станции, но по другой, очень уединенной дороге. Он заметил, что он это делает из осторожности, так как его общество может компрометировать, и у него много врагов в Neuchâtel.

— Конечно, я приехала одна — что ж тут удивительного? И одна отыскала вас, несмотря на то, что никогда здесь не была. Чему вы удивляетесь?

— Правда, что никогда бы я не догадался, что вы — конспиратор!

Я засмеялась.

— Если б мне было велено отыскать вас в толпе, мне в голову не пришло бы, что вас ожидают. Вы русская?

— Русская. Что же, вы находите, что я слишком молода?

— Во-первых, молоды. Потом у нас уже образовалось понятие, известное о «нигилистках», которое совсем не соответствует вашему явлению, à toute votre apparition, votre extérieur, du moins *. Непременно ожидаешь известную небрежность в одежде, стриженые волосы, очки и т. д. Да прибавьте к тому, что я знаю наружность нашего знакомого и некоторых его товарищей.

— Очень странно, право,— прибавил он после минутного молчания.

— Так вам приходилось встречаться с нигилистками? Я хотя и сочувствую им во многом и сама себя считаю нигилисткой — так, как я понимаю это слово,— но считаю эти внешние формы и оригинальности совсем излишними и смешными.

---

* всему вашему облику, вашему внешнему виду по крайней мере (*фр.*).

Дошли мы до станции, приходилось ждать около получаса. Он удивился, что я не обедала, и настаивал на том, чтобы я поела что-нибудь в буфете. Делал некоторые вопросы, робкие, боясь быть нескромным, и несколько раз повторял:

— Как глупо, как досадно, что ни вам, ни мне ничего не сказали. Вижу, что у нас много общих знакомых. Знаете вы этот почерк, например? — Я сейчас же узнала.— Странно! Ведь я их всех знаю, весь кружок. И в деле кн. Оболенской брал самое деятельное участие [13].

— Что делать! Но если вам не было сказано говорить со мной — вы не говорите. И предупреждаю вас, что *о ваших* именно делах я очень мало знаю, или, лучше сказать,— ничего.

Спросил он меня еще, не нужно ли мне денег,— я, конечно, отказалась. Поезд подъехал, он усадил меня, а сам побежал телеграфировать.

Было уже совсем темно, когда я доехала до маленькой станции Локль. Взяла я белый платок в правую руку, как было сказано, и самой было смешно. Едва я отдала билет и сделала два-три шага по грязнейшей дороге и по снегу, как подошла ко мне длиннейшая фигура и что-то пробормотала. Я ничего не поняла, но подумала, что никто бы не подошел так, кроме того, кому велено, и пошла за ним. Через несколько минут присоединился второй мужчина к нам. Чтобы начать как-нибудь разговор, они стали извиняться, что дорога так нехороша, что снега столько и т. д. Скоро дошли до маленького дома и по крутой деревянной лестнице поднялись до чердака. Впустили меня в маленькую опрятную комнатку; немного горбатая маленькая женщина засуетилась [стала хлопотать] около меня, снимать плащ, спрашивать, не нужно ли что, и т. д.

— Мерси, мне ничего не нужно. Где молодой человек?

Повели меня в другую комнату — маленькую, низенькую, освещенную одной сальной свечкой. Волков сидел за большим бюро, окруженный кипами писем и разных бумаг. Лаконический привет его был:

— Здравствуйте. Принесли? Давайте!

— Вот вам,— и я отдала бумаги.

Он сейчас же начал читать — и только минут через шесть-семь поднял голову, посмотрел на меня и сказал:

— Устали, чай? Давайте шапку. Проголодались, верно?

— Чаю я охотно выпью.

Я сама начинала почти так же лаконически отвечать, как он, хотя без резкостей. Горбатенькая женщина накрыла стол, принесла кофе, меду, варенья, громадный хлеб и т. д. и изучала меня с ног до головы, потом засуетилась около кровати, стала менять белье; я все-таки беспокоилась при мысли, что придется с ней спать. Сидела я, ела и думала: «Как это я решилась на такую штуку?»

Начали мы толковать, рассуждать и спорить. О всех печатных листках он относился так, что это сказано только для того, чтобы напугать. В первом часу он увидел, что я очень устала, и сказал:

— Что же не говорите, что спать хочется? Я бы ушел. Что, вы нездоровы, что ли? Вон пишет Огарев, чтоб за вами смотреть, ничем не раздражать, ничем не волновать. Уж больно вас любит-то!

— Да, мне что-то нездоровилось последние дни в Женеве. Теперь ничего, только устала. Где же моя комната? Мне сказали, что в отеле неудобно, бросится в глаза.

— Здесь все приготовлено — оставайтесь в этой комнате, я пойду туда. В котором часу будете готовы завтра? Так, приблизительно?

— Около девяти. Прощайте!

— Покойная ночь.

Заперлась я громадным ключом и легла, думая о Natalie, Саше, всех своих: как бы удивились, если б знали, где я в самом деле.

Проснулась я очень рано. Два окошечка выглядывали на какие-то садики, на церковь, на два-три домика и на тропинку, терявшуюся в снегу, за сим холмы за холмами, покрытые снегом. Видно, совсем деревня. Ровно в девять явился Волков, начал с того, что уговорил меня не только не ехать с первым поездом, но немедленно написать Огареву, что не могу вернуться до вечера следующего дня.

— Сами знаете, что обо всем не переговоришь так скоро. А переговорить надо о многом. В письме он ничего мне не объясняет. Потом вы сами желали кой о чем еще расспросить меня. Ну, пишите скорее, чтоб не беспокоился.

Я написала ему и Natalie [14]. Потом опять начали

спорить и толковать до самого вечера. Объявил он мне, что хочет «Комитет», чтоб издавался журнал, чтоб журнал этот назывался «Колоколом». Я сказала, что мне это чрезвычайно неприятно, и не только мне, но и всем моим; прибавила:

— Верно, вы сами это выдумали, а не Комитет ваш — значит, можете переделать. Ваш журнал не будет иметь ничего общего с прошлым «Колоколом», я это предвижу — к чему брать то же имя? Только потому, что вы надеетесь, что будут больше читать и распространять, по воспоминанию старого. Это своего рода эксплуатация имени папаши и его журнала. Повторяю, что это нам чрезвычайно неприятно. Мало ли есть имен более [...], пусть он назовется «Топор», «Меч», «Красный Петух», что угодно, только не «Колоколом». Вы очень хорошо знаете, что папаша совсем не сочувствовал всей этой деятельности и...

— Позвольте,— прервал он меня.— Во-первых, не горячитесь, не волнуйтесь, мне приказано не раздражать вас, вот я и боюсь с вами спорить. Ну, захвораете — беда будет. Что Огарев сделает со мной?

И стал он мне доказывать, что я говорю только с точки зрения дочери, а о деле и о том, что делу нужно или полезно, не думаю. Для *дела* полезно, чтобы журнал как можно скорей распространился — очевидно, что имя «Колокола» этому поможет, значит, и надо назвать его так. Надобно *всё* решать с этой точки зрения.

— В этом я никогда с вами не соглашусь,— сказала я.— Вы видите, что уже в этом случае мой взгляд, как *дочь*, не совпадает с вашим; ясно, что такого рода случаи будут встречаться на каждом шагу, а я знаю, что я никогда не буду в состоянии выработать в себе такой односторонний взгляд и все судить и решать с одной точки зрения — пользы вашего дела.

Волков. Не говорите — *вашего* дела, а *нашего*.

Я. Не могу. Я не могу и не хочу считать себя *вашей*. Вы ведь видите, что мы совсем не согласны.

Волков. Это только кажется. Подумайте хорошенько, освободитесь от разных предрассудков и сентиментальных привычек — и увидите, что правда с моей стороны и что вы, как умная женщина, не можете иначе думать.

Всего не передашь — записывать длинно. Спорили о деспотических условиях их общества, об их невозможной интолерантности; потом я заметила, что у них, по его

словам, все основано на взаимном доверии, что у меня доверие к людям образуется чрезвычайно медленно, что я очень подозрительна, осторожна.

Волков. Я вам уже писал, что копеечного доверия нам не надо.

Я. Да об этом я хотела еще расспросить вас, я не поняла эту фразу в вашем письме: «Копеечное доверие только деморализует и доводит до беды». Как так? Как же сразу иметь полное, безграничное доверие? Это невозможно.

Волков. Конечно, полудоверие — безнравственная штука. Надобно быть или настоящим другом и товарищем, чтобы решительно ничего друг от друга не скрывать, чтобы все было прозрачно, каждая мысль, каждое движение души — или быть открытым врагом, которого всеми силами стараешься обманывать и уничтожать. А эти половинчатые отношения что такое? То относишься откровенно к личности, как к товарищу, то с недоверием и обманываешь его, как врага. Поэтому помните, что первое условие — это чтобы решительно ничего не скрывать. Комитет должен непременно знать все ваши мысли, вкусы, желания, чтобы не давать вам работу или поручения, которые вы бы неохотно исполняли.

Я. Помилуйте, стану я все это рассказывать незнакомым людям, ведь я никого из них не знаю. Такое доверие можно иметь только к известной личности, и то после долгого знакомства. Повторяю вам, что для меня, например, нужно было бы месяцы и годы, чтобы выработать в себе такое безграничное доверие, а то это выйдет просто слепая вера, ни на чем не основанная. Вы, в сущности, этого-то и хотите. Это своего рода религия.

1) Показывал бумагу — как будто бы приказ Комитета — что «Колокол» должен (или просто — их будущий орган должен) превозносить [15]. Он видел по бесконечным спорам, как я всему этому не сочувствую. В чем будет состоять мое дело, все-таки не говорил: «Помогать Огареву, смотреть за аккуратностью корреспонденции и т. д.».

2) Вторую бумагу прятал, говоря: «Чтоб вторую видеть, надобно сперва согласиться с первой». Я отвечала: «Значит, никогда мне не покажете,— я с первой никогда не соглашусь». Однако он мне ее показал несколько неделей позже, подписанную Бакуниным. Для чего он мне эту [заповедь] отвратительную штуку пока-

зывал, бог знает (тайная редакция, фальшивая монета, фальшивые паспорты и т. д.).

3) Поручал — разобрать стол Огарева, привести все его бумаги в порядок.

Вернулась я в Женеву поздно вечером [16], отправилась прямо к Огареву, чтобы отдать письма и поручения. Встретила неожиданно там Чернецкого, который, думая, что я вернулась из Берна, стал расспрашивать о Рейхелях. Мне было чрезвычайно неловко и неприятно. Я прошла в другую комнату, Огарев взошел за мной. Я передала ему кой-какие поручения, он вдруг позвал Чернецкого и тут дал или объяснил, что касалось его работы, и так неловко, что Чернецкому нетрудно было догадаться, что я была не у Рейхелей. Вскоре после этого он и написал Саше, что я сделалась «карбонаркой» [17].

Немало я удивилась, когда несколько дней спустя опять увидела Волкова: прихожу к Огареву, он там сидит. Сказал, что вышла какая-то путаница, что ему было необходимо ехать сюда. Я объявила, что все-таки не понимаю, какое может тут найтись дело для меня.

— А вот увидите — потолкуем, поговорим.

Под предлогом, что днем некогда и неловко говорить, он стал меня провожать по вечерам. Мало-помалу выяснилось, что мне сначала нужно будет заняться корреспонденцией с книгопродавцами, вести счетные книги, делать посылки и т. д., словом, устроить *бюро* и держать все в порядке.

— Но все это — не настоящее дело,— прибавлял он,— все это неважно, это может и другой делать. Главное — то, что вы должны соединить всю эмиграцию, сплотить их всех и повести в известном направлении.

Я. Помилуйте, где мне! Я себе и представить не могу, как тут взяться за это дело...

Волков. А вот я вам объясню. Когда рассуждениями и разговорами нельзя больше действовать на людей, надобно прибегнуть к другим средствам. Ну, например, всех перессорить в каком-нибудь кружке — здесь, например, всех эмигрантов, потом поодиночке на них действовать, толковать с ними.

Тут он пустился в подробности, развивал весь план действий, «чтоб забрать все в руки», и так возмутил меня, что я воскликнула:

— Да вам просто нужна хитрая *интриганка*! Мне все это противно! Покорно благодарю вас, если вы мне *такое* дело предлагаете!

Он иронически улыбнулся и сказал:

— Пожалуйста, не волнуйтесь, вам не велено волноваться. И за что, подумаешь! Что такое *интриганка*? Пустое слово!

Я. А по-моему, не пустое слово; и если вы это называете делом, так будьте уверены, что я вам помогать не буду, вот что!

Мало-помалу я стала тоже замечать, что мои лаконические ответы на все его вопросы о разных особах его не удовлетворяют. Я ему прямо сказала, что совсем не намерена ему передавать все, что знаю и слышу.

— Как так? — заметил он с неудовольствием.— Что ж это будет за доверие? Говорил я вам, что копеечного доверия нам не нужно.

Я. А я вам говорила, что доверие так скоро не приобретается и нельзя себя принудить вот вдруг: имей доверие к такой-то личности!

Волков. Нет, вы должны иметь полное, безграничное доверие — без этого ничего делать нельзя. Вы должны так устроить, чтобы все имели такое же доверие к вам, все бы вам рассказывали, чтоб вы все знали.

Я. Для того, чтобы вам передавать?

Волков. А потом мне будете рассказывать, что узнали, слышали.

Я. Понимаю. Вы, другими словами, мне предлагаете быть шпионом,— сказала я, и кровь бросилась в голову.

Он опять иронически улыбнулся и сказал:

— К чему употреблять такие громкие слова? Вы этим ничего не докажете.

Конец каждого разговора было то, что я убеждалась все больше и больше, что пути их мне так противны, что я ничего с ними общего иметь не могу. Он мне все старался доказывать необходимость этих [путей]. Вскоре приехал Бакунин и так хорошо ему в этом помогал, что чуть-чуть мне в самом деле ум совсем не свихнули.

— Как? — говорил он мне.— Наши враги в 10 тысяч раз нас сильнее и никакими средствами не пренебрегают, а мы вздумаем бороться с ними, не употребляя те же средства?! Ведь это безумие — и пробовать нечего тогда, это даром людей губить! Какая цель? Переменить этот гнусный существующий порядок. Ну, первый шаг для этого — низвержение русского правительства, а для этого надобно всеми средствами пользоваться или плюнуть на все и сидеть сложа руки.

Разнесся слух, что мы хлопочем о Костромском

имении, что хотим вернуться в Россию,— и пустились все трое бранить нас на чем свет стоит. Огарев под их влиянием начал бранить Сашу и Фогта, говорить, что они меня уговаривают ехать в Россию и делать подлости. Я, конечно, удивилась, стала их защищать и говорить, что мы, конечно, справлялись, можем ли мы вернуться просто, само собой разумеется — без подлостей, что мы и не думали писать или подписывать прошение [18].

— Знаем,— начал Бакунин,— одно то, что кто-нибудь из вас туда поедет, будет доказательством, что вы, т. е. семейство Герцена, помирились с правительством. Вас примут с распростертыми объятьями — еще бы! Попадете вы в аристократические кружки. Vous verrez comme en vous fêtera *. Брату вашему сейчас предложат кафедру — il se fera une magnifique carrière — mais il souillera par cela le nom de son père **.

Я начала было сердиться, а потом сделалось смешно, видя, как человек может увлечься пустыми фантазиями или играть какую-то роль, чтоб на мое воображение подействовать, и сказала наконец:

— К чему вы все это говорите? Саша и не думает ехать в Россию и искать там кафедры. Повторяю, что никто из нас никаких подлостей не сделает, чтоб получить это имение в России. Но если Фогт или Шаллер [19] об этом будут хлопотать и вытребуют его, опираясь на швейцарские законы,— конечно, мы не откажемся. И, признаться, не вижу никакой причины, чтобы делать подарки русскому правительству. Все, что вы сказали, до нас ничуть не касается.

Тем не менее Волков мне сказал шепотом:

— Сегодня вечером надобно непременно еще толковать. Но здесь неудобно. Пойдем к тому старику. Поняли?

Я. Конечно, понимаю. Но отчего же здесь неловко? Стоит зайти в другую комнату, если не хотите при Огареве говорить.

Волков. Сказал, что не годится,— значит, нельзя. Боитесь, что ли? Ведь ненадолго — полчасика.

Я. Чего мне бояться? Но, по-моему, не нужно — но, впрочем, пойдем. Только смотрите, не задерживайте дольше десяти — не хочу я каждый раз тревожить всех дома.

---

* Увидите, как будут вас чествовать (*фр*.).

** он сделает великолепную карьеру — но замарает этим имя своего отца (*фр*.).

Волков. Боитесь, что ли? — сказал он иронически.— Наталья Алексеевна побранит?

Я. Никого я не боюсь — сама не хочу поздно возвращаться без необходимости.

Волков. Вечно останетесь кисейной барышней! И от предрассудков своих никогда не отделаетесь.

Уже по дороге к Бакунину он, в самом деле взволнованный или представляя, что возмущен, мне говорил как бы с бешенством:

— Разве вы не видите, что с вами делают? Ребенок вы, что ли, что не понимаете, или деревянная, что можете так равнодушно и спокойно смотреть, как кругом делают подлости?

Я. Я вас не понимаю! Отчего вы сердитесь, бранитесь? Кто делает подлости?

Волков. Поймите же, что вас продают,— сказал он бешеным шепотом,— те, которые называются вашими друзьями, близкими, вас продают русскому правительству.

Одну минуту я подумала, что он с ума сошел, и не отвечала, тем более что мы были у дверей Бакунина. Вошли мы в крошечную комнату громадного агитатора. Волков сел немножко поодаль с каким-то диким взглядом; тирольская шляпа набок, громадный шарф небрежно обвертывал шею — во всей его фигуре было что-то [от] бандита, выражение поражало энергией, и злобой, и жестокостью.

Бакунин начал мне объяснять, что не следует мне удивляться, что всего при Огареве говорить нельзя,— сама вижу, верно, что это просто опасно, что он может проговориться, когда в нетрезвом виде,— повторять то, что уж говорил поутру, желая доказать мне, что Natalie, Саша и компани — буржуа, тунеядцы, которые только о деньгах и думают и мечтают о том, как бы увеличить состояние, что Natalie остается со мной только потому, что ей это *выгодно*; поэтому она и представляет, что ко мне привязана. Тут я сильно протестовала; заметила, что он не имеет права так говорить о ней, а потом слушала с удивлением все его выходки. Некоторые из них меня возмущали так, что я даже не давала себе труда отвечать. Повторил он, что, если мы вернемся в Россию и получим опять Костромское имение, это будет позор для поколения нашего, такое унижение, подлость и т. д.

Тут вмешался и Волков, взглянув на меня почти зверским взглядом, и сказал:

— Понятное дело, что, если вы все-таки поедете, нашим придется так или иначе с вами покончить.

Я с любопытством смотрела на это странное существо, не показала ни малейшего испуга или волнения и ждала, чем это кончится. Бакунин с упреком посмотрел на него и сказал:

— Ну, что это — сейчас грозиться... Ни на что не похоже. А ведь он серьезно бесится — посмотрите.

Потом стал говорить о том, что мне надобно непременно решиться, с какой стороны я быть хочу,— потому [что] быть и тут и там не следует и нехорошо.

— Я понимаю, что вас теперь останавливает; вы теперь думаете: «Хитрят они со мной, я знаю, что они — иезуиты; с какой же стати я буду им теперь верить? Говорят они мне теперь одно, а в сущности думают и хотят другого. Может быть, они в самом деле хлопочут только о моих деньгах и хотят меня эксплуатировать». Ну, признайтесь, эта мысль у вас теперь в голове была или нет?

Я. Да, была не раз. Но главным образом мешает мне не это, а то, что я не вижу никакого дела для себя, и то, что вообще еще сомневаюсь, идете ли вы верным путем. Chi va piano, va sano *.

Длинная диссертация — и Бакунин кончает:

— Поймите, что кругом вас в частной жизни ничего просто не делается, просто не говорится — вон там-то настоящие иезуиты, а не мы. Вы спрашиваете, что вы можете делать? Да это со временем покажется, увидим, а пока... да с вами прямо и просто говорить ведь нельзя, а то бы без лишних фраз просто бы сказал: оставьте себе strict nécessaire ** на житье, остальное же давайте на общее дело. Но вам это теперь сказать нельзя,— продолжал он после паузы и видя, что я не отвечала.— Хотя тут ничего не поможет: бейтесь, сколько хотите, но рано или поздно до ваших денег доберемся... Социальная революция неизбежна... И скоро...

— Будьте уверены,— сказала я,— что, когда этот день придет, я горевать не буду и не буду ждать, чтоб у меня все отняли, а сама отдам.

Он иронически улыбнулся, взглянул на Волкова и сказал:

---

* Тише едешь — дальше будешь (*ит.*).

** строго необходимое (*фр.*).

— А вот увидим скоро, искренно ли вы это говорите или нет. К несчастью, вы выросли в среде, в которой уважали золото и деньги больше всего. У отца вашего была эта слабость, он и вам, детям, оставил ее в наследство. Бедные вы — дети Герцена, жалею я вас — какая же эта ваша жизнь бесцветная, бесстрастная, ничем до сих [пор] не увлекались. Вечно были разумны, боялись сделать глупость, поэтому ничего не делали. Тот, который ничего не делает, тому легко не ошибаться, но зато он и путного ничего не делает. Что это вы — хотите в самом деле быть гувернанткой дочери Натальи Алексеевны или нянькой детей брата вашего? Это недостойно вас, вам надобно шире поле — и тут под руками дело готово. Что вы это серьезно думаете, что мы вас ограбить хотим? Да сами рассудите — знаете ли, что у них в руках в России громадные капиталы, миллионы — очень нужны им ваши копейки! Что это для них — капля в море! Но вы можете быть полезной вашим влиянием на Огарева, который в самом деле становится развалиной. Будете вы около него — он, наверное, будет меньше пить. Хоть вы его не оставляйте — я, право, это говорю из какого-то чувства пиетета к бедному старику, ужасно жаль его.

(А пока он это говорил, у меня невольно приходила мысль в голову, что, в сущности, он думает о том, как бы я не уехала слишком далеко, потому что, пока я вблизи Огарева, верно, из меня удастся высосать сколько угодно.)

Прощаясь, он сказал:

— Помните, Тата, что в ваши счеты с Огаревым мы вмешиваться не хотим, делайте там как знаете, помогайте сколько хотите,— мы об этом ничего знать не хотим и от вас никогда ничего не примем.

Я не отвечала, но мне внутренно было так смешно слышать эти гордые слова — ведь он очень хорошо знал, что если я Огареву помогаю, то это потому, что они его вводят в траты, деньги все-таки из одного и того же источника — для чего же эта комедия? И вспомнила я его грубый намек, сделанный мне несколько дней до этого. Он мне сказал в присутствии Огарева и просто de but en blanc *.

— Надеюсь, что дети Герцена постыдятся оставить Огарева без средств.

---

* ни с того ни с сего (*фр.*).

Я почувствовала, как кровь бросилась в голову. Непостижимая неделикатность!

Я все не могла взять решение, да и неясно понимала, что же именно от меня хотят.

— Вы должны непременно сделать какой-нибудь решительный шаг,— говорил мне Волков,— чтоб доказать, что вы не бесхарактерны.

Когда я спрашивала, что он подразумевает под решительным шагом, он отвечал:

— Ну, уж это сами знать должны; докажите вы, что вы в самом деле недовольны существующим порядком,— а то все, что говорили, будут пустые фразы. Отделайтесь от всех предрассудков, протестуйте против теперешнего порядка, а то вы критикуете, а сами продолжаете идти тем же путем. Не нужна нам критика ваша — а если серьезного дела хотите, освободитесь от всех вас окружающих лиц, от всех этих Натальи Алексеевны, пана Тхоржевского и т. д.

Я. А, так, по-вашему, сделать решительный шаг — это просто жить особо или по крайней мере не с Натальей Алексеевной?

Волков. Нет, не только это — хотя это, конечно, было бы начало. Вы этим бы доказали, что вы самостоятельны.

Я постаралась ему доказать, что это было бы хорошо, если б Natalie меня притесняла, но так как она мне предоставляет полнейшую свободу и не вмешивается в их дела, то это не нужно.

— Вы увидите,— продолжал он,— что скоро между вами ничего общего не будет, для чего же тогда вместе жить? Гораздо лучше и свободнее врозь.

Я. А вот увидим. Я их люблю и хочу с ними жить. Если окажется, что ничего общего больше нет, пусть же они уедут, а я их бросать не хочу. Впрочем, вам дела до этого нет, где я живу,— я знаю, что я теперь совсем свободна.

Бакунин меня в этом поддерживал, говорил — нечего слушаться Волкова, что он никакого рода привязанностей не признает, не верит в то, что, живя вместе, так привыкаешь друг [к] другу, что тяжело расставаться; все, что не «дело», по его мнению, пустое, сентиментализм и т. д.

В некоторых вещах они были не согласны, например, Волков мне говорил, что, для того чтобы им помогать и в самом деле сделаться «сильной женщиной», надо

решительно все другое бросить и исключительно заняться их делом.

— И вот узнаете тогда, что значит настоящая жизнь,— говорил он с восторгом,— настоящая дружба и полное доверие. Мы всеми порами живем, а к товарищам у меня такое доверие, как к самому себе и т. д.

Начались у них споры о назначении журнала и какого цвета он должен держаться. Огарев и Бакунин без успеха старались убедить Волкова, что необходимо, чтоб «Колокол» был *красный* [20]. Волков настаивал на исполнении своего фокуса, старался доказать, с своей стороны, необходимость издавать газету *пеструю* или *бесцветную*, так, чтоб всех озадачить, чтоб лица всех партий безразлично могли писать в нем — конечно, с тем, чтобы выражать свое недовольство или свою ненависть против русского правительства.

Все это мне ужасно не нравилось, я предчувствовала, что из этого может выйти вздор, чепуха — и все это под именем «Колокола»! Старики, как он называл Огарева и Бакунина, поспорили, поспорили; раз Огарев чуть-чуть не поссорился с Волковым из-за цвета «Колокола»: Волков настаивал на том, чтобы ни слова о социализме не было в журнале и никаких резко высказанных мнений. Огареву это не нравилось, он хотел писать свободно и начал было очень жестко и резко говорить с Волковым. Бакунин их обоих побранил, пристыдил, сам стал уговаривать Огарева *попробовать* (как пойдет), что выйдет из такого фокуса. Старики уступили молодому тирану.

Когда пришло время решить все о печатании и о формате, Волков мне вдруг объявляет, что Комитет считает неудобным и совсем неуместным выставлять имена Бакунина и Огарева.

— Как быть, кого же выбрать редактором?

— Возьмите кого-нибудь из эмигрантов,— сказала я, отгадывая, что у него уже готовый план в голове,— мало ли их — Жуковский, например, Мечников и т. д. Касаткина, если вы предпочитаете женщину.

— Нет, все это никуда не годится. Ну, да будьте вы редактором,— воскликнул он вдруг, как будто пораженный новой блестящей мыслью, в то время как я очень хорошо заметила, что он уже мечтал об этой ловкой выходке, не знал только, как предложить мне, чтоб я никак не могла отказаться. Поэтому ему не очень приятно было, когда я отвечала:

— Ни за что на свете!

Посыпались вопросы:

— Как? Почему? Значит, вы ничего не хотите делать для «*Дела*», хотите вечно быть тунеядцем, кисейной барышней?

Видя, что дерзости и насмешки не помогают, он стал просить, уговаривать ласковым тоном, говоря, что я, как умная женщина, *не могу* отказаться, для меня должно быть слишком ясно безвыходное положение, в которое я его ставлю. Что все дело за этим приостановится. Все это было даром. В этот раз я не уступила — повторила, что в самом деле быть редактором я не могу, что я и неопытна, и мало знаю, а роль куклы играть не хочу. Что им нужно только мое имя, а имя свое я им не дам, особенно для бог знает какого *пестрого* журнала, в котором, пожалуй, еще будут нападать на папашу.

Несколько дней у нас были страшнейшие споры об этом, доводившие меня по минутам до отчаяния. Он так приставал, а когда я уходила, он говорил:

— Значит, это дело поконченное, мы об этом говорить больше не будем. Вы — редактор.

А я повторяла:

— Да, давно бы пора больше не говорить об этом. Вы видите, что я непоколебима и редактором вашего журнала не буду,— и даже адреса своего не дам, чтоб письма посылали.

Бесился, бесился да поневоле отстал; потом выдумал такую штуку, что «Колокол» издается какими-то агентами русского дела.

3-го апреля в воскресенье должен был выйти первый номер «Колокола». Огарев написал записочку, прося прийти помочь на первый раз — пока Комитет еще никого не прислал — подписывать адресы, клеить и т. д. Прихожу я поутру— Мегу мне объявляет, что накануне поздно вечером явился вдруг *другой бой* и ночевал у них [21]. Хороший образчик современной русской молодежи! Судя по совершенному отсутствию усов и бороды, ему был двадцатый год. Маленького роста, худой, немного сгорбленный, несмотря на молодое лицо. Редкие, сухие, темные волосы уже так давно не приходили в прикосновение с гребнем, что они торчали во все стороны отдельными клочками и узлами. По странному, неверному взгляду маленьких претемных глаз легко было заметить, что он очень близорук. Длинный изношенный черный сюртук покрывал красную ситцевую рубаху;

узенький черный галстучек, криво завязанный, украшал шею; белья нигде не было видно. Когда я отворила дверь, он расхаживал большими шагами по комнате и делал как будто бы доклад Волкову; увидав, что они толкуют об очень важных вещах, я сейчас же удалилась.

Он вскоре ушел, но вернулся часа через два-три, когда я сидела в комнате Генри [22] и складывала журнал. Волков его молча впустил, он молча стал помогать. Так как на мой вопрос, кто этот мальчик, Волков мне отвечал лаконически: «Один из наших; человек очень хороший, да не мальчик — он старше меня»,— я увидела, что он не хотел мне объяснить, кто его товарищ, и больше вопросов не делала, да и с мальчиком не говорила. После долгого молчания Волков, обращаясь к нему, назвал его г. Серебренниковым. Начался разговор, из которого я увидела, что этот Серебренников уже несколько месяцев живет у кого-то из «Народного дела», что он пользуется там их полным доверием, показывает им, что совсем с ними солидарен, а вместе с тем тут над ними смеется, называет их дрянью, которая ничего делать не хочет. Рассказывал, как кого-то из них поил, чтобы заставить болтать да показывать ящики, шкапы и т. д. Я вспомнила, что когда-то Волков хвастался тем, что «один из *наших*», как он говорил, уже несколько месяцев живет в кружке «Народного дела» [23], а они его принимают за своего человека. Я тогда же высказала ему, что это, помоему, препротивная игра. Теперь я узнала или догадалась, что он говорил об этом молодом Серебренникове, который произвел на меня вследствие этого самое антипатичное впечатление. В то время когда я его видела, т. е. в первых днях апреля, в «Народном деле» думали, что он давно уехал, так что он от них скрывался. Волков мне сказал, что он только что приехал, три или четыре сутки ехал, не отдыхая и не давая себе время умываться или причесываться,— и в тот же вечер продолжает путь в другую сторону. Сам он мне рассказал, что говорил речь по-французски на гробу Серно-Соловьевича [24].

Сделал мне Волков раз сюрприз, в самом деле неожиданный, в конце марта. Вздумал объявить или дать мне понять, что он ко мне неравнодушен. Долго он возился и так неясно говорил об доверии и вообще об дружеских отношениях, что я решительно ничего не понимала,— но под конец нельзя было не понять, и его вопрос был так неожидан, что я совсем смутилась, даже

испугалась, сама не знаю чего. Вспомнила я вдруг всю историю с Пенизи.

Я долго ему не отвечала, надеясь, что я не так поняла или что он не то сказал, что хотел. Да, я серьезно желала этого, потому что предвидела, что последуют самые скучные, неприятные, неловкие и глупые отношения. Однако он повторил вопрос после длинного молчания да прибавил:

— Понимаю, вам, верно, кольцо мешает отвечать?

Сомневаться и колебаться нечего было, и я отвечала:

— Вы меня ставите в очень неловкое и неприятное положение. Вы сами должны были заметить, что с моей стороны решительно ничего нет.

— Моя вина — ошибся, значит, не будем больше об этом говорить.

— Конечно, это всего лучше.

Никогда бы я не подумала, что этот шероховатый, полудикий мальчуган может произнесть или написать слово о любви. Да благодаря моему скептицизму я ему и не поверила, а стала сейчас искать, насколько ему выгодно было сделать такую пробу и что он мог ожидать в случае удачи. Сомнение, т. е. предположение о возможности, что, может быть, хоть частичка искренности есть в его словах, пришло мне в голову гораздо позже, после того как он несколько раз повторял одно и то же, даже письменно,— и жаловался, что все его слова на меня не действуют, а точно в стену горох.

Как это я не сумела или не догадалась все бросить и отдалиться, несмотря на его просьбы, упреки в том, что я ничего делать не хочу, теперь для меня непонятно. Но тогда, когда я все еще верила, что у них в самом деле есть «Дело», что я в самом деле могу Ага в чем-нибудь помочь, да еще другим, которые, как говорили, в опасности,— все выходки Волкова, как они ни были мне противны, не могли уничтожить во мне желание доказать, что я готова и хочу работать, насколько могу. К тому же у меня все в голове было невыносимо неясно, это меня ужасно мучило — я хотела во что б то ни стало добиться до правды, до ясного понимания. Со всех сторон слышались самые противоположные слухи — самой рассмотреть, разобрать, при этой таинственной обстановке, было невозможно. Оставалось одно — решиться не обращать внимания на дикость и грубо-дерзкое обращение Волкова, продолжать наблюдать и надеяться, что время объяснит. Так и случилось...

По минутам я была в отчаянии, писала ему даже, что ни во что не верю, что теории, системы и средства их мне противны,— а тем не менее ему удавалось возбуждать во мне минутное доверие к тому, что он называл «Делом», я опять путалась, и в этом туманном состоянии не могла найти силы отказать ему и Огареву в маленьких услугах, когда я получала записочки такого рода: «Мы завалены работой, помогите хоть эти дни; ведь вы знаете, что я совсем один, что со всех сторон скверные новости,— и вы именно в этакую минуту нас оставляете». Огарев писал и говорил в том же роде, мои просьбы и объяснения он не принимал, то повторял, что «Да ты, Тата, немножко еще потерпи — ты знаешь, что на днях приедет кто-то из «них», а бросать нас так, право, нехорошо».

Наконец я поняла, что меня надувают, что, пока я буду уступать, меня никогда не отпустят. Волкову было необходимо переехать» [25].

3-го июля 1870.

Сегодня было у меня первое свидание с Бакуниным после всех этих историй и переписок. Он очень желал меня видеть. Главное, что их интересует и беспокоит, это то, что я знаю маленького Владимира Серебренникова. В сущности, Бакунин только это и хотел знать от меня, т. е. то, что я сказала «Народному делу». Я повторила, что Утину ничего не говорила, а Ольгу Степановну [26] предупредила, чтоб она была очень осторожна. Я испугалась за нее, зная, что она собирается в Россию; мне представилось, что этот Владимир Серебренников, пользуясь полным ее доверием, может оставить у себя или передать «Народной расправе» какие-нибудь ее бумаги или тайны и пользоваться ими, когда она будет в России. Они ни перед чем не останавливаются и готовы посадить ее в крепость или иначе мучить, чтобы высосать из нее все деньги.

От него же я узнала, что Нечаев ему сказал, что они меня ни за что не выпустят, прибавляя: «Помилуйте, 300 000 франков!» Потом, что мне *угодить* очень трудно, но что можно *подослать* кого-нибудь, чтобы я полюбила одного из *них*.

Кончила я тем, что пока говорить ничего не буду и ни во что вмешиваться не хочу. Но что я совсем не считаю себя обязанной держать какие бы то ни было обещания, потому что меня с самого начала надували самым бесстыдным образом. Показывают мне машину, удивитель-

но построенную, дают мне ручку, просят помочь вертеть, говоря, что выходит хлеб или мука дешевая для народа, а через некоторое время я нахожу, что меня обманули, что я помогаю приготавливать ядовитое тесто, от которого друзья, равнодушные и враги страдают. Обязана ли я тут продолжать начатое дело, помогать им, держать все это в тайне? Ничуть. Я была обманута и ничем не обязана.

Бакунин согласился, заметил только, что я, может быть, преждевременно говорила с Ольгой Степановной, просил пока больше ничего не говорить о Серебренникове Владимире. Сказал, что я имею полное право говорить Natalie, как было дело моей поездки в Локль, что во всем этом участвовал гораздо больше Нечаев, чем он, Бакунин. Что письма, которые я получала в Париже, были не от Бакунина, а от Нечаева. Теперь я должна рассказать все Natalie, чтобы она знала факты до объяснения ее с Бакуниным.

7-го июля 70.

Кажется, в самом деле все кончено между Бакуниным, Огаревым и Нечаевым. Последний тоже опять здесь, в Женеве. По-видимому, они все ужасно спорили эти дни. Во вторник 5-го числа Семен Серебренников принес мне поутру записочку от Огарева, в которой он просил меня немедленно прийти к нему. К счастью, у меня болела голова — я отказала, да к тому же я как-то отгадала, что Нечаев там сидит. После обеда пришел Быстров [27] предупредить, что Нечаев собирается ко мне; узнав, что я не буду, он, говорят, рассердился и требовал, чтобы все немедленно провожали его ко мне. Другие отказались. Спорили они без отдыха до самого вечера.

Около 7-ми часов вечера явился к нам Владимир Серебренников с запиской от самого Нечаева: пишет, что *объяснение необходимо.* Владимир Серебренников не хотел верить, что меня нет дома, а я только что вышла с Сашей Рейхель [28]. В десятом часу вечера прибежал Быстров с запиской от Бакунина, в которой он, боясь за меня, советует мне уехать на несколько дней, а остаток фонда оставить у Огарева [29]. Быстров остался немного, думая помочь в случае нужды, т. е. если Нечаев, Владимир Серебренников и Charles [30] захотят насильно войти. Но никто не приходил, зато вчера приходил опять Владимир Серебренников — требовал непременно меня видеть. Ерминия ему сказала, что я уехала на несколько

дней. Должно быть, он не поверил, потому что оставил записку с просьбой или приказом, чтоб я оставалась дома от 6 до 1/2 седьмого. Я не намерена была принимать его, сидела дома целый день, но никто не приходил из них. Был Огарев, пришел в первом часу, несмотря на страшный жар — *33 градуса* сентиград *. Бедняжка боялся за меня, что Нечаев станет грубо обращаться. Бедный Ага! Сколько ему приходится разочаровываться в своих «*детях*»! Взял он у меня фонд, т. е. остаток — 740 фр. 50. Дал расписку — неравно Нечаев или Владимир Серебренников будут требовать — и отправился отдать банкиру Reverdin с Семеном Серебренниковым.

К чему мне видеться еще с Нечаевым? Что он от меня хочет? Бог его знает, пожалуй, опять станет уверять, что всегда искренно и откровенно со мной говорил! Или просто станет требовать остаток фонда, да, пожалуй, кой-какие письма — Бакунина или собственные. Или попробует напугать, чтоб я Ольге Степановне и вообще «Народному делу» не говорила о Владимире Серебренникове. И все-таки же после всего у меня остается нерешенный вопрос: фанатик он или подлый мошенник? Искренно он убежден в необходимости своей польско-иезуитской системы обмана и опутывания, или все это — гнусное орудие русского правительства?

Н. А. ГЕРЦЕН — Н. А. ОГАРЕВОЙ

14 июня 1877 года. № 76. Rue d'Alsas. Paris.

Милая Натали. Бедный наш Ага умер третьего дня во вторник 12-го июня в 3 часа, днем.

Я поехала к нему после получения депеши от Мери; Габриель меня довез. Мы приехали в Greenwich ** в пятницу рано поутру. Мы нашли большую перемену в Ага, он очень похудел, борода совсем побелела.— Меня он узнал, т. е. на вопрос мой: «Узнаешь меня, Ага?» — ответил по-английски: «Yes» ***,— и опять заснул; попозже Габриель его спросил: «Me reconnaissez-vous? Je suis Monod» ****, он ответил, как и мне, по-английски:

---

* От *фр.*: thermomètre centigrade — термометр Цельсия.

** Гринвич *(англ.)*.

*** Да (*англ.*).

**** А меня вы узнаете? Я — Моно (*фр.*).

«Monod is not her for the present *,— значит, он его совсем не узнал. Чернецкая пришла, спросила, как он себя чувствует: «Better, thank you, since I sent for Tata» **,— и опять заснул; он с трудом на минуту открывал глаза, потом сейчас же опять засыпал. Габриель никак не мог остаться и в тот же день вернулся в Париж. В субботу сон был еще тяжелее. Ага сам по себе глаз уже не открывал, а только когда его очень громко звали. Он раз как будто еще узнал меня, потому что обратился ко мне и по-русски сказал: «Твой отец, твой отец, он написал брошюрку после письма».

После этого он все слабел, а во вторник совсем перестал дышать — в 3 часа лицо его побледнело и сделалось удивительно красивым, он как будто помолодел, и, несмотря на белую бороду, никто бы не дал ему больше 35—40 лет. Удивительная перемена!

Дольше я не могла остаться в этой среде и в тот же вечер уехала из Greenwich'а, спала у Чернецкой и рано поутру вчера взяла поезд в Париж.— Место я сама выбрала на кладбище, Shouter's Hill Cemetery, гора и свободный хороший вид на все стороны. Бедный Ага, хорошо что он больше не приходил в себя,— судя по словам Мери, ему жить еще очень хотелось.

Если ты можешь решиться ответить мне и рассказать что-нибудь о себе и о твоих, я буду тебе очень благодарна.

У нас и у Саши все по-старому.

Целую тебя, Наталью Аполлоновну и Алексея Алексеевича.

Тата.

Ольга и Габриель тебе кланяются.

---

* Моно здесь теперь нет *(англ.)*.

** Благодарю вас, лучше чем раньше, с тех пор как я вызвал Тату (*англ.*).

КОММЕНТАРИИ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Анненков — П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов. СПб, 1892.

Архив — Архив Н. А. и Н. П. Огаревых. М.— Л., Гослитиздат, 1930.

ГБЛ — Государственная библиотека им. В. И. Ленина.

ВЕ — Журнал «Вестник Европы».

Герцен — А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. I — XXX. М., АН СССР, 1954—1965.

Герцен. Сочинения — А. И. Герцен. Сочинения в 9-ти томах, т. 4, 5, 6. М., Гослитиздат, 1956.

Гершензон — М. Гершензон. Любовь Н. П. Огарева.— В кн.: М. Гершензон. Образы прошлого. М., 1912.

ИВ — Журнал «Исторический вестник».

Колокол — «Колокол». Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. 1857—1867. Вып. I—X. Лондон — Женева. Факсим. изд. М., АН СССР, 1962—1964.

ЛН — «Литературное наследство».

Летопись — Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. Кн. 1—4 (1812—1867). М., изд. «Наука», 1974—1987.

Огарев — Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения в двух томах, т. I—II. М., Госполитиздат, 1952—1956.

Огар. — Н. П. Огарев. Избранные произведения в 2-х томах, т. 1—2. М., Гослитиздат, 1956.

ОЗ — Журнал «Отечественные записки».

Панаева — А. Я. Панаева (Головачева). Воспоминания. М., Художественная литература, 1972.

Пассек — Т. П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания, т. I — II. М., Гослитиздат, 1963.

ПЗ — Журнал «Полярная звезда».

Пропилеи — М. Гершензон. Русские пропилеи, т. 4. М., 1917.

РА — Журнал «Русский архив».

РМ — Журнал «Русская мысль».

РС — Журнал «Русская старина».

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства.

Черняк — Я. З. Черняк. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве (Дело Огарева — Панаевой). По архивным материалам. М.— Л., Academia, 1933.

Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. I — XV. М., Гослитиздат, 1939—1953.

Первые воспоминания об Огареве появились еще при его жизни. Они, как известно, заняли значительное место в «Былом и думах» Герцена, публиковавшихся в 1852—1868 гг.

Традиции Герцена продолжила Т. П. Пассек. С 1872 г. в журнале «Русская старина» она начала публикацию своих мемуарных очерков о Герцене и его друзьях. Позднее эти очерки составили ее книгу «Из дальних лет».

В 70—80 гг. под давлением передовых общественных сил правительственные круги вынуждены были несколько ослабить «осадное положение» (по выражению П. В. Анненкова), в которое были поставлены бывшие издатели «Полярной звезды» и «Колокола». В результате началось некоторое оживление в собирании и публикации их литературного наследия, стали появляться и воспоминания о них.

Вслед за Т. П. Пассек в 1883 г. в «Вестнике Европы» с обширным и обстоятельно документированным очерком «Идеалисты тридцатых годов» выступил Анненков.

В последующие годы появились воспоминания об Огареве Я. И. Костенецкого (*РА*, 1887), А. Я. Панаевой (*РВ*, 1889—1890), Н. А. Тучковой-Огаревой (*РС*, 1890, 1894), Н. М. Сатина (сб. «Почин»), И. А. Салова (*РМ*, 1897), Е. А. Салиас (*ИВ*, 1898) и некоторых других мемуаристов.

Кончина Огарева в 1877 г. в Гринвиче была отмечена статьей-воспоминаниями В. Н. Черкезова («Община», 1878).

В 1900—1917 гг. в различных изданиях увидели свет новые воспоминания-материалы об Огареве, принадлежавшие В. К. Влазневу, В. А. Панаеву, В. В. Тимофеевой (О. Починковской), А. Баулер, М. К. Рейхель, А. Н. Пыпину и другим авторам.

В послеоктябрьские годы стали широко известны мемуары Н. В. Шелгунова и Л. П. Шелгуновой, Н. Г. Чернышевского и М. Мейзенбуг.

Из государственных архивов и частных собраний были извлечены и опубликованы с обстоятельными комментариями воспоминания и дневниковые записи С. И. Серебренникова, В. И. Кельсиева, А. Г. Достоевской, А. А. Слепцова, Н. А. Герцен (дочери).

Таким образом, к настоящему времени выявлено и научно комментировано более тридцати мемуарных произведений, которые полностью или частично посвящены Огареву. Все они включены в настоящую книгу. Произведения эти различны по своему характеру, объему, литературным достоинствам и значению, но все они важны для воссоздания образа Огарева.

В основу композиции книги принят хронологический принцип: все материалы расположены в том порядке, который позволяет последовательно осветить периоды жизненного пути Огарева.

Некоторые материалы помещены не полностью, сокращены мемуары, не связанные с Огаревым. Все сокращения в тексте отмечены отточием в угловых скобках.

В качестве источников текстов использованы (при отсутствии автографов) первоначальные публикации, а также авторитетные в научном отношении издания послеоктябрьских лет.

А. И. ГЕРЦЕН

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Александр Иванович Герцен (1812—1870), самый близкий друг Огарева, верный и неизменный его соратник по революционной борьбе. К детским годам восходит начало их сближения, дружбы, которая стала затем вдохновляющим стимулом всей последующей их жизни и деятельности. В одном из писем 1838 г. Огарев писал Герцену: «Мое детство и моя молодость, долго я буду помнить их, где каждая минута освещена твоею дружбой. Помнишь ли наше первое знакомство в кремлевском саду, когда я, дикий ребенок, едва решался сказать тебе слово, и мы тут ходили смотреть древние кольчуги в меняльной лавке? Помнишь ли, как это сближалось, сближалось и, наконец, стало вечною, неразрывною дружбой» (*РМ*, 1888, № 10, с. 12).

Герцен утверждал: «...Мы с ним росли вместе, и не только материально вместе — но и душевно» (Герцен, т. XXIII, с. 108—109).

«Былое и думы» — уникальная книга, которая стала художественной летописью и его собственной жизни, и жизни Огарева, и той части передовой русской интеллигенции 1830—1840-х гг., которая группировалась вокруг них.

Самые ранние главы, посвященные Огареву (IV, VI, VII), были включены Герценом в состав первой части «Былого и дум» под общим заглавием «Детская и университет» (1812—1834).

Глава IV — «Ник и Воробьевы горы» звучит вдохновенной увертюрой ко всей огаревской части «Былого и дум».

Главы VIII, IX, XII вошли во вторую часть герценовской книги под названием «Тюрьма и ссылка» (1834—1838).

Главы XXV, XXVII, XXIX и XXXII составили (наряду с другими) четвертую часть «Былого и дум» под заглавием «Москва, Петербург и Новгород» (1840—1847). В них представлен Огарев в кругу его и Герцена московских друзей, увле-

ченных идейно-философскими исканиями и в полемических столкновениях.

Литературно-историческим памятником исключительной важности являются дневниковые записи Герцена 1842—1845 гг. В них содержится немало документальных свидетельств и о жизни Огарева периода его заграничных странствий (1841—1846),— периода, который остался за пределами каких-либо воспоминаний.

Известный интерес представляют общие и частные сведения, заметки и штрихи о жизни Огарева, содержащиеся в мемуарных очерках Герцена «Н. Х. Кетчер» и «Русские тени».

Печатаются по изд.: Герцен А. И. Сочинения в 9-ти томах, т. 4, 5, 6. Гослитиздат, 1956, 1957.

Из дневниковых записей: Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. II, т. XII. М., АН СССР, 1954.

ИЗ ЧАСТИ ПЕРВОЙ: ДЕТСКАЯ И УНИВЕРСИТЕТ (1812—1834) (ГЛАВЫ IV, VI, VII)

[1] И. А. Яковлев состоял с Платоном Богдановичем Огаревым в дальнем родстве.

[2] *«Тверская кузина»* — Татьяна Петровна Кучина (в замужестве — Пассек), приходилась Герцену двоюродной племянницей.

[3] *Анна Сергеевна Огарева* (1749—1826) — бабушка Огарева по отцу.

[4] Цитируются стихи Огарева из второй части его поэмы «Юмор».

[5] *Мерос* и *Вильгельм Телль* — герои произведений Ф. Шиллера: баллады «Порука» и драмы «Вильгельм Телль».

[6] Учитель Герцена француз Бушо, будучи страстным приверженцем якобинской диктатуры, оправдывал справедливость казни Людовика XVI.

[7] Ивана Михайловича Булатова.

[8] Александр I участвовал в закладке храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Строительство храма, проект которого принадлежал архитектору А. Л. Витбергу, не было осуществлено.

[9] Повторяется неточная цитата из письма Огарева к Герцену от 7 июня 1833 г., которая предпослана в качестве эпиграфа к главе IV.

[10] Герцен говорит о Елизавете Васильевне Сухово-Кобылиной (в замужестве графини Салиас де Турнемир).

[11] *Агатон* — из стихотворения Н. М. Карамзина «Цветок на гроб моего Агатона». *Рафаил* — персонаж «Философских писем» Ф. Шиллера.

[12] Имеются в виду герои-тираноборцы из драм Ф. Шиллера «Разбойники» и «Дон-Карлос».

[13] *Старый дом* — дом И. А. Яковлева в Москве, в котором Герцен жил в 1824—1830 гг. Не сохранился. Стихотворение «Старый дом» Огарев написал в 1839 г.

[14] *Перхушково* — одна из подмосковных деревень Яковлевых. Здесь был старый барский дом, который в шутку называли «радклифским замком» — намек на средневековые рыцарские замки романов английской писательницы Анны Радклиф (1764—1823).

[15] *Сенатор* — Яковлев Лев Алексеевич (1764—1839), дядя Герцена.

[16] *Голируд* — замок в Эдинбурге (Шотландия), в котором поселился бежавший из Франции король Карл X (1757—1836), свергнутый Июльской революцией 1830 г.

[17] Имеется в виду революция 1830 г. в Бельгии, в результате которой страна обрела независимость, отделившись от Нидерландов.

[18] «Королем-гражданином» называл себя французский король Луи-Филипп Орлеанский (1773—1850).

[19] Весть об Июльской революции 1830 г. во Франции Гейне услышал, находясь на о. Гельголанд (в Северном море). Герцен цитирует выражение из книги Гейне «Людвиг Берне».

[20] Восстание в Польше началось в ноябре 1830 г. и продолжалось до октября 1831.

[21] Речь идет о членах кружка Н. П. Сунгурова, арестованных весной 1831 г. и отправленных через два года в ссылку в воинские гарнизоны Оренбурга и Кавказа на службу рядовыми солдатами.

[22] Герцен говорит здесь о первых членах своего кружка, в который, кроме него самого и Огарева, входили еще Н. И. Сазонов, Н. М. Сатин и А. Н. Савич.

[23] Вадим Пассек умер 25 октября 1842 г. (См.: *Герцен*, т. II, с. 235).

[24] Летом 1833 г. за связь с сунгуровцами полицейский надзор был установлен за Огаревым и Сатиным. В декабре того же года полицейский агент донес своему начальству о том, что Огарев и поэт В. И. Соколовский у подъезда Малого театра распевали «Марсельезу» — гимн французской республики.

[25] Кроме упомянутых Герценом лиц жандармский генерал Лесовский вызывал к себе еще А. Топорнина, И. Кольрейфа, Н. Станкевича, Я. Неверова и Я. Почеку. Имя Герцена в письме Я. Костенецкого не упоминалось.

[26] Герцен не совсем точно цитирует письмо Огарева к нему от 7 июня 1833 г. Далее цитируется письмо Огарева от 18 августа 1833 г., в котором он повторил слова Герцена из письма от 7 или 8 августа того же года («Да, ты поэт, поэт истинный!»).

[27] Здесь вновь неточно цитируется письмо Огарева от 7 июня 1833 г. (См.: *Огарев*, т. II, с. 260).

[28] Имеются в виду песни Пьера Беранже 1820-х гг., в которых он выражал свои республиканские симпатии.

[29] Герцен говорит о начальной русской летописи «Повесть временных лет» — выдающемся памятнике древнерусской литературы XII в. Ее автором традиционно считается монах-летописец Киево-Печерского монастыря Нестор.

[30] *«Система трансцендентального идеализма»* — основной труд Ф. Шеллинга, вышедший в Иене в 1800 г., в котором он развил идею об искусстве как высшей форме постижения сущности мира.

[31] Сенсимонистов судили в 1832 г. на основе «Кодекса Наполеона» (1804). Их лицемерно обвиняли в оскорблении общественной нравственности люди, попиравшие эту нравственность тайно и публично. Моральная распущенность буржуазного общества в период Июльской (Орлеанской) монархии была общеизвестной. Ее-то Герцен иронически и называет «орлеанской религией».

[32] Термин «реализм» является здесь (как и во многих других случаях) синонимом понятия «материализм».

ИЗ ЧАСТИ ВТОРОЙ: ТЮРЬМА И ССЫЛКА (1834—1838) (ГЛАВЫ VIII, IX, XII)

[1] Эта глава написана (как и первая) в 1853 г. Впервые публиковалась в 1854 г. отдельной книгой под заглавием «Тюрьма и ссылка. Из записок Искандера» (Лондон).

[2] Огарев был арестован в ночь с 9 на 10 июля 1834 г. 12 июля освобождался под поручительство дяди-сенатора. Однако 31 июля, после разборки в полицейском участке взятых при аресте бумаг, арестован вновь и заключен под стражу в одиночный каземат, где и находился до дня отправления в ссылку в Пензу 9(21) апреля 1835 г.

[3] В. П. Зубков, который входил в ближайшее окружение Московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына (см. о нем: Б. П. Козьмин. Московский либерал из «Былого и дум».— Известия АН СССР, серия истории и философии. М., 1950, т. VII, № 1, с. 85—87).

[4] Политические деятели Франции, Франсуа Моген (1785—1854) и генерал Ламарк (1770—1832), находились в оппозиции к режиму Луи-Филиппа.

[5] Неточно. Генерал Н. Н. Раевский (сын) умер в 1843 г. в своем имении Красненькое Воронежской губернии.

[6] Не совсем точно. М. Ф. Орлов умер в 1842 г.

[7] Имеется в виду Наталья Александровна Захарьина — будущая жена Герцена.

[8] Встреча и беседа Герцена с Захарьиной в действительности произошли 20 июля.

[9] Герцен был арестован 21 июля 1834 г.

[10] Егор Петрович Машковцев (1812—1855), товарищ Герцена по Московскому университету.

[11] Во время следствия поэт Соколовский отрицал свое авторство. Художник А. В. Уткин, привлекавшийся по этому же делу, утверждал, что стихи «Русский император» он узнал еще летом 1826 г. от А. И. Полежаева. Можно предположить, что Полежаев и был автором этого сатирического стихотворения.

[12] Имеются в виду «Подлинные воспоминания герцога Сен-Симона о царствовании Людовика XIV и эпохе регентства», ч. 1—21. Париж, 1829—1830.

[13] Приговор Огареву, Герцену и их товарищам был объявлен 31 марта 1835 г. в доме председателя следственной комиссии князя С. М. Голицына.

ИЗ ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ: МОСКВА, ПЕТЕРБУРГ И НОВГОРОД (1840—1847) (ГЛАВЫ XXV, XXVII, XXIX, XXXII)

[1] О мае 1838 г.— времени обручения с Натальей Александровной Захарьиной — Герцен вспоминал всегда как о самой счастливой поре своей жизни.

[2] Переезд из Пензы в Москву Огареву разрешен 29 мая (10 июня) 1839 г. Он был определен на службу в 8-й департамент Сената на низший оклад канцелярского служащего. Герцен с семьей жил в Москве с 23 августа до 30 сентября 1839 г. 14 сентября он писал своим друзьям во Владимир:

«Огарев здесь — Москва расцвела» (*Герцен,* т. XXII, с. 44).

[3] Вадим Васильевич Пассек.

[4] Огарев женился 26 апреля (8 мая) 1836 г. на Марии Львовне Рославлевой — племяннице пензенского гражданского губернатора.

[5] Огаревы приехали к Герценам 15 марта 1839 г. 19 марта они покинули Владимир: Огарев отправился в Верхний Белоомут, Марья Львовна — в Петербург (через Москву) хлопотать о переводе мужа на службу в одну из столиц.

[6] В письме к Герцену, относящемся к первой декаде мая 1840 г., Огарев писал: «Герцен! Я посмотрел внутрь себя и мне стало страшно, страшно моих страданий. Они становятся нестерпимы ⟨...⟩ Моя душа распалась надвое. Вражда между дружбою и любовью разорвала меня. Она с обеих сторон для меня оскорбительна ⟨...⟩ Но, во имя дружбы, умоляю тебя, соедини два разорванных элемента моей души» (*РМ*, 1889, № 1, с. 9—10).

[7] Из прежних членов кружка Огарева и Герцена в Москве в это время были только Н. М. Сатин и Н. X. Кетчер.

[8] На *Моховой* находился Московский университет, а на *Маросейке* — дом В. П. Боткина, у которого часто собирались члены кружков Герцена и Станкевича.

[9] Во времена Герцена в русской грамматике сохранялся еще седьмой падеж — Звательный.

[10] Герцен имеет в виду беседу Мефистофеля со студентом (в 4-й сцене 1-й части трагедии Гете «Фауст»), в ходе которой развенчивается схоластический характер средневековой университетской науки. «Держитесь слов»,— советует с иронией Мефистофель, потому что «Бессодержательную речь//Всегда легко в слова облечь,//Из голых слов, ярясь и споря, // Возводят здания теорий. Теория, мой друг, суха, // Но зеленеет жизни древо» (Г е т е. Фауст. Перевод с нем. Б. Пастернака).

[11] *«Всемогущество божие»* и *«Атлас»* (правильнее «Несчастный Атлас») — песни Ф. Шуберта на стихи И. Л. фон Пиркера и Г. Гейне.

[12] Речь идет о кн. К. Розенкранца «Georg Wilhelm Fridrich Hegel's Leben...» (Berlin. 1844), в приложениях к которой была опубликована и заметка Гегеля «О палаче и смертной казни» («Offent liche Todesstrafe»).

[13] Стихотворения Пушкина «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России», написанные в связи с восстанием 1831 г. в Польше, в передовых кругах русского общества были встречены с настороженностью и неодобрением. В период

увлечения идеей «примирения с действительностью» Белинский пытался истолковать их содержание и пафос в соответствии с тезисом Гегеля «все действительное разумно» (рецензии «Бородинская годовщина», «Очерки Бородинского сражения», статьи «Менцель, критик Гете», «Горе от ума»). Эти ошибочные воззрения критика вызвали отпор со стороны Герцена, которого поддержал и Огарев, отрицательно относившийся к названным произведениям Пушкина (см. стихотворение Огарева «Стансы Пушкина» и его предисловие к сб. «Русская потаенная литература XIX века»). Уже в конце 1840 г. Белинский отказался от этих своих идей (см. письма Белинского В. П. Боткину от 11 декабря 1840 г. и 1 марта 1841 г.).

[14] Огарев в 1842 г. был у Герцена в Новгороде дважды: в январе, по возвращении из первого заграничного путешествия, и в июне — перед отъездом во второе путешествие (См.: *Герцен*, т. XXII, с. 124—126, 134—135; т. II, с. 213).

[15] 1-го июля 1842 г. праздновался день рождения императрицы Александры Федоровны и двадцатипятилетие ее бракосочетания с Николаем I. 3-го июля царь дал разрешение Н. А. Герцен и ее мужу на переезд из Новгорода в Москву. Через шесть дней, 9 июля, было получено письмо Бенкендорфа, известившее Герценов о царской «милости».

[16] Последнее письмо Огарева Герценам в Москву отправлено из Берлина 27(15) января 1846 г. В нем он писал: «Теперь прощайте. Ergo через две недели вместе!» (*Огарев*, т. II, с. 381).

[17] Евгений Федорович Корш, редактор «Московских ведомостей», участник герценовского кружка 40-х гг.

[18] Михаил Семенович Щепкин (1788—1863) — артист Малого театра.

[19] В апрельской книжке «Отечественных записок» (1846) было опубликовано восьмое письмо из цикла «Письма об изучении природы» под названием «Реализм». Оно посвящено философам-энциклопедистам — Дидро, Гольбаху, Гельвецию и др.

[20] Из стихотворения Огарева «Искандеру». Строки из этого же стихотворения:

Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное, как ласка,
И дружба с ним мне памятна, как сказка —

Герцен взял эпиграфом к главе XXIX «Былого и дум» — «На могиле друга», посвященной Грановскому.

ИЗ ОЧЕРКА «Н. Х. КЕТЧЕР» (1842—1847)

[1] *Серафима Николаевна* — жена Кетчера.

[2] *Фемический суд* (вемический) — тайное уголовное судилище в средневековой Германии.

[3] *Наталья Александровна* — жена Герцена.

ИЗ ОЧЕРКА «РУССКИЕ ТЕНИ»

[1] Очерк написан в 1860-х гг. и впервые был опубликован в IV томе «Былого и дум» (Женева, 1867). Однако речь в нем идет о временах «юношеских конспираций», «философского культа и революционного идолопоклонства». К воспоминаниям о годах юности Герцен обратился в связи с полемикой с представителями «молодой эмиграции» 1860-х гг., нередко несправедливо относившихся к поколению 1840-х гг., недооценивавших своих предшественников — деятелей освободительного движения 1830—1840-х гг.

[2] Николая Михайловича Сатина.

ИЗ ДНЕВНИКА 1842—1845, 1856 гг.

[1] С Марией Львовной, женой Огарева, с которой он намеревался расторгнуть свой брак.

[2] В своих беседах Огарев и Герцен, по-видимому, затрагивали и вопрос о возможности ухода в революционную эмиграцию.

[3] Находясь весной и летом 1842 г. в Петербурге, Огарев усердно хлопотал о вызволении Герценов из их новгородской ссылки. С нарочным присылал образец того письма, с которым жена Герцена обращалась к императрице, прося ее о разрешении переехать в Москву для лечения (см. коммент. 15 на с. 464 наст. изд.).

[4] Герцен возвратился в Москву 14 июля 1842 г.

[5] Речь идет о письме Н. М. Сатина из Ганау от 26 октября 1842 г. См.: *Анненков*, с. 96—97.

[6] Автограф письма в полном его виде неизвестен. Подробнее об этом письме см.: *Герцен,* т. XXII, с. 347.

[7] Н. Х. Кетчер.

[8] Огарев в это время жил в Риме.

[9] Письмо Огарева к Герцену и другим московским друзьям от 2 февраля (21 января) 1843 г. (*РМ*, 1889, № 12, с. 3).

[10] 15—19 марта 1839 г. Огарев навестил Герценов во Владимире, где они жили в ту пору в ссылке.

[11] Письмо Огарева к Герцену от 16(28) марта 1843 г. из Рима (*РМ,* 1889, № 12, с. 7—12). Упоминаемое письмо Белинского к Герцену неизвестно.

[12] Граф С. Г. Строганов был в это время попечителем Московского учебного округа. Принимая некоторое участие в судьбе Герцена, он ходатайствовал перед Бенкендорфом о разрешении ему поездки в Италию.

[13] В. Г. Белинский приезжал в Москву в июне 1843 г.

[14] Герцен в это время тяжело переживал свой разлад с женой Натальей Александровной.

[15] Письмо Огарева от 16(3) июня 1843 г. из итальянского города Лукка. Продолжено 17 июня (*РМ,* 1890, № 3, с. 4—10). Оно было ответом Герцену и московским друзьям на их коллективное послание к нему в Италию от 18(30) апреля. Продолжено 23 апреля (4 мая) того же 1843 г. (там же, с. 1—4). В своем письме Огарев, в частности, писал: «Я не допущу до себя отчаяния. Хороши мы были детьми и должны быть хороши в зрелом возрасте. Близка минута, когда я стряхну всю внешнюю горечь жизни, и убежден, что еще отыщу в себе довольно силы, чтобы жить полно и свято» (там же, с. 5).

[16] 30 декабря 1843 г. у Герцена родился сын, которого назвали Николаем. Крестным отцом был Грановский.

[17] Письмо Огарева от 12 июня (30 мая) 1844 г. Продолжено 13 июня. Есть приписки Сатина и И. П. Галахова. Адресовано Герцену и Грановскому (*РМ,* 1890, № IX, с. 5—13). Сатин писал об их намерении возвратиться в Россию к 26 августа. (Опубл.: *Огарев,* т. II, с. 334—339).

[18] Герцен с семьей жил в это время в подмосковном селе Покровское-Засекино.

[19] Письмо Огарева и Сатина от 22(10) августа 1844 г. из Берлина (*РМ,* 1890, № 10, с. 9—12), из которого Герцен узнал, что Огарев вновь примирился с Марьей Львовной, которая в это время готовилась стать матерью.

[20] Письмо Огарева от 25—27 (13—15) сентября 1844 г. из Берлина. Продолжено 3 и 10 октября. Есть приписка Сатина (*РМ*, 1891, № VI, с. 1—8). В приписке от 10 октября Огарев сообщил Герцену и московским друзьям: «Вчера жена родила мертвого мальчика. У него не было ни глаз, ни мозгу. Лицо такое жалкое и печальное, что я не могу забыть его» (*РМ*, 1891, № 6, с. 78).

[21] Письмо Огарева и Сатина от 31(19) декабря 1844 г. из Берлина (*РМ*, 1891, № 7, с. 19—21).

[22] Письмо Огарева от 2 февраля н. с. 1845 г. из Берлина

с припиской Сатина. Продолжение 9—10 февраля. В этом письме Огарев, в частности, писал: «Герцен! А ведь дома жить нельзя. Подумай об этом... Человек, чуждый в своем семействе, обязан разорваться с семейством... Будущность! Неужели она страшна? Неужели вместо того, чтоб быть членом святого семейства, придется сделаться поэтом отчаяния или просто смолкнуть в непроходимом одиночестве? Нет, нет! Простите мне минуту сомнения. Да или нет, Герцен?» (*Огарев,* т. II, с. 356—368).

[23] Герцен повторил здесь слова, обращенные к Огареву в гл. IV первой части «Былого и дум» (см. с. 35—36 наст. изд.).

[24] Осенью 1851 г. в кораблекрушении у Гиерских островов (Средиземное море) погибли мать Герцена и его восьмилетний сын Коля.

[25] 9 апреля (28 марта) 1856 г. в Лондон к Герцену приехали Огарев с женой Н. А. Тучковой-Огаревой.

[26] *Фомин понедельник...* — первый понедельник после пасхальной (Святой) недели.

[27] Наталья Александровна, жена Герцена, скончалась в мае 1852 г.

[28] Не исключалась возможность паралича у Огарева. В связи с этим 30(18) апреля 1856 г. Герцен писал М. К. Рейхель: «Девиль видит, что организм его быстро несется к ряду тех атак, которые были у Платона Богдановича...» (*Герцен,* т. XXV, с. 340).

Я. И. КОСТЕНЕЦКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ МОЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

(Отрывки)

Яков Иванович Костенецкий (1811—1885) учился на юридическом (нравственно-политическом) факультете Московского университета в 1828—1831 гг. Входил в кружок Н. П. Сунгурова, за что и был арестован летом 1831 г.— за год до завершения образования. Весной 1833 г. отправлен в действующую армию на Кавказ рядовым солдатом. В 1842 г. в чине поручика вышел в отставку и поселился на Черниговщине на хуторе Скибенцы-Липки.

В бытность студентом Московского университета Костенецкий поддерживал добрые отношения с Огаревым и некоторыми другими членами огаревско-герценовского кружка. Был одним из главных организаторов так называемой «Ма-

ловской истории». О себе и своих друзьях той поры рассказал в «Воспоминаниях из моей студенческой жизни» (1872). «Воспоминания» были опубликованы в 1887 г. в журн. «Русский архив». В наст. изд. приводятся в отрывках: вып. 1 (с. 99—117); вып. 2 (с. 229—242); вып. 3 (с. 321—349); вып. 5 (с. 73—81); вып. 6 (с. 217—242).

[1] Огарев и Герцен нигде не упоминают о каких-либо дружественных связях с А. Д. Закревским. Ничего не известно об этом и от их мемуаристов. По-видимому, Костенецкого подвела его память. Свои «Воспоминания» он писал по прошествии 40 лет. (См. об этом: Гилльсон М. И. и Мануйлов В. А. М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., Художественная литература, 1972, с. 483).

[2] В 1829 г. Огарев поступил вольнослушателем на физико-математическое отделение Московского университета, в 1832 г. был зачислен действительным студентом на нравственно-политическое (юридическое) отделение, но часто посещал и лекции словесного отделения.

[3] Об «удивительном даре» профессора М. Г. Павлова (1793—1847) свидетельствовали и многие другие его воспитанники и слушатели. «Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?» 〈...〉 Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ» (*Герцен. Сочинения*, т. 5, с. 13).

[4] В университетах России существовали должности профессоров ординарных, т. е. штатных, и экстраординарных, т. е. внештатных.

[5] Вспоминая о решимости студентов-юристов учинить скандал Малову, Герцен писал в «Былом и думах»: «Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентеров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском. Я тотчас объявил клич идти войной на Малова...» (*Герцен. Сочинения*, т. 4, с. 118). Студентов-словесников привел Огарев.

[6] Более точные сведения содержатся в «Былом и думах». «В грязном подвале, служившем карцером, я уже нашел двух арестантов: Арапетова и Орлова, князя Андрея Оболенского и Розенгейма посадили в другую комнату, всего было шесть человек, наказанных по маловскому делу» (*Герцен. Сочинения,* т. 4, с. 122). Шестым студентом был студент-юрист П. П. Каменский.

[7] Костенецкий был арестован в поместье В. Д. Рахмано-

ва — предводителя дворянства в Дмитровском уезде Московской губернии.

[8] Мемуарист ошибается. Подписку в пользу осужденных провели Огарев и И. В. Киреевский. Герцен писал: «Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург, Огарев в нашем кругу и И. Киреевский в своем сделали подписки 〈...〉 Киреевский привез собранные деньги коменданту Стаалю, добрейшему старику 〈...〉 Стааль обещался деньги отдать 〈...〉

Огарев сам свез деньги в казармы, и это сошло с рук» (см. с. 41—42 наст. изд.).

[9] За связь с «государственным преступником» Костенецким над Огаревым летом 1833 г. был установлен негласный полицейский надзор. Поводом послужило перехваченное письмо, в котором Костенецкий благодарил Огарева и его товарищей за денежную помощь и за теплые проводы в далекую дорогу.

П. В. АННЕНКОВ

ИДЕАЛИСТЫ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

(Биографический этюд)

Павел Васильевич Анненков (1813—1887) — литературный критик, публицист и писатель-мемуарист. В конце 1830-х гг. вошел в круг петербургских литераторов, сблизившись с Белинским и членами его кружка. На его глазах в 1847 г. в Зальцбрунне родилось знаменитое письмо Белинского к Гоголю. Из Зальцбрунна вместе с критиком Анненков совершил путешествие в Париж, где встретился и близко познакомился с Герценом. Был свидетелем (вместе с Герценом, Тургеневым и Тучковыми) революционных событий 1848 г. в Париже.

1849 год Анненков встретил в д. Чирьково Симбирской губернии. К этому году относится его знакомство и начало дружественных отношений с Огаревым, который подолгу жил в с. Проломихе той же губернии, занимаясь делами своей Тальской фабрики. 23 ноября 1852 г. Огарев писал Анненкову: «Благодарю вас за наше знакомство. Я люблю вас, Анненков!» (*Анненков*, с. 636—637). С этой осени начинается их переписка, продолжавшаяся до сентября 1855 г. Сохранились, однако, только письма Огарева, которые и были опубликованы позднее в книге: «П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов».

К созданию мемуарных и критико-биографических очерков Анненков обратился в 1870—1880-х гг., за границей.

В ряду этих очерков — «Замечательное десятилетие. 1838—1848» с Белинским и Герценом на первом плане. Не менее значительным и важным явился и критико-биографический «этюд» «Идеалисты тридцатых годов», в котором в центре внимания автора оказались Огарев и Герцен.

Работа над этим очерком началась с «Записки о Н. П. Огареве» — с чернового наброска, созданного вскоре по получении известия о кончине друга и соратника Герцена летом 1877 г. в Гринвиче. «Многое в этом рассказе,— писал Анненков в заключительных строках «Записки»,— подлежит поверке относительно подробностей, и особенно хронологической цепи событий, так как он есть воспроизведение того, что было слышно, что говорилось в оно время, чему верили, как несомненному факту, но что при дельном, тщательном пересмотре может еще подлежать поправлению, изменению и дополнению. За одно только можно, кажется мне, ручаться в этом рассказе, именно за верность основного тона и суждений о жизни и характере умершего поэта» (*Анненков,* с. 121).

И действительно, более многогранным и достоверным предстал Огарев перед писателем, когда он обратился к документам — к переписке Огарева и Герцена друг с другом и с ближайшими друзьями, к воспоминаниям современников, близко и хорошо их знавших, к собственным воспоминаниям о них. Так возник «биографический этюд» «Идеалисты тридцатых годов», завершенный его автором в феврале 1883 г. в Баден-Бадене.

Впервые очерк «Идеалисты тридцатых годов» был опубликован Анненковым в журн. «Вестник Европы» (1883, № 3, 4). После смерти его автора он был включен в книгу «П. В. Анненков и его друзья. Литературные воспоминания и переписка 1835—1885 годов». СПб, 1892. По этой публикации он и воспроизводится в наст. изд.

В архиве Анненкова сохранились конспективные записи под заглавием «Две зимы в провинции и деревне». Из них видно, что их автор планировал новый мемуарный очерк, в котором намеревался рассказать о состоянии русской литературы и ее деятелях 1849—1858 гг. Замысел в полном его объеме не был осуществлен. Однако и конспективные записи мемуариста представляют для нас немалый интерес. В них ему удалось уловить и передать самую суть «мрачного семилетья» — разгул реакции в столицах и провинции. Жертвами этого разгула стали, в частности, Огарев, Сатин и А. А. Тучков.

Впервые записи были опубликованы в кн.: Аннен-

ков П. В. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1960.

В наст. книге конспективные наброски печатаются по изд.: Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., Художественная литература, 1983.

[1] Приговором Петербургского надворного суда от 30(18) декабря 1850 г. Герцен был лишен «всех прав состояния» и признан «за вечного изгнанника из пределов Российского государства» за отказ возвратиться из-за границы в Россию по требованию III Отделения (см.: *Летопись*, с. 587). После этого приговора всякое сношение с Герценом сурово каралось. Запрещено было упоминание в печати его имени.

[2] Переписка Огарева и Герцена началась с отроческих лет. Самое раннее письмо Огарева к Герцену (из дошедших до нас) датируется 3—4 сентября 1832 г. (*Огарев*, т. II, с. 253—256). Самое раннее из известных нам писем Герцена к Огареву датировано 24—27 июня 1833 г. (*Герцен*, т. XXI, с. 13—14).

[3] Речь идет о завтраке, устроенном студентом Е. П. Машковцевым 24 июня 1834 г., на котором распевались сатирические песни, высмеивавшие Николая I и его старших братьев.

[4] На завтраке у Машковцева среди пирующих оказался полицейский агент Скаретка. С провокационной целью Скаретка повторил пирушку 8 июля на собственной квартире, где пелись те же самые песни. На этот раз все участники вечеринки были выданы полиции «с поличным». Ни на одной из этих пирушек Огарев и Герцен не присутствовали. (См. с. 59—60 и коммент. 10 и 11 на с. 462 наст. изд.)

[5] Вопрос этот остается не совсем ясным до сих пор. Сам Огарев говорил в этой связи не о «родственной руке», а о приказчике отца Степане Булатове (См.: *Огар.*, т. 2, с. 413).

[6] Имя Сен-Симона появляется в переписке Огарева и Герцена уже в 1831 г. Отвечая Огареву на его письмо от 10 июля 1833 г., Герцен писал: «Ты прав, saint simonisme имеет право нас занять. Мы чувствуем (я тебе писал это тода два тому назад и писал *оригинально*), что мир ждет обновления, что революция 89 года ломала — и только, но надобно создать новое *палингенезическое* время, надобно другие основания положить обществам Европы; более права, более нравственности, более просвещения» (*Герцен*, т. XXI, с. 20).

[7] Огарев был арестован в ночь с 9 на 10 июля 1834 г.

[8] Из письма Герцена к Кетчеру от 22—25 ноября 1835 г. из Вятки (См.: *Герцен*, т. XXI, с. 56).

[9] Из письма Огарева к Кетчеру и другим московским

друзьям. Конец 1836 или начало 1837 г. (*Огарев*, т. II, с. 285—286).

[10] Из письма Огарева Кетчеру и другим московским друзьям. Лето 1835 г. С. Чертково (близ Пензы) (См.: *Огарев*, т. II, с. 271).

[11] Автограф этой части рукописи Огарева найден и атрибутирован Я. З. Черняком (см.: Черняк Я. З. Н. П. Огарев и проблемы социально-политического развития России.— В кн.: Проблемы творчества Н. П. Огарева. Межвузовский сб. научных трудов. Саранск, изд. МГУ им. Н. П. Огарева, 1985, с. 159—171).

[12] Цитируется отрывок из письма Огарева к Кетчеру и другим московским друзьям. Датируется октябрем 1837 г. (*Огарев*, т. II, с. 290—291).

[13] *Сизиф* — герой древнегреческой мифологии, царь Коринфа, приговоренный богами к тяжелому бесплодному труду: в подземном царстве Сизиф должен был бесконечно вкатывать на гору камень, который, достигнув ее вершины, срывался и скатывался к подножию горы.

[14] Цитируются строки из письма Огарева к Кетчеру, относящегося к весне 1837 г. (*Огарев*, т. II, с. 288).

[15] Анненков неправ. Уже из «Былого и дум» Герцена очевидно, что в 1836—1838 гг. члены бывшего кружка Герцена и Огарева вели интереснейшую дискуссию о политической программе русского освободительного движения, об его перспективах, об общественных силах.

[16] Возможно, что цитируется письмо М. Д. Ховриной. Автограф неизвестен.

[17] Раннее детство Огарева действительно прошло в Старом Акшене. Родился же он в Петербурге.

[18] Мемуарист неправ. Было оставлено без ответа прошение матери Сатина о том, чтобы ее сыну было разрешено держать выпускной экзамен в одном из университетов России. Но ходатайство той же просительницы о разрешении больному Сатину лечения на кавказских минеральных водах было удовлетворено. Это было в 1836 г. В продолжение почти трех лет (1836—1838) Сатин лечился в Пятигорске.

[19] Из письма Огарева к Кетчеру от 27 декабря 1835 г. (*Огарев*, т. II, с. 277).

[20] Из письма Огарева к Кетчеру, относящегося к осени (октябрь) 1837 г. (*Огарев*, т. II, с. 291).

[21] Огарев женился на М. Л. Рославлевой в апреле 1836 г.

[22] Огарев возвратился из Пятигорска около 20 октября 1838 г. 25 октября он писал Герцену: «Еще удар! Бедный отец! Эта картина преследует меня» (*РМ*, 1888, № X, с. 3).

Платон Богданович Огарев скончался 2 ноября 1838 г. 7 ноября Огарев сообщил Герцену: «Он умер 2 ноября. Вчера мы его хоронили». В письме — стихотворение «Среди могил я в час ночной...» (там же, с. 7—8).

[23] Поэтические и публицистические произведения Огарева находились под запретом, хотя в 80—90-х гг. в ряде журналов (*РС*, *РМ*, *ПЗ* и др.) отдельные его стихотворения и письма публиковались.

[24] Начало творческого содружества Огарева с московским музыкантом Францем Гебелем относится к началу 1830-х гг. В письме к Герцену от 7 июня 1833 г. он заметил: «Я теперь уже начал писать ораторию для Гебеля — «Потерянный рай» (*Огарев*, т. II, с. 261). В бумагах Огарева, взятых полицией в 1834 г. при его аресте, сохранился незавершенный стихотворный текст на немецком языке под заглавием «Die Weltgeister» («Мировые духи»). Не исключено, что этот текст является вариантом той же оратории, но под другим названием. В письме 1839 г. Огарев сообщил Герцену: «Я пишу Гебелю оперу» (*РМ*, 1888, № XI, с. 9). И в другом письме: «Первый акт оперы для Гебеля кончил» (там же, с. 10). Возможно, что Огарев имел в виду именно «Гармонию миров».

[25] Речь идет о двухтомном сочинении немецкого врача-психиатра Дитриха Георга Кизера «System des Tellurismus oder tierischen Magnetismus», Leipsig, 1826 (Теория спиритизма и животного магнетизма, т. 1—2. Лейпциг, 1826).

[26] Из письма Огарева к Кетчеру и московским друзьям, относящегося к концу 1836 г. (*Огарев*, т. II, с. 283).

[27] Ошибка. М. Л. Рославлева.

[28] О женитьбе на М. Л. Рославлевой Огарев известил своих друзей в мае 1836 г.— вскоре после бракосочетания.

[29] Из письма Герцена к Кетчеру от 21 марта 1839 г. (*Герцен*, т. XXII, с. 17).

[30] Супруги Огаревы отправились из Пензы в Пятигорск в мае 1838 г., т. е. через два года после свадьбы.

[31] Письмо Огарева к Бенкендорфу см.: Лемке М. Очерки жизни и деятельности Герцена, Огарева и их друзей (По неизданным источникам).— Мир божий, 1906, № 4, с. 136—137.

[32] Супруги Огаревы приехали во Владимир к Герценам 15 марта 1839 г.

[33] Из письма Герцена к Кетчеру от 21 марта 1839 г. (*Герцен*, т. XXII, с. 17).

[34] Из письма Герцена к Кетчеру от 15—17 марта 1839 г. (*Герцен*, т. XXII, с. 13—14).

[35] За Верхним Белоомутом числилось 8127 дес. земельных

угодий, в том числе — 5,5 тыс. дес. строевых лесов и около 2-х тыс. дес. заливных Приокских лугов — главного богатства белоомутцев.

[36] Выкупная сумма была действительно ничтожна — 500 тыс. руб. ассигн. (142 тыс. руб. серебром). Известно, что богатые крестьяне села предлагали отцу Огарева по 100 тыс. руб. за выход на волю одной семьи.

[37] Писчебумажная фабрика Огарева, купленная им в 1848 г., находилась в Симбирской губ.— в 130 верстах от с. Старое Акшено.

[38] Из письма Огарева к Кетчеру, которое датируется октябрем 1837 г. (*Огарев*, т. II, с. 291).

[39] Имеется в виду письмо Огарева к Герцену (датируется концом января — началом февраля 1841 г.), в котором он, в частности, писал: «Что тебе сказать, друг? Досада, но не отчаяние. Когда я получил твое письмо, я взбесился, а потом примирился с ходом вещей. Не ты первый, не ты и последний. Частный случай не может навести уныние за общее. Я привязан к этой земле, в другом месте я буду чувствовать свою ненужность» (*РМ*, 1889, № IV, с. 14).

[40] Сатин Н. М.

[41] Огарев имел чин коллежского регистратора — первый, самый низший классный чин.

[42] Из письма Герцена Огареву от 11—26 февраля 1841 г. (*Герцен*, т. XXII, с. 98—100).

[43] Неточная цитата из письма Герцена к Огареву от 3 марта 1841 г. (*Герцен*, т. XXII, с. 104—105).

[44] Из письма Герцена к Кетчеру от 23 июля 1841 г. (*Герцен*, т. XXII, с. 112).

[45] Из письма Герцена к Кетчеру от 10 октября 1844 г. (*Герцен*, т. XXII, с. 201).

[46] Неточная цитата из письма Огарева московским друзьям от 10 и 17 октября 1844 г. (*РМ*, 1891, № VI, с. 7, 8).

[47] М. Л. Огарева скончалась в Париже 9 апреля (28 марта) 1853 г.

[48] Неточная цитата из письма Огарева к Кетчеру от 15 февраля 1845 г. (*Огарев*, т. II, с. 372—374).

ДВЕ ЗИМЫ В ПРОВИНЦИИ И ДЕРЕВНЕ

с генваря 1849 по август 1851 года

(Отрывки)

[1] Анненков возвратился в Россию из Парижа в конце сентября 1848 г.

[2] С проектами об освобождении помещичьих крестьян от

крепостной зависимости выступали в середине 1840-х гг. министр внутренних дел Л. А. Перовский и министр государственных имуществ П. Д. Киселев. С началом революции 1848 г. в Западной Европе эти проекты были закрыты.

[3] На подавление революции в Венгрии Николай I послал русские войска. Против этого похода выступали даже и преданные ему офицеры.

[4] М. Е. Салтыков-Щедрин был подвергнут аресту за повесть «Запутанное дело» (*ОЗ*, 1848, № 3). По завершении следствия писатель был отправлен в ссылку в Вятку.

[5] Для общего надзора за периодической печатью в Петербурге в феврале 1848 г. был создан секретный комитет во главе с А. С. Меншиковым. 2 апреля того же года учрежден другой комитет — «Бутурлинский». Комитет Д. П. Бутурлина должен был вести наблюдение за всей литературой, издававшейся в России. Оба комитета превратились вскоре в оплот цензурного террора (подробнее см.: Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб, 1904, с. 192—194).

[6] Катерина Ивановна и Стрекалов — родственники П. В. Анненкова.

[7] Мемуарист неправ. Если его и приглашали в Москву Тучковы, то не для того, чтобы женить на Елене Алексеевне Тучковой. Речь шла о судьбе огаревских имений, которые могли пойти «с молотка» для удовлетворения денежных притязаний бывшей его жены Марьи Львовны. Нужны были покупатели, притом — «срочные». Известные надежды в этом отношении возлагались и на Анненкова.

[8] Т. Н. Грановский неодобрительно относился к увлечению Огарева Натальей Тучковой. Упрекал он и Наталью Алексеевну, по вине которой (как считал Грановский) подверглись гонению и Огарев, и Сатин, и сам А. А. Тучков.

[9] Революция 1848 г. во Франции.

[10] В феврале 1855 г. умер Николай I.

[11] Огарев, Сатин и А. А. Тучков были арестованы в конце февраля 1850 г. по доносам пензенского губернатора Панчулидзева и Л. Я. Рославлева — отца Марьи Львовны. Обвинялись в распространении политического и религиозного вольномыслия.

Н. М. САТИН

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Николай Михайлович Сатин (1814—1873), поэт и переводчик, близкий друг Огарева и Герцена. Их дружба началась в стенах Московского университета, в котором Сатин учился на математическом отделении. «Мы вошли в аудиторию,— писал позднее автор «Былого и дум»,— с твердой целью в ней основать зерно общества по образу и подобию декабристов и потому искали прозелитов и последователей. Первый товарищ, ясно понявший нас, был Сазонов 〈...〉. Он сознательно подал свою руку и на другой день привел нам еще одного студента» (*Герцен. Сочинения*, т. 5, с. 577).

Этим студентом был Сатин — «красивый собой и нежный, как девушка», «с благородными стремлениями и полудетскими мечтами» (там же).

Летом 1834 г. в Москве были произведены аресты по делу «О лицах, певших в Москве пасквильные стихи». Среди арестованных оказался поэт В. И. Соколовский, живший на квартире Сатина. У последнего в бумагах полицейские нашли письма Огарева, у которого, в свою очередь, оказались письма Герцена. Круг замкнулся, все были арестованы, а по завершении следствия (в 1835 г.) — осуждены и отправлены в ссылку. Сатин — в Симбирск.

Из-под стражи, продолжавшейся около девяти месяцев, Сатин вышел с тяжелым ревматическим заболеванием ног. В 1836 г. мать выхлопотала ему разрешение на лечение в Пятигорске, и в продолжение почти трех лет он лечится здесь. В эти годы он возобновил свое знакомство с Лермонтовым, познакомился и подружился с Белинским, доктором Н. В. Майером, с некоторыми декабристами, переведенными на Кавказ из Сибири на службу рядовыми солдатами. В мае 1838 г. в Пятигорске неожиданно появился Огарев с женой, и друзья несколько месяцев проводят в тесном общении.

В 1839 г. Сатину было разрешено возвратиться в Москву, а в 1841 г.— выехать на лечение за границу, откуда он возвратился в 1846 г. вместе с Огаревым. С 1849 г. дружба Сатина с Огаревым скрепляется еще и узами семейного родства: оба они в этот год женятся на сестрах Тучковых — дочерях А А. Тучкова. Это совпало по времени с денежными преследованиями, затеянными против Огарева бывшей его женой. В целях спасения Старого Акшена от аукциона или конфискации (в случае нелегального отъезда за границу) Огарев передал

(безденежно) свои права на это имение Сатину. В это время в III Отделение поступают доносы. Огарев и его друзья подвергаются аресту. Обвинения не подтвердились. Все они были освобождены, но с учреждением за ними строгого полицейского надзора.

После отъезда Огарева за границу (в марте 1856 г.) Сатин, больной и обремененный большой семьей, постепенно отошел от активной литературно-общественной жизни. Жил он главным образом в Старом Акшене, занимаясь переводами и хозяйственной деятельностью. Связей с издателями «Полярной звезды» и «Колокола» не порывает, но и убеждений их этой поры в полной мере не разделяет.

«Отрывки из воспоминаний» Сатин писал в разное время в последнее десятилетие своей жизни. В них он рассказал о встречах и дружеских связях с поэтами В. И. Соколовским и А. И. Полежаевым, М. Ю. Лермонтовым и А. И. Одоевским, с декабристами В. М. Голицыным и С. И. Кривцовым, с В. Г. Белинским и Элизабет фон Арним (Беттиной).

Воспоминания о пребывании в 1838 г. в Пятигорске Огарева были написаны в 1866—1867 гг. Их особая ценность в том, что в них затронут период жизни Огарева, о котором другие мемуаристы не писали.

«Отрывки из воспоминаний» впервые опубликованы в кн.: Почин. Сборник общества любителей российской словесности на 1895 год. М., 1895, с. 237—250. Печатаются по этому изданию.

[1] *Н. В. Майер* — врач штаба кавказских войск, с которым были знакомы декабристы, Лермонтов, Огарев. В «Герое нашего времени» Лермонтова доктор Вернер обнаруживает, по мнению современников, портретное сходство с Н. В. Майером.

[2] Сатин расстался с Огаревым и Герценом 31 марта 1835 г.— после объявления им приговора. Подробнее об этом в «Былом и думах» (см. с. 64 наст. изд.).

[3] Огарев писал Герцену 6 ноября 1839 г.: «Да, Ritter (так в дружеском кругу нередко звали Сатина.— *Л. К.*) человек, за способность любить которого я готов стать перед ним на колени. Мне кажется, этой силы ни у кого из нас нет. Он почти женщина, любит до нежности» (*Огарев*, т. II, с. 302).

[4] См. коммент. 47 на с. 474.

В. К. ВЛАЗНЕВ

К БИОГРАФИИ Н. П. ОГАРЕВА

Василий Кузьмич Влазнев (1839— ?), крестьянин села Верхний Белоомут бывшей Рязанской губернии, поэт-самоучка и краевед-любитель, собиравший и публиковавший материалы по истории родного села. В 1860-х гг. способный и любознательный юноша учился в Москве техническому рисованию и резьбе по дереву. В это время он встретился и сблизился с поэтом-крестьянином И. З. Суриковым и членами его кружка. Стал писать сам.

Основу очерка «К биографии Н. П. Огарева» составили собственные детские воспоминания Влазнева, дополненные воспоминаниями отца мемуариста и других старожилов Белоомута. Ценность этих воспоминаний в том, что в них содержится картина взаимоотношений Огарева с крестьянами одной из его вотчин, которых он еще в 1840-х гг. освободил от крепостной зависимости, переведя их в разряд вольных хлебопашцев.

Очерк впервые опубликован в кн.: Под знаменем науки (Юбилейный сборник в честь Н. И. Стороженко, изданный его учениками и почитателями). М., 1902, с. 657—663. Печатается по этому изданию.

[1] Договор Огарева с крестьянами вступил в законную силу после его подписания и регистрации в Рязанской палате гражданского суда 30 января 1846 г. представителями обеих сторон. От имени Огарева по его доверенности договор подписал крестьянин Верхнего Белоомута С. И. Шлыгин.

[2] По указу о вольных хлебопашцах, введенному Александром I в 1803 г., помещики получали право отпускать своих крепостных крестьян на волю по обоюдному добровольному соглашению. Указ применялся крайне редко. К середине XIX в. было освобождено только около 150 тыс. крепостных (из общего количества в 10—11 млн. ревизских душ).

[3] Огарев приехал в Верхний Белоомут 21 марта 1839 г. из Владимира после свидания с Герценом.

[4] Имеется в виду одна из дочерей Анны Платоновны — Вера Сергеевна, в замужестве — графиня Зубова. Вера Сергеевна дважды навещала Огарева в Женеве.

И. А. САЛОВ

УМЧАВШИЕСЯ ГОДЫ

(Из моих воспоминаний)

Илья Александрович Салов (1834—1902), писатель и мемуарист. Раннее его детство прошло в с. Никольском бывшей Пензенской губернии, неподалеку от Старого Акшена. В ту пору он часто бывал в с. Яхонтове, в доме А. А. Тучкова, который был его опекуном. Здесь нередко видел Огарева, который подолгу гостил у своего старшего друга. Первые впечатления мемуариста о поэте из Акшена были чисто внешними. Позже они стали пополняться теми сведениями, которые слышал об Огареве от окружающих. Во время «путешествий» из с. Никольского до Пензы и обратно мальчик всякий раз бывал в Акшене, где останавливались кормить лошадей. Ему хорошо запомнились: Акшенская усадьба, барский дом, старинный парк, обширный сад и пруды. Описание усадьбы является едва ли не единственным в мемуарной литературе.

Свои воспоминания И. А. Салов писал в последние годы жизни. Впервые опубликованы им самим (*РМ*, 1897, № VII, с. 1—6; № VIII, с. 7—8, 15—16). В наст. изд. печатаются по этим публикациям.

[1] Река Кочерга разделяла Акшено на две части — верхнюю и нижнюю.

[2] Неточная цитата из стихотворения Огарева «Обыкновенная повесть».

[3] Н. М. Сатин перевел пьесу Шекспира «Буря» (1840) и его драму «Сон в Иванову ночь» («Сон в летнюю ночь») (1851).

[4] Винокуренный завод находился неподалеку от с. Богдановки, именовавшегося так в память о его деде по отцу.

Т. П. ПАССЕК

ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ. ВОСПОМИНАНИЯ

(Отрывки)

Татьяна Петровна Пассек (1810—1889), родственница и близкий друг Герцена. Очень рано установились у нее дружественные отношения и с Огаревым. Особенно упрочились они с ноября 1832 г., когда Татьяна Петровна стала женой

Пассека — товарища Герцена и Огарева по Московскому университету, члена их студенческого кружка. В одном из писем 1833 г. Герцен писал Огареву: «Ты, Вадим и я — мы составляем одно целое...» (*Герцен*, т. XXI, с. 20).

Однако по окончании университета пути их разошлись. Вадим Пассек увлекся главным образом археологическими и этнографическими занятиями и разысканиями.

Т. П. Пассек не разделяла социально-политических и философских воззрений Огарева и Герцена. Вместе с тем она всегда восторгалась яркостью и всесторонностью их творческих дарований, чистотой патриотических помыслов. Поэтому Пассек, не страшась трудностей, посвятила многие годы жизни созданию и публикации своих воспоминаний о них, друзьях своей юности и молодости.

Первые главы будущей книги Пассек «Из дальних лет» увидели свет в 1872—1873 гг. на страницах журнала «Русская старина».

Исследователи не раз указывали на сложный характер книги «Из дальних лет», в которую вошли не только собственные воспоминания и наблюдения. Широко использовала Пассек, в частности, автобиографическую прозу Герцена. Прежде всего ту, которая не публиковалась при жизни автора, осталась в рукописях (в так называемых «Брошенных листках») в старом яковлевском доме в Москве по отъезде его в 1847 г. за границу. Из этих «листков» Пассек извлекла и впервые опубликовала в своей книге герценовскую повесть «О себе» (гл. «Последний праздник дружбы» и др.). Использовались и опубликованные произведения Герцена — «Записки одного молодого человека», в особенности — «Былое и думы». В 1870-е гг. эти публикации имели огромное значение: они, по словам мемуаристки, открывали автору этих произведений «первый свободный вход в Россию» (*ЛН*, т. 63, с. 624).

Работая над мемуарными очерками, Пассек обращалась к воспоминаниям о Герцене и Огареве других лиц,— тех, кто близко знал их, кто общался с ними в разные периоды их жизни и деятельности (М. К. Рейхель, Т. А. Астракова, Н. А. Тучкова-Огарева). Немало ценнейших материалов получила Пассек из рук самого Огарева во время встречи с ним в 1873 г. в Женеве.

После письма Огарева со стихотворением «Твое письмо меня нашло...» она вскоре «опять получила письмо от Ника и первую главу его мемуаров, местами перемешанных стихами». «Кроме автобиографии в прозе — указала Пассек — Ник писал свою автобиографию и в стихах...» (*Пассек*, т. 2, с. 608). «Автобиография в прозе», т. е. «Записки русского помещика»

были начаты по просьбе и настоянию Т. П. Пассек. В 1873 г. Огарев переслал Пассек книгу стихотворений (Лондон, 1868). Во время пребывания у Огарева Пассек получила от него письма Герцена к Огареву последних лет (см.: *ЛН*, т. 63, с. 603—613), наброски некоторых незавершенных стихотворений и рукопись поэмы «Матвей Радаев».

С вовлечением всех этих материалов все большее место и значение приобретала в мемуарах Пассек огаревская тема, все ярче вырисовывалась личность друга и соратника Герцена. В эту часть книги «Из дальних лет» органично вошли и личные воспоминания мемуаристки о детских и отроческих годах Огарева, о встречах с ним в Англии и Швейцарии. В главе «Реклама» воспроизведен рассказ Т. А. Астраковой о жене Огарева Марье Львовне и об их встрече с Герценами во Владимире в марте 1839 г.

В последнее время из зарубежных архивов получены материалы, которые после их публикации, внесут, по-видимому, ряд уточнений в воспоминания Т. П. Пассек.

Первое отдельное издание книги «Из дальних лет» было подготовлено самой Пассек. Оно состояло из трех томов. Два первых из них вышли в свет в 1878—1879 гг., третий — в 1889 г.— уже после смерти мемуаристки.

Воспоминания Пассек об Огареве, содержащиеся в ее книге, печатаются по изд: Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания, т. 1—2. М., Художественная литература, 1963.

ИЗ ГЛАВЫ 24. ТОВАРИЩЕСКИЙ КРУГ. 1832—1833

[1] Эпиграф — из стихотворения Е. П. Ростопчиной «Где мне хорошо» (1838). Неточная цитата.

[2] Бракосочетание состоялось 23(11) ноября 1832 г. «Вадим и я хотели обвенчаться тихо и просто. Товарищи его, мимо нас, на свой счет осветили церковь, взяли лучших певчих и сами явились grande tenue *. Венец держали надо мной попеременно: Саша, Н. М. Сатин и А. Н. Савич 〈...〉 Над Вадимом — Н. Х. Кетчер, Ник и Бахтурин» (*Пассек*, т. 1, с. 436).

[3] Альманах задумал В. Пассек. Статьи обещали все его друзья. 21 апреля 1833 г. Татьяна Петровна писала мужу: «...Сатин больше всех хлопочет об «Альманахе». Вчера весь день провел у нас. Сабуров помещает статью из своего путешествия по Голландии под названием «Антверпен» — отрывок

---

* В полном параде (*фр.*).

живописный. Стихов Ника и Сатина много, прелестные. Подавали рукопись в цензуру — не приняли; велели переписать...» (*Пассек*, т. 1, с. 442). Альманах не был издан.

[4] Из письма Огарева к Герцену от 7 июня 1833 г. (*Огарев*, т. II, с. 262).

[5] Из поэмы Огарева «Юмор» (ч. I, гл. 4). Две первые части поэмы написаны в 1840—1841 гг. Впервые опубликована Герценом за границей. Пассек датировала произведение 1841 г., опираясь на герценовское предисловие 1857 г. к поэме.

[6] В. Пассеку была обещана кафедра истории в Харьковском университете. Однако он не получил ее из-за своих дружеских связей с Огаревым и Герценом, сосланных в апреле 1835 г.

[7] В 1834 г. В. Пассек издал в Москве книгу — «Путевые очерки», поразившую молодого Белинского обилием риторики (см.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., АН СССР, т. 1, с. 152).

[8] «Очерки России» (1838) — вторая книга В. Пассека. Огарев с иронией писал Герцену: «Вадим издал книгу, в которой я одну статью начал читать: «Люблю тебя, красавица моя, Таврида! Ты очаровательна, у тебя море течет по разметанным членам и т. д.» Очень поэтично-с написано» (*Огарев*, т. II, с. 308).

ГЛАВА 25.
ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ. 1833

[1] Эпиграф — цитата из поэмы Огарева «Юмор» (ч. 1, гл. 6).

[2] Из цензурных соображений Пассек называет отрывок герценовской повести «О себе» «Заметками покойного мужа».

[3] Члены огаревско-герценовского кружка чаще всего собирались у Огарева в доме на Большой Никитской ул.

[4] *Стенторский голос* — громовый голос (от англ. stentorian), по имени упоминаемого в «Илиаде» воина Стентора, обладавшего необычайно громким голосом.

[5] В кругу Огарева — Герцена *упсальским бароном* в шутку называли Н. Х. Кетчера. Предки Кетчера — выходцы из Швеции. Упсала — университетский город в Швеции.

[6] Карл Занд (Санд), студент Иенского университета, казненный в 1820 г. за убийство реакционного немецкого писателя Коцебу.

[7] В Париже на Вандомской площади в 1806 г. в ознаменование побед Наполеона была сооружена колонна с его статуей.

[8] Имеются в виду А. Н. Савич и Н. И. Сазонов. Первый из них в 1836 г. производил нивелирование территории между Каспийским и Черным морями, второй в 1834—1835 гг. путешествовал по странам Западной Европы.

[9] Английский физик *Гемфри Дэви*, изобретатель рудничной лампы для работы в каменноугольных копях с гремучим газом.

[10] Конвент Франции в 1792 г. присудил Ф. Шиллеру за трагедию «Разбойники» звание гражданина Французской республики.

[11] В 1832 г. французы оккупировали итальянский порт Анкону, изгнав оттуда австрийцев. Ф. Шиллер умер в 1805 г.

[12] Четверостишие из «Пуншевой песни» Ф. Шиллера.

[13] Деятельность двух трагиков русской театральной сцены, П. С. Мочалова и В. А. Каратыгина, в 1830—1840-х гг. нередко была предметом горячих споров в кругу Герцена и Огарева.

[14] *Архангельское* — подмосковная усадьба кн. Н. Б. Юсупова.

[15] Из песни П. Беранже «Путешествие в страну Кокань».

[16] Французский художник Ж.-Л. *Давид* (1748—1825) был активным деятелем революционного Конвента. В картине «Сафо и Фаос» он попытался сочетать героику революции с «спартанским духом». Луи *Сен-Жюст* (1767—1794) — один из руководителей якобинской диктатуры.

[17] *Виже-Лебрен Мари* (1755—1842) — французская художница. В 1795—1801 гг. жила в Петербурге.

[18] Здесь Пассек завершает цитацию герценовского текста, извлеченного ею из его автобиографической повести «О себе».

ИЗ ГЛАВЫ 30. РЕКЛАМА. 1834—1840

[1] Глава получила свое название от шуточного объявления, написанного Герценом по просьбе К. И. Зонненберга. Последний был озабочен распродажей персидского порошка (пиретрума), привезенного им с Кавказа. Пассек ошибочно датировала эту «рекламу» 1839-м годом. В действительности Герцен написал ее в 1844 г. и тогда же и опубликовал (*ОЗ*, 1844, № 11). Большую часть этой главы Пассек заполнила воспоминаниями Т. А. Астраковой.

[2] Сестра Сатина — Анастасия Михайловна (по мужу — Стравинская). «Когда Ник и жена его услыхали, что сестра Сатина на Бородинских маневрах выпросила помилование своему брату, то у них родилась мысль ехать в С.-Петербург и также просить о помиловании (*Пассек*, т. 2, с. 586—587).

[3] Ошибка. Мария Львовна была племянницей пензенского губернатора Панчулидзева, Огарев женился на ней не в Тамбове, а в Пензе.

[4] *Николай Иванович* Астраков (1809—1842) — муж Татьяны Алексеевны, преподаватель математики, друг юности Герцена.

[5] Цитируется письмо Герцена к Н. И. и Т. А. Астраковым, написанное между 15 и 18 марта 1839 г. (*Герцен*, т. XXII, с. 16).

ИЗ ГЛАВЫ 47. В АНГЛИИ. 1861

[1] Пассек приехала в Лондон в конце августа 1861 г. и пробыла здесь до 2 сентября.

[2] Неточно. Огарев был дома, и мемуаристка встретилась с ним на другой же день по своем приезде в Англию. (См.: *Пассек*, т. 2, с. 706).

[3] Пассек говорит о картине русского художника А. П. Боголюбова «Апофеоз «Колокола» и «Полярной звезды», подаренной автором Герцену. Хранится в *ГБЛ*. Картина напомнила мемуаристке стихотворение Ф. Шиллера «Песнь о колоколе» (1798).

[4] Воспоминания Пассек о встрече с Огаревым в Лондоне, опубликованные в «Полярной звезде» (1881, № 1—5), отличаются лишь некоторыми деталями. «Я нашла в нем мало перемены — он был только грустнее и как-то сосредоточеннее в самом себе. Ник сказал нам, что с Александром живут на даче: Тата, Оленька и его жена с двухлетнею дочерью Лизой. Говорил, что Александр писал ему о нашем приезде и зовет нас к себе в Торквей. Решено было ехать к Александру через два дня, а эти два дня провести с Ником. Ник звал нас к себе вечером. Мы нашли у него человек шесть его знакомых, которых он мне и представил. Оказалось, что все они меня знают по слуху и рады меня видеть. Ник, по-прежнему усевшись в кресло, уединился в уголок и больше слушал, нежели говорил. Разговор шел оживленный, я почти не принимала в нем участия — интересы разговора были мне чужды.

Дружественнее всех ко мне отнесся В. И. Кельсиев. Он сел подле меня, рассказывал о их жизни в Лондоне и сквозь слезы о своей собственной жизни. Я слушала его с участием. Мы уехали домой поздно, после довольно роскошного ужина. На другой день Ник, Кельсиев и два самых близких приятеля Ника пили у нас вечером чай.

Через два дня Ник проводил меня на железную дорогу. Возвратившись из Торквея, мы пробыли еще несколько дней в Лондоне и уехали в Париж» (*Пассек*, т. 2, с. 619—620).

ИЗ ГЛАВЫ 3
〈В ШВЕЙЦАРИИ〉 1873

[1] Эпиграф — не совсем точная цитата из стихотворения Огарева «Младенец» (*Огар.*, т. 1, с. 139).

[2] В материалах, опубликованных в «Полярной звезде» (1881, № 1—5), Пассек подробнее писала о времени, предшествующем ее встрече с Огаревым в Женеве: «Оставшись опять одна с своими думами и воспоминаниями, я, чтобы пополнить их сколько-нибудь из жизни сороковых годов, обратилась за этим к Нику — просила его написать мне, что можно, из их жизни в тот период времени. Я знала, что Ник не забыл меня и не изменился. Он всегда любил меня и Вадима. После моего замужества бывал у нас почти каждый день и проводил целые часы в задушевных разговорах в нашем кабинете 〈...〉 Я послала Нику сердечное письмо. В нем воскресало все былое. Ник немедленно отвечал мне».

Вслед за этим Пассек приводит стихотворные строки, с которыми обратился к ней в своем ответном письме Огарев:

«Твое письмо меня нашло
В хандре, унылого, больного...»
(*Пассек*, т. 2, с. 607).

В прозаической части письма Огарев писал: «Письмо твое только что получил, прошедшее воскресло, и я берусь за перо. Пишу сегодня вечером, но на почту отнесу только завтра. «Русской старины» не получал, мемуары свои пишу для тебя, делай из них что хочешь. Я был бы очень рад, если б это прошло в «Русской старине» 〈...〉 А не пройдет в печати, так сохрани для себя и для друзей» (т а м ж е, с. 608).

[3] Ответ на неизвестное письмо Пассек. Впервые опубликовано в *РС*, 1886, № 2, с. 453—454. С сокращениями печата-

лось и в «Полярной звезде» (1881, № 3, с. 75). Автограф неизвестен.

[4] Н. А. Тучкова жила в это время в окрестностях Цюриха со своими племянниками — детьми Н. М. и Е. А. Сатиных.

[5] Речь идет о «Записках русского помещика» (1873).

[6] Письмо датируется 10—11 января 1873 г. Впервые опубликовано в *РС*, 1886, № 2, с. 454. Автограф неизвестен.

[7] Отрывок из письма от 6 апреля 1873 г. в ответ на письмо Пассек от 2 апреля 1873 г. В *ПЗ* (1881, № 3, с. 69) текст этого письма полнее, но с неточностями. «Наконец-то пришло от тебя письмо из Вены, старый друг Таня, и пришло в день *его* рождения. Также пришло сегодня письмо и от Марьи Каспаровны из Берна, с твоим адресом и с известием, что они сегодня в Цицелиумферейне, в день его рождения, поют реквием Керубини. Странное дело, не могу удержаться от нервного плача. Что же делать!

При этом письме посылаю вторую главу. Если что найдешь нужным поправить, я тебе вполне доверяю — и примусь за третью.

С нетерпением жду твоего письма. Долгое прекращение переписки мне было бы не по сердцу — и по старой дружбе и по возможной пользе. *Ник*» (*Пассек*, т. 2, с. 609—610).

«...в день его рождения» — в день рождения Герцена 6 апреля.

В гл. «Ник» воспоминаний «Из дальних лет» Пассек указала еще и на то, что в этом же письме Огарев прислал ей стихотворение «Памяти друга» («Друг детства, юности...», *Пассек*, т. 1, с. 273).

[8] Письмо не датировано. Впервые опубликовано в *РС*, 1886, № 2, с. 455.

[9] Ответ на одно из писем Пассек из Вены. Впервые опубликовано в *РС*, 1886, № 2, с. 455.

[10] Ответ на письмо Пассек от 14(26) февраля 1873 г. Написано в первых числах марта. Впервые в сокращенном виде напечатано в *ПЗ* (1881, № 3, с. 72). Есть разночтения с текстом этого же письма, опубликованном в *РС*, 1886, № 2, с. 455—456.

[11] По дороге в Женеву Пассек заехала в Берн к М. К. Рейхель. *Вейсенбюль* — усадьба Рейхелей близ Берна.

[12] Адольф *Рейхель* (1817—1896) — композитор и профессор консерватории, муж М. К. Рейхель.

[13] В воспоминаниях, опубликованных в *ПЗ* (1881, № 4), этот эпизод представлен несколько иначе, с дополнительными и существенными подробностями. «Прощаясь с Ником на английском пароходе, мы не надеялись еще увидаться. С того вре-

мени прошло десять лет, и мы опять вблизи друг от друга, и он опять ждет нас к себе ⟨...⟩.

Я приехала в Женеву утром. Когда вошла в комнату Ника, он сидел задумавшись в креслах, увидавши меня, хотел встать, но снова опустился и залился слезами. Обнявши меня, он, рыдая, вполголоса сказал: «Ты знаешь нашу несчастную историю? Что мне оставалось делать, когда они пришли ко мне?» (Видно, эта история глубоко и больно запала ему в душу).— «Оставим это, Ник,— ответила ему я.— Я так рада, что тебя вижу,— у нас многое найдется, о чем поговорить».

Мало-помалу Ник успокоился. Я нашла, что он состарился и очень опустился; но прежняя магнитность и кротость, даже что-то юное, еще сохранилось в его прекрасных глазах ⟨...⟩.

Вскоре прибежала к нам простодушная Мери и юноша Генри. На лицах их сияла радость, как бы при свидании с старым другом. Тотчас раскрыли двери балкона, придвинули к нему стол с чистейшей скатертью, явился кофей, сливки, хлеб ⟨...⟩.

Квартира Ника была в бельэтаже,— с балкона виднелось Женевское озеро. Она состояла из большой гостиной, которая была вместе кабинет и спальня; тут же стояло хорошее роялино, отрада Ника. Из гостиной одна дверь вела в комнату Генри, другая в столовую, а за столовой была очень чистая кухня — царство Мери» (*Пассек*, т. 2, с. 620, 621, 622).

«Ты знаешь нашу несчастную историю?» — речь идет о решении Герцена и Тучковой вступить друг с другом в гражданский брак.

[14] В своем завещании Герцен обязал детей высылать Огареву ежегодно по 6 тысяч франков до дня его кончины. Завещание было исполнено.

[15] В изложении содержания бесед Пассек с Огаревым, помещенных в двух изданиях, нет существенных отличий. Но один эпизод отмечен мемуаристкой только в *ПЗ*: «Я подарила Нику стихотворения Некрасова. Читая «Русские женщины», он, немного затрудняясь, сказал: «Хотя у меня на душе многое против автора, но это прекрасно» (*Пассек*, т. 2, с. 622). Поэма «Русские женщины» была опубликована в 5 части «Стихотворений Н. Некрасова» (СПб., 1873).

[16] Автором романса «Я жду тебя, когда зефир игривый...» был не Алябьев, а И. И. Рейнгардт.

[17] Пассек использует здесь форму письма Герцена к Огареву, неточно цитируя «Былое и думы» (*Герцен. Сочинения*, т. 6, с. 427).

[18] Неточная цитата из дневниковой записи Герцена 26 июня 1844 г. (*Герцен*, т. II, с. 361).

[19] Поэму Огарева «Матвей Радаев» Пассек публиковала дважды (в *РС*, 1886, № 2 и в т. 3 «Из дальних лет»). Но обе публикации были неисправными.

ИЗ «ПРИЛОЖЕНИЯ 1» «ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ»

[1] Отрывки из глав, напечатанных в журнале Е. А. Салиас де Турнемир (1840—1908) «Полярная звезда» за 1881 г. № 1—5.

[2] Эпиграф — из стихотворений Огарева «Портреты» (1856) и «Много грусти» (1841, последние четыре строки).

[3] Имеется в виду именье, принадлежавшее в 1820-х гг. П. Б. Огареву в сельце Нижнем в Корчевском уезде Тверской губернии.

[4] Об этом эпизоде Пассек рассказала еще и в гл. «Ник» своих воспоминаний «Из дальних лет»: «Я видала Ника с его семи-восьмилетнего возраста, когда все семейство Огаревых приезжало на лето в их тверское именье, находившееся недалеко от Корчевы. Помню их богатый дом, полы, устланные мягкими коврами, высокую, строгую бабушку, с зеленым зонтиком на глазах, и другую — низенькую и кроткую. Помню Ника в пунцовой лейб-гусарской курточке с золотыми шнурками, торжественную тишину и чинность в доме, отношения всех к Нику и его молоденькой сестре, как к чему-то священно хранимому для великой будущности.

Бывала я у Огаревых и в Москве с тетушкой Лизаветой Петровной, почему-то бывшей в дружбе с одной из бабушек Ника. В Москве помню в торжественные дни их роскошные обеды с трюфелями, петушиными гребешками, дорогими рыбами и птицами, со множеством нарядных, чинных гостей, с важными духовными лицами и со страшной, томительной тоской. Из всей этой толпы выделялся двенадцатилетний отрок, с раскинутым воротом рубашки, с печальным взором, неподвижно, молчаливо сидевший у окна подле Карла Ивановича Зонненберга. Таким я застала его и по возвращении моем из Корчевы в 1828 году» (*Пассек*, т. 1, с. 278).

[5] Платон Богданович Огарев не был сенатором.

[6] Имеется в виду Маша Наумова, судьба которой сложилась действительно трагично: она погибла от чахотки. Огарев посвятил ей стихотворение «К подъезду!» (*Огар*., т. 1, с. 160).

[7] Стихотворения, о которых идет речь, Пассек извлекла из записной тетради Огарева и опубликовала под общим загла-

вием «Из альбома Е***» (*Пассек*, т. 2, с. 626—633). Здесь десять лирических стихотворений Огарева из цикла «Buch der Liebe» («Книга любви»). Цикл создавался поэтом в 1842—1844 гг. и посвящен им Евд. В. Сухово-Кобылиной («Душеньке»). Записную тетрадь Пассек получила из рук Е. А. Салиаса де Турнемир — племянника Евд. В. Сухово-Кобылиной, издателя и редактора «Полярной звезды».

И. И. ПАНАЕВ

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Иван Иванович Панаев (1812—1862) — писатель, журналист, один из редакторов «Современника». На его петербургской квартире часто собирались виднейшие деятели русской литературы, искусства и театра. Среди них можно было видеть Белинского, Герцена, Огарева, Тургенева, Анненкова, Достоевского. Значительный интерес представляют его «Литературные воспоминания», в которых отразились многие факты истории русской культуры за три десятилетия.

Над своими «Литературными воспоминаниями» Панаев работал в 1860—1861 гг. Отдельные их главы выходили в свет на страницах «Современника» и нередко с большими цензурными трудностями. Первое отдельное издание воспоминаний Панаева вышло в свет в 1876 г. Наиболее полное и научно подготовленное издание книги было осуществлено в 1928 г. (М.— Л., «Academia»).

Здесь отрывки из воспоминаний Панаева печатаются по кн.: П а н а е в И. И. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950.

[1] Герцен выехал за границу 19 января 1847 г.

[2] Из письма Грановского к Герцену от 25 августа 1849 г. См. «Былое и думы» (*Герцен. Сочинения*, т. 5, с. 125). (Полностью письмо в *ЛН*, т. 62, с. 96—98).

[3] *«Яр»* — гостиница в Москве, в которой по приезде из-за границы остановились Огарев и Сатин.

[4] Грановский говорил о восьмом письме Герцена из цикла его «Писем об изучении природы» под заглавием «Реализм» (*ОЗ*, 1846, № 4).

[5] Перед вторым отъездом за границу (20 июня 1842 г.) Огарев побывал у Герцена в Новгороде и у Белинского в Петер-

бурге. В продолжение нескольких дней жил в Павловске. 14 июня он писал Евд. В. Сухово-Кобылиной: «Вчера я был в Царском селе. Что за сад! Мне как-то хорошо было. И лицей тут — я думал о Пушкине» (*ЛН*, т. 61, с. 863).

[6] На Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры была похоронена мать Огарева, Елизавета Ивановна.

[7] Имеется в виду писатель Владимир Александрович Соллогуб.

[8] *«Молочница»* — царскосельский «Фонтан молочницы или разбитый кувшин», воспетый Пушкиным в стихотворении «Царскосельская статуя» (1830).

М. К. РЕЙХЕЛЬ

«ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ...»

Марья Каспаровна Рейхель (урожд. Эрн, 1823—1916) — один из самых близких и верных друзей семьи Герцена, воспитательница его детей. С отроческих лет жила в Москве в доме И. А. Яковлева, постоянно общаясь с Герценом, Огаревым, их близкими. В 1847 г. вместе с Герценами уехала за границу, где в 1850 г. стала женой немецкого музыканта А. Рейхеля.

«Отрывки из воспоминаний...» Рейхель писала в преклонном возрасте. Но это не помешало ей воскресить в памяти наиболее значительные и глубокие впечатления молодости. Незабываемой, в частности, оказалась для нее жизнь летом 1846 г. в Соколове. С искренней любовью вспомнила она и о людях, среди которых жила в ту пору, и об общей атмосфере, которая царила в их кругу и определяла их отношения.

Воспоминания Рейхель печатаются по кн.: Рейхель М. К. Отрывки из воспоминаний и письма к ней Герцена. М., 1909.

[1] Кирилл Антонович *Горбунов* (1822—1893) — художник-портретист, из крепостных крестьян Чембарского уезда Пензенской губернии, близкий к кругу Белинского, Герцена и Огарева. Ему, в частности, принадлежит шуточный рисунок, изображающий дружескую пирушку в павильоне парка «Пондевуй» (хранится в рукописном отделе *ГБЛ*).

Н. А. ГЕРЦЕН

ИЗ «ДНЕВНИКА»

Наталья Александровна Герцен (урожд. Захарьина, 1817—1852) — жена Герцена. Немногие ее дневниковые записи конца 1846 г. посвящены тому периоду жизни Герценов, когда остались позади идейно-философские споры в Соколове, приведшие к распаду прежних дружеских связей, впереди было путешествие в Европу.

Много внимания уделила Н. А. Герцен в своих записях Огареву. Ее свидетельства отличаются редкой наблюдательностью и проницательностью.

Дневник Н. А. Герцен печатается по: *Герцен. Сочинения*, т. 5, с. 633—639.

[1] Марья Федоровна Корш — сестра Е. Ф. Корша.

[2] 2 ноября 1846 г. Огарев отправился из Москвы в Старое Акшено.

А. Я. ПАНАЕВА (ГОЛОВАЧЕВА)

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Авдотья Яковлевна Панаева (1819—1893) — писательница, жена И. И. Панаева, с середины 1840-х гг.— гражданская жена Н. А. Некрасова. В продолжение многих лет ей довелось общаться со многими русскими писателями и критиками, учеными и деятелями искусства, примыкавшими к «Современнику». Книга ее «Воспоминаний» рассматривается в качестве ценного мемуарного памятника, хотя не раз отмечалось, что не всегда мемуаристка могла осмыслить внутреннюю суть явлений, фактов, событий.

Значительное место в воспоминаниях Панаевой отведено Огареву, в частности — делу о так называемом «огаревском наследстве», которое возникло и развертывалось при ее активном участии. Но рассказала она обо всем крайне субъективно, неверно, не считаясь с реальными фактами, что убедительно показано во многих исследованиях прошлых и последних лет (см. вступ. статью).

Над своими мемуарами Панаева работала в последние годы жизни. Впервые русские читатели познакомились с ними на страницах журнала «Русский вестник» (1889, № 1—11). В 1890 г. они вышли в свет отдельной книгой.

Отрывки из воспоминаний Панаевой печатаются по изд.: Панаева А. Я. (Головачева). Воспоминания. М., Художественная литература, 1972.

[1] Во второе заграничное путешествие Огарев отправился 21 июня 1842 г.

[2] Панаевы выехали за границу из Петербурга в конце сентября 1844 г. В Берлин они прибыли 3 октября.

[3] Из заграничного путешествия Панаевы возвратились в мае 1845 г.

[4] Огарев возвратился из заграничного путешествия в Москву в марте 1846 г.

[5] В статье «Very dangerous!!!» (Колокол, 1859, л. 44) Герцен допустил несправедливый выпад против «Современника». В частности, намекая на Добролюбова, высмеивавшего либеральное обличительство, он писал: «Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до *Станислава на шею!*» (*Герцен*, т. XIV, с. 121).

[6] Напротив, в период 1859—1861 гг. «Колокол» достиг апогея своей популярности в России. Его упадок начался с начала 1863 г., когда Герцен и Огарев выступили в защиту восставшей Польши.

[7] Несправедливый намек на Тургенева. В Лондон Тургенев приехал 1 июня (20 мая) 1859 г., т. е. уже после опубликования статьи «Very dangerous!!!» в «Колоколе».

[8] В Лондон для встречи и переговоров с издателями «Колокола» в июне 1859 г. приезжал Чернышевский. Во время его бесед с Герценом и Огаревым затрагивался, несомненно, весь круг вопросов, связанных с задачами освободительного движения в России. (Подробнее об этом: Козьмин Б. П. Поездка Н. Г. Чернышевского в Лондон в 1859 году и его переговоры с А. И. Герценом.— В кн.: Козьмин Б. Литература и история. М., 1969).

[9] Поездка Чернышевского в Лондон к Герцену и Огареву хранилась в глубокой тайне. Официально она предпринималась в Париж. Об этом событии могли знать только Некрасов, Панаев, Добролюбов и, может быть, Панаева.

[10] Тургенев в ту пору работал над романом «Отцы и дети».

[11] Письмо неизвестно.

[12] Панаева встречалась с Марией Львовной за границей (в Берлине) в 1844 г., но тогда отношения их не были близкими. В действительности они сблизились во время кратко-

временного пребывания Марии Львовны летом и осенью 1846 г. в Петербурге.

[13] Неверно. Огарев оформил и вручил бывшей своей жене осенью 1846 г. шесть векселей на общую сумму в 300 тыс. руб. ассигн. (85 815 руб. сереб.), с условием ежегодной выплаты ей с этой суммы по 6 % годовых, т. е. по 18 тыс. руб. ассигн. в год.

[14] Огарев и Мария Львовна расстались навсегда в Берлине в декабре 1844 г.

[15] Неверно. 23 декабря 1848 г. Панаева писала Марии Львовне в Париж: «Доверенность твою я получила и намерена приступить к делу» (*Черняк*, с. 361). «...приступить к делу» — означало предъявить векселя ко взысканию.

[16] В марте 1849 г. Огарев встречался с Панаевой и убедил ее в том, что векселя, выданные им Марии Львовне, он оплатит беспрекословно в течение пяти лет. Панаева, в свою очередь, обещала не действовать в ущерб его интересам. Об этом можно судить по ее письму к Марии Львовне от 16 апреля 1849 г. (*Черняк*, с. 375—376).

[17] Мария Львовна не согласилась с условиями Огарева. В связи с этим Панаева потребовала от нее новой доверенности, на основании которой она могла бы предъявить векселя ко взысканию в судебном порядке. В конце мая 1849 г. такая доверенность была уже у нее в руках. 29 мая она извещала Марию Львовну: «Посылаю вам деньги, полученные вчера из Москвы от Огарева. Доверенность я получила и все обработала. На днях едет в Москву по этому делу один из моих знакомых, г-н Шаншиев, очень деловой и благороднейший человек, и будет действовать по желанию твоему, т. е. подаст ко взысканию в случае недружелюбной сделки с Огаревым» (*Черняк*, с. 376—377).

[18] Неверно. Векселя хранились у Грановского (по обоюдному согласию Огарева и Марьи Львовны), и Панаевой (или ее поверенному Шаншиеву) предстояло еще взять их у него.

[19] Мария Львовна ежегодно получала от Огарева по 13 тыс. руб. ассигн. в год (по 5 тыс. он высылал ее отцу — по ее распоряжению).

[20] Гражданский брак с Н. А. Тучковой поставил Огарева в 1849 г. перед необходимостью нелегального отъезда за границу. Во избежание конфискации всей недвижимой собственности Огарев и его друзья (среди них и Грановский) вынуждены были в срочном порядке оформить купчие крепости на Акшено и Чертково со всеми прилегающими к ним деревнями. Покупателями были Сатин и К. И. Яниш.

[21] Имеется в виду Н. Х. Кетчер.

[22] По «мировой сделке» 1851 г. Марье Львовне перешло Уручье — большое помещичье хозяйство, состоявшее из шести сел и деревень (в Орловской губернии).

[23] По совершении «мировой сделки» в руки поверенных Марии Львовны, Панаевой и Шаншиева, было передано около 57 тыс. руб. сереб., в том числе около 10 тыс. руб. сереб. наличных денег.

[24] Уручье было оценено в 25 тыс. руб. сереб. Шаншиев оставил его за собой, добившись от Марии Львовны согласия на отсрочку платежа на два года, т. е. до весны 1853 г.

[25] Наследниками Марьи Львовны после ее смерти были признаны Огарев и М. М. Каракозов, ее племянник. Их поверенные требовали от Панаевой и Шаншиева возвращения того капитала, который был передан им по «мировой сделке» 1851 г.

[26] Суд определил равную ответственность Панаевой и Шаншиева перед наследниками М. Л. Огаревой. За Панаеву ее долю платежа принял на себя Некрасов. В конце декабря 1860 г. он писал Добролюбову: «По делу Огарева мы не 50 т. заплатили, а 12-ть. Это, конечно, не послужило к улучшению наших дел, однако и не вовсе нас погубило» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч., т. X. М., ГИХЛ, 1952, с. 432).

[27] После смерти Марии Львовны в ее квартире было найдено 220 франков (около 55 руб. сереб.). Последние три месяца она жила в долг, который к дню ее кончины составил 1811 франков.

[28] Об участии Добролюбова в делах, связанных с «огаревским наследством», нет никаких сведений.

[29] Ссылка Панаевой на Некрасова ничем не подтверждается. Известно, однако, его письмо к ней. Оно датируется 1857 г. Говоря о своем участии в деле, связанном с «огаревским наследством», Некрасов писал ей: «...Довольно того, что я до сих пор прикрываю тебя в ужасном деле по продаже имения Огарева. Будь покойна: этот грех я навсегда принял на себя и, конечно, говоря столько лет, что сам запутался каким-то непонятным образом (если бы кто в упор спросил: «каким же именно?», я не сумел бы ответить, по неведению всего дела в его подробностях), никогда не выверну прежних слов своих наизнанку и не выдам тебя. Твоя честь была мне дороже своей и так будет...» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч., т. X, с. 365).

[30] Цитируемое письмо И. И. Панаева к Огареву неизвестно.

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Наталья Алексеевна Тучкова-Огарева (1829—1913), ближайший друг Огарева, спутница его жизни в продолжение почти целого десятилетия (1849—1857). Она знала Огарева с 1835 г., когда ей было шесть лет. С этого времени молодой опальный поэт из Акшена стал бывать в доме Тучковых в селе Яхонтове.

В 1856 г. Наталья Алексеевна и Огарев отправились в Лондон, куда настойчиво звал их Герцен после своих тяжелых семейных утрат. Вскоре Наталья Алексеевна становится его гражданской женой. Возникла новая и мучительная семейная драма, серьезно осложнившая жизнь друзей. Осложнения эти не нарушили, однако, давних духовных и творческих связей Огарева и Герцена, не остановили их литературно-публицистической, издательской и революционной деятельности, которая с течением времени становилась все обширнее и напряженнее.

Если Тучкова-Огарева и не сумела полностью осознать смысл идейно-философских исканий Герцена и Огарева, то она не могла не видеть роста их авторитета и популярности в России и в кругах европейской революционной эмиграции. В доме Герцена и Огарева Наталья Алексеевна встречала виднейших представителей русской и европейской культуры, среди которых были Гарибальди и Маццини, Тургенев и Лев Толстой, врач Боткин и художник-живописец Иванов, Стасов и Чернышевский.

В 1876 г. Тучкова-Огарева возвратилась в Россию. После того, как похоронила там, за границей, Герцена и троих своих детей.

О ее долге перед русскими читателями первым напомнил ей Анненков, который 23 апреля 1875 г. писал ей из Бадена в Париж: «Не приходило ли Вам в голову написать ⟨...⟩ психическую историю своей жизни и жизни тех замечательных людей, с которыми Вы были так близки ⟨...⟩. Лучшего памятника своей дружбы и любви к ним Вы не можете оставить» (*Архив*, с. 176).

К созданию воспоминаний об Огареве и Герцене призывала Тучкову-Огареву и Т. П. Пассек.

Первые свои мемуарные наброски об Огареве и Герцене она передала Т. П. Пассек для опубликования в ее книге «Из дальних лет» (*Пассек*, т. 2, с. 492—573). Вслед за тем она сама публиковала в «Русской старине» воспоминания (в

1890—1894 гг.). В 1903 г. «Воспоминания» вышли отдельной книгой.

Однако вне книги оставалось еще немало материалов, которые Тучкова-Огарева не пожелала публиковать при своей жизни. Это были письма, ее дневниковые и другие записи, в которых она пыталась разобраться в сложном характере своих отношений с Герценом, его детьми, с Огаревым. После ее смерти эти материалы остались в акшенском архиве Огарева, из которого были извлечены и опубликованы М. О. Гершензоном. Одна их часть вошла в книгу «Русские пропилеи», т. 4 (М., 1917), другая часть была включена в книгу «Архив Н. А. и Н. П. Огаревых» (М.— Л., Гослитиздат, 1930).

Повторное издание «Воспоминаний» Тучковой-Огаревой было осуществлено издательством «Academia» в 1929 г. В книгу были включены новые материалы, не входящие в издание 1903 г.

Отрывки из воспоминаний, дневниковых и других записей, писем Тучковой-Огаревой приводятся по следующим изданиям:

Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания. М., Гослитиздат, 1959.

Русские пропилеи, т. 4. М., 1917.

«Архив Н. А. и Н. П. Огаревых». М.— Л., Гослитиздат, 1930, с. 248—279.

[1] Находясь в пензенской ссылке (1835—1839), Огарев часто бывал в Старом Акшене и в сорока верстах от него в с. Яхонтово, где жили Тучковы.

[2] О пребывании Огарева в 1846 г. в Яхонтове Тучкова-Огарева писала еще и в главе «Семейство Тучковых», опубликованной в книге Пассек «Из дальних лет». «В это время,— читаем мы здесь,— приехал в свое имение сосед наш Николай Платонович Огарев, с которым отец наш был давно знаком и очень дружен. Мы не видали его с лишком семь лет; он провел их в своем пензенском имении, селе Старое Акшено, большею же частию в Москве, пируя с друзьями, и за границей.

У нас готовился праздник и домашний спектакль ⟨...⟩. Огарев был в числе актеров и, кроме занимаемой роли, устроивал будочку для суфлера; я помню, как перед представлением он вальсировал на сцене с Еленой, потом они распороли немного опущенный занавес, вставили в него лорнет и поглядывали на публику ⟨...⟩. Спектакль удался великолепно. Потом танцы, ужин, шампанское. ⟨...⟩ разъехались с рассветом. Огарев остался у нас ночевать и прожил месяц. Так стало по-

вторяться нередко. Уезжая, он переписывался с моим отцом» (*Пассек*, т. 2, с. 502, 503).

[3] В той же главе «Семейство Тучковых» о жизни Огарева в Яхонтове Наталья Алексеевна рассказывала: «Оставаясь у нас, Огарев вставал поздно, приходил к завтраку и до обеда оставался у отца в кабинете; перед обедом они приходили в гостиную, разговаривали и играли в шашки. Огарев после обеда курил и пил долго и много чаю. В десять часов вечера отец уходил в кабинет толковать с деревенским начальством; иногда уходил с ним и Огарев, особенно если надо было давать медицинские советы; но вскоре возвращался к нам. Повидимому, он, после отца, любил больше всех говорить с нами, — в сущности же, он был неразговорчив вообще, но так приветлив и с такой добротой смотрел на нас, что нам становилось легче и веселее при нем. Случалось нам иногда засиживаться с ним так поздно, что матушка или M-lle Мишель, побранивши нас, что не ложимся спать, уходили, и мы оставались с ним одни. Бывало, если засидимся долго, Огарев скажет: «А что, не съесть ли нам чего-нибудь?» Елена тотчас бежала в буфет, приносила что-нибудь холодное, иногда являлась и бутылка красного вина; особенно мы хорошо угощались, если старая наша няня, она же и экономка, Фекла Егоровна, поворчавши, давала нам от кладовой ключи.

После просьб и хлопот нам позволялось иногда покататься с Николаем Платоновичем в санках.

Отец посвятил Огарева во все наши семейные дела и обстоятельства, как самого близкого человека. ⟨...⟩

Огарев в это время незаметно делал все, чтобы нам жилось хорошо, и нам всегда жилось при нем хорошо, даже когда и не видали его, но знали, что он тут.

Он становился для нас ребенком — катался с нами с гор, ездил в санях, сидя на облучке, ходил с нами пешком, рылся в снегу, а когда уезжал, то нам казалось, что мы что-то теряли ⟨...⟩.

Однажды Огарев собрался ехать на какой-то большой праздник; мы растерялись. Долго ходили с ним по саду, желая, но не смея спросить, когда он вернется. Мы надеялись, что вот-вот что-нибудь случится и Огарев останется; но ничего не случилось, тарантас покатил по грязной дороге и скрылся под горой.

Мы стояли неподвижно ⟨...⟩.

Так прошло около двух недель.

В один прекрасный ясный день наша горничная девушка Любаша весело вбежала к нам, говоря: «Вставайте, вставайте, Николай Платонович едут верхом». Мы вмиг были готовы; но

Огарев, не входя к нам, прошел наверх, спросил кофе и лег отдохнуть. Чувствуя невозможность заняться чем-нибудь, мы пошли к отцу на завод и все утро ходили с ним по его работам. К завтраку явился и друг наш, и все пошло по-старому.

Вечером ходили мы с Огаревым по деревне; слушали песни крестьян, сидя на бревнах поодаль; любовались хороводами. Иногда подходили к хороводам, раздавали подарки. У нас почти всегда были бусы и ленты в карманах для взрослых и лакомства для детей.

После прогулок по деревне начались прогулки пешком по лесам, так как отец беспокоился, если мы ездили верхом 〈...〉.

Отец был спокоен, когда мы были с Николаем Платоновичем, он вполне понимал его, а в нас видел еще детей. Может, большое расстояние лет между нами и Огаревым было виной, что ни он, ни мы не думали о любви. Часто уходили мы из дому рано поутру, до жары, брали с собой кофейник, бутылку сливок и спокойно шли без дороги и без цели; какое место понравится, тут и садились». 〈...〉

[4] *«Сомнамбула»* — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801—1835).

[5] В Рим Тучковы приехали в конце 1847 г. и там встретились с Герценами.

[6] Вспоминая об этих днях, Тучкова-Огарева писала в главе «В Италии», опубликованной Пассек в ее книге «Из дальних лет»: «Странное предчувствие: Наташа мне говорила раз в Париже: — Я более создана для Огарева, а ты для Александра, в вас жизнь больше кипит, а мы больше созерцаем» (*Пассек*, т. 2, с. 514).

[7] В общество М. В. Буташевича-Петрашевского входила разночинная петербургская молодежь, придерживавшаяся социально-утопических воззрений. Собирались у Петрашевского по пятницам. 23 апреля 1849 г. среди членов общества были произведены аресты. Наиболее активные из них преданы военному суду и приговорены к смертной казни, которая была в последний момент заменена различными сроками каторги и арестантских рот. Среди приговоренных к расстрелу был Ф. М. Достоевский.

[8] Огарев и Тучкова жили близ Ялты с конца июня до конца сентября 1849 г., т. е. около трех месяцев. 12 сент. (по ст. ст.) Огарев писал из Учь-Чума Герценам за границу: «Завтра мы едем повидаться с Hélène. Пробудем ли мы зиму у Алексея Алексеевича или нет — ничего неизвестно. Одно знаю, что так как вы приедете, то срок свиданья, крайний срок — год. Мне

жаль Крыма, carissimi! * Чудный край! Взглянешь — и хорошо становится (*ЛН*, т. 61, с. 793).

[9] Из Крыма в Старое Акшено Огарев и Тучкова возвратились, по-видимому, в конце первой недели октября (по ст. ст.). 11 (23) октября Огарев писал письмо Герценам из Ст. Акшено (*ЛН*, т. 61, с. 794—795).

[10] Жандармский генерал-майор А. А. Куцинский прибыл в Яхонтово утром 22 февраля 1850 г.

[11] Огарев, Сатин и Тучков были освобождены из-под ареста 16 марта 1850 г. (*Черняк*, с. 486).

[12] Елена Алексеевна Сатина скончалась от чахотки в 1871 г. в возрасте 44-х лет.

[13] На Тальской писчебумажной фабрике Огаревы прожили около четырех лет, с 1851 и до конца июня 1855 г.

[14] Фабрика сгорела 15 июня 1855 г.

[15] М. Н. Островский стал позднее сенатором (с 1872 г.) и министром государственных имуществ (1881—1893).

[16] Ошибка мемуаристки. Речь идет о Петре Михайловиче Грибовском.

[17] Об этом времени Наталья Алексеевна рассказала в своих письмах к матери и сестре Е. А. Сатиной. См. с. 319—324 наст. изд.

[18] 16 января 1856 г. вопрос о заграничных паспортах Огаревых был решен. Директор департамента исполнительной полиции С. Р. Жданов сообщил генерал-адъютанту Н. А. Огареву о том, что «отставному коллежскому регистратору Огареву всемилостивейше дозволено с женою отправиться к Гастейнским минеральным водам и в северную Италию для излечения болезни, и что заграничный для него паспорт завтрашнего числа будет препровожден к г. С-Петербургскому военному генерал-губернатору» (*Пропилеи*, т. 4, с. 146—147). Получив паспорта, Огаревы возвратились в Москву, откуда выехали за границу только 4 марта 1856 г. 14 (2) апреля они писали Тучковым уже из Лондона: «Послезавтра месяц как мы уехали...» (*Пропилеи*, т. 4, с. 150). Об отъезде Огаревых за границу см.: *Пассек*, т. 2, с. 602.

[19] См.: Былое и думы (*Герцен. Сочинения*, т. 5, с. 255—264).

[20] *Фулэм* — один из районов Лондона.

[21] «Дневник» А. В. Никитенко печатался в 1888—1892 гг. в журн. «Русская старина».

[22] «Высочайшее повеление» Огареву немедленно возвратиться в Россию было направлено шефом жандармов князем

---

* Друзья милые! (*ит.*)

Долгоруковым русскому посланнику в Лондоне 19(7) апреля 1859 г. В Лондон оно дошло около 20(8) мая. Отказавшись препроводить в Петербург на имя Александра II письмо Огарева, посланник барон Бруннов поставил Николая Платоновича перед необходимостью прибегнуть к помощи «Колокола», где он писал: «Обрекая себя на мое заветное дело — посильно разъяснять русские вопросы и, перед лицом Вашего величества и моих сограждан, обличать зло и неправосудие, свирепствующие в России,— я глубоко чувствую, что здесь, в Лондоне, я полезнее моему отечеству, чем бы я мог быть дома...» (Колокол, вып. II, л. 46, с. 375).

За этим последовало повеление царя поступить с Огаревым «по всей строгости законов». Суд над Огаревым продолжался более одного года. Начатое с «суждения инсарского уездного суда», дело было завершено 30 июня 1860 г. в 1-м отделении 6-го департамента Сената. На основании всех собранных к этому времени материалов было определено: «...Отставного коллежского регистратора Николая Платоновича Огарева, 46 лет, лишив всех прав состояния, подвергнуть вечному изгнанию из пределов государства, о чем и объявить ему через российское посольство в Лондоне» (Алексеев В. К биографии Н. П. Огарева.— Красный архив, 1923, № 3, с. 214).

[23] А. А. *Иванов* (1806—1858) — автор знаменитой картины «Явление Христа народу», приезжал в Лондон в 1857 г. Самое живое и искреннее участие в судьбе великого художника принял Огарев, о чем свидетельствует его статья «Памяти художника», впервые опубликованная в «Полярной звезде» на 1859 г. Эту часть своих «Воспоминаний» Тучкова-Огарева писала под несомненным влиянием названной статьи Огарева.

[24] П. А. *Бахметев* (1828—?) — ученик Чернышевского в Саратовской гимназии, послуживший ему прототипом при создании образа Рахметова в романе «Что делать?» В 1857 г. отправился из России на Маркизские острова с целью организации там коммунистической колонии.

[25] Повесть «Фауст» была завершена Тургеневым в августе 1856 г., опубликована в октябрьской книжке «Современника» за тот же год. Во второй половине августа писатель в Лондоне встретился с Герценом и Огаревым и познакомил их со своим новым произведением. Одобрительно отозвавшись о первом письме (эту часть повести Герцен назвал «шедевром слога во всех отношениях»), издатели «Колокола» высказали и свои критические замечания. Так, Огарев 26(14) сентября писал Тургеневу: «Первое письмо так наивно свежо, естественно, хорошо, что я никак не ожидал остального. Происшествие кажется придуманным с каким-то усилием для того,

чтобы высказать неясные мнения о таинственном мире, в который вы сами не верите...» Огарев считал неестественным сюжет повести и психологическую сторону развития любви, объясняя это тем, что «фантастическая сторона прилеплена; повесть может обойтись и без нее» (*Герцен,* т. XXVI, с. 31).

[26] Г. Е. *Благосветлов* (1824—1880) — русский революционный демократ, член «Земли и воли», редактор и издатель «Русского слова» (1860—1866) и «Дела» (1867—1880). В 1857—1860 гг. жил в Лондоне и Париже. По возвращении в Россию поддерживал связи с издателями «Колокола».

[27] *Маркиз Поза* — один из персонажей драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос».

[28] *«Великорусс»* — первая подпольная прокламация в России. Вышло 4 номера: в 1861 — 3; в 1863 — 1. Призывала образованное общество оказать давление на царское правительство с целью наделения крестьян землей, созыва народных представителей или выработки конституции и пр. В противном случае, говорилось в прокламации, неизбежно всеобщее крестьянское восстание летом 1863 г. Авторы прокламации неизвестны. Нет сомнения лишь в том, что принадлежали они к окружению Чернышевского.

[29] Имеются в виду два русских инженера путей сообщения — Кусаков и В. А. Панаев, родственник писателя И. И. Панаева.

[30] Н. Г. Чернышевский посетил Герцена и Огарева в Лондоне в конце июня 1859 г. (ст. ст.). Их беседы касались разногласий, возникших между руководителями «Современника» и издателями «Колокола» в определении путей развития русского освободительного движения. См. об этом: Козьмин Б. П. Поездка Н. Г. Чернышевского в Лондон в 1859 г. и его переговоры с А. И. Герценом.— Известия АН СССР, отд. лит. и яз., т. XII, вып. 2, 1953, с. 137—157; Нечкина М. В. Н. Г. Чернышевский и А. И. Герцен в годы первой революционной ситуации.— Там же, т. XIII, вып. 1, 1954, с. 48—65; Коротков Ю. Господин, который был в субботу в Фулеме (Чернышеский у Герцена летом 1859 года).— Прометей, т. 8. М., 1971, с. 166—188.

[31] В 1859 г. не было еще оснований для опасений за судьбу «Современника». Возможно, что мемуаристка слышала об этом позднее, в 1862 г.: в мае этого года «Современник» и «Русское слово» действительно были приостановлены правительством на 6 месяцев каждый.

[32] Н. М. Сатин посетил Огарева и Герцена в Лондоне в конце июня 1860 г. 30(18) июня Герцен писал своей стар-

шей дочери в Берн: «Здесь Николай Михайлович — ты знаешь, что об этом не должно говорить. Мы были очень, очень рады ему» (*Герцен*, т. XXVII, с. 73).

[33] Новый кружок передовой московской интеллигенции стал складываться вокруг Огарева и Герцена в 1839 г.— после их возвращения из ссылки. К нему примкнули и некоторые члены прежнего кружка Н. В. Станкевича.

[34] Л. Н. Толстой приезжал в Лондон в марте 1861 г. Почти ежедневно бывал у Герцена, где в это время жил и Огарев.

[35] Весть о Манифесте 19 февраля и об утверждении «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», дошла до Лондона 15(3) марта 1861 г. Об этом известил Герцена Тургенев из Парижа (*Герцен*, т. XXVII, с. 140).

[36] В 95-м листе «Колокола» от 1-го апреля 1861 г. было опубликовано следующее объявление: «Вольная русская типография в Лондоне и издатели *Колокола* празднуют вечером 10-го апреля начало освобождения крестьян ⟨...⟩. *Каждый русский*, какой бы партии он ни был, сочувствующий великому делу,— будет принят братски» (*Герцен*, т. XV, с. 64).

[37] 96-й лист «Колокола» открывала передовая статья: «10 апреля 1861 и убийства в Варшаве». Лист 97-й начинался статьей: «Mater dolorosa» * (Колокол, 1861, вып. IV, с. 805—806, 813). Обе статьи принадлежали Герцену.

[38] В 1861 г. М. А. Бакунин бежал из сибирской ссылки в Америку, откуда (из Сан-Франциско) в первые дни января 1862 г. приехал в Лондон. В одном из писем этого времени к Тургеневу Герцен писал: «Завтра в 2 часа — у меня в Orsett-house — Бакунин принимает депутацию английских работников, являющихся его поздравить с приездом...» (*Герцен*, т. XXVII, с. 206).

[39] Н. Н. Обручев (1830—1904) — генерал, профессор и начальник кафедры военной статистики Академии Генерального штаба (1856—1867), член «Земли и воли», поддерживавший связи с издателями «Колокола».

[40] В Лондон Т. П. Пассек прибыла 26 августа и жила здесь до 2 сентября 1861 г.

[41] *Жонд Народовы* — Центральный коллегиальный орган повстанческой власти в Варшаве, возникший в ходе восстания 1830—1831, 1846, 1863—1864 гг. В Лондон к Герцену и Огареву приезжали в сентябре 1862 г. его представители З. Падлевский, А. Гиллер, В. Милович. *Иосифа Демонтовича* — комис-

* Матерь скорбящая (*ит.*).

сара польского революционного правительства в Литве в 1863 г.— среди них не было.

[42] А. А. Потебня (1838—1863) — подпоручик Шлиссельбургского пехотного полка, член «Земли и воли», организатор и руководитель «Комитета русских офицеров в Польше» и глава Варшавского комитета общества. Трижды приезжал в Лондон для переговоров с Герценом и Огаревым. Сражался в рядах польских повстанцев. Убит в марте 1863 г.

[43] М. Л. Михайлов вместе с Н. В. Шелгуновым составлял и распространял другие прокламации — «Русским солдатам» и «К молодому поколению»,— в которых содержался призыв к подготовке народного восстания против самодержавия. Прокламацию «К молодому поколению» Михайлов отпечатал в Лондоне в Вольной типографии Герцена и сам привез ее в Россию. Выданный провокатором, он был арестован и осужден на шестилетнюю каторгу и пожизненное поселение в Сибири. Умер в 1865 г. в Забайкалье. «Михайлову» — стихотворение, которое Огарев посвятил поэту-революционеру (*Огар.*, т. 1, с. 365—367).

[44] Гарибальди посетил Англию в период с 3 по 20 апреля 1864 г.

[45] В «Былом и думах» Герцен писал: «Хотелось мне... поговорить с ним о здешних интригах и нелепостях, о добрых людях, строивших одной рукой пьедестал ему и другой привязывавших Маццини к позорному столбу» (*Герцен. Сочинения*, т. 6, с. 255).

[46] Гарибальди был гостем в доме Герцена 17 апреля 1864 г. Здесь состоялась его встреча с Маццини (*Герцен. Сочинения*, т. 6, с. 274—279).

[47] Это несчастье случилось с Огаревым в ночь с 19 на 20 февраля 1868 г.

[48] *Тутс* (Александр) — сын А. А. Герцена. Оставленная мужем, мать этого ребенка, англичанка Шарлотта Гэтсон, покончила самоубийством. Тутс жил в семье Огарева.

[49] О «Бахметьевском фонде» см. с. 282—284 наст. изд.

[50] И. И. *Иванов* — студент Петровской сельскохозяйственной академии, участник революционного движения 1860-х гг. Заподозрив Нечаева в мистификациях, Иванов отказался бездумно повиноваться его воле, за что и был убит Нечаевым и его сообщниками.

[51] В одной из горных деревень Швейцарии скрывался летом 1870 г. сам Нечаев. Н. А. Герцен ездила к нему с поручением от Огарева (см. с. 414—419 наст. изд.).

[52] От имени мифической «Народной расправы» Нечаев действительно требовал от наследников Герцена не печатать

его писем «К старому товарищу», в которых содержалась критика бакунизма. В этих письмах, по словам В. И. Ленина, «Герцен рвет с анархистом Бакуниным» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 257).

[53] Карл *Фогт* (1817—1895) — немецкий ученый-натуралист, один из представителей вульгарного материализма. Участвовал в революции 1848 г. в Германии, после чего эмигрировал в Швейцарию, где приобрел права гражданства. Был членом федерального Большого совета.

[54] С. И. *Серебренников* — один из русских политических эмигрантов в Швейцарии. Жил в Женеве под своей фамилией.

[55] Л. И. *Мечников* (1838—1888) — брат И. И. Мечникова, известного биолога, активный участник русского освободительного движения 1860—1870-х гг., сотрудник «Колокола». В 1860 г. сражался в рядах гарибальдийцев за объединение Италии.

ИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ К «ВОСПОМИНАНИЯМ»

[1] Из очерка «Иван Сергеевич Тургенев» (*Тучкова-Огарева,* с. 279—291).

[2] Имеются в виду письма Панаевых и Н. С. Шаншиева, которые они адресовали в 1848—1853 гг. М. Л. Рославлевой в Париж. Эти письма были пересланы из Парижа в Москву и переданы (по праву наследства) Огареву. Из них стало очевидным, что капитал, взысканный с него в 1851 г. в пользу его бывшей жены, не был передан ей ее поверенными, Панаевой и Шаншиевым, а остался в их руках. Именно эти письма беспокоили Панаеву и Шаншиева.

[3] См. коммент. 27, с. 494 наст. изд.

[4] Н. А. Некрасов приезжал в Лондон летом 1857 г. для объяснений по поводу «огаревского наследства», но Герцен отказался его принять. «Причина, почему я отказал себе в удовольствии вас видеть,— *единственно* участие ваше в известном деле о требовании с Огарева денежных сумм, которые должны были быть пересланы, и потом, вероятно, по забывчивости, не были пересланы, не были даже и возвращены Огареву.— Я и так был уверен, что это дело было совершено «неумышленно», что, несмотря на два ваши письма к Марье Львовне,— ждал объяснения» (*Герцен*, т. XXVI, с. 105).

[5] Из очерка «В Италии» (*Тучкова-Огарева*, с. 294—295).

[6] Мария Федоровна Корш была в Италии вместе с семьей Герцена. См. коммент. 1 на с. 491 наст. изд.

ИЗ ПИСЕМ К РОДНЫМ

(Ноябрь 1855 — январь 1856)

[1] К этому письму Огарев сделал приписку: «Сегодня я должен ехать к моему братцу генерал-адъютанту Огареву, который взялся за мое дело. Что из этого выйдет, не знаю. Лестно-то оно лестно, потому что весь оный фавёр доставила мне моя поэмка, но результат — incertain *. Я генералу благодарен по крайней мере за то, что он принял меня как нельзя более радушно и начал хлопотать тотчас же, потому что 2 дня как я у него был, а сегодня за мной присылают. Вот что, друг мой! А главное — мне тебя страшно хочется видеть. Обнимаю вас обоих. Addio!»

[2] Стихи популярных поэтов читались нередко при дворе.

ИЗ «ДНЕВНИКА» И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

[1] Отрывки из Дневника и Записных книжек, из так называемой «Зеленой книги», относятся к периоду осени 1848 — зимы и лета 1849 (*Пропилеи*, т. 4, с. 108—110).

[2] О возвращении Тучковых из-за границы см. с. 69 наст. изд.

[3] Елизавета Васильевна Салиас (урожд. Сухово-Кобылина) по приглашению Огарева приезжала осенью 1848 г. в Старое Акшено и гостила здесь несколько месяцев.

[4] Елена Алексеевна Сатина — старшая сестра Натальи Алексеевны.

[5] См. коммент. 8, с. 498 наст. изд.

[6] Речь идет о Наталье Александровне Герцен — жене Герцена.

[7] Неточная цитата из стихотворения Огарева «Арестант» (1850).

[8] Так иногда звали Огарева близкие к нему люди.

[9] Из материалов, опубликованных М. Гершензоном под условным названием [Отрывки воспоминаний Н. А. Огаревой]. [1874—75]. (*Архив*, с. 257—261).

[10] Из записки Натальи Алексеевны под заглавием: «Моя исповедь». Посвящается русским женщинам (*Архив*, с. 261—267).

[11] Намек на семейную драму Герцена, связанную с увлечением его жены Натальи Александровны немецким поэтом Г. Гервегом.

---

* сомнительный (*фр.*)

[12] Имеется в виду Г. Гервег.

[13] *Мери* Сетерленд — англичанка, с которой Огарев встретился в одном из лондонских кабачков и сблизился в 1859 г. Она стала верной спутницей всей последующей его жизни.

МАЛЬВИДА МЕЙЗЕНБУГ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ ИДЕАЛИСТКИ»

Мальвида-Амалия фон Мейзенбуг (1816—1903), немецкая писательница, мемуаристка. Происходила из аристократической семьи. Романтически настроенная, она была увлечена революционными событиями 1848 г., после которых вынуждена была оставить родной Гессен и эмигрировать в Англию. В Лондоне Мейзенбуг встретилась с Герценом в ту пору, когда он был озабочен судьбой своих осиротевших дочерей — Натальи и Ольги. Мейзенбуг приняла его предложение и с охотой взяла на себя обязанности их воспитательницы.

Весной 1856 г. в Лондон приехали Огарев с Тучковой. Мейзенбуг знала о завещании жены Герцена, поручавшей своих детей заботам Тучковой-Огаревой, и отнеслась к ней настороженно. Недовольство Мейзенбуг вызывало, в частности, то, что с приходом Огаревых в дом Герцена в нем стали утверждаться русские традиции. Не встретив поддержки у Герцена, она оставила его дом. Герцен писал Огареву в декабре 1869 г.: «Ну, милая идеалистка, она отомстила мне за выход из дома в 1856 году. Ольга (ей стукнуло 18 лет) — не имеет ничего общего с нами, в ней сложился немецко-artistisch, аристократический взгляд» (*Герцен*, т. XXX, с. 288).

Живя в доме Герцена, Мейзенбуг встречалась там с Огаревым, изредка с ним переписывалась. Ее воспоминания, над которыми она работала в 1860-е гг., представляют для нас большой интерес.

Отрывки из мемуаров Мейзенбуг печатаются по кн.: Мейзенбуг Мальвида. Воспоминания идеалистки. Перевод с нем. Н. А. Макшеевой. М.—Л., Academia, 1933.

[1] Огарев и Наталья Алексеевна приехали в Лондон 9 апреля (28 марта) 1856 г., т. е. через три дня после того как был отмечен день рождения Герцена.

[2] Говоря о ревнивом чувстве Мейзенбуг к Огаревым, Герцен писал М. К. Рейхель 31 (19) мая 1856 г.: «С приезда Огаревых M-lle Meysenbug начала сердиться на них и на

меня. Зачем Наталья Алексеевна ласкает так детей, зачем мы иногда говорим по-русски, зачем Тата ее любит больше и пр. Это дошло до объяснений ⟨...⟩. Из-за всего этого проглянуло нечто совсем другое — самолюбие и, кажется, невероятная мысль на бесконечное продолжение теперичной жизни. Ревность за детей приняла тотчас характер постоянной ссоры Таты с Ольгой» (*Герцен*, т. XXV, с. 353).

[3] Не могли не претить «многие мероприятия» Мейзенбуг и Герцену, но он до поры вынужден был мириться с ними. С приездом же Огаревых у него и сомнений не было в том, что традиции русской культуры должны занять первенствующее место в доме и в воспитании детей. В цитированном выше письме к М. К. Рейхель от 31(19) мая 1856 г. он писал: «... теперь уж Наталья Алексеевна хочет приняться за детей — с ней является традиция, завещание, родной язык и энергический характер» (*Герцен*, т. XXV, с. 354).

[4] В письме от 30(18) мая 1856 г. Герцен писал ей: «...нет, не так нам нужно расстаться ⟨...⟩. Но если это облегчило вам трудный шаг — пусть будет так. Но не разрыв» (*Герцен*, т. XXV, с. 352).

[5] Имеются в виду супруги Альтгаузы — Фридрих и Анна (Шарлотта), друзья Мейзенбуг.

[6] В только что названном письме к Мейзенбуг от 30(18) мая Герцен продолжал: «Огарев вместе с Александром сейчас вам принесут не только мое письмо, но и мои чувства глубокого почитания, моей безграничной дружбы» (*Герцен*, т. XXV, с. 352).

А. П. МИЛЮКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ И ЗНАКОМСТВА

(Отрывки)

Александр Петрович Милюков (1817—1897), писатель, историк русской литературы, мемуарист, преподаватель словесности в петербургских гимназиях и институтах. Был близок к петрашевцам. В демократических кругах общества положительно была встречена его книга «Очерки истории русской поэзии» (СПб., 1847). В связи с ее вторым изданием в 1858 г. в «Современнике» с большой статьей «О степени участия народности в развитии русской литературы» выступил Добролюбов.

В 1857 г. А. П. Милюков совершил поездку за границу, где в Лондоне встречался с Герценом и Огаревым. Об этом позднее он рассказал в книге «Литературные встречи и знакомства» (1890).

Отрывки из главы «Знакомство с Герценом» печатаются по кн.: Милюков А. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890.

[1] Мемуарист придерживается здесь общих поверхностных суждений об Огареве, свойственных некоторой части современников (см. также с. 224 наст. т.).

[2] Речь идет о друзьях Герцена, супругах Саффи — Марке Аурелио и Жеоржине.

[3] *Гендель* Георг Фридрих (1685—1759) — родился в Германии, но большую часть своей жизни (около 50 лет) прожил в Англии.

[4] Орган в Сиденгейме имел высоту более 9 метров (англ. мера длины фут равна 0,3048 мм.).

[5] *Формес* Карл — немецкий певец (бас). В 1851—1852 гг. гастролировал в России, выступая в ролях Оровезо (в опере Беллини «Норма») и Марселя (в опере Мейербера «Гугеноты»).

[6] *Марсельеза* — французская революционная песня, созданная военным инженером, поэтом и композитором Руже де Лилем (1760—1836) в 1792 г. и ставшая гимном республиканской Франции.

Н. МАКШЕЕВА

ПОСЕЩЕНИЕ А. И. ГЕРЦЕНА

Немногие строки воспоминаний об Огареве и Герцене, представленные Н. Макшеевой, принадлежат не ей самой, а ее отцу, адъюнкт-профессору военной академии А. И. Макшееву. Посланный в 1858 г. в заграничную командировку для изучения военных наук и занятий на кафедре военной статистики, молодой профессор посетил Лондон. Подобно многим своим соотечественникам, приезжавшим в Лондон, А. И. Макшеев просил Герцена принять его. Об этой встрече русского офицера с издателями «Колокола» и рассказала, со слов отца, Н. Макшеева. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в журн. «Каторга и ссылка» (1926, кн. 27).

В. А. ПАНАЕВ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Валериян Александрович Панаев (1824—1899), двоюродный брат писателя И. И. Панаева, инженер-путеец, часто выезжавший в 1850—1860-х гг. в заграничные командировки. Бывая в Лондоне, неоднократно встречался с Огаревым и Герценом. Об этих встречах и беседах с ними рассказал в своих «Воспоминаниях», публиковавшихся в 1893—1906 гг. в журн. «Русская старина».

В наст. изд. отрывки из «Воспоминаний» В. А. Панаева печатаются по журнальной публикации «Русской старины» (1902, № 5, т. 110).

[1] Статья В. А. Панаева «Община» опубликована в «Современнике» (1858, № 3).

[2] Проект Огарева, опубликованный им в составе его статьи «Еще об освобождении крестьян», существенно отличался от проекта В. А. Панаева (Колокол, 1858, вып. I, л. 14, с. 110—115). Критические замечания к проекту Панаева Огарев изложил в заметке «О проекте освобождения крестьян» (Колокол, 1859, вып. II, л. 45).

[3] Проект предстоящего крестьянского освобождения, составленный мемуаристом, был опубликован Герценом и Огаревым в V-й кн. «Голосов из России», которая вышла в свет в октябре 1858 г. Сокращенный вариант этого проекта опубликован в качестве приложения к «Колоколу» (1859, вып. II, л. 44).

[4] Брошюра В. А. Панаева «Programme de la saint-alliance de peuples» была отпечатана в Бельгии (Bruxelles, 1859).

[5] В «Колоколе» (1858, вып. I, л. 29, с. 236—239) Герцен опубликовал «обвинительное» письмо профессора Московского университета Б. Н. Чичерина, упрекавшего издателей газеты в «шаткости» их позиции, в легкомысленном предоставлении ее страниц «безумным воззваниям к дикой силе», к привычке «хвататься за топор». Бросая эти обвинения, Чичерин имел в виду, в частности, «Письмо к редактору» (Колокол, 1858, вып. I, л. 25, с. 201—207) и статью самого Герцена «Нас упрекают« (Колокол, 1858, вып. I, л. 27, с. 219—220).

Автор «Письма к редактору» (имя которого осталось

неизвестным) призывал крестьян не ждать освобождения от Александра II. «На себя только надейтесь,— писал он,— на крепость рук своих: заострите топоры, да за дело,— отменяйте крепостное право, по словам царя, снизу! За дело, ребята, будет ждать, да мыкать горе; давно уже ждете, а чего дождались?..» (т а м ж е, с. 205).

Не исключали возможности и необходимости отмены крепостного права «снизу» и издатели «Колокола». В статье «Нас упрекают» Герцен писал: «Освобождение крестьян с землею — один из главных и существенных вопросов для России и для нас. Будет ли это освобождение «сверху или снизу» — мы будем за него〈...〉 из-за средств спора мы не поднимем» (т а м ж е, с. 220).

Говоря об этом, Герцен обращался и к «прямолинейным доктринерам», обвинявшим его «в легкомыслии и шаткости». Он имел в виду прежде всего Чичерина, хотя имя его здесь и не названо.

Программе «Колокола» Чичерин противопоставил свою позицию. Напомнив об исключительности положения издателей «Колокола» (*«вы сила, вы власть в русском государстве»)*, Чичерин призывал их «не раздувать пламя, не растравлять язвы, а успокоивать раздражение умов», приглушать «бунтующие страсти, отвращать кровавую развязку» (т а м ж е, с. 237).

На «обвинительное» письмо Чичерина Герцен ответил статьей «Обвинительный акт», предпослав ее письму своего оппонента. Это письмо, по его словам, «существенно отличается от прошлых писем против «Колокола». «Те были писаны *с нашей стороны*, оттого в самых несогласиях и упреках было сочувствие. Это письмо писано с совершенно *противной* точки зрения, т. е. с точки зрения административного прогресса, гувернементального доктринаризма. Мы ее никогда не принимали, что ж удивительного, что мы не ее путями и шли. Мы не представляли себя никогда ни правительственным авторитетом, ни государственными людьми. Мы хотели быть протестом России, ее криком освобождения и криком боли, мы хотели быть обличителями злодеев, останавливающих успех, грабящих народ,— мы их тащили на лобное место, мы их делали смешными, мы хотели быть не только местью русского человека, но его иронией — не больше» (Колокол, 1858, вып. I, л. 29, с. 236).

Полемическое столкновение издателей «Колокола» с Чичериным — одно из проявлений резкого размежевания, расхождения позиций революционного демократизма с линией буржуазно-дворянского либерализма в условиях формирова-

ния революционной ситуации 1860-х гг., в канун падения крепостного права.

[6] Письмо В. А. Панаева с возражением Чичерину было опубликовано в «Колоколе» 15 декабря 1858 г. (вып. I, л. 30—31, с. 253—254).

А. Н. ПЫПИН

МОИ ЗАМЕТКИ

(Отрывки)

Александр Николаевич Пыпин (1833—1904), двоюродный брат Чернышевского, историк русской литературы, профессор Петербургского университета, академик (с 1898), постоянный сотрудник некрасовского «Современника». В 1858 и 1859 гг. бывал за границей, в Лондоне встречался с Герценом и Огаревым. Его воспоминания об этих днях печатаются по кн.: Пыпин А. Н. Мои заметки. М., 1910.

А. В. РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСКИЙ

МОЯ ЖИЗНЬ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(Отрывки)

Алексей Васильевич Романович-Славатинский (1832—1884), юрист, адъюнкт Киевского университета. В 1860 г., во время заграничной командировки, был в Лондоне, встречался с Герценом и Огаревым, о чем рассказал в своих воспоминаниях.

Отрывки из них в наст. изд. печатаются по тексту журн. «Вестник Европы», 1903, № 3.

[1] О письме Б. Н. Чичерина и ответе ему Герцена см. коммент. 5 к «Воспоминаниям» В. А. Панаева.

[2] *Генри Бокль* — английский социолог, представитель географической школы, автор большого исследования «История цивилизации в Англии», в которой освещал исторические события и проблемы с позитивистских позиций.

Е. Ф. ЮНГЕ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Екатерина Федоровна Юнге (урожд. Толстая, 1843—1913), художница, дочь Ф. П. Толстого — скульптора и медальера, вице-президента Академии художеств. Во время европейского путешествия побывала у Герцена и Огарева в Лондоне (в июле — августе 1861 г.). Отрывок из ее «Воспоминаний» печатается по кн.: Юнге Е. Ф. Воспоминания. Пб., 1913, с. 354—356.

[1] См. коммент. 3 на с. 484 наст. изд.

В. С. АКИМОВ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О ПРОШЛОМ»

Об авторе этих воспоминаний известно только то, что он сам сообщил о себе в своем небольшом мемуарном очерке: был инженером-механиком по образованию, служил в «Русском обществе пароходства и торговли» в Одессе. На кораблях этого общества плавал и за границу. В один из таких рейсов В. С. Акимов побывал в Лондоне в гостях у Герцена. Имел рекомендательное письмо С. С. Громеки и передал ему подарки от его русских «поклонников».

Отрывки из «Воспоминаний о прошлом» В. С. Акимова печатаются по тексту журн. «Вестник Европы», 1903, № 12 (т. 94).

[1] Иван Федорович Горбунов (1831—1895/1896) — мастер устных рассказов, писатель, комический актер.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА К ДОБРОЛЮБОВУ И О РАЗРЫВЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ТУРГЕНЕВЫМ И НЕКРАСОВЫМ

(Отрывки)

В своих воспоминаниях, написанных уже в конце жизненного пути, Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) затронул лишь один эпизод из идейной борьбы 1860-х гг.— об отношении Тургенева к Добролюбову и о разрыве Тургенева с Некрасовым и «Современником». Коснулся он и дела об «огаревском наследстве» (см. вступ. статью с. 17, коммент. с. 493—494 наст. изд.).

Отрывки из воспоминаний Чернышевского печатаются по изд.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1939.

[1] В 1851—1852 гг. с Огарева в пользу его бывшей жены М. Л. Огаревой был взыскан крупный денежный капитал. А. Я. Панаева и Н. С. Шаншиев, не передав своевременно капитал М. Л. Огаревой, отказались возвратить его и наследникам своей доверительницы.

[2] В ходе судебного разбирательства дела об «огаревском наследстве» Панаева и Шаншиев принципиально отвергали право требовать с них отчета в том или ином употреблении вверенного им капитала. (Подробнее см.: Документы огаревского дела. Публ. Б. Л. Бессонова. Некрасовский сб. VIII, с. 154—167).

[3] Тургенев поддерживал добрые отношения с Некрасовым до конца судебного процесса об «огаревском наследстве» (1860). Разрыв дружественных отношений с Тургеневым явился следствием его идейных расхождений с кругом «Современника». Статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» явилась поводом и своеобразным итогом этих расхождений.

А. А. СЛЕПЦОВ

ИЗ ⟨ВОСПОМИНАНИЙ⟩

Александр Александрович Слепцов (1836—1906), виднейший деятель освободительного движения 1860-х гг., революционер-демократ, один из организаторов тайного общества «Земля и воля». В своих фрагментарных воспоминаниях, написанных незадолго до смерти по настоянию М. К. Лемке, Слепцов рассказал «об эмбриологическом периоде пореформенного освободительного движения, о тех «шестидесятых» годах, свидетелей которых осталось в живых так немного» (Слепцов А. А. ⟨Воспоминания⟩.— В кн.: Чернышевский Н. Г. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1962, с. 258).

В своих мемуарных записках Слепцов коснулся важного вопроса рождения революционной партии «Земля и воля» в России и, в частности, роли Огарева в ее возникновении.

Отрывки из ⟨Воспоминаний⟩ печатаются по кн.: Чернышевский Н. Г. Статьи, исследования и материалы. 3. Саратов, 1962.

[1] 1-го мая 1861 г. в «Колоколе» была опубликована без подписи статья-прокламация Огарева «Что нужно народу?». Одновременно в Вольной типографии были отпечатаны и отправлены в Россию листовки с текстом этой прокламации. Ответом на поставленный в заглавии вопрос была первая ее строка: «Очень просто, народу нужна земля да воля».

[2] Осенью 1861 г. Петербургский, Московский и другие университеты России были охвачены студенческими волнениями, которые явились своеобразным откликом на расстрел крестьянских восстаний весной и летом того же года. В связи с этим последовало правительственное распоряжение о закрытии университетов на неопределенное время. В особом прибавлении к «Колоколу» (л. 119—120 от 15 января 1862 г.) под заглавием «Михайлов и студентское дело» за подписью Огарева была опубликована статья «Университеты закрывают!» с призывом к молодежи идти в народ. «Нам надо было странствующих учителей,— писал Огарев,— ⟨...⟩ Их дело — проповедь, их место — всюду ⟨...⟩ судьба вас толкает в губернии, т. е. в села, в жизнь сельскую, в жизнь народную; вглядитесь в нее, поймите основания, из которых она слагается, поймите склад будущей русской, свободной общественности, который из них разовьется и разовьется при пособии вашего слова и вашего дела» (*Огарев*, т. II, с. 65, 67).

[3] О листовках «Великорусса» см. коммент. 28 с. 501 наст. изд.

[4] См.: Колокол, 1861, вып. IV, л. 108, с. 901—905.

[5] Огарев много и настойчиво работал над планами создания общерусской подпольной тайной организации. См. его конспиративные статьи и заметки: ⟨Записка о тайном обществе⟩. Идеалы, ⟨Цель русского движения⟩, ⟨О тайных обществах и их объединении⟩, ⟨О руководящих органах «Земли и Воли» и программе работ ее окружных комитетов⟩, ⟨О восстановлении связи с обществом «Земля и Воля»⟩ (*Огарев*, т. II, с. 31—38, 54—59, 63—64, 68—80, 91—94, 125—128).

Н. В. ШЕЛГУНОВ

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

(Отрывки)

Николай Васильевич Шелгунов (1824—1891), революционер-демократ, ученик и сподвижник Чернышевского, публицист, сотрудничавший в передовых журналах своего време-

ни — «Современнике», «Русском слове», «Деле» и др. Автор двух революционных прокламаций — «К солдатам» и «К молодому поколению» (в сотрудничестве с поэтом М. И. Михайловым). Поддерживал связи с издателями «Колокола».

Отрывок из его воспоминаний публикуется по кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. В 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1967, с. 127.

Л. П. ШЕЛГУНОВА

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО
(Переписка Н. В. Шелгунова с женой)

(Отрывки)

Людмила Петровна Шелгунова (урожд. Михаэлис, 1832—1901), переводчица, жена Н. В. Шелгунова, участница освободительного движения 1860-х гг., принимала участие в деятельности «Молодой эмиграции» в Швейцарии. Бывала в Лондоне, где встречалась с Герценом и Огаревым, о чем рассказала в своих воспоминаниях. Отрывки из них печатаются по кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания. В 2-х томах, т. 2. М., Художественная литература, 1967, с. 89—90, 97—98.

[1] Е. Я. *Колбасин* (1831—1885) — беллетрист, находившийся в дружеских отношениях с Тургеневым. Сотрудничал в «Современнике», «Атенее», «Библиотеке для чтения» и других периодических изданиях, выступая на их страницах с небольшими рассказами и очерками. О каком произведении говорит мемуаристка, сказать трудно.

[2] Имеется в виду вторая поездка Шелгуновых за границу (1858), на этот раз вместе с поэтом М. Л. Михайловым. Около года они провели в странах Западной Европы, а в конце февраля 1859 г. прибыли в Лондон, где были радушно встречены Герценом. В своих «Воспоминаниях» Н. А. Тучкова-Огарева заметила: «Шелгунов и особенно Михайлов очень понравились Герцену,— эти люди казались понимающими и вполне преданными благу России...» (*Тучкова-Огарева*, с. 160). В альбоме Шелгуновой Герцен написал: «...вспомните иной раз, что в этом тумане и поднесь бродит русский, душевно уважающий вас» (*Герцен*, т. XXVI, с. 327).

[3] Огарев послал Л. П. Шелгуновой в Париж стихотворение «Женщине-медику» (1859).

В. И. КЕЛЬСИЕВ

ИЗ «ИСПОВЕДИ»

Василий Иванович Кельсиев (1835—1872), публицист, один из участников освободительного движения 1860-х гг. В 1859 г. по пути на Аляску он оказался в Лондоне, где принял решение остаться в эмиграции. Установил связи с издателями «Колокола», которые поручили ему вести корректуру и разборку корреспонденции, шедшей из России.

Свою политическую задачу Кельсиев видел в том, чтобы присоединить к революционному движению старообрядцев и сектантов. Его идею поддержал и Огарев. С этой целью была создана новая газета (как приложение к «Колоколу») — «Общее вече». Однако сотрудничество в ней Кельсиева было неудачным. Не имела успеха его деятельность и в последующие годы в Царьграде, в Тульче, Галаце и Яссах, где в мае 1867 г. он добровольно сдался русским властям.

Находясь в Петербурге под стражей в III Отделении, Кельсиев добился разрешения написать свою «Исповедь», над которой работал летом 1867 г. Ее целью было показать искреннее раскаяние в прежних убеждениях и в прежней деятельности. По прочтении «Исповеди» Александр II распорядился освободить ее автора от какого бы то ни было наказания.

Исследователи справедливо указали на тот факт, что «Исповедь» — это не просто документ ренегатства. Это прежде всего важный исторический документ, созданный человеком, который в продолжение многих лет был связан с освободительным движением. Достаточно сказать, что в течение трех лет Кельсиев стоял близко к Герцену и Огареву. Оценки деятельности издателей «Колокола» и «Полярной звезды» автором «Исповеди» не всегда верны и справедливы. Но нет в ней и намеренной клеветы, нет, говоря словами Герцена, и «политических пакостей».

Отрывки из «Исповеди» печатаются по: *ЛН*, т. 41—42.

[1] В 1856 г. в Париже был подписан мирный договор между Россией, с одной стороны, Францией, Англией, Турцией и Сардинией,— с другой. Договор подвел итог Восточной войне 1853—1856 гг., в которой Россия потерпела поражение.

[2] «Сборник правительственных сведений о раскольниках», составленный В. Кельсиевым. Вып. I—IV. Лондон. Вольная русская типография. 1860—1862.

[3] «Собрание постановлений по части раскола». Т. 1-й. Постановление министерства внутренних дел. Вып. I—II. Лондон. Вольная русская типография, 1863.

[4] «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева было издано в 1858 г. Вольной русской типографией с предисловием Герцена (*Герцен*, т. XIII, с. 272—280).

[5] В декабре 1861 г. в Лондон для переговоров с издателями «Колокола» приезжал деятель старообрядчества П. П. Овчинников (в монашестве — Пафнутий Коломенский), рассчитывавший на содействие Герцена в издании старообрядческих книг в Вольной русской типографии.

[6] Кельсиев приезжал в Россию в марте 1862 г. для установления связей с русским революционным подпольем.

[7] П. А. *Ветошников* (ок. 1831—?) — выпускник Петербургского коммерческого училища, служивший в одном из торговых домов. Весной 1862 г. был в Лондоне у Герцена, взял для передачи в России несколько писем Огарева, Герцена, Кельсиева. Арестован в Петербургском порту, после чего и в столице были произведены аресты. Среди арестованных был Чернышевский.

[8] Кельсиев стремился к тому, чтобы открыть страницы «Общего веча» для материалов религиозного и религиозно-догматического содержания. Издатели «Колокола» решительно этому воспротивились. В заявлении «Еще от издателей» они писали: «Общее вече»: посвящается исключительно нашему *общему* Земскому делу, и потому в него не могут входить догматические статьи по предмету веры...» (Колокол, 1862, вып. X, с. 8).

[9] О Центральном комитете в Польше (ЖОНД-е) см. коммент. 41, с. 502—503 наст. изд.

[10] Намек на известные разногласия, существовавшие между Герценом и Огаревым, с одной стороны, и некоторыми представителями «Молодой эмиграции» в Лондоне и Женеве — с другой.

[11] Имеется в виду Комитет русских офицеров в Польше, возникший при активном участии подпоручика А. А. Потебни. В 1863 г. Комитет заявил о своем присоединении к «Земле и воле». Комитет имел связи и с польским Центральным комитетом — ЖОНДом.

[12] А. А. Потебня длительное время находился в Польше на нелегальном положении: ему угрожал арест в связи с покушением на генерал-адъютанта Лидерса — наместника Польши.

[13] Есть предположение, что мемуарист говорит о племяннике Наполеона I принце Жероме Бонапарте (1829—

1891), который приезжал в Лондон для встречи с Герценом, Огаревым и Бакуниным. Посредником между сторонами выступал, по-видимому, поляк К. Э. Хоецкий (псевдоним — Шарль Эдмон). Подробнее об этом: Каторга и ссылка, 1926, № 5(26), с. 256.

Е. А. САЛИАС

СЕМЬ АРЕСТОВ

(Из воспоминаний)

(Отрывки)

Евгений Андреевич Салиас (Сальяс, 1840—1908), русский писатель, племянник известного драматурга А. В. Сухово-Кобылина. В 1861 г. был отчислен из Московского университета за участие в студенческих беспорядках и последующие семь лет жил за границей, главным образом в Испании. Литературную деятельность начал в 1863 г. На основе личных наблюдений возникли его «Путевые очерки Испании» (1864). Лучшим художественным произведением писателя является исторический роман «Пугачевцы» (1874). В 1881 г. Салиас издавал журнал «Полярная звезда», в котором Т. П. Пассек публиковала свои воспоминания о встречах с Огаревым в 1873 г. в Женеве.

Огарев находился в родстве с семьей Сухово-Кобылиных. С ранних лет был в дружеских отношениях с Елизаветой Васильевной Сухово-Кобылиной (писательницей Евг. Тур) — матерью Е. А. Салиаса. В конце 1848— начале 1849 г. она гостила у Огарева в Старом Акшене, куда приезжала с детьми. Ее сыну в ту пору было восемь лет.

О своих встречах с Огаревым в России и за границей Е. А. Салиас рассказал в мемуарном очерке «Семь арестов» (Из воспоминаний). Очерку присущ несколько экзальтированный тон, есть неточности в изложении ряда известных фактов.

Отрывки из очерка печатаются по журн. «Исторический вестник», т. 71, 1898.

[1] Салиас жил у Огарева около 3-х месяцев в Старом Акшене вместе с матерью в конце 1848 — начале 1849 г.

[2] Дочь Герцена и Н. А. Тучковой Лиза покончила самоубийством в 1875 г. в возрасте семнадцати лет.

Г. Н. ВЫРУБОВ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

(Отрывки)

Григорий Николаевич Вырубов (1843—1913), русский публицист и философ-позитивист. В ранней молодости уехал из России.

С Герценом и Огаревым Вырубов познакомился в 1865 г. в Женеве. С этого времени его связи с автором «Былого и дум» не прекращались до конца жизни Герцена.

В своих воспоминаниях, впервые опубликованных в «Вестнике Европы» (1913, № 1—2), Вырубов явно преувеличил степень своей близости к Герцену, смягчил разногласия, которые были между ними. В письме к Бакунину от 28(16) октября 1869 г. Герцен писал: «Вырубов меня не тешит, а бесит. Чистый и добрый человек, он доктринерством съел свое сердце ⟨...⟩. Минутами он мне ненавистен» (*Герцен*, т. XXX, с. 228). И сам Вырубов признавал, что «наши точки зрения были слишком различны, и слишком несходны наши методы мышления». Суждения его об отношениях Герцена и Огарева поверхностны и несправедливы.

Печатается по тексту журн. «Вестник Европы», 1913, № 1, с. 55—79.

[1] Имеется в виду конгресс международной пацифистской организации «Лиги мира и свободы», состоявшийся в Женеве 9—11 сентября 1867 г. Герцен отказался от участия в нем. От русских на этом конгрессе одним из вице-президентов был Огарев. Он писал Герцену 12 сентября: «Конгресс все-таки не удался. Были речи очень хорошие, но до дела не доходящие ⟨...⟩ Неопределенность конгресса навеяла на меня скуку...» (*ЛН*, т. 39—40, с. 470, 472).

А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ» И «ЖЕНЕВСКОГО ДНЕВНИКА»

Анна Григорьевна Достоевская (урожд. Сниткина, 1846—1918), жена Ф. М. Достоевского. Большую известность приобрели ее мемуарные произведения — «Воспоминания» и «Женевский дневник».

«Женевский дневник» создавался в 1867—1868 гг., когда Достоевские жили в швейцарской столице. Достоевский собирался здесь заняться чтением изданий Вольной русской типографии и других запрещенных в России изданий. Знакомство с этой литературой, по словам его жены, необходимо было ему «для его будущих произведений».

В Женеве в эти годы жил Огарев, с которым Достоевские встретились, сблизились и подружились. Общение бывшего петрашевца с одним из издателей «Колокола» было замечено царскими агентами. В ноябре 1867 г. в Петербург было сообщено, что Достоевский, находясь в Женеве, «очень дружен с Огаревым» (Достоевский в документах III Отделения.— Там же, с. 598).

О дружеских встречах с Огаревым, о беседах с ним Анна Григорьевна делала краткие записи в своем дневнике, а затем использовала эти записи в своих «Воспоминаниях».

Отрывки из воспоминаний печатаются по кн.: Достоевская А. Г. Воспоминания. М., Художественная литература, 1981, с. 176—177.

Отрывки из дневника воспроизводятся по публикации: Женевский дневник А. Г. Достоевской. Расшифровка стенографического текста Ц. М. Пошеманской.— *ЛН*, 1973, т. 86.

[1] У Герцена Достоевский мог встретиться с Огаревым только в Лондоне летом 1862 г. См.: Конкин С. С. Огарев и Достоевский (К истории их личных взаимоотношений и творческих связей).— В кн.: Родное Присурье. Литературно-художественный сборник. Саранск, Морд. книжн. изд., 1980, с. 233.

[2] См. об этом в воспоминаниях В. В. Тимофеевой (О. Починковской) и коммент. 5, с. 521 наст. изд.

[3] См. об этом коммент. 47, с. 503 наст. изд.

[4] В Италии Огарев не лечился. Во время болезни он все время оставался на своей женевской квартире. Навещал его здесь и Достоевский. 27(15) февраля 1868 г. Герцен писал сыну: «Главное, его слишком тормошат — Бакунин, Утин, Достоевский, Мерчинский, Чернецкий, Данич, мы...» (*Герцен*, т. XXIX, с. 284).

[5] Ф. М. Достоевский присутствовал на заседании конгресса «Лиги мира и свободы» 11 сентября.

[6] Имеется в виду первая часть журнальной публикации романа «Преступление и наказание».

[7] Речь идет о кн.: Стихотворения Н. Огарева. Лондон, 1858.

В. В. ТИМОФЕЕВА (О. ПОЧИНКОВСКАЯ)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «ГОД РАБОТЫ С ЗНАМЕНИТЫМ ПИСАТЕЛЕМ»

Варвара Васильевна Тимофеева (О. Починковская) (1850—1931), писательница, переводчица и мемуаристка. В начале 1870-х гг. работала корректором в типографии А. И. Траншеля, в которой печатался еженедельник «Гражданин». Редактором этого еженедельника с декабря 1872 г. и до начала апреля 1874 г. был Ф. М. Достоевский.

В своих воспоминаниях, написанных, по-видимому, в начале 1900-х гг., В. В. Тимофеева приводит эпизод, характеризующий отношение Достоевского к поэзии Огарева.

Отрывок из воспоминаний «Годы работы с знаменитым писателем» печатается по тексту журн. «Исторический вестник», 1904, № 2.

[1] *«Гражданин»* — политическая и литературная газета-еженедельник (1872—1914, с перерывом в 1880—1881 гг.), основанная князем В. П. Мещерским и субсидировавшаяся правительством.

[2] А. И. *Порецкий* (1819—1879) — беллетрист, числившийся редактором журнала Ф. М. Достоевского «Эпоха» (1864—1865).

[3] Поэт А. Н. Майков (1821—1897) — друг семьи Ф. М. Достоевского.

[4] Многие члены кружка М. В. Петрашевского, среди них Ф. М. Достоевский, были приговорены военным судом в 1849 г. к смертной казни, которая должна была свершиться на Семеновском плацу в Петербурге. В последнюю минуту казнь была заменена каторгой.

[5] Неточно цитируются строки из гл. 3 поэмы Огарева «Тюрьма». У Огарева:

Я в старой Библии гадал
И только жаждал и мечтал,
Чтоб вышли мне по воле рока —
И жизнь, и скорбь, и смерть пророка.

(*Огар.*, т. 2, с. 209)

Н. А. БЕЛОГОЛОВЫЙ

⟨НЕЗАКОНЧЕННАЯ ГЛАВА ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ⟩

(Отрывки)

Николай Андреевич Белоголовый (1834—1895), известный в 1860—1880-х гг. петербургский врач и общественный деятель, хорошо известный в демократических кругах России. Его перу принадлежит известная книга — «Воспоминания и другие статьи» (СПб, 1897), посвященная декабристам, Некрасову, Тургеневу, Герцену и др. русским писателям.

Позже в архиве Н. А. Белоголового были обнаружены другие его мемуарные записки, из которых видно, что во время своих заграничных поездок в конце 1860-х гг. он, в частности, виделся с Огаревым в Женеве.

Отрывок из его материалов печатается по тексту: ⟨Незаконченная глава из воспоминаний Н. А. Белоголового⟩.— В кн.: Из истории русской литературной и общественной мысли 1860—1890 гг.— *ЛН*, т. 87. М., Наука, 1977.

[1] А. В. *Поджио*, декабрист, живший в начале 1840-х гг. на поселении в Иркутске, один из учителей и воспитателей Н. А. Белоголового в отроческие его годы. После амнистии (1856 г.) выехал из России и поселился в Женеве.

С. И. СЕРЕБРЕННИКОВ

ИЗ «ЗАПИСКИ»

Семен Иванович Серебренников — один из активных участников русского освободительного движения конца 1860-х — начала 1870-х гг. Учился в Петербурге, по-видимому, в Политехническом институте, где на студенческих сходках встретился с С. Г. Нечаевым. В 1869 г. выехал из России в Швейцарию и установил связи с русской эмиграцией. 9 мая 1870 г. был арестован женевской полицией, принявшей его за разыскиваемого Нечаева. Вмешательство Тучковой-Огаревой помогло ему выйти из-под ареста. Отказавшись в 1874 г. возвратиться в Россию по требованию правительства, С. Серебренников некоторое время жил во Франции. В 1876 г. оказался в Пруссии, где был арестован и выдан русским властям. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Над своей «Запиской», разоблачающей авантюристическую деятельность Нечаева, С. Серебренников работал в

1870—1872 гг. Но в ту пору она не была опубликована.

Важность этого документа определяется тем, что в нем приведены многочисленные факты, свидетельствующие не только об авантюризме, но и о полнейшей аморальности Нечаева и нечаевщины. В трагическом свете предстает здесь прежде всего Огарев, ставший жертвой нечаевского обмана.

Отрывки из «Записки» С. Серебренникова печатаются по тексту журнала «Каторга и ссылка» (1934, № 3), в котором впервые опубликована.

[1] По требованию русского правительства швейцарские власти предприняли меры к задержанию Нечаева как уголовного преступника, совершившего в ноябре 1869 г. вместе со своими сообщниками убийство студента Петровской земледельческой академии И. Иванова. Нечаев был арестован в Женеве весной 1872 г. и выдан русским властям.

[2] Видимо, это один из первых случаев мистификации, к которой прибегал часто Нечаев. На самом деле в конце января 1869 г. аресту он не подвергался, а слух об этом распространил сам.

[3] Возможно, что речь идет о прокламации «Студентам университета, Академии и Технологического института в Петербурге», написанной Нечаевым. Эту прокламацию, датированную 17 марта 1869 г., он отправил в Женеву на имя Герцена с просьбой опубликовать ее. Получил же ее Огарев, который писал своему другу 1 апреля: «Вчера пришло на твое имя письмо с просьбой напечатать послание к студентам от одного студента, только что удравшего из Петропавловской крепости 〈...〉. Через некоторое время можно будет его напечатать в новом прибавлении к «Колоколу» 〈...〉 Мне так что-то страшно» (*Огарев*, т. II, с. 534).

[4] О Бахметьевском фонде см. «Былое и думы» (*Герцен. Сочинения*, т. 6, с. 342—343), а также с. 282—286 наст. изд.

[5] Имеется в виду обращение Огарева к «Новой редакции «Колокола», в котором он, в частности, писал: «Передаю вам новое издание «Колокола» с глубоким убеждением, что вы его примете с полной преданностью делу Русской Свободы» (Колокол, 1870, № 1, 2 апреля).

[6] Бахметьевский фонд был поделен поровну между Огаревым и Герценом еще при жизни последнего (см.: *Тучкова-Огарева*, с. 243). Огаревская часть была уже израсходована Нечаевым. Вторая часть фонда после смерти Герцена оставалась у его наследников. Об этой части (10 тыс. франков) и идет здесь речь. Она тоже была передана Огареву и затем использована Нечаевым.

[7] Подробнее об этом: Конкин С. С. Огарев и Достоевский (К истории их взаимоотношений и творческих связей).— «Родное Присурье». Литературно-художественный сборник. Саранск, Морд. книжн. изд., 1980, с. 232—243; Седов А. Ф. Трансформация стихотворения Огарева «Студент» в структуре романа Ф. М. Достоевского «Бесы».— В кн.: Проблемы творчества Н. П. Огарева. Межвузовский сб. научных трудов. Саранск, 1985, с. 141—148.

[8] Первый номер журнала «Община» вышел в свет в Лондоне в сентябре 1870 г. и всем своим содержанием был направлен против Огарева и Бакунина. Оба они характеризовались Нечаевым как представители старого поколения, неспособные в новых условиях заниматься подлинно революционной деятельностью. Второй номер «Общины» не увидел света, т. к. был уничтожен самим Нечаевым.

[9] *«Народной расправой»* Нечаев именовал ту будто бы организацию, которую он «основал» в России и от имени которой действовал. На самом деле такой организации не было.

[10] *«Народное дело»* — журнал, издававшийся в Женеве группой Н. И. Утина.

А. БАУЛЕР

ОДНА ИЗ ДОРОГИХ ТЕНЕЙ

Александра Васильевна Гольстейн (псевд. А. Баулер), писательница, мемуаристка, автор многих литературно-критических статей и очерков по западной литературе. Активно сотрудничала в ряде русских журналов 1870—1900-х гг. С середины 1870-х гг. принимала участие в работе подпольных кружков в Петербурге, придерживаясь народнических воззрений П. Л. Лаврова. Позднее примкнула к Бакунину. В 1876—1877 гг. жила в Швейцарии и в Париже. Весной 1877 г. предприняла поездку в Лондон для встречи с П. Л. Лавровым и с жившим в Гринвиче Н. П. Огаревым — за два-три месяца до его кончины.

Мемуарный очерк А. В. Гольстейн «Одна из дорогих теней» печатается по журн. «Минувшие годы», 1908, № 4, с. 108—115.

[1] Петр Лаврович Лавров (1823—1900) — философ, социолог и публицист, один из идеологов революционного народничества 1870-х гг. Издавал в Лондоне журнал и газету под названием — «Вперед!». Поддерживал связи с Огаревым.

[2] М. А. Бакунин скончался 1 июля 1876 г. в Берне (Швейцария).

[3] Мемуаристка говорит о Мери Сетерленд. См. о ней в воспоминаниях Т. П. Пассек на с. 213 наст. изд.

[4] Отрывок из третьей части стихотворного цикла «Монологи» (1844—1847).

[5] Цитируются строки из стихотворения Огарева «Портреты» (1855—1856).

В. Н. ЧЕРКЕЗОВ

НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ ОГАРЕВ

Варлаам Николаевич Черкезов (1846—1925), активный деятель народнического движения в России 1860—1880-х гг. Учился в Москве в Петровской земледельческой академии, где сблизился с членами подпольного кружка Н. А. Ишутина. В 1866 г., в связи с покушением Д. В. Каракозова на Александра II, подвергся аресту, но был освобожден из Петропавловской крепости за недостаточностью улик. В 1869 г. Черкезов вошел в кружок нечаевца А. К. Кузнецова. Вторичному аресту подвергся по делу Нечаева. В 1871 г. отправлен в ссылку в Тобольскую губернию, откуда в январе 1876 г. бежал за границу. Прибыв в Лондон, примкнул к редакции газеты «Вперед!», издававшейся П. Л. Лавровым и его последователями. К этому времени относится знакомство Черкезова с Огаревым, жившим в Гринвиче. Осенью 1876 г. переехал в Женеву, где примкнул в 1878 г. к журналу бакунистов «Община». В этом журнале опубликовал свою статью-воспоминание «Николай Платонович Огарев». В статье содержится ценное свидетельство о глубоком интересе Огарева к новым поколениям революционных борцов, среди которых было уже немало рабочих и крестьян.

Печатается по журн. «Община», 1878, № 3—4, с. 19—20.

[1] Процитированы строки из гл. 9 поэмы Огарева «Тюрьма» (1857—1858).

[2] Строки из стихотворения Огарева «Свобода» (1858).

[3] Марианна Чернецкая — вдова Л. Чернецкого.

[4] Имеется в виду Великая французская революция 1789—1794 гг.

[5] Неточная цитата из гл. XXV «Былого и дум» (*Герцен, Сочинения*, т. 5, с. 35).

[6] Д. П. Рунич (1778—1860) — попечитель Петербургско-

го учебного округа — (1821—1826), позднее — член Главного правления училищ.

М. Л. Магницкий (1778—1855) — реакционный государственный деятель, гонитель просвещения и передовой культуры.

[7] Неточная цитата из «Былого и дум» (*Герцен, Сочинения*, т. 5, с. 37).

[8] Неточная цитата из «Былого и дум» (*Герцен, Сочинения*, т. 5, с. 6).

Н. А. ГЕРЦЕН

⟨МОИ ВСТРЕЧИ С НЕЧАЕВЫМ⟩

(Отрывки)

Наталья Александровна Герцен (1844—1936), старшая дочь Герцена, на которую он возлагал большие надежды. 31 (19) июля 1869 г. он писал сыну: «Ты первый отошел — и пошел своей дорогой, она тебе удалась — и ты доволен. Ольга — по милости Мейзенбуг — иностранка. На Тату я полагал сильнейшую надежду — у ней наши симпатии, notre génie * (в том смысле, как говорят génie de la langue **) — она вообще была ближе со мной, и, признаюсь, потерю ее я буду считать одним из тяжелых ударов» (*Герцен*, т. XXX, с. 155).

Огарев также высоко ценил Н. А. Герцен и писал еще в октябре 1859 г. Герцену: «Тут сердце, и хорошее сердце чуется невольно» (*ЛН*, т. 39—40, с. 377).

Наталья Александровна действительно отличалась глубиной натуры, художественной одаренностью, врожденным тактом. В своих письмах к ней Герцен и Огарев всячески подвигали ее к совершенствованию своего духовного мира, к неустанному труду и творчеству.

После смерти Герцена Наталья Александровна отправляется в Женеву к Огареву, чтобы обсудить с ним и определить свой будущий жизненный путь. Огарев знал о ее недавнем тяжелом нервном заболевании. Но он справедливо считал, что только деятельная жизнь поможет ей преодолеть болезнь. При содействии Огарева Н. А. Герцен стала входить в жизнь русской революционной эмиграции в Швейцарии. Вышло,

---

* наш дух (*фр.*).
** дух языка (*фр.*).

однако, так, что Наталья Александровна соприкоснулась с эмиграцией в один из самых драматичных периодов ее политической жизни, связанной с авантюристической деятельностью С. Г. Нечаева. Ей показалось, что нечаевщина — это и есть «последнее слово» русского освободительного движения, и она в полном разочаровании отошла от него. Обо всем этом Н. А. Герцен и рассказала в своем «Дневнике», а позднее и в очерке ⟨Мои встречи с Нечаевым⟩. Очерк этот возник, по-видимому, уже в последние годы ее долгой жизни. Что касается «Дневника», он создавался в 1870 г. — по «горячим следам» событий. Первая запись в нем сделана 28 мая, две другие — 3 и 7 июля. Однако события, о которых идет речь, и рассказ о них далеко вышли за рамки этих трех дней. В этом своеобразие «Дневника».

Н. А. Герцен принадлежит еще и письмо в Россию, в котором она рассказала о последних днях и часах жизни Огарева, умершего 12 июня (31 мая) 1877 г. вдали от родной земли.

Очерк ⟨Мои встречи с Нечаевым⟩ печатается по кн.: *ЛН*, т. 63, с. 488—497; «Дневник Н. А. Герцен» — по кн.: *ЛН*, т. 96, с. 440—460; письмо Н. А. Герцен — Н. А. Огаревой — по кн.: Архив Н. А. и Н. П. Огаревых. М. — Л., Госиздат, 1930, с. 246—247.

[1] Ошибка памяти мемуаристки: Т. П. Пассек была у Огарева в Женеве только в 1873 г. Между тем здесь речь идет о весне 1870 г.

[2] Факт кражи Нечаевым некоторых писем и других документов из архива Огарева отмечен еще в «Записке» С. Серебренникова» (см. с. 399 наст. изд.) и М. П. Сажиным (Арманом Росс) в его «Воспоминаниях». М., 1925, с. 70—74.

[3] Джеймс *Гильом* (1844—1917) — швейцарский бакунист, издававший в Невшателе газету «Прогресс».

[4] Речь, по-видимому, идет об одной из прокламаций, текст которой Нечаев согласовывал с Огаревым. Этот текст с поправками Огарева Наталья Александровна, надо полагать, и возила в Локль, где Нечаев скрывался от швейцарской полиции.

ИЗ «ДНЕВНИКА»

[1] О С. Тхоржевском см. с. 271 наст. изд.

[2] Один из псевдонимов Нечаева.

[3] Герцен выехал из России в январе 1847 г., когда старшей его дочери шел третий год.

[4] По совету брата Наталья Александровна до переезда в Женеву некоторое время жила в Берне у М. К. Рейхель.

[5] В 1869 г. Н. А. Герцен перенесла тяжелое нервное заболевание, возникшее в связи с преследованием ее со стороны слепого итальянского музыканта графа Пенизи, домогавшегося ее любви.

[6] Псевдоним Нечаева, начинающийся на букву S.

[7] «Marcellaise» — парижская радикально-демократическая газета, куда Н. А. Герцен имела поручение передать «Письмо в редакцию».

[8] На полях против этого текста: «Огарев тоже писал, прося приезжать и помогать ему».

[9] Из письма Н. А. Герцен к Нечаеву от 20 февраля видно, что из Парижа она выехала 22 февраля и была в Женеве в тот же день.

[10] Письмо Бакунина к «Обеим Natalies» датировано 21 февраля 1870 г. (*ЛН*, т. 63, с. 486—488).

[11] Письмо Бакунина к Огареву от 22 февраля 1870 г. См.: Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896, с. 368—372.

[12] Это письмо Нечаева к Огареву неизвестно. Из обстоятельств дела видно, что разговор Огарева с Натальей Александровной о ее поездке в Локль происходил 24 февраля. 28 февраля Огарев известил Нечаева о ее возвращении в Женеву.

[13] З. С. Оболенская оставила своего мужа и жила с детьми в Швейцарии. Муж З. С. Оболенской, князь, генерал-майор А. В. Оболенский, при пособии швейцарских властей, насильственно похитил детей. Русская революционная эмиграция решительно протестовала против этого беззакония.

[14] Эти сведения Натальи Александровны расходятся с теми, которые она дала в очерке ⟨Мои встречи с Нечаевым⟩. См. с. 419 наст. изд.

[15] На полях против этого текста вписано: «Марат, Бабеф».

[16] Судя по письму Огарева к Нечаеву от 28 февраля, Наталья Александровна возвратилась в Женеву поздно вечером 27 февраля.

[17] Карбонариями называли себя члены тайной революционной организации Италии 1820-х гг., боровшиеся за национальное освобождение своей родины.

[18] Намерение добиться возвращения большого костромского имения, секвестрованного царским правительством, было и у Герцена, и у его сына. Огарев знал об этих намерениях и не одобрял их.

[19] Карл Фогт, член федерального совета Швейцарии. Герцены поддерживали с ним дружеские отношения. Урбан

Шаллер был управляющим банком во Фрибургском кантоне Швейцарии.

[20] Огарев настаивал на том, чтобы программой нового «Колокола» стала идея социализма. Нечаев решительно возражал, считая, что программа газеты должна быть «пестрой», т. е. эклектичной, рассчитанной и на либеральные круги русского общества.

[21] Имеется в виду Владимир Серебренников, состоявший при Нечаеве и послушно исполнявший его волю.

[22] Генри — сын Мери Сетерленд.

[23] Журнал «Народное дело» издавался группой русских эмигрантов во главе с Н. И. Утиным, который находился во враждебных отношениях с Бакуниным.

[24] А. А. *Серно-Соловьевич* (1838—1869) — участник освободительного движения, возглавлявший «Молодую эмиграцию» в Швейцарии. В августе 1869 г. в припадке психического расстройства покончил жизнь самоубийством.

[25] В мае 1870 г. Нечаев некоторое время скрывался в доме, который занимали Н. А. Тучкова-Огарева и Н. А. Герцен. Показаться в Женеве ему было уже опасно: полиция искала его всюду. Н. А. Тучкова-Огарева помогла ему благополучно покинуть пределы Швейцарии.

[26] О. С. Левашова (сестра А. С. Жуковской) — участница освободительного движения 1860-х гг., член Русской секции I Интернационала.

[27] Среди русских эмигрантов в Женеве в это время не было человека по фамилии Быстров. Не исключено, что это — псевдоним.

[28] Карл Александр Рейхель — сын М. К. Рейхель.

[29] Эта записка Бакунина к Н. А. Герцен неизвестна. Остаток Бахметьевского фонда на 20 июня 1870 г. составлял 1410 франков и 50 сантимов (*ЛН*, т. 63, с. 498—499). К 7 июля в фонде оставалось всего лишь 740 франков 50 сантимов.

[30] Имеется в виду художник Перрон (1837—1909) — анархист, член правления бакунинского Альянса.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

Н. П. Огарев в воспоминаниях современников.
О-36 /Редкол.: В. Вацуро, Н. Гей, Г. Елизаветина и др.; Вступ. статья и сост. С. Конкина; Коммент. С. Конкина и Л. Конкиной; Худож. В. Максин.— М.: Худож. лит., 1989.—543 с., ил. (Литературные мемуары).

ISBN 5-280-00754-4

Сборник посвящен замечательному поэту, другу и соратнику Герцена Н. П. Огареву. Книгу составили мемуары Т. П. Пассек, Н. А. Тучковой-Огаревой, П. В. Анненкова, отрывки из «Былого и дум» Герцена и др., которые свидетельствуют о единодушной высокой оценке современников личности и деятельности Огарева.

О $\frac{4702010101-108}{028(01)-89}$ 24-88 ББК 84Р1

Н. П. ОГАРЕВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Редактор **Ч. Залилова**

Художественный редактор **Г. Масляненко**

Технический редактор **Л. Витушкина**

Корректоры **Б. Тумян, Т. Филиппова**

ИБ № 5045

Сдано в набор 20.05.88. Подписано к печати 28.02.89. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56+1 вкл.+альб.=29,45. Усл. кр.-отт. 30,76. Уч.-изд. л. 29,75+ +1 вкл.+альб.=30,45. Тираж 100 000 экз. Изд. № II-2583. Заказ 1611. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.